

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В СОКРАЩЕНИИ



НЕРОН





ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ





ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

КОРОНЫ,  
СКИПЕТРЫ  
И БИТВЫ

МОСКВА  
«НОВАЯ КНИГА»

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Д. КОШТОЛАНИ  
НЕРОН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

БЛАСКО ИБАНЬЕС  
СОННИКА

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО

ФРИЦ МАУТНЕР  
ГИПАТИЯ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

ВИЛЬГЕЛЬМ ВАЛЛОТ  
ПАРИС

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

МОСКВА  
«НОВАЯ КНИГА»

*Серия основана в 1993 году*

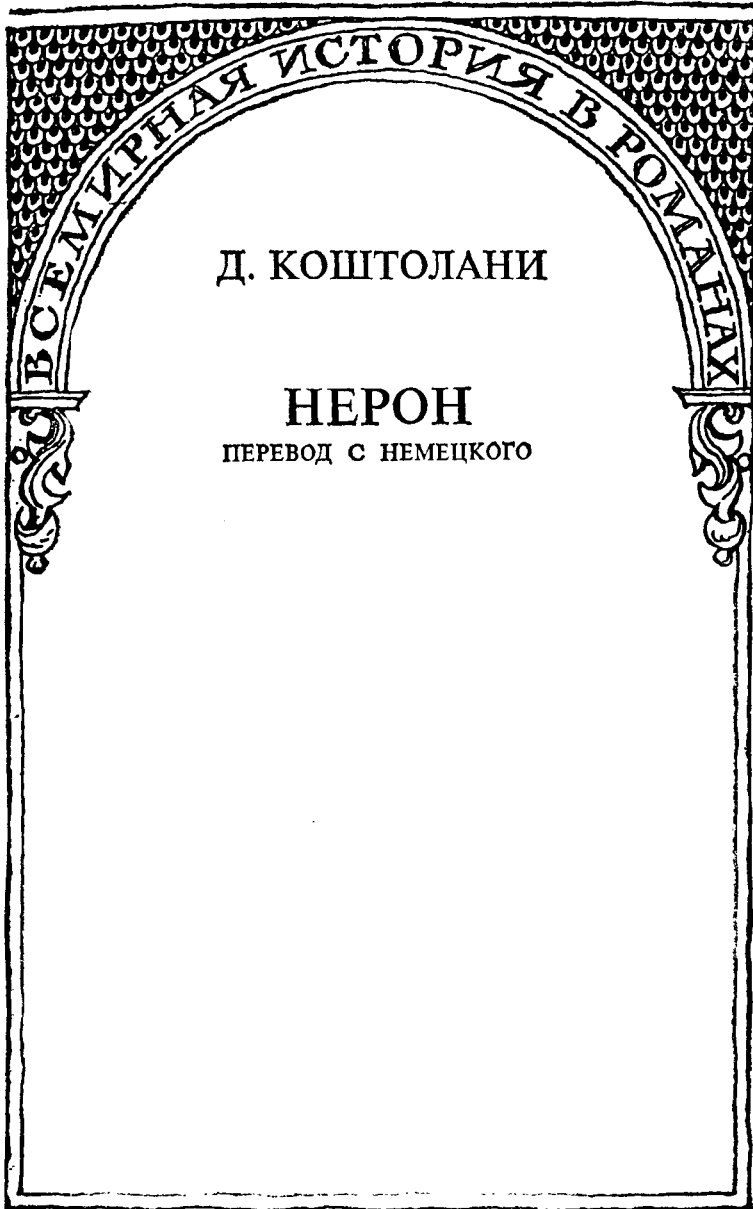
**НЕРОН: Д. Коштолани.** Нерон. Пер. с нем.  
**Б. Ибаньес. СОННИКА.** Пер. с испанс. **Ф. Ма-  
утнер.** ГИПАТИЯ. Пер. с нем. **В. Валлот.** ПА-  
РИС. Пер. с франц.— М.: Новая книга, 1994.  
(«Всемирная история в романах. Выпуск вто-  
рой. «Короны, скипетры и битвы».)

Почти полтысячелетия античной истории, захватывающие  
характеры и судьбы Нерона, Ганнибала, Гипатии, вста-  
ют со страниц этого сборника.

ISBN 5—8474—0204—x  
ISBN 5—8474—0213—9

Перепечатка книг серии, отдельных глав,  
оформление, названия серий  
возможно только с разрешения издательства.

- © Составление В. Козаченко, С. Тимченко, 1994.
- © Оформление Н. Егоров, 1994.
- © Название серии «Всемирная история в романах».  
«Новая книга», 1993.



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Д. КОШТОЛАНИ

НЕРОН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



## І. З Н О Й

— Вишни,— неустанно повторял сонный голос,— вишни.

Уличный торговец, расположившийся за маленьким прилавком на фруктовом рынке, тщетно с утра предлагал свои вишни.

Стояла такая жара, что даже здесь, на Форуме, в любимом пристанище обжор и чревоугодников, почти не было прохожих. Площадь казалась вымершей.

Шедший мимо легионер взглянул на полусгнившие плоды и угрюмо поплелся дальше. Через несколько шагов он остановился перед другим ларьком, где продавалась вода, подслащенная медом; он кинул на прилавок медную монету и стал медленно глотать освежительный напиток.

На всем пространстве ни разу не промелькнули носилки.

Мальчик и девочка, избравшие этот час для своей встречи, неожиданно откуда-то вынырнули, взялись за руки и, любовно поддерживая друг друга, убежали в блеске знойного дня в еще более пустынные улицы, где никто не бодрствовал.

После того, как эдил проверил выставленные цены и удалился — продавец, старый раб, лег, растянувшись, на землю.

Он поднял усталый взгляд на вырисовывавшуюся впереди гору, где находились храмы Августа и Вакха,



виднелись казармы преторианцев, мелькали силуэты стражников, и возвышался бывший дом Тиберия; ныне там проживал старый Клавдий; у бедного продавца мелькнула мысль, что его-то не печет зной! Хорошо только императору или нищим; император отдыхает в прохладном зале, а нищие мирно храпят и под пальмами.

Этим летом уровень Тибра резко пал. Между крутыми берегами виднелось полуобнажившееся каменистое русло, по которому, вздрагивая, разбегались беспокойные илистые воды. Зной все нарастал. Над холмами вился туман; воздух не освежался даже легчайшим дуновением. Некоторые переулки, словно львиные логовища, распространяли запахи грязи и помета.

Всякий шум — дребезжание колеса или далекий хриплый лай собаки — поглощался тишиной и навевал в этот ранний час дня еще более дурманную дремоту.

## И. Ч У Д О

Наверху, на Палатине, императорский дворец зарделся в пламени солнечных лучей.

В опочивальне лежал старый император Клавдий.

Его шея была обнажена, и волосы спадали ему на лоб. И его одолел сон. В последнее время ему бывало невмоготу дожидаться конца трапезы. Его рука роняла подносимую к устам пищу, и глаза смыкались. Сотрапезники потешались над ним, бросали в него оливками и финиковыми косточками и, наконец, уносили его в опочивальню...

Теперь он проснулся.

Во время разнежившего его сна на губах выступила слюна.

— Как прекрасно дремалось, — пробормотал он и окинул взглядом комнату. В ней не было ни души. Лишь одинокая муха, жужжа, описывала все тот же круг, пока не села на тунику Клавдия, затем — на его руку, и, наконец — на нос. Он не отмахнулся, а лишь что-то пролепетал, причмокивая губами. Ему понравилась дерзкая маленькая муха, севшая на императора.

Вскоре он почувствовал жажду.

— Э... э...— произнес он,— воды, дайте мне воды,— и зевнул.

Некоторое время он терпеливо ждал. Никто не явился.

Тогда он потребовал громче: — Воды! Дайте мне, наконец, воды!

Но и на сей раз никто не отозвался.

У Клавдия не было слуг. В течение последних лет его супруга Агриппина лишила его телохранителей и стражи. Осуществила она это постепенно, и император даже не отдал себе отчета в происшедшем. Он примирился с изменившимся положением. В одиночестве бродил он по дворцу, не проявляя никакого недовольства.

Его занимало лишь то, что он в данный момент видел. Его ослабевшая память не хранила прошлого.

Так как на его зов никто не откликнулся, он забыл о своем желании. Он стал рассматривать стены, занавесы и пол; затем вспомнил о вине и паштете, винных ягодах и фазанах, биче и вознице. Он тихонько улыбнулся привычной простодушной улыбкой. Но эти мысли ему наскучили, а ничто другое не приходило в голову. Он крикнул: — Я хочу пить!— и стал напевать «пить»...

Вошел стройный юноша, лет семнадцати. Румянец играл на кротком лице; золотистые волосы были по-детски зачесаны на лоб. Слепленный ярким солнечным светом на улице, он, войдя в сумрачную спальню, стал жмуриться и пробираться вперед неуверенными шагами. Его голубые глаза были мечтательны и как бы подернуты дымкой.

— Ты приказал воды? — спросил он.

— Да, ягненок мой,— взглянув на него, ответил император,— немножечко воды.

Лишь теперь Клавдий заметил, что перед ним — его приемный сын, юный престолонаследник. Это его обрадовало. Во всем дворце он, в сущности, только с ним и мог разговаривать; остальные его даже не слушали.

Юноша испытывал к старцу сострадание и не скрывал своей привязанности к нему. В великодушном порыве он давал отпор насмешкам, которыми осыпали дряхлого, изношенного старика. Он слышал от него много

интересного из истории этрусков: Клавдий когда-то написал о них целую книгу. Юный престолonasледник всегда охотно внимал его рассказам.

Император взял его руку и усадил его на свое ложе. Он стал хвалить его волосы, ниспадавшие пышными локонами, его тогу, его мускулы... Он говорил лишь о нем, болтал всякий вздор, бессвязно выкладывал все, что приходило ему на ум. Давал ему обещания и превозносил его до небес.

Внезапно из-за занавес выступила императрица; словно вездесущая, она умудрялась неожиданно появляться в самых отдаленных залах дворца. Она остановилась у ложа.

Агриппина была все еще величественна; она была высокого роста и гибкая. В ее взоре читались яркие грехи прошлого. Смело очерченный рот был мужествен, лицо бледно.

— Вы здесь! — проговорила она с удивлением, окинув обоих недовольным взглядом.

Клавдий и Нерон поняли причину ее раздражения. Императрица не любила видеть их вместе. С трудом добилась она того, что Клавдий отверг родного сына и усыновил Нерона; последовавшие три года были сплошной борьбой; приверженцы Британника собирались с силами. Агриппина боялась, как бы Клавдий не пожалел о своем обещании и в любой момент не взял его обратно. Она это и сейчас подумала. О чем они вдвоем могли беседовать? Она хорошо знала сына; он был равнодушен к власти и охотно углублялся в книги. Ее губы дрогнули от гнева, и она сурово посмотрела на него, боясь, что он расстроит все ее планы.

Момент казался благоприятным. Во дворце никого не было. Любимец императора вольноотпущенник Нарцисс уехал в Синуессу; главные противники Агриппины: Полибий, Феликс и Посидий отсутствовали. Было бы бессмысленно упустить случай.

Агриппина приблизилась. Клавдий вскочил с ложа и стал мелкими, старческими шажками ходить взад и вперед; он бы охотно спрятался...

Нерон, почувствовав замешательство, обратился к страже императрицы: — Император желает пить.

Один из телохранителей направился к выходу, но Агриппина движением руки остановила его.

— Я сама, — проговорила она, удаляясь; вскоре она вернулась.

Она принесла воду в тыквенной чаше, которую протянула Клавдию. Едва он поднес питье к губам, как упал ничком на мраморные плиты.

— Что случилось? — спросил Нерон.

— Ничего! — спокойно ответила Агриппина.

Нерон взглянул сперва на тыквенную чашу, скатившуюся на мраморный пол, затем, с безмолвным ужасом — на мать.

— Он ведь умирает! — произнес юноша.

— Оставь его! — и она взяла сына за руку.

Упавший больше не поднялся. Его тучный багровый затылок побелел, уста судорожно ловили струю воздуха, а волосы слиплись от выступившего пота.

Нерон в волнении склонился над ним, чтобы почувствовать на своих губах его обрывающееся дыхание — последний вздох, отлетающую душу...

— Ave! — воскликнул он, как того требовал обычай. — Ave! — повторил он еще раз, словно бросая это слово вдогонку удалявшемуся человеку.

— Ave! — насмешливо откликнулась мать.

Тело больше не шевельнулось. Нерон замер на мгновение, затем закрыл лицо обеими руками и бросился к выходу.

— Ты останешься здесь, — повелительно сказала мать, выпрямившись во весь рост. Она была бледна, как простертый рядом мертвец.

— Он был болен? — спросил Нерон.

— Не знаю.

— Я думаю, что он был болен! — пробормотал юноша, пытаясь объяснить самому себе то, что он только что видел...

Агриппина стала отдавать распоряжения. Из коридора доносился ее голос:

— Запереть все двери! Где Британник? Где Октавия? Сновали воины, брящая мечами.

В одну из зал Агриппина приказала запереть Британника и Октавию, которая уже в течение года была женой Нерона.

Нерон был оставлен один в комнате покойного.

Он лицезрел смерть в ее страшной простоте. Тело лежало недвижно; оно будто слилось в одно целое с окружающим; лицо побледнело, быть может — от предсмертного страха; уши стали словно мраморные; нос заострился; прежними остались только длинные седые волосы и дуги бровей, за зловещим спокойствием и равнодушием которых скрывалось столько тайн...

Долго и Нерон не шевельнулся. До сих пор он никогда не присутствовал при смерти человека. Он только читал о ней. Теперь он изумленно взирал на это чудо. Единственное чудо, превосходившее своей непостижимостью само рождение.

Он не удалился даже, когда пришли омыть покойника, натереть его тело благовонными маслами и облачить его в полотняный саван. Ваятель стал лить на застывшее лицо горячий воск. Он снимал маску с усопшего. Во дворце уже темнели еловые гирлянды; вход был украшен кипарисами; ликторы стояли на страже с золотыми топорами и связками прутьев; стены были тотчас завешаны черной тканью.

Погребальное общество снарядило на работу своих самых проворных людей. Из-за каждой двери долетали плач, стон и шепот. Молились жрецы Венеры — Либитины, богини смерти.

Покойный был перенесен на ложе.

— Что ты в нем разглядываешь? — спросила вошедшая Агриппина. — Ведь он умер — ушел.

Она решительно положила руку на плечо сына и вперила в него свои большие глаза.

— Ты будешь держать надгробную речь на Форуме.

— Но я не умею говорить, — простонал он.

— Ты ее прочитаешь повышенным, выразительным голосом! понял? Сенека ее за тебя напишет.

Ответ застыл на робких устах Нерона.

В день похорон тело было перенесено на Форум. Нерон с трибуны прочувствованно продекламировал надгробную речь. Преторианцы трижды дефилировали перед погребальными носилками.

Похоронное шествие было необозримо. Клубилась пыль от пяти тысяч колесниц. Кони ржали, пешие спотыкались, плакальщицы причитали и до крови исцарапывали себе лица, вольноотпущенники несли высоко над толпой статуи и изображения покойного, а актеры воспроизводили предсмертные вопли. Но в то же время увеселители народа, похоронные шуты пародировали смерть, строили гримасы и вращали глазами. Вслед за ними повсюду раздавались взрывы хохота. Гремели звуки разнообразных музыкальных инструментов: труб, барабанов, арф, флейт, особенно — многих тысяч флейт, потрясавших воздух невыносимым гамом.

Жрецы окропляли толпу водой и раздавали, в знак мира, оливковые ветви.

Скончавшегося императора Клавдия тут же провозгласили богом.

### III. ЮНЫЙ ИМПЕРАТОР

На следующее утро, едва успев одеться, Нерон услышал на лестнице шум. Легионеры наводняли зал и выкрикивали его имя. Он еще не сознавал, что это означает; не успел прийти в себя от вчерашнего потрясения.

Несколько воинов из высшей знати схватили, словно вещь, хрупкого светлокудрого юношу и вынесли его на площадь. Там Люций Домиций Нерон, приемный сын Клавдия и законный наследник престола, был провозглашен войсками кесарем.

Его внесли обратно во дворец, точно так же, как вынесли.

Затем его ввели в большой зал, в который он никогда до тех пор не вступал. Всю его длину занимал стол; вокруг были расставлены широкие сиденья с высокими спинками. Мать подвела Нерона к столу. Он сел и рассеянно облокотился; время от времени играл мечом, ко-

торый ему впервые надели; оружие это казалось ему неудобным и тяжелым.

В зале его ожидали военачальники и полководцы, обсуждавшие государственные дела.

Нерон устало оглядел их. Почти все были седые и лысые, изможденные временем и огрубевшие от походной жизни; некрасивые, наглые лица... Веспасиан, сидевший против Нерона, с благоговейным трепетом поднимал на него глаза. Руф напускал на себя выражение сосредоточенного размышления.

У Скрибония Прокула был красный, волосатый нос. Домиций Корбулон, родственник Кассия, казался среди них наиболее умным. В его орлином взоре светилась пронизательность. Бурр, префект преторианцев, воплощал собой самоотверженную преданность человека, прямолинейно и бестрепетно стремящегося к своей цели.

Один только Паллас, государственный казначей, был молоджав. Он цветисто выражался, слегка шепелявил, и одевался подчеркнуто изысканно, подражая знати.

. Началось совещание. Септоний Павлий говорил короткими, как бы обрубленными фразами. Все, чего он касался, становилось скучным. Он постоянно возвращался к исходной точке и бесконечно повторялся. В его речи мелькали «войско» и «флот», «боевые колесницы» и «стенбитные орудия», «мечи» и «стрелы», «хлеб» и «фураж». Он считывал с восковой дощечки столько цифр, что от них мутилось в голове. Он вычислил, какую сумму жалованья казна выплатила за последние десять лет пехоте, всадникам и морякам, и сколько палаток насчитывалось во всей Римской Империи, включая провинции.

Нерон разглядывал оратора. Он обращал внимание не на его слова, а лишь на движущиеся губы, лицо и фигуру. Старый воин имел на лбу внушительную коричневую бородавку, которая приходила в движение, когда он говорил, и подпрыгивала, когда он морщил лоб.

Как только оратор начал снова сыпать цифрами, Нерон наклонил голову и отдался собственным размышлениям. Он не предполагал, что переживания последних дней так сильно на него подействуют. Его мысли, за что бы он ни принимался, постоянно возвращались к ним.

Они не давали ему покоя, пока его себе не подчинили.

Перед его глазами вновь развернулось похоронное шествие во всей его величественной пышности; он увидел над толпой самого себя, произносящего торжественно-скорбные слова об отошедшем, чужом ему человеке. Ясно представился ему его сводный брат, Британник, который обращал к нему искаженное болью лицо и беззвучно рыдал, задыхаясь от слез; он оплакивал отца, отвергшего его, но все же родного...

Император закашлялся. В зале было жарко. Речь еще продолжалась. Оратор говорил о совместной работе войск и сената; в дурманящей духоте слова его расплывались и сливались в сознании Нерона с его собственными думами.

На лице императора отразилось равнодушие; прикрыв рот рукой, он зевнул. Он чувствовал себя чуждым в этой непривычной обстановке и удивлялся собственному присутствию среди всех этих людей. Вступление на престол застигло его врасплох и не обрадовало его. Он постоянно возвращался к мысли о Клавдии. Смерть старого императора казалась ему необъяснимой и жуткой; что с ним случилось? И отчего? Если нечто подобное возможно — все рушится, и он одинок в мире. Император, первый человек в государстве, умирает так же, как и всякий другой; черви пожирают его тело и гнездятся в его черепе... Нерон беспомощно оглянулся, но нигде не нашел ответа на мучивший его вопрос.

Он чувствовал себя слабым, сжатый кольцом более могучих сил. Его охватил страх; ему казалось, что голова закружится, и он упадет. Он ухватился за свое кресло, которое еще недавно занимал старый император.

В эту минуту кто-то коснулся его: Агриппина напомнила ему, что надо встать.

Оратор приветствовал Нерона, простирая к нему руки и величая его императором.

Нерон вздрогнул. Да, слово это относится к нему. Он оправил волосы, падавшие ему на лоб, покраснел и что-то пробормотал...

Позднее он принимал сенаторов; они вручали ему по-



слания из провинций. Наконец, потребовалась его подпись на многих государственных документах.

Уже стемнело, когда он освободился и остался наедине с Агриппиной.

— Мать,— начал он взволнованным голосом, но на этом речь его оборвалась, словно он хотел добавить что-то, чего не решался выговорить.

Агриппина окинула его властным, пронизывающим взглядом.

— Ты хотел о чем-то спросить?

— Нет, ничего,— тихо ответил Нерон.

Он поднялся и прошел к Октавии. С «того дня» они не встречались, и ему теперь захотелось с ней поговорить.

Октавия сидела, забившись в угол, с заплаканными глазами. Нерон пытался ее приласкать, но она отстранилась.

— Не бойся меня,— грустно проговорил он; больше он ничего не мог вымолвить. Он остановился, увидел, что некуда идти: все пути перед ним закрыты.

Он побрел в отдаленный зал в другом конце дворца. Здесь, в пустом зале, он с небывалой остротой ощутил одиночество. Его охватило бесконечное горе и отчаяние. Подозрение и гнев зарождались в его душе. Он подумал об отце, о родном отце Домиции, которого никогда не знал и не видел. Он даже мало о нем слышал. Рассказывали, что Домиций был проконсулом в Сицилии и умер молодым, неизвестно от чего. Нерону было тогда три года. Вскоре его мать вышла за богатого патриция.

Нерон от всей глубины осиротевшей души тосковал по родному отцу и мучился желанием поцеловать его недостижимую руку. Ему вновь и вновь все явственней и властней представлялось его лицо. Отец его не был ни императором, ни бессмертным, ни богом. Каким он был? Нерон мыслил его себе добрым, с страдальческой складкой в углах рта, с кротким и нерешительным выражением лица, как у него самого. И все это бесследно исчезло...

Нерону было невыносимо больно; страстно призывал он умершего.

— Отец! — говорил он, — бедный мой отец! — и оста-

навливался на воспоминании, которое заслоняло собой все остальное.

— Что делать? — спрашивал себя среди окружавшего его безмолвия император, чувствуя на вершине власти головокружение.

Но и на сей раз Нерон не получил ответа. Ниоткуда; ни даже от самого себя. На беззвездном небосклоне показался одугловатый, больной лик луны; он походил на жалкое лицо скомороха и ухмылялся, глядя на Нерона.

Надвигалась ночь.

#### IV. ВОСПИТАТЕЛЬ

Все предзнаменования, как и предсказания астрологов, сулили Римской Империи блестящую эпоху.

Новый владыка явился на свет ранней утренней зарей; первые солнечные лучи осияли его лоб. Также и его вступление на престол было отпраздновано при ясной погоде, днем, когда злые духи, союзники тумана и мрака, не дерзают показываться людям.

Маленький светлокудрый юноша словно держал в руке ветвь мира. Он гулял по городу неопоясанным или появлялся без сандалий на парадах. Император и сенат обменивались знаками почтения и угождали друг другу. Император вернул сенату его прежнее влияние, а сенат, в свою очередь, назвал Нерона «отцом государства». Но юный Нерон встретил улыбкой столь лестное имя и со свойственной его летам скромностью от него отказался; он заявил, что должен заслужить его.

Первым его желанием было возвеличить Рим. Он мечтал о новых Афинах, о возрождении греческого зодчества, о широких улицах и просторных площадях, которые бы создавали впечатление гармонии и в то же время могущества.

Эта мысль поглощала Нерона. Он обходил, в сопровождении своих задчих, узенькие переулки с покосившимися лачугами. Он сам присутствовал при обмерах, вел переговоры и уже мысленно рисовал себе окаймленные мрамором и лавровыми деревьями улицы, которые долж-

ны будут удивить даже афинян. Но вскоре ему и это наскучило. Сгибаясь над планами, он внезапно ощутил бессельность всего на свете.

Страдание его несколько притупилось. Но на смену явился новый недуг, еще более неуловимый и нестерпимый: скука.

Она не имела ни начала, ни конца. Она была бесформенна и иногда даже не выдавала своего присутствия. Именно это ничто и вызывало непрестанную тоску. Сияющим утром Нерон просыпался, устало зевая, и часто бывал не в состоянии встать. Если ему докучало лежать, и он одевался, его снова одолевала дремота и влекла его обратно в постель. Ничто его не интересовало. Особенно тяготили его послеобеденные часы. Он стоял в одиночестве на высокой колонной галерее, внимал людскому говору, смотрел на зелень сада и ни в чем не находил смысла. Его томила головная боль, сосредоточившаяся в виске; за ней обычно следовала тошнота.

Сумерки настигли его в этот день в таком состоянии.

— Мне не по себе,— поведал он Сенеке, поэту и философу, воспитавшему его с восьмилетнего возраста.

— Неужели? — вздохнул Сенека и шутливо покачал головой, словно перед ним находился ребенок, выразивший жалобы, которым нельзя по-настоящему сочувствовать.

Сенека, высокий и худощавый, был облечен в серую тогу. На впалых, желтых как воск щеках алыми пятнами горел румянец чахотки: его всегда после полудня лихорадило.

— Правда,— упрямо повторил император,— я очень страдаю!

— Отчего?

— Сам не знаю! — ответил он раздраженно.

— В таком случае ты страдаешь потому, что не ведешь источника своих мук. Если ты нашел их причину, ты бы ее понял и не испытывал бы столь сильной боли. Мы рождены для печали, и не существует горя, которое явилось бы неестественным или нестерпимым.

— Ты думаешь?

— Разумеется,— ответил Сенека,— на все существу-

ет противоядие. Если ты голоден — ешь, если жаж-  
дешь — пей.

— Но почему человек умирает? — внезапно проронил  
Нерон, как бы обращаясь к самому себе.

— Кто? Клавдий? Или другие? — спросил Сенека,  
чувствуя смущение, ибо до тех пор, вследствие запрета  
Агриппины, Нерон не занимался философией.

— Все. Стар и млад. Ты, как и я. Вот что ты мне  
объясни.

Сенека растерялся.

— В известном смысле... — начал он и остановился.

— Видишь! И ты не знаешь, — горько засмеялся  
Нерон.

— Ты утомлен!

— Нет!

Сенека призадумался.

— Тебе бы следовало на время уехать. Куда-нибудь  
далеко, очень далеко, — и философ сделал рукой широ-  
кий жест.

— Это невозможно! — нетерпеливо перебил его Не-  
рон и стал резко возражать учителю.

Видя раздражение императора, Сенека приблизился  
к нему и, съежившись, как бы весь уйдя в свою тогу, стал  
выслушивать его отповедь.

Он принял, не противореча, все его возражения.

На его устах всегда бывало наготове льстивое слово,  
как будто он имел дело с ребенком, малейший каприз  
которого желал удовлетворить. Сенека не относился  
серьезно к этому юноше, создавшему себе страдания, и  
старался двумя словами исчерпать беседы с ним. Он го-  
рел лишь одним желанием: писать! Стихи и трагедии...  
Величественные, мастерски-отчеканенные строфы, несо-  
крушимые и ослепительные, как белый мрамор. Мудрые  
изречения о жизни и смерти, о юности и старости — веч-  
ные твердые мысли, завоеванные жизненным опытом.  
Вне этого — его ничто не трогало.

Его единственной верой было творчество. Убеждения  
же его, в результате непрерывного мышления и философ-  
ского анализа, окончательно поколебались и всегда скло-  
нялись в сторону того, с кем он в данное время беседо-

вал. Не успевал его оппонент закончить свою мысль, как уже Сенека, еще тоньше и яснее его самого, выражал его мнение.

Сейчас он думал лишь о своей вилле, дарованной ему императором; о том, что следовало бы построить у входа фонтан...

Но, взглянув на Нерона, Сенека заметил, что своими ответами не умиротворил его. Нерон запрокинул голову; взор его был уставлен в пустоту.

Философ боялся потерять расположение императора, в минуту его дурного настроения. Теперь при одной мысли об этом дрожь пробежала по всему его худому телу, изнуренному в одинаковой степени чахоткой и лихорадочной работой мозга; его выцветшие глаза вспыхнули.

В замешательстве он закашлялся.

— Если бы можно было уйти! — закончил Нерон прерванную мысль, — но лишь варвары воображают, что это возможно. Мы же не в состоянии уйти. Ниоткуда; ни даже из этого дворца... Мы всю жизнь несем в себе то, от чего бежим. Наши муки повсюду гонятся за нами.

— Мысли твои мудры, — заметил Сенека, — оттого ты и должен победить в себе страдание.

— Но чем?

— Страданием. Горечь вытравляется не сладким, а лишь горьким.

— Я этого не понимаю.

— Невзгоды побеждаются невздами, — продолжал Сенека: — этой зимой, когда падал снег, я мерз и дрожал в своей комнате. Сколько я ни укутывался в теплые покрывала — я все сильнее ощущал холод. Он подкрадывался ко мне и вцеплялся, как хищный зверь, в мою руку. Я даже писать не мог.

Я стал доискиваться причины своего страдания и открыл, что она лежит не во внешнем мире, не в недостатках комнаты или в морозе, а внутри меня. Я мерз лишь от того, что желал тепла. Тогда взамен тепла я стал призывать холод. Едва меня осенила эта мысль, как я нашел, что в комнате недостаточно свежо. Я сбросил покрывала, снял даже тунику, растер себе тело принесенным со двора снегом, открыл окно и стал дышать

режущий зимний воздух. После этого, поверишь ли, внезапная теплота разлилась по всем моим членам, и, вновь одевшись, я уже не испытывал холода, мог работать и в один присест написал три новые сцены «Тиеста».

— Возможно,— проговорил Нерон с нетерпеливой улыбкой,— но как мне это применить к себе?

— Нагружай на себя горести. Представь себе, что ты желаешь страдать.

— Но я не желаю.

— Существуют люди, которые хотят плакать, терпеть, испытывать лишения. И они считают себя счастливыми, ибо никогда ничего для себя не требуют, кроме боли и унижения. Они готовы принять такое суровое горе, какого нет даже на земле; они в этом стремлении столь ненасытны, что постоянно разочаровываются в своих ожиданиях. Они несут в себе великий покой.

— Ты думаешь сейчас о них! — воскликнул с раздражением император.— О тех полоумных, которые заросли грязью, и у которых гноятся глаза, о смердящих, ютящихся в подземельях и в исступлении бьющих себя в грудь! Ты думаешь о непокорных, о врагах Римской Империи,— и, не назвав тех, кого он подразумевал, Нерон добавил: — я их презираю.

— Я — латинский поэт,— возразил Сенека,— и я ненавижу тех, которые хотят вернуть мир к варварству, не терплю их глупого суеверия. Для них не существует достаточно крестов и секир. Я верю в богов. Ты меня превратно понял,— прибавил он, видя, что Нерон безмолвствует,— я только сказал, что страдание превозмогается страданием.

— Но ты не облегчаешь участь человека, нагромождая на него новые муки. Нет выхода!

Затем, словно его осенила спасительная мысль, Нерон промолвил:

— Какие-нибудь чары все же должны существовать.

— Есть маги,— сказал Сенека,— которые будто бы обладают даром преображать человека.

— Я думаю не об этом.

— Тебе следовало бы читать греческие трагедии. В них — печаль. Черный бальзам для алых ран. Говорят,

что писаное обладает целебной силой... И я сейчас пишу. О твоём венценосном отце. Я представляю усопшего рядом с Юпитером и Марсом...

Философ не dokonчил, ибо император, охваченный воспоминаниями, порывисто встал и, не прощаясь, поспешно удалился.

Сенека немного подождал, затем ушел. Никогда еще не видел он Нерона в таком состоянии. Юношески свежее лицо внезапно исказилось изломанными морщинами, взбороздилось зловещими складками.

«Он верно очень страдает», — подумал Сенека.

Всю дорогу его беспокоило сознание совершенной ошибки; ему не следовало высказываться перед императором. Советы вообще редко приносят пользу. В воротах своей виллы философ все еще сокрушенно качал головой. Он не понимал Нерона, несмотря на то, что изучил каждое его движение еще с его раннего детства. Ему казалось, что для него Нерон всегда останется маленьким мальчиком, который, притаившись у его ног, внимал его наставлениям.

## V. НОЧЬ БОРЬБЫ

Кончив вечернюю трапезу, император лег в постель, чтобы погрузиться в благодатную безмятежность сна... Он тотчас задремал, но через несколько минут вскочил: страх разбудил его.

«Нет для меня лекарства», — подумал он.

Его окружала ночь; мягкая, бархатная, непохожая на другие; непроглядно-черная, безбрежная ночь, в бездну которой он падал. Последнее время его часто охватывало это ощущение. Просыпаясь, он не сознавал, где находится и как долго спал: минуту ли или целый год? Предметы теряли свои очертания, расплывались в пространстве; окно подступало к кровати, дверь убежала...

Он протер глаза, но голова продолжала кружиться.

Извне доносилась незатейливая мелодия. Она как бы сливалась с тишиной и, если не вслушиваться, терялась в ней. Кто-то играл на флейте, очевидно вблизи дворца. Ему, должно быть, не спалось, и он вновь и вновь упорно

и ревностно наигрывал свою песенку, состоявшую всего-навсего из нескольких тонов.

Нерон призадумался. «Кто бы мог быть этот флейтист?» — Он посмотрел из колонной галереи в сад, но никого не увидел... Музыкант оставался незримым, как сверчок.

Утром император приказал разыскать его. К нему привели девятнадцатилетнего египетского юношу. Он не знал своих родителей, но казался счастливым и удовлетворенным. С помощью переводчика Нерон допросил его.

— Как тебя зовут?

— Эвцерий.

— Ты военный музыкант?

— Нет.

— Зачем ты тогда играешь на флейте?

— Это доставляет мне радость.

— Кто тебя научил?

— Никто.

Ночью Нерону опять не спалось, и он снова прислушивался к песне флейтиста.

— Вот счастливец! — подумал император.

Он еще долго метался. Кошмары следовали один за другим. Когда он, наконец, проснулся, перед его глазами, в пустыне мрака, ожили поблекшие, давно закатившиеся воспоминания.

Он снова бродил по забытым улицам и покоем, виденным в детстве. Он вновь жил в доме своей милой, веселой тетки Лепиды, где были деревянные лестницы и темные помещения. Во дворе, среди осыпавшихся камней и из расщелин мраморных плит росли высокие травы и причудливые цветы. Нерона привезли туда после смерти отца трехлетним мальчиком; там он рос. Он жил в полутемной тесной комнатке вместе с канатным плясуном из цирка Максимум.

Это был долговязый мальчик, тонкий, как веретено, с длинной шеей и костлявыми скулами. Он очень нравился Нерону и был первым человеком, который его заинтересовал и возбудил в нем зависть.

Молодой плясун мало ел, чтобы не полнеть. Вечерами он упражнялся в своей комнатке. Он взбирался на



канат и, когда думал, что его маленький сосед спит, принимался плясать. Но Нерон, лишь симулировавший сон, с бьющимся сердцем следил за ним из своей кровати; он еще не понимал, что все это означает, но ревниво хранил тайны своих наблюдений.

Каждый вечер он дожидался маленького актера и видел, как его легкое тело колеблется на канате, словно от дуновения ветра; на стене, при слабом огоньке маленького светильника, вырисовывалась капризно порхающая, фантастически удлиненная тень.

Был у Нерона и другой сосед: друг циркового плясуна, называвший себя цирюльником. Но его никогда не видели стригущим или бреющим кого-либо. С утра до вечера он болтал. Добродушный шутник, он подражал крику петуха, бляенью овцы, шипению змеи. Он был также чревоушателем, притом столь искусным, что всех вводил в заблуждение... Он забавлял весь дом и особенно любил маленького Нерона.

Он брал его на колени, сажал к себе на спину, убегал с ним в глубь сада...

Император изумился ясности, с какой мысленно видел теперь перед собой плясуна и цирюльника; оба были друзьями его раннего детства; до сих пор он о них никогда не вспоминал.

Он снова крепко уснул; храпел после обильной вечерней трапезы и говорил со сна.

Разбудил императора собственный крик, он испугался своего же бреда и сердцебиения, отдававшегося в ушах глухими ударами.

— Что за ночь!

Нерон приподнялся и посмотрел в окно, не светает ли. Но все было еще окутано мглой; только флейтист играл невыразимо-нежно. Нерон упал обратно на подушку... испустил стон... затем стал издавать звериные звуки, подобные реву первобытного дикаря; замирая, они переходили в тихую жалобу.

Если бы он только мог петь или по крайней мере кричать! Громко кричать, чтобы услышали все: и злые духи под землей и бессмертные боги; чтобы спящий

вскочил и внимал ему одному: не императору, а тому, кто поет, вопит, рычит — внимал бы его могучему голосу!

Он мрачно задумывался над тем, что делать, словно предстояло осуществить нечто исключительное; затем порывисто вскочил с ложа. Два раба, стоявшие на страже у опочивальни, зажгли факелы и проводили императора в столовую. Зевнув, он приказал подать еду, хотя вечером насытился до отказа.

Он чувствовал горечь во рту и потребовал, для вкуса, сладостей. На продолговатом стеклянном подносе принесли сахарную рыбу с остовом из орехов; в серебряных чашах подали ломти апельсина, утопавшие в меду; на золотой посуде была разложена тонко нарезанная дыня, приправленная корицей и имбирем. Она плавала в густой, сладкой пене. Нерон размешал ее тонкими палочками, которые затем поднес к иссохшим губам.

Он был возбужден и не находил себе покоя; ничто его не удовлетворяло. Ему хотелось вина. Он осушал кубок за кубком, окружающие предметы словно обрушились на него, и он стал их особенно остро воспринимать: его приятно щекотал терпкий запах обивки из крокодиловой кожи, и в то же время он жадно вдыхал аромат роз, украшавших зал.

В смятении, от которого учащалось биение его сердца, в забытии и одиночестве сидел он за столом и не скушал. Настроения в нем быстро сменялись. Он следил за отблесками горящих факелов и не замечал, как пролетает время. Забрел рассвет. Летнее утро внезапно наводнило потоками фиолетового света императорские сады и залы; город и окрестные холмы словно запылали.

— Я хочу остаться один! — крикнул Нерон стражнику, удаляясь во внутренние покои.

— А если кто-нибудь пожелает войти?

— Никого не допускать.

— Императрица Агриппина велела доложить о себе.

— Меня нет!

— А если придет Бурр?

— Я ушел.

Нерон приказал запереть двери. Он выбежал на середину комнаты; он так истосковался по одиночеству,

что рвался ему навстречу. Снаружи долетали обрывки слов. Нерон зажал уши. Он терпеть не мог этот жесткий латинский язык! Ему хотелось бы слышать всегда только греческую речь...

Он сумрачно сосредоточился. Что-то в душе подсказывало ему, что сейчас исполнится долгожданное: откроется новый путь. Развязка недалека!..

Окутанные туманной пеленой его оведали жарким дурманом словно претворившиеся в плоть слова... Он желал захватить их в плен. Воинственным движением приговорился он к борьбе...

Но в то же время он испытывал девичью робость; дыхание его прервалось...

Все, что он выстрадал недавно и в былые годы — вновь всколыхнулось в нем, и на него снизошла чудесная, доселе неведомая чуткость. Он трепетал; слезы заволокли глаза.

Он плакал от наплыва чувств и от вина; два хмеля как бы слились воедино. Все, что он в жизни перетерпел, болело в нем теперь в тысячу раз сильнее, чтобы вмиг — перестать болеть.

Следуя смутному побуждению — он стал писать. В стройной гармонии выливались великолепно звучащие греческие гекзаметры. Но у Нерона зарождалось недоверие к собственному стиху; он вникал, испытывал, исправлял; был мрачен, как убийца, готовящийся к решительному и роковому преступлению.

Нерон писал о царе Агамемноне, убитом собственной супругой Клитемнестрой.

И об Оресте, оплакивающим отца, доблестного вождя и богоподобного героя, бледное, окровавленное лицо которого, с печальной улыбкой на устах, словно смотрит на осиротевшего сына.

То, что прежде Нерон улавливал как бы сквозь туман — ныне осветилось; покрывало, навевавшее предчувствие, но скрывавшее тайну, приподнялось... Покорно, один за другим, падали дымчатые покровы и пробивались образы, пронизанные ярким светом, явственно долетали их голоса...

Нерон стал проясняться... Жуткое — его блаженно

волновало, страшнее — ввергало его в упорительное оцепенение и восторг. С каждым мгновением росла его уверенность в себе. Он чувствовал себя властелином слова. Нужно было лишь писать — неустанно писать... Вдруг он остановился... Он увидел перед собой свое законченное произведение. Отбросив палочку, которой он писал, и взяв другую, он запечатлел еще несколько слов. Затем он стал резвиться от радости, как ребенок; скакал, размахивая руками, не знал, как излить свой восторг.

В комнату врывался ослепительный свет.

Оставалось только отделать стихи. Нерон и с этим быстро справился. Указывая на восковые дощечки, он крикнул во все горло: — Кончено! Кончено! Кончено!

Ему подали колесницу. Он был исполнен непередаваемого блаженства и спокойствия, невыразимой гордости. Он мчался по городу; под ним словно бежала земля, над ним — небо, по сторонам — дома; все пришло в движение, все ожило; возница погонял лошадей, чтобы они еще быстрее летели к той новой, неизвестной и необъятной жизни, которая отныне приобрела для Нерона великий смысл. В то время как струя воздуха резала его посвежавшее лицо, а золотистые кудри на ветру развеивались, грудь его бурно вздымалась: в нем кипела молодость, и перед ним открывалось безграничное будущее, заключавшее в себе все возможности.

Возвратившись домой, Нерон занялся делами. Он принял Бурра и нескольких патрициев. В тот же день он распорядился, чтобы солдатам к обеду дали вино.

## VI. ПЕРВЫЙ ШАГ

Радость Нерона постепенно принимала определенный облик. Она перевоплотилась; теперь он мог ее созерцать и оценивать.

Насытившись собственным восторгом и не находя в самом себе новых открытий, он испытывал потребность сообщить свою радость другому человеку. Он послал за Сенеккой.

Мудрец вошел, охваченный неприятным воспоминанием их последнего спора.

— Император! — произнес он, торжественно приветствуя Нерона.

Нерон запротестовал.

— Не называй меня так. Ты меня этим только смущаешь. Не ты ли воспитал меня? Тебе обязан я всем самым ценным!

— Ты милостив!

— Называй меня сыном, ибо ты мне отец.

Император подошел к нему и смиренно, с сыновьим благоговеньем, поцеловал его.

Сенека охотно продолжил бы их философскую беседу, но Нерон ласково его прервал.

— Расскажи мне, что ты теперь пишешь, — спросил он.

— Я заканчиваю третий акт «Траста».

— Как он тебе удается?

— Кажется недурно.

— Я хотел бы его послушать!

— Разве это тебя так интересует? — с удивлением спросил Сенека, ибо император никогда раньше не выражал подобного желания.

— Да! Очень!

Сенека для вида стал скромно отказываться, но затем все-таки прочитал весь акт.

С первой же сцены — Нерон начал скучать. Он не мог сосредоточиться на этих стихах, проникнуться их построением, почувствовать их изысканность и пафос.

Он искоса поглядывал на рукопись, с нетерпением ожидая ее конца. Но Сенека читал долго. Тем временем император, поглощенный своими думами, закрыл глаза и про себя повторял собственную элегию. Когда наконец чтение драмы закончилось, он встал.

С притворным, преувеличенным энтузиазмом он обвил учителя.

— Великое произведение! — воскликнул он, — такого ты до сих пор еще не создал. Оно — совершенство.

Сенека продолжал оставаться под чарами собственных упительных слов. Чтение его утомило; он вытер лоб и стал рассеянно искать чего-то глазами, словно только

что проснулся. С трудом подобрал он вежливые обыденные слова, чтобы поблагодарить императора.

Нерон нетерпеливо расхаживал взад и вперед. Прислушиваясь к трепету своего сердца, он, наконец, сказал:

— И я кое-что написал. Элегию...

Сенека не сразу понял.

— Ты? — переспросил он.

— Да,— заговорил Нерон робко и взволнованно.— Я попытался... Об Агамемноне...

— Трудная тема! — Ответственная задача! Если бы, быть может... но я даже не смею тебя об этом просить... я подумал только, что если бы ты мне ее прочел...

— Тебе бы это наскучило!

Сенека театральным жестом изобразил протест.

— Нет! — проговорил император,— я не могу тебе ее прочесть. Она длинная, очень длинная. Впрочем, я согласен, но при одном условии: обещай прервать меня, как только тебе наскучит!..

И Нерон тут же начал декламировать свою элегию на смерть Агамемнона.

— Понравилось? — порывисто спросил он, едва успев кончить.

— Чрезвычайно!

— Будь откровенен!

— Я откровенен,— ответил Сенека, нарочито взволнованным голосом.— Особенно хорошо начало!

— И у меня такое же чувство... Да, начало! Оно мне удалось! А конец?

— Тоже прекрасен! Какое великолепное сравнение:— «Ночь — подобна печали»...

— Да,— проговорил Нерон,— и мне понравилось это уподобление!

Сенека украдкой потирал щеки, словно сляясь стереть равнодушие, которое, как серая паутина, заволокло его лицо под влиянием растянутых, деревянных стихов Нерона.

Ему хотелось, чтобы щеки его запылали, дабы он мог лучше изобразить восторг. Он чувствовал, что должен что-то сказать.

— Отрадно,— проговорил он,— что уже первое произведение — так удачно.

— В самом деле?

— Да, очень!

— А не слишком ли оно длинно?

— Отнюдь нет! Читателя надо подготовить, соответственно настроить...

— Я ведь мог бы сократить его,— с притворной ученической готовностью предложил император.

Он это сказал с исключительной целью вызвать новые похвалы и тотчас, как лиса, насторожился.

— Каждая строка стихотворения не может быть образцовой,— проговорил учитель,— но вместе взятые они составляют нечто цельное и гармоничное.

— Значит, мне не следует ничего вычеркивать?

— Разве только из середины...

— Что именно?

— Быть может...— Сенека запнулся.— Он взял рукопись и с опытностью посвященного поэта сразу наткнулся на нужные строки: — Быть может, изъять вот это?

— Эго?

— Впрочем,— сказал Сенека,— и этого жаль. Все построение было бы нарушено. Кроме того — строфы эти имеют такой чудесный ритм!

— Чудесный ритм!.. «Скорбный родитель» — шестистопный размер! «В подземном» — цезура в середине третьей стопы! — и император начал скандировать свое стихотворение: «Скорбный родитель, в подземном мраке...»

Он ничего больше не хотел слышать — только себя, свой голос, свои стихи. Он их еще раз прочел, с нарастающим чувством, со слезами на глазах, с обрывающимся дыханьем... Каждое слово он сопровождал широкими жестами и всю элегию окутал в облака собственных эмоций.

Он был исполнен своим произведением, как человек, сам того не зная, заполнен собой, туманом и чадом собственной крови, которые застилают его мозг и ослепляют его глаза.

Императора охватил страх за свои стихи: вдруг они перестанут нравиться Сенеке, или даже ему самому! Поэтому он читал более слабые места с особым подъемом и экспрессией, как будто их несовершенство было нарочитым поэтическим приемом.

Ему была знакома каждая буква текста, в котором он сконцентрировал все страдания мучительных долгих недель. Он уже должен был бы опротивить ему, как давно несменная рубашка, пропитанная потом и испарениями собственного тела.

Но Нерон, напротив того, пытался выявить все новые стороны своего произведения, дабы и у Сенеки вызвать то неожиданное чувство, которое изумляло его самого в период первых восторгов творчества.

Никогда прежде не ощущал он такого лихорадочного трепета, — он, венценосец, властелин мира!

Он воспарил на крыльях стиха, но в поднебесьи дрогнул. Сердце так буйно билось, что заглушало в его сознании собственный голос. Однако, у него еще хватало силы украдкой поглядывать на Сенеку. Учитель сидел на низкой скамье; с притворным интересом повторял он отзвучавшие строфы элегии, шевеля тонкими, льстивыми губами.

Он не высказывал никаких возражений, а лишь одобрительно покачивал головой, поощрял, расточал непомерные похвалы... Но слова его как будто противоречили выражению глаз.

Заметив это, Нерон стал терять нить: он смотрел больше на Сенеку, чем на рукопись. Он понял, что учитель в душе не одобряет его стихов, и стал хитро обороняться. Он пропускал мимо ушей поощрительные слова, дабы не вызвать вслед за ними искренней критики. Ему хотелось продлить эту неизвестность, ибо сменить ее, казалось ему, могло лишь страшное ничто. Он держал себя высокомерно, резко, непреклонно. Но за одно слово — он отдал бы все, был готов целовать ноги старого учителя.

Какого он ждал слова или знака — в этом он не отдавал себе ясного отчета.

Но он представлял себе некую огромную, струящуюся



ему навстречу теплоту, излучаемую и влажным взором, и лбом, несущим отблеск ответного вдохновения.

Теплоту, в которой боль, замкнутая в его стихах, растопилась бы и стала бы достоянием другого человека...

Этот знак, трепетно-жданный, всеопределяющий и всеразрешающий — не являлся ему.

Но дойдя до конца элегии, которую он уже вторично читал Сенеке, он почувствовал, еще при последней строке, лихорадочное возбуждение. Гордым движением он кинул рукопись на стол.

Он был удовлетворен.

## VII. СОМНЕНИЕ

День за днем Нерон, почти счастливый, пребывал в этом полусознательном состоянии. К нему вернулся прежний покой и даже сон. Он вновь и вновь перечитывал свое произведение; оно смягчало его страдание. Он созерцал в нем самого себя, как безобразный человек, который лишь в сумерки наблюдает в зеркале свое лицо. Нерон пока еще боялся света...

Затем он пробудился от опьянения, и оно сменилось отвращением. Снова бродил он с шемящей головной болью и не смел даже думать о своей элегии.

Когда он внезапно извлек ее, он вскрикнул от стыда.

Пустота зияла в каждой строке. Избитая мысль, расплывчатые эпитеты, нестройно-перемешанные, тусклые краски. Ему претило от скуки, непередаваемой и нестерпимой, которая притаилась в каждой букве его стихов, и которую нельзя было изжить никакими стонами.

Когда-то в горячке ему приснилось, что у него, во рту — раскаленный песок, впитывающий его слюну и хрустящий в зубах. Теперь его преследовал подобный же кошмар.

Он изобличал себя в бездарности и тупости, терялся в бессмысленной пустоте своих стихов. Наконец, исполненный мук, он принялся за их исправление.

Он выкинул середину, вследствие чего образовалась брешь, пристегнул начало к концу, а конец — к началу,

переделал гекзаметры в нентаметры, собрал части в прежнее целое и начал снова писать, но уже без настоящей веры.

Он отделивал стих, вставлял новые строки, и произведение все разрасталось, став в десять, двадцать раз объемистей, чем он желал. Оно было подобно переросшему его чудовищу, угрожавшему поглотить его.

Изнемогая, Нерон остановился. Он не захотел даже прочесть написанное, отказался от него. Вспомнив о Сенеке, он воскликнул прерывающимся голосом:

— Спаси меня! Я этого не перенесу! Я погиб!

Философ ничего не понял, пока не заметил у Нерона рукописи.

Он подсел к воспитаннику.

— Успокойся! — проговорил он, ласково улыбаясь.

До этой минуты он полагал, что император не интересуется больше своим произведением, что он предал это забвению, как это сделал он сам.

— Оно вышло скверно! — проворчал Нерон, — очень скверно!

С лица Сенеки не сходила улыбка.

— Ты улыбаешься! — укоризненно сказал Нерон.

— Щеки твои румяны, глаза — юны и блестящи.

Лишь мимолетное облачко заслонило солнце!

— Я не удовлетворен, — проговорил император подавленным голосом.

— Это мне с давних пор знакомо! — ответил Сенека. — Таковы все поэты.

— Разве и другие это испытывают?

— Разумеется, — подтвердил учитель, отечески его успокаивая. — Впрочем, не все; только хорошие поэты. Плохие — те в себе уверены. Они всегда собой довольны, ибо они слепы. Лишь истинные творцы чувствуют все трудности искусства, знают, какая пропасть лежит между тем, к чему они стремятся и что создали!

— Ты только утешаешь меня!

Сенека взглянул на императора; увидел его ожесточение и зловную мрачность и проникся состраданием.

— Нет, — проговорил он, — ты не нуждаешься в утешении!

— Значит, мое произведение действительно не плохо?  
— Не только не плохо, но...— Сенека сделал паузу,— великолепно! Поистине великолепно!

Нерон просиял; однако с тенью сомнения спросил:  
— Могу ли я тебе верить?

Сенека с притворным интересом потребовал рукопись. Но, коснувшись ее, он невольно поморщился, словно его заставили ласкать отвратительное липкое насекомое.

Стихи были перегружены мифологическими образами; ритм их был вылощен; они были безнадежно-серы. Мудрец знал, что ни произведению, ни автору — ничем не помочь.

Чтобы тем не менее как-нибудь реагировать, он оставил выбор на первом, менее скверном варианте, вычеркнул несколько строк и вместе с Нероном прочел всю элегию.

Оба казались одинаково восхищенными. Император был вне себя от счастья.

— Видишь, я был прав! — торжествуя воскликнул Сенека.

— Да!

— Обещаешь ли ты мне бросить всякие сомнения?

— Обещаю,— пролепетал Нерон, задыхаясь от восторга.— Но пойми причину моих мучений. Я постиг, что самое прекрасное и возвышенное в мире — творить. Одно только это ценно; больше ничто! Признаюсь: я всегда мечтал быть поэтом. Но если мне это не по силам, тогда...— он растерянно оглянулся вокруг,— тогда — что мне остается делать?

— Как ты скромн, император,— проговорил Сенека, с оттенком того ревнивого чувства, которое пробуждается в поэте, когда другие превозносят его искусство, и он узнает, что и они приобщались к его восторгу.

— Нет, я не скромн. Знаешь ли,— доверчиво начал Нерон,— после того, как я написал элегию, я выехал на прогулку. Кони словно летели. Все кругом дышало красотой и свежестью. Мне казалось, что вместе со мной мчится лето. Меня как будто охватывало и уносило пламя...

— Ты — подлинный поэт! — сказал Сенека, — только поэт может так говорить. Обо всем этом тебе следовало бы написать.

— Об этом?

— Да. Обо всем, что у тебя на уме. Как только возникает мысль — запечатлевай ее! Дитя! Перед тобой бесконечный путь совершенствования. Ты молод, а истинное искусство принадлежит старости...

Образ юного стихотворца на троне пленил честолюбие Сенеки. Ему льстило, что с высоты престола прислушиваются к его словам. Перед ним открывались широкие горизонты. Дружеские, сердечные отношения между им и императором с каждым днем крепились.

Сенека намеревался использовать пробудившуюся страсть Нерона. Ему хотелось, искусно оплетая его своим влиянием, склонить правителя государства к кротости и гуманности. Он не мог представить себе лучшего случая помочь и императору и девяностомиллионной массе его подданных.

«Быть может, — думал он, — Калигуле и подобным ему правителям недоставало лишь преданного советника, лишь капли любви».

Сенека превозмог последнее, доселе непобежденное колебание, и заговорил с Нероном, не спускаясь со своих высот, словно сам восседал на престоле.

— Ты одарен не только, как поэт, — сказал он, — ты и мудр; оттого ты мудро свершил свой выбор. Лишь теперь, — мир твой. Власть имущие управляют им, но только поэт им обладает, господствует над ним, несет, как Атлас, землю на своих плечах. Без искусства — действительность пуста. Ибо даже мудрец не столь счастлив и совершенен, как поэт. Мудрость может иногда предупредить зло, поэзия же претворяет в красоту даже постигшую нас невзгоду. Восемь лет провел я в изгнании, вдали от Рима, на острове Корсика, среди сумрачных скал и еще более мрачных варваров. Меня посещали лишь приносящие лихорадку москиты и горные орлы. Я, несомненно, погиб бы, не будь я поэтом. Но в этом страшном одиночестве я закрывал глаза и переносился туда, куда влекла меня мечта. Лишь в грезах — действительность.

— Лишь в грезах — действительность, — шепотом повторил Нерон, глядя на вдохновенного старца.

— Властвуй над людьми, — продолжал Сенека, — но властвуй и над самим собой силой поэзии. Иди вперед. Находи вечно новое. И всегда, неустанно пиши. Не заботься об отжившем; оставь его; дай ему пасть, как падают с дерева иссохшие листья...

Нерон с благодарностью внимал ему, как неизлечимый больной, которого обольщают надеждами.

— Читать ли мне? — спросил он.

— Нет, — встревоженно ответил Сенека.

— Отчего?

Учитель стал опасаться за свое влияние. Он не желал, чтобы Нерон узнал поэтов, более великих, чем он, Сенека.

— Я хотел этим сказать, — пояснил он, — чтобы ты читал лишь избранных.

— Кого?

Сенека сосредоточился, как врач, прописывающий диету.

— Читай Гомера и Алкея, — посоветовал он, — пожалуй, еще Пиндара. Но Тиртея — пока оставь.

— Ты должен прежде всего жить, — наставлял императора старый философ, — ты ведь еще не знаешь жизни, а в ней — источник всякого опыта. Молодость улавливает лишь поверхность, внешнюю оболочку, но не замечает скрывающейся под ней глубины.

Отсюда, с высоты престола, ты не видишь яркой картины жизни. Тебе следовало бы немного спуститься; ко всему присмотреться. Мы об этом еще поговорим...

— Хорошо, — послушно пролепетал император. — Vedi меня, — добавил он, словно во сне.

## VIII. ШКОЛА ПОЭТОВ

Император много работал. Ночью возле его постели всегда лежали палочки для письма, и он записывал все мысли, приходившие ему на ум. Он закончил несколько произведений; в том числе идиллию, посвященную Дафнису и Хлое и оду Аполлону. Он начал также писать

трагедию, которая выливалась у него с чудесной легкостью.

Нерон был доволен собой. В течение года у него накопилась целая библиотека собственных произведений, на которые он с гордостью взирал.

Он распределил свое время так, что не оставалось ни одной незаполненной минуты; все, казалось, приближало его к его великой, единственной цели. Он набросился на занятия; много читал и время от времени заучивал наизусть стихи, дабы их музыка проникла ему в душу и пробудила в ней вдохновение.

После занятий Сенека уводил императора гулять, объяснял ему все окружающее и обращал его внимание на вещи, которые он раньше даже не замечал. Ученик казался восприимчивым.

Впоследствии, по указаниям воспитателя, он продолжал свои наблюдения уже самостоятельно.

Он посещал со своими зодчими предместья, где строительные работы производились медленно и без энтузиазма. В то время, как зодчие совещались, он возвращался к носилкам и углублялся в кривые и грязные переулки, где, скучившись, ютились бедняки и отовсюду выглядывала невероятная нищета.

В канаве, на поверхности воды плавали нечистоты; на улице погонщики ударами палок гнали своих мулов меж подвальных сапожных мастерских и приземистых кабачков; на краю рва валялись дохлые собаки и кошки. Императору ударяло в лицо нестерпимое зловоние. Этот ужас запустения и пугал, и зачаровывал его.

Нерон, чувствующий себя прежде оторванным от жизни и соприкасавшийся с ней лишь вынужденно, поскольку этого требовал долг, теперь, захваченный окружающим, приказал опустить носилки.

Люди высовывали головы из лацуг, но тут же испуганно исчезали, как будто над ними разверзлись небеса. Нерон наблюдал. Навязываемое ему на уроках — теперь овладело им. Его волновали эти незнакомые люди, с их тяжкой судьбой и чуждыми ему желаниями; его разжигало мучительное любопытство: ему часто хотелось за-

глянуть в глубину этих неведомых существ. Долго смотрел он вслед всякому ускользавшему под ворота нищему.

На краю рва сидела старушка; она растирала опухшие, покрытые струпьями ноги. Нерон посмотрел на нее.

— Больно? — спросил он с вызывающим любопытством.

Старушка подняла на него тупой взгляд и ничего не ответила.

— Сильно ли у тебя болят ноги? — переспросил император, повышая голос; в его душе боролись жалость и жестокость.— Хотелось бы тебе, небось, чтобы ноги перестали болеть. Чтобы ты могла бегать, как в двадцать лет? А?

Старушка и на сей раз не ответила, но слезы покапались по ее щекам...

— Не плачь! — сказал Нерон с поблескивающими глазами, и задорно добавил: — Ведь и у меня больные ноги! Потому я всегда в носилках!

Он уже несколько раз проделывал подобные шутки: шел по пятам прохожих, не подозревавших, что он император, и в страхе ускользавших от упорного преследователя; или расточал похвалы уродливым девушкам, красивым же — пытался внушить, что они безобразны. Ему было смешно переворачивать все наизнанку.

Государственными делами Нерон почти не занимался, но все-таки пользовался в это время славой доброго правителя. Его равнодушные принималось за незлобность, его скука — за кротость.

Вместо него правила Агриппина. Она и прежде за занавесами присутствовала на всех заседаниях сената. Теперь она открыто занимала на них председательское место и вершила судьбы государства, совместно со своим возлюбленным Палласом. Они вдвоем повелевали.

На одном из совещаний Сенека предложил избрать Нерона консулом, дабы привлечь императора, всецело поглощенного поэзией, к государственной деятельности.

Но и после этого Нерон редко появлялся в сенате.

Сенека направлялся к императору с намерением прекратить его за это. Нерон был не один. Он беседовал с двумя странными личностями.

— Ты незнаком с ним? — спросил он Сенеку, указав на одного из них, нечесаного, неопрятного, с болтавшими ремнями сандалий.— Это Зодик.

Философ окинул его взглядом.

— Он тоже поэт,— объявил император.

Зодик, неуклюжий, коренастый, с приплюснутым носом и моргающими глазами, смотрел на Сенеку со страхом и безграничным благоговением, снизу вверх, как побитая собака.

Философ его, разумеется, не знал; такого рода «поэты» сотнями шныряли по Форуму. Это были завсегдатаи кабачков; прихлебатели, неспособные выпустить книгу и лишь навязчиво читавшие свои стихи прохожим, которые награждали их тумаками.

— Фанний,— представил Нерон второго посетителя, несколько более худощавого, носившего потертую тогу. Он едва осмелился выскользнуть из тени.

— Он тоже...— начал Нерон.

— Поэт? — насмешливо подсказал ему воспитатель.

— Да, он пишет стихи, много стихов.

Сенека взглянул на всех троих, и картина стала ему ясна. Было видно, что они не первый день знакомы. Эти навозные жуки, выползшие из мусорных ям Рима, случайно попались Нерону на его пути. Они пристали к нему, как ко всякому прохожему, не были ему противны и оказались весьма скромными.

— Я совсем не знал...— начал озадаченный Сенека.

— Они весьма забавные малые,— пояснил император,— большие оригиналы.

Сенека посмотрел на них менее сурово.

— Отчего вы молчите?—спросил он, побеждая брезгливость.

Действительно, в присутствии учителя Зодик и Фанний еще не проронили ни звука. В ответ на заданный вопрос они лишь безмолвно пошевелили губами.

— Не смущайтесь! — воскликнул император,— будьте, как всегда, посмелей!

Бродяги приободрились. Они начали перебраниваться и поносить друг друга с выразительными кабацкими



ухватками. Их говор представлял собой язык литературных фигляров предместья, от каждого слова которых несло зловонием.

— Слышишь? — с хохотом спросил Нерон.

— Да, они мне знакомы! — ответил Сенека.

— Сейчас ты увидишь, что они проделывают на улице. Они ужасно заняты! Выйдем вместе!

Нерон беззаботно сбежал с холма. В нем кипел бессмертный задор молодости. Он издавал громкие крики и выпускал нечленораздельные звуки; это его от души веселило. Зодик и Фанний возглавляли шествие, а позади устало плелся Сенека.

Нерон взял с собой лишь одного раба, освещавшего путь огоньком оправленного в бронзу фонаря.

По дороге проходили утомленные, запоздалые пешеходы; они плелись домой. Зодик и Фанний стали с каждым почтительно здороваться. Владельцы красочных и мануфактурных фабрик и богатые бакалейщики приветливо им отвечали; но затем замедляли шаг и оборачивались, силясь вспомнить, кто эти два незнакомца. Однако они тщетно ломали себе голову и в недоумении продолжали путь.

— Разве это не забавно? — спросил Нерон, у которого от смеха полились слезы, — каждый встречный, словно живая кукла. А теперь — вынь медяки! — приказал он Зодику.

Зодик извлек из кармана монету в один асс и бросил ее под ноги проходившему патрицию. Патриций остановился. Подумал было, что ошибся, но, увидя у ног монету, подобрал ее, затем спокойно направился дальше, полагая, что по рассеянности уронил эти деньги.

Нерон воодушевился:

— Особенно забавно, когда целая семья тянется домой. Отец, мать и кормилица с младенцем. Звон денег бросает их всех на колени. Даже богатых! Они часами обшаривают землю, находя в этом занятии особое удовольствие.

Нередко Нерон принимал личное участие в подобных затеях и так увлекался, что не мог обуздать себя. Одна-

жды он кинул почтенной патрицианке монету, ударившую ее в щиколотку. Аристократка сделала ему выговор. В ответ Нерон принялся с ней балагурить, а встретив отпор, ушипнул ее в подбородок и грудь. В непроглядной темноте этой ночи император получил от сопровождавшего ее мужа здоровую трепку. На следующее утро он узнал, что имел дело с сенатором Юлием Монтаном.

С этого дня Нерон стал всегда выходить из дворца переодетым. Актер Парис гримировал его и подбирал ему костюмы. Иногда он наряжал его простым воином, с коротким, широким мечом, иногда — эдилем, народным трибуном или бродягой.

В первый вечер император одел засаленную, платанную куртку и лоснящийся, неприятно-пахнущий головной убор, какой в дождливую погоду носили римские возницы. Он отплевывался и сквернословил.

Вокруг цирка Максимус в этот вечер толпился народ. Нерон смешался с толпой. Зодик засунул два пальца в рот и издал пронзительный свист. Из деревянных барачков, окружавших цирк, выскользнули веселые «девицы», египтянки и гречанки. Они прошли мимо Зодика, приплясывая и жалко кривляясь. Он облюбовал одну из них, уже немолодую, и подозвал ее.

— Остановись на мгновение, кошечка!

Но она прошла мимо.

— Богиня! — крикнул ей вдогонку Фанний.

Нерон и Сенека стояли в стороне. Девица передумала и вернулась к Зодик.

— Что тебе надо? — спросила она. Она не привыкла к таким знакомствам. Обычно к ней обращались лишь рабы.

Зодик стал с ней сговариваться. Нероном овладело непреодолимое искушение; он оставил учителя и в своем наряде возницы подскочил к девушке.

— Душечка, — томно протянул он, подражая Зодик, — я еще никогда не видел такой красавицы! — и он соорудил умильную гримасу, заимствованную у Фанния.

— Как она говорит! — шепнул Зодик.

— А движения! — восхищенно потакал Фанний.  
Девушка пожала плечами.  
— Не насмехайся!  
— Я не насмехаюсь, — возразил Нерон, тоном заносчивого возницы. — Ты мне нравишься!  
— Пойдем!  
— За тобой — хоть на край света!  
— Кто ты? — спросила девушка хриплым голосом.  
— Разве ты не видишь? Я возница в знатном доме. Сегодня на утренней прогулке хозяина выбросило из колесницы. Потому я бездельничаю.  
— Неправда, ты не возница!  
— Кто же я?  
— Кто-то другой, — проговорила девушка, с любопытством всматриваясь в него.  
— Молодец! Ты отгадала! Я действительно не возница. Скажу тебе чистосердечно: я — император, римский император!

Сенека был ошеломлен. Выходки Нерона его поражали. Они были непосредственны и своеобразны.

— Ты, не римский император, а дурак, — заявила девушка, — большой дурак!

— Крепко сказано, — одобрил Нерон, — но и ты, голубка, прикидываешься. Я видел тебя утром, не отрицай! Ты была в храме Весты. О, девственная весталка, как ты здесь очутилась?

Девушка рассмеялась. Сбежались ее подружки и обступили остроумного, изобретательного шутника. Но спутники увели Нерона, так как положение становилось рискованным: откуда-то уже раздавались резкие свистки.

Похождения закончились в кабачке. Зодик и Фанний пили крепкое вино, ударившее им в голову, после чего, растянувшись на полу, заснули.

Нерон беседовал с Сенеккой. Поздней к ним присоединился Парис.

Однажды, после представления, на котором он изображал Нептуна, Парис захватил с собой золотистую бороду и трезубец.

До бесчувствия пьяный, Нерон посреди улицы подвязал себе бороду, вооружился трезубцем и зашагал

рядом с Сенекой, словно морской бог, в дымке предутреннего рассвета.

У подножия Палатина они встретили горбуна. Император остановился перед ним.

— Отчего у тебя горб? — безжалостно спросил он.

Заслышав грубый вопрос, с которым еще никто к нему не обращался, горбун бросил на обидчика полный уныния и скорби взгляд и хотел с презрением пройти мимо.

— Стой! — повелительно окликнул его Нерон, — не будь так надменен, дружище! Спесь — добродетель глупцов. Видишь, я не горбат, а все-таки не возгордился. Если спина у человека немного согнута — его называют горбатым. Невелика важность! Я могу завтра сломать себе хребет и стану таким же горбуном, как ты. Продолжай свой путь через пустыню, достойный верблюд, но не задирай носа! Горб, несомненно, привлекателен; однако не так прекрасен, как ты воображаешь. Впрочем, это дело вкуса.

Нерон был так пьян, что едва держался на ногах. Он опирался на Сенеку и без умолку болтал.

— Мне пришло на ум, — бормотал он заплетающимся языком, — что человеческие головы похожи на орехи! Не правда ли? Или на яйца! Хотелось бы разбить их и посмотреть, что внутри.

Он расхохотался.

Засмеялся и Сенека.

— И затем: отчего небо не красно, звезды не зелены и море не желто? Отчего львы не летают? А главное: отчего мужчины не рожают? Отчего им не производить мужчин, а женщинам только женщин?

Он расхохотался. Глядя на его широко открытый рот, даже Сенека испугался Нерона.

— Каково? — спросил император, ухмыляясь.

— Занятно, — проговорил учитель, — но теперь иди спать.

После ночных походов в сознании Нерона все спугалось. Он не мог провести грань между только что игравшим Нероном и тем, который теперь размышляет.

Он чувствовал после разгула горький осадок; голова

его помутилась; он испытывал отвращение к самому себе.

Все представлялось ему в тумане. Явственна была лишь боль, причиняемая подбитым глазом, на котором остался след ночного столкновения с сенатором — печать житейской суеты...

Проверив себя, Нерон решил, что все это необходимо, и с пылом новопосвященного поэта еще раз мысленно обозрел виденное и пережитое.

На следующий день он начал сызнова.

## IX. КРЫЛЬЯ РАСТУТ

— Эвлалия! Он уже вернулся?

— Нет, голубка.

— Посмотри еще раз.

— Иду, голубка.

Эвлалия, кормилица Октавии, поспешно направилась в большой проходной зал, ведущий в покои императора. Его огромные массивные своды и затхлый воздух давили грудь. Неприветное, стократно перекатывавшееся эхо замирало в отдалении жалобным отзвуком. Было еще темно. Даже факелы ночной стражи не могли разогнать густой мглы. За чадным, багровым отблеском предательская тьма затаила, казалось, жуткие замыслы.

Октавия осталась одна. Она закрыла руками маленькое, обрамленное черными кудрями лицо. Ей было четырнадцать лет, но она уже три года была женой Нерона. После замужества она все время жила во дворце, не имея права покидать его высокие, мрачные стены. Еще дитя, хотя и отведавшее судьбу женщины, она играла в куклы; вечерами — ее охватывал страх.

Кормилица вернулась и сообщила, что Нерон еще не приходил.

Октавия вздохнула.

— Вот видишь, он меня не любит.

— Рассказать тебе сказку? — предложила кормилица.

— Почему он меня не любит? — допытывалась Октавия, — скажи, почему? Разве я некрасивая? Или слишком маленькая?

Она поднялась с места.

Юная императрица, правнучка Августа, стала выпрямившись перед своей кормилицей. Она действительно была миниатюрна, но тонка и изящна. Каждая линия ее тела была совершенна, как у статуи.

— Ты очень хороша, голубка.

— Но он меня все-таки не любит...

Октавия была готова заплакать.

— Что мне делать? — Смеяться? Он находит, что я печальна. Или беседовать с ним? Он сказал, что я не умею говорить. Британника я тоже никогда не вижу; вот уже год, как я не встречалась с братом. Что с ним?

Кормилица принялась утешать Октавию, лаская ее и целуя у нее руки. Из смежной комнаты можно было видеть колонную галерею и обвитый мглой императорский сад. Из-под смоковниц, вблизи фонтана, доносилась, как и в предыдущие ночи, песнь флейтиста.

— Слышишь? — спросила кормилица.

— Да, кто-то опять играет на флейте.

— Как весело, — сказала Эвлалия, подпевая.

— Как грустно, — откликнулась Октавия, повторяя ту же мелодию.

Обе вышли на галерею и увидели, как рабыни высовываются из-за решеток, чтобы послушать пение вольной птицы. Флейта рыдала, и, казалось, каждый куст, каждый лист присоединялся к ее плачу.

Душа Октавии уносилась в волнах звуков; они ее укачивали, и ей грезился златокудрый император, чудился его голос. Она любила его все сильнее.

Иногда они встречались за столом. Нерон бывал всегда утомлен и молчалив. Он избегал ее взгляда. Робкая, пугливая девочка с заплаканными глазами и застывшими руками его раздражала. Ему казалось, что она сковывает свободу его движений.

Они обменивались лишь несколькими словами; «Император...» «Императрица...»

Нерон торопился обратно к друзьям и жаловался им, что этот ребенок не в состоянии понять его...

Как могла маленькая Октавия постичь поэта?

Ночные похождения императора становились все необузданнее. Однажды в заброшенной лагуге сапожни-

ка он наткнулся на уродливого карлика Ваиция, который косил и был юродив. Нерон забрал его во дворец, заковал его в цепи и превратил его в предмет забавы.

Зодик и Фанний каждую ночь чем-нибудь отличались. Они отправлялись на мост Фабриция, сбрасывали в Тибр собак и кошек и подымали такой невообразимый гам, что спящие вскакивали с постелей, и ночные сторожа сбегались со всех концов, в полной уверенности, что кого-нибудь убивают.

Сенека редко присоединялся к Зодику и Фаннию. Он сознавал постыдность их нелепых выходок, но не осмеливался высказаться. На лето он отправился в Байю, чтобы полегчить теплыми источниками.

Стальные, пронизательные глаза учителя не останавливались больше на произведениях Нерона, чтобы открывать в них «несуществующие» ошибки. Император облегченно вздохнул, словно освобожденный от угнетающей опеки, и вновь обрел уверенность в себе. Он носил на груди амулет из кожи змеи, чуть ли не задушившей его во время сна, когда он был еще ребенком. Глядя на этот амулет, он вновь чувствовал себя избранником, которого во всем ждет удача.

Он парил в небесах, смеясь над прежними заботами и сомнениями; писал он больше, чем когда-либо.

В Сенеке он теперь видел лишь желчного, чванного старика, докучавшего всем своими моральными эпистолами; ханжу, выступающего в роли ментора молодежи.

В жизни Сенека представлялся Нерону скучным болтуном и трусом. Императору казалось, что его учитель не обладает искрой настоящего поэта, не мудрствующего, а дерзновенно поднимающего свой голос со всей неудержимостью и страстностью безумия.

Зодик и Фанний разделяли мнение императора. В их глазах Сенека был лишь говоруном, пересыпавшим свои надуманные драмы блестящими риторикой, не вкладывая в них духовного содержания. Каким смешным казалось теперь Нерону его недавнее подчинение этому ревнивцу!

— Права только молодость, а не застывшая старость! — провозгласил торжествующим голосом император на пирушке молодежи.

— Я вам верю, друзья,— обратился он к юношам, распивавшим в его саду ледяные напитки.

Почти все они были стихотворцами, усердными писаками с темным прошлым. Пользуясь отсутствием Сенеки, непризнанные поэты наводнили двор Нерона.

Император был о них не особенно высокого мнения. Он даже не знал их произведений, они его не интересовали. Но он находил во многих из этих юношей художественное чутье и развитое чувство критики.

Поставляли стихотворцев Зодик и Фанний по заказу, в любом количестве, целыми десятками. Оба «поэта» чувствовали себя во дворце как дома, прочно в нем обосновались и были заправилами в лагере молодежи. День и ночь они обхаживали императора. Зодик начал умыться и причесываться, а на ремнях его сандалий появились серебряные пряжки. Фанний щеголял в тогах Нерона.

— Я вам верю,— повторял император,— тебе, Зодик, плакавшему, когда я читал свою оду Аполлону, и тебе, дорогой друг Фанний, упавшему в обморок после моих стихов.

Все они поносили старость и прославляли молодость.

В конце лета верховный жрец принес Капитолийскому Юпитеру драгоценную жертву: элегию Нерона на смерть Агамемнона, вырезанную на золотой доске, и первую бороду императора, поднесенную высочайшему божеству в усыпанном жемчугом футляре.

## Х. ТРИ ПОЭТА

Сенека только осенью вернулся в город. Он уже несколько дней находился в Риме, но все еще не получил приглашения от императора. Он недоумевал; выжидал, досадовал, сокрушался. Однако он использовал свободное время и закончил свою драму о Тиесте.

Намереваясь продолжать лечение, он рано утром отправился в бани. Он опирался на палку, ибо острая боль временами пронизывала его тело.

Сенека прошел через Аргилетум, площадь, пестревшую прилавками, на которых были выставлены литера-



турные новинки. Затем направился к Форуму.

Подчиненные и домочадцы обступили дворцы патрициев, дожидаясь открытия дверей, чтобы приветствовать хозяина.

Стояло великолепное утро. Солнечные лучи сплетали над вечно-прекрасной статуей Алкивиада венец цвета палевых роз и облекали в златотканый плащ величественное мраморное тело Марсия. Площадь постепенно оживлялась.

Все еще проходили потрепанные ночные бродяги, то в одиночку, то группами. Временами какой-нибудь пьяный останавливался около стены; его рвало.

У солнечных часов, на обычном месте, расположились подпольные адвокаты, порывисто жестикулировавшие, вечно-настороженные и что-то вынюхивающие.

Появились зеваки и праздношатающиеся люди неопределенных занятий, пропадавшие до глубокой ночи на Форуме.

Собрались и характерные для этой площади маклаки, посредники, ростовщики и бакалейщики, которые, еще позевывая, открывали свои лавки. Перед статуей волчицы уличный мальчишка продавал спички. Менялы и торговцы запрещенными товарами, дородные римляне и тщедушные иудеи усаживались на каменных скамьях под аркой и вели между собой громкую беседу.

В воздухе гудел привычный шум. Благоухания и дурные запахи перемешивались. Аромат яблок и смоквы сливался со специфической атмосферой рыбного рынка и слегка-приторными духами парфюмерных прилавков.

Забыв свои думы, Сенека вслушивался в окружающий гам, впитывал в себя разнородные запахи и в это благодатное утро, полное и грусти, и радости, залюбовался брэнной красотой жизни.

Но когда из бань донесся колокол, возвещавший об открытии ворот, Сенека ускорил шаг.

Однако у храма Кастора он словно прирос к земле. Он случайно бросил взгляд на стену. Среди каракуль, нацарапанных на всех зданиях Рима, между бронзовой доской с новыми правительственными постановлениями, непристойными надписями и рисунками, и объявления-

ми о сдаче помещений кто-то нанес красным мелом двустилищие:

«Тише: слышишь, Нерон? хохочут в небе все боги,  
Стих твой их рассмешил, детски-пустой стихоплет!»

На лице Сенеки появилась смущенная улыбка. Затем оно приняло озабоченное выражение, и философ сокрушенно покачал головой.

— Неужели так далеко зашло?

Он три месяца отсутствовал, ни с кем не встречался и не представлял себе, что могло за это время случиться? Очевидно, и другие узнали об увлечении императора? Откуда это стало известным? Он ничего не понимал.

Сенеке казалось, что народ любит Нерона. Император ведь снизил налоги, заботился о народных зрелищах и назначил обнищавшим патрициям пожизненные пособия.

На Форуме передавалось из уст в уста, что Нерон не хотел подписать смертного приговора двум разбойникам, а когда был к этому вынужден — тяжело вздохнул и пожалел, что умеет писать. Нигде не было слышно о недовольных. Немногие республикански-настроены семьи, в которых еще были живы традиции прежних вольных времен, либо покорялись, либо уединялись в своих отдаленных поместьях.

Сенека не мог прийти в себя от удивления. Он заторопился, чтобы поскорей встретить людей и побеседовать с друзьями.

Миновав в воротах бань привратника в персиковом одеянии, он прошел в гардеробную, где снял тогу.

Мальчик-негр подал ему ежедневную официальную газету «Acta diurna». Сенека с любопытством набросился на нее. В ней сообщалось, что сего дня императрица Агриппина примет четырех сенаторов. Далее шел отчет о заседании сената. Было много брачных и еще больше бракоразводных объявлений. За ними следовала заметка о драке двух кутил из-за какой-то гетеры, затем театральная сплетня о Парисе и, наконец, длинная статья о знаменитом поэте Зодике. О Нероне — ни слова. Сенека уронил газету.

Кругом стоял невообразимый шум. Собралось около трех тысяч посетителей. Краны были отвернуты; журчали струи воды; купавшиеся плескались в ваннах; в трубах гудел сжатый пар. Наверху зазвучали флейты. Заиграл специальный оркестр бань. Начался утренний концерт.

По узким проходам, разветвлявшимся во всех направлениях, сновали слуги, то неся одежду посетителей, то подавая в столовую кубки или дымящиеся блюда. На кухне уже был разведен огонь; повара были заняты стирпней.

— Не прикажешь ли чего-нибудь? — спросил слуга, проводя Сенеку в раздевальню.

— Нет, — рассеянно проронил философ.

Вблизи кондитер предлагал пирожные.

Сенека разоблачился и, раздетый, опираясь на палку, подошел к бассейнам. — Он искал своего племянника, поэта Лукана, обычно в это время купавшегося, или друзей, от которых мог бы получить ответ на волновавшие его вопросы.

Первый зал не был крыт; его куполом служил утренний небосвод. Здесь находился холодный бассейн, в изумрудной воде которого лучшие пловцы упражнялись перед состязанием. Они скользили под водой, не закрывая глаз, и лишь на мгновение подымали над зыбью кудрявые головы, чтобы набрать воздух в могучие легкие.

Когда они выпрыгивали из воды и садились на край бассейна, капли покрывали их, словно жемчужины, а по щекам как-будто катились слезы. Зачарованный философ долго не сводил с них глаз. Не найдя среди них друзей, которых он разыскивал, он прошел через полукруглый зал в отделение теплых ванн. Здесь немощные представляли ослабевшие члены ласке согретых струй.

Рядом, на каменных скамьях, кастрированные рабы растирали мохнатыми полотенцами лоснившиеся от целебных масел тела. Лукан, очевидно, и отсюда уже ушел.

Сенека заглянул в паровую баню. Но за облаком пара он не мог ничего различить. Голые люди кашляли, смеялись, кричали; однако, разобрать слова было невозможно.

Наконец, он поднялся наверх и только тут, в зале для отдыхающих, нашел своих друзей.

Лукан в пурпурном плаще нежился после купания на одной из лежанок. Он беседовал с певцом Менекратом и своим приверженцем Латинном. Последний был экзальтированный навязчивый юноша. Он промотал отцовское состояние и жил в нищете, в каморке под самой крышей. Его занятие было ухаживание за знаменитыми поэтами.

— Вот и наша литература! — воскликнул Сенека, увидев Лукана. В его шутке проглядывало искреннее уважение к племяннику.

Лукан поспешил навстречу дяде и дважды поцеловал его в уста.

Сенека первый принял участие в его судьбе. Он заметил его выдающийся талант, проявившийся еще в детстве, когда Лукан посещал школу в Афинах. Сенека повез его в Рим и ввел во дворец. Молодой поэт сразу завоевал себе расположение и доверие императора, который сделал его квестором.

Своими стихами и блестящими выступлениями он одновременно покориł литературу и женщин.

Лукан пользовался славой величайшего латинского поэта современности. Недавно ему был присужден первый литературный приз за его поэму «Орфей».

Все его существо было озарено бесконечной верой в собственные силы.

— Наконец я тебя вижу! — проговорил он, еще раз поцеловав Сенеку.

Лукан был рослый и стройный юноша. В его жилах, как и в жилах Сенеки, кипела горячая, быстрая испанская кровь. Он был уроженцем Андалузии.

Над его кудрявыми волосами уже в течение нескольких часов сгибались цирюльнички, подрезая и завивая их. Затем он велел отполировать себе ногти. Он употреблял в таком изобилии духи и благовонные мази, что всегда бывал овеян облаком ароматов.

— Я не стану вам мешать, — сказал Сенека, тяжело дыша после подъема по лестнице. Он опустился на лежанку. — Продолжайте, — добавил он, принимаясь за перелистывание манускрипта, взятого из библиотеки бань.

Увлеченный прерванным спором, Лукан обернулся к Менекрату и Латину.

— Я вчера опять заглянул в его произведения, но после нескольких строк вынужден был бросить их. В наше время его больше немислимо читать.

— Речь, надеюсь, не обо мне? — откликнулся Сенека.

— Нет, о Виргилии,— пояснили смеясь его друзья. Менекрат пошел к цирюльнику подстричь себе волосы. Лукан попрощался с назойливым Латиним и подошел к Сенеке.

— Что нового? — с нетерпением спросил философ.

— Я не хотел сказать в их присутствии,— шепотом ответил Лукан.— Завтра я уезжаю.

— На родину?

Родина по-прежнему обозначала для обоих Испанию. В Риме они чувствовали себя гостями, чужеземцами или завоевателями.

— Ты едешь в Кордову? — переспросил Сенека.

— В Галлию или другую страну. Куда-нибудь. Я изгнан.

— За что?

— Не знаю. Такова воля императора.

— Не может быть! — воскликнул ошеломленный Сенека.

— Он меня позвал. Был лаконичен. Запретил мне где бы то ни было выступать. Ты ведь знаешь — все из-за моего «Орфея», получившего приз, несмотря на то, что император тоже участвовал в поэтическом соревновании. К тому же он увидел, какой успех вызвала моя «Фарсалия», которую я недавно прочел со сцены. Он даже не дождался конца; бежал из театра, сославшись на заседание сената; не мог вынести моего триумфа! Уже тогда я предчувствовал...

— Если бы я был здесь, этого бы не случилось,— говорил Сенека.

— Все равно,— сказал Лукан с равнодушным видом.— Я хочу лишь работать. Мне безразлично.

Недалеко от них, на лежанке, отдыхал юноша. Голова его была обвязана мокрым платком. Он открыл глаза, протер их и оглянулся; сбросил компресс и поднялся.

Лукан и Сенека почтительно и радостно приветствовали его; они узнали в нем Британника, отверженного сына императора Клавдия.

Британник — худой, бледный юноша, с еще безбородым лицом был приветлив и задумчив; в нем чувствовалось благородство молчаливости.

Он скромно подошел к обоим поэтам и сердечно обнял их. У него был плохой день. Накануне с ним случился припадок эпилепсии, длившийся несколько часов. После таких припадков его обычно целыми неделями мучила головная боль.

Он жил уединенно, в стороне от политических событий, избегал людей и бесед, чтобы не повредить неосторожным словом своей сестре Октавии, супруге императора.

Он терпеливо, безропотно и даже как-будто радостно переносил все превратности и унижения. Но он не мог устоять перед случаем побеседовать с собратьями по искусству. Сам он тоже писал. У него было всего несколько коротеньких произведений. Творил он словно бессознательно, почти против воли, в дни страданий, когда он не мог плакать... Печаль уносила его над дышущими тоской, звучащими безднами.

Британник никогда не думал о своих стихах и улыбался, когда друзья ему о них напоминали, побуждая его к дальнейшему творчеству. Он читал свои произведения лишь в тесном кругу, под аккомпанемент лиры. Его узкая, тонкая рука изредка, едва слышно, касалась золотых струн; его серебристый голос звучал нежно и непринужденно.

Лукан отзывался с горячим восторгом о стихах Британника и называл его поэтом будущего. Сенека тоже им восхищался.

Все три поэта встретились, как равные.

— Мы говорили «о нем», — начал Лукан.

Британник знал, кто «о н».

— Он запретил тебе называть его краснобородым, — продолжал Лукан, обращаясь к Британнику. — Теперь ему это уже все равно. Подумай! «Краснобородый» снял огненную бороду и пожертвовал ее высочайшему боже-

ству! Но он обманул бедного Юпитера: к рыжей бороде присоединил и свои стихи, выгравированные на золотой доске. Он, видно, не боится гнева богов: тотчас после этого подношения разразилась гроза. Юпитер стал метать грома и молнии, оскорбленный посвящением ему подобного произведения.

Сенека тихо засмеялся.

— Ничего удивительного,— продолжал Лукан,— Юпитер — ценитель поэзии. Даже Нептун послал ливень, чтобы стереть с золотой доски скверные, богопротивные стихи.

Британник только слушал. Уста его словно жаждали молчания.

— Твой несчастный воспитанник, кажется, помещался,— сказал Лукан Сенеке.

— Очевидно,— ответил философ.— Он неустанно строчит стихи и всегда читает их мне.

— Если бы у него была хоть искорка таланта! — проговорил Лукан.— Такой бездарности я еще никогда не видел. Возница, раб, дикарь, не знающий членораздельной речи — все обладают большей фантазией, нежели он. Надо только удивляться, что ему удается прикрыть блестящей личиной таланта природную бесталанность. Он вооружен образованием и знанием и это тем опасней! У него постоянно фигурируют боги. Все остальное кажется ему слишком обыденным. Он не называет ни одной вещи своим именем. Если у него будут колики в животе — он скажет, что его навестил бог животной боли. Ему следовало бы посвящать свои стихи Мефитису и Клоацине. Вы ведь знаете, что представляет собой эта богиня?

Лукан весь горел. Он ненавидел опошленную латинскую мифологию, тяжеловесные традиции римской литературы, музу под маской. Сенека разделял его взгляды. Оба оставались в Риме испанцами — свежими, смелыми и самобытными.

— Он — косноязычный варвар, лепечущий по-гречески,— воскликнул Лукан.— Слышали ли вы его стихи? «Скорбный родитель, в подземном мраке...», — и он начал по-актерски, громовым голосом декламировать эле-

гию Нерона, то представляясь растроганным, то насмешливо гнуся.

— Стихи касаются смерти Агамемнона, — сказал Сенека. — Но Нерон подразумевает под ним своего родного отца, Домиция.

— Бедный Домиций! — Лукан вздохнул, — твой сын пытался возвеличить тебя. «Скорбный родитель, в подземном мраке...». Как мне тебя жаль, алчущий проконсул в пустынях Гадеса! Но ты еще более страдаешь в хищных когтях стихотворца, носящего твой прах! Какое вопиющее тупоумие! Слова связаны друг с другом словно затхлым клейстером или заплесневелым тестом.

— Вы хоть не знаете других его произведений, — прошептал Сенека, осторожно озираясь. — Элегия еще наиболее сносное. Но послушали бы вы его стихи об Аполлоне или Дафнисе и Хлое! В них даже размер отсутствует. Они представляют собой какой-то беспомощный лепет! Когда я задумываюсь над всем этим — я нахожу это далеко не забавным.

Лицо Сенеки омрачилось: — Это становится страшным!

— Да, — согласился Лукан. — Все это непостижимо и ужасно. В этом заключается насилие слабого. Знаете ли вы, кто Нерон? На челе истинного поэта запечатлен поцелуй музы. Но Нерону не выпало на долю это счастье, и он сам поцеловал музу, совершил над ней насилие.

Британник, все время не проронивший ни слова, проговорил с всепрощающей кротостью:

— Оставьте его, он слабый поэт.

Лукан хотел что-то возразить, но Сенека дернул его за край плаща.

— Молчи, — шепнул он.

— Что случилось?

— Посмотри! — философ указал на отдаленное ложе.

Оно было занято каким-то неизвестным человеком, которого они до сих пор не замечали.

Укрывшись с головой он храпел.

— Какой-нибудь проходимец, — решил Лукан. — Он пьян. Слышишь, как крепко он спит?



Они стали прислушиваться. В тишине храпение казалось подозрительно-громким.

— Будьте осторожны,— сказал Сенека.— Ни слова больше!

С пренебрежительной гримасой Лукан вместе с Британником вышел в раздевальню. Сенека последовал за ними. Но по дороге он несколько раз оглядывался на странного незнакомца.

— Кто он такой? — мысленно спрашивал себя философ.

## Х I. Б Р А Т Ь Я

Отдыхавший еще долго храпел. Он не решался высунуть голову из-под покрывала. Лишь когда последние удалявшиеся шаги замерли, он, почувствовав себя в безопасности, вскочил с ложа.

Это был Зодик.

Он оделся с величайшей поспешностью и, едва успев накинуть тогу, побежал в императорский дворец.

Поджидавший его Нерон нетерпеливо ловил каждый звук, который вылетал из его уст.

— Сенека, Лукан, Британник,— прохрипел Зодик, задыхаясь.

— Британник? — император уцепился за это имя.

Зодик передал Нерону слова его сводного брата.

— Это все? Больше ничего? Значит, он не насмеялся?

— Нет.

— Только это? И он даже не улыбнулся?

— Я пересказал тебе все, слово в слово!

Зодик воодушевился и, подражая голосу Британника, словно волк, пытающийся блеять, как ягненок, повторил: — «оставь его, он слабый поэт!»

— Я это уже слышал,— прервал Нерон, багровея от гнева.

Самые слова Британника он тотчас же забыл, хотя они и взбудоражили его в первое мгновение. Но они оставили в нем глухую боль и подозрение, неопределенное, томительное чувство, туманившее его сознание.

В этом состоянии он был неспособен понять смысл, вложенный в слова «слабый поэт». Он не мог себе представить, из каких побуждений его сводный брат высказал такое мнение? Он искал причины, объяснения... Быть может, Британник страдает от своей отверженности и испытываемых унижений? Быть может, он сокрушается о прошлом и мечтает о престоле? Все возможно!

Император спрашивал себя, что делать? Лукан изгнан, с ним покончено. Сенеку одним жестом можно заставить заговорить иначе; он всегда готов отречься от собственных слов.

— Британник — вот кто важен!

Они редко встречались. Сводный брат императора вел жизнь осужденного, под наблюдением суровых воспитателей, назначенных двором и в свою очередь состоявших под бдительным надзором.

До сих пор Британник никогда не имел столкновений с Нероном; лишь давно ребенком он в пылу ссоры с детской запальчивостью обозвал его «краснобородым». Нерон простил его, но Британник все-таки принес ему публичное извинение.

В знак подчинения Нерону и признания его власти он явился в цирк в детской тоге с алой каймой. Нерон же по этому случаю облачился в торжественный наряд: белую мужскую тогу. Улыбаясь, стоял он рядом со смущенно-красневшим мальчиком.

Теперь Нерон имел соглядатаев, доносивших ему о каждом шаге младшего брата. Но ничего подозрительно-го не было доложено.

Император знал, что силы Британника были надломлены, и что его влекло лишь к искусству. Занятия поэзией, пением и музыкой заполняли его дни. Сенека однажды обратил внимание императора на стихи юноши; Нерон потребовал, чтобы их принесли и прочитали ему. Он не нашел в них ничего особенного. Они были коротки, неясны и не подходили для декламации.

Теперь император пробежал их снова и побледнел. Он услышал музыку витающих слов, легких, как дуновение весеннего ветра. Он почувствовал в них что-то простое и непосредственное, и все же это было открове-

ние. Поэт словно покорил себе невидимый воздух и запечатлел причудливую игру вечно-изменяемых волн.

Нерон задумался над тайной его творчества, но не мог ее разгадать. Он хотел проникнуть в эти стихи; однако какая-то невидимая стена преграждала ему путь.

Император послал за Британником. Он принял его, восседая на престоле, увенчанный золотым венком и облаченный в златотканую мантию. Он хотел блеснуть перед братом своим могуществом.

— Император! — приветствовал его Британник, склоняясь до земли.

Нерон испугался его вида. Со времени их последней встречи Британник стал вдвое тоньше. Кожа его напоминала пергамент. Он внушал жалость.

«Бедняга! Он долго не проживет!» — подумал император, с удовлетворением ощупывая собственное здоровое тело, на котором начинал отлагаться жир.

— Что тебе надо? — спросил Британник, на сей раз непринужденно, как брат.

Нерон не мог ответить. На его собственных устах был тот же вопрос: «Что тебе от меня надо?».

Они долго смотрели друг на друга — император и поэт.

Некоторое время Нерон колебался. Затем он решил даже не затрагивать тех вопросов, которые намеревался поставить. Он замаскировал кипевший в нем гнев изворотливыми, цветистыми речами. Он умел играть, ибо в нем была искра художника.

— Я желаю, — начал он тоном властелина, — чтобы между нами восстановилась старая дружба. Люби императора, который с любовью на тебя взирает! Пусть не будет меж нами преград. Забудем прошлые недоразумения и детские вспышки гнева. Я был бы рад видеть тебя при дворе.

— Меня?

— Не удивляйся. Я искренен. Я стремлюсь к торжеству справедливости. Нам надо идти одной дорогой. Я сделаю тебя квестором или консулом, чтобы ты мог проявить во всем блеске свой талант на благо государства. Быть может, ты желаешь стать наместником? Тебе сто-

ит только сказать слово. Хочешь наместничество в Вифинии? Или, быть может, в Сирии?

— Нет.

Нерон почувствовал, что плохо начал. Слишком высоко. И он заговорил иным, более простым тоном, желая внести непосредственность в их отношения. Он был одарен способностью ежеминутно менять свою роль; все интонации удавались ему одинаково легко и ровно.

— Брат,— проговорил он более тепло.— Дорогой брат, меня огорчает твоя отчужденность! Клавдий был нам обоим отцом. Тебе — родным, мне — духовным. Он нас обоих любил. Тебе следовало бы помнить, чем ты обязан ему и мне. Я не могу одобрить твое уединение и нежелание стяжать себе славу. Существуют случаи, когда скромность переходит в гордыню.

— Я болен.

— Мне это известно.

Нерон однажды в детстве видел, как Британника, во время народного праздника, свели судороги. Сборище было тотчас распущено, ибо всякий несчастный случай считался у римлян дурной приметой. Лицо маленького брата посинело, жилы на шее вздулись, на губах выступила пена.

Британник страдал падучей, «святым недугом», «божественной болезнью», которая приписывалась Геркулесу; одержимый ею почитался сильным духом, провидцем и отверженным, блаженным и страдальцем.

Император больше не испытывал жалости к брату. Он даже завидовал ему, находил его таинственным.

— Тебе не следовало бы чуждаться меня,— сказал он,— я никогда не вижу тебя на состязаниях, гладиаторских играх и торжествах.

— У меня нет времени.

— Я понимаю; ты пишешь, занят литературой! Да, творческий путь длинен, но жизненный путь — короток, так сказал Гиппократ, признавая даже бессмертных поэтов — смертными. Право, мы должны торопиться жить! Я читал твои стихи. Некоторые строки увлекли и очаровали меня. Ты обладаешь дивным даром, свежим и непосредственным. Образы твои ясны, музыка стиха совер-

шенна. Ты, как я, предпочитаешь дактиль и анапест хорею и ямбу. По-моему, ямб — детская забава. Сходимся мы также и в понимании искусства. Ты тоже написал стихи об Аполлоне. А твои асклепиадические строфы смутно напоминают начало моего «Агамемнона». Не находишь ли ты, что мы и как поэты родственны?

— Может быть.

— Я заключаю из некоторых твоих слов, — проговорил Нерон, — что ты пренебрегаешь общественной жизнью и не интересуешься политикой. Быть может, ты прав. Все, созданное полководцами и императорами — мимолетно. Триумфальные арки рушатся, и победы предаются забвению. Но хотя Гомер пел тысячу лет тому назад, хотя шесть веков прошло со смерти Сафо, и вот уже четыре столетия, как Эсхил покинул бренный мир, однако ныне о них больше знают, чем о Цезаре или Августе. Мы должны дорожить своими мыслями и чувствами, а не богатствами. Я так и поступаю. Я теперь пишу драму о Ниобее. Лукан хотел меня опередить. Подумай! он каким-то образом услышал о моей теме и попытался украсть ее. Он уже носился с мыслью поставить свою заимствованную у меня драму в Помпее. Но я его призвал, разумеется, не как император, а как собрат по искусству. Я сказал ему, что, если римское право ограждает частную собственность и сурово преследует присвоение хотя бы одного асса или сломанной сковороды — тем более мы должны охранять духовные ценности, которые дороже золота и жемчужин. Лукан немного поворчал, но должен был признать мою правоту. Откровенно говоря, я обычно не обращаю внимания на подобные вещи, но данная тема мне особенно близка. Ниобей, дочь Тантала, унаследовавшая от отца тоскующую душу, является, однако, счастливейшей матерью цветущих детей. Завистливые боги не могут равнодушно на это взирать и карают Ниобею. Я ежедневно работаю над этой драмой. Начало мне удалось. Пишу я ее на латинском языке, чтобы она была доступна народу. Ничего не поделаешь! Подчас и великие художники должны идти на уступки. Я вложил в это произведение все, что мог. Окаменение происходит в конце на открытой сцене.

Гибнет от боли застывает. Весь последний акт — вопль отчаяния. Крик матери, у которой похитили детей — крик самой природы. Она стонет, как ветер в скалах... Но я тебя умоляю! Ты, вероятно, больше интересуешься лирикой?

— О, нет!

— В этой области ты — художник. И для меня — драма новое, еще неизведанное попроще. Оно меня волнует и привлекает. Однако, моей стихией остаются песни и оды. Я слышал, что ты чудесно поешь и играешь на арфе. Я тоже пою. Мой учитель музыки, Тэрпний, прославившийся игрой на арфе, пытался меня каждый день. У меня обламываются ногти и кровоточат пальцы. Но это неизбежно; без труда ничто не дается. Третьего дня я сочинил грациозную песенку для арфы. Я тебе ее охотно спою, но в другой раз. Сейчас будем думать только о нашем сближении. Мы должны идти вместе, Британник! Мы оба пишем и можем помогать друг другу, можем соображать отделять свои стихи. Писал ли ты что-нибудь за последнее время?

— Нет.

— Очень жаль. Меня интересует все, что ты создаешь. Ты должен непременно присутствовать на празднике, который я устраиваю. Он будет происходить в саду, для круга избранных. Как всегда — будут выступать поэты и писатели. Приходи обязательно!

Нерон сошел с престола. Тяжесть золотого венка давила его. Он снял его и бросил на стол; скинул также мантию и остался в одной тунике.

— Не пойми меня превратно, — заговорил он неприкрытым тоном. — Я обеспечу тебе на вечере лучшее место; первое или последнее, как ты сам пожелаешь. Если захочешь, и я буду петь. Я не намерен затемнять тебя, не хочу отодвигать тебя на задний план. Как плохо вы все меня знаете, как плохо понимаете! Я не могу перед тобой высказаться и открыть свою душу. Тебе ведь неизвестно, что я собой представляю, а главное чем я хочу стать в будущем. Повседневная работа, кропотливые упражнения — принизили меня; я знаю, как бесконечен путь совершенствования; несчастное человеческое

существо — я так же тоскую по венцу поэта, как ты. У меня есть недостатки, но у кого их нет? Мне предстоит еще развить свои силы. Вначале всякий художник несовершенен. Если бы ты заглянул глубже в мою душу — ты полюбил бы меня и мои стихи; но, не зная моей жизни — ты не можешь даже понять их. В них гигантские глыбы... в них ужас агонии... А мои сомнения, Британник! Они — разлагающиеся раны льва, растравленные знойным африканским солнцем, гнойные нарывы, вокруг которых копошащиеся черви образуют живые, тлетворные венки. А между тем я говорю так же спокойно, как всякий иной. Император высоко вознесен над другими, которыми повелевает. Но в искусстве он не признает преград. Здесь мы — равны, мы оба поэты. И ты, и я...

Британник сделал неопределенное движение, но не проронил ни слова. Только безмолвно смотрел на императора.

Нерон начал выходить из себя. Кровь ударила ему в голову. Он засмеялся недобрым смехом. Почувствовал, что под ним ускользает почва. Он подошел к брату. Они стояли так близко друг к другу, что дыхание их сливалось.

С едва сдерживаемой резкостью император крикнул поэту.

— Почему ты меня ненавидишь?

Британник был ошеломлен.

— У меня к тебе нет ненависти.

— Но ты меня не любишь!

— Это неверно.

— Ты чувствуешь себя внутренне-обособленным. Тебе представляется, что ты иной, чем я. Также и стихи мои кажутся тебе чуждыми, настолько, что ты не стараешься их понять. Вероятно, не желаешь даже судить о них.

— Я их почти не знаю.

— Ведь их везде декламируют!

— Я нигде не бываю.

— Но разве ты не читал моего «Агамемнона»?

— Я однажды слышал его.

— Ты горд. Горд и высокомерен! Это твой недостаток. Ты думаешь, что я неискренен, что я что-то замышляю против тебя или не чувствую в тебе поэта. Но это не так. Сердце мое чисто. Я не скрываю в нем никаких низменных побуждений. Я люблю тебя, хотя ты меня не любишь. Во мне нет злобы. Ты, напротив, жесток!

— Возможно.

— Почему ты не говоришь? Если ты меня ненавидишь, дай волю своему чувству, брось мне его в лицо. Клянусь, что ты останешься безнаказанным. «Сатурналия, сатурналия!» — воскликнул Нерон, как жрец, объявляющий наступление праздника, в который рабам разрешено облачаться в одежду хозяев и свободно высказывать им правду. «Смелей, давай играть в сатурналии!», и император начал шутливо напевать торжественную песню.

Британник недоумевал.

— Называй меня как когда-то «краснобородым» или «огненной головой», дергай меня за ухо, высовывай мне язык! Я сегодня в благодушном настроении! Но только не скрытничай! Я не вынесу больше этого молчания! — и Нерон заткнул себе уши в ужасе от встречаемого безмолвия.

Словно погоняемый беспокойством, он заметался по залу. Со лба у него катился холодный пот. Внезапно он остановился.

Последовала тишина.

В приступе ярости он обрушился на брата.

— Ты — низкий человек, обманщик, вымогатель! Ты стремишься к престолу! Возьми его — он мне не нужен! Дай мне только то, чего я прошу! Ты у меня в руках, несчастный. Я знаю, что ты обо мне говорил. Мне все известно. Ты сказал... — и император что-то невнятно пролепетал.

Он и теперь не мог выговорить тех слов: «слабый поэт».

— Я тебе все прощаю! — продолжал он, внезапно опомнившись и смягчившись, — даже твоё унижающее замечание! Ты просто не обдумал, сказал глупость... Не правда ли? Отчего ты не отвечаешь?



Британник испугался его. Он почувствовал тупую головную боль, как перед припадками, когда сердце начало буйно биться, и сознание меркло. Он взглянул на Нерона затуманившимся взором, ошеломляя его своим безмолвием, смиряя его своими зачаровывающими глазами. Он все еще не отвечал. Магическое молчание словно загнипнотизировало императора; его яростный гнев затих.

Еще долго стояли они лицом к лицу.

Нерон с изумлением взирал на сверженного престолонаследника, у которого он отнял все: и венец, и счастье. Он, император, стремящийся обладать всем — обращается к этому юноше, не желающему ничего, познавшему более горькие муки, чем потерю трона, обращается к божественно-безмолвствующему поэту, к красноречивому немому... Британник с каждым мгновением казался величественнее, непостижимее и таинственнее; его ограбили, а он стал еще богаче. Если бы он чего-нибудь хотел — можно было бы подступить к нему. Но он ничего не желал и был, как ветер, неуловим.

Солнце заходило. Последние его лучи, пробиваясь сквозь листву деревьев, увенчали голову Британника волшебным сиянием, и она с выражением неземного величия вырисовывалась на фоне темного зала. Вокруг его лица лег венец из нетленного золота. Нерон выдержал в течение нескольких мгновений это зрелище. Потом он стал между братом и струившимися на него лучами. Британник как будто вмиг увял. Лицо его сделалось черным. Он был словно уничтожен тенью императора.

## XII. У ИЗГОЛОВЬЯ БОЛЬНОГО

Нерон спустился в сад. Он обычно проводил там сумерки близь фонтана, распылявшего в воздухе прохладные брызги; журчание струй вызывало в впечатлительной душе Нерона грезы.

Он смотрел на Эсквилинский холм, где еще недавно простиралось кладбище бедняков и рабов, с зияющими общими могилами, зачумлявшими в жаркие дни весь Рим. Ввиду вспыхнувшей лихорадки, поглотившей не-

моверное количество жертв, Меценат, покровитель наук и искусств и общественный деятель, решил превратить кладбище в городской сад. Теперь там резвились дети: мальчики подбрасывали треугольные мячи или катали железные обручи; девочки играли в кустах в прятки.

Многовековой отдых плодотворно повлиял на землю могильных насыпей. Ряд поколений удобрял почву своими телами, и каждый куст и цветок выросал здесь особенно пышно.

Садовники едва поспевали полоть сорные травы. Изпод земли упорно пробивались ростки; вокруг колонн обвивалась зелень; ползучие растения дерзко обнимали мраморные тела богов, прильнув к ним чашами и колокольчиками своих цветов.

Сила бывших жизней, казалось, трепетала в листе и горела в траве рубиновыми, аметистовыми и топазовыми цветами.

К вечеру поднимался такой дурманящий аромат, что у посетителей начинала кружиться голова.

Лилии отравляли сад тяжелым благовонием, напоминавшим запах человеческого тела. В эти часы на заколдованной горе показывались ведьмы, стекались колдуны... Босоногие, подобрав подола, они искали безвестных могил, приносили в жертву богам козлиную кровь, взрывали землю длинными ногтями и искали той редкой травы, из которой некогда настояли для Калигулы волшебное питье, отнявшее у него разум.

Император опустил на скамью. Он созерцал великолепие природы и вслушивался в плеск фонтана, как всегда ища вдохновения в его ритмичной звонкости. Он обдумывал новые сцены своей драмы, которые намеревался вечером написать. Но в этот день работа не двигалась. Он был в лихорадочном состоянии. Мысль его притупилась; ничто не приходило на ум. Он видел лишь Британника, слышал лишь его голос. Нерон признавал, что до сих пор еще никогда ни с кем не вступал в такую борьбу. Он втихомолку продолжал спорить, давал отповедь невидимому противнику и временами как

бы порывался обезоружить его... Он уже не помнил, что говорил брат, однако каждый фибр его тела трепетал при мысли о нем.

Вечером император был мрачен и отослал своего учителя музыки Тэрпния; он был утомлен и не мог заниматься.

На следующий день Нерон опять отказался от игры на арфе.

Старый грек Тэрпний, отрезвлявшийся, лишь когда брал в руки инструмент, посоветовал императору для восстановления сил прибегнуть к вину. Тэрпний опирался на собственный опыт: пьянствуя с утра до вечера, он был убежден, что именно вино вводит его в храм музыки и извлекает из его пальцев потоки звуков. Нерон попробовал последовать его совету, но лишь окончательно потерял трудоспособность. Состояние его вместо того, чтобы улучшиться — ухудшилось.

В один прекрасный день он заподозрил в себе тяжелую болезнь; это его тем более озадачило, что он прежде не испытывал никаких недомоганий: организм его до сих пор отличался удивительной выносливостью.

Он не знал, к кому теперь обратиться. В богов он не верил и в кругу друзей отпускал на их счет непочтительные шутки. Не доверял он и врачам, которых называл сообщниками богов. Правда, в начале своего царствования он основал на Эсквiline высшую школу медицинской науки и назначил Андромаха, приверженца Гиппократов, придворным лекарем. Вместе со своими учениками Андромах обходил город, посещая больных.

Нерон, однако, продолжал считать медицинскую науку простым обманом. Сами лекари тоже враждовали между собой.

Методисты, прописывавшие все болезни дурным сокам, рекомендовали диету и водолечение. Они ненавидели новую школу, возглавляемую сицилианцем Афанеем, которая считала первопричиной всего человеческого дух.

Приверженцы этого учения пневматики были в споре с методистами, называвшими их, в свою очередь, шарлатанами. Нерон в одинаковой степени насмехался над обоими лагерями.

Когда его самочувствие резко ухудшилось, он все-таки обратился ко второй школе, в которой, казалось ему, возрождается древняя магия.

Во времена республики маги преследовались. Из Этрурии и Фессалии тысячами изгонялись «колдуны», по вине которых будто бы вспыхивали лихорадки, колебалась земля вместе с зданиями, и сгнивал урожай. Однажды они даже как-будто задумали с помощью Гекаты заманить на землю луну.

По вступлении на престол Калигулы гадателям и авгурам были возвращены их права.

Нерон также не преследовал волшебников. В Риме проживали сотни магов — египтян, персов и греков, — которые усыпляли больных особыми курениями, дабы Эскулап поведал им во сне способ их исцеления, или же лечили их прикладыванием руки к больному месту и магическими заклинаниями.

Нерону показалось, что он одержим. Простертый на ложе, он мучился; он постоянно мысленно возвращался к беседе с Британником и ни о чем другом не мог думать. Тело его билось в судорогах.

— Не страдаю ли я эпилепсией? — спросил он верховного жреца Изиды, египетского мага Симона, знавшего все тайны папирусов и всю премудрость вавилонских, ассирийских и арабских священных книг.

— Я часто испытываю головокружение, и на губах выступает пена.

Маг осмотрел его. Лицо Нерона было свежо, глаза не потеряли блеска. Он не нашел у него эпилепсии.

Он тщательно ощупал его голову, ибо здесь, по его убеждению, поселился злой дух, смущавший сон и покой императора. Симон только не мог еще выяснить, в какой части головы обрелся. Особенно подозрительными казались ему 16-я и 17-я части\*.

— Глаза твои открывает Пта, устами твоими движет Сакси... — так начал маг древнее тысячелетнее заклинание; — Изида убивает разрушительное начало. Чувствуешь ли ты это?

---

\* Согласно египетской науке того времени, человеческая голова разделена на 32 части.

— Да,— ответил Нерон,— но у меня все еще мучительные мысли.

— Плюнь быстро на пол. Все пройдет. Вместе со слюной уходят тяжелые думы. Легче ли тебе теперь?

— Немного.

Улучшение было незначительно.

Симон велел прикладывать к груди больного сухой коровий помет, который считался у египтян священным и облегчающим душевные страдания.

Другой маг, перс, предполагал, что императора преследуют темные духи Аримана; во время своих молений он видел, как от Нерона отделилось чудовище.

Эфесский лекарь Бальбуллис посоветовал императору жевать целебные листья для очищения крови.

Нерон все это добросовестно исполнял.

Лечение это было успешное, но действие его оказалось недостаточно длительным. Он стал усматривать приметы. Если он чихал, рабы должны были тотчас же бежать к солнечным часам — посмотреть, не наступил ли полдень; ибо чихание до полудня предвещало добро, а после полудня — зло. Император ни за что не выходил из дворца, если по дороге к выходу его тога зацеплялась о какой-нибудь предмет, или он оступался. Однажды утром он с непокрытой головой поспешил в храм Кастора, шепотом спросил о чем-то одного из деревянных богов и бросился на улицу, чтобы услышать слова первого встречного, в которых должен был содержаться ответ на его вопрос.

Он боялся кошек, покровительствовал пчелам и муравьям и особенно почитал львов, как могучих и приносящих счастье зверей. Он даже приказал поставить перед своей постелью мраморного льва. Все эти суеверия окончательно сбили его с толку. Он сам не знал, что говорить и как поступать. Его преследовало предчувствие все новых бедствий; ему приходилось задабривать судьбу унижительными поступками, будто бы отвращавшими несчастье: целовать грязный камень или на виду у всех падать на колени перед собакой.

— Я бросаю прежнее лечение! — неожиданно объявил он придворному лекарю, знаменитому методисту Ан-

дромаху.— Оно приносит больше вреда, нежели пользы. Хочу открыть тебе свою болезнь; что-то связывает мой стих. Голос обрывается в груди, и вдохновение подавляется. Освободи мою песню!

— Это очень просто,— успокоил его Андромах.— Все исцеляется диетой. Из чего состоит человек? Из плоти и крови. То, что ты ешь, становится «тобой». Если ты будешь придерживаться правильного режима, я сделаю из тебя все, что ты пожелаешь. Ты будешь счастлив и снова станешь прежним божественным художником.

— Но я иссяк,— жаловался император,— иссох и выдохся. Стал худосочен. Меня разъедает бесплодная боль. Из глаз моих не выступают больше слезы. Голос мой беззвучен и слаб. Слышишь, каким он кажется жалким? Я не могу ни петь, ни плакать. С некоторых пор чувства мои заглохли. Возврати мне их!

— Выслушай меня и последуй моим советам. Остерегайся плодов; они портят голос. Яблоки вызывают хрипоту; не ешь их! Откажись и от груш, ибо они засоряют грудь, из глубины которой исходит песнь. Ни за что в мире не касайся персиков: сок их отлагается на сердце и лишает его чувствительности. Дыню, смокву и финики потребляй лишь в умеренном количестве. Сладости сгущают кровь. Они доставляют приятное ощущение, но угнетают творческое начало.

Нерон в точности соблюдал предписания Андромаха. Но однажды, ощутив заплывшее жиром тело, он заявил, что чересчур тучен.— Я хочу похудеть.— При этом ему вспомнилась стройная фигура Британника.

Император действительно начинал полнеть, что при его низком росте безобразило его. Лекарь приписал ему голодный режим. Он тщательно придерживался его, с радостью принимая все лишения. Он запретил подавать к столу любимые блюда и постничал по несколько дней кряду, ограничиваясь глотком горячей воды перед сном. Если он приглашал гостей к трапезе, то после еды щекотал себе небо, дабы вызвать рвоту. За столом около него всегда стояло рвотное, и запивал им каждый проглываемый кусок.

Нерон быстро похудел. Тогда он стал жаловаться лекарю на истощение и потерю голоса. Андромах велел класть ему камни на грудь, дабы они своей тяжестью извлекли из нее голос. Под этим грузом Нерон должен был ежедневно лежать три часа.

Однажды Тэрпний, посвящавший его в свое искусство, сказал ему:

— Ты очень бледен, тебе надо поесть.

Ни за что на свете Нерон не согласился бы принять пищу. В надежде на успех все муки казались ему приятными. Но глаза его слипались от усталости.

— Не хочешь ли ты немного поспать? — спросил Тэрпний, видя, что императора клонит ко сну.

— Нет, — ответил Нерон, — пройдем еще эту песенку. — Он выпил глоток горячей воды и сказал:

— Если я усну — разбуди меня. А если я сделаю ошибку, ударь меня. Понял? Вот плеть.

— Это не понадобится.

— Значит, я делаю успехи? — спросил он измученным голосом.

— Конечно! Но эта песенка тебе все еще не удастся. Маленький палец недостаточно гибок, и тон неровен. Возьми арфу. Держи ее крепче. Теперь начинай. Вот так!

Нерон ударил по струнам одеревенелыми пальцами. Но вдруг остановился. — Кто там? — спросил он, отшатнувшись. Взор его был уставлен в одну точку.

Тэрпний, видя, что в комнате никого нет, стал его успокаивать.

Но Нерону продолжало чудиться чье-то присутствие:

— Это ты? Стой!.. Не отворачивайся! Отчего ты не отвечаешь? — Ты сведешь меня с ума своим молчанием! Я узнал тебя. Подними свое маленькое, худое лицо... Не прячь его. Я все равно вижу тебя...

Тэрпний в ужасе опорожнил кубок вина. Затем увел императора в опочивальню и оставил его одного. Нерон остановился у ложа.

За дверьми прислушивались рабы.

После долгого молчания Нерон воскликнул:

— Отчего ты непрестанно поешь?

Он упал на пол и зарыдал: он опять увидел перед собой «его».

— Британник! — закричал он, — я люблю тебя! Но ты меня не любишь...

Его руки скользили по полу. Он наткнулся на какой-то предмет и изо всех сил швырнул его в стену.

В течение нескольких мгновений он не шевельнулся. Наконец, встал и приказал принести светильники. Ему не хотелось спать. Он принял рвотное и стал ждать его действия. Два раба поддерживали ему голову. На лбу у него выступил холодный пот.

Позднее он велел положить себе камни на грудь, такие тяжелые, что из-под них с трудом вырывался стон, и едва слышалось пресекавшееся дыхание Нерона. Он стиснул зубы. Лицо его было мертвенно-бледно и приняло страдальческое, почти трогательное выражение.

Измученный взгляд лихорадочно блуждал.

Император не мог уснуть.

### ХIII. ЯД

Как долго может человек страдать? Лишь пока выдерживает свое страдание! Затем оно его перерастает и само себя изживает. Даже отчаявшийся страдалец, утративший все другие надежды, этой надежды не теряет. Он знает, что, когда боль станет нестерпимой, она оборвется и претворится в нечто иное. Ни одно живое существо не может сверхчеловечески страдать.

Нерон боролся со своими муками до утра. Затем неожиданно почувствовал облегчение. Он перестал ощущать ноющую рану, которую он долго, но тщетно лечил. Внимание его было поглощено иным.

Он приподнялся на ложе. Ему пришла на ум Локуста, беспутная женщина, которую ему однажды показали в кабачке во время его ночных походов. Она приготавливала из трав и ягод молниеносно действовавший яд, который тайно сбывала. Ее настойки принесли многим смерть, и в конце концов ее заточили в тюрьму.



До рассвета, когда все еще спали, Нерон оделся. Он велел позвать судью Юлия Поллия и приказал ему освободить из заточения изготовительницу ядов и отослать ее обратно в ее лачугу; там ей надлежало ждать императора. Он назначил на этот день торжественную трапезу и пригласил на нее виднейших сенаторов, военачальников и поэтов; в числе приглашенных был и Британник.

Брезжило ясное, тихое утро. Над городом висела какая-то истома; люди еще безмятежно спали. На покрытых виноградниками холмах гроздья впитывали тепло пронизывающих солнечных лучей, и сквозь розовую кожуру, казалось, видно было, как бродит пенистый, сладкий винный сок. Виноград словно торопился созреть ко времени.

На всем горизонте глаз не улавливал ни одного облачка. То было молчаливое торжество осени...

Нерон пешком отправился в предместье и углубился в кривые переулки. Ему был знаком каждый дом, каждый камень; здесь протекло его раннее детство. Здесь он, бывало, искал забвения, здесь прятался от жутких образов, преследовавших его во дворце. По этим закоулкам блуждал он, когда сердце жаждало спасительной любви.

Когда-то он мечтал о Риме, преображенном в Афины, и о себе, чудесно превращенном в великого поэта. Но увя! Мечтания его не сбылись! Все осталось по-прежнему. И сам он не изменился, и тесные переулки не обновились. Нерон стал озираться кругом, жмурясь от лучей восходящего солнца.

Он ускорил шаг. Лачуга Локусты стояла посреди сырого двора, где в грязи копошились свиньи.

Нерон толкнул дверь. Перед ним появилось маленькое искривленное существо; он сразу узнал Локусту.

— Яду! — приказал он, едва переведя дух.

Локуста подала ему что-то.

— Нет, — запротестовал он, — я тебе не верю. Он, должно быть, уже выдохся. Замешай свежий здесь при мне.

Локуста вышла, принесла какие-то корни, расставила утварь и приготовила тестообразную массу.

— Силен ли этот яд? — спросил император.

— Да.

— Смертелен ли он? Знай: мне нужен такой, от которого сразу издыхают. Существуют ведь и другие, вызывающие только понос и рвоту. Мгновенно ли убивает твой яд?

— Мгновенно!

— Я хочу проверить его действие.

Локуста пригнала жирную свинью и деревянной палочкой вмесала немного яду в приготовленные для нее отруби.

Нерон поднялся и стал с волнением наблюдать за животным. Свинья обнюхала корм грязным рылом и принялась жадно пожирать его; но едва проглотив его, она упала на пол и забилась в судорогах.

— Она прикончена,— заявила Локуста с торжествующей гримасой.

— Нет, она еще хрюкает...

Но в то же мгновение животное затихло.

Нерон, однако, все еще не доверял яду.

Внезапно ноги животного судорожно вытянулись и одеревенели.

Нерон в ужасе отскочил к стене, словно увидел призрак.

— Это был ее последний вздох,— успокоительно промолвила Локуста.

Оба долго рассматривали свинью.

— Гадина! — воскликнул император и плюнул на труп животного. Затем он толкнул его ногой в брюхо.

— Мерзкое чудовище! — крикнул он, — с тобой покончено! от тебя избавились! — и он захохотал в дикой радости. Он забрал яд в количестве, которое хватило бы на целое стадо свиней.

Во внутренних покоях дворца его ожидал Зодик.

— Итак, в начале трапезы? — спросил он.

Нерон отрицательно покачал головой.

— Нет, к концу. Лучше после еды...

В эту минуту жеманной походкой вошел придвор-

ный цирюльник Фаламий. В волосах у него торчали его орудия — гребни и щетки; он был весь обвешан ножницами и бритвами. Вертяво поклонившись, он, приплясывая, подошел к Нерону. Он намылил ему лицо и, застав выхание, начал брить его, с особой осторожностью манипулируя вокруг рта и носа. Затем он стал завивать горячими щипцами его волнистые светлые волосы. Болтливый сицилианец сопровождал свою работу прибаутками и сплетнями, подхваченными на Форуме; он говорил об ораторах, борцах и женщинах.

Нерон осмотрел свое лицо в ручном зеркале и, обратив внимание на синяки под глазами — следы бессонных ночей, — решил принять ванну. Он хотел выглядеть свежим и молодым.

Когда Зодик вступил в парадный зал, он там уже застал многих приглашенных.

Гости с восхищением рассматривали вращающийся свод зала, приводимый в движение особым, установленным в подвале механизмом. Свод этот был из слоновой кости и изображал небо со всеми созвездиями. Посетители пытались определить названия звезд.

Воины, с Веспасианом, Руфием и Скрибонием Проклом во главе, возлежали вокруг отдельного стола. Они прислушивались к словам Бурра, префекта преторианцев, который оживленно о чем-то рассказывал.

Зодик поздоровался с сенаторами и воинами — верными слугами императора и, пересекая огромный зал, направился в кухню, чтобы позаботиться о винах.

Агриппина, разукрашенная и сверкающая, выступала, подобно павлину, распускающему в лучах солнца веер своих перьев. Она была в лиловом облачении, богато украшенном серебром. «Преданнейшая мать», как называл ее сын, начала сесть. На висках у нее уже было несколько белых прядей, которые она искусно зачесывала и прятала под разными украшениями, чтобы быть более моложавой. Она также красила увядавшие губы. Лишь расплывавшееся тело и ожиревшая грудь выдавали ее годы. Она была окружена рослыми, мускулистыми, белокуроыми юношами-германцами. Она только им и доверяла и из них набирала своих телохранителей.

телей. Рядом с германскими великанами — латинские легионеры казались слабосильными карликами.

Агриппина величественно выступала, как бы распространяя вокруг себя атмосферу торжественности.

Сенаторы и военные, которых она ненавидела, инстинктивно склонялись перед ней. Они сознавали, что мимо них проходит правительница, некогда торжественно вступившая в Капитолий.

За ней следовал Паллас.

Агриппина опустилась на почетное место. Паллас шепотом сообщил ей, что ожидается Британник. Она просветлела и обрадовалась при мысли, что не будет одинока в кругу льстивых царедворцев Нерона. Британник был единственным, кого она могла бы противопоставить сыну, возраставшее честолюбие которого она тщетно пыталась умерить. Нерон, под влиянием Сенеки, стремился непрерывно вперед.

Вместе с Британником явилась Октавия в сопровождении нескольких телохранителей. Агриппина подозвала Британника.

Нерон непринужденно вошел и занял место около Октавии. Он был тщательно выбрит, и лицо его благоухало. Нарядная белая тога и завитые локоны выдавали его заботу о своей наружности. В руках он держал шлифованное стекло, через которое оглядел собравшихся.

Он искал Британника, но от волнения никак не мог его найти. Лишь после того, как он несколько раз обвел глазами стол, он заметил его возле Агриппины, прямо перед собой. Нерон не ожидал, что окажется так близко от него. Эта близость давала ему возможность следить за каждым его движением.

Лицо Британника было равнодушно, и среди пышно разодетых придворных он казался незначительным. У него были черные, коротко остриженные волосы; голова его была миниатюрна. Обменявшись со всеми гостями вежливым приветствием, Британник стал смотреть как бы мимо их, не принимая участия в окружающем оживлении; лишь на сестре он остановил любящий взор.

Император переглянулся с Зодиком; последний воз-

лежал в темной компании стихокропателей. Он кивнул Нерону, как бы в знак того, что все в порядке.

Слуги в белых туниках разносили закуски.

Нерон ел с волчьей жадностью.

Он словно хотел возместить лишения последних месяцев. Отказавшись от голодного режима, он уже во время закусок наелся до отвала. Он глотал свежие устрицы, уничтожал спаржу и оливы, смаковал свое излюбленное лакомство — страусовые мозги.

— Почему ты не кушаешь? — обратился он к Британнику. — Надеюсь, ты не болен? Ты выглядишь лучше и очевидно поправляешься!

Агриппина и Октавия стали прислушиваться: первая — с суровым вниманием, вторая — с заботливым беспокойством.

— Ешь, брат! Поэты должны хорошо питаться. Только боги живут амброзией!

Стихотворцы начали посмеиваться. Но как только Агриппина подняла маленькую, желтую, как воск, руку, водворилась тишина.

— Разве ты не любишь угря? — язвительно продолжал Нерон. — Или горячей кровяной колбасы с гвоздикой? Рекомендую тебе ее! Она укрепляет голос.

— Его голос достаточно силен, — вмешалась Агриппина.

— Однако в нем нет огня, — возразил Нерон.

— Теплота лучше огня!

Ответ матери смутил его.

— Где Сенека? — полюбопытствовала Агриппина, всегда бдительно следившая за своим противником.

— Он просил извинения, — ответил император. — Наш великий моралист нездоров. Кроме того, он устал. Он лишь недавно окончил свою драму. Вчера он прислал мне ее.

— Как она тебе нравится? — спросил Факий, уплетая за обе щеки.

— Ничего, — проговорил Нерон, — она выдержана в его духе. Много общих мест и пафоса. Его более ранние произведения удачнее. Неудивительно: он уже стар и исписался!

— Как называется эта драма? — осведомилась Октавия, чтобы что-нибудь сказать.

— Тиест.

В рядах поэтов пробежал шепот.

— Слыхала ли ты об этом герое, императрица? — спросил Нерон.

— Нет, — призналась Октавия.

— Если разрешишь, я с удовольствием расскажу тебе о нем. Он был внуком Тантала.

— Того самого Тантала, — подхватил Фанний, — который велел приготовить жаркое из собственного сына!

— Да, — бесстрастно проговорил император, — но и внук оказался достоин деда! Неужели ты не знаешь его истории, императрица? Начинается она с того, что Тиест убивает сводного брата. — И Нерон вперил взор в Бригантика.

Британик был в эту минуту очень красив. Его жгучие черные глаза, затуманенные тоской, устало мерцали.

Спокойно и кротко, хотя с явной скукой, слушал он Нерона, чувствуя, что стрелы его «остроумия» направлены против него.

— Все это только миф, — оборвала Агриппина сына.

— Однако весьма занятный! — ответил Нерон.

Он вытер губы, влажные от розоватого сока, которым была приправлена баранина.

— Я предпочитаю баранину с пряностями даже вареным в молоке каплунам! Дайте мне соли!

Справившись с любым блюдом, император продолжал свое повествование.

— Тиест был, в сущности, добрый малый, но случайно влюбился. Он совратил супругу своего брата Атрея, которая подарила ему нескольких детей. Атрей был этим не совсем доволен и велел бросить жену в море!

Нерон так расхохотался, что вино полилось у него обратно изо рта. — Не правда ли, он хорошо сделал?

— Моралисты одобрили бы его поступок, — заявил Зодик.

— Даже Сенека? — спросил Фанний.

Стихотворцы рассмеялись.

— Но это еще не все! — сказал Нерон. — Атрей был не дурак. Он отомстил и легкомысленному брату. Под видом примирения он пригласил его на трапезу. На дорогих подносах подали нежное, вкусное мясо. Тиест насытился им по горло. Только тогда ему открыли, что он съел жаркое из родного сына.

— Какой ужас! — прошептала Октавия.

— Да, поэзия всегда жутка, — сказал император, повернувшись к стихотворцам, — это не сахарная водица. Даже солнце вознегодовало при виде этого злодеяния и, сбившись с пути, вошло на следующий день на западе, а закатилось на востоке. Но что у тебя там на блюде, Бурр?

— Дрозды, — откликнулся ветеран.

— Дрозды! И я их охотно уничтожаю с приправой из душистого перца.

Состроив растроганное лицо, он взглянул на блюдо.

— Смотрите, как кончается жизненный путь певчей птицы!

Стихотворцы хором загоготали. Чтобы увенчать свое остроумие, Нерон обратился к зажаренному дрозду:

— Дорогой собрат! Усопший певец! Я проглочу тебя с братской любовью!

Затем он стал дальше рассказывать об Атридах, к явному неудовольствию Агриппины.

— Я ценю этот благородный, почтенный род за его прямолинейность. Тиест, например, состоял с родной дочерью в сердечнейших отношениях. От их счастливого и примерного союза на свет явилась наследница. Атрей по рассеянности женился на этой деве, бывшей одновременно дочерью и внучкой Тиеста. Или, быть может, я ошибаюсь? Я умолкаю, ибо совсем запутался... Корни их родословного дерева доходят до подземного царства!

Трапеза близилась к концу. Уже принесли свежие и вареные плоды. Нерон уплетал яблоки, груши и персики, строго запрещенные ему лекарями; он перестал заботиться о своем голосе, жадно ел и без удержу разглагольствовал.

Зодик бросал ему вопросительные взгляды, но Нерон продолжал подавать отрицательные знаки. Он на-

слаждался своей игрой с Британником.

— У поссорившихся братьев,— продолжал он,— были большие, спокойные глаза; в них ничего нельзя было прочесть. От Атреев происходит и Агамемнон, о котором я написал элегию; ту, которая так понравилась Британнику. Не правда ли, ты ее одобряешь?

Британник, переставший слушать Нерона, переговаривался с Агриппиной.

— Что? — отозвался он вдруг, спохватившись.

— Я упомянул о своей элегии. Каково твое мнение об «Агамемноне»?

— Он был великим царем,— ответил Британник и не добавил ни слова.

— Ты как будто разучился говорить! — воскликнул Нерон, потешаясь над братом.— Выпей глоток вина — быть может, оно вернет тебе речь!

Слуга принес кувшин фалернского вина. Но от алоэ и других ароматных пряностей оно загустело, как мед. Его пришлось отделять от сосуда, комьями бросать в кубки и разбавлять горячей водой. Согласно придворному обычаю, слуги предварительно отведали вино. Лишь после этого Британнику был подан кубок.

Нерон недоумевающе посмотрел на Зодика.

Вино, однако, оказалось, чересчур горячим, и Британник, после первого же глотка, попросил холодной воды. Тогда Зодик, подбежав к нему, перелил в его вино содержимое своего кубка. Британник выпил все до дна.

Агриппина, недовольная возбужденными речами Нерона, с нетерпением ждала окончания трапезы.

Нерон же, повысив голос, вернулся к своей теме:

— Итак, царь Агамемнон, о котором я сочинил элегию...— В этот момент Октавия, указывая на брата, вскричала: — Ему дурно!

Действительно, спазмы как будто сжали горло Британника, и голова его упала на стоящую перед ним золотую тарелку.

«Как та свинья...» — подумал император.

Он с удовлетворением заметил, что лицо брата побелело.



— Обычный припадок,— произнес он вслух.— Британник ведь страдает эпилепсией. Выпей еще глоток, брат... Пустяки... сейчас пройдет! — И он стал успокаивать женщин, вскочивших с мест и кинувшихся к Британнику.

Император чувствовал, что все взоры на него устремлены; однако он, не дрогнув, вернулся к своему рассказу:

— Достойный род Атреев процветал...

Не слушая Нерона, многие из гостей испуганно вскочили с мест:

— Он умер! — кричали они, бросаясь к выходу.

Октавия не сводила глаз с брата и как бы окаменела. Голова Британника неподвижно лежала на столе.

Молодая императрица не смела ни заплакать, ни издать стона. Агриппина, словно обезумевшая, кинулась вон из зала, увлекая за собой Октавию.

Труп унесли, но трапеза продолжалась, как ни в чем не бывало. Подали крепкие греческие вина: кипрское и родосское. Закусывали винными ягодами. Притащили закованного карлика Ваниция. Его освободили из цепей, напоили вином и возложили ему на голову венки.

Поэты обступили императора: он был буйно-весел, неистовствовал и отвратительно горланил: он был пьян.

— Певчей птичке — конец! — съязвил Фанний, намекая на Британника.

— Бедный дрозд! — подхватил Зодик и стал подражать птичьему пению.

#### XIV. ЗАБВЕНИЕ

— Наконец! — воскликнул Нерон, как только остался один,— наконец-то!

Он то ходил, то бегал по комнате; садился и вскакивал; смеялся и стонал, улыбался и плакал; чувствовал, что он свободен, что никто никогда не сможет ему больше помешать, ибо он победил всех...

С сердца у него словно свалился камень, нет, не камень, а целая скала, которая ночами давила его и не давала ему дышать.

Он впервые убил. Никогда он не думал, что это так просто. Все совершилось легко и ошеломляюще быстро. Смерть Британника была мгновенной. Нерон держал себя при этом так непринужденно, что удивил не только гостей, но и самого себя. Можно было подумать, что он уже имел многократный опыт. Ни на один миг не потерял он спокойствия. Не смутился он даже тогда, когда услышал о синих пятнах, выступивших от яда на лице усопшего. Он велел замазать их гипсом и в ту же ночь устроить похороны. Они состоялись под проливным дождем, в присутствии большой толпы.

Перед сенатом император мотивировал эту поспешность своею скорбью и желанием ускорить горестные для него обряды.

Теперь Британника больше не существовало ни на земле, ни на небесах, ни в подводных глубинах — нигде.

Сознание его небытия вызывало в Нероне злорадный восторг; дальше этого он в совершившееся не углублялся; он хотел отдохнуть и сосредоточиться лишь на самом себе. Его собственный мир стал огромен. Одним ударом он завоевал все: успех, покой и славу — всю полноту жизни! Он мог снова жить, отведывать все упоения и прежде всего — писать, без колебаний, как раньше! Какой глупостью казалась ему теперь ложная скромность, привитая ему его учителями, в особенности Сенекой.

Анализируя собственные чувства, он заключил, что люди все — завистливы, низки и скверны. Он желал добра, но ему не позволяли быть добродетельным. Причина зла лежала, очевидно, не в нем, не там, где он ее искал, а вне его «я»: в других, в мире, который, замыкаясь, отверг его любовь. Его ошибка состояла лишь в том, что он этого прежде не видел. Нужно было навести порядок в окружающей среде, вместо того, чтобы тратить силы на бесцельную душевную борьбу.

Смирение лишь столкнуло его с высоты. Теперь надо было непреклонно защищать самого себя. Ведь сила на то и дана, чтобы охранять все ценное; власть священца, когда она служит благим целям.

Ему казалось, что не существует стремлений, более возвышенных, чем его собственные.

Он оградит себя неприступной стеной, чтобы беспрепятственно творить. Без этой ограды — поэт погибает, какие бы прекрасные песни он ни слагал.

Нерон стал говорить резким, металлическим голосом, тоном, не терпящим возражений. Он словно попирал мысли собеседника и властвовал над душами. Все, что ему самому не было под силу, он решил возложить на государство.

Он стал присматриваться к партиям, хотя раньше ими не интересовался, и еще более к людям вообще; не они ли составляют аудиторию поэта?

Впервые он ощутил, что он могуч, что он — император, и впервые обрадовался этому.

Он не мог простить своей матери тех слов, которые она произнесла за трапезой. Лаконичным приказом он отозвал ее телохранителей-германцев и, предоставив ей дворец Антония, удалил ее из собственного дворца.

Агриппина попыталась вымолить у него прощение. Но император принял ее в присутствии вооруженных воинов и остался непоколебимым. Высоко подняв голову, он посмотрел на нее отчужденным взглядом. Агриппина ушла от него уничтоженная.

Изменился он и во внешности, словно артист в новой роли. Он сделался невероятно тучным. С тех пор как он перестал изнурять себя и ел все, что его соблазняло, он заплыл жиром. Его спина и затылок стали выпуклыми, и у него образовался двойной подбородок.

Лицо его преобразилось; новый отблеск, словно дарованный богами, осветил его; это был свет самосознания, самоуверенности и силы. Никто не выдерживал его взгляда.

К этому времени со всех концов империи стали приходить отрадные вести. На востоке — в Сирии и на армянском фронте — близилась развязка.

Римские орлы пробивались вперед. Корбулон, собрав несколько восточных легионов, выступил против армян и их союзников парфян. После постоянных отступлений вероломных солдат восточных войск он принял смелое решение. Он распустил собранные легионы и набрал в Каппадокии новое войско, с которым разрушил

Тиграноцерту, взял Артаксату и в открытом бою разбил армянского царя Тирidata.

Когда весть об этой победе дошла до императора, он приказал устроить в Риме иллюминацию.

Упоенный военными триумфами и собственным величием, Нерон внезапно нашел свой дворец слишком тесным. Он приказал снять статуи прежних правителей, которые на него подавляюще действовали, и велел воздвигнуть против главной колоннады собственное бронзовое изображение.

Новая статуя императора представляла собой колосс в сто футов вышиной, такой могущественный, что, глядя на него, сам Нерон испытывал смущение.

Император сжег все старые облачения. Теперь он каждое утро одевался в новую тогу, которую вечером выбрасывал. Его ванная комната была соединена с морем водопроводом длиной в двенадцать миль, дабы он мог купаться в морской воде. Другой водопровод связывал его дворец с сернистыми источниками в Байе.

Сам Нерон принял на себя надзор за придворным штатом. Старший повар, ювелир, хранитель мазей и благовоний, императорский портной и придворный сапожник — обязаны были являться непосредственно к нему со своими докладами.

Императорские залы, галереи, погреба и мавзолеи представляли собой как бы отдельный город. По дворцовому парку гуляли прирученные львы и пантеры, из-за каждого дерева выглядывало мраморное изображение какого-нибудь бога.

Но больше всего Нерон заботился о зале, в котором писал и занимался. Он непрерывно украшал его, велел выложить стены перламутром и драгоценными камнями и поставить между окнами статуи.

Здесь сидел он с утра до вечера, пытался сочинять стихи, но почти всегда безуспешно. Его пальцы сводились судорогой, и палочка, которой он писал, выскользывала из руки.

Он не знал, как объяснить себе отсутствие вдохновения. Но однажды перед его взором всплыл бледный, хрупкий образ Октавии.

— Всему виной она,— произнес он вслух, удивившись, что до сих пор об этом не догадался.

Он никогда не любил Октавии, не питал к ней никаких чувств даже тогда, когда на ней женился. Постепенно его равнодушные перешло в отвращение, и она стала ему в тягость.

У Октавии были черные волосы, всегда скромно и гладко зачесанные. Император замечал в чертах ее лица какую-то отчужденность, которая расхолаживала всякое чувство к ней. Она обдумывала каждую фразу, растягивала слова и своими словно застывшими голубыми глазами бесстрастно глядела прямо перед собой. Приход ее вносил какую-то принужденность. В отличие от большинства сверстниц она получила систематическое литературное образование, но тем не менее относилась с полным равнодушием к разглагольствованиям Нерона о поэзии и к его собственным произведениям. После смерти Британника она даже перестала появляться на трапезах. Когда ей все-таки, что случалось весьма редко, приходилось бывать в обществе, она всегда испуганно оглядывалась; ей чудилось, что кто-то стоит за ее спиной.

Чаще всего она играла в своей комнате в куклы; разодетые в красные и синие наряды они были рассажены в ряд и так же бездушно уставляли в пустоту свои неподвижные глаза, как сама Октавия. Она их одевала и раздевала и пела им короткие колыбельные песенки.

Детей у них не было. В праздник Луперкалий, когда бесплодных женщин били кожаной плетью, император велел вывести ее на улицу и сам верховный жрец коснулся ремнем ее бедер. Однако и это не помогло.

— Она бесплодна и меня делает бесплодным,— говорил Нерон.

Он еще не знал женщин, изведаль лишь безрадостные поцелуи Октавии и ее бестрепетные объятия. Он был убежден, что она уссушает его талант; от ее ледяного тела словно застывает воздух, и она гасит его пламя, которое из-за ее присутствия ни разу не могло разгореться. С неудовлетворенной душой император призывал страсть. Думал о любви, которая освободит в нем то, что до сих пор оставалось скованным; жаждал истомы и

волнующих порывов, которые претворились бы в музыку стиха. Что могла дать ему Октавия?

Он чувствовал себя одиноким.

Зодик и Фанний ему уже надоели. Они постоянно повторялись и к тому же беззастенчиво его обманывали.

Он тосковал по иному обществу. Ему хотелось быть окруженным нарядами, красивыми, остроумными юншами, которые могли бы развлечь его и поднять его настроение.

Секретарь Нерона грек Эпафродит сумел с чутьем художника создать ему избранный круг, проявив свой вкус, словно искусный повар при составлении изысканного меню. Он собрал людей, благотворно дополнявших друг друга: писец Нерона Дорифор олицетворял собой красоту; бесстрашный моряк Анпцет, бывший некогда воспитателем императора, являл собою суровое мужество; Коссиний непоколебимо рассказывал анекдоты; стихией Селиция была вино, а родственник Сенеки Серений умел чутко внимать чужим речам; он был тем безмолвным слушателем, который незаменим в обществе, обретая право на свое присутствие самопожертвованием, преданностью и пассивной отзывчивостью. Отон представлял собою остроумие и был задорным и милым покорителем женщин; он пересыпал блестящими рассказами о своих приключениях в двух частях света.

Среди этих людей император чувствовал себя хорошо. общение с ними было ему приятно. Их изысканные манеры скрашивали грубую действительность. Они никогда не интриговали друг против друга, как это делали писатели. В их концепции жизнь казалась Нерону приемлемой. Особенно по душе был ему квестор Отон, происходивший из знатного консульского рода; он был эпикурейцем, наслаждался жизнью и полными пригоршнями бросал во все стороны деньги. На губах его играла сытая улыбка. Он часто передавал двусмысленные шутки, слышанные им от веселых приятелей или комических актеров. В еде и вине он соблюдал меру, но в любви аппетит его был ненасытен. Он ошеломлял Нерона альковными сплетнями и перечислением своих возлюбленных, среди которых были и молоденькие девушки и опытные

женщины. Он покорял почтенных супругов сенаторов и скромных жен пекарей и сапожников, причем мужья-рогоносцы в своей очаровательной невинности ничего не замечали.

Однажды Эпафродит привел женщин. После трапезы, когда Нерон и его друзья откинулись на подушки, их окружила вереница красавиц. Среди них были и всем известные доступные «девицы», и знатные патрицианки, получившие тайные приглашения.

Нерон равнодушно оглядел этих женщин и остановил взор на сидевшей в отдаленном углу рабыне; она не была ни грустна, ни весела, и не старалась ему понравиться, как все другие гости, домогавшиеся его благосклонности. Взгляд ее был устремлен вдаль, и она дышала спокойствием, каким бывает исполнена плодоносная природа.

Нерон подозвал ее. В ее объятиях он познал давно желанное упоение и живительную страсть. Когда потом он увидел Октавию, он почувствовал удовольствие от сознания нанесенного ей унижения.

Других радостей любовь ему еще не дала. Он любил женщину, лишь пока видел ее перед собой. Затем он ее забывал. Если же вспоминал о ней, то мыслил ее лишь как существо, дарящее удовлетворение. Его чувство к женщине питалось только настоящим, не зная ни прошлого, ни будущего.

— Неужели это и есть любовь? — спрашивал он Эпафродита. — Где же восторженные слова? Отчего мое чувство не исторгает у меня ни стонов, ни слез, как у других поэтов?

Нерон был неразлучен со своими друзьями, и его постоянное присутствие начало их утомлять. Император боялся оставаться один.

Насколько он когда-то любил одиночество, настолько теперь страшился его. Он желал постоянно слышать человеческие голоса: и собственный и посторонние. Только бы не наступила тишина!

Эпафродиту приходилось провожать его в опочивальню и, сидя у его изголовья, беседовать с ним, пока он не засыпал.

## XV. ЖЕНЩИНА В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

Нерон часто посещал театр. Однажды он отправился с Эпафродитом и Парисом в театр Марцелла.

Он занял ложу, наиболее близкую к оркестру и сцене.

Театр был переполнен. Все три яруса были наводнены народом: крепкоголовыми римлянами, с нечесаными черными, щетинистыми волосами, жесткими как проволока; римлянами, вскормленными волчицей...

При входе императора они вскочили; несметное множество рук протянулось вперед в знак приветствия. Толпа выкрикивала имя Нерона, и он чувствовал себя счастливым, оглушенный ее ревом. Он поднял руку по направлению к галерее; в ответ рев удесятился. Приветствовав народ, Нерон опустил на лежанку. Рядом с ним расположились Парис и Эпафродит.

Представление состояло из отдельных разрозненных номеров. Время мифологических трагедий уже прошло. Давались короткие фарсы для увеселения народа, ставились двусмысленные пантомимы и под аккомпанемент флейты исполнялись песенки.

Публику не интересовали большие постановки.

Представление началось. Выступили два актера. Один изображал толстяка, другой заморыша. Они обменивались ругательствами сомнительного остроумия и показывали друг другу язык. Наконец, они сцепились и перекувырнулись. Галерея неистовствовала. Зал сотрясался от смеха.

— Скучно! — проговорил император, — все одно и то же. Что в следующих номерах?

Парис, в этот вечер не выступавший, сообщил Нерону программу.

— Не ожидается ничего интересного. Антиох и Тэрпний исполнят песню под аккомпанемент арфы. У каждого из них свои приверженцы. Оба лагеря более или менее равны, но плохо организованы.

При появлении Антиоха раздались рукоплескания и свистки. Обе стороны усердствовали. Наконец, водворилась тишина.



— Что дальше? — спросил император.

— Мимическая сцена. Затем выход Памманеса. Но бедняга уже стар: хотя он и просиживает целыми днями у дантиста, зубов у него становится все меньше и меньше.

Декорация пантомимы изображала гору с речкой. Толпа аплодировала. Действие разворачивалось в обычных рамках. Появилась Венера, а за ней следом Вулкан, вооруженный с головы до пяток. Для забавы зрителей он принялся щипать голую богиню.

Нерон поднял решетку ложи и, отвернувшись от актеров, стал рассматривать публику.

Он видел перед собой живой Рим, грубый, невзыскательный город, требовавший лишь смеха. В полукруглом зрительном зале теснились вспотевшие люди, мужчины и женщины. Было много легионеров, коротавших свой досуг в обществе прильнувших к ним девиц.

В партере, в рядах патрициев, Нерон обратил внимание на одну женщину. Она смотрела на императорскую ложу.

— Кто это? — спросил он.

— Разве ты ее не знаешь? — ответил Парис, — она здесь бывает каждый вечер. Это Пoppея Сабина.

— Жена Отона!

Женщина как будто заметила, что речь идет о ней. Она тотчас же отвернулась и устремила взор на сцену.

Прозрачная вуаль, покрывавшая верхнюю часть ее лица, оставляла открытыми лишь подвижные губы, ярко выделявшиеся под тенью легкой ткани.

— Пoppея! — повторил Нерон. — Это означает — кукла, маленькая игрушка. Как странно!

Он остановил на ней взгляд. Она спокойно и ровно дышала. Ее маленькие округленные груди, казалось, пробуждали истому и негу. У нее были беспомощные руки и детски-нежный подбородок. Ее красота манила, как горький, пьянящий напиток. Ее волосы были не густы. В них также была разлита какая-то слабость и грусть... Волосы необычно янтарного цвета...

— Она словно дремлет или томится, — заметил Нерон.

— Ее мать любила актера и покончила с собой, — ска-

зал Парис.— Она тоже была знаменитой красавицей; она сводила с ума всех римлян.

Поппея Сабина слегка наклонилась вперед. Внезапно, словно вкладывая в этот жест особое значение, она откинула вуаль. Движения ее были полны чувственности.

— Неужели она всегда так бледна? — спросил Нерон, когда она открыла лицо.

Тонко очерченный нос и те неправильности, которые, вместе взятые, сливаются в маняще-таинственную красоту, составляли главное очарование Поппеи. С нее нельзя было бы ни писать картину, ни ваять статую. Слишком непостоянно и неуловимо было выражение ее лица. Губы, в которых на первый взгляд читалась какая-то горечь, казались затем то угрожающими, то бессильно-молчаливыми. В серых глазах чутко спал хаос грез. Тонкое тело было трогательно миловидно.

Глядя на нее, невольно вспоминалась судьба ее матери, и сама она представлялась окутанной тайной, овеянной чем-то необычайным и волнующим; неугасимый луч ушедшего лета словно озарял еще ее лицо. Но в ней чувствовалась и ранняя осень, опаленная пламенем воспоминаний.

Она снова медленно опустила вуаль до самого рта. Только губы остались неприкрытыми.

— Кто рядом с ней? — спросил император.

— Алитирос.

— Я его не знаю!

— Он — артист. Эта женщина бредит искусством.

— Значит, она не римлянка? Не гречанка ли она? — спросил Нерон.

— Насколько мне известно, она — иудеянка.

Император призадумался.

— Иудеи — идолопоклонники, как и христиане, — сказал он. — Они так же мятежны и опасны. Тиберий изгнал из Рима четыре тысячи иудеев.

— Почему она отвернулась? — спросил он вдруг с раздражением.

Пантомима тем временем кончилась.

На сцене появился старый певец Памманес, когда-то кумир толпы, а теперь лишь почитаемая руина.

Нерон не сводил глаз с Пoppей. Парис, который знал ее, начал передавать все сплетни о ней:

— Первым ее мужем был Руфий Криспин. Но в один прекрасный день она бросила его и вышла вторично замуж.

— Я хочу ее завтра видеть! — оборвал его Нерон.

Парис спустился в партер. Он сел рядом с Пoppеей и передал ей желание императора.

## XVI. ПОППЕЯ САБИНА

Октавия цвела. Так еще не раскрывшаяся белая роза, срезанная с куста, в воде продолжает распускаться. Давно мертвая, она все еще прекрасна...

На следующий день пришла Пoppея.

— Я здесь тайком, — пролепетала она, — никто об этом не знает, даже Отон.

И она робко подошла к императору, как испуганная маленькая девочка.

«Она очаровательна и странна! — подумал про себя Нерон, — но совсем иная, чем вчера...»

Издали она казалась ему таинственной. Вблизи она была проще. На ее лице он заметил несколько веснушек. Вся она производила впечатление искренности и непосредственности...

На ней было одеяние из тонкой дорогой ткани, без всякой отделки. Она не носила никаких украшений. Свобода ее движений ничем не сковывалась. Под материей вырисовывались грациозные очертания груди. Она презирала косметику; мать внушила ей, что только вульгарные женщины красят лицо, и Пoppея воздерживалась от этого обычая. Лишь к кончикам ресниц она прикоснулась черной краской и положила на веки легкую синеватую тень. Она приняла несколько капель возбуждающего средства, придающего свежесть и оживленность, и уже на мраморных ступенях дворца пожевала миртовый бутон, чтобы дыхание ее благоухало.

Она уже давно ждала этого момента; знала, что он раньше или позже наступит; с этой целью она и посещала постоянно театр.

От восторга величественных перспектив у нее закружилась голова. Но она не подавала вида и равнодушно смотрела на императора.

У Нерона забилося сердце. Он хотел что-то сказать, но у него пересохло в горле.

Он указал ей на мягкое ложе и смог лишь выговорить: «Садись».

Поппея, которая все заранее обдумала, опустилась на более отдаленное сиденье.

Ее слушание было непочтительно и дерзко. Но оно сразу изменило создавшееся настроение и разбило отчуждение. Оба это почувствовали. Поппея вдруг показалась Нерону необычайно близкой. Он этому обрадовался. Теперь он мог просто с ней заговорить.

— Отчего ты не снимаешь вуаль? Я хочу видеть твое лицо.

Когда она приподняла прозрачную ткань, он проговорил: — Ты казалась мне иной.

— Я тебя разочаровала?

— Ты была как будто печальней, так грустна и прекрасна!

Поппея засмеялась. Голос ее звучал глухо, как будто утомился, поднимаясь из теплой глубины ее груди.

— Однажды,— беспечно заговорила она,— я плачущей увидела себя в зеркале. Я смотрела, как жемчужинки катятся по моим щекам. Было так странно. Слезы солены. Как море.

Она сказала все это по-гречески.

— Ты владеешь греческим языком?

— Конечно! Это как бы мой родной язык. Моя мать хорошо говорила по-гречески и приглашала для меня греческих воспитателей. Даже кормилица моя была гречанкой.

Поппея продолжала беседу на этом языке. Нерон был в восторге. Греческая речь была принята в литературе и в избранных кругах Рима и в противоположность грубой латыни была проникнута изяществом.

Они болтали, смеялись словно мчались по пенистому, поющему потоку в усыпанном цветами челне, и не они, а волны под ними, журча, шептались и лепетали...

— Как чудесно! — искренно воскликнул Нерон, и глаза его загорелись. — Все, что ты говоришь — меня занимает. Другие женщины ткут, кормят детей и скучают; наводят скуку и на меня. Они меня почитают и боятся. Им недостает решительности. Ты же, мне кажется, смела; речь так непринужденно и гордо льется из твоих уст. С тобой мне хорошо, и я могу говорить.

Поппея, видимо, не обратила внимания на похвалу. Она как будто вспомнила что-то; вздохнула, словно порываясь заговорить, но многозначительно остановилась. Молчание ее, однако, не было тягостно.

— Я боюсь... здесь никого нет? — и она беспокойно оглянулась.

— Меня несли сюда в завешанных носилках, через узкие переулки, — доверчиво поведала она... — Если бы он только заподозрил — это было бы ужасно.

— Кто?

Поппея не ответила.

— Послушай, — проговорила она, — как бьется мое сердце!

Нерон небрежно приложил руку к ее груди. Маленькое сердце буйно трепетало, как птица, попавшаяся в клетку.

Иностранный язык придал императору смелость.

— Ты прекрасна, — глухо проговорил он, словно нехотя признаваясь в этом. — Ты усталая, слабая кукла... Ты даже не красива... Но ты — особенная и оттого мне нравишься. Я всегда осмеивал и презирал Венеру, эту профессиональную богиню красоты; она мне отвратительна! Минерва и Диана тоже ничего не говорят моему взору, они — для толпы. Размеренное и правильное не может быть прекрасным. Оно уродливо. Только страшное, полное извивов, только отклоняющееся от общепринятых образцов — красиво. Такова ты. Ты — маленькая, необычная женщина, с изломанными бровями и трепетными ноздрями, похожими на крошечные, белые паруса!

Для первого раза Поппея не желала большего. Она была настроже; подготавливала каждый жест, каждое слово.

Теперь она встала и освободила свою руку из руки Нерона. Она решила, что на первый раз достаточно.

Пробормотав несколько сбивчивых слов об Отоне, который ее где-то ждет, она опять вздохнула: — Да, надо идти!

Под вечер Нерон снова послал за нею, но ее не оказалось дома. На следующий день она велела передать ему, что она нездорова. Лишь через три дня она явилась во дворец.

— Где ты пропадала? — спросил Нерон. — Ты бежишь от меня, а когда я тебя встречаю — смотришь на меня, как чужая. Какне у тебя большие глаза. Сегодня они совсем черные.

Перед уходом из дома она пустила под веки немного яда, от которого зрачки неестественно расширились.

Нерон возлежал с полузакрытыми глазами. Он словно бредил...

— Ты — птица. Легкокрылая ласточка. Или нет — сокол с колючими когтями... Ты — плод, цветок, роза... Я люблю тебя!

Поппея сидела перед ним молчаливая, спокойная, невозмутимая. Она сжала голову обеими руками, будто не желая слушать его слов, не желая о них догадываться... Затем она погладила лоб Нерона, тихо, как ласкают ребенка.

— Успокойся, — прошептала она. — Так! теперь мы можем разумно поговорить. Я пришла сообщить тебе, что мы должны расстаться; спокойно, без гнева, теперь, пока еще не поздно. Что могут дать нам наши отношения? Мы оба только страдаем. Пожалеем же самих себя! Ты могуществен, — продолжала она, замуривая глаза с ребяческой важностью. — Но и ты не можешь достичь невозможного.

— Из-за Отона? — запальчиво воскликнул Нерон.

— Да, — ответила Поппея, — но также и из-за нее, — она сделала жест в сторону покоев Октавии.

— Из-за нее! — пренебрежительно повторил император. — Бедняжка, — добавил он жалостливо.

— Говорят, она красива.

— Может быть. Но для меня только ты красива. Ты — трепетная страсть, пламенная страсть, пламенное забвение. Рука твоя тепла, а ее руки холодны как лед.

Уста твои горячи — неизведанные мной уста, подобные  
огненному меду. Их я искал... — И он потянулся к ней,  
хотел коснуться ее губами. Но она отвернулась.

— Нет! Императрица выше меня! Она внучка или  
дочь богов.

— Не говори о ней!

— Она твоя супруга и она — мать.

Нерон с горечью рассмеялся: «Да, бездетная мать  
несчастных и униженных!»

— Но она благородна. Во мне же нет благородства,  
нет возвышенности...

— Если бы ты знала, как мне претит возвышенное!  
Ее скучная возвышенность!

Поппея слушала; подняла умную голову — маленькую  
голову змеи... проговорила решительно и восторженно:

— Ты — художник, истинный поэт...

— Да, — сказал Нерон, словно на мгновение очнувшись  
от сна. — Но я давно ничего не пел.

— Спой что-нибудь.

Он принес лиру и жестким прикосновением извлек  
нестройную разноголосицу звуков.

Поппея в совершенстве владела лирой, но бесподобно  
играла и на другом божественном инструменте: на  
струнах чужой души.

— Написал ли ты что-нибудь новое?

— Нет.

— Ты запускаешь свой талант. Жаль. Я знаю несколько твоих  
стихов наизусть — они прекрасны! Но у тебя много врагов.

— Много, — хрипло повторил Нерон, кладя лиру в  
сторону. — Все мне враги!

— Это понятно. Художники завистливы, всегда соперничают друг с другом. Но отчего ты это допускаешь? Твои стихи и твоя музыка — безвестны; ты до сих пор скрывал их от мира, прятался. Во дворце у тебя слишком тесный круг слушателей и мало ценителей искусства. Отчего бы нам всем — многим, многим тысячам — не увидеть и не услышать тебя? Художник не может удовлетвориться узкой средой своих приближенных.

Впрочем, я забыла, что императрица — любительница музыки.

— Она? Ты заблуждаешься.

— Как странно! Разве она не любит флейты?

— Нет. Но отчего ты это спрашиваешь?

— Я кое-что слышала... Так... всякие пересуды!

— Какие?

— Оставим это!

— Я желаю сейчас же все узнать! — возбужденно возразил Нерон.

— Говорят, что какой-то флейтист тайком играет под ее окнами. Но это, без сомненья, лишь пустые толки...

— Как его зовут?

— Я забыла... подожди! Кажется, его имя Эвцерий!

— Эвцерий! — воскликнул император. — Египетский юноша! Да, он флейтист, и я его знаю.

Поппея утвердительно кивнула головой.

— Он целыми ночами играет в саду, под покоем императрицы. Его музыка часто мешала мне спать!

— Говорят, что он еще ребенок, — снисходительно заметила Поппея и перешла на другую тему...

Когда она собралась уйти, Нерон подал ей нитку жемчуга... Но Поппея отклонила его дар. — Нет, я не ношу драгоценностей.

И она небрежно вернула императору ожерелье, словно на нем были нанизаны ничего не стоящие камешки.

— Что же мне дать тебе?

— Себя! — просто и смело проговорила Поппея.

— Аспазия, Фрина, Лаиса! — воскликнул Нерон в неистовом восторге...

— Поэт! — шепнула ему Поппея и выскользнула из зала.

Внизу она опустила вуаль. Поспешила домой. Ее ожидал Отон. Оба были довольны. Но Отон продолжал представляться ревнивым, ибо деньги у него иссякали, а квесторство приносило лишь мизерный доход. Они решили, что на первых порах Поппея не должна принимать от императора никаких подарков — ни жемчуга, ни золота. Было бы оплошностью за такую дешевую це-



ну продать будущее. Отон готовился по меньшей мере к наместничеству. Пoppея же ставила себе иную цель. Она метила гораздо выше.

В тот же вечер покои Октавии были заняты воннами. Немедленно, при свете факелов, был учинен краткий допрос. Эвцерий не признавал за собой никакой вины. Однако его бросили в темницу и заковали в кандалы. Служанки Октавии ни в чем не признавались. Они давали воинам дерзкие ответы и плевали им в лицо, когда те, черня молодую императрицу, хотели вынудить у них подтверждение нашептанной им клеветы.

Октавия не могла ответить на поставленные ей вопросы, она не могла даже объяснить, отчего она последнее время так много плакала, и ее печальное настроение было приписано тоске по возлюбленному. Император осудил ее на изгнание, и на следующее утро она, под конвоем, была препровождена в Кампанию.

Пoppея тем временем отлучилась из Рима. Но она прислала к императору Алитиросу с рекомендательным письмом, в котором представляла его как своего давнишнего знакомого и как прекрасного артиста. Она хвалила его простой, всегда успешный метод преподавания, открывший многим чары и тайны искусства. Его система была действительно чрезвычайно несложна. Алитирос восхищался всем, что слышал от Нерона, не исправлял его ошибок и хулил своего предшественника, которого обзывал старым пьяницей.

Он сразу понравился императору и занял место уволенного Тэрпния. От него Пoppея узнала о судьбе Октавии, после чего немедленно вернулась.

Еще накануне посещения ею дворца она начала прихорашиваться: натерла руки крокодиловой мазью, чтобы они были нежны и белы и покрыла перед сном лицо слоем помады, изготовлению которой ее научила мать. Рано утром Пoppея смыла помаду теплым молоком. Затем она приняла ванну. Рабыни высушили ее тело лебязьим пухом, отполировали ее ногти и натерли ее язык пластинками из слоновой кости, чтобы придать ему бархатистую мягкость...

Наконец она, сияющая, предстала перед императором.

— Дочь древних царей! — театрально произнес Нерон, сопровождая свои слова широким жестом, — ты любима императором.

— Но я люблю не императора, а тебя, — многозначительно проговорила Пoppея.

— Я тосковал по тебе, — со вздохом сказал Нерон.

— Я это хотела. Я рада, что принесла тебе страдание. Ты поэт, ты должен страдать. Тебе, поэту, я отдаю свои алые уста... Я — твоя!

Она чуть не задохнулась от его поцелуя. Наконец, оторвав свои губы от этой страстной ласки, она взяла поэта за руку и непринужденно повела его вниз, в императорские сады.

## XVII. ДЕНЬ МОЛЧАНИЯ

Рим — огромный, рычащий, никогда не отдыхающий город!

Чудо мира! Неумолкающей вопящей гортанью он с утра до вечера изрыгает шумы: человеческие голоса, звон металла, грохот мастерских — всю гамму жизни.

С раннего утра поднимается гул. Булочник ходит из дома в дом, молочник вспугивает своей песнью заспавшихся. Пробуждаются хижины, прижавшиеся к подножиям холмов, оживают почти исчезающие за тучей пылы дома с наемными каморками, лестницы их грязны и пахнут сыростью; в клетушках ютятся бедняки, разделяющие постель с женой и пятью-шестью детьми; утренний их завтрак состоит из ломтя заплесневелого хлеба. На улицах — суета. В мастерских кипит работа. Молот, долото и пила хором переговариваются. Возницы осыпают бранными окриками рабов, пересекающих их путь. Юные гладиаторы перед воротами своей школы вступают в схватки с уличными мальчишками. Цирюльники любезно раскланиваются с клиентами и всяческими прибаутками заманивают в свои лавочки идущий мимо народ. Из кабачка раздается вопль какого-то здорового детины, получившего кулаком по носу; обступившие его посетители гогочут.

На перекрестках фокусники, гадальщики, скоморохи, заклинатели змей и дрессировщики свиней так громко рекламируют свое искусство, что покрывают даже гром колесниц.

Безучастно льется человеческий поток: тут и патриции в носилках, и изнемогающие под непосильными тягестями рабы. Иногда под нарядными тогами скрываются подозрительные личности, вымогатели наследств и опасные плуты, не имеющие денег даже на обед, но щеголяющие поддельными кольцами, дабы снискать доверие наивных старичков, приехавших из провинций.

Город кишит инородцами. Среди пестрой толпы слышатся чуждые наречия, пересыпанные исковерканными латинскими словами. Доносится певучая речь греков, арабов, египтян, иудеев и мавров, и раздается варварский гортанный говор парфян, аланов, каппадокийцев, сарматов и германцев.

Весь этот шумный рой стихал лишь в феврале, во время Фералий, праздника мертвых.

Тогда выкрики умолкали; лавки и храмы закрывались и ниоткуда не долетала музыка. Каждый думал лишь о похороненных. В этот день Плутон разрешает тениям умерших посетить землю; на кладбищах и над саркофагами великих покойников, находившимися на главных улицах Рима, пылали смоляные факелы.

Нерон в день Фералий, никого к себе не допуская, удалился в тот зал, где некогда, исполненный восторженной веры и страстного вдохновения, написал свои первые стихи. В окно монотонно стучал зимний дождь...

Вот уж долгое время Британник покоился в мавзолее Августа и не смущал больше Нерона.

Император посвятил своей новой возлюбленной стихи, а Алитирос сочинил к ним музыку. Поппея, которую Нерон считал тонкой ценительницей искусства, казалась очарованной этими стихами.

Сам он не задумывался над своими новыми произведениями; он приучился, читая их, обращать внимание лишь на лица окружающих, подстерегая на них выражение восторга. Но в день Фералий в нем вновь зароди-

лишь сомнения, как в ту ночь, когда он не мог уснуть и страстно пытался воплотить в слова свою тоску.

Под вечер тучи заволокли небо. Нероном овладели мучительные мысли. Его беспокоило воспоминание о Британнике. Он знал, что во время похорон дождь смыл гипс с лица усопшего, и на нем снова выступили синие пятна. Он боялся, что Британник подыметя вместе с другими тенями и духами и проникнет в дворцовые залы.

Но в то же время подстрекаемый любопытством, он направился в северную часть дворца, к бывшим покоям Британника. Тотчас после его смерти Нерон приказал их опечатать. Теперь император велел снять печати и вошел в сопровождении одного лишь телохранителя.

— Кто тут? — испуганно спросил он, едва очутившись в покоях усопшего.

Никто не отозвался.

Слова Нерона всколыхнули воздух; волной пробежало эхо, и все снова затихло. Молчание казалось еще глубже. Все предметы остались нетронутыми на своих местах. У стены белело пустое, неприбранное ложе. На столе стоял бокал с недопитой водой. Одно из сидений было опрокинуто. Спертый воздух хранил еще теплоту ушедшей осени. Уже темнело, хотя было не поздно. Нерон остановился в раздумье. Он осмотрел ложе, которое, казалось, тщетно ждало хозяина, бокал с водой, еще хранивший отпечаток губ, опрокинутое сиденье, словно свидетельствовавшее о резком, взволнованном движении Британника...

Император пытался что-то прочесть во всем этом, но безуспешно. Во втором зале он увидел меч Британника; на нем было вырезано его имя. Он нашел также маленькое зеркало и обрадовался, что в нем отразилось его собственное лицо, а не лицо брата. Больше тут ничего не было, кроме нескольких сотен тог и туник; они были узки, сшитые на тонкую фигуру Британника. Им соответствовало столько же пар сандалий с пряжками в виде полумесяцев и с золочеными ремнями. Любопытный любил красивую одежду.

На одном из столов лежала его лира.

— Вот что еще осталось от него! — проговорил Нерон с загадочной улыбкой.

Лира, казавшаяся живой и одухотворенной, была покрыта толстым слоем пыли. Она словно прильнула к столу и безмолствовала. Молчала, быть может, глубже, чем тот, который когда-то играл на ней. Слишком многое слышалось в ее бездонном молчании. Император с болезненным любопытством склонился над ней. Он с опаской коснулся ее.

Золотой голос струн зазвенел в вымерших покоях, и в день всеобщего молчания это был, вероятно, единственный звук, певуче и мощно поднявшийся в скорбящем городе. Но и он умолк...

Нерон страстно прижал лиру к груди. За ней, словно невидимая пелена, простиралась вечность. Император взял инструмент с собой, спрятав его в тоге.

В этот же день Сенека неожиданно получил приглашение во дворец. Он не знал, как это истолковать. Уже месяцами он жил вдали от двора, под предлогом болезни, которую так тщательно симулировал, что хромал даже в присутствии своих рабов. Его интересовали только победоносные войны, которые вела римская империя.

Об отравлении Британника он узнал еще в тот же день. Кровь у него застыла в жилах от ужаса. Он чувствовал, что теперь очередь за ним, и мысль эта не давала ему покоя.

Первым его импульсом после смерти Британника было — побежать во дворец и признаться в своей ошибке: в напрасном поощрении поэтических начинаний императора. Он хотел заставить Нерона очнуться от иллюзии, которую сам ему внушил, хотел удержать императора, уже стоявшего на краю пропасти. Но к чему это привело бы? Разве Нерон оказался бы в силах взглянуть правде в лицо? И не слишком ли поздно?

Сенека, со свойственной ему гибкостью ума, пришел к простому, житейски наиболее мудрому заключению. Он решил, что он не несет вины, ибо является лишь орудием судьбы; потому он не вправе ради бесполезного покаяния жертвовать своим душевным покоем — этим величайшим в жизни кладом.

Но вскоре раздвоение его личности стало его угрожать, и он решил выяснить перед самим собою свою по-

зицию. Он начал мысленно обвинять Британника в мятежных и конспиративных намерениях и стал убеждать себя, что Нерон — вовсе не плохой поэт. Он это вслух повторял себе, гуляя в своем парке, и винил себя в том, что слишком уверенно судил о поэтических попытках императора, еще незрелых и потому не подлежащих суду. Придя к такому выводу, он со спокойной совестью послал свой лавровый венок певцу Ниобеи, но не получил никакого ответа. Теперь приглашение Нерона явилось для него тем более таинственной неожиданностью.

Сенека поздно вечером отправился во дворец. По дороге его мучили дурные предчувствия. Он встретил возвращавшихся с кладбища насквозь промокших прохожих; они шли, спотыкаясь, по темным улицам и кашляли. Был хмурый, неприветливый вечер, охватывающий душу таким унынием, что хотелось умереть.

Но как только Сенека взглянул на императора — он повеселел. Нерон был в прекрасном настроении и весь сиял. Никогда еще он не встречал так сердечно старого учителя.

— Я позвал тебя, — проговорил он, — чтобы сообщить тебе о своем решении: я разделил имущество и вещи Британника между тобой и Бурром. Тебе я предназначил его лиру, — и император передал ее Сенеке.

Старый философ исполнился радости. В его глазах засветилась преданность, готовая идти на все...

— Британник был изменником, — произнес Сенека, — он заслужил свою участь. Он посягал на твой трон.

— Да, — пренебрежительно обронил Нерон, видя, что учитель его совершенно не понимает, — но ты мне друг, не правда ли, и останешься им? — С этими словами он обнял старика.

Нерон велел тотчас же унести лиру, но и это не могло. Он продолжал слышать ее голос, и невидимый поэт по-прежнему боролся с ним.

Император понял, что может достичь победы над вечным соперником, лишь проявив в открытом бою свое превосходство. Таким образом он оправдал бы перед собой и свой поступок. Теперь он уже сознавал все значе-

ние совершенного им убийства; чувство взятой на себя ответственности было ему почти приятно...

Он желал прежде всего успеха, небывалого успеха, какими бы путями ни пришлось добиваться его.

Поппея права: его не знают, не знают, кто он. Он мечтал об овациях, мечтал, чтобы все его слушали и чувствовали. Временами он видел себя в блеске славы, и тогда лицо его сияло.

За его спиной стоял вечный соперник, ежеминутно подстрекавший его. И он рвался вперед, все дальше...

## XVIII. АПЛОДИСМЕНТЫ

У Поппеи был свой метод. Время от времени она без всяких объяснений исчезала, и Нерон никакими приглашениями не мог заманить ее к себе. Потом, раздражаясь слезами, она жаловалась на семейные нелады и грубые сцены ревности.

Обычно Нерон сам посылал за нею. Но теперь он был так поглощен своими думами, что забыл даже Поппею.

Она отправилась к Сенеке.

Привратник отворил ей ворота. На посыпанной гравием дорожке, обрамленной газонами и холеными грядками цветов, показались две грациозные белые собаки. Изысканная вилла была ослепительно красива. В глубине сада, за коринфскими колоннами перистилия, сидела молодая женщина с книгой в руках; алмазы переливались в ее ушах и на ее пальцах. Это была Паулина, молодая жена старого философа.

Сенека сидел в парке, перед столиком и писал.

— Учитель, — проговорила Поппея, — прости, что я тебя побеспокоила и спугнула твою музу...

— Муза музе не помешает, теперь их предо мной две, — с любезной улыбкой ответил Сенека.

Старик был все еще внимателен к прекрасному полу. Он пододвинул гостье сиденье.

— Я сажусь лишь потому, что все равно тебя потревожила. У тебя ведь постоянно гостит муза.

— Ты очень мила. Чем я могу служить?

— Дело в том, — объяснила Поппея, — что я хочу устроить ему выступление. Он с некоторых пор неспокоен. Несколько раз намекал на неудовлетворенность. Мы должны это понять. Его друзья — поэты ему наскучили. Он охотно показался бы перед более широкой публикой. Я подумывала о театре Бульбус. Он уютен, но мал. Или о театре Марцелла. Он тоже хорош. Театр же Помпея слишком велик. Сколько зрителей он вмещает?

— Сорок тысяч.

— Нет, это не годится. Ты ведь понимаешь мою мысль. — И Поппея улыбнулась.

— Вполне, — заверил ее Сенека.

— Поэтому я и пришла сюда. Мы должны все обсудить, взвесить и предотвратить всякую неожиданность. Ты знаешь Рим. Он насмешлив, невоспитан, разнуздан. Император тоже считает его варварским городом. Словом, это театральное выступление нужно подготовить.

— Хорошо, — задумчиво произнес философ. — Могу ли я посвятить в это Бурра?

— Разумеется.

Сенека постучал о стол; в ответ сбежалось несколько рабов с обнаженными руками.

Один из них был послан к Бурру.

— С чем он предполагает выступить? — спросил Сенека.

— Конечно, со своими стихами. Вероятно, с последними — о вакханке.

— Об увенчанной лаврами женщине? — проговорил философ, склонив голову, как бы отдавая дань Поппее.

— Да... — губы молодой женщины слегка дрогнули от скрытой улыбки. — Он уже приказал изготовить маску, изображающую мое лицо. Я думаю, что кто-нибудь должен объявить со сцены об его выступлении, произнести несколько слов. Галлию берет это на себя. Подходит ли он для этой роли?

— Безусловно. Обсудим дальнейшее... — и Сенека призадумался. — Приближаются Ювеналии, праздник, который Нерон сам ввел в память своей первой бороды. Он знаменует собой торжество Ювенты, богини молодо-



сти. В этот праздник император должен впервые выступить. Он, вероятно, одобрит эту идею...

— Прекрасно. Об остальных артистах ты позаботишься сам. Пусть Парис обязательно выступит. Он — любимец народа, особенно женщин. Привлеки также Алитироса: к нему благоволит император.

Появился Бурр. Он, крихтя, сошел с носилок, ибо рана на ноге, полученная им в одной из битв, все еще давала себя чувствовать.

Он был угрюм и мрачно настроен. После убийства Британника стал скуп на слова. Он презирал самого себя; считал, что потерял свое достоинство, оставшись после всего слугой императора. Он должен был бы отказаться от своего чина, но его все туже затягивали сети, и он уже не знал, как высвободиться. Он со вздохом снял шлем. На лбу осталась бледно-красная полоса.

— Перейдем на другое место, — предложил Сенека, — здесь мешает солнце...

И он провел гостей к другому столику из слоновой кости, под темно-зеленую сень листвы.

Вилла философа соперничала своей пышностью с императорским дворцом. Везде были статуи, рельефы и картины — редкости, заботливо собранные старым любителем искусства. Состояние Сенеки оценивалось в триста миллионов сестерций. У него были большие доходы, и он отдавал свои деньги в рост.

— Тебе предстоит позаботиться о порядке, — сказал Сенека префекту преторианцев, — на Ювеналиях император выступит в театре...

Бурр недоумевающе взглянул на Поппею, но ее бледное лицо, погруженное в тень, было так пленительно, что седой воин не нашел слов протеста.

— Ничто не должно нарушить представления, — продолжал Сенека, — в последнее время в цирках, театрах и на аренах происходят всякие инциденты. Актеров встречают оскорбительными выкриками. На прошлой неделе одного из них избили до крови.

— За что?

— Лубяшка наша, что он слишком высокого роста,

Завтра она задушит другого, потому что он покажется ей недоросшим. Мы не можем идти ни на какой риск. Я надеюсь, что преторианцы сумеют поддержать дисциплину.

— Сколько ожидается публики? — осведомился Бурр.

— Около десяти тысяч, — ответил Сенека.

— В таком случае мне потребуется пять тысяч человек. На каждые два зрителя — по одному человеку, вооруженному мечом и плетью, для усмирения буйнов. Тогда все сойдет гладко.

— Хорошо, — сказал Сенека. — А остальное? пройдет ли и оно без заминки? — и он улыбнулся Поппее.

— Нерон, — начала Поппея, непринужденно называя императора по имени, словно она была уже его женой, — Нерон, — повторила она так решительно, что оба собеседника с почтением взглянули на нее, — не желает, чтобы ему были оказаны какие-либо преимущества. Он выступит не как император, а как артист, наравне со всеми другими состояющимися. Очередь его выступления будет, по обычаю, определена жребием.

— Мне кажется, — заметил Сенека, — что для удачного исхода нам следовало бы обсудить еще некоторые вопросы, например, об аплодисментах.

— Мои воины помогут рукоплескать, — предложил Бурр.

— Ни в коем случае, — вступилась Поппея, — у них, правда, крепкие руки, но чтобы аплодировать — недостаточно обладать здоровыми ладонями. Они не знают, когда надо плакать и когда — хохотать.

— Разве не нужно будет смеяться?

— Нерон, — разъяснила Поппея, — считает себя трагическим певцом, и рукоплескания должны относиться к нему, как к таковому. Это должно быть сделано тонко, чтобы он не заметил никакой искусственности. Нам нужны в качестве руководителей просвещенные патриции.

— Я могу переговорить с несколькими друзьями, — вызвался Сенека.

— Я себе это представляла иначе. — И Поппея изложила свой план: — Мы должны вознаградить их за хло-

поты. Существует так много обнищавших представителей знатных родов, сохранивших от былого величия одни только широкие замашки! Они сотнями снуют на Форуме, более жалкие, чем рабы, скитающиеся на берегах Тибра. В качестве заправил праздника они могли бы получить по сорок тысяч сестерций каждый. Отчего им не заработать? Весь их труд будет состоять в «постановке» аплодисментов, которые должны начинаться и кончаться при подаче условного знака. Осуществление нашего замысла требует осмотрительности. Нерон умен и чуток. Неуклюжий успех может все погубить. После наиболее трогательных строк рукоплескания не должны тотчас же разразиться. Надо выждать несколько мгновений, создать впечатление, что массы захвачены и не могут сразу прийти в себя. Лишь после этого должен грянуть гром аплодисментов, дружных, неуправляемых. Я укажу, в какие моменты они должны начинаться. Главное — чтобы они не ослабевали. Становится уныло на душе, когда рукоплескания медленно замирают и долетают лишь с нескольких мест прерывисто и раздраженно. Это создает ощущение пустоты, порождает желание услышать новые аплодисменты или вызывает досаду против всего и всех. Я это слышала от поэтов и от Алитираса. Конец рукоплесканий должен быть так же интенсивен, как начало. Некоторые могут даже, нарушая требования дисциплины, как бы не подчиняясь блюстителям порядка и не боясь даже их плеток — бешеными выкриками с мест выражать свой восторг; возгласы эти должны обозначать не благоговение, а грубое одобрение, должны представлять собой мнение толпы, брошенное в лицо артисту. Пусть топают ногами, пусть пыль ударит в лицо божественному актеру. Впрочем, мы обо всем еще подробно потолкуем. Аплодисменты будут разучиваться в императорском дворце.

Поппея выразительно изложила все это, не переводя духа, оживленная и очаровательная.

Сенека, восхищение которого возросло с каждым ее словом, шуточно захлопал в ладони. Он тоже рукоплескал.

Рабы пошли за носилками Поппей; она опустила

вуаль, села и велела неслим ее слугам поторопиться; ей предстояло еще много дел.

Оставшиеся в саду Сенека и Бурр несколько мгновений не проронили ни слова.

Философ первый заговорил:

— Знаешь ли ты, что тут происходит?

— Император превращается в актера.

— Нет, Поппея превращается в императрицу.

## XIX. БОЖЕСТВЕННЫЙ АКТЕР

Зодик и Фанний направились после полуночи через дворцовый парк к выходу. Оба были в плачевном настроении.

От колев Нерона до конца колоссального здания дворца надо было идти полчаса. Дойдя до ворот, Зодик и Фанний услышали невообразимый шум.

Мимо них прошел раб, несший на подносе жареного павлина. Он недавно вернулся с поля битвы, и в поднявшемся шуме ему причудился боевой клич парфян и грохот боевых колесниц. Он остолбенел от испуга и уронил поднос с павлином.

— Это, кажется, гром? — спросил Фанний.

— Нет! — ответил Зодик, — они репетируют.

И среди ночной тьмы оба прислушались.

— Еще раз! — воскликнул чей-то голос. — Живее и непосредственнее! Разве так выражают восторг?

Последовал ураган рукоплесканий.

— Вот теперь — хорошо! Ты, там в конце, должен начинать первым.

В зале нижнего этажа, при колебавшемся пламени светильника, в окне обрисовывалась фигура распорядителя, сопровождавшего свои приказания повелительными жестами.

Это был рослый, полуседой патриций. Перед ним расположились веселые юноши в нарядных тогах, двуличные и на все готовые. В их короткой жизни за ними уже числилось много порочных увлечений и обманом присвоенных состояний, которые они уже успели промотать.

Некоторые из них выходили на галерею, распивали вино и прохлаждали свои воспаленные от рукоприкладаний ладони.

— Еще раз! — приказал голос, и дворец задрожал от аплодисментов.

— Это финал, — объявил Зодик, — они уже, очевидно, научились! Завтра Нерон выступает!

Празднование Ювеналий началось с самого утра. Рим преобразился. Утих ритм работы. На фасадах зданий пестрели венки и развевались гирлянды; по улицам тянулись шествия с музыкой; в ларьках всякий мог бесплатно есть и пить; народ катался в разукрашенных цветами колесницах.

Нерон уже несколько дней не произносил ни слова и никого не принимал. Он берег свой голос и безвыходно сидел дома с шелковой повязкой вокруг шеи.

«Счастлив народ, который развлекается!

Несчастен артист, который его развлекает!» — начертал он на восковой дощечке, которую протянул Алитиросу.

Алитирос утвердительно покачал головой с видом глубокого понимания.

Император прошел в колонную галерею, чтобы посмотреть на процессии. На триумфальной колеснице провозили деревянное изображение Фалуса; за ним следовала толпа, в которой были как жрецы, так и уличные мальчишки, а вокруг него женщины с распущенными волосами в исступлении кричали и плясали; среди них были и почтенные матроны и блудницы.

На стадионе юноши срезали свои первые пушистые бороды и бросали их в огонь; затем начались гладиаторские игры и бега на колесницах. Нерон не присутствовал на состязаниях; озабоченный вечерним выступлением, он берег свои силы. После полудня его охватило непреодолимое волнение. Он метался по залу. На лбу выступил холодный пот. Он чувствовал, что наступает решительный момент. Уши его горели, осунувшееся лицо позеленело. Его бросало то в жар, то в холод, он требовал то прохладных, то горячих напитков, но ни к тем, ни к другим не прикасался, боясь, что они повредят ему и погу-

бят его успех. Его лихорадило. Затем от голода появилась резь в желудке. Он не находил себе покоя, пока его не доставили в театр.

Зал был совершенно пуст, представление должно было начаться лишь после иллюминации и фейерверка...

Нерон отправился за сцену в гардеробную и опустился на лежанку. Вскоре вошла Поппея, казавшаяся бледной и взволнованной. Император прикрыл рот рукой в знак своего молчания.

Больше всего его пугали многочисленные правила, обязательные для всех участников состязаний; малейшее нарушение их влекло за собой исключение из соревнования. Так, во время пения было запрещено плевать, садиться или вытирать пот.

Поглаживая лоб, Нерон мысленно повторял эти правила. Совершенно не допускалось сморкаться, что его особенно тревожило, так как он был слегка простужен.

— Не бойся,— успокаивала его Поппея.

— Пошли мне вино на сцену,— написал он ей,— желтое Самосское и красное Лесбийское. Только горячие. Нет,— тут же приписал он,— лучше тепловатые.

Нерон прошел на сцену, чтобы лично присмотреть за последними приготовлениями. Взор его блуждал по гигантскому зрительному залу: он был пуст, черен и казался зловещим.

— Не могу больше! — начертил Нерон, вернувшись в гардеробную,— чувствую, что теряю сознание от страха!

— Мужайся! — ободряла его Поппея.

— Мое имя уже занесено? Посмотри, когда моя очередь.

— Ты — четвертый.

— Это хорошее число.

— Самое лучшее.

— Кто еще поет?

— Алитирос и Парис.

— А до меня?

— Старик Памманес.

Нерон ухмыльнулся.

На улицах трещали ракеты и светились фонарики. Публика стала медленно собираться. Первыми четкой

поступью вошли грозные на вид воины и заняли места, согласно полученным инструкциям. На лестницах и меж рядов амфитеатра были рассеяны соглядатаи с рысьим взором, которые, казалось, хотели уместить всех и каждого в поле своего зрения.

— Много ли народу? — спросил Нерон.

— Много.

Он стал посматривать из-за выступа стены. Испытывал блаженство и головокружение.

— Да! Их даже чересчур много! Было бы, может быть, лучше, если бы публики было меньше. Впрочем, нет, пожалуй, ты права, Пoppея. Избрано ли уже жюри?

— Да, только что.

— Судьи строги?

— Нет! Им не терпится услышать тебя!

— Их лица верно очень суровы!

— Ничуть.

— Только без пристрастия! — написал Нерон. — Пусть мне не оказывают никакого снисхождения.

Каждое мгновение он заносил на дощечку что-нибудь другое; его распоряжения были противоречивы и несоместимы. Нерон перестал разбираться в собственных мыслях. Его лихорадочно блуждавшие глаза вспыхивали и останавливались то на одном, то на другом предмете.

Внезапно он схватил руку Пoppеи и, не проронив ни слова, крепко сжал ее.

На праздник Ювеналий Лукан, предупрежденный о предстоящей сенсации, вернулся тайком в Рим из своего изгнания. Он остановился у Менекрата, у которого гостил также претор Антисий, вполне разделявший чувства Лукана к императору и сочинивший на него несколько метких эпиграмм.

Все трое решили позабавиться представлением. Было бы грешно упустить такой случай! В приподнятом настроении они отправились в путь.

Когда они подошли к театру, здание уже осаждалось народом. Все хотели попасть. Возбужденная дневными развлечениями толпа прорывалась вперед. Многие вступали в пререкания с привратником, настойчиво

предъявляя пластинки из слоновой кости или свинцовые монеты, дававшие им право на вход.

Началась смертельная давка. Толпа затоптала женщину с младенцем на руках, и через их трупы буйный поток яростно ринулся к дверям театра.

Но попасть в зрительный зал было не так просто. Стражники освещали лицо каждого входящего, прежде чем впустить его.

Однако они пропустили молодого человека, который ничего не предъявил, а лишь кивнул им головой.

Это был Зодик, имевший свободный доступ на все представления и сидевший всегда рядом с царской ложей. Пользуясь его положением, вслед за ним пробрались трое из его друзей.

Они заняли места на галерее, где разместились рабы, за которыми зорко присматривали смешавшиеся с ними воины. Из-за сцены раздались обычные громовые раскаты, достигаемые бросанием и катанием камней и предупреждавшие публику о начале представления. Выпорхнули андалузские и египетские танцовщицы. Наконец, началось состязание. Чтобы не затмить императора, артисты соперничали в скверном исполнении.

Задача была нелегкая, ибо трудно было превзойти выступившего в первую очередь Алитироса; он так немилосердно фальшивил, что коллеги потом упрекали его в применении недостойных средств борьбы. Парис сознательно провалил свои самые блестящие номера. Лишь старик Памманес пел особенно старательно, чем побил остальных: он оказался наихудшим из всех исполнителей.

Перед четвертым номером, вслед за поднятием занавеса наступила длинная, выразительная пауза. Публика пила воду и обмахивалась: стояла невероятная духота, и даже аромат разбросанных повсюду цветов не мог заглушить тяжелого запаха пота.

Места перед оркестром были заняты верховным жрецом, авгурами и гадалеями. За ними разместились сенаторы и многочисленные представители военной знати, в том числе недавно вернувшиеся с полей сражения. Присутствовали Руф, Скрибоний Прокул и Веспасиан. Последний, уже глубокий старик, только что прибыл с



произведенного им смотра войскам. От усталости и сонливости его голова склонялась на плечо.

Долгое ожидание вывело толпу из терпения. Но солдаты бодрствовали. Они свирепо сдвигали брови при малейшем нарушении тишины, точно спрашивая виновника: — Может быть, тебе не по вкусу?

Там и сям подавленное хихиканье застывало на устах после того, как в воздухе мелькала плеть. Доносчики навострили уши.

— Молчать! — зарычал в третьем ряду придурковатый африканский воин, заглушая своим криком голос того, кого он умирал.

— Теперь — «его» выступление, — шепнул Лукан Мекрату и Антисию.

Все трое насторожились, готовясь к веселому номеру. Им едва удавалось сдерживать смех.

Но «он» все еще не появлялся.

Наконец, представление возобновилось. Вышел актер Галлио и объявил:

— Выход Домиция.

— Чей выход?

— Домиция.

Грянули возгласы: «Император, император!»

И зрительный зал громко загудел. До сих пор одно упоминание о прежнем имени Нерона, выдававшем его незнатное происхождение, сурово каралось... Поэтому раздались несколько протестующих голосов: «Не Домиций, а Нерон!»

Улыбаясь и кланяясь, Галлио пояснил:

— Выступает не император, а поэт!

— Слышишь? — спросил Антисий, обернувшись к Лукану.

Сцена несколько мгновений пустовала, затем ее торжественным маршем пересекли трибуны и преторианцы с обнаженными мечами и в блестящих шлемах.

— Бурр! — простонал на галлерее Лукан.

В этот момент на сцену робко выступил старик, жмурясь от ослепительного света. Его прозрачная кожа была цвета пергамента. Он беспомощно озирался.

— Сенекa! — прохрипел Лукан, — милый, старый Сенекa! Я не узнаю его в этой жалкой комедии!

Последним на сцену медленно и торжественно вышел мальчик. Он нес на шелковой подушке императорскую лиру, которую положил на алтарь Диониса.

Напряжение публики достигло апогея, и лысый беззубый Памманес, считавшийся главой труппы, бросился в гардеробную.

Он пал на колени перед Нероном и взмолился, чтобы император не заставлял зрителей дольше ждать, ибо дальнейшее промедление не только противно правилам состязаний, но и грозит успеху артиста.

Нерон, шатаясь, направился к сцене, поддерживаемый Поппеей. Он успел принять глоток масла с кусочком лука для укрепления голоса.

— Идет! — прошептал Лукан.

Все трое подались вперед, но то, что они увидели, оказалось не смешным, как они ожидали, а жутким и страшным.

Император стоял в высоких котурнах с золотыми застежками и превышал ростом всех окружающих. На нем была зеленая тога, усеянная звездами, на которую народ глазел с изумлением, ибо никогда не видывал такого богатства. Лицо Нерона было покрыто полотняной маской, носившей черты Поппеи; на нее ниспадали локоны янтарного цвета. Под этим сбившимся набок париком, император обливался потом. Он мог вдыхать воздух лишь через уродливое воронкообразное отверстие, изображавшее рот маски; но на самом деле оно служило рупором, который должен был передать его голос в глубину зала, вплоть до последних рядов.

Руки Нерона были увешаны пестрыми лентами, а напяленные одна на другую одежды придавали его фигуре карикатурную толщину.

— Какой ужас! — пролепетал Лукан, потрясенный представившимся зрелищем.

Поппея из-за решетки императорской ложи напряженно следила за происходившим.

Когда Нерон вступил на сцену, у него потемнело в глазах, и ему померещилось, что перед ним, как раньше,

зияет пустота, что зал — безлюден. Загремели приветственные аплодисменты, оглушившие его. Он ничего не видел и не слышал и едва держался на ногах. Сердце его так бурно билось, что, казалось, разрывает грудь. Его охватил озноб. Ему хотелось упасть без чувств и все забыть. Под маской его лицо горело, и с него лил пот; но он боялся вытереть его, чтобы не нарушить запрета. Горло его сжалось. Однако устремленные на него пытливые взоры и приподнятое настроение толпы придали ему мужества.

Он сделал шаг вперед.

— Послушайте меня! — произнес он едва внятным голосом.

Обычно певцы исполняли свои произведения без всяких предисловий. Поэтому слова Нерона несколько озадачили слушателей. Император спохватился, вспомнив, что нарушает правило состязаний, и волнение его еще усилилось. Наконец, он овладел собой и проговорил бодрым голосом:

— Я только выпью маленький глоток вина, а затем спою вам красивую песню.

Толпе понравился его нескладный лепет, который она приняла за непосредственность. Некоторые стали рукоплескать. Лукан чуть не содрал себе кожу на ладонях. Один из воинов бросил на него грозный взгляд.

— Разве нельзя аплодировать? — спросил поэт.

— Еще рано! — сурово внушил ему воин.

Нерон выпил вино, и несколько голосов крикнуло ему: — На здоровье!

Он поклонился, взял лиру и начал исполнять свои стихи. Он пел фальцетом, слабее и глуше, чем когда-либо. Зато флейтисты в оркестре усердствовали. Когда его голос срывался, они искусно замаскировывали это; когда он пел не в такт, они то обгоняли его, то отставали; когда же он попросту фальшивил, они подымали своими инструментами такой шум, что совершенно покрывали его голос. Певец несколько раз начинал сначала, и оркестр придавал его повторениям характер припева. Наконец, длинный дифирамб вакханке окончился. Зал восторженно аплодировал: рукоплескали Лукан, Менеkrat,

Антисий, народ, воины, жрецы, преторианцы, артисты, и Бурр, и Сенека... Раскаты аплодисментов сопровождались нечленораздельными, исступленными возгласами. Ни одна репетиция так удачно не прошла, и «руководитель» одобрительно кивал головой, тая от счастья. Экстаз в течение нескольких минут все возрастал. Здание сотрясало от рукоплесканий и, казалось, грозило провалиться. Чествуемого поэта закидали венками и лентами; на сцену пускали соловьев с подожженными крыльями, которые, умирая, пели. Все орали и ревели.

Нерон не ожидал такого успеха. Его глаза под маской вспыхивали огнем блаженства. Нетерпеливым движением он сорвал личину и открыл свое лицо, чтобы его осыпали лучи славы.

Рукоплескания перешли в неистовство. Нерон взирал на разбушевавшийся человеческий океан, и детски-искренние слезы, слезы умиления, заволокли его глаза...

— Благодарю! От всего сердца благодарю! — простонал он плача, — я этого не заслужил!

— Ты — божественен! — крикнул кто-то из публики.

— Божественен народ! — воскликнул Нерон, подавляя рыдания, и упал на колени перед его величеством народом; он простер руки и стал посылать толпе поцелуи.

Шум в зрительном зале долго не смолкал. Толпа требовала еще песен. Нерон взглянул на судей, которые, стоя, рукоплескали ему, заколебался и вдруг — надменно, без поклона вышел. Он не удостоил присутствующих другими стихами.

Оступаясь, он побрел в гардеробную; в маленьком помещении толпились люди. Они аплодировали, сгибались перед ним и встречали его, как героя, оливковыми и лавровыми венками. Нерон прошел мимо выстроившихся стеной сенаторов, актеров и поэтов, все еще держа маску в руке и вытирая пот. Он едва мог скрыть свое опьянение. Однако, будучи окружен столькими лицами, он сдержал слезы восторга, вздохнул и с притворной скромностью стал сетовать на себя.

— Я пел скверно.

— Разве ты не слышишь оваций? Все еще аплодируют! — ответили ему хором.

— Сколько венков! — воскликнул Нерон, опускаясь на сиденье, — и сколько цветов! Воздух от них тяжел! Я задыхаюсь. — И знаком руки он приказал убрать их. Прежде всего он обратил внимание на забившегося в угол Париса; артист устремил на императора благоговейный взгляд, словно отдавал должное его искусству.

— Ты был хорош, Парис. Я слышал тебя. Ты сегодня дивно пел. Что за голос, что за экспрессия!

Нерон лгал: он не пожелал слушать никого из соперников.

— С талантом не спорят, — продолжал он, — художник ты, а не я. Я лишь бедный мечтатель; мой удел — слабые попытки. Чувство меня не обманывает: сегодня я потерял приз! Ничего не поделаешь! У меня было много промахов, и я не придерживался правил. Но народу понравилось мое пение, в этом я твердо уверен! Не правда ли?

Император стал прислушиваться; зал все еще дрожал от упорных рукоплесканий.

— Алитирос! — снова заговорил Нерон, протягивая артисту руку, — и также ты, Памманес, — вы оба чудесно пели! Не скромничай, Памманес. Глядя на тебя, я вижу перед собой достойный путь художника, долгую, упорную борьбу благородного таланта. Все венки ваши. Я уверен, что я побежден. Возьмите их! — и он подал каждому из актеров венки. — Вот лавры искусству! Все, чем я обладаю, принадлежит вам. Я отдаю вам свое сердце!

Со сцены явились глашатаи и объявили, что после выступления Нерона судьи постановили сделать перерыв, считая невозможным тотчас после него слушать другого певца. Тем временем они вышли совещаться.

Взор Нерона выразил тоску и тревогу. Он рисовал себе наихудшие возможности: представлял себе, что его пристыдят и за нарушение правил запретят ему навсегда публичные выступления. Хотя он в глубине души считал это неправдоподобным, однако так ярко себе рисовал, что был готов уйти, не дожидаясь решения жюри.

Памманеса он не боялся: старик уже выбыл из строя. Алитирос был еще слишком юн и к тому же годом рань-

ше уже получил приз. Опасаться можно было только Париса, но Нерон не знал, пел ли он лучше него. Парис настойчиво отрицал свой успех, уверяя, что был не в ударе. Чтобы побороть собственное волнение, император стал рассказывать анекдоты, но не мог на них сосредоточиться. Он просидел целый час между Парисом и Поппеей, то охваченный неуверенностью, то озаренный надеждой. От тяжелой смены настроений он стал испытывать головокружение, и Андромах не покидал его ни на минуту. Наконец, было объявлено решение судей, согласно которому Нерону предлагалось «во исполнение страстного желания народа» вторично выступить. Судьи с своей стороны считали, что «столь великий поэт не может быть оценен с первого раза», и настаивали для вынесения беспристрастного приговора на повторном выступлении.

Нерон начал снова переодеваться, что заняло много времени. В промежутке сцена пустовала, и сбитая с толку публика скучала.

Было уже около полуночи. Многих одолевал сон и тянуло домой, но двери были заперты, и солдаты получили приказ никого не выпускать из театра.

На сей раз император выступил в широком розовом облачении и мягкой обуви, доходившей ему почти до бедер. Он передвигался свободнее и, вступив на сцену, низко поклонился судьям, с которых во время исполнения не спускал глаз. Он продекламировал подряд все свои стихи: и элегию на смерть Агамемнона, и оду Аполлону, и идиллию о Дафнисе и Хлое; после каждого произведения ему аплодировали. Рукоплескания продолжали быть достаточно громкими, но нельзя было не сознаться, что постепенно их пыл остывал, несмотря на все старания Бурра и других «руководителей». «Восторг» терял свою мощь. Не успевала гроза разразиться, как она затихала и словно переходила в обыкновенный дождь; на первых порах он усердно барабанил, но затем он прекращался, и лишь там и сям словно капало с деревьев. Впрочем, теперь Нерон сам отклонял жестом рукоплескания. Они потеряли для него значение. Существенными ему казались лишь собственные строки, которые он без конца читал, не дожидаясь приглашения от публики.

Он окончательно увлекся.

По истечении часа он сделал паузу, но, следуя правилам состязаний, не покинул сцены, а велел подать себе закуску в оркестр, где с аппетитом покушал. Справившись с едой, он вновь принялся без усталости декламировать. Представление, казалось, никогда не окончится. Все приходило в отчаяние. Думали, что вот-вот конец, а император вдруг начинал сызнава. Оставалось только поклониться серой, беспредельной скуке.

Сидевший в первом ряду Веспасиан задремал. Его голова склонилась в грудь, из открытого рта вылетал свист. Ему снилось, что представление давно кончено и что он лежит в уютной постели. Но грубый толчок разбудил его. Два легионера схватили его и вытолкали из зала. Они отвели его в запасную гардеробную, превращенную в этот день в дежурную комнату воинов. Там центурион учинил старику допрос, пригрозил ему и выпустил его лишь из уважения к его старости.

Весть об этом обежала зрительный зал, и каждый присутствовавший задрожал, боясь в свою очередь задремать. Соседи просили друг друга толкать их, если их начнет клонить ко сну. Все держали глаза широко открытыми, чтобы не уснуть. Некоторым от жары стало дурно. Какая-то женщина родила; воины вынесли ее на носилках. Этот инцидент подал остроумную мысль более отважным; они падали на землю и лежали в застывших позах, представляясь мертвыми, чтобы их убрали из зала. Театр напоминал осажденный город.

Лишь высоко на галлерее Лукан, Менекрат и Антисий развлекались в свое удовольствие. После каждой строфы Нерона они переглядывались и без слов понимали друг друга. Лукан не раскаивался в том, что, рискуя жизнью, бежал из ссылки. Забавное зрелище стоило этого. Он кричал до хрипоты и рукоплескал, пока на ладонях не выступили пузыри. Когда император в последний раз раскланялся, Лукану показалось, что его выступление слишком коротко: он ничего не имел бы против того, чтобы развлечение это продлилось.

Суд, без предварительного совещания, объявил Нерона победителем, и старший судья, почтенный старик,

возложил на его голову венок. Нерон стоял несколько мгновений неподвижно под взрывом аплодисментов, изнеможенный, но млея от счастья. «Ученики» в последний раз приналегли и из последних сил рукоплескали.

При выходе из смердящего помещения, в первый момент казалось, что уже занялся день. Отовсюду струился свет. Все еще горели праздничные огни; Авентин мерцал зелеными, Палатин красными отблесками. Куда ни обращался взор — везде холмы и долины излучали яркое сияние.

В гардеробной Нерон расцеловал артистов и ободрил их, суля каждому из них приз на ближайшем состязании. Сегодня, уверял он, он победил их лишь оттого, что во втором отделении извлек несколько тонов, еще не освоенных ни одним певцом; а содержание его последних стихов воздействовало на чувства публики.

Император был в этот вечер любезен и ко всем предупредителен. Он велел раздать зрителям, при выходе, корзинки с винными ягодами и египетскими финиками; в толпу, по его распоряжению, бросали пригоршнями золото. Поджидавшая его у театра колесница была запряжена десятью конями. Он поехал на народные празднества. С обеих сторон колесницы бежали рабы, держа горящие факелы. Тибр отражал поток пламени.

На судах пир был в полном разгаре. Народ набрасывался на лакомства. Пировавшие держали на коленях полуобнаженных девиц, которых остроумные распорядители празднества позаботились пристроить рядом с женами сенаторов и уважаемыми матерями семейств. На площадях усердствовали флейтисты. Народ плясал, и Нерон потребовал, чтобы никто не уклонялся от общего веселья.

— Все вы равны, как в золотом веке! — провозгласил он, — равны во имя священного, бессмертного искусства. — И он, в свою очередь, стал рукоплескать толпе.

Около него все время вертелись Зодик и Фанний.

Они вылавливали всех стыдливо прятавшихся и не плясавших; в наказание скромники должны были танцевать в наре с теми, кого назначал император; танец их должен был происходить в самой ослепительной полноте



света. Чтобы избежать этого принуждения, женщины надевали маски. Но Зодик и Фанний срывали их под поощрительные клики толпы. Разгул достиг своего апогея. Народ орал и визжал. Всеми почитаемая патрицианка, восьмидесятилетняя матрона Элия Кателла, потерявшая в битве против парфян двух сыновей и трех внуков, внезапно, словно ошалелая, подскочила к императору. Затем дребезжащим голосом заблеяла как коза и пустилась в пляс с невольником. Толпа загоготала. Нерон низко склонился и поцеловал старухе руку.

К утру мужчины и женщины одинаково одурели. Император удалился на отдых, и народ постепенно разбрелся. Отравленная ночь, охватившая город бредом и окончившаяся надрывом, словно омрачила тяжелое утро. В воздухе еще стоял чад.

Прохожие наступали на увядшие цветы и истоптанные венки и обходили потоки пролитого вина. Слон, потерявший своего хозяина, побрел по направлению к Форуму, лег перед одной из статуй и издал протяжный звук, похожий на трубный глас.

Сенеку понесли домой. У храма Юпитера он увидел встречные носилки; изнутри кто-то окликнул его. Старик выглянул и пролепетал:

— Лукан!

Они словно обняли друг друга взглядом, Сенека уже давно ничего не слышал о Лукане; племянник ему ни разу не писал. Теперь он недоумевал, каким образом изгнанный поэт, преодолев огромное расстояние, очутился здесь. В первый миг он подумал, что это — призрак. Ему причудилось, что перед ним еще одно фантастическое видение этой сумасшедшей ночи; он протер глаза.

Оба вышли из носилок. Лица их были пепельно-серы и изнурены.

— Как тебе все это нравится? — спросил Лукан и разразился громким хохотом.

— Увы... — прошептал Сенека, — я не могу смеяться!

— Отчего? Разве это не было замечательно? Игра, стихи, ~~еще~~ все вместе взятое!

— Нет, — со скорбью пролепетал старик, — ты не знал его прежде. Я же воспитал его. Ты должен был ви-

деть его в пятнадцать лет, когда он учился, верил и стремился к чему-то хорошему, как ты и я. Но что с ним стало! Ты даже не представляешь себе, как низко он пал...— И Сенека в отчаянии указал на землю. Глаза его наполнились слезами, которые побежали тонкими струйками по печальному, безжизненному лицу.

— Бедный! — проговорил он и, вернувшись в носилки, все еще продолжал плакать.

## XX. ТРИУМФ

Император долго спал. Глубокий сон успокоил его и разлил по всему телу благодатную негу...

Когда он открыл глаза, солнце уже стояло в зените, и лучи ласково касались его, словно изливая на него издалека золотистое счастье; это было похоже на пробуждение в беззаботные дни детства. Его окружали венки, трофеи вчерашнего вечера.

Он окинул их ясным взглядом. Он хорошо выспался и испытывал приятную истому, какую приносит долгий сон. Во время такого сна тело словно созревает и утром легко отделяется от постели, как спелый плод от ветви. Его не мучают никакие желания, кроме потребности еще немного насладиться богатством покоя...

Нерон был в этот момент почти красив. Кудрявые волосы в беспорядке падали на лоб; кожа на груди была гладка и нежна; он производил впечатление удовлетворенного юноши, баловня успеха. Он напоминал признанного художника, отдающегося восторгу воспоминаний и с радостью возрождающего в своей памяти даже борьбу и лишения, омрачавшие дни его начинаний.

— Ха, ха, ха...— заливался он, и собственный голос сладостно щекотал его. Он ворочался и кидался на широкое ложе, чтобы дать выход накопившемуся избытку сил. Он пришел к заключению, что мир вовсе не так скверен, как он полагал, и люди, в общем, добродушны — надо только уметь к ним подойти.

За окном ликовала голубая весна, и резвящийся ветерок поднимал вихрь цветочных пушинок.

Впереди Нерона манили успех и слава.

Почему же он до сих пор прозябал в потемках?

Грезы императора были прерваны приходом Эпафродита; он доложил об утренних посетителях. Их было много, ибо все желали поздравить императора со вчерашней победой. Шесть восковых дощечек были испещрены именами представителей разных корпораций, патрициев, государственных чиновников и частных лиц.

— Я очень утомлен и не могу никого принять,— сказал Нерон, зевая.— Зачем они меня беспокоят? Они мне неинтересны.

Но он все же прочел поданный ему список, останавливаясь на каждом имени.

— Отон? Его я, пожалуй, приму.

Квестор начал с обычных льстивых речей, но император сразу уловил на его лице какую-то тень.

— Надеюсь, у тебя нет никаких неприятностей?

Отон замялся. Он упорно возвращался к одной и той же теме: о перемене своей житейской философии. Он утверждал, что хотя отнюдь не вдохновился принципами стоиков, однако убедился в недоступности для него эпикурейства: не всем по средствам следовать этому учению. Квестор жаловался, что деньги его истекают, что он осажден кредиторами, и вскоре ему придется распродать все свои имения. Затем он перевел разговор на маленькую летнюю виллу у взморья, которую ему предлагали купить. Впрочем, пока не приходилось и мечтать об этом.

Нерону нетрудно было понять намек, содержащийся в речах гостя, и в то время как Отон разглагольствовал, он написал приказ государственному казначею.

Отон сперва запротестовал, но потом быстро сдался: обозначенная в приказе сумма превосходила его ожидания.

— Что слышно вообще?— спросил император со снисходительной и слегка высокомерной улыбкой человека, на долю которого выпало неожиданное счастье.

— Ничего нового.

— Как наши старые приятели: Сенечий, Аничет, Сенений? Вы все еще встречаетесь?

— Очень редко.  
— Были ли у тебя какие-нибудь похождения?  
— Нет.  
— Неужели ты ни разу не напроказил? — и Нерон с шутивным недоверием покосился на него.  
Его забавляла беседа с обманутым мужем, который, очевидно, ни о чем не догадывался.

Опустив голову, Отон пробормотал:

— Я бросил всякие проказы...— Затем задумчиво добавил: — Я влюблен...

— В кого?

Отон смущенно улыбнулся.

— Тебе это покажется странным: в свою собственную жену. Да! После того, как я испытал все соблазны и познал всех женщин: блондинок, рыжих, брюнеток — я к ней вернулся. Меня влекло к ней не раскаяние, а снова вспыхнувшее желание. Брак имеет свои эпохи; старая любовь пробуждается к новой жизни, по-новому озаряется. То, что уже вошло в привычку, становится вдруг необычным, искушает, как грех. Мы снова возвращаемся ко всему, чем прежде дорожили, мы опять переживаем восторги прошлого, принимая их, как дар судьбы.

— После скучной однотонности голубых и серых глаз — я снова восторгаюсь ее серыми очами; в них — все переливы радуги. Я брежу ею, как школьник. Признаюсь, что летняя резиденция, о которой я тебе говорил, составляет часть этой же мечты. Мы пресыщены городом и хотим от него бежать. Нам опостытели пыль, шум, каменные здания...

— Жить где-нибудь далеко, в уединенной тиши! дремать под хрустальный лепет волн, смотреть на пастушков, гонящих стада, купаться в серебряной реке и жить поцелуями...

По улице проехала телега, и грохот ее прервал пастушью идиллию Отона.

Император рассеянно слушал друга. Он не верил его словам; он был убежден, что Поппея любит только его, Нерона.

— Я ценю город больше, чем ты, — проговорил он, — люблю Рим и Афины; шум и свет, пурпур и локмоть.

Он отпустил Отона, который немедленно отправился к казначею, чтобы получить пожалованные ему деньги. Пересекая приемную залу, он нашел ее переполненной. Больше всего собралось артистов, явившихся приветствовать непобедимого венценосного собрата по искусству. Среди них были трагики, певцы и комики, громко и самоуверенно разглагольствовавшие. Своими развязными манерами они подчеркивали, что приняты здесь, как любимцы.

Бедные горожане, безнадежно жалкие просители ждали с раннего утра и не предвидели наступления своей очереди. Прежде чем впустить их во дворец, их обыскивали.

Они бросали благоговейные взоры на артистов, каждое слово и движение которых заключало, казалось, какую-то тайну.

Никогда нельзя было знать, живут ли эти артисты или играют. Поза стала их второй натурой. Они утратили естественный голос и в жизни продолжали быть лицедеями, словно всегда исполняли какую-то роль.

Один из них, актер театра Помпея, изображавший на сцене Геркулеса и Юпитера, насупил брови и стал метать на присутствующих зловещие взоры. Измученные ожиданием просители робко вступали в разговор с артистами, расспрашивали их об императоре и всячески старались снискать себе их благоволение и заступничество.

Вдова какого-то сенатора со слезами на глазах жаловалась, что дети ее ходят в лохмотьях. Убогий старичок сетовал, что, проработав двадцать лет на императорской фабрике пурпура, он теперь, полупарализованный, выброшен за борт. Он надеялся выхлопотать себе пособие. Кряхтя, он протянул немощные руки, чтобы показать их всем. Артисты обступили его и разглядели его со всех сторон, словно изучая редкий художественный экземпляр. Актер, изображавший Геркулеса и Юпитера, решил использовать его беспомощные старческие движения для роли дряхлого Приама.

Секретарь впустил к Нерону сперва артистов театра Помпея, затем театра Марцелла и Бульбуса, наконец,

флейтистов и представителей общества арфистов.

За ними должны были последовать плясуны и участники гонок на колесницах, но император внезапно прекратил прием: кто-то постучался в потайную дверь.

Вошла Пoppея. Это была ее первая встреча с Нероном после его триумфа, который она с полным правом могла считать и собственной победой. Она гордо подошла к императору, словно уже поднималась на ступени трона.

— Любишь ли ты меня? — спросила она почти вызывающе.

— Люблю.

Лицо Нерона было спокойно и ясно. Не оставалось ни следа горечи или нерешительности. Пoppее казалось, что отныне на ее пути нет больше преград.

— Мой певец! — томно проговорила она и припала к его губам, прижимаясь к нему всем телом; затем спросила: — Ты устал?

— Нет, — ответил император, — впрочем, да, немного.

Пoppея вопросительно взглянула на него.

— Неудивительно, — проговорил он, — блеск меня ослепил, аплодисменты оглушили меня. Я подавлен счастьем. Я отведал божественный нектар и опьянен...

Император все еще переживал свой успех; он ни о чем другом не думал и был полон восторга.

— Помнишь ли ты все? — спрашивал он. — Все ли ты заметила? Видела ли ты, как народ и судьи рукоплескали? И как поэты возвеличивали императора, в то же время бледнея от зависти к сопернику? Жалкие ничтожества! С каким наслаждением они бы подкопались под меня! Но я на страже! Нерон победил все и всех! Даже разгром парфян не был для меня таким триумфом!

Он подвел Пoppею к венкам, показывая ей каждый в отдельности и увлекаясь обсуждением предстоящего ему вторичного выступления. Ни о чем ином он не мог говорить.

Он словно и не замечал Пoppею, не ухаживал за ней, не домогался ее ласк и как-то снисходительно целовал ее, даря ей любовь, как одолжение.

Пoppея терялась в догадках.

«Не допустила ли я ошибки? — подумала она. — Я создала его успех, обеспечила ему рукоплескания, а теперь...»

Казалось, что ее ставка проиграна. Она, устроившая вечер, ведшая все переговоры, столько потрудившаяся и купившая на свои средства аплодисменты, с изумлением убедилась, что император как будто остыл к ней.

— Принимал ли ты кого-нибудь? — спросила она.

— Да, Отона.

Поппея сама послала мужа во дворец для приготовления почвы.

— О чем он говорил? — полюбопытствовала она. Голос ее дрожал.

— По обыкновению болтал обо всем.

— И обо мне?

— И о тебе.

Нерон опять подошел к венкам, но Поппея остановила его.

— Выслушай меня! Я не могу дольше так жить! Он меня преследует, подстерегает, приставил ко мне тайных соглядатаев...

— Неужели?

— Я его боюсь! Он часто так странно на меня смотрит и не говорит ни слова, только пронизывает меня глазами. Он убьет меня!

— Он? — презрительно бросил Нерон. — Я его знаю: он — низкий трус.

— Но он хочет убрать меня отсюда: увезти меня от тебя, куда-то далеко, на взморье. Спаси меня! — воскликнула Поппея. Затем взмолилась:

— Не отпускай меня с ним! Оставь меня у себя! Я не люблю его! Люблю только тебя одного!

Она разразилась рыданиями. По лицу ее катились неестественно красивые, словно алмазные, слезы; они у нее были всегда наготове, так же как смех и гнев.

Нерон с покровительственным видом стер слезы с ее лица.

— Ты меня не любишь! — продолжала она, всхлипывая. — Теперь, когда я люблю тебя больше всего на свете, когда ты стал велик, стал первым в мире — ты

разлюбил меня, я это знаю! — И она стала бессвязно бормотать: — Покинь меня! Нет, не оставляй меня! Я сама навсегда уйду, ты меня никогда больше не увидишь! Нет! Я вечно буду у твоих ног! Ты напрасно гонишь меня...

Рыдая, она кинулась к нему на грудь. Нерон не отстранил ее; он дал ей выплакаться, пока она не устала, как полудреmlющее дитя.

Плач этой женщины не был ему в тягость. Сознание, что он покорил ее своим искусством и что она теперь вся в его власти — являлось частью его триумфа. Он успокоил ее добрыми словами. Прижав свои уста к ее разгоряченным губам, он заглушил ее жалобы.

После ее ухода он отправился в общество арфистов, где ему был оказан торжественный прием и где его имя Люций Домиций Нерон было занесено в список членов. Он полагал, что удостоен этого не только на основании существовавшего для артистов устава, но и вследствие признания его самими артистами истинным художником, а не дилетантом.

Император пожертвовал обществу арфистов крупную сумму.

К нему явились послы далеких восточных провинций и греческих островов с просьбой, чтобы он выступил у них, ибо везде народ жаждет услышать божественного артиста.

Один из преторов предложил ему за выступление миллион сестерций.

— К сожалению, это невозможно! — Нерон горячо пожал претору руку и добавил: — Все мои вечера уже наперед разобраны.

## XXI. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

В дождливое серое утро Поппея, съевшись, сидела перед зеркалом. Она вся ушла в свои мысли. От бессонной ночи у нее под глазами синели круги. Если бы ее увидел один из тех, кто любовался ею в театре, — он не узнал бы в ней нарядную молодую женщину, румяную от возбуждения. Он был бы ошеломлен и задумался бы



над тем, скольких трудов и жертв стоит женская красота. Расшитая ткань, которую Поппея, соскочив с постели, накинула на плечи, слегка соскользнула и открыла ее усталую ногу... Поппея содрогнулась от холода; мурашки пробежали по всему ее телу.

Не зная, что с собой делать, она стала причесываться; временами она перебирала пальцами редкие пряди и, распутывая их, нетерпеливо морщилась. Она дергала и рвала свои волосы, и на гребне оставалось много янтарно-золотистых нитей. В ее маленькой голове, похожей на красивый ядовитый плод, зарождались все новые планы.

— Комедиант! — прошипела она, стиснув зубы. — Он оказался лишь фигляром! Я ошиблась!

Нерон не шел навстречу ее тайным намерениям. Он не последовал ее воле, и желанное не осуществлялось. Впервые в жизни она терпела поражение от мужчины. Она ведь надеялась в это время уже быть императрицей!

Поппея хотела привлечь к себе Нерона, а он от нее удалялся. Она, вероятно, слишком стремительно приступила к исполнению своего плана и выдала свою цель.

Избранный ею путь оказался неправильным. Нужно было начать сызнова.

Рано утром к ней вошел Отон.

— Как обстоят дела? — спросил он по обыкновению.

Поппея мрачно забилась в угол.

— Приходится начинать сначала! — процедила она сквозь зубы.

Отон пожал плечами. Она набросилась на него:

— Ты все испортил своей жадностью!

При одевании каждая мелочь ее раздражала. Она уколола острой иглой прислуживавшую ей рабыню, так что из-под бронзовой кожи выступили капли крови.

Закончив свой туалет, она, однако, не отошла от зеркала. Ее главное ежедневное занятие, длившееся целыми часами, состояло в созерцании собственного отражения. Она следила за всеми своими движениями; ей казалось, что она еще недостаточно их изучила; она наблюдала за каждым веянием своих ресниц и каждым их непроизвольным вздрагиванием, дабы в нужную минуту искусно воспользоваться ими, как оружием.

Она научилась изображать на своем лице любую эмоцию. По ее убеждению, зеркало было создано не только для того, чтобы в него смотреться, но также, чтобы с его помощью преобразаться. Поппея никогда не упускала случая через его посредство вглядываться в собственные глаза. Ежедневно она работала над собой с напряженностью художника. Она покидала свою спальню лишь тогда, когда всецело овладевала собственным телом и находила ту волшебную точку, откуда могла управлять каждым нервом своего существа.

Она уже остановилась на новом плане действий; восприняла его не умом, а каждым фибром своего существа; она, казалось, нащупала новый путь кончиками пальцев, словно эманировавшими магическую силу.

Если она до сих пор слишком верила Нерону, то теперь она умерит свое доверие ровно настолько, насколько этого потребуют обстоятельства. Она должна оттолкнуть его от себя, как фокусник в цирке отталкивает обруч, делая едва уловимое обратное движение; от полученного импульса — обруч катится вдаль, но, описав круг, покорно возвращается к исходной точке.

Поппея велела подать себе носилки. Ее понесли через площадь Марса, мимо колоннады Октавия, излюбленного места прогулок патрициев, к театру Марцелла. У входа она встретила Менекрата, который пригласил ее в свою виллу.

Поппея снова искала общества артистов и поэтов; ее всегда влекло к ним, но в последнее время она с ними реже встречалась.

От Менекрата она узнала все новости литературного мира.

Сенека после примирения с императором забросил научные занятия и, подобно своему венценосному покровителю, всецело отдался писанию стихов. Лукан, по окончании представления, благополучно выбрался из Рима и продолжал теперь свою жизнь изгнанника. Зато Антисий попал в ловушку. На каком-то вечере он прочел сатиру на Нерона, за что был задержан и обвинен в оскорблении императора. Все ждали смертного приговора. В сенате по этому поводу происходили бурные заседания.

Старый, мужественный сенатор Фразей выступил с немногими единомышленниками в защиту сатирика. Царегородники, наоборот, требовали для него смерти. Нерон должен был вынести приговор. Он ограничился изгнанием автора, назвавшего его в своих стихах пьяным глупцом. Император даже не чувствовал себя обиженным. В конце концов — всякий поэт немного опьянен и «глуп».

Нерон в этот период был щедр, расточителен, добр и милостив. Его успех в Риме и провинциях одурманил его. Он выезжал играть в другие города; с ним отправлялось до тысячи колесниц, и за ним следовали солдаты, несшие его лиру, маски и театральные атрибуты. Его слава достигла апогея. Стихи его изучались в школах наравне с произведениями Вергилия и Горация, и дети добросовестно зубрили его элегию об Агамемноне.

Нерон был провозглашен классиком и считал себя наивысшим поэтом своего времени.

За все почести он широко расплачивался деньгами, о ценности которых потерял всякое представление. За переписку нескольких своих стихов он приказал выплатить писцу Дорифору два с половиной миллиона динариев; когда обратили его внимание на значительность этой суммы — он рассмеялся и велел ее удвоить.

Поппея была с ним любезна, иногда целовала его, но придавала их беседам характер подчеркнутой простоты, противоречившей ее прежней экспансивности. Большой частью она в разговорах с Нероном ограничивалась передачей виденного и слышанного.

— Лукан написал длинное произведение, — сказала она однажды. — Это произведение находят очень удачным. Известно ли тебе об этом?

— Что оно собой представляет?

— Мне показали только часть. Но чувствуется широкий размах. Тон — героический. Слова кажутся точными. Лукан на сей раз вызвал всеобщее одобрение. Появилось также несколько молодых поэтов, подающих большие надежды: новый Вергилий и латинский Пиндар.

Однако, вопреки ожиданиям Поппеи, сообщение это ничуть не смутило Нерона.

— Сенека тоже пишет много стихов, — добавила она.

— Милый, добрый старик! — благожелательно про-  
ронил император.

Задача Пoppей была нелегка. Нерон никому больше  
не завидовал. Он считал себя неуязвимым.

Но однажды Пoppей как бы невзначай заговорила  
о слышанных ею накануне стихах.

— Они состоят всего из нескольких строк. В них по-  
ется про фиалковое море.

— Чьи они? — спросил Нерон с непривычным вол-  
нением, заранее зная ответ.

— Британника.

— Они красивы?

— Красивы ли они? — она повела плечом. — Они не-  
обычайны.

Нерон, затаив дыхание, уставился на Пoppею, слов-  
но на призрак, поднявшийся из могилы.

— Да, стихи эти необычайны. Достаточно услышать  
их один только раз, чтобы никогда не забыть их.

— Но произведение это бледно, — возразил Нерон, —  
бледно и бессильно, каким был он сам.

— Это большая, но благородная песнь, — задумчиво  
произнесла Пoppей.

— Не кажется ли тебе, что такая песнь недолговеч-  
на? Она имеет лишь мимолетный успех. Затем — словно  
уносится ветром.

— Возможно.

— Сила ценнее, — взволнованно продолжал Нерон, —  
в ней будущее, в ней — бессмертие. Но отчего ты не от-  
вечаешь?

— Откровенно говоря, я в этом не разбираюсь... — и  
она внезапно умолкла.

— Я знаю, о чем ты думаешь! — продолжал Нерон. —  
Ты думаешь, что я не создал такой вещи. Признайся!

— Нет...

— Отчего ты это так неуверенно отрицаешь?..

Пoppей посмотрела куда-то вдаль и опять ничего не  
ответила.

— Я тоже написал про море, — возбужденно прогово-  
рил император, — но у меня волны гремят, и сам стих  
брызжет и бьется... Ты знаешь это произведение?

— Да.

Нерон почувствовал, что Пoppея не ценит его таланта, и в этот момент ненавидел ее. Но он уже не мог продолжать свой путь в одиночестве. Он ежедневно посылал за ней, и она являлась. Поведение ее было заранее обдуманно. Она коварно, как бы случайно, задевала его самолюбие; иногда, впрочем, позволяла себе и похвалить его. Теперь она не была более одинокой, а опиралась в своей борьбе на живое еще воспоминание: на умершего поэта, ставшего ее тайным союзником.

Ее споры с Нероном оканчивались дикими поцелуями, не приносившими, однако, ни удовлетворения, ни радости.

Случалось, что император звал Дорифора и требовал у него ту или иную рукопись, чтобы вместе с Пoppеей читать стихи.

Дорифор вновь и вновь переписывал произведения Нерона во многих вариантах; он их запечатлевал на свитках пергамента и папируса черными и красными тонами; буквы были красивы, как ровные жемчужины. При виде их собственное творчество казалось императору еще прекраснее. Тем не менее, став признанным поэтом, Нерон перестал писать. Он ограничивался декламированием своих старых стихов и жил ранее накопленным духовным капиталом.

Писец Дорифор был родом из Греции. Ему еще не исполнилось двадцати лет. Он был высок и строен. Он скромно входил, полный юношеской застенчивости, и, смущенный, уходил.

— Кто это? — увидя его в первый раз, спросила Пoppея.

— Никто. Мой писец.

— Красивый мальчик, — рассеянно обронила она и стала разбирать рукопись.

— У него уверенный почерк, но сам он робок! Всегда ли он такой?

— Почему ты это спрашиваешь?

— Мне просто интересно. Когда-то в Афинах я видела статую, которую он мне очень напоминает.

Больше они о нем не говорили. Вскоре, однако, им снова понадобились его услуги, и Нерон послал за ним.

Дорифор подал папирус; он был взволнован; углова-

тым движением он нечаянно коснулся горячей ладони Поппеи. Она несколько мгновений удержала его руку в своей. Затем, словно после мимолетного свидения, руки их дрогнули и нехотя оторвались друг от друга.

— Он неловок,— сказала Поппея, когда Дорифор ушел.

Как-то утром она одна посетила архив Нерона и стала перебирать его произведения в поисках нового материала для его выступлений. Старые стихи были уже вдоль и поперек использованы Нероном.

Дорифор, заведовавший архивом, покраснел. Он напоминал порозовевшую от зари белую мраморную статую, с лицом, освещенным лучами голубых глаз.

Несколько часов оба вместе рылись в пергаментях. Дорифор не проронил ни слова. Его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Поппея казалась ему видением.

Под каким-то предлогом она заманила его в парк. Говорила только она. Оба шли по тщательно разбитым, красивым дорожкам, вдоль большого озера, под тенью статуй и деревьев; Поппея, не касаясь юноши, как бы льнула к нему; ее близость всего его обжигала; он спотыкался и время от времени придерживался за ствол оливкового дерева.

Нерон их заметил из окна верхнего этажа. Он уже много дней ждал этого; представлял себе это в самых различных образах. Наконец, мрачная картина его воображения, стоившая ему многих беспокойных, мучительных часов, воплотилась в действительность и неумолимо стала перед ним.

— Ты любишь его? — спросил он Поппею.

— Кого?

Он шепнул ей на ухо имя. Поппея расхохоталась.

— Этого мальчишка! — воскликнула она, продолжая от всего сердца смеяться.

— О чем же вы говорите? Почему вы постоянно вместе? Это не в первый раз! Ночью он плачет под твоими окнами и окропляет благовониями твой порог. Идя к тебе, он одевает венок из роз. Мне известно, что ты тайно встречаешься с ним в своем доме. Я велю привести его, подарю тебе его — любите друг друга открыто! Но ска-

жи мне правду. Посмотри мне прямо в глаза.

Поппея устремила на него открытый, честный взор. Этот взгляд смутил его. Он в нем ничего не мог прочесть. Очи ее были пусты, как пустой фиал.

Поппея больше не встречалась с писцом. Она уже достигла своей цели.

Но император не мог успокоиться. Он следил за обоими, улавливал какой-то скрытый смысл в их самых различных словах и поступках и делал из всего многозначительные выводы, в которых сам запутывался. Если бы он мог вскрыть их мозг! Только тогда он увидел бы, что у них на уме, и узнал бы правду. Он приставил стражу к архиву и поручил своим надежнейшим людям установить слежку за Поппеей и Дорифором. Ни о чем подозрительном не было донесено, — но это лишь усилило его сомнения. Он стал сам подстерегать обоих. Переодевшись, он крался вслед за Поппеей и однажды целую ночь, под проливным дождем, стоял против ее дома. Он наблюдал за уме, как у нее зажгли и погасили светильник, прислушивался к каждому долетавшему изнутри шороху, но не напал ни на малейший след.

В другой раз, в то время, как Поппея ожидала его в зале дворца, он спрятался за занавесами. Поппея сидела, опустив голову. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Она была естественна и казалась равнодушной.

Внезапно Нерон выступил из засады.

— Я здесь!

Поппея вскрикнула.

— Что ты хочешь?

— Признайся во всем!

— Мне не в чем признаться. Но я в твоих руках... Не мучь меня! Лучше прикажи меня убить!

Нерон задумался.

— Я и тогда ничего не узнаю! — заявил он. — Нет. Ты должна жить.

Поппея заплакала.

— Я должна жить! А между тем ты едва не лишился меня. Вчера, когда я переходила через мост Фабриция, меня вдруг осенила мысль... река глубока... течение бурно... все продолжалось бы лишь один миг. Я больше не могу!

Нерон испугался; он побоялся, что она покончит с собой, и тогда все для него оборвется. Как только она ушла — его охватило беспокойство. Посреди ночи он вызвал ее.

— Скажи мне что-нибудь, — устало попросил он.

— Расстанемся.

— Нет! Не уходи от меня! Оставайся! Только около тебя я могу вынести свои страдания. Мы должны с тобой поговорить. Уедем отсюда! Здесь можно задохнуться от жары. Трудно даже мыслить...

В Риме стоял такой зной, что город спал днем и оживал лишь ночью. Несколько рабов упало замертво на улице от солнечного удара. Лучи солнца пронзили их, словно огненные копыя.

Нерон и Поппея отправились в Байю, известную своими целебными купаньями; там собирались нотабили, праздные богачи и прожигатели жизни.

Нервнобольные и подагрики, искавшие спасения в сернистых ваннах и теплой морской воде, теперь лишь редко заглядывали сюда, уединившись в спокойном соседнем городке. В это время Байя осаждалась развлекавшей публикой, шумевшей по ночам и не дававшей спать несчастным больным.

Скучающие патриции съезжались сюда на летний отдых и, жарясь на солнце, становились чернее своих рабов. Взморье кишело фабрикантами и богатыми бакалейщиками.

Особенно выделялась семья крупного богача, разжившегося во время войны против парфян. Он поставлял в войска перевязочные средства и амуницию и мог позволить себе роскошь жить в знаменитом дворце Лукулла.

Закаленные мальчики, хрупкие девочки и ожиревшие матроны грелись на солнце, любовались разнообразными оттенками воды и наблюдали за вздувавшимися оранжевыми и алыми парусами и скользившими мимо миниатюрными лодками с мягкой внутренней обивкой. Мужчины и женщины, весело гребя, выезжали в открытое море и терялись из вида.

На волнах качались брошенные в воду розы. Греческие и египетские гетеры гурьбой обступали виллы бога-



чей и проливали в море столько благовоний, что оно в часы прилива выплевывало их на берег вместе с пеной.

При заходе солнца лавровые и миртовые деревья вздрагивали. За ними слышались страстные и томные возгласы влюбленных.

Императорская вилла словно выросла прямо из воды. Морские волны набегали на белые мраморные ступени. Здесь Нерон после двухдневного пути остановился вместе с Поппеей.

Нерона и Поппею несли сюда в общих носилках, и они оба утомились от долгого пути и еще больше от бесконечных, ни к чему не приводивших разговоров. Губы их не раз встречались, но ласки не сближали их.

Теперь было хорошо молчать и смотреть на вечеряющее небо, принимавшее зеленоватый оттенок; море, потускневшее после заката, сливалось с небосклоном.

Нерон прервал тишину.

— Мы одни,— сказал он.

— Да,— промолвила Поппея.— Во дворце это неосуществимо. Там за нами постоянно следят.

— Кто?

— Все. Не оттого ли ты недавно тосковал? Там застывает любовь. Как хорошо, что мы здесь! — и она погладила его руку.

Нерон задумался.

Поппея вдруг задорно улыбнулась.

— Тебя, значит, отпустили? Агриппина позволила? Говорят, что без ее разрешения ты не можешь сделать ни шагу.

— Я?

— Да, ты! Ты маленькое, послушное дитя! Хороший мальчик!

Поппея говорила с Нероном материнским тоном. Она была старше его.

— Не сдвигай так сурово брови! Ты выглядишь, как разгневанный Юпитер. Это тебе не к лицу. Что сказала бы твоя мать, если бы она сейчас тебя увидела? Ты бы ее очень огорчил. Ты, надеюсь, не сердишься на меня за то, что я тебя хвалю? Все восхищаются твоей любовью к матери, и поэты грядущего увековечат в твоём лице иде-

ал сыновней преданности. Разве ты не пожертвовал всем для Агриппины: покоем, жизнью и даже престолом.

— Это неправда.

— Не она ли занимала твой трон? Когда приезжали послы, не она ли принимала их первая, требуя, чтобы ей поклонились раньше, нежели тебе?

— Но теперь она не живет больше во дворце и даже лишена своих телохранителей.

— Да,— медленно проговорила Пoppея, как будто этот разговор ей уже наскучил,— однако дворец Антония, куда она переселилась, ныне важнее твоего. Ты этого, может быть, даже не подозреваешь. Ведь с тобой никто не откровенен! Говорить, как я, может только тот, кто любит не императора, а Нерона! Правда, что у Агриппины нет телохранителей. Но всякий твой воин на самом деле принадлежит ей. Она опутала весь мир своими тайными нитями, и в действительности правит она вместе с окружающими ее лицами. Все, что происходит в государстве — связано с ее именем. Трибуны, эдилы, преторы — спешат к ней, а не к тебе. Неужели ты не знаешь ее настойчивости и властолюбия? Рассказывают, что она собрала огромное состояние, но золото ее расплывается.

— Ты сбросил Палласа, а на его место явилось десять других! Агриппина имеет, кроме того, множество соратниц. Это — мужеподобные женщины и болтливые мегеры, распространяющие угодные ей слухи. Поступай, как ты находишь нужным, но знай обо всем, чтобы не служить посмешищем. Я многое слышала. Тебя называют императрицей Нерон, а ее — императором Агриппиной, правителем римлян.

— Это неправда.

— Взгляни хотя бы на деньги,— и Пoppея бросила на стол золотую монету.— Здесь опять — она. А на обороте ты с лицом младенца; вечный младенец!

Нерон взял в руки монету.

— Ты должен смотреть правде в глаза. Когда ты вторично стал консулом, Агриппина этого не вынесла и упала в обморок.

— Но что она хочет? — в недоумении спросил Нерон.

— Не знаю! Впрочем, это не важно. Все — дело

взгляда. Если ты желаешь, пусть все остается по-старому. Не всякий рожден для власти. Есть люди, предпочитающие всему в мире — игру в мяч. Наконец, у тебя есть другие стремления.

— Я — артист!

Поппея улыбнулась.

— Почему ты улыбаешься?

— Я думаю о том, как искусно Агриппина избавляет артиста от забот правителя. Однако она не в чрезмерном восторге и от поэта, которому аплодирует весь мир. Вспомни твое первое выступление. Агриппина осталась в стороне, отсутствовала в тот момент, когда Рим был у твоих ног. Дочь Германика, в жилах которой кровь богов, стесняется, что сын ее служителю муз. Она была бы очень довольна, если бы ты отказался от своего творчества, ибо оно, по ее мнению, вредит престижу твоего, или вернее, ее трона.

— Откуда тебе все это известно?

— Это известно всякому.

— Когда я вернусь в Рим, — решительно проговорил Нерон, и в эту минуту он был страшен, — я с ней поговорю.

— Только не прогневай ее. Говори бережно. Она не вынесла бы повышенного тона. Она очень страдает.

— Отчего?

— Из-за Британника. Она его так любила! В день Фералий она была в мавзолее и возложила на его могилу лавровый венок.

Ночь все темнела. Фосфорический лунный свет окутывал море прозрачной дымкой, заливал бледным сиянием деревья и упал на Поппею. Лицо ее, освещенное зеленеватым отблеском, было холодно.

Вдалеке орали пьяные бродяги, перебрасывались грубыми шутками и непристойными остротами. Затем все утихло. Южная ночь была безмолвна; лишь трещали кузнечики, и внизу тихо дышало сонное море.

Император приказал принести светильники и приготовить на галерее вечернюю трапезу. Поппея ушла, чтобы переодеться. Все, что Нерон слышал, представлялось ему в какой-то дымке, и он не знал, как ему поступить.

В глазах его отражались мучительные мысли; губы его бессознательно шевелились, тихо произнося то «да», то «нет». Наконец, вошла Поппея.

На ней была широкая, свободная одежда, через которую просвечивало ее тело. Поппея казалась беззаботной и в то же время странной; на ней была туника в мелких цветочках, какие носили в Риме лишь веселые, доступные женщины.

Нерон и Поппея начали есть, но у них не было аппетита, и от пищи у них оставался лишь терпкий привкус. Они отодвинули блюда и стали осушать кубок за кубком.

Поппея, однако, не пьянела; лицо ее запылало, но она сохранила всю трезвость ума.

Светильники мешали ей, и Нерон приказал их унести. Луна обдавала обоих матово-белым фантастическим светом.

— Что мне делать? — спросил Нерон глухим от хмеля голосом.

— Ты все еще бьешься над этими вопросами? Не стой! Ты ведь любишь ее. Молишься на нее. Об этом много рассказывают. Вас связывают старые воспоминания. Зачем напрасно раздумывать? Решись! Склонись перед ней. Принеси повинную, пади на колени. Быть может, она простит тебя.

— Если бы она не была моей матерью, — проговорил Нерон с тяжелым вздохом, — я знал бы, что делать.

— Но она твоя мать, а ты ее сын! Зачем эта комедия? Она меня ненавидит и никогда не изменит ко мне отношения. Тебя она тоже не терпит только из-за меня! Я стою ей поперек дороги. Стоило бы мне уйти — и все уладилось бы!

— Я ничем не могу помочь! — нерешительно проговорил император.

— Ты прав! Примирись с матерью и верни Октавию. У Нерона дрожь пробежала по телу.

— Да, приблизь ее тоже к себе. Или она, или я — выбирай!

Поппея встала и гордо выпрямилась.

— Отчего ты боишься? Надо, наконец, на что-нибудь решиться! Нельзя быть вечно двойственным. К тому же

меня не любят. Октавию — напротив того, жалеют; в глазах народа она — невинный цветочек... В изгнании она будто бы перенесла какую-то детскую болезнь. У нее опухло горлышко. Зато здесь, во дворце, она успела сблизиться с флейтистом. Многие ропщут против твоего жестокого обращения с ней.— Ее, говорят, плохо кормят; она захирела и плачет, бедная кошечка! Это, право, бесчеловечно! Позови ее обратно, возьми ее! И все будет по-старому. Ты будешь опять каждую ночь наслаждаться песней флейтиста.

— Молчи! — крикнул Нерон.— Не будем больше разговаривать!

Он крепко обнял и посадил ее — маленькую и легкую — к себе на колени; он страстно обхватил ее хрупкое тело, держа за него, в своей беспомощности, как за единственную опору.

Они снова принялись пить. На белый мраморный стол пролилось красное вино. Обмакнув в него палец, Пoppея вывела на мраморной доске большое «Д».

Нерон насутился.

— Дорифор, — воскликнул он, — твой возлюбленный! Пoppея быстро замазала начертанный знак.

— Нет, Дионис! — ответила она.— Наш бог — бог радостной любви.

Нерон резко оттолкнул ее от себя. Пoppея влажной рукой, на которой еще атели капли вина, дала ему пощечину.

— Дикая кошка! — крикнул император и погнался за ней.

Пoppея спряталась за колонной, в другом конце галереи. Она стала защищаться ногтями. Глаза Нерона заискрились.

— Сумасшедший! — взвизнула Пoppея.

Издавая хриплые гортанные звуки, они остановились друг против друга, как хищные разъяренные звери.

Нерон раскатисто захохотал.

Пoppея не поняла его смеха.

— Я смеюсь при мысли о том, что в моей власти отсечь твою голову!

Долго терзали они друг друга. Наконец — помирились.

Со стоном, похожим на сладострастное мурлыканье кошки, они слились в горьком поцелуе. Обессиленные, они на миг испытали облегчение. Затем застыли в изнеможении.

— Утром я возвращаюсь в Рим! — С этими словами Поппея вышла.

— Я отправляюсь вместе с тобой! — и Нерон поспешил за ней. Словно одержимые, они гнались друг за другом.

К утру море приняло свинцовый цвет. Небо, как бы в подражание ему, заволокло седыми покровами. Вихрь погонял тучи. Нерона и Поппею знобило в их легких нарядах. Но они не трогались с места и точно прикованные смотрели с балкона на волнующую стихию.

Море бушевало, осаждая мраморные ступени дворца; волны словно хотели проглотить их, они завоевали себе самую высокую ступень и ударялись о стены. Зубчатые валы мчались, перебивая друг друга, увенчанные пенными гребнями. Одна из волн вздыбилась, разбилась о колонну и обдала пылью брызг лицо мраморного сатира, который с выражением лукавого задора как будто охранял вход в виллу, держа в руках символические винные мехи. Соленая вода стекала с его губ и ноздрей, словно он брезгливо возвращал ее морю.

Все пришло в движение. Только те двое на балконе стояли с поблекшими от бессонницы лицами, словно находясь на качающемся корабле, захлестанном водяным ураганом.

Нерон упивался развернувшимся зрелищем. Утреннее море было подобно иступленной гетере, которая, едва встав, начинает неистовствовать, звеня жемчужными подвесками и сверкая бездонной, омрачившейся синевой огромных влажных глаз...

Море, мучимое бессонницей, ворочалось в своем ложе, не находило себе покоя, плакало и стонало, подобно женщине, обреченной никогда не быть матерью и корчащейся в бесплодных муках; волны в беспамятстве метались и извивались в судорогах...

## XXII. ЖЕНЩИНЫ

Утром Нерон и Пoppея собрались в путь. Те же ландшафты вторично мелькали перед ними, не пленяя их более, подобно давно высказанным словам. Им обоим больше нечего было говорить, и они растянулись в скучающих позах.

В Риме они расстались.

Нерон смутно сознавал, что ничего не выяснил, ничего не достиг и напрасно предпринял это путешествие.

Прежде всего он пожелал видеть Дорифора. Император уже не был охвачен прежней страстью, но его ревность пережила любовь, как от всего его творчества уцелело лишь честолюбие.

— Что с тобой? — обрушился он на писца, — ты исхудал и разучился писать. Рука твоя дрожит! — и он швырнул ему обратно переписанное.

Дорифор вышел растерянный. Нерон смотрел ему вслед; он шел по саду, с беспомощно опущенными руками и склоненной головой.

Император пожалел, что ограничился кратким внушением, вместо того чтобы учинить юноше допрос. Он послал за ним, но Дорифор уже ушел.

Нерон боролся с самим собой. Нецеломудренные образы преследовали его, сливаясь в картину порока. Он не мог их отогнать, они постоянно возвращались. Являясь лишь плодом его вымысла, они, однако, против его воли всплывали перед его взором и увеличивали его страдания. Пoppея и Дорифор сливались в его воображении. Если бы он собственными глазами увидел то, чего так боялся, — и тогда его ужас не был бы сильнее.

Пoppея нарочно оставила Нерона одного, чтобы в нем созрело семя, заброшенное в его душу ее словами. Она ждала.

Император поспешил к матери.

Опальная императрица проживала во дворце Антония, недалеко от императорского дворца. Ее окружали шпионы, которые о каждом ее шаге докладывали императору и Сенеке, боровшемуся против ее влияния. У Агриппины оставалась только надежда на лучшие времена.

Она имела преданных ей соглядатаев, которые встречались с подвижниками императора; обе стороны, насторожившись, следили друг за другом.

После смерти Британника, Агриппина устремила все надежды на Октавию. Когда же молодая императрица была изгнана, она попыталась вступить в переговоры с родственниками Клавдия и с приверженцами Октавии, дабы возвратить последнюю из ссылки. При посредстве Октавии Агриппина надеялась восстановить свою утраченную власть. Но всему помешала Пoppея, по вине которой Нерон ускользнул из ее рук. Она знала, что его уже не удержать.

Каждый вечер у Агриппины собирались преданные ей женщины, нашептывавшие о том, что во дворце предвидится большая перемена. Однако предсказываемое событие отодвигалось все дальше.

Появление Нерона поразило Агриппину. Он пришел один без телохранителей и невооруженный, как в былые счастливые дни.

— Я хочу у тебя отдохнуть,— проговорил он и опустился на лежанку.

Старая императрица под села к сыну, положила его голову к себе на колени и стала его убаюкивать. Она чувствовала в нем собственную плоть. Своей тонкой, мудрой рукой, прикасавшейся ко всем тайнам жизни, она за слонила ему глаза, чтобы ему не мешал свет. Она склонилась над ним; тень ее могущественной груди падала на его лицо.

— Сын мой,— бормотала она,— сын мой!..

Нерон весь отдался своей усталости. Он прислушивался к успокоительному шепоту Агриппины и на мгновение почувствовал давно забытый вкус материнского молока и благотворный покой, снисходивший на него когда-то от близости матери, даже в самые тревожные минуты жизни. Она показалась ему спасительницей, как в детстве, когда его ночью лихорадило, и он просил у нее воды.

Агриппина вновь видела в нем свое родное дитя, ради которого зашла так далеко, что сердце ее безнадежно сжималось, когда она оглядывалась на пройденный путь.



Кротко и смиренно она заступилась перед ним за Октавию.

— За что ты на нее прогневался? Ты только из-за ее отсутствия и страдаешь. Весь Рим ей сочувствует. Сенат хотел бы вернуть ее. Если бы она возвратилась, все было бы снова хорошо, и все мы были бы счастливы.

Голова Нерона заметалась на коленях матери.

Он был снова под влиянием Агриппины.

Она приказывала подавать широкие носилки, и они вместе совершали прогулки, доверчиво болтая, как прежде. Целыми днями она его не отпускала от себя. Под ее охраной он чувствовал себя спокойнее.

Вечерами она, покорная, приходила к нему; она, завоевавшая ему трон и повелевавшая ему когда-то каждым своим жестом. Она целовала и обнимала его, бросалась ему в ноги, и обезумев, заливаясь слезами, умоляла: — Верни ее!

Слова эти были как бы эхом того, что говорила Понпея. Ведь и она уговаривала его: — Верни ее!

Нерон не знал о том, что в это время происходило в его дворце.

Однажды, когда он там находился и, сидя у себя в архиве, рылся в рукописях, до него долетел шум.

На Форуме прошла молва, что Октавию вернули из ссылки и тайно водворили в отдаленные покои дворца.

На улицах стали образовываться группы; обсуждались события; народ надеялся на перемену. Разраставшаяся толпа устремилась ко дворцу, чтобы приветствовать возвращенную из изгнания молодую императрицу. К манифестантам присоединялись кучки любопытных и смутьян. Толпа потоком хлынула вперед. Она опрокидывала статуи Понпеи и увенчивала розами изображения Октавии.

Нерон прислушивался к шуму со смешанным чувством страха и недоумения.

Охрана защищала дворец. Она отогнала обнаженными мечами толпу, которая уже ринулась на мраморную лестницу, чтобы прорваться к императору. Внезапно распахнулись двери зала, в котором находился Нерон. Перед ним предстала Понпея, растрепанная и без вуали.

С первого взгляда было видно, что она прибежала во дворец сквозь скопище народа, с опасностью для жизни. Она еле переводила дух...

Вид этой преследуемой женщины, чьей смерти с угрожающими криками требовала толпы, и которая пробралась сюда, оборванная, как потаскушка — тронул Нерона.

После долгой разлуки красота ее с новой силой взволновала его. Он был потрясен ею.

— Что случилось? — спросила Поппея укоризненно, словно привлекая его к ответу.

Нерон почувствовал угрызение совести.

Он стал убеждать ее, что все происходящее — лишь комедия.

Послышалась музыка. Флейтисты заиграли перед дворцом. Некоторые стали бросать в окна цветы.

— Это — в ее честь, — рассмеялась Поппея, — флейтисты имеют основание радоваться...

Но в рядах толпы пробежал ропот. Несколько свистков прорезало воздух. Полетели камни.

— А вот это относится ко мне!

— Нет, ко мне... — пробормотал Нерон.

— К нам обоим; мы пропали, они желают нашей гибели; как «преданнейшая мать», так и «преданнейшая супруга».

Нерон опустился на сиденье.

— Теперь мне надо идти, — сказала Поппея, — я только пришла с тобой попрощаться. Не допускай посягательства на свою жизнь! Нельзя ждать, пока оно осуществится. За твоей спиной уже привезли сюда Октавию. Завтра найдут для нее нового императора.

Нерон стал прислушиваться к тому, что происходило на улице. Шум утих. Охрана доложила, что толпа разогнана. Опасность миновала. Император попросил Поппею остаться. Он сел рядом с ней.

— Я это предсказывала! — произнесла она с горечью. — Я знала об этом, говорила тебе, но ты мне не поверил.

Император молча взял ее руку.

— Ты была права, и только тебе можно верить! Те-

перь я прозрел! — и он устремил взор вдаль. — Я, наконец, увидел всех... если бы только я мог видеть и тебя, дорогая, не испытывая боли...

— Боли? Отчего?

— Оттого, что я так сильно люблю тебя...

— Так почему ты не хочешь быть счастливым? — твердо спросила Поппея. — Почему ты боишься полноты счастья, огромного, необъятного счастья?

Нерон привлек ее к себе и припал горячим лбом к ее груди.

— Сегодня же я пошлю Октавию в Пандатария.

Пандатария — остров, куда ссылали приговоренных к смерти — представлял собой вредную, болотистую местность, где осужденные быстро погибали.

— А Отон? — напомнила Поппея. — Ведь и он стоит между нами!

Прижавшись к Нерону, она взмолилась: — Освободи меня от него!

Император назначил Отона наместником в Лузитании; ему были устроены торжественные проводы.

Со дня демонстрации дворец Антония был, по требованию Нерона, окружен усиленной стражей, и у Агриппины отняли свободу даже в ее доме. Она ждала... Вся ее жизнь превратилась в сплошное ожидание.

Она постоянно носила при себе кинжал и за каждой трапезой дважды принимала противоядие, как это вошло в обычай в влиятельных кругах Рима.

### XXIII. ОБЩЕСТВО АРФИСТОВ

Общество римских арфистов сперва снимало на «Via Arria» лишь две комнаты, где его члены собирались для обсуждения своих профессиональных нужд. Здесь так же продавались по удешевленным ценам инструменты и струны. В этом скромном помещении артисты ежедневно ужинали, набивая пустой желудок мясными обрезками и кислыми бобами, запивая их скверным вином и скрашивая скромную трапезу песнями.

Но со временем этот убогий уголок превратился в одно из самых пышных и наиболее посещаемых учрежде-

ний Рима. Им было занято целое здание; однако и оно не вмещало всей стекавшей туда публики. Помимо не престанно увеличивавшегося числа членов, росло и количество гостей. «Общество» превратилось в шумный центр, где день и ночь кипела жизнь. Перемена явственно отразилась и на обстановке. Лежанки изобиловали мягкими подушками; появились золоченые сиденья и статуи.

На трапезах подавались лакомства и самые утонченные блюда. Арфисты стали изысканнее одеваться: они щеголяли в тогах и головных уборах, принаравливаясь к новой публике, влившейся в их Общество; публика эта состояла из патрициев, военной знати и богатых промышленников.

Сначала представители высших кругов заглядывали к арфистам лишь случайно, разыскивая какого-нибудь приятеля, или измышляли благовидный предлог для своего посещения. Теперь же Общество дополняло им дом и семью. Патриции и богатые лавочники понемногу восприняли манеры музыкантов, писателей и ригоров. Они переняли их небрежный, слегка томный тон и презрение к установленным формам. Упитанные фабриканты завидовали интересной бледности поэтов. Художники и обыватели постепенно свыкались друг с другом; между ними даже появлялось сходство.

У самых дверей зала находилось постоянное место карлика Ваниция. Он был здесь неизменным гостем. Он восседал на специальном высоком кресле; появлялся он еще днем, а уходил одним из последних, глубокой ночью. Он больше не был шутом за императорской трапезой; напротив того — все теперь заискивали перед разбогатевшим карликом, который с сознанием собственного достоинства нес свой горб, завоевавший ему почет и исключительное положение. Все посетители сгибались перед ним. Он сидел за столиком, уставленным напитками и яствами, но даже не прикасался к ним; он не знал более ни голода, ни нужды. Все стремившиеся к выгодным должностям лстили ему, чтобы он замолвил за них словечко, ибо он был всемогущ. Но он их обычно спроваживал отрицательным движением головы. Говорить он избегал, так как стеснялся своего пискливого голоса.

Под вечер начиналась игра в кости. За игорным столом толпилось разношерстное общество.

Встряхивая кубки, игроки непрерывно выбрасывали из них белые кости; они оживленно состязались, несмотря на то, что прежняя ставка в один асс была теперь повышена до четырехсот сестерций, а многие ставили даже гораздо большие суммы; всякий старался превзойти другого. В начале вечера состязалось лишь несколько растрепанных поэтов. Но позже — страсти разгорались, и начиналась настоящая игра. Приходили модные писатели и избранные актеры; среди них выделялся Антиох, азартный игрок, сыпавший золотом. Он получал в театре Марцелла шестьсот тысяч сестерций в год и пользовался в Обществе арфистов большим уважением.

Счастливец оказался в этот вечер тщедушный человек Софокл, загребший куш. Он считался баловнем счастья и, кидая кости, применял особый, изобретенный им прием, секрет которого он никому не выдавал.

Этот грек, с воспаленными от бессонных ночей веками, лишенными ресниц, кичился кровным родством с великим классиком, имя которого он носил. Рыться в его родословной не представлялось возможным, и оставалось только верить или не верить ему, в зависимости от того, выигрывал ли он, или проигрывал. Однако он жил исключительно этим гордым убеждением, ибо сам не блистал ни голосом, ни слогом; никто по крайней мере не слышал ни одной его строчки, и разговор его был далек от красноречия. Он любил привирать и приукрашивать и, по его словам, происходил чуть ли не от богов. Это, впрочем, не мешало ему быть скаредным и себялюбивым.

Рядом с ним расположился Транио, мелкий артист театра Бульбус, назначением которого было лаять за сценой, когда это требовалось по ходу действия. Он был известен как неудачник, и именно потому заключил союз с счастливецом — Софоклом.

Хотя прошло уже много лет, и Софокл не приблизил его к удаче, однако дружба их не остыла.

Позднее явился богач Бубульк. Он был торговцем шерстью, познакомился здесь, в Обществе, с императором и стал поставщиком двора; с тех пор он столько накрал,

что мог соперничать своими капиталами с виднейшими римскими богачами.

Он имел пять домов в Риме и окруженную оливковыми деревьями виллу в Сабиниуме. При вилле был фруктовый сад и изобиловавший рыбой пруд. Вокруг простирались необозримые имения Бубулька, в которых разводились овцы, обрабатывалась шерсть, и засеивались обширные поля, сданные в аренду. Бубульк терялся в подсчете своего рогатого скота, свиных стад и табунов. Он уже не мог исчислить своего состояния.

Разбогатев, он перестал работать и выхолил свои недавно копавшиеся в навозе руки. На лице его лежала печать грубости и деспотизма. Но глаза старались кротко улыбаться, ибо он желал слыть любезным. Его фигура по громоздкости напоминала фигуру гипнопотама. Он облачал свое бесформенное тело в самые дорогие одежды, выставляя напоказ свое богатство. Пальцы его еле сгибались под драгоценными перстнями.

Он хотел идти в ногу со своей эпохой и, хотя едва умел читать, а по-гречески вовсе не понимал, оборудовал у себя в доме библиотеку, занимавшую несколько зал. В ее великолепных хранилищах из кедрового дерева были сложены редчайшие папирусы и скрепленные кожаными ремнями рукописи. Он скупал у известнейших книгопродавцев на Форуме ценные, единственные экземпляры манускриптов. В своем дворце он выстроил собственный театр, в котором он и его жена выступали в главных ролях. Жена его обучалась также танцам у Париса и посещала школу Зодика. Сыновья Бубулька учились в литературной школе при Обществе арфистов, где преподавание велось Фаннием. Молодым ученикам читали известных писателей, а иногда и лучшие современные поэты выступали перед ними со своими стихами.

Таков был круг, который заключал в себе весь мир Бубулька и являлся ареной его тщеславия. Богач в то же время не забывал, что поэты ему много дали, и он старался быть с ними приветливым и предупредительным.

В этот вечер его сопровождали артист Галлио и прекрасный Латин.

Его приняли, как всегда, с большим почетом. Игроки встали, и игра на мгновение замерла; даже Ваниций поднял равнодушное лицо.

Софокл, преемник трагического поэта, питавший слабость к театральным положениям в жизни, вскочил с места, схватил руку Бубулька и торжественно подвел его к игорному столу. Транио стал превозносить молоджавость важного гостя. Флорий похвалил его кольца.

Форний обычно угождал ему тем, что бросал ему в лицо грубости и глупости, которые Бубульк не без удовольствия высмеивал.

Каждый из игравших приглашал его присоединиться. Но примазавшиеся к нему «друзья» не выпускали его из своих когтей и подвели его к столу, который уже был занят для него его присяжными льстецами и прихлебателями.

Здесь к нему подошел и Фабий, отец многочисленного семейства, скромный писец, переписывавший правительственные распоряжения из ежедневной официальной газеты «Acta diurna».

Роль Фабия уже годами состояла лишь в том, что он следил за взлетавшими игорными костями Бубулька, вздыхал при проигрыше и ухмылялся при выигрыше. Он был неуклюжим льстецом. Самое удачное, что он мог сделать — это сказать что-нибудь невпопад. Тогда Бубульк, при громком поощрении других посетителей, награждал его ударом в спину. Фабий, однако, не уходил. Он терпеливо ждал «возмещения», в виде золотой монеты, позволявшей ему в этот день поужинать. Бубульк сорил деньгами, но сорил «разумно». Он знал кому дает, знал цену всякого человека и степень благоволения к нему Нерона. Его щедрость и великодушие всегда основывались на известных расчетах.

Криспий, тощий торговец маслами, был, наоборот, простодушен. Он был еще новичком в Обществе арфистов и ставил себе целью сделаться, подобно Бубульку, через посредство этого Общества придворным поставщиком. Он был застенчив, неловок и не умел разбираться в людях. Он наивно ставил на одну доску Зодика и Секеку или Транио и Париса. Он был счастлив, когда кто-

нибудь с ним заговаривал. Непристроенные люди, околачивавшиеся в Обществе, часто доставляли ему эту радость: они окружали его и шепотом просили у него взаимы денег. Криспий охотно шел им навстречу.

Бедный, добродушный торговец маслами! Здесь, среди любимцев муз, он напоминал заблудившегося ребенка. Он с благоговением взирал на артистов.

Мир изменился! Когда-то артистов равняли рабам; власть имущие изгоняли их или приказывали стегать их плетью; ни один «приличный» человек не желал выдать дочь за актера. Теперь же почти все актеры были раскрепощены. Открывалась новая эра, государство покровительствовало художникам, и искусство развивалось.

В Обществе являлись и эдилы; они ввели здесь в обиход нечто вроде ежедневных приемных часов, во время которых они беседовали с выдающимися современниками. Ни один высший государственный чиновник не упустил случая явиться туда, где сам император бывал по окончании театрального представления и участвовал в трапезе.

Зодик и Фанний приходили в Общество во главе шумной оравы. Они являлись лишь под вечер, по окончании занятий в своих группах. Их часто сопровождал Пилладий, преподававший в их школах танцы и фехтование. Он словно влетал, а не входил; казалось, что его руки и ноги порхают. Кадры его учеников состояли, главным образом, из сенаторов.

Недавно Нерон на одном из празднеств предложил сенаторам скрестить мечи с гладиаторами.

Чтобы закалить свое тело и впредь не быть застигнутыми врасплох — сенаторы принялись за ученье, желая вернуть силы одряхлевшим мускулам и вновь приобрести юношескую ловкость.

В искусстве авторитетами теперь считались Зодик и Фанний. Первый обучал поэзии, второй — декламации и пению. Они были окружены стайей почитателей, продолжавших и здесь закидывать учителей вопросами.

Лентул, непритязательный мелкий землевладелец, на старости лет возгорел желанием писать стихи и стал изучать поэтов. Он попросил Зодика вновь объяснить



ему уже изложенное на занятиях. У Лентула был усталый вид. Новоприобретенные знания подавляли его, и, пока учитель говорил, мысль его невольно перебегала к жене, детям, к его молочным фермам, и внимание его рассеивалось. Он был невероятно прилежен, но туго соображал и слабо подвигался к поэтике.

— Владеть бы мне хоть дактилем! — сказал он со вздохом.

— Нет ничего проще, — объявил Зодик и стал скандировать гексаметры, отбивая пальцем счет.

— Вот как? — тупо заметил Лентул и стал тоже манипулировать пальцами.

Зал был полон огней и жужжал как улей. Обходительный Криспий, потерявший одним ударом полмиллиона, встал из-за игорного стола, но все же продолжал вежливо улыбаться. Бубульк еще держался.

Зодик и Фанний не примкнули к игрокам, а сели в сторонку, под колонной.

— Я не могу тягаться с ними, их ставки слишком высоки, — сказал Зодик. — Смотри, еще шесть патрициев. Их все прибывает.

— Я повысил плату за учебу, — сообщил Фанний, — но, несмотря на это, меня сегодня рвали на части. В мою школу поступают главным образом старики, которые учатся фехтованию.

— Каковы их успехи? — спросил Зодик.

— Неважны, — ответил Фанний, и рот его искривился язвительной усмешкой.

Оба были теперь обеспечены деньгами и везде приятны, но оставались мрачно настроенными. Они были солидарны в зависти ко всякому, кто чего-нибудь достиг, и озлобленно критиковали все светлые начинания. Это не мешало им смотреть и друг на друга с пожирающей ненавистью. Зодик не мог примириться с тем, что и для Фанния наступили золотые дни. Фанний, с своей стороны, не мог спокойно видеть успехов Зодика.

Они были неразлучны, как Кастор и Поллукс, но близость их вызывалась не дружбой, а опасением, как бы в отсутствие одного другой не продвинулся дальше. За спиной они всегда носили друг друга.

Жизнь не обогрела их любовью и не избаловала почетом. Зодик всю свою молодость околачивался на Форуме и кричал в ухо каждому прохожему свои слащавые стишки об овечках и воркующих голубках; его лишь высменвали или отталкивали. Наибольшая царская милость не могла изгладить это из его памяти. Ему хотелось выместить на каждом свою злобу, радостные и удовлетворенные лица раздражали его; он старался причинять зло даже самым безобидным людям.

Фанний был когда-то рабом, тащил на спине камни и разбил себе левую лопатку. Боль все еще давала себя чувствовать и временами не позволяла ему уснуть. Он тоже непримиримо относился ко всему человечеству и таял от удовольствия, когда мог сказать или услышать о ком-нибудь плохое. Эти нескладные, ничтожные существа были оба невыразимо несчастны, и неизмеримо подлы. И все же в их глазах еще робко теплилась исконная жажда любви; она была полуиспепелена, зарыта где-то в глубине существа, но достаточно им было встретить мимолетную похвалу или намек на уважение, чтобы эта искра вновь вспыхнула...

Мрачно сторбившись, они сидели рядом.

— Он придет? — спросил Фанний.

— Откуда мне знать? — раздраженно ответил Зодик.

Император оставался средоточием их помыслов, хотя он почти перестал принимать их. Они стеснялись признать в этом друг другу.

— Когда ты у него был? — осведомился Фанний.

— Недавно... я ведь теперь так занят, — отговорился Зодик.

— Я тоже. Впрочем, он постоянно выступает.

— Да, — с пренебрежением сказал Зодик. — Парис всюду следует за ним, как тень. Он устроил для Нерона представление в «Бульбусе» и в театре Марцелла.

— Как он играл?

Зодик расхохотался.

— Он был омерзителен! Смешон! Никто не берет его всерьез. В сущности он — ничтожество...

— Полное ничтожество! — подкрепил Фанний с глубоким презрением. — Только мы сделали из него что-то...

В речах их кипела желчь. Они резко выбрасывали свои слова, как будто сами питали к ним отвращение, причем у обоих лица уродливо искажались.

Они зорко следили друг за другом. Каждый надеялся, что его опала при дворе останется для другого тайной.

— Где Нерон сегодня выступает? — спросил Фанний.

— В театре Помпея. Но я не пошел, — и Зодик нахмурился.

Появился Калликлес, по обыкновению — с тремя женщинами; одна из них, Лоллия, была возлюбленной Бубулька; его, однако, никогда не видели в ее обществе; говорили, что он завел эту связь лишь для того, чтобы не отстать от моды. Остальные две спутницы Калликлеса были египетские гетеры; их маленькие бледные лица казались еще меньше и бледнее в рамке густых, иссиня-черных кудрей. Жизнерадостная улыбка обнажала их ослепительные зубы.

Калликлес предупредительно помог своим спутницам снять вуаль. Его встретили тепло и радостно, за что он всех отблагодарил экспансивными жестами.

Он был римлянином, несмотря на греческое имя, но в молодости жил в Афинах и стал эллином по языку и наклонностям. Он презирал и осмеивал латинское государство, его военный дух, жестокое варварство и тяжело-весное безвкусие.

Волосы его не были густы, но он искусно разделял их идеально прямым пробором, который ежеминутно заботливо поглаживал. Он носил тогу аметистового цвета, потертую, но изящно задрапированную, как у патрициев.

Многие принимали его за артиста, поэта или плясуна. Хотя он не принадлежал ни к одной из этих профессий, однако таил в себе задатки всех трех. Он носил в душе обломки разбитой жизни; у него не было больше цели; печаль отражалась на его лице, изборожденном темными складками. В глазах его затаилась, казалось, сгущенная, но пылающая тьма; их глубины были словно выжжены солнцем; взор их был взором хищной птицы.

В сорок лет он претворил свое крушение в чудо и разбрасывал теперь с широким размахом драгоценнейшие осколки своего жизненного опыта. Он беседовал по-гре-

чески. Умел играючи говорить обо всем, что взбредет на ум: о женской туфельке, сережке, косметике, стихах и своих вымышленных похождениях с египетскими принцессами, предки которых покоятся в пирамидах. Он рассказывал о кознях поэтов, о привычках и слабостях государственных людей; болтал о всяких пустяках, которые, однако, в его устах казались существенными и знаменательными. В этом пристанище артистов он один производил впечатление настоящего художника, хотя никогда не выдавал себя за такового.

Все ждали из его уст чего-то особенного. Он выработал себе собственный язык, в котором язвительно смешивал старинные, классически-высокопарные выражения с неприкрашенными, грубо-откровенными словечками уличного ночного говора. Он был ядовит, иногда ронял едкие и жестокие слова, насмешливо отзывался обо всех и, прежде всего — о своей собственной особе.

Благородные чувства, жившие в его утонченной душе и когда-то вносившие отраду в его существование, со временем пропитались горечью; сладкое вино превратилось в терпкий уксус, однако — острый и ароматный.

Окружавшие его женщины внимательно слушали его. Он говорил ласкающим, бархатным голосом; одобрил палевые ленты, которые носила Поппея, и ее золотые туфли; назвал Лоллию очаровательной, а египетских девиц — обворожительными, сопровождая улыбкой свои сознательные преувеличения. Он расточал комплименты, как дешевые розы, с небрежной любезностью.

— В Афинах, — произнес он сокрушенно, — женщины носят бледные вуали, а когда поют, слегка запрокидывают голову. Их тело тонко и нежно...

Он любил вино; отпил несколько глотков и грустно посмотрел в бокал.

— Очень печально, — произнес он, понурив голову.

— Что печально?

— Я видел сегодня римлянку, одетую в шерсть. Она была тучна и тяжело дышала. Разве это не ужасно? — и он вопросительно взглянул на женщин.

У игорного стола разгорался смертельный бой. Наконец, даже Бубульк встал. Поэты стали делить между со-

бой деньги. Софокл произвел последнее нападение на богача.

— Добрый правнук великого Софокла! — воскликнул Калликлес с непередаваемой миной.— Посмотрите на него и вы увидите в знаменитой трагедии новую сцену, под названием «Царь Эдип в Риме».

Бубульк подошел к женщинам.

Калликлес, втайне почтивший не одним метким эпитетом его волосатую грудь, узловатые ноги и огромную круглую голову, скорчил, однако, при приближении богача благоговейное лицо. Впрочем, он искренно восторгался богатством.

— Адонис! — бросил он Бубульку.

— Что? — переспросил торговец, никогда не слышавший об Адонисе.

Калликлес был не в состоянии льстить. Хотя он и считал себя хитрым, он не был знатоком людей и не умел скрывать своего пренебрежения даже к тем, симпатии которых он стремился снискать. Поэтому он никогда ничего не достигал и существовал лишь обучением гетер греческому языку.

Все смеялись над недоумением Бубулька по поводу «Адониса». Но Калликлес, после некоторого замешательства, спас положение.

— Вот честный, солидный человек, — проговорил он, указывая на Бубулька.— Обутий железом, он устремляется к своей цели, как крылоногий Меркурий! Не истолкуйте моих слов превратно, — добавил он.

Зодик, крадучись, подошел к Калликлесу, дабы услышать что-нибудь дурное о Фаннии. Это было его ежедневной потребностью, которую Калликлес с готовностью удовлетворял, чтобы потом обелиться перед Фаннием не менее крепкой характеристикой Зодика.

В этот день оба спросили его мнение о Нероне.

— Он — император, — почтительно ответил Калликлес.

— Но каковы его стихи?..

— У него теплые, мягкие руки...

— Дай, наконец, прямой ответ, — настаивали стихотворцы, знавшие его мнение о Нероне.

— Анакреон был великим поэтом,— воскликнул Калликлес, осушая бокал, но он не был императором.— И он окинул взглядом собеседников, сдерживая улыбку, которая лишь блеснула в его глазах.

Он вскочил с места и поспешил на кухню, чтобы удовлетворить свое любопытство относительно вечерней трапезы. Он был гастрономом, любил тонкие блюда и хорошее вино. На кухне он поболтал с молоденькой судомойкой — прехорошенькой замухрышкой. Он извлек флакон, с которым никогда не расставался, приблизился к девушке и облил ее духами; они с затылка потекли по ее спине, вызывая мурашки, и заставили ее взвизгнуть; покоритель «египетских принцесс» страстно поцеловал рабыню и назвал ее богиней, после чего вернулся к гетерам.

— Будет соловьиный суп! — объявил он, — две тысячи певчих птиц уже погибло под ножом нашего отменного повара.

Он провел своих дам в трапезный зал, утопавший в розах. Казна истратила на них восемьсот тысяч сестерций, так как на этот день был объявлен приход императора.

Нерон только что выступал в театре и казался утомленным. Ему приходилось много играть. Народ требовал зрелищ, и император пользовался этим, дабы развлечения рассеять воспоминание о недавнем народном волнении. Почти каждый вечер он пел и декламировал в цирке или театре.

Перед трапезой он по обыкновению бросил в бокал жемчужину и проглотил ее вместе с вином. Таким образом он уже уничтожил многомиллионное состояние. Ему казалось, что жемчуг обогащает его дух и придает взору перламутровый блеск.

Он был окружен артистами, которые с ним играли и беседовали. За крепкими винами все они перешли на дружескую ногу. Царила полная непринужденность. Галлио стал передразнивать беззубого Памманеса, Алити<sup>1</sup> рос — Трания; третий имитировал Алитироса, и так без конца. Каждый выдерживал свою роль весь вечер. Никто не остался самим собой. Антиох, до тех пор не принимавший участия в этой своеобразной игре, встал вдруг с ме-

ста и стал подражать мимике своего блистательного соперника — Париса, которого еще никто никогда не осмелился изобразить в смешном виде.

Лицо Антиоха застыло в трагическом ужасе, он начал говорить внятными театральными шепотом, как это делал в наиболее потрясающих сценах Парис, и стал испуганно жестикулировать. Передача была столь правдива, что Нерон покатывался со смеху.

В разгаре забавы появился отсутствовавший виновник веселья. Встреча «двух Парисов» послужила источником неисчерпаемых шуток. Однако настоящий Парис казался невменяемым от испуга. Не обращая ни на кого внимания, он подошел прямо к Нерону и шепнул ему на ухо: — Заговор!

Нерон принял это как шутку.

— Ужасно! — ответил он таким же шепотом, и как хороший артист побледнел.

Но затем он расхохотался в лицо Парису и дружески ударил его по плечу. — Ты отлично сыграл, теперь — пей.

Император и великий артист жили в тесной дружбе и часто позволяли себе подобные выходки. Они между собой состязались: каждый стремился настолько приблизить свою игру к жизни, чтобы она могла ввести в заблуждение другого. Они не ограничивались экспромтами, а усердно подготовлялись к своим шуткам, разыгрывание которых иногда длилось несколько дней.

Однажды, когда они вместе пили, к Парису вдруг подошел гонец, сообщивший, что его вилла подверглась нападению и ограблению. Артист схватил себя за голову и бросился домой, после чего долго не показывался. Когда император, наконец, увидел его, Парис, со слезами на глазах, рассказал ему о разгроме, который нашел у себя в вилле. Нерон стал утешать его. Тогда актер признался, что только разыграл комедию. Император вознегодовал и, пылая гневом, объявил ему об его изгнании за такую непочтительную шутку. Он приказал ему немедленно покинуть Рим. Артист подчинился, но Нерон с полпути вернул его. Он объявил, что и с его стороны это была только шутка, и признал себя победителем. Оба актера обнялись; они были довольны друг другом.

Теперь Нерон сам наполнил бокал Париса, но артист не прикоснулся к нему.

— На сей раз это не шутка,— тихо прошептал он.  
— Ты играешь чудесно! Как никогда еще!

Парис казался измученным. Нерон стал внимательно вглядываться в его лицо.

— Я не играю,— повторил Парис, и какая-то неуловимая складка около его рта подсказала императору, что он говорит правду.

Они сошли вниз. Их ждали носилки. Оставшись наедине с другом, Нерон попросил его прекратить комедию. Он был готов опять рассмеяться, но веселье застыло на его губах, когда Парис с трудом произнес:

— Рубеллий Палавт, родственник Августа... они хотят возвести его на престол...

— Что?!

Голос Париса задрожал:

— Они склонили на свою сторону часть сенаторов и сеют возмущение в войске. Им удалось вступить в контакт даже с некоторыми преторианцами. Но мы перехватили все нити и открыли главу заговора.

— Кто это?

Парис запнулся... не мог выговорить имени... Наконец, пересилил себя:

— Агриппина!..

— Она! — крикнул Нерон.— Моя мать...

Он зарыл лицо в подушку и стал кусать и рвать ее, как дикий зверь, повторяя: — Моя мать, моя мать!

#### XXIV. Г Р О З А

Вернувшись домой, Нерон продолжал твердить:

— Моя мать! моя мать!

Его охватили воспоминания; перед ним встали картины, сладостные даже в своей жестокости.

Сенека, вызванный на ночное совещание, вел себя сдержанно. Много лет знал он эту женщину; был ее возлюбленным.

— Неужели это она? — спросил его император.

— Да,— ответил философ.



— Что делать?

— То, чего требует благо государства,— твердо произнес Сенека.

Агриппина не смутилась. Она все отрицала. У нее был ясный ум, и она стойко защищалась.

Она сурово стала перед сыном; ее мускулы напряглись; она повела могучими плечами. Спокойно выслушав обвинение, она коротко ответила: — Это неправда...

С гордостью смотрела она на разгневанного Нерона. Он был ее сыном; был красив, могуществен.

«Пусть он убьет меня, лишь бы он властвовал»,— подумала она.

Эта мысль уже раз возникла у нее: в день вступления Нерона на престол.

Но когда император начал глумиться над ней, она строго прикрикнула на него: — Нерон! — Назвав его просто по имени, как прежде, в дни его детства; при этом она сдвинула густые брови.

Патрули обходили город. Они среди ночи, при свете факелов, врывались в дома, но нигде не находили виновных: все задержанные доказали свою непричастность к заговору. Следы были заметны. Чувствовалась опытная рука Агриппины.

После тщетных розысков было решено привлечь к ответу префекта преторианцев. Бурру предъявили обвинение в том, что он был осведомлен о заговоре. Его допросили в присутствии императора. Старый ветеран отвечал резко, с сознанием собственного достоинства. Кровь ударила ему в лицо. Под седыми волосами лоб побагровел.

С пылавшим от гнева взором покинул он дворец и сел на коня.

Любимый конь уносил его из города, который он спешил покинуть. Его охватила тупая печаль. Он смотрел на мелькавшие перед ним ландшафты. Природа словно утешала его своим ласковым спокойствием. Земля, кусты и деревья — не были ли они милыми, простодушными друзьями война? Чем больше он отдалялся от людей, тем эти немые товарищи становились ему роднее. Он знал, что земля может служить валом, что куст — прикрыттие, а дерево — заграждение. Человека же не разгадать!

Он начал свою службу при Калигуле и был его приверженцем; он участвовал во многих боях и чуть ли не лег на поле битвы. Он не жалел своей крови, не цеплялся за жизнь. Но в мирных условиях воин может споткнуться и о камешек. Его героизм не находит себе применения; он запутывается в клубке противоречивых интересов, не разбирается в расставленных ловушках и становится орудием, которым всякий хочет управлять.

Бурр растерянно взирал на окружавший его водоворот. И он был взят под подозрение! Он жалел младшее поколение, обреченное на бесконечные страдания, и радовался, что сам он стар и стоит на краю могилы. Честному человеку здесь больше нечего делать.

Бурр направился в лагерь, расположенный под стенами Рима. Он опустил узды. Седок и конь так часто совершали этот путь, что умное животное уже само знало каждый поворот.

Какой-то воин, сидя на земле, жевал овсяный хлеб. Центурионы оглашали приказ. Мулы перевозили стенобитные орудия.

Картина родного ему быта растрогала сурового Бурра. Он глубоко втянул запах лагеря, грубый и бодрящий. Он повернулся туда, где развевалось синее знамя: к палаткам всадников, готовившихся к ночному отдыху. Он слышал ржание и топот копыт. Конюхи чистили и кормили горячих боевых коней. Бурр сел. Мимо него шли седые, хмурые легионеры, вояки былых времен; он всех их знал по имени. Проходили и незнакомые ему молодые легионеры, возвращавшиеся с военных упражнений; они носили широкие мечи и копья.

Все они были юноши; такого же возраста, как Бурр, когда он поступил в войско. Они представляли собой лишь одну из смен вечного и вечно-обновлявшегося воинства бессмертной нации.

Шлемы их бросали тень на бодрые, свежие лица. Под панцирями вздымались здоровые, могучие груди.

Бурр обнял долгим прощальным взглядом вечное войско вечного города. Он был опьянен величием мировой империи, простиравшейся от Британии до Мэзии, от Галлии до Дакии и от Испании до Ахайи.

Но сердце его сжалось от предчувствия, что и это погибнет; и взор его, еще никогда ни перед чем не смягчавшийся, заволокся слезами.

Временами вспыхивали огни. Раздавались трубные сигналы, после которых воины подходили к походным кухням. Насытившись, они ложились.

Лагерь постепенно уснул. Только Бурр бодрствовал и передумывал старые думы. В минувшие годы он не раз привозил сюда Нерона, чтобы приохотить его к военному делу. Но старания его оказались тщетными. Император был невосприимчивым учеником, предпочитал игру, и не обращал внимания на наставления Бурра. Они жили каждый своей жизнью.

Громовой раскат с затаенным зловещим ропотом пронесся с севера на запад. Это показалось Бурру дурным предзнаменованием. Он верил в богов; он был отпрыском старинного военного рода; еще прадед его пролил свою кровь на поле брани. Среди неверующего поколения, Бурр сохранил в себе чистоту веры, которой придерживались его предки. Небесное знамение потрясло его, исторгло у него тяжелый вздох и омрачило его чело.

Он вошел в свою палатку и написал императору прощальное послание, в котором просто и решительно просил отставки.

Гроза не унималась. Проносились сокрушительные вихри, но дождь никак не мог излиться и воздух не освежался. Небо непрестанно и гневно гремело. Лишь далеко на горизонте вздрагивали бесшумные, бледные молнии...

Нерон беседовал с Поппеей в опочивальне. Она больше не покидала дворца.

Страх, овладевший обоими после открытия заговора, удручал их. Они тяжело дышали в эту душную ночь.

Порывы ветра поднимали в саду столбы пыли, гнали и рассеивали их. Дворец словно насутился.

Нерон и Поппея, полуобнаженные, опустились рядом на ложе; долго они не проронили ни слова.

— Ты спишь? — спросил, наконец, Нерон.

— Нет.

— Почему?

— Так. — И она вздохнула.

Они метались на ложе, тщетно призывая покой. Подушки под головой словно горели.

Они не могли ни уснуть, ни забыться в поцелуях; они лежали простертые, с широко раскрытыми, устремленными в темноту глазами, немые и онемелые, как мертвецы. Что-то страшное обступало их.

— Охраняют ли нас? — спросила Поппея.

— К каждой двери приставлено трое стражников.

Поппея присела на ложе.

— Никто нас не подслушивает?

— Никто.

— Мне хочется говорить. Когда я слышу собственный голос, мне легче.

Нерон сел на край постели. Поппея осталась на своем месте.

В темном зале белело лишь ее тело — смутно, как луна сквозь облака.

— Это никогда не окончится, — простионала она.

Нерон молчал.

— Все напрасно, — продолжала она, — мы здесь погибнем.

— Если бы мне хоть кто-нибудь дал совет, — проговорил Нерон, — я послушался бы его! Иначе — жизнь невтерпеж.

— И все-таки ты терпишь.

Нерон призадумался.

— Не отречься ли мне от престола? Это спасло бы меня. Я мог бы отправиться в Родос... петь...

— А я? — перебила Поппея.

— Ты поехала бы со мной...

— Нет! И мне пришлось бы отречься: отречься от тебя. Она этого хочет. Более того: она посягает на мою жизнь.

— Посмотри, — промолвила Поппея, указывая на дворец Антония, — она тоже бодрствует, тоже не может сомкнуть глаз!

Нерон глянул в окно. Сквозь густую пыль из дворца Антония пробивалась полоса света.

— О чем моя мать сейчас думает?

— О тебе и обо мне. Пришел наш черед. Прежде всего — твой.

— Мой?  
— Да! Она тебя перехитрит. У нее достаточный опыт. Она имела трех мужей. Первым был твой отец Домиций.  
— Мой отец...— повторил Нерон.  
— Вторым — был богатый патриций. Всякому известно, что она отравила его из-за его огромного состояния. А Клавдий попросил пить...  
— Это я сам видел! — воскликнул Нерон.  
— И ты еще колеблешься! — громко крикнула Поппея. — Чего ты ждешь?

Нерон бросился на ложе.  
— Она начало, мать! — сказал он. — Благодаря ей — я на земле. И благодаря ей — я здесь, в этой непроглядной тьме!

Поппея упала на ложе рядом с императором. Волосы ее распустились. Она неслышно заплакала и больше не шевельнулась.

— Что с тобой? — взмолился он, — отчего ты не отвечаешь? Или ты не слышишь?

Глаза Нерона привыкли к темноте и он различал неверный свет, излучаемый наготой Поппеи. Она лежала равнодушная и безжизненная. Спазмы волнами пробегали по ее телу. Затем оно застыло, окаменело. Широко раскрытые глаза перекосились.

— Куда ты уставилась? Она помешалась! — вскрикнул Нерон.

Он попытался успокоить ее и согреть поцелуями ее губы; но они застыли и леденили его собственное дыхание.

Время томительно тянулось.

— Бедная! — простонал он. — Какие мы оба несчастные!..

Поппея глубоко вздохнула и очнулась. Ее левая щека словно одеревенела. Нерон смотрел на нее. Такой же несчастный, как и она, он читал на ее лице родное ему горе.

Он оглянулся на прошлое, и перед ним всплыло воспоминание...

— Однажды, — прошептал он, — и со мной это случилось. Я был простерт на постели и не мог спать; совсем

как теперь. Мне казалось, что ночь длится без конца  
Я ждал утра...

Поппея прислушалась.

— Утром я лежал бы все так же — но...

— Но? — переспросила она.

— Наступил день... Торжественная трапеза... Британ-  
ник...

Они вновь умолкли.

— И тебе тогда стало легче, не правда ли? — убеж-  
денно произнесла Поппея.

Нерон несколько мгновений промолчал.— Не знаю!

— На тебя тогда снизошел покой,— подсказала она.

— Да... Я обрел спокойствие и мир.

Они повернулись лицом друг к другу, взоры их сли-  
лись; губы соприкасались; они словно налету ловили их  
движения и предугадывали слова. В выражении их черт  
появилось какое-то сходство; в них была та же мука и  
та же тревога. На устах Нерона Поппея прочла нерешительное «по»... Она закрыла их поцелуем и передала Не-  
рону свою горячку. Безмолвные, оба чувствовали, что  
думают об одном и том же.

— Да? — умоляюще, едва внятно спросила Поппея.

— Да! — глухим, подавленным голосом ответил Не-  
рон.

За окном все еще кружил ураган. Он вцеплялся  
в оливковые деревья и переворачивал их листья светлой  
стороной вверх. Деревья стали походить на огромных  
женщин в белых туниках.

Но дождь никак не мог пролиться.

## XXV. «ПРЕДАННЕЙШАЯ МАТЬ»

Нерон и Поппея испробовали все возможное. импе-  
ратор не одобрял яда: он знал, что от него на трупе вы-  
ступают пятна и что он, таким образом, наводит на след...

Поппея посоветовала Нерону для вида помириться  
с матерью, и он последовал ее совету. Он направил все  
свои усилия на восстановление добрых отношений с Аг-  
риппиной. Он хотел завоевать ее прежнее доверие и в со-  
вершенстве разыгрывал свою роль. Он вернул матери

ее телохранителей, при встрече целовал у нее руку, оказывая ей всяческое почтение и внимание.

Аницет, командуемый Мизенумским флотом, велел построить галеру и тайно наполнил ее свинцом, дабы ее корпус, не выдержав тяжести, дал трещину в открытом море. Он рассчитывал, что при кораблекрушении Агриппина погибнет. Но старая императрица была настороже, и ее не удалось заманить на галеру.

Император, Поппея и Аницет, ненавидевшие Агриппину, приходили в отчаяние. По наущению Поппеи свод в опочивальне старой императрицы был пробит. Но попытка вызвать обвал и таким образом убить Агриппину тоже не удалась и только ухудшила положение покушавшихся.

Тогда Аницет принял иное решение.

Около полуночи он ворвался с двумя моряками в загородную виллу, где императрица-мать лежала больная. Все трое вломились в двери и вторглись во внутренние покои. Впереди шли крепкие моряки Олоарций и Геркулес. За ними следовал Аницет.

Моряки были вооружены лишь веслами, но Аницет держал обнаженный меч. В опочивальне было темно. Лишь слабое пламя ночного светильника тускло мерцало.

Маленькая рабыня, спавшая около ложа Агриппины, вскочила и с воплем выбежала.

— Спасайся! — презрительно бросила ей вдогонку императрица.

Она осталась одна, предвидя все, что должно было последовать. Она не вымолвила ни слова, не пыталась даже просить пощады, только подняла оборонительным движением руку над головой. Убийцы на мгновение застыли. Императрица слыла колдуньей, знавшей сверхъестественные чары.

— Что вам надо? — спросила она моряков.

Олоарций подскочил к ней и со всего размаха ударил ее веслом по голове; сознание ее помутнело, но у нее еще хватило силы подняться с ложа. Она посмотрела Аницету прямо в глаза, и меч дрогнул в его руке.

— Пронзи меня! — воскликнула она во весь голос, отстранив одежды, — вот здесь, где я носила Нерона...

Аницет заколол ее одним ударом...

Император не надеялся на удачный исход нападения и в этот вечер выступал в театре. Он играл Ореста, убившего мать, и, хотя почти не подготовился к своей роли, провел ее увлекательно и страстно и вызвал искренние рукоплескания.

Затем он и Пoppея стали ждать вестей в пригородной вилле.

Ожидание становилось с каждой минутой томительнее.

Нерон распорядился, чтобы ни одна женщина не была допущена в виллу: он боялся, что Агриппина лично явится. Затем ему пришлось в голову, что она может переодеться мужчиной или даже проникнуть к нему под видом Аницета.

— Тогда я ее проткну этим мечом, — заявил Нерон, размахивая в воздухе своим оружием.

Он принял оборонительную позу, стал отбивать невидимого врага и оглядел помещение, ища лазейки на случай, если бы его мать пришла в сопровождении вооруженных воинов.

Пoppея подошла к окну и стала прислушиваться. Снаружи не долетало ни звука.

Ночь была тиха. В небе сияли крупные звезды.

Аницет прискакал верхом, один, без провожатых. При входе его остановили и опросили; лишь по проверке его личности его впустили.

Не зная, кто войдет, Нерон в испуге схватил и надел маску, чтобы не быть опознанным.

— Свершилось? — спросила Пoppея.

Аницет утвердительно кивнул головой. Его томила жажда: он попросил вина и разом осушил целый кувшин.

— Она умерла? — настойчиво продолжала свой опрос Пoppея.

Аницет сделал снова утвердительное движение.

— Неправда! — крикнул Нерон из-под маски. — Она не умерла! Вы ее не знаете! Она умеет притворяться спя-



щей и мертвой; опускает длинные ресницы, закрывает глаза, бледнеет и лежит бездыханная. Я часто сам это видел. Затем она вдруг разражается ужасным хохотом. Она и в воде не тонет! Однажды она часами ползала по морскому дну, обходилась без воздуха и вышла невредимой. Даже море не могло справиться с ней. Покажи мне твой меч!

На мече Аницета не осталось следов крови.

— Она жива! — закричал Нерон, — жива и идет сюда. Быть может — уже здесь!

— Вилла охраняется легионерами, — заявил Аницет, — они наблюдают также за всеми окрестностями; их больше, чем колосьев в поле!

— Но кто сторожит ее?

— Олоарций и Геркулес.

— Только двое? Она их одолеет!

— Она упала мертвая, — повторил Аницет, — я пронзил ее насквозь!

— Неправда! Я хочу сам увидеть!

— Ты? — спросили одновременно Аницет и Поппея.

— Да. Я хочу на нее посмотреть! Сейчас же!

Нерон вздрогнул и улыбнулся страшной улыбкой.

Поппея легла в постель и впервые после долгой бессонницы безмятежно уснула.

Нерон отправился с Аницетом в путь. Они мчались в колеснице сквозь темную ночь. Вилла была действительно оцеплена воинами; Нерон вошел.

Агриппину тем временем перенесли на ложе. У ее изголовья, нарушая мертвую тишину, потрескивали горящие факелы.

Безмолвие смутило Нерона.

— Мать! — пролепетал он, — бедная мать! — и опустился перед ее ложем на колени.

Усопшая казалась огромной как гора и по-прежнему могучей, словно она и теперь надо всем властвовала...

— Какая она красивая... — проговорил Нерон, — я этого раньше не замечал!

Он приподнял ее остывшую руку.

— Какие тонкие пальцы! Кожа свежа и юна. Плечо могуче! Но оно разбито ударом весла. Как жаль ее! Гла-

за гневны! — и он взглянул в ее остановившиеся зрачки; затем обернулся к Аницету:

— Почему ты молчишь?

— Что мне сказать?

— Ты не постигаешь огромности происшедшего. Трагедия Атридов — ничто по сравнению с тем, что здесь свершилось!

Нерон поднялся и выпрямился. Он вдруг устремил на покойную холодный, пронизывающий взгляд.

— Будем петь над ней! — и он запел.

— О мать и отец! Агриппина Клитемнестра и Домиций — Агамемнон! Что может принести вам в жертву сын ваш, необузданный артист и мятущийся поэт, осиротевший Орест? Он может посвятить вам лишь песнь и слезы; и бесконечность страданий. Мать подарила сыну жизнь. Сын подарил матери смерть. Долг погашен.

Он хотел выйти, но отпрянул назад.

— А! и они здесь! — воскликнул он, ошеломленный. — Все как в трагедии! буква в букву! У дверей — беззубые фурии с старческими устами, с ядовитыми змеями в окровавленных кудрях! Но вместо жалобных завываний — они хохочут. Я запрещаю вам смеяться! Выпустите меня, волчицы! — И он хрипло завопил: — Трагедия!

На дворе, в честь удавлявшегося императора загремели трубы.

— Замолчите! — дико крикнул он.

Когда он вернулся в пригородную виллу, где осталась Пoppея, было непроглядно темно. Он вошел один и остановился в середине комнаты; за окном ему все еще слышались звуки труб.

— Зачем они трубят? — жалобно спросил он самого себя; затем смиренно взмолился:

— Не трубите!

Он хотел пробраться во внутренние покои к Пoppее, но заблудился, споткнулся в одной из зал и упал. Он хотел встать; остался лежать; сорвал маску с лица; оно вдруг показалось ему голым и жутким, и он начал впотьмах ощупывать его...

В полусвете зарождавшегося дня на него наткнулась Пoppея. Он сидел на корточках, свесив голову и глядя

прямо перед собой. Рядом с ним лежала маска. Он судорожно обшаривал пол; руки его повторяли все те же однообразные движения.

— Что ты тут делаешь? — испугалась Пoppея.

Император хотел ответить, но язык не слушался его; он не мог издать ни единого звука. Он искал чего-то, что должно было помочь ему вспомнить давно забытое. Его рука стала опять скользить по полу, словно он выводил какие-то таинственные знаки.

## XXVI. УРОК «ПОЛИТИКИ»

Нерон прежде не придавал значения сновидениям; теперь же ему стали являться сны, поглощавшие его внимание и наяву.

Образ матери ни разу не посетил его. Ему снились мелкие происшествия, истинный смысл которых был доступен лишь ему одному.

Однажды он видел во сне, как статуя перед театром Помпея сошла с пьедестала и стала медленно, зловеще-медленно передвигаться, причем пот выступил на ее бронзовом лбу. Другое сновидение касалось его самого. Он видел себя блуждающим по темному коридору, из которого никак не мог найти выхода.

Он приписал эти явления влиянию местности: море продолжало напоминать ему о матери. Он решил покинуть пригородную виллу и вернулся с Пoppеей в Рим.

Но и там вместо того чтобы призвать друзей и отдаться развлечениям, он целыми днями неподвижно сидел на одном и том же месте, со зловещим спокойствием душевнобольного.

— Мать моя! — тихо говорил он сам себе, — да, я велел убить родную мать!

Он отчеканивал эти слова, упиваясь жутью собственного признания.

Нерон с юных лет любил мучить себя жестокими, унижительными упреками, но никогда еще самобичевание не давало ему такого наслаждения, как теперь.

Сенска при виде императора испугался. Хотя и вооруженный мудростью, он не мог быть по отношению

к Нерону хладнокровным наблюдателем; он видел в нем своего воспитанника, свое духовное чадо, которому он открыл многие пути, и прежде всего путь поэта.

— Мне непрерывно являются сны,— пробормотал Нерон,— о, если бы их не было! Если бы можно было, закрыв глаза, перестать видеть! Однако я могу сомкнуть лишь телесные очи, но не те, перед которыми встают сновидения!

Сенека невольно отвел взор, чтобы не видеть Нерона в таком состоянии.

Он хотел оградить себя от влияния его слов и его изменившегося лица. Он знал, что в противном случае он посмотрел бы на императора его же растерянным взглядом, ибо живущий в философе поэт откликнулся бы эхом на речи Нерона.

Сенека весь ушел в себя.

— Разберемся в фактах,— промолвил он, принимая равнодушный вид.

— Я убил мать! — простонал Нерон, не обращая внимания на слова учителя.

Убийство матери почиталось в Риме тягчайшим преступлением. Оно каралось суровым законом Помпея, все еще остававшимся в силе. Убийцу зашивали в кожаный мешок вместе с собакой, петухом, ядовитой змеей и обезьяной, и бросали в море. Нерон однажды сам видел такого осужденного. Его в коричневой тоге повели на морской берег. На шею ему навесили бубенцы, а на ноги надели сандалии с деревянными подошвами, дабы он не осквернял матери-земли. Ликторы били розгами его нагое тело. Этот образ теперь неотступно преследовал императора.

— Оставим это и обсудим все хладнокровно,— предложил Сенека с успокоительным жестом. Он хотел положить конец страданиям Нерона.

— Я велел убить мать!

— Она была врагом государства,— твердо сказал Сенека.— Впрочем, не ты приказал ее уничтожить. Это было вызвано ею же самой. Она чужой рукой совершила самоубийство. Все дурное несет в себе начало саморазрушения. Тебе не стоит больше об этом горевать!

— Я не понимаю тебя.

— Никто не может отрицать,— продолжал учитель,— что она восстанавливала против тебя сенат, поощряла недовольных, окружала себя ими, и хотела насильственно присвоить себе власть, по праву лишь тебе принадлежащую. Таковы факты, из коих каждый в отдельности неопровержим.

— И все-таки,— пролепетал Нерон,— это убийство.

— Убийство? — повторил Сенека, подняв брови.— Назови это вернее осуществлением государственного блага, и тогда вместо того, чтобы терзаться — ты улыбнешься. Нельзя пугаться слов. Пустые слова все страшны, как полые, мертвые черепа. Им недостает жизни, горячей крови, биения живого сердца, которое бы их осмыслило. Подумай, что случилось бы, если бы это не свершилось? Императрица продолжала бы мутить, войско бы разложилось, возгорелось бы междоусобие, воины и горожане резали бы друг друга. Разве так было бы лучше? Признай откровенно: неужели ты чувствовал бы себя более невинным, если бы вместо одной жизни — погибли тысячи, если бы Палатин и Капитолий превратились в горы трупов?

Нерон призадумался.

— Рассказывают,— робко проговорил он,— что после этого убийства женщина родила змею и где-то выпал кровавый дождь.

— Детские сказки,— категорически заявил Сенека, изучавший естествоведение,— человек не может родить змею и небо не может изрыгать кровь! Верь только действительности, которую ты перед собой видишь. Она страшна, но все же положительнее слепых иллюзий.

Философ склонился к Нерону и, почти касаясь его уха, прошептал:

— Не кажется ли тебе знаменательным, что с тех пор, как существует мир, ни один человек не отверг безоговорочно права убивать?

— Как ужасно! — проговорил Нерон, смущенный этой неумолимой логикой.

— Нет, не ужасно,— возразил Сенека,— а только человечно. Быть может, все человеческое — страшно. В ис-

тории не существует жестокости. Слабые, боявшиеся действий и не смирявшие своих противников — всегда приносили больший вред, нежели те, которые вовремя сознавали свою цель и решительно, как лекари, прибегали к кровопусканию.

— Наиболее преступны — мечтатели, глашатаи милосердия и мягкотелой доброты; они строят свое здание на облаках. Они верят в то, что в воображении быть может прекрасно, но претворенное в действительность приводит к разрушению. Камень не станет легче оттого, что я назову его пухом, и человек не сделается лучше, если я буду именовать его богом.

— Это верно, — сказал Нерон.

— Пока, — со вздохом продолжал Сенека, — мы действительно уничтожаем друг друга. Сильный поглощает слабого, как крупная рыба проглатывает мелкую. Искусный гладиатор прокалывает менее ловкого; хороший поэт заставляет умолкнуть посредственного. Нет пощады! Так будет еще в течение тысячелетий, быть может — вечно...

— Где же истина? — жадно спросил Нерон.

— Увы! ее не существует. Или, вернее, истин столько же, сколько людей. У каждого своя вера, которая противоречит убеждению другого. И из всех этих «истин» строится блестящая, холодная, мудрая, твердая ложь, называемая людьми правдой. Созидать ее — твой долг.

— Пойми меня: мы, философы, не знаем еще с уверенностью, где добро и где зло. Мы распространяемся в своих произведениях о добродетели, поучаем читателя и внушаем ему кротость, но сами — сомневаемся.

— Мы ищем человека, действующего решительно, не задумываясь; мужественного борца, отважно берущего на себя те кровопролитные деяния, без которых все мы истребили бы друг друга. Твори не обходимое зло, и ты будешь величайшим благодетелем человечества. Ты станешь свободным. Для тебя не будет законов. Ты сам — будешь законом.

Так искушал императора его опасный советчик.

— Не отступай перед ничтожными сомнениями, — продолжал он. — А главное не смешивай искусства с политикой, в которой беспристрастие равно бесчестности.

— Голодный, воспевающий луну, годится в поэты, но не пригоден, как политик.

— Слушайся лишь своих собственных интересов и своей воли; считай правильным то, что ты желаешь; это — единственно верный путь властелина...

Сенека увлекся своим собственным пылом. Он провёл рукой по горячему лбу.

— Император! — воскликнул он, — не раздумывай больше! Я тебя не узнаю! То, что я тебе сказал — инстинктивно чувствовал каждый политик со дня сотворения мира. Всмотрись в изображения царей или в статуи государственных деятелей на Форуме.

— Их впалые лица с резкими складками и лбы с печатью неугасающих дум увековечены в их мраморных или бронзовых двойниках. О чем они говорят? О том, что эти герои были сильны и свободны. Они знали низость, алчность, подкупность и дряблость людей и все же лепили из человеческого материала бессмертное и божественное... Поэты видят небеса. Другие же должны знать и землю, со всей ее грязью...

Сенека был в своей стихии, блистал своим прославленным красноречием.

Когда-то наставлявший Нерона в поэзии, он теперь толкал его к действию, хотел пристрастить его к тому, от чего раньше старался его отвлечь. Он бережно вел его, чувствуя, что избрал правильный путь. Нужно лишь использовать еще последний довод.

— Я изумляюсь твоей тревоге, — продолжал философ, — каждый человек — убийца. Вчера я шел пешком через Яникулум. Случайно, оттого, что я уже окончил свою работу, я не был задумчив и ощущал в голове приятную пустоту. Я беззаботно оглядывался по сторонам. Вдруг я заметил, что издали несется во весь опор колесница, а посреди дороги плетется старушонка, которая ее не видит и не слышит. Я успел крикнуть, и она отскочила в сторону. Таким образом, я спас ей жизнь. Если бы я случайно не закончил как раз перед тем своей эписотлы о доброте и кротости — я, несомненно, был бы ею поглощен, ничего вокруг себя не замечал бы, и старушка попала бы под колесницу.

— Но разве я стал бы из-за этого убийцей? Все мы опутаны подобной же сетью. От каждого нашего движения зависят жизнь и смерть других, а иногда — и судьба народов. Севшая на нос муха может вызвать войну; несвоевременно потребованный стакан воды иногда служит причиной бедствия.

— Мы не должны слишком дорожить человеческой жизнью. Для правителя в особенности эти истины непреложны. Ты должен попрасть свою совесть! Настоящий властитель не знает, что такое раскаяние. Не бойся собственного страха! Только он тебя теперь удручает. Юлий Цезарь убил больше невинных, нежели все грабители, ныне гноящиеся в тюрьмах. Но это не мешало ему в своей палатке спокойно диктовать писцу «Записки о Галльской войне». После кровавейших боев он безмятежно спал.

— Тот же Юлий Цезарь, чья статуя, увенчанная лавровым венком, производит на нас столь величественное впечатление, умел также ползать и подлаживаться.

— Он умел льстить, лукавить и при надобности молчать. Он возмутился против сената и принял участие в заговоре Катилины, но в последний момент предательски бросил своих единомышленников. Цицерон выступил в его защиту и едва вырвал его из когтей правосудия. Если бы его осудили, он был бы лишь одной из безымянных жертв в списке казненных.

— Он был двуличен и во всех своих последующих поступках. В изгнании он понял, что такое власть и как добиться ее.

— Он называл себя аристократом и чуть ли не правнуком Венеры и в то же время соединился с плебеями, чтобы достичь могущества. Он не верил в богов, но сам подготовил свое избрание в верховные жрецы. Он покорил Британию и насильственно добытым золотом купил себе души римлян.

Только мелкие поступки могут быть злодеяниями. Крупные — никогда. Юлий Цезарь совершал ряд суровых деяний, но я затрудняюсь сказать, хороши ли они или дурны. Я только знаю, что они были титанического размаха, что он соединял воедино человеческие противоре-



чия, подчинял их своим намерениям, и на них, как на незыблемых скалах, строил свое «я». Так выросла личность, которую мы ныне более не критикуем. Юлия Цезаря нельзя было обуздать, хотя многие к этому стремились. Он обладал необоримой силой, ибо знал, чего хочет, и знал, что мораль и закон этого мира — он, что его деяния не подходят под общее мерило.

— Я говорю тебе сейчас вещи, которых я не решался написать. Но в них — опыт долгой жизни. Я передаю тебе его — воспользуйся им! Имей собственное суждение! Мудрость укажет тебе во всем меру. Будь и ты Цезарем!

Сенека взял руку Нерона, и император поднялся. Мудрецу казалось, что он поставил его на ноги.

— Нет выбора, — настаивал он. — Нужно жить или умереть. Если ты не хочешь смерти — живи. Добрым слывет только тот, кто покинул мир. Меньшим — не удовлетворишь людей.

К Нерону вернулось бодрое настроение. Мысль его прояснилась. Он утешился и ожил.

Сенека обнял своего питомца; он был доволен, хотя и сознавал, что Нерон не создан ни для поэзии, ни для политики, ибо император был в искусстве — рассудочен, как государственный деятель, а в политике — чувствителен, как артист.

«Плохой художник и плохой борец», — подумал Сенека. Впрочем, ему достаточно было и достигнутого успеха.

Император бодрыми шагами вышел из зала. Но вдали от учителя ему снова слышались трубные звуки...

## XXVII. В О З Н И Ц А

— Теперь я могу на тебе жениться, — сказал Нерон Поппее. Он не испытывал радости; его чувство было приглушено.

Они находились в тронном зале. Поппея с тусклым безразличием взглянула на императора.

— Ты будешь императрицей, — раздраженно повторил он.

Он думал о том, как непреодолимо его влекло к ней после первой их встречи и каким обыденным казалось

теперь достигнутое. Поппея же вспомнила свою упорную борьбу, которая отныне должна кончиться.

Осуществление долгожданного не доставило им особого удовлетворения. Они себе представляли это совсем иначе.

Поппея вступила на престол. Она была тонкой, воздушной императрицей, похожей на артистку. В ее улыбке было очарование цветка; она являлась неожиданным контрастом там, где раньше восседали лишь высоколбые, суровые женщины, напоминавшие своих предков, диких и мужественных властителей. Поппея же была настоящей женщиной. Однако ее хрупкость не исключала величественности, и у нее была более благородная осанка, чем у всех ее предшественниц. Она умела повелевать едва заметным движением головы; но оставалась на троне живым существом, и это только увеличивало ее обаяние.

Она больше не заботилась, как прежде, о своей наружности. Свежесть была ей ненужна, ибо на вершине власти более принят скучающий и томный вид. К тому же достигнутый успех — лучшая косметика. Он великолепно сохранял ее тело. Она много спала, жила спокойно, была снисходительна и со всеми любезна. Ее полюбили за женственность, которая вносит гармонию всегда и всюду, даже в хаос.

Она устала от борьбы и не переоценивала того, что обрела. Прежние ожидания и стремления превышали достигнутое. Через короткое время она уже перестала чувствовать свое могущество, словно всегда была императрицей.

Нерон находил ее прелестной. Она смягчала и освещала мрачность римского престола. Он часто бывал с ней вместе. Но они не знали, о чем беседовать. О прошлом они не упоминали ни одним словом; будущее — больше не манило их.

Говорил почти исключительно Нерон; Поппея была ему теперь нужней, чем когда-либо. Но она рассеянно его слушала...

Он хотел бы делиться с ней своими переживаниями, но только раз решился на это: рассказал ей взволновавший его сон, и, ища у нее поддержки, спросил о его зна-

ченин. На это Пoppея лишь ответила, что ему не подобает заниматься такими глупостями.

Его старые друзья, радостные спутники юности, рассеялись по миру или были поглощены собой. Отон управлял Лузитанией. Зодик и Фанний занимались преподаванием. Сенека попал в крупную неприятность: его враги возбудили против него судебное дело, обвиняя его в ростовщичестве.

Император безучастно смотрел, как его учителя забрасывают грязью. Впрочем, Сенека все равно не мог бы посещать его, до такой степени он состарился и ослабел. Ему приходилось часами лежать, и он совсем удалился от жизни.

Мир казался тоскливым внутри, как и снаружи. Нерон попытался внести в него некоторые изменения. Он снова принялся за свои юношеские затеи. По его приказанию его садовники пытались, соединяя розу с фиалкой, взрастить новый цветок, который обладал бы видом розы и запахом фиалки. Затем император стал скрещивать орла с голубем. Белый и розовый мрамор ему надоел. Ему понравилось сочетание синего с желтым, и он велел выложить мрамором этих тонов дворцовые залы. Однако мир продолжал казаться ему скучным.

Театр постепенно опустился. Игра шла вяло, и публике трудно было заманить на представление. Толпа стремилась на воздух. Она наводняла цирк, где под открытым небом происходили увлекательные гонки колесниц и проливалась кровь гладиаторов. Зрители разделялись на непримиримые лагеря.

Теперь артисты были вновь в загоне. Их место заняли суровые возницы, герои состязаний на колесницах и баловни толпы. Они, как и их здоровые кони, были гораздо ближе народу, чем какой-нибудь трагический поэт.

Нерон стал тоже возницей. Хотя тело его было изнежено и он не был приучен к военным упражнениям — однако тренировка, предпринятая для участия в гонках на колесницах, оказалась не безуспешной. Начал он с парной упряжи, но на Пифийских играх выступил уже с четверкой, а на состязании в Истме в его колесницу было впряжено шесть коней.

Общество его состояло теперь из возниц. Они ругались и швыряли деньгами, которые распорядитель игр распределял между ними целыми мешками.

Новое упражнение укрепило Нерона. На лице его появился загар и выступили крупные веснушки. Он стал похож на своих приятелей: выглядел здоровенным, коренастым возницей, и говорил лишь о лошадях и призах. Чувствовал он себя хорошо только в колеснице, опьяненный воздухом, который он стремительно прорезал, одержимый бредом бешеного бега.

Такое опьянение вошло у него в потребность. Он не выносил больше темных зал дворца, их тишина удручала его, и его тянуло под открытое небо.

Единственной его радостью было лететь в колеснице, управляя конями, копыта которых едва касались земли. Тысячи людей восторженно следили за его пробегами; они наводняли долину между Палатином и Авентином, окружали цирк, располагались на деревьях и крышах. Это были для Нерона минуты забвения. Мир, мелькая, представлялся ему лишь в трех красках: в голубизне неба, сочной зелени трав и черноте земли. Позднее он замечал еще огромное человеческое пятно: лица зрителей, слившиеся в единый облик сфинкса — в лик толпы. В этом гигантском лице были провалы: разверзнутые рты, которые издавали поощрительный или угрожающий рев, подстрекавший его к победе...

Колесница скрывала до пояса фигуру Нерона. Он был обмотан вожжами и носил при себе короткий, острый нож, чтобы перерезать их в случае опасности. Он подстерегал взором мгновение, когда ворота распахнутся и будет брошен белый платок — сигнал к началу.

Император прерывисто дышал. В этот день рядом с ним стояла колесница, запряженная парой коней, а несколько поодаль — четверка. С ними он должен был состязаться. Он неприветливо оглядывал их возниц. Его коней было трудно сдерживать. Они чутко наострили уши и нетерпеливо вращали глазами, показывая белки.

Колесница тронулась. Нерон несся так же бессознательно, как встревоженная им пыль. Его обдавали вихри песка и в ушах шумело. Толпа гудела и в диком увлече-

нии вскакивала на скамьи. Перед ней всплыл силуэт возницы, мчавшегося впереди всех. Он был в короткой зеленой тоге с отвернутыми рукавами. Это был герой «зеленой партии» — император. Уже обрисовалась его мясистая рука, стягивавшая вожжи; уже виднелся гневный лоб, отражавший решимость. Позади него неслись возницы в белой и красной туниках.

Колесница мчалась стрелой. Нерон предвкушал победу. Он объехал низкую стену и, миновав столб, об который не один ездок размозжил себе голову — ощутил во всем теле упоительную дрожь. Перед ним простирался свободный путь. Он хотел, как молния, все глубже вреываться вдаль. Он чувствовал пульс жизни, и перед ним вставал образ его отца Домиция, увенчанного возницы, не раз стяжавшего себе в молодости приз...

Надо было совершить семь кругов. Семь дельфинов, установленных высоко над зрителями, обозначали эти круги, и каждый раз, когда колесницы вновь достигали главных ворот, один из дельфинов опускался.

Теперь все возницы сравнялись; Нерон напрягся, словно перед прыжком; он вытянул шею, так же, как его взмыленные кони, фыркавшие и кусавшие удила.

Возницы забыли, что борются с императором. В дикой ярости они стали изрыгать проклятия. Четыре бича свистели в воздухе. Толпа наседала; люди сшибали друг друга с ног. Меж деревьев и статуй — колесницы устремлялись к цели, приближаясь к критическому, смертельному повороту.

Зрители своим волнением словно погоняли колесницы. Нерон ничего перед собой не видел. Кони его вздыбились, но он рванул вожжи, и с последним, невероятным усилием достиг цели. Он победил.

— Вперед! — продолжал он кричать в иступлении, и пришел в себя лишь после того, как его освободили от вожжей. Десять горячих африканских коней, которыми он правил, еще трепетали от напряжения. Сам он едва держался на ногах.

— Что это такое? — прерывисто спросил он своего секретаря и заплетаясь добавил: — Разве та меловая черта и есть цель?

— Да,— ответил Эпафродит.

Император вытер пот со лба.

— Я мчался, сам не зная куда,— сказал он, неуверенно озираясь, словно не соображая, где он и какими судьбами здесь очутился...— Я летел, как Икар. Было боже-ственно!

Туника его пропотела. Переодеваясь, он обнажил свое расплывшееся, дряблкое тело.

Он сел в носилки вместе с Эпафродитом. Он молчал. Лицо его окаменело и посерело, глаза налились кровью. Вернувшись домой, он уединился в парке и стал перед статуей Юпитера.

— Я победил,— поведал он шепотом богу,— я завоевал себе венок. Если бы ты только видел меня! Но ты этого не желаешь, ты не смотришь на меня, надменный! Или ты разгневан тем, что я выше тебя?

Нерон выпрямился и с сознанием своего всемогущества взглянул на высочайшего бога. Он хотел бы метать грома и молнии, чтобы показать Юпитеру, что он ему равен. Он произнес про себя какое-то слово, и ему показалось, что грянул гром; он закрыл глаза, и ему причудилось, что небо исполосовано молниями.

— Видишь! — сказал он статуе.

## XXVIII. НЕВИННЫЙ

У Дорифора почти не было работы. Император не давал ему больше стихов для переписки. Вместо гекзаметров Дорифор теперь переписывал счета по устройству празднеств. Они часто возвращались обратно казначейством, так как казна была пуста.

Игры и бега поглощали все государственные средства, а доходы, притекавшие из провинций, в несколько недель пожирались голодной столицей.

Нужны были большие суммы, но их неоткуда было раздобыть. Храмы Малой Азии и Греции были уже давно разграблены войсками; налоги были взвинчены до последнего предела, вызывая стоны у богачей и бедняков.

Народ, рукоплескавший императору, теперь голодал; хлебные грузы не прибывали вовремя в гавани.

Толпами бродили безработные.

В один прекрасный день на Капитолии был поднят кровавый флаг, обозначающий войну: провинции завоновались. Первой восстала Британия, под предводительством могучей, белокурой женщины, вооруженной копьем.

Бурра не было больше в живых; он скоропостижно скончался. Септоний Павлий был разбит мятежниками, совершенно уничтожившими девятый легион. Лишь постепенно с трудом удалось восстановить порядок.

Писец сидел в канцелярии императора. Он знал обо всем происходившем, но ничто его не интересовало. Он поднял усталые глаза с рукописи и устремил их на дволец, где жила Поппея.

Чувство, запавшее однажды в его душу, пустило глубокие корни. Он был озарен смелыми, неосуществимыми мечтами. За день в его воображении успевали разыгрываться счастливые и печальные события, милые раздоры и горячие примирения, в действительности никогда не существовавшие. Ими он обогащал свою жизнь. Он все продолжал гордо ткать свою волшебную ткань, ничего не требуя от действительности.

Один только раз говорил он с Поппеей; это было тогда в парке... Он больше не искал с ней встреч, боясь потрясения, испытываемого от ее близости. Он только гулял каждый вечер на берегу того озера, по достопамятной тропе, ощущая при этом сладостный трепет; это казалось ему ужасным грехом, достойным всеобщего осуждения. Поэтому он дичился людей и был скуп на слова. Он думал, что лицо его выдает его переживания и что все о них догадываются.

На самом деле никто ничего не подозревал. Поппея его едва помнила. Однажды ее пронесли мимо него в носилках, но она его даже не заметила. В другой раз она на него взглянула, словно спрашивая себя, кто этот незнакомец. Дорифор зарделся, чувствуя себя глубоко виноватым. Он торопливо прошел мимо, притворившись, что не видит ее.

Поппея скучала. Искушенная, изведавшая все, что может дать страсть, она больше не искала любви. Но этот юноша еще мог бы ее увлечь. Если бы она открыла

отсутствие из дворца. Нерон не удостоил ее ответом и раздраженно ударил бичом по столу.

— Брось это,— настаивала Поппея.— Затея эта не для тебя.

Со скучающим видом она добавила:

— Тебя постоянно побеждают! Тебя! — отчеканила она, пренебрежительно кривя губы.— Это просто унижительно. Все над тобой смеются.

Нерон думал, что Поппея шутит и сейчас же возьмет свои слова обратно.

Но она лишь подкрепила их:

— Да! Все тебя высмеивают! — И она презрительно посмотрела на императора, сидевшего перед ней в наряде возницы и в доходившей ему до бедер обуви, подбитой железом. В руке у него был бич.

Она долго хохотала над его видом.

В отместку император перешел в наступление.

— Ты плакала?

— Нет.

— Но тебе грустно,— и он заглянул ей в лицо,— ты все думаешь о Дорифоре...

— Я? Ты заблуждаешься! Его больше нет в живых! Можешь быть спокоен.

Поппея была теперь всеильна. Она опять чувствовала рядом с собой невидимого союзника, мертвого Дорифора. Он протягивал ей на помощь руку, как когда-то мертвый поэт Британник.

Нерон метался между этими двумя призраками. Его обуял такой страх, что он перестал бывать в обществе. Во всяком человеке он усматривал шпиона, поставленного его тайным врагом. Он готов был сдаться, лишь бы его оставили в покое. Ему мерещилось, что за ним крадутся подозрительные личности. Он останавливался и с почти сладострастным содроганием ждал, чтобы они схватили его железными перстами и поволокли навстречу неизбежному. Но прохожие незлобиво брели мимо него.

Более всего он страдал от безмолвия Поппеи. Необходимо было задобрить ее. И он приказал убить Октавию.



Еще шестилетней девочкой Октавия была отдана в жены Клавдию Силанию. На двенадцатом году жизни ее выдали за Нерона. Она потеряла отца и брата, четыре года томилась в изгнании, дрожала и плакала среди чужих ей людей.

Когда ей исполнилось восемнадцать лет, ее безрадостная жизнь пресеклась на суровом острове от руки убийцы. Ее голову доставили в Рим. Поппея пожелала на нее взглянуть.

Лицо Октавии было печально. Черные кудри, как при жизни, мягко спускались на лоб. Глаза ее, от прикосновения, приоткрылись.

Поппея ответила на ее неживой взгляд долгим, исполненным ненависти взором.

Мертвая выдержала его несколько мгновений... Затем, словно утомленная борьбой, закрыла глаза.

Умерла вторично.

## XXIX ВОССТАНИЕ

На Тибре готовилась к отплытию галера, нагруженная тканями, обувью, одеждой, утварью. Она должна была отправиться в Британию. Груз ее предназначался для поддержания нуждавшегося населения этой провинции, окончательно обнищавшего после неудачной борьбы с Римом.

Не успела галера выйти в море, как к гавани подъехало парусное судно, привезшее в бочках и мехах вино из Греции. Раздался гудок. Порт проснулся; закипело движение. Грузчики стали перетаскивать тяжести. Купцы, принимавшие свои товары, прикрикивали на рабочих.

Другая галера, прибывшая из Александрии с льняными тканями и африканскими пряностями, была выгружена при свете факелов.

Чужестранцы, приехавшие с востока, высаживались на берег, смотрели на простирившийся перед ними город и пробовали объясняться с римлянами при посредстве переводчиков. Это была пестрая человеческая волна из провинций.

то, что таилось в его сердце, возможно, что она окунулась бы в его стихийную весну, сомкнула бы очи и дала бы ему руку, чтобы он покрыл ее поцелуями.

Но молодость робка.

Дорифор долго, молча таил свое чувство.

Он держал себя надменно, словно никого вокруг себя не замечал. Целыми месяцами он не встречал Поппеи; наконец — не смог более совладать с собой. Игра воображения его больше не удовлетворяла. Он, которого стыдливая любовь наполняла страхом и заставляла, дрожа, избегать встреч с ней — на сей раз, незванный, явился во дворец.

Стражники, знавшие его, свободно его пропустили.

В ближайших покоях никого не было. Растерянно и грустно побрел он дальше. Он сам не знал своих намерений.

Он остановился в зале, где он когда-то, в присутствии Нерона, говорил с Поппеей. Каждый предмет оживлял в нем воспоминания этих минувших дней. Словно в поисках чего-то, он стал переходить из одного покоя в другой. Наконец, достиг опочивальни, где Поппея обычно отдыхала.

Он на мгновение остановился; затем опустился перед ее постелью и горько зарыдал, словно у могилы своей возлюбленной. Все, что так долго накапливалось в его душе, вдруг вылилось в горячем потоке слез. Дорифор оставался на коленях без цели и без надежды.

Уже начинали спускаться тени. Смеркалось.

Вечером, войдя в опочивальню Поппеи, Нерон застал его около ложа.

Его гнев был короток, как вспышка молнии. Через мгновение два раба уже схватили юношу.

— Вот, — сказал Нерон невольникам с повелительным жестом.

Рабы дали что-то своему пленнику. Дорифор понял, поднес поданный ему яд к устам и жадно проглотил свою смерть. Он тотчас же упал у самой постели. Нерон привел Поппею.

— Кто это? — спросил он ее, улыбаясь.

— Не знаю. Какой-то юноша.

— Ты с ним незнакома?  
— Нет.  
— Вспомни.  
— Ах, да! — что-то смутно промелькнуло в ее сознании, — это писец, который переписывал твои стихи. Я, кажется, с ним однажды разговаривала... в саду...  
Она посмотрела на умершего. Взметенные кудри отеняли молодой лоб.

Поппея внезапно прозрела. Она постигла то, чего Дорифор никогда не выразил словами.

— За что? — спросила она Нерона.  
— Он самовольно сюда вошел.  
— Бедный мальчик! — и в голосе Поппеи послышалось искреннее сожаление. Она с отвращением отвернулась от Нерона. Впервые он стал ей противен. До сих пор она его только презирала.  
— Мне жаль его...

В ее словах звучала безутешность, которая передалась Нерону. Он хотел обнять Поппею, но она отстранилась и понурила голову.

Позже она много думала о Дорифоре.

Нерон чувствовал, что поступил опрометчиво и лишь нагрузил на себя лишнюю тяжесть. Случись это позже, он пощадил бы юношу.

— Впрочем, он дерзко поступил, — убеждал себя Нерон для собственного успокоения...

И вернулся к своим коням и колесницам.

Но успех стал изменять ему, и его постигали всякие неудачи: он плохо правил конями; однажды колесница его перевернулась; он разбил себе лоб и его освистали.

От соперничества других он отделялся весьма просто: повелительным жестом он останавливал гонки и провозглашал себя победителем.

Однажды он вернулся в мрачном настроении. Он последним подъехал к цели и судьбы состязания при всем желании не смогли поставить его на первое место.

С отчаяния и гнева он велел снести все статуи победителей, украшавшие цирк.

Поппея в этот день упрекнула его за его постоянное

— За дело, друзья,— подхватил Фанний.

Им, впрочем, не уделяли особого внимания. Радикалы относились к ним с презрением и брезгливостью.

Заговорщики стали совещаться. Настроение у них было унылое. Глава заговора, Пизон, именитый и богатый патриций, вложивший уже в свою политическую авантюру несметные суммы, наблюдал исподлобья людей, с которыми он из честолюбия связался.

Он не был приверженцем республики, но ненавидел Нерона и был готов какой бы то ни было ценой свалить его. Однако кормило выскользнуло из рук Пизона. Он теперь не мог ни двинуться вперед, ни отступить. Он сам не знал, куда его несет течение.

Стоявшие за ним аристократы были его единомышленниками. Главным поводом их недовольства являлось ограничение власти сената. Они отводили душу, высказывая здесь то, чего не смели говорить открыто. Но после таких излияний — их силы и решимость сразу выдыхались.

Хозяин дома, патриций Флавий Сцевиний, был в высшей степени осмотрительный человек. Хотя он вполне соглашался с тем, что Нерона необходимо свергнуть, он был в постоянном страхе и взвешивал каждое свое слово. Он торжественно составил завещание, собираясь нанести власти открытый удар, который он, однако, бесконечно откладывал.

Незаменимыми оказались недавние друзья Нерона — Африкан, Квинктиан и Тугурин: они теперь доносили о всех новых и новых злоумышлениях императора. Все эти патриции и богачи втерлись в круг настоящих революционеров лишь для того, чтобы стать еще богаче и влиятельней.

Крайний фланг заговорщиков, состоявший из искренних защитников народа, стоял за немедленное и открытое действие и вступил в эту ночь в пререкания с сторонниками Пизона.

Революционеры обрушились и на самого Пизона за то, что тот неожиданно и нелепо провалил их план. После того как ему удалось, согласно уговору, заманить Нерона в Байю, где император посетил его без провожа-

тых — Пизон тем не менее уклонился от исполнения данной им клятвы убить тирана. Он вдруг вспомнил, что Нерон его гость, а римский патриций не может переступить закона гостеприимства.

— Время еще не подошло, — робко защищался Пизон, — на что нам опираться?

— На собственные силы, — крикнул голос с другого конца стола, где революционеры оживленно обсуждали свои планы.

Там сосредоточились главным образом низшие военачальники, рядовые воины и граждане. Вождем их являлся Люций Силаний. С ними за одно были центурион Сульпиций Аспер, народный трибун Субрий Флавий и Фоений Руф.

Из-за стола встал бледный, взволнованный юноша. Это был Лукан. Заслышав о заговоре — он примчался из ссылки. Его тонкое лицо было измождено. Вера, когда-то так ярко озарявшая его, погасла. Но зато в нем горела ненависть, вызвавшая к мести. Мечта о возмездии придавала ему силы и стала целью его разрушенной жизни. Он пылал негодованием, хотя и казался усталым.

Он закончил в ссылке большой труд: свою «Фарсалию». Начал он ее прославлением императора, а кончил превознесением Помпея; Цезарь же представлялся им убийцей, возвышавшимся над горой трупов. Поэт стал пылким республиканцем, тосковавшим об утраченной свободе.

— Солдат трудно будет поднять против правительства, — сказал Пизон. — Оно их слишком связало. Они безвыходно живут в лагере, с женами и детьми.

— А народ? — спросила женщина с энергичным голосом.

Это была вольноотпущенная Эпитария. Она была стрижена. У нее было свежее, открытое лицо и сильное тело. Она уже давно агитировала в Мизенумской гавани, рассказывала о мрачных злодеяниях Нерона и призвала моряков к бунту.

— Народ, — грустно ответил Пизон, — о нас и слышать не хочет. Он идет рукоплескать возницам, а не нам. Я обо всем хорошо осведомлен. Плотники, синильщики,

ткачи, пекари, кондитеры, мясники, лодочники и паяльщики — работают, кое-как перебиваются и боятся в случае их выступления лишиться и этой скудной поддержки для своих семей.

— Но убийца матери должен быть убит! — вскричал Лукан.

— Народ не знает, что это — дело его рук, — ответил Пизон.

— Он поджег Рим! — с негодованием воскликнул поэт.

— Это преступление тоже скрывают от народа!

— Чего мы ждем? — спросил с ненавистью Лукан.

— Более благоприятного момента, — скромно сознался Пизон.

— Мы будем ждать, пока нас всех не перебьют! — крикнул Лукан и иронически добавил: — Да здравствует императорская республика! — Дрожа от гнева, он бросал вокруг себя дикие взгляды. — Если не найдется римлянина, решающегося на это, — я собственноручно пропикну кинжалом жалкого стихотворца, — с воодушевлением заявил Лукан.

— Пришло время доказать на деле свои убеждения! — воскликнула Эпитария.

— За кого Сенека? Его следовало бы привлечь к нам! — заметил кто-то.

— Он болен! — раздалось в ответ.

— Удобная болезнь: он сидит дома и философствует, чтобы потом примкнуть к победившим..

Лукан вспылал.

— Молчите! — повелительно крикнул он. — Сенека — поэт. Никто и ничто его не касается! — и он побелел, испугавшись собственного повышенного голоса.

Ему было стыдно, что страсти бросили его из ничтожной и низкой придворной среды в эту, такую же ничтожную и низменную аристократическую компанию. Лукан был подавлен.

Оба лагеря претендовали на сочувствие Сенеки. Имя мудреца, которого все одинаково ценили — переходило из уст в уста. Весь зал перешептывался о нем, отсутст-

вовавшем и не поддерживавшем никаких сношений с заговорщиками.

Лишь Зодик и Фанний молчали. Они удобно возлежали на мягких подушках и не без интереса следили за происходившим, хотя и не уясняли себе положение вещей. Поэтому они предусмотрительно воздерживались от каких-либо возгласов поощрения или протеста. Зато, лишь только пыл улегся, они уверенно и свободно вступили на родное им поприще. Обновленные «Кассий» и «Брут» расположились подле патриция Пизона и обрисовали ему свои праведные труды; они заранее сокрушались при мысли об огромных усилиях, которые придется еще приложить для «поддержания мятежного духа». Пизон поморщился, поняв, к чему клонят эти речи, и вынул деньги.

Собравшиеся ни на чем не остановились. Никто не знал, чего достиг своим приходом.

Когда уже начали расходиться, со двора вбежала любимая хозяйская собака. Это было огромное животное, вполовину человеческого роста; оно было покрыто рыжей шерстью, цвет которой заставил Лукана улыбнуться.

— Нерон! — воскликнул он.

Окружающие были восхищены его находчивостью и стали повторять новую кличку собаки, единогласно ими принятую. Это было единственное, на чем они сошлись.

Эпитарию еще в ту же ночь схватили в предместьи, где она снимала скромную каморку.

Она не оказала сопротивления; не проронила ни слова. Молчала и в тюрьме. Солдаты били ее по лицу, кровь хлынула у нее ручьем из носа и изо рта, тело ее истерзали, но не выпытали у нее ни единого слова. Огненные, мятежные уста, так неутомимо взывавшие к морякам, как будто внезапно устали. Переступив темницу, Эпитария словно поняла, что дело народа погибло, и онемела.

Все обнаружилось: привратник, впускаявший заговорщиков, пошел к Эпафродиту, и по его доносу хозяин его, Флавий Сцевиний, был арестован. У него нашли завещание. После этого задержали всех заговорщиков. Пизон покончил самоубийством. Увильнули только Зодик и Фанний, вовремя стушевавшиеся.

На допросах избалованные в заговоре патриции бормотали имя Сенеки. И теперь оно было у всех на устах. Философ считался другом императора и, упоминая о нем, заговорщики надеялись смягчить свою участь.

Привлеченные к ответу аристократы и патриции сваливали вину один на другого и с каким-то озлоблением опутывали друг друга клеветой.

Сульпиций Аспер, при последнем издыхании, бросил в лицо Нерону свое презрение.

Многие были прикончены на месте при аресте. К Латерию ворвались в дом и, не позволив ему даже попрощаться с детьми, задушили его на глазах у семьи.

Нерон неистовствовал. Заговор, одно упоминание о котором прежде бросало его в дрожь, внезапно оживил его. Ему доставляло явное удовольствие выносить якобы обоснованные смертные приговоры. Суровые приказы сыпались один за другим.

Его мысли словно прояснились: он, наконец, знал, как ему поступать.

Тюрьмы уже были переполнены, но аресты все продолжались. Город замер от страха. Среди бела дня в домах царила полночная тишина. Люди не решались разговаривать даже в закрытых комнатах: стены и те имели уши. На улицах лишь изредка показывалась человеческая фигура. В ней можно было с одинаковой вероятностью заподозрить затравленного обывателя и страшного усмирителя; в каждом незнакомце запуганный народ видел либо доносчика, либо будущую жертву доноса; иногда они сочетались в одном лице.

Кто говорил — казался приспешником Нерона неблагонадежным; кто молчал — был им еще более подозрителен. Слово, сказанное против императора, влекло за собой верную смерть; превозносить его — было тоже опасно: это могло быть истолковано, как хитрость.

Сотни людей погибли лишь за то, что у них на чердаке были найдены пыльные статуи Брута или Кассия. Некоторые были тут же заколоты, потому что якобы наклонили голову перед их изображениями.

Императору стало легче: он посвежел от кровожадного восторга.



Он готовился к своему наслаждению, растягивал его, упивался им маленькими глотками. Он возбудил процесс против сенатора Фразея, которого втайне ненавидел за непосещение театра в дни его выступлений. После долгого добросовестного разбора дела он неожиданно приговорил к смерти злополучного сенатора, на том основании, что он напоминал ему тип строгого школьного учителя.

Всякий его импульс должен был быть тотчас же осуществлен. Когда его любимая тетка Лепида, воспитывавшая его в детстве, заболела и попросила слабительного, Нерон вместо этого послал ей смертельный яд.

Другой его тетке пришлось умереть, дабы освободить свои виллы, соблазнявшие Нерона.

Один из его наместников, осмелившийся однажды купаться в императорском бассейне — поплатился за это жизнью.

Нерону доставляло удовольствие разглядывать мертвых. Покойники лежали перед ним рядами, и он пытался разгадать сокровенный мир, затаившийся в их раскрытых глазах. Но это ему не удавалось.

Однажды, беседуя с патрициями, он обратил внимание на своеобразную седину старика — Сциллы. Подстрекаемый любопытством, он пожелал поближе посмотреть на его голову — но... без тела.

— Какой он и сейчас седой! — изумленно воскликнул император, когда ему принесли голову.

При виде отсеченной головы Рубеллия Плавта — Нерон весело улыбнулся...

— У него был всегда большой нос, но сейчас он еще комичнее!

Император не мог устоять против своих кровавых затей, прогив своего огромного, неугомонного любопытства. Он не мог остановиться.

Каждый вечер он, как когда-то, в сопровождении телохранителя выходил на улицу и останавливал первого встречного.

— Умри, кто бы ты ни был! — восклицал он и вонзал ему в сердце кинжал. Незнакомец падал на пыльную дорогу.

— Я невиновен,— хрипел он, испуская дух.  
— Тем интереснее,— отвечал император и жадно наблюдал его агонию.

### XXX. СЕНЕКА

Сенека был выпущен из тюрьмы. Его невиновность была доказана. Сами преторы убедились, что он не принимал участия в заговоре, и что заговорщики лишь злоупотребляли его именем, пользуясь его обычной нерешительной позицией. Все же нашлись свидетели, давшие неблагоприятные показания. Некоторые обвиняли его даже в посягательстве на императорский трон.

Мудрец безропотно выносил все наветы. Ничего лучшего он от людей не ожидал. Он всегда признавал власть зла и тьмы и не ополчился против нее, став ее жертвой. Будучи не в состоянии опровергнуть клевету, он молчал.

После освобождения из заключения он почувствовал, что должен идти к императору. На его душу уже сошел вечный покой, но он почитал нравственным долгом, поскольку возможно продлить свое существование. Он не приносил никаких клятв, не отстаивал своей невинности. Жизненный опыт показал ему, что правда — плохая защита против ударов тирана.

Чтобы купить себе право на дожитие своих дней — философ предложил вернуть Нерону все свое состояние, дома и предметы искусства. Ссылаясь на старость и усталость, он выражал желание окончить свою жизнь в скромной обстановке.

Но император отклонил его просьбу. Тогда Сенека вручил Нерону свою жизнь, прося убить его. Он заговорил о смерти, как о желанном освобождении. Он надеялся таким образом укротить влечение императора к кровавым деяниям, которое, как он чувствовал, уже намечало его в жертвы. Но Нерон отверг и это.

— Лучше я сам умру,— пресек он философа.

Сенека после тюремного заключения вернулся домой удрученный. Паулина ждала его в саду. Взглянув на не-

го, она расплакалась. В темнице он оброс длинной бородой; давно нечесанные и немые волосы сбившимися прядями прилипли к его коже. Одежда его была залущена. Жена поцеловала его в лоб; он был сморщен, как высохший плод.

Оба сели под деревьями за тот же столик из слоновой кости, у которого некогда расположилась Поппья, когда посетила философа перед первым выступлением Нерона.

— Не приготовить ли тебе ванну? — ласково спросила Паулина.

— Нет, не надо.

Сенека выглядел неопрятным и измученным. Он уже давно влачил такое существование, отвергал все радости жизни, даже освежающее купание. В тюрьме он спал на жесткой подстилке, отказывался от мяса, опасаясь отравы, кормился лишь сухими кореньями и день и ночь был поглощен думами.

— Так лучше... — произнес он.

Паулина пристально смотрела на него. Глаза ее излучали бесконечную преданность. Старый мудрец — всеобщий кумир, для нее представлял нечто еще большее: он был человеком, которого она глубоко любила и почитала и душу которого ценила. В каждом ее движении сквозило чуткое понимание.

— Лучше, — пояснил философ, — давать жизни незаметно ускользать, каждый день понемногу отдаляться от нее.

Сенека сидел под увядавшей листвой, сам — увядавший. Его знобило. Кровь его остыла и устало текла в его жилах. Только солнце еще пригревало ее.

— Остается попробовать последнее, — вздохнул он, — кротко и грустно улыбаться, как осень, озаренная лучами позднего солнца...

Паулина сжала его руку, словно хотела перелить в нее свою теплоту. Теперь его обогревали двое: женщина и солнце.

Он снова заговорил. Верная подруга его слушала.

— Не следует слишком цепляться за жизнь. Потом больнее. Этому я научился в юности у иудеев. Если у нас

хотят отнять какой-нибудь дар, самое мудрое — заранее добровольно отдать его. Поэтому я истязал себя в молодости, голодал, не спал и ни разу впоследствии не испытывал такого блаженства, как тогда. Теперь я скорблю, что так скоро это оставил. Верь мне! Пост и бессонница — высшее наслаждение.

Жена не поняла его, но ничего не сказала.

Сенека сморщил лоб, покрытый иссохшей, почерневшей кожей.

— Да. Я во многом виноват. С чего это началось? — и он задумался. — Я очень любил. Отсюда и пошла ложь и гибель. Виной — всегда чувство.

Паулина хотела что-то возразить, но он мягко остановил ее.

— Любовь привела меня к падению. Она нас удаляет от цели и губит нас. Она, огромная любовь...

— Я был когда-то молод, — продолжал он спокойнее, как в непринужденной беседе, — имел густые, непокорные кудри, был строен и пылко говорил. Отец повез меня в Рим. Он был честолюбив и желал, чтобы я изучил философию. Я исполнил его желание.

— Я приобрел известность и богатство, и у меня появились завистники. Я был пленен величием Рима, ценил славу и стал ее баловнем. Когда я проезжал по площади Марса, все оборачивались. Счастливый римский юноша с испанской кровью, я провозглашал доктрины Эпикура; любил, разумеется, красивых женщин. Они присутствовали при моих выступлениях. Среди них была и Юлия Ливилла, сестра Калигулы. Однажды она обратилась ко мне за объяснением по какому-то философскому вопросу. Она пригласила меня в свои носилки, и, беседуя, мы совершили прогулку, которая мне дорого обошлась. Я провёл восемь лет в изгнании, на острове Корсика. Стоило ли так поплатиться? Теперь мне кажется, что стоило. У меня осталось от роковой встречи очень красивое воспоминание...

Чуткая жена поэта слушала его без ревности. Она любила его неведомое, богатое прошлое; мудрых и гордых женщин, которые зачаровывали его; любила и его

триумфы, которые после стольких совместно вынесенных бурь стали отчасти и ее собственными.

Воспоминания увлекли философа:

— Итак, — проговорил он, — я вмешался в жизнь, которая связала меня неисчислимыми путами, так что я уже не мог вырваться. Я стремился обратно в Рим, писал послания власть имущим и льстил презренным царедворцам, чтобы они при дворе замолвили за меня словечко. На мое несчастье они уважили мои просьбы. Лучше бы я погиб на острове, одинокий и гордый!

Он закрыл глаза.

— Ныне я вижу яснее в прошлом. Все, с кем я соприкасался, стоят теперь перед моими глазами: женщины, поэты, артисты и мое собственное «я» тех времен. Но их заслоняют две огромные тени. Одна, более могучая, — Агриппина. Другая — тень златокудрого мальчика Нерона.

Паулина смахнула слезы и пододвинулась ближе к Сенекке.

— В тюрьме меня осмеивали, — признался философ, — напоминали мне мои сочинения, в которых я восхваляю бедность, и спрашивали меня, почему, в таком случае, я богат? Во мне подозревали продажную душу. Я не возражал ни слова.

— Ты благороден и чист, — прошептала Паулина и с невыразимой нежностью поцеловала руку старца.

Несколько минут они сидели в печальном раздумьи... Затем они стали созерцать осень, таинственно шевелившуюся в саду. Она снимала с деревьев тленные украшения, которыми их одарила весна, и раскладывала их ковром вокруг мрачных стволов. Деревья, казалось, настожившись прислушивались к каждому шороху. То тут, то там падал спелый плод. В звуке его падения была какая-то глухая, торжественная мелодичность. Внезапно раздались приближающиеся шаги.

Сенекка ожидал их... Это они!

Паулина встала. Появились два ликтора — исполнители смертных приговоров, в сопровождении центуриона, державшего письменный приказ. За ним следовал лекарь.

Они в смущении остановились, увидя старого поэта, которого были посланы казнить. Сенека сидел на скамейке из слоновой кости.

Никогда еще он не испытывал такого страха. На лице его не осталось ни кровинки. Все, что он до сих пор думал, чувствовал, писал и говорил, смешалось в его познании. Им овладела лишь неумолимая, представшая перед ним в эту минуту действительность. Она казалась ему давно знакомой, но чудовищной и непостижимой.

Он хотел встать и тяжело перевел дух; но ноги его подкосились, и он опустил обратно на скамью.

В первом приступе ужаса Паулина подняла руку, словно пытаясь отразить нападение. Но она тотчас поняла всю бессцельность сопротивления, опустила руку и пожала пальцы Сенеки, влажные от выступившего холодного пота.

Губы старика беспомощно двигались.

— Только завещание... — пробормотал он наконец.

Два преданных ученика, живших в его доме и посвященных им в принципы стоической философии, положили перед ним восковые дощечки.

— Мне жаль, — проговорил центурион не без участия, — но я имею строгий приказ...

— Даже этого нельзя? — спросил поэт.

Центурион сделал едва уловимое движение головой, но сжатые губы выражали суровый отказ.

— Одно только слово, — попросил Сенека, чтобы отсрочить неизбежное.

— Я не имею разрешения, — повторил центурион.

Один из ликторов направился в виллу, велел нагреть большой котел воды и до края наполнил ванну. Второй ликтор держал зажженный смоляной факел.

Сенека поднялся со скамьи, опираясь на центуриона.

— Пойдем, — проговорил он Паулине и обоим ученикам, когда его повели в ванную.

Они зашли в виллу, обошли столь знакомые покои отныне безнадежного и лишенного будущего жилья. Все здесь говорило лишь о прошлом. Каждая дверная ручка, каждый косяк и ключ потемнели на службе у их хозяина. Они словно впитали в себя его присутствие и теперь ове-

вали его в последний раз его же живыми прикосновениями. Глядя на милые, родные предметы, Сенека прощался с жизнью.

Оба ученика притаились около ванны. Они держали на коленях восковые дощечки, чтобы запечатлеть последние слова учителя и в будущем — почерпать в них мудрость.

Но Сенека пока безмолвствовал. Его быстро раздели. Он стоял, оглушенный, в темной комнате, наполненной водяным паром и чадом факела. Он смотрел на качавшуюся, слегка пенившуюся поверхность воды. Центурнион велел ему занять деревянное сиденье, окунуть правую ногу в ванну, а левую — оставить снаружи.

— Так нужно...— повторял Сенека.

Ничто не приходило ему на ум: ни один из тезисов, ни одна из истин, которые он в течение всей долгой жизни провозглашал в своих эпистолах. Его преследовал лишь жуткий вопрос: что будет потом? Его пугала мысль, на которую, как он был уверен, ни один человек не может ответить.

Ликторы подошли к нему с обеих сторон и разогнули ему ногу.

Приблизился лекарь-невольник, уже несколько лет занимавшийся врачеванием. И он нехотя исполнял приговор...

— Милый друг,— сказал ему Сенека с какой-то смесью жути и иронии над самим собой,— нельзя ли подождать хоть одно мгновение?— ведь и оно ценно.

Но центурнион торопил лекаря, боясь, что вода остывает. Ликтор приблизил факел к ноге Сенеки.

— Пусть будет так,— проговорил философ и сам подставил свое колено.

Он стал наблюдать за происходившим.

Лекарь привычной рукой нащупал под коленом артерию — «главный путь жизни», где кровь протекает по широкому каналу. Он быстро нашел ее и глубоко вонзил в нее острое лезвие. У Сенеки от боли брызнули слезы. Паулина и ученики заплакали вместе с ним.

Затем наступило жуткое ожидание. Старческая кровь, загустевшая, как выдержанное вино, не проливалась.

— Не идет,— с досадой произнес лекарь и перерезал и на левой ноге артерию. Выступило немного запекшейся, почти черной крови.

Тогда лекарь сделал надрез и на обеих руках, там, где чувствовалось биение сердца. Сенека опустил руки в воду. Он заговорил естественным голосом:

— Пишите,— сказал он,— я хочу сообщить о своем состоянии. Я вижу ванную комнату, факел и всех вас, стоящих вокруг меня: милую, плачущую Паулину...— он обернулся и с глубокой нежностью кивнул ей, словно посылая ей прощальное благословение...— Я вижу учеников, лекаря и воинов. Мне странно, что все это — так просто. Я жду дальнейшего.

Он прислушался к шуму струившейся крови, окрасившей воду в розоватый цвет.

— Я испытываю слабость,— снова начал он,— меня будто клонит к дремоте. Внутри — непривычная легкость. Больше ничего...

Он переждал несколько мгновений.

— Теперь мне нехорошо, тяжело... Запишите: тяжело. Но зрение мое ясно. Я слышу свой голос и знаю, что говорю.

В этот момент он побелел как полотно.

— Мне дурно...— прошептал он и склонился над водой.

— Это от потери крови,— пояснял лекарь.

— У меня потемнело в глазах. Все предметы кажутся мне черными. Пишите: очень плохо. Не умирайте. Человеческое должно жить... долго...

Он глубоко вздохнул.

— Все это не таинственно, а только страшно. Тайны я еще не изведать и, кажется, не смогу вам ее передать. Хотя я, вероятно, уже где-нибудь далеко... на грани...

Несколько минут он молчал. Затем, потеряв сознание, он упал в объятия склоненной над ним Паулины.

Один из учеников нагнулся над ним, почти касаясь его уст.

— Что ты испытываешь? — спросил он.

Сенека не ответил. Голова его покоилась на вздымавшейся от рыданий груди Паулины; она была живым, нежным изголовьем его смертного одра.



Но ученик вывел его еще на мгновение из последнего сна.

— Как теперь? — спросил он, дотронувшись до его лица, словно сиюсья разбудить его.

— Не так, как я себе это представлял, — с усилием, но внятно, ответил философ. — Иначе, совсем иначе...

— Как? — спросили оба ученика сразу.

Дыхание Сенеки словно прервалось. Тело его заметалось, как будто от внутреннего толчка. Вода в ванне стала совсем красной. От прилива крови по ней пробежала зыбь. Центурион с состраданием взглянул на Паулину и вывел ее из комнаты.

Один из ликторов взял умирающего поэта за обе руки и, возможно мягче, столкнул его с сиденья в горячую воду.

Тело его исчезло под водой.

На ее поверхности показался лишь пузырь — последний вздох философа. Он еще долго, словно его живое движение, покачивался на воде. Наконец, и он исчез.

Сенеки больше не было.

## XXXI В ОДИНОЧЕСТВЕ

Около полуночи главный авгур принял ванну, отвел сердце коршуна, облачился в белоснежную тогу и вышел. Держа затененный светильник, он в сопровождении других авгуров отправился на возвышение, откуда можно было наблюдать небесные светила и полет птиц.

Была ветряная, неприветливая ночь. Вихрь несколько раз гасил светильник. Гадатели, рассекая жезлом воздух, мысленно разделили небосвод на четыре части. Они долго, напрягая зрение, высматривали знаменья, но ничего им не являлось. Уже брезжило утро, а ни одна птица еще не пролетела на отмеченном пространстве небосклона. Не промелькнули ни речная скопа, ни сарыч, ни сокол, по полету которых авгуры предсказывали судьбу человека. Только тучи проносились мимо расплывчатыми массами, и на земле скользили их тени.

Авгуры подстерегали птицу Нерона — голубя, так как император пожелал узнать свой жребий. Впервые за все

свое царствование он обратился к гадалкам, ибо государство было в катастрофическом положении: иудеи восстали и убили римского наместника. Асколон, Акра, Тир и Гипон были охвачены пламенем. В Гараде люди истребляли друг друга. Не более успокоительные вести приходили и из других провинций. В Галии весной вспыхнул мятеж и Виндекс, в надменном послании императору, угрожал ему гибелью. Из Испании не поступало никаких сообщений. Гальба вел себя двулично. Говорили, что он заключил союз с Виндексом.

Панические слухи обегали Форум, несмотря на то, что распространение таковых сурово каралось. Войскам никто больше не доверял.

.....

Нерон похоронил Пoppею. Однажды, вернувшись с бегов, он вступил с ней в грубую ссору, накинулся на нее и ударил ее ногой. Пoppея в это время носила под сердцем будущего ребенка императора. От ушиба, причиненного ей Нероном, она сразу скончалась, еще прежде, чем ее успели перенести на постель.

Тело ее набальзамировали, ибо иудейские священнослужители воспротивились его сожжению. Император сам произнес надгробную речь. Он искренне оплакивал эту женщину, которая была печальной опорой его мятущейся души. Он остро чувствовал ее отсутствие и тосковал о ней, как еще ни об одном человеке. Теперь никто его больше не терзал, но никто и не подстрекал его ни на какую деятельность.

Он стал во всех искать ее, подарившую ему когда-то любовь и страдание. Он бродил около цирка Максимус, вокруг барачков, где жили продажные женщины. Его мучили мрачные воспоминания; словно живые, они в нем стонали... Иногда он в какой-нибудь гетере находил сходство с усопшей, но внезапно чуждая черта разбивала его иллюзию.

Горе сломило его. Дни и ночи он бродил по городу, ища Пoppею, окруженный мраком, но уверенный, что он

когда-нибудь вновь откроет ее. Наконец, ему показалось, что он обрел ее в юноше по имени Спорий. В первую минуту он не нашел в нем ничего общего с погибшей. Но когда он внимательно в него всмотрелся, в нем всплыли уснувшие воспоминания: ему показалось, что в этом юношеском образе к нему вернулась единственная возлюбленная.

Он назвал юношу Поппеей. Новооткрытый друг во всем напоминал ее. У него были те же янтарные волосы, мелкие веснушки, и строптивные губы, поцелуй которых оставлял вкус диких ягод.

Нерон не успокоился, пока в желтом облачении жениха не повел Спория в храм. Верховный жрец должен был его торжественно обвенчать с ним.

На церемонию был приглашен сенат в полном составе. Спорий явился в женском одеянии, с заплетенными волосами, в сопровождении прислужниц.

На ногах у него были маленькие желтые туфли, легкие как бабочки. Лицо его оттенялось алым покрывалом, какое носили весталки, а на голову был возложен майорановый венок. Жрец, согласно обряду, передал «невесте» букет вербены — символ плодovitости; сенаторы принесли чете свои поздравления.

Юноша оказался, однако, несообразительным и молчаливым. Он напивался на каждой трапезе и целыми днями спал. Нерон снова стал призывать ушедшую, которую нигде не мог найти. Тогда он обратился к гадалкам.

Авгуры ждали долгое время, но птицы не показывались. Боги не желали открывать своих предначертаний. Не доносилось ни звука. Вороны, совы, сычи — все умолкли. Глаза и уши гадалок устали от тщетного напряжения.

Но вдруг на востоке среди завываний ветра слышались заунывные, жалобные человеческие голоса; они походили на невнятный протяжный стон. Они как бы рождались из мрака, нарастали и вылившись в востовый, пронзительный крик — замерли. Главный авгур побледнел.

Страшное предзнаменование подтвердилось гаданием по внутренностям птиц, видом их печени, почек и цветом

их желчи. Священные курицы не прикоснулись к рассыпанным перед ними зернам.

На следующий день авгуры сообщили Нерону об исходе гаданий. Они настаивали на том, чтобы он был осторожен и осмотрителен и, вознося моления, поворачивался на север, где пребывают боги. Неблагоприятные предсказания не произвели, однако, на Нерона особого впечатления.

Он жил в одиночестве, удалившись от людей, окруженный лишь обращенными в далекое прошлое воспоминаниями.

Живой мертвец, он безвольно слонялся по дворцу; неясные муки наполняли его праздность. Подобно Спорию — он стал напиваться, и вечером, с отуманенным сознанием, падал на ложе. Но он не спал, а все думал о минувшем. Когда ему становилось тоскливо — он призывал стражника, стоявшего у дверей опочивальни.

— Войди же, наконец, Анкус! — крикнул он и на этот раз.

Появился худощавый, хмурый воин с длинным копьём.

— Это ты? — спросил Нерон, совершенно пьяный, косясь на телохранителя маленькими, заплывшими жиром, глазами, напоминавшими едва заметные глаза кабана. В ответ Анкус осклабился, обнажая бледные, малокровные десны. Он прислонил копьё и стал ждать обычных вопросов.

— У тебя есть жена?

Воин утвердительно мотнул головой.

— А дети?

Он кивнул снова.

— Сколько у тебя ребят?

Стражник подумал. Затем, спрятав большой палец — выставил остальные четыре.

— Мальчики?

Анкус опять мимикой ответил «да».

— А девочки есть?

Стражник вновь завозился с собственными пальцами; наконец, поднял три первых.

— Значит, у тебя семеро детей. Здорово! Что они те-

перь делают? Верно покушали похлебку и пошли спать? Или ждут тебя? Ведь утром твое дежурство кончается...

Лепет Нерона был невнятен; император потерял много зубов и шамкал; стражник с трудом понимал его.

— Я не могу уснуть. Я пил немного, но вино было крепкое.

— А как ты думаешь: кто я такой? Никто этого не постигает! Где же тебе знать? Ты, наверно, никогда и в театре не был?

Анкус на сей раз отрицательно покачал головой.

— Посмотри-ка сюда. Видишь эти венки? Они раньше висели на египетском обелиске. Все, все они мои! Они были мне преподнесены. Их тысяча восемьсот штук. Можешь пересчитать! Есть еловые, оливковые и лавровые.

Стражник выпучил глаза.

— Вот что значит искусство! Надо было меня видеть и слышать! Словами этого не передашь, как ни старайся. Да этого и не вбить в твою деревянную голову. Я писал стихи, которые сам выдумывал. Из собственной головы. Понимаешь? Но знаешь ли ты вообще, что такое поэт? Слышал ли ты, что существовал Вергилий или Гораций?

Нерон стал громко кричать, чтобы расшевелить солдата; он ткнул себя пальцем в грудь: — Так вот! и я — такой, как они. Но я, кроме того, еще пел и играл на лире. Стоило мне только показаться на сцене, как поднимался гром рукоплесканий. Все ревели: «Да здравствует Нерон, божественный артист!» Я непринужденно приветствовал публику и начинал.

Нерон проделал театральные жесты перед телохранителем, который стоял, глаза на него и ничего не понимая.

— Какие я исполнял роли, дружок! От одного воспоминания кружится голова. Вон тот громадный венок мне поднесли, когда я играл Эдипа. Эдип — это был сын царя, который убил отца и женился на родной матери. Но на сцене это был я. Конечно — не в самом деле! Я переодевался, нацеплял маску, чтобы меня не узнали, и начинал чудесно декламировать. Зрители трепетали. Когда же в последнем действии я железными перстами вырывал собственные глаза и, ослепнув, начинал спотыкаться

ся — все рыдали. А между тем, гляди: оба глаза у меня целы.

Анкус впился в глаза Нерона и опешил.

— Тебе этого не постичь, ослиная голова! Играть — дело не легкое. Надо показать то, чего нет, создать нечто из ничего: и чтобы, вдобавок, было правдоподобно! Я часто умирал, бросался во всю свою длину на сцену и несколько раз даже ударился. Но после я снова вскакивал на ноги: я был вовсе не мертв, а жив и здоров.

— Я так прекрасно притворялся, что мне все верили. Однажды, в какой-то греческой трагедии, я играл испуганного Геркулеса. Перед поднятием занавеса я сидел в гардеробной — это комната, где артисты красятся и наряжаются как куклы. Понял? — Сажу я, а мне сковывают руки. Не в обыкновенные кандалы, какие тебе приходилось видеть; ничего подобного! Ими удовлетворялись другие, посредственные актеры, вроде Антиоха или Паманеса; но для меня были приготовлены золотые кандалы. Взглянул бы ты на них: тяжелые, блестящие!.. Но лишь только мне сковали руки, из-за низкой стены выскочил воин вроде тебя, стал так же близко от меня, как ты вот сейчас стоишь, и замахнулся мечом, чтобы разбить мои оковы. Добрый, простодушный малый! Он думал, что я не на шутку попал в беду, и решил спасти своего императора. Вот как я играл!

Стражник ухмыльнулся.

Это подзадорило Нерона.— Я мог бы рассказать еще многое... Однажды я вышел нагим на арену и собственными руками задушил молодого льва. В другой раз — я был женщиной; в вырезанном платье, в кружевах и с завитыми волосами. Подложив подушку под тогу, я с большим животом вышел на сцену и поднял такой стон, что публика закричала мне: «Разрешись, император!» Эта роль была венцом моего успеха, что поневоле признал даже Парис. Я чувствовал, что вложил в нее все; мои жесты и интонация были неподражаемы, а переживания я передал так естественно, что сам себе показался женщиной.

— Постой! Кем я был еще? Ниобеей! Да! и Орестом — я чуть ли не забыл главного! Присядь, Анкус.

Усталый стражник, переступавший с ноги на ногу, сел и прислонил голову к копыю.

— Моя слава сияла, — воодушевляясь продолжал Нерон. — Но все же люди недостойны того, чтобы им являлся бог. Искусство — неблагодарное ремесло. Оно возбуждает мимолетную признательность и упорную зависть. Прощай мне! Не стоило тратить столько сил! Рим — тупой город. Латинская раса не понимает творчества. Она выдвинула только бойцов и юристов и ей — я отдал всю свою душу!

Не так меня приняли в Ахайе! В Неаполе население посыпало шафраном улицы, по которым проезжала моя колесница, и целовало у меня руки и ноги. В то время местный театр провалился от землетрясения, но благодаря моему божественному искусству никто не пострадал. Мне следовало бы жить в Элладе, в Афинах — этом городе городов! Но увы, я здесь! Часто я оплакиваю свою судьбу, не позволившую мне родиться греком. Разве я не прав, Анкус?

Нерон не получил ответа. Стражник храпел.

— Чурбан! Сразу видно, что и ты — римлянин, дикий волк. На всех вас нужно воздействовать бичом, а не искусством.

Вскоре, однако, и «служителя искусства» — Нерона одолел сон.

## XXXII. В САДУ ФАОНА

Перед дворцом возвышалась статуя Нерона — бронзовый гигант, словно стремившийся вонзиться в небо. Солнце палило, его хлестал дождь, и заметала пыль. Но он оставался неизменным.

В двадцать раз выше человеческого роста, с глазами, величиной в кулак, с пальцами толщиной в целую руку и с могучим ртом он словно стоял на посту — страшный сторож, охранявший второго, «маленького» Нерона.

Когда-то армянский царь Тиридат, приехав на поклон к римскому императору с тремя тысячами парфянских всадников, простерся в пыли перед огромной статуей, приняв ее за божество.





посещения Эпафродита; в последнее время он ничему больше не удивлялся.

— Я пишу надгробную речь! — воскликнул он с влажными от слез глазами и сделал паузу для усиления впечатления. Затем продолжал: — краткую, бесконечно трогательную надгробную речь, посвященную самому себе. Завтра я прочту ее народу. Стану перед ним, дам волю своим рыданиям, и народ все поймет! Скажи, достаточно ли подъема в моей речи? Мне — она нравится. «Я прощаюсь с вами, о, римляне!..»

Нерон читал бы еще долго, но секретарь схватил его за руку.

— Не теперь!

— Почему?

— Слишком поздно! — пояснил Эпафродит. — Бой идут перед самым дворцом. Люди режут друг друга...

— Этого быть не может! — И сердце Нерона дрогнуло от страха.

— Это правда! — сказал Эпафродит. — Гальбу провозгласили императором.

— А народ?

— Он защищает свои собственные интересы!

Император порывисто взял восковую дощечку и вручил ее Эпафродиту.

— Передай этот приказ! Уничтожить сенаторов! Перейти к народу! Истребить всех!

— Но кто это выполнит?

— Воины.

— У нас нет больше воинов.

— Пригнать их! — крикнул император. — Выстроить их везде, на кораблях, на стенах, на улицах!

Он стал бесноваться.

— Тише! — унимал его секретарь. — Нас могут слышать. Мы беззащитны!

Протекло некоторое время, пока Нерон пришел в себя.

— Лучше я сам с собой покончу, — заявил он. — Брошусь в Тибр! Или дай мне мой книжал! Найди гладиатора, который проткнул бы мне сердце... — И он распался на груди тунику.

Среди сонной, усталой ночи слова его звучали громко; он хотел вложить в них героизм, но сам им не верил.

Он стал рыться в своих вещах, извлекая утварь и разные баночки, которые ронял и разбивал. Наконец, он нашел то, чего искал...

— Яд! — прохрипел он.

Нерон так живо представил себе смерть, что она, казалось ему, уже коснулась его лба; на нем выступил холодный пот. Руки и ноги у него оледенели; дыхание прервалось. Что-то подступило у него к горлу, словно его уже душило прикосновение смерти.

Он опустил в кресло. Одна лишь мысль молнией прорезала его затмившееся сознание:

— Жить во что бы то ни стало! Какой бы то ни было жизнью, только бы жить!

Нерона больше не смущала потеря власти. Он хотел стать артистом; всецело отдаться искусству; перебраться в Александрию, величественный город, где процветает просвещение; жить своим пением...

— Искусство меня поддержит, — сказал он, воодушевляясь.

— Разве тебе не кажется, что я в своем одиночестве возвышен и благороден? Остаться покинутым, видеть, что все утрачено, чувствовать страшное ничто, вдыхать тьму. Это — словно развязка трагедии...

— Да, но поспешим! Нам нельзя терять времени!

— Что же нам делать?

— Бежать... Ты должен переодеться, ты не можешь оставаться в таком виде. Тебя бы узнали.

Нерон прошел в свою гардеробную. Здесь висели греческие хитоны, пурпурные мантии и пестрые туники, которые он носил в своих разнообразных ролях; он стал их перебирать одеревенелыми пальцами, кидал их на пол и наступал на них. Наконец, он наткнулся на наряд возницы, который носил в вечер своего первого похождения с Зодиком и Фаннием. Он также нашел грязный, пропотевший головной убор и тупой меч, принесенный ему Парисом.

Он быстро переоделся, опоясал меч, начал вертеться, осматривая, к лицу ли ему костюм, и стал подражать

грубому говору возниц; затем схватил несколько масок и золотую лиру, перешедшую к нему после смерти Сенеки. То была лира Британника.

Он не хотел расстаться с тонким инструментом, имевшим форму сердца, и бережно спрятал его под плащ. Он решил играть на нем, когда будет в Египте.

Император и секретарь были уже готовы и собирались выйти, когда услышали из отдаленного зала чьи-то подкрадывавшиеся шаги. Это был Спорий, одетый в небрежный ночной костюм. Его разбудил шум, поднятый мятежниками. Он хотел вырваться из дворца, но главная лестница была уже наводнена легионерами. Спорий стал умолять Нерона, чтобы он взял его с собой.

Все трое спустились по узкой витой лестнице в помещение рабов. Здесь они еще застали несколько спавших воинов, растолкали их и, так как боковой выход был тоже уже занят, велели им взломать стену. Через образовавшееся отверстие они ползком выбрались из дворца.

Эпафродит шагал впереди, указывая путь; за ним плелся заспанный Спорий, жеманно оправлявший тогу; последним шел Нерон. Поднявшись на Палатин, они увидели весь город, но не заметили ничего необычного или подозрительного. Только народу толкалось больше, чем обыкновенно, и прохожие возбужденно разговаривали между собой.

— Возница? — проговорил один из прохожих, поравнявшись с Нероном, — я ничего против его не имел!

— Да. Он был добродушный забавник. Играл и пел. Нерон толкнул локтем Эпафродита.

— Слышишь?

Слова эти столь успокоительно подействовали на императора, что он готов был повернуть обратно. Но секретарь, лучше его учитывавший положение, увлек его дальше.

Вдали, как перед великими событиями, ночь была полна движения. Сновали странные фигуры; воины что-то возбужденно обсуждали. На холмах мерцали огни. У берега Тибра беглецы споткнулись обо что-то — это были трупы. Издалека слышалось беспокойное ржание коней, раздавался шум копыт и таинственный ропот да-

лекой, невидимой толпы. Нерон умолк и ускорил шаг. Он так дрожал, что ему пришлось опереться на Эпафродита.

Ночь была безлунна, и никто их не узнал. Они выбрались незамеченные за город и шли по дороге, обсаженной оливковыми деревьями. На них струился сладкий, дурманящий запах. До самого утра они не встретили ни одного человека.

Недалеко от города на «Via Salaria», окаймленной приветливыми виллами и богатыми имениями, жил вольноотпущенник Фаон.

Он когда-то служил у императора в финансовом управлении и в течение нескольких лет накопил себе внушительное состояние. Он мог бы и дальше богатеть, но удовлетворился достигнутым.

Охотно уйдя от придворной и столичной жизни, с которой некоторым так трудно расстаться, он занялся хозяйством в своем имении.

Блеск и шум Рима его больше не манили, и его интерес к политическим событиям был настолько слаб, что он даже не читал «Acta diurna».

В это утро Фаон рано встал и отправился в свой сад. Рукава его туники были засучены. На его свежем лице лежала печать детски-мирной радости; после ночного покоя — оно дышало довольством.

Начался его трудовой день; он стал очищать плодовые деревья от гусениц и поливать цветы. У него было много гвоздики, нарциссов и гиацинтов, луковицы которых он получал из Африки. Взор его с наслаждением отдыхал на пестрых грядках — на зыбком море цветочных венчиков. Видно было, что он удовлетворен и счастлив.

После работы он принялся за завтрак. Он ел простоквашу, еще теплый хлеб и мед.

Стук у ворот оторвал его от трапезы.

Выглянув, он увидел приземистого, тучного возницу с расстроенным лицом.

— Фаон! — окликнул его возница.

Но вольноотпущенник не узнал его.

Незнакомец казался перепуганным и неуверенным, как человек, только что выгнанный из дома. Он прижал

ся к воротам с трогательной настойчивостью бездомной собаки. На небритом подбородке торчала рыжая щетина. За ним стояли еще двое неизвестных.

— Открой! — взмолился возница, бросая нетерпеливые взгляды на затвор.

На сей раз — его голос пробудил в сознании Фаона туманное воспоминание. В этом человеке, просившем гостеприимства, он узнал императора.

Он низко склонился и, смущенный, впустил ожидавших.

— Тише! Пройдем вглубь, — сказал Эпафродит.

Вольноотпущенник, ничего не понимавший, провел гостей в чащу, где под сенью листвы стоял столик.

— Как здесь хорошо! — пробормотал Нерон, окидывая взором сад.

Деревья качались под легким ветерком. Они вбирали своими бесчисленными зелеными жабрами утреннюю свежесть. День обещал быть жарким; отовсюду поднималась утренняя испарина, земля шумно дышала всеми своими порами, как запыхавшееся живое существо. Наверху, в ослепительном воздухе, и внизу, в полумраке кустарников, жужжали и гудели миллионы едва видимых тварей, полных таинственной жизненной силы. В воздухе кружили мухи. Каждый ком земли словно двигался; на нем кишели жуки, металлически-синие и изумрудно-зеленые. Сверкали стекловидные крылья пчел, которые густым роем вылетали из ульев и, весело жужжа, собирали мед. Бабочки походили на разбросанные в воздухе солнечные блики, или на минутные миражи. Расправив ярко окрашенные крылья, они порхали меж цветов и исчезали подобно грезе. Они так быстро мелькали, что казались воздушными, кокетливыми эльфами, игравшими в прятки.

Фаон хотел угостить императора, но Нерон отказался от всех предложенных яств и попросил только глоток воды. Однако, он и к ней не притронулся: побоялся, что она отравлена. Он лег наземь и стал жадно пить из лужи, образовавшейся после поливки цветов.

— Я хочу спать, — пробормотал он, не вставая. Он растянул усталые члены и заснул, с испачканным зем-

лею ртом, не сняв даже грубого головного убора. Его зловещая голова покоилась среди душистых трав, желтых цветочков укропа и переплетававшихся ростков. Солнце, пробивавшееся сквозь листву, высушило влажную, черную землю на губах Нерона, превратив ее в серую пыль; оно жгло его затылок, опалило его кожу, но он не просыпался. Измученный непривычным странствованием, он проспал почти до вечера.

Из беседы с Эпафродитом Фаон узнал о причине, приведшей сюда императора.

— Сенат объявил Нерона врагом отечества,— сказал Эпафродит,— и как убийцу матери приговорил его к смерти. Повстанцы разыскивают его. Он зашел сюда лишь передохнуть и при первой возможности мы должны продолжать свое бегство.

После захода солнца мимо виллы стали проноситься всадники. Они проезжали все чаще и чаще и начали обращать внимание на виллу Фаона.

Фаон побоялся, что присутствие императора вовлечет его в беду, и Эпафродит решил разбудить Нерона. Он коснулся его, но спящий никак не мог прийти в себя. Он был охвачен ознобом и жмурился от света...

— Где мы? — спросил он спросонья.

Он оглядел свое странное одеяние, свой короткий меч и на мгновение забыл, кто он.

Дрожа всем телом, он вслух задал вопрос:

— Кто я?

Эпафродит растерянно посмотрел на него.

— Я не понимаю, ничего не понимаю,— снова забормотал он,— кто это сейчас говорит? Он вошел в меня, и голос его кажется мне моим.

Глядя на него, Фаон преисполнился жалости.

— Увы! — сказал Нерон, судорожно сжимая руку Фаона,— он опять заговорил — тот, кого я непрерывно слышу! Его голос поднимается из моей груди, но я не выношу его звука! Не терплю мыслей, которые он изрекает! Пусть он замолчит! Тише! Освободите меня от него! Везде — он!

Эпафродит и Спорий подошли ближе.

— Скажите мне, что все это означает? — взмолился

он, повернувшись к ним.— Я этого не постигаю! Ты,— он взглянул на Фаона,— держи еще крепче мою руку. Я чувствую, что ты — человек, и мне от этого легче. Твои пальцы дрожат, твои глаза переживают мою боль. Кто бы ты ни был — останься со мной, никогда не покидай меня! Без тебя — я погиб. Я хочу за тебя ухватиться. А если ты уйдешь — подари мне, по крайней мере, собаку, чтобы я мог прижимать к себе ее голову, пока я еще дышу, пока я не мертв.

— Он бредит,— сказал Эпафродит.

— Ты — человек,— продолжал Нерон, обращаясь к Фаону,— но хороший ли ты человек? Если ты счастлив — ты добр. Если ты несчастен — ты зол... У меня часто болела голова, я бродил по городу и не знал, куда иду. Но разве я поступал дурно? — Глаза его наполнились слезами, и он прижался к груди Фаона,— ведь и боги жестоки! Я столько страдал...

Эпафродиту стоило больших усилий оторвать Нерона от вольноотпущенника, поставить его на ноги и внушить ему, что если они сейчас не двинутся в путь — он обречен.

С подгибавшимися ногами Нерон побрел за Эпафродитом в жестком свете скупого заходившего солнца.

Вдруг он попятился.

— А, опять ты! — язвительно выкрикнул он

— Кто? — спросил Эпафродит.

Император не ответил, но лицо его исказилось от ужаса, грязные губы зашевелились, и глаза уставились в одну точку.

Спорий наклонился к Эпафродиту.

— Он видит призрак Поппеи!

— Нет, своей матери.

Они спросили Нерона, на кого он смотрит, но император ничего не ответил. Он долго безмолвствовал...

Затем тягучим, жалобным голосом заговорил:

— Снова ты, всегда и везде! Тебе еще мало? Я все отдал из-за тебя! Ты достиг своей цели!

Он отшатнулся.

— Ты — призрак, призрак маленького мальчика, с бледным лицом в синих пятнах.— И Нерон отвернулся, вздрогнув от ужаса.

— Он видит Британника,— прошептал Эпафродит.  
— Как я тебя любил, брат! Но что ты со мной сделал? Везде — ты! Ты довел меня до всего, привел сюда! Ибо ты был велик... ты — великий артист!

Под самой виллой раздался грубный звук.

Все трое втокнули Нерона в сарай.

— Идут войны! — решительно сказал Эпафродит.

— Идет судьба! — продекламировал Нерон.

— Потихе! Нас всех перебьют!

Нерон опустил на деревянные доски. В сарае было прохладно. Пахло валежником и опилками.

— Я лучше сам умру! — простонал Нерон.

Никто не запротестовал. Все этого ждали.

Император стал нащупывать маленькую коробочку, которую носил на груди; но в ней не оказалось припасенного яда.

— Его у меня украли! — завопил он, — отняли у меня даже смерть.

Он бросился на колени: — Убейте меня!

Все трое отшатнулись. Убить того, кто сам столько убил — казалось им невозможным. Никто из них не осмеливался этого сделать.

— Решись на что-нибудь! — настаивал Фаон.

Нерон стал умолять Спория: — Милый! Прояви мужество, заколи меня!

Юноша испугался и спрятался за дровами.

— Спой же мне, по крайней мере, погребальную элегию... по-гречески!

— Надо торопиться, — сказал Фаон.

Нерон лег на землю. Он извлек театральный меч с тупым концом и приложил его к горлу:

— Я решился... — проговорил он, бледнея, — земля, небо, прощайте!

Он опустил всей своей тяжестью на меч, но тупое лезвие не ранило его. Тогда, дабы положить конец его мучениям, Эпафродит толкнул его голову. Нерон пронзительно взвизгнул, как закальваемое животное. Кровь, вместе с хрипом, вырвалась из его горла. Но его заплетающийся язык произнес еще два последних слова: «Великий артист!»



Вместе с ним умолкло и его сердце. Когда извлекли меч, Нерон был уже мертв.

Лицо его касалось земли. Все трое долго смотрели на него в глубоком безмолвии, сменившем предсмертный крик императора.

Нерон больше не шелохнулся.

### XXXIII. ПЛАКАЛЬЩИЦА

Спорий выскользнул из сарая и отправился на разведку. На дороге все было тихо и спокойно. Всадники, посланные в погоню за Нероном, очевидно, потеряли его след.

Вернувшись, Спорий принялся пить сладкое, обжигающее греческое вино.

Эпафродит и Фаон остались около усопшего.

Потрясенный Эпафродит склонился над ним.

— Посмотри на его лицо! — сказал он, — оно и в самой смерти грозно и напряженно. Он сжал уста. Даже теперь — он словно стремится к чему-то, хочет большего, нежели все остальные. В его чертах как будто отражены его тайны, выжжены все его страдания, пороки и порывы. Его лицо поражает и захватывает. Оно кажется красивым.

Эпафродит умолк. Затем убежденно добавил:

— Он похож на поэта!

— Он говорил о великом артисте, — сказал Фаон. — Кого он имел в виду?

— Быть может, Британника... А быть может, и самого себя.

— Он был жесток и страшен, — произнес Фаон.

— Но он был артистом, — ответил Эпафродит, — а творцам красоты многое прощается.

— Он был несчастен, — сказал Фаон.

— Он родился римлянином. Все, что грек осуществил бы легко, мягко и гармонично, он претворил в кровавый пот, в смертоносное буйство варвара, в собственную испугательную смерть. Он хотел наполнить свою жизнь красотой, данной только истинному поэту. Не достигнув

этого — он озлобился и ожесточился. Поэтому он так кончил. В этом — его оправдание.

— Оправдание?! — возмущенно воскликнул Фаон.

— Я видел его изо дня в день, — продолжал Эпафродит, — и испытывал к нему сострадание. Он отрекся от жизни. В ранней юности все его помыслы были посвящены искусству. Но чтобы стать настоящим поэтом — ему недоставало той искры, которая так мала и в то же время так велика. Он не обрел ее. И дикие порывы, против которых он не мог устоять, разбили его.

— Сколько ему было лет? — спросил Фаон.

— Тридцать; скоро ему исполнился бы тридцать первый год.

— Какой молодой! — вздохнул Фаон.

— Но как много он пережил! Тринадцать лет он правил мировой империей. Он был внуком Энея, последним из Юлиев, и умер, не оставив наследника.

— Он мог бы еще долго жить! — проговорил Фаон.

— Да. Он мог бы теперь только начать: вступить в новую жизнь и отдаться новому творчеству. У него была жаждающая, мятущаяся, истерзанная душа...

— На ней тяготело много преступлений... — мрачно произнес Фаон.

Они прошли под деревьями к беседке, где их ожидала трапеза. Им подали ароматный сыр, творог из овечьего молока и масло.

Спорий лежал мертвецки-пьяный, не мог говорить, и на вопрос, отчего он молчит, лишь ухмыльнулся и лениво повел плечом.

Эпафродит и вольноотпущенник расположились около стола. Но они мало ели и совсем не беседовали, оставаясь под впечатлением только что пережитого.

На безоблачном небе выступили желтые крапинки звезд. Внезапно по небосклону пронеслась комета, по которой звездочеты предсказали конец Нерона. Ее хвост был подобен разметавшимся рыжим космам. Мятежная странница небес, она исчезла, разнося по миру кровавые предзнаменования.

— Она верно уже далеко! — промолвил Фаон.

— Да! — ответил Эпафродит, в юности занимавший

ся астрологией,— она уже в центре вселенной, вдали от людей.

В темной синеве июльской ночи, из-за виноградников внезапно всплыла чья-то фигура. Медленными, неверными шагами она приблизилась к беседке.

Эпафродит и Фаон увидели старческое лицо, печальное, пыльное. После нескольких мгновений Эпафродит первый узнал старуху.

— Эклога! — воскликнул он.

— Его кормилица...— добавил Фаон.

Он несколько раз встречал ее при дворе. Она была родом из Греции, вскормила Нерона и, после его вступления на престол, стала жить во дворце, окруженная почетом.

— Да, пришла кормилица,— сказала женщина ласковым, материнским голосом.

По примеру маленьких детей, она говорила о себе в третьем лице: «кормилица кушает», «кормилица ложится спать», «кормилица здесь».

Фаон предложил старушке присесть.

При известии, что вспыхнуло восстание, и император, вскормленный ее молоком, бежал, она не пожалела своих старых костей и пешком ушла из Рима.

Она отказалась сесть.

— Где он? — спросила она шепотом.

Эпафродит и Фаон поднялись, захватили светильник и, не проронив ни слова, провели ее в сарай.

— Здесь! — Эпафродит указал на прикрытое тело, все еще лежавшее на земле.

— Он умер?

Они молча кивнули головой.

Эклога подняла покрывало и осветила лицо усопшего. Она не дрогнула. Она была женщиной, много видевшей на своем веку.

Она вскормила Нерона своей грудью и погребала его теперь своими руками, одинаково привыкшая к колыбели и гробу.

Эклога подняла рукава туники и приступила к исполнению последнего долга. Она потребовала воды и прижалась за омовение тела. Она омыла похолодевшее

лицо Нерона и его затылок. Затем положила его голову к себе на колени и стала причитать на певучем, греческом языке, который, казалось, плакал в ее устах, как плачет в великих греческих трагедиях, выливаясь в дрожащие жалобы и скорбные трели.

— О, горе! У тебя нет матери, которая оплакивала бы тебя. Нет ребенка, который проливал бы над тобою слезы. Нет ни брата, ни друга. Есть только кормилица. Она одна у тебя осталась, осиротевший император!

Эклога плакала. Она качала и ласкала голову Нерона, словно он был малюткой, который упал и ушибся.

— Мой маленький Нерон! — причитала она, — с тобой говорит твоя кормилица. Как ты бледен и печален! Ты спишь! А прежде — ты никогда не хотел засыпать. Ты всегда бодрствовал; кричал всю ночь в колыбели; будил весь дом. Я рассказывала тебе сказку или убаюкивала тебя песней, — и она запела греческую колыбельную — о всаднике, скачущем вдаль.

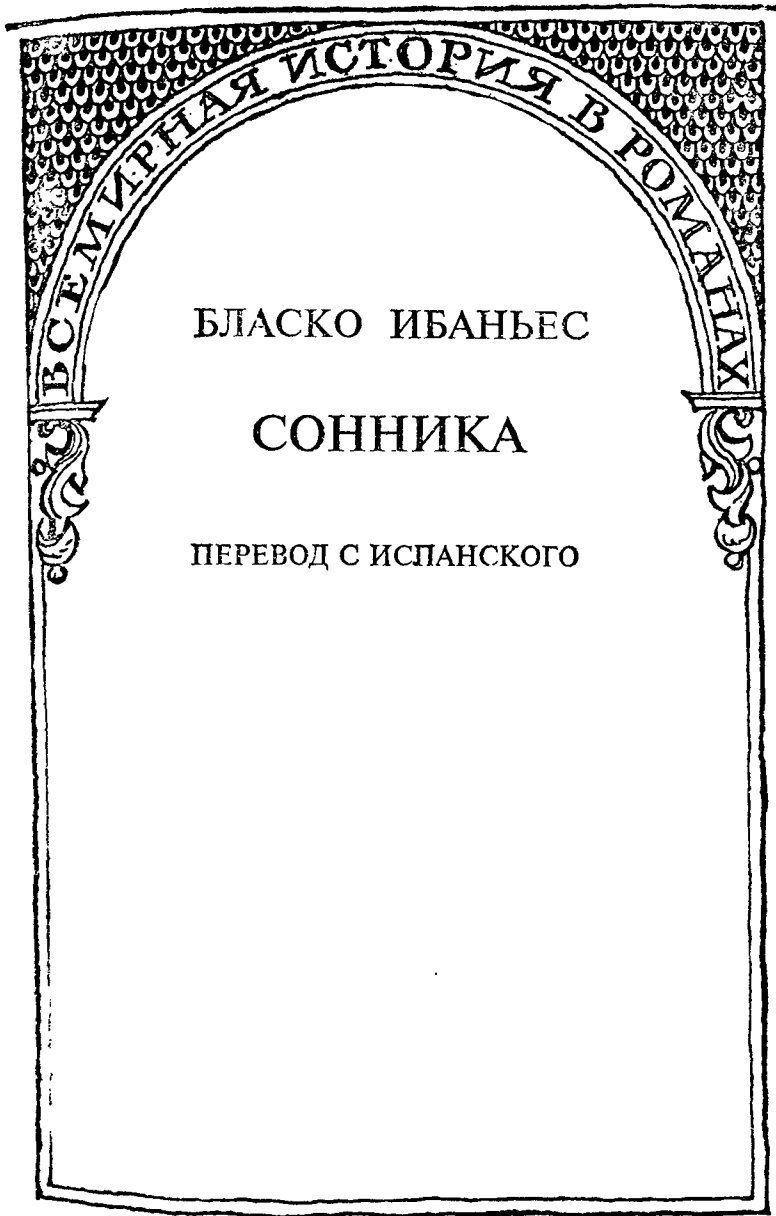
Перед ней всплыло детство Нерона. — Ты любил играть; забавлялся колесницами; красил их в синий и зеленый цвет; говорил, что ты — зеленый возница. Любил ты и представления. Часто ты убегал от доброй тетушки Лепиды в театр...

Эклога посмотрела на его безжизненное лицо.

— Что с тобой теперь? — промолвила она невыразимо-скорбным голосом, поднявшимся из сокровенных глубин ее души.

Эпафродит и Фаон удалились.

Кормилица и мертвый император остались одни. Эклога долго искала что-то на своей груди и, наконец, извлекла из-под туники ржавый обол. Она бережно положила монету в уста усопшего, дабы в подземном царстве седой кормчий Харон переправил его через бурную реку на берег забвения, где нет ни земной борьбы, ни земных страданий...



БЛАСКО ИБАНЬЕС

СОННИКА

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО



## I. ХРАМ АФРОДИТЫ

Когда корабль Поллианто, сагунтского лоцмана, приблизился к берегам порта своей родины, моряки и рыбаки взглядом, обостренным морскими расстояниями, сейчас же узнали его парус, окрашенный в шафране, и изображение Победы, с распростертыми крыльями и венком в правой руке, занимающее часть носа и омывающее свои ноги в волнах.

— Это корабль Поллианто «Викторията», который возвращается из Гадеса и Нового Карфагена.

И чтобы лучше его видеть, они кинулись гурьбой к каменным перилам, которые огораживали три озера сагунтского порта, соединенные с морем посредством длинного канала.

Низменная и болотистая местность, покрытая осокой и ползучими водяными растениями, тянулась вплоть до залива Сукронсенсэ, замыкающего горизонт своим голубым поясом, на котором, точно мухи, скользили рыбацьи лодченки.

Корабль медленно приближался к устью гавани. Парус огненного цвета трепетал от легкого дыхания ветерка, но не надувался, и по бокам его задвигался тройной ряд весел, досадливо рассекая пену, заграждающую вход в канал.

Спускался вечер. На прилегающем к гавани холме храм Венеры Афродиты отражал в нежной поверхности своего фронтона пламя угасающего солнца. Золотистая

атмосфера окутывала колоннаду и стены голубого мрамора, словно властитель дня, удаляясь, прощался поцелуем света с богиней вод. Цепь темных гор, покрытых соснами и кустарниками, тянулась исполинским полукругом к морю, замыкая плодородную сагунтскую долину, ее белые виллы, сельские башни и деревни, раскинутые среди зеленой массы полей. В противоположном конце глинистого холма, затуманенного расстоянием и испарениями почвы, виднелся город, древний Зазинто, с группами домов, оттиснутых стенами и башнями к склону горы; наверху — Акрополь и циклопические стены, над которыми возвышались кровли храмов и общественных зданий.

В порте кипела работа. На большом озере два корабля из Марселию нагружались вином; корабль из Либурнии запасался сагунтскими грузами и сушеными винными ягодами для сбыта их в Риме, а галера из Карфагена поглощала в свою утробу крупные слитки серебра, найденные в коях Кельтиберии. Остальные корабли с собранными парусами и рядами опущенных в линию весел, словно большие спящие птицы, оставались неподвижно у пристани, слегка лишь покачивая своими носами, похожими на головы крокодилов или лошадей.

Рабы, согнутые под тяжестью амфор, тюков и металлических слитков, без всякой одежды, кроме опояски и белой шляпы, с напряженными и вспотевшими мышцами, проходили в непрерывном движении по доскам, проложенным от перил к кораблям, перенося в их утробы товары, сложенные на набережной.

Посреди большого центрального озера возвышалась башня, охраняющая вход в гавань, могучее сооружение, погружающее свои плиты в глубину вод. Тут же прикрепленный к кольцам ее стен покачивался военный корабль, *либурника*, с высокой кормой, головой тарана, парусом, сложенным в большой четырехугольник, с зубчатой крепостью у мачты и по бортам, с двойным рядом щитов морских солдат — *классияр*. Это был римский корабль, который на рассвете следующего дня должен был увести послов, присланных великой Республикой для умиротворения распрей, волновавших Сагунт.

На втором озере, тихом водном пространстве, где строились и чинились судна, стучали по доскам коло-тушки конопатчиков. Точно больные чудовища, виднелись лежащие на берегу галеры, без мачт, с поврежденными и разобранными боковыми частями, сквозь кото-рые можно было видеть прочность строения судов или черноту их недр. На третьем озере, самом малом и с грязными водами, мокли рыбацьи челноки, прихотливы-ми стаями парили чайки, опускаясь к воде, чтобы пожи-виться тем, что плавало на ее гладкой поверхности; на берегу сновали женщины, старики и дети, ожидая при-бытия из залива Сукроненсэ лодок с рыбой, которую они продавали ближайшим жителям Кельтиберии.

Прибытие сагунтского корабля отвлекло от своего дела весь портовой люд. Рабы работали медленно, видя, что их надсмотрщики заняты приходом судна, и даже мирные горожане, сидящие на оплоте с удочками в ру-ках и стремящиеся поймать жирных угрей озера, забыли рыбную ловлю, следя взглядом за приближением «Вик-торияты». Она была уже в канале. Корпус корабля не был виден, мачта двигалась поверх тростников.

Царила вечерняя тишина, нарушаемая монотонным кваканьем бесчисленных лягушек, живущих в болоти-стой почве, и чириканьем птиц, которые перепархивали на оливковых деревьях подле святилища Афродиты. Портовой люд притих, следя за ходом корабля Полиан-го. «Викторията» миновала второй изгиб канала и в га-вани показалось золоченое изображение ее носовой ча-сти и первые весла, громадные красные лапы, рассекаю-щие с такой силой гладкую поверхность воды, что на ней вздымалась пена.

Многочисленная толпа, среди которой волновались семь моряков, разразилась криками восторга при входе корабля в порт.

— Привет, Полианто! Добро пожаловать, сын Афр-одиты!.. Да осыпет тебя милостями Сонника, твоя гос-пожа!

Голые ребятишки, со смуглыми ногами, кидались с головами в озеро, плавая вокруг корабля, точно толпа маленьких тритонов.



Все восхваляли своего соотечественника, преувеличивая его достоинства: никто никогда не погибал на его корабле, и богачка Сонника может гордиться своим вольноотпущенником.

На передней части корабля *прорет* \* неподвижный, как статуя, следил напряженным взглядом за ходом судна, чтобы предупредить малейшее препятствие; обнаженные тела гребцов, с согнутыми к веслам спинами, доснились на солнце; на корме стоял *губернатор* \*\*, сам Полианто, нечувствительный к усталости, прикрытый широкой красной тканью, с рулем в правой руке, а в левой с белым жезлом, который мерно колебался, отмечая движение весел. Подле мачты сгруппировались мужчины в чужеземном одеянии и женщины, неподвижные, усталые в широких мантиях.

Корабль, словно громадное насекомое, приближался к порту, рассекая своим носом покойные и мертвые воды. Бросив якорь и перекинув дощатый мостик, гребцы стали отталкивать шестью толпу, которая толкалась, стремясь пробраться на корабль.

Лоцман отдавал приказания с кормы; его красное одеяние, словно воспламененное заходящим солнцем пятно, мелькало то здесь, то там.

— А, Полианто!.. Добро пожаловать, мореплаватель! Что ты привез?

Лоцман увидел на берегу двух молодых всадников. Тот, который говорил, был одет в белый плащ, один конец которого прикрывал его голову, оставляя открытой бороду, завитую локонами и блестящую от благовоний. Другой сжимал бока коня своими обнаженными сильными ногами; одет он был в *сагум* \*\*\* кельтиберов, короткую шерстяную тунуку, поверх которой болтался его широкий спускающийся с плеча меч, его волосы, такие же непокорные и жесткие, как и борода, обрамляли мужественное и смуглое лицо.

— Привет, Лакаро! привет, Алорко!— ответил лоц-

---

\* Штурман  
\*\* Кормчий  
\*\*\* Военный плащ

ман с выражением почтения.— Не увидите ли вы Соннику, мою госпожу?

— Этой же ночью,— ответил Лакаро.— Мы ужинаем в ее загородном доме... Что ты привез?

— Скажите ей, что я привез сребродный свинец из Нового Карфагена и шерсть из Бетики. Чудесное путешествие!

Молодые люди натянули поводья своих лошадей.

— Мы все признательны тебе за это,— сказал Лакаро.

— Прости, Полианто! да будет Нептун милостив к тебе!

И оба всадника ускакали, скрывшись между хижинами, сгруппированными у подножия храма Афродиты.

Между тем, один из прибывших спустился с корабля и смешался с многочисленной толпой, стоящей лицом к корпусу корабля. Это был грек; каждый узнавал его происхождение по прикрывавшему его голову *пилэосу*; коническому кожаному шлему, подобному тому, какой изображен у Одиссея на картинах греческой живописи. Одет он был в темную и короткую тунику, перехваченную у пояса ремнем, на котором висела сумка. Хламида, не доходившая до колен, была прикреплена на правом плече медным аграфом; обувь из поношенных и запыленных ремешков, прикрывала его обнаженные ноги, руки же, сильные и старательно очищенные от волос, опирались о большой дротик, почти колье. Волосы, короткие и вьющиеся, крупными завитками выбивались из-под *пилэоса*, образуя вокруг его головы волнистый ореол. Они были черные, но в них серебрилось несколько седых волос, так же, как и в обрамлявшей его лицо бороде, широкой и короткой. Верхняя губа была, по афинскому обычаю, тщательно выбрита.

Это был сильный и стройный мужчина, полный мужества и здоровья. В его глазах, с ироническим выражением, сверкал тот огонь, который отмечает людей, рожденных для борьбы и власти. Он свободно шел по этому незнакомому ему порту, как путешественник, привыкший ко всякого рода случайностям и неожиданностям.

Солнце начинало скрываться и портовые работы прекращались, медленно рассеивая толпу, заполняющую набережную. Мимо чужеземца проходили группы рабов, отиравших пот и расправлявших свои изболевшиеся члены. Подгоняемые палками своих надсмотрщиков, они шли к горным пещерам или масляным мельницам, где должны были провести ночь, вдали от людей, подальше от морских кабачков, харчевен и лупанар, которые группировали свои земляные стены и дощатые крыши у подножия храма Афродиты.

Торговцы также отправлялись на поиски своих лошадей и тележек, чтобы ехать в город. Они проходили группами, справляясь с заметками своих памятных табличек и толкуя о предприятиях дня. Их различные типы, фигуры и одеяния свидетельствовали о большой смеси национальностей Зазинто, этого торгового города, в который с древних времен стекались корабли Средиземного моря, и торговля которого вела конкуренцию с Ампурией и Марселем. Азиатские и африканские купцы, которые получали для богачей города слоновую кость, страусовые перья, пряности и благовония, отличались своей степенной поступью, туниками с золочеными цветами и птицами, зелеными полусапожками, высокими сплошь вышитыми тиарами и бородами, спускающимися на грудь горизонтальными волнами мелких завитков. Греки с обычной подвижностью болтали и смеялись, угнетая своим многоречием иберийских вывозчиков товаров, степенных, бородатых, нелюдимых, одетых в грубую шерсть и своим молчанием как бы протестующих против этого потока ненужных слов.

Набережная в несколько минут опустела. Вся ее жизнь отхлынула к дороге, идущей к городу, где среди облаков пыли бежали лошади, катились повозки и тряслись мелкой рысью африканские ослицы, везя на своих спинах тучных седоков, сидящих по-женски.

Грек медленно шел по набережной позади двух мужчин, одетых в короткие туники, полусапожки и в конические со спущенными полями шляпы, похожие на шляпы эллинских пастухов. Это были два городских ремесленника. Они провели день, удя рыбу, и возвращались

домой, поглядывая с плохо скрываемой гордостью на свои ивовые корзины, на дне которых шевелили хвостами множество барвен, извивающихся с проворностью угрей. Они говорили по-иберийски, беспрестанно вставляя в свою речь греческие и латинские слова. Это было обычное наречие этой древней колонии, всегда употребляемое купцами в торговых отношениях с главнейшими народами страны. Грек, следуя за ними по набережной, прислушивался с любознательностью чужестранца.

— Я подвезу тебя в своей тележке, приятель,— говорил один из них.— В трактире Абилиано я оставил своего осла, который, как тебе известно, является предметом зависти моих соседей. Таким образом мы приедем в город ранее, чем запрут ворота.

— Очень тебе благодарен, сосед. Не безопасно идти одному теперь, когда в наших деревнях развелось столько бродяг, которых мы содержим на жалованье для войны с турдетанами, и столько злого люда, бежавшего из города после последних беспорядков. Ты ведь знаешь, что третьего дня нашли на дороге труп Актэно, цырюльника с Форо. Его убили с целью грабежа, когда он возвращался вечером в свой загородный дом.

— Говоряг, что теперь, после вмешательства римлян, мы заживем покойнее. Послы Рима отсекли множество голов и утверждают, что благодаря этому у нас водворится мир.

Оба на минуту приостановились и повернули головы, чтобы посмотреть на римскую *либурнику*, которая еле виднелась возле башни порга, скрытая сумраком надвигающейся ночи. Затем продолжали свой путь, медленно идя, как бы размышляя.

— Я знаю,— продолжал один из них,— что я не более как сапожник, у которого есть лавка подле Форо и который может удовольствоваться кошельком серебряных викторнат, чтобы спокойно доживать старость и проводить вечера на набережной с удочкой в руке. Я не знаю того, что знают риторы, которые, отправляясь за городские стены, рассуждают, крича, как фурии; я не мыслю, как философы, которые собираются на портиках Форо, чтобы спорить среди насмешек торговцев о том, кто прав

из мыслителей Афин. Но при всем своем невежестве, я задаю себе вопрос, сосед: к чему эти распри между людьми, с которыми мы живем в одном городе и к которым мы должны относиться как к братьям?.. К чему?

Приятель сапожника в знак одобрения кивал головой.

— Я понимаю, что у нас есть основания быть во враждебных отношениях с нашими соседями турдетанами: во-первых, из-за проведения воды на поля, во-вторых, из-за пастбища и более всего из-за земельных границ и того, что мы мешаем им воспользоваться этим прекрасным портом; я понимаю, что горожане вооружаются, что они ищут сражения и стремятся разрушать их деревни и сжигать хижины. Наконец, это люди не нашего племени. Кроме того, ведь война доставляет рабов, в которых большею частью чувствуется недостаток; а без рабов, что бы делали мы, люди... горожане?

— Я беднее тебя, сосед,— сказал другой рыболов.— Изготовление лошадиных седел не приносит мне такого заработка, как тебе башмачное ремесло, но и при моей бедности я нахожу возможным держать раба турдетана, который мне весьма полезен. И я хочу войны, так как она повышает цену на мой труд.

— Война с соседями.. быть бы ей, в добрый час! Молодежь крепнет и ищет случая отличиться, республика же приобретает этим значительность; а все, после того как побегают по полям и горам, покупают обувь и дают чинить седла своих лошадей. Чего же лучше! Так-то и держится торговля. Но где смысл в том, что мы вынуждены более года превращать Форо в поле битвы и каждую уллицу в крепость? Разве сладко торговать в своей лавке, запрашивая с красивой горожанки за сандалики, сделанные по азиатской моде, из папируса, или же продавая прекрасные греческие куртаны, когда слышишь на площади звон орудия, крики и вопли умирающих, а проходя по порту боишься, чтобы тебе не пустили в седалище какой-нибудь шальной дротик. И из-за чего? Какой может существовать повод к тому, чтобы жить как собака с котом на лоне этого Зазинто, столь спокойного и трудолюбивого в прежние времена.

— Гордость и богатство греков...— начал говорить спутник.

— Да, я это знаю. Ненависть между иберийцами и греками; убеждение, что греки, благодаря своим богатствам и образованию, главенствуют и эксплуатируют иберийцев... Точно действительно в городе существуют иберийцы и греки!.. Иберийцы это те, которые живут по ту сторону этих гор, скрывающих от нас горизонт, грек же это тот, который, мы видели, сошел с корабля и идет теперь вслед за нами; но мы, мы не более как сыны Зазинто или Сагунта, как хотят именовать наш город. Мы являемся последствием тысячи столкновений земли с морем, и сам Юпитер затруднился бы сказать, кто были наши предки. С тех пор как на этих полях змея укусила Зазинто и наш отец Геркулес воздвиг высокие стены Акрополя, кто может отличить людей, прибывших сюда, от тех, которые здесь жили. Сюда прибывали люди из Тира со своими кораблями с красными парусами в поисках за серебром, лежащим в недрах земли; моряки Занта, бежавшие со своими семьями от тиранов своей родины; жители Ардеи, население Италии, бывшее могущественным в те времена, когда еще не существовал Рим; карфагеняне того времени, когда больше думали о торговле, чем о военных подвигах... и могу ли я знать какие еще народы! Интересно послушать, когда обо всем этом рассказывают педагоги на портике храма Дианы, объясняя историю... Я сам, разве я знаю, грек ли я или ибериец. Мой дед был отпущенником из Сицилии; он прибыл сюда с поручением от одной фабрики глиняной посуды и женился на кельтиберке. Мать моя была лузитанка, приехавшая сюда с экспедицией для продажи золота в порошок купцам Александрии. Я так же, как и другие, горжусь тем, что я сагунтец. Те, которые почитают в Сагунте иберийцев, верят в греческих богов; греки же, не замечая, усваивают многие иберийские обычаи; они считают себя чуждыми друг другу потому, что живут разобщенно в этом городе, но их праздники одинаковы и в ближайшие торжества в честь Минервы ты увидишь вместе дочерей эллинских коммерсантов и детей тех граждан, которые обрабатывают землю, носят

грубое сукно и отпускают бороды, чтобы больше походить на коренное население.

— Да, но греки захватили все в свои руки, они хозяева всего, они завладели жизнью города.

— Они более образованы, более отважны; в их личности есть нечто божественное,— сказал поучительно сапожник.— Обрати внимание на того, который позади нас. Одет он бедно; быть может, в его кошельке нет и двух обол, чтобы поужинать; возможно, что он будет спать под открытым небом, и все же он кажется Зевсом, который, переодевшись, спустился с небес.

Оба ремесленника оглянулись на грека и затем продолжали свой путь. Они направились к хижинам, которые, окружая порт, оживляли его своей жизнью.

— Есть другая причина вражды, которая разъединяет нас,— сказал седельщик.— Не только неприязнь между греками и иберийцами; одни хотят, чтобы мы были друзьями Рима, а другие — Карфагена.

— Ни теми, ни другими,— наставительно сказал сапожник.— Быть покойными и торговать, как в прежние времена,— вот что необходимо для нашего довольства. Греки Сагунта хотят, чтобы мы поддерживали дружбу с Римом и это я ставлю им в упрек.

— Рим — победитель.

— Да, но он очень далеко, а карфагеняне почти у наших ворот. Их войска из Нового Карфагена могут прийти сюда с многочисленными полками.

— Рим наш союзник и наш покровитель. Его послы, которые завтра уезжают, положили конец нашим мукам, обезглавив тех граждан, которые нарушили покой нашего города

— Да, но эти граждане были друзьями Карфагена и были покровительствуемы Гамилькаром. Ганнибал не так-то легко забудет друзей своего отца.

— Ба! Карфаген хочет мира и обширной торговли, чтобы обогатиться. После своего поражения в Сицилии он боится Рима.

— Боясь сенаторы, но сын Гамилькара для этого слишком молод и, откровенно говоря, во мне возбужда-

ют страх эти превращенные в полководцев мальчишки, которые не признают вина и любви, мечтая лишь о славе.

Грек не мог более слышать. Оба ремесленника скрылись между хижинами и звук голосов затерялся вдали.

Чужеземец очутился совершенно одиноким среди незнакомого порта. Набережная оставалась безлюдной; на пасах кораблей загорелось несколько фонарей, а вдали из-за вод залива стала подыматься луна, точно громадный диск медового цвета. Только на малой рыбацкой пристани чувствовалось некоторое оживление. Женщины, высоко подняв и сжимая между ног рубища, которые служили им туникой, стояли по колена в воде, полоща рыбу, затем сложив ее в корзины, которые ставили на головы, отправляясь в путь, таща за собой своих ребятишек, толстопузых и совершенно голых. С кораблей неподвижных и безмолвных сходили группы мужчин, направляющихся к публичным домам, расположенным у подножия храма. Это были моряки, которые отправлялись на поиски трактиров и лупанар.

Греку хорошо были знакомы эти нравы. Этот порт походил на многие другие виденные им порты. Наверху храм, служащий путеводителем для мореплавателей, а внизу — вино, легкая любовь и кровопролитные ссоры, являющиеся как бы завершением праздника.

На минуту у грека мелькнула мысль направиться в город, но он был слишком далеко, дорога неизвестна, и чужеземец предпочел остаться здесь, проспав где-нибудь до восхода солнца. Он пошел по кривым улочкам, образовавшимся между хижинами, случайно построенными, точно свалившимися с неба со своими земляными стенами и крышами из соломы или камыша, с узкими окнами и единственным входом, завешанным ковром или лоскутьями. В некоторых хижинах, внутри менее убогих, жили скромные торговцы гавани, которые доставляли съестные припасы кораблям, поставляли зерно, и рабочие, которые помогали рабам переносить на гребневые судна бочки воды. Но большинство домишек было занято трактирами, кабачками и лупанарами. Над дверями некоторых домов были сделаны разрисованные охрой подписи на греческом, иберийском и латинском языках.



Грек услышал, что его окликают. Оказалось это был тучный и плешивый человек, который, стоя у дверей своего жилища, делал ему знаки.

— Привет тебе, сын Афин,— сказал он, желая польстить ему именем знаменитейшего города Греции.— Войди сюда; ты будешь среди своих, так как мои предки также происходили отсюда же. Погляди на вывеску моего трактира «А Palas Athenea». Здесь ты найдешь лауронское вино, которое столь же прекрасно, как и вино Аттики; если захочешь попробовать кельтиберское пиво, также и оно у меня имеется, а если пожелаешь, могу предложить тебе несколько бутылок вина из Самоса, которое так же неподражаемо, как и украшающая мой прилавок богиня Афин.

Грек ответил улыбкой и отрицательным жестом, а болливый трактирщик уж успел проскользнуть в свое малое и грязное жилище, приподняв ковер, чтобы впустить группу моряков.

Пройдя несколько шагов, грек приостановился, привлеченный слабым свистом, который казалось призывал его из глубины хижины. Старуха, закутанная в черный плащ, делала ему знаки у дверей. Внутри жилища, при свете глиняного светильника, висящего на цепочке, видно было несколько женщин, сидящих на камышовых циновках, в позах покорных животных, с неподвижной улыбкой, от которой сверкали их зубы.

— Я тороплюсь, матушка,— сказал чужеземец смеясь.

— погоди, сын Зевса,— заговорила старуха по эллински, коверкая этот язык твердостью произношения и свистом дыхания сквозь беззубые десна.— Я сразу узнала, что ты грек. Все, рожденные в твоей стране, веселы и прекрасны: ты походишь на Аполлона, ищущего своих божественных сестер. Войди, здесь ты их встретишь...

И, приблизившись к чужеземцу, она взяла его за край хламиды и стала перечислять все прелести своих питомцев иберьянок, балеарок или африканок: одни величественны и крупны, как Юноны, другие миниатюрны и грациозны, как гетеры Александрии и Греции; но видя, что грек освободился и продолжает свой путь, старуха,

думая, что не сумела угодить его вкусу, возвысила голос и заговорила о молоденьких девушках, белокурых и с длинными волосами, прекрасных, как улыбающиеся дети, которые поспорят с красавицами Афин.

Грек вышел из кривой улочки, но все еще продолжал слышать голос старухи, которая казалось цинично упивалась своими грязными речами. Он очутился на поле, в начале дороги, идущей в город. Направо от него был холм, на котором возвышался храм, а внизу виднелся дом несколько больший, чем другие; это был трактир с дверями и окнами, ярко освещенными светильниками из красной глины.

Внутри виднелись сидящие на каменных скамьях моряки всех стран. Римские солдаты со своими панцырями из бронзовой чешуи, короткими спускающимися с плеча мечами и лежащими у их ног касками, заканчивающимися нашлемниками из красного конского волоса в виде щетки; гребы из Марсея, полунагие с клинками, наполовину скрытыми в складках рубищ, опоясывающих их бедра; финикийские и карфагенские моряки в широких панталонах, высокой шапке в форме митры и в тяжелых серебряных серьгах; негры из Александрии, атлетически сложенные и с неповоротливыми движениями, показывающие при улыбке свои острые зубы, которые невольно наводили на мысль об ужасных картинах людоедства; кельтиберы и иберийцы в темной одежде и с длинными спутанными волосами, недоверчиво поглядывающие по сторонам и инстинктивно подымающие руку к широкому ножу; несколько краснокожих с длинными усами и жесткими гривами, связанными и спадающими на затылок; наконец люди, перебрасываемые случайностями войны и моря с одного конца света на другой, являющиеся один день военными победителями, а на другой — пленными рабами, столь же моряки, сколько пираты, не знающие ни закона, ни родины, не ведающие другого страха, как трепет перед начальником корабля, карающим плетями и крестом; люди, верующие лишь в меч и в мускулы, носящие печать своего таинственного, полного ужасов прошлого в ранах, которые покрывали их тела, в широких рубцах, которые бороздили их члены, в отсе-

ценных ушах, прикрытых грязными и спутанными волосами.

Одни из них ели, стоя вокруг прилавка, позади которого высились амфоры с пробками, украшенными фресками в виде листьев; другие, сидя на каменных скамьях вдоль стен, держали на коленях глиняные блюда. Большинство же развалились на полу на брюхе, точно дикие животные, разделяющие пищу, и тянулись своими волосатыми лапами к блюдам, треща челюстями. Еще не распивалось вино и требовалось присутствие женщин. Изнуренные воздержанием долгих путешествий и нравственно измученные строгой дисциплиной кораблей, они ели и пили с апетитом людоедов.

Случайно собравшись в узком помещении, зараженном копотью светильников и паром кушанья, они чувствовали потребность в общении и каждый из них между едой вступал в беседу со своим соседом, не обращая внимания на различие отечественного языка и кончая тем, что все понимали друг друга, объясняясь более жестами, чем словами. Один карфагенянин рассказывал греку о своем последнем путешествии на острова Великого Моря, находящиеся далее, чем столпы Геркулеса; долго плыли они серым морем, покрытым облаками, пока наконец прибыли к крутым, известным лишь лоцманам его страны берегам, где находится олово. Негр со смешной мимикой рассказывал двум кельтиберам об экскурсиях вдоль Красного Моря к таинственным берегам, не обитаемым днем, но ночью покрытым движущимися огнями и населенным людьми, волосатыми и проворными, как обезьяны, кожи которых, набитые соломой, доставлялись в храмы Египта для жертвоприношения богам. Римские солдаты, более пожилые, рассказывали о своей великой победе на Эгатских островах, которая, закончив войну, очистила Сицилию от карфагенян; и в своей заносчивости победителей, они не считались с присутствием униженных карфагенян, которые слушали их. Иберийские пастухи, смешавшись с мореплавателями, хотели умалить эффект морских приключений и рассказывали о породистых лошадях и о быстроте их бега, между тем какой-то маленький грек, поразительно живой и

язвительный, желая унижить варваров и доказать преимущество своей нации, декламировал отрывки известной оды, выученной им в порте Пирея, или напевал мелодию, медлительную и сладостную, которая терялась среди гула разговоров, чавкания и звона посуды.

Потребовали большего освещения, так как с каждой минутой хмельная атмосфера трактира все сгущалась и пламя светильников еле виднелось словно капли крови на стенах, черных от копоти. Из расположенной рядом кухни плыл едкий пар от пряных соусов и горящих полен; он вызывал у многих посетителей слезы и кашель. Некоторые уж были пьяны, едва приступив к ужину, и требовали у рабов венков из цветов, чтобы так же, как на пирах богачей, украсить ими себя. Другие с ревом аплодировали, увидя, что вертеп озарился кровавым сиянием факелов, которые зажигал хозяин трактира. Рабы суетились за каменным прилавком, наливая напитки из больших амфор, бегали в кухню и сейчас же возвращались вино на пол, когда опрокидывали чаши, и как только в окнах появлялись раскрашенные лица проститутки — *волчиц* порта, которые выжидали момента, чтобы сделать набег на трактир, моряки приветствовали их громкими взрывами смеха, подражая реву животных и кидали им остатки своей пищи, вызывавшей среди женщин драку и крики.

Кушанья всех возбуждали, и их жадно уничтожали, запивая каждый кусок. Греки ели слизняков, плавающих в шафранном соусе, свежие сардины из залива, уложенные на круглых блюдах и украшенные лавровыми листьями, птичье темя, политое зеленым соусом; иберийские пастухи довольствовались сушеной рыбой и твердым сыром; римляне и галлы истребляли большие куски ягнят, из которых по каплям сочилась кровь; подавались угри из озера порта, гарнированные вареными яйцами, и все эти кушанья и большинство других были приправлены солью, перцем и зеленью с острым запахом. Все чувствовали потребность швырять деньги, пресытиться едой и напиться до потери сознания, чтобы хоть этим усладить суровую жизнь лишений, которая ожида-

да на судах. Римляне, которые на следующий день уезжали, собирали последние деньги, чтобы оставить свои *секстерции* в порте Сагунта; карфагеняне с гордостью говорили о своей Республике, самой богатой в мире.

Трактирщик без конца кидал на дно пустой амфоры монеты различного достоинства: Зазинто с изображением носовой части корабля и Победы, летающей над ней, и Карфагена с легендарной лошадей и ужасными богами, и Александрии с изящным профилем Птолемея.

Большинство простых гребцов привередничали, чувствуя себя господами, они хотели хотя бы в течение одной ночи подражать богачам, чтобы в голода утешать себя этим воспоминанием, и требовали устриц из Лукрино, которых корабли доставляли в амфорах с морской водой для крупных торговцев Сагунта, или *оксигарум*, за который патриции Рима платили крупные цены: внутренности мелкой рыбы, приготовленные с уксусом и пряностями и возбуждающие аппетит. Черное сауронское вино и вино цвета розы сагунтских полей казалось непригодным для тех, у кого были деньги. С таким же пренебрежением они относились к вину Марселя, говоря, что оно готовится из древесной смолы, и требовали вин Шампани, Фалерно и Массики, которые пили, несмотря на их цену, в *цимбах*, чашах из сагунтской глины в форме лодки, вмещающих значительное количество напитка. И эти люди, собравшиеся вокруг горячих кушаний и различных напитков, начиная от кельтиберского пива и кончая иностранными винами, пожирали громадное количество зелени и фруктов, соскучившись после долгого пребывания на море по овощам и плодам. Они набрасывались на блюда, наполненные грибами, ели пальцами редис, приготовленный в уксусе; жадно уничтожали порей, свеклу, чеснок и груды свежего садового латука, усыпая пол его листьями.

Грек наблюдал это зрелище, стоя у дверей среди нескольких моряков, которые не нашли мест в трактире. При виде этого грубого пиршества чужеземец вспомнил, что ничего не ел с самого утра, когда заведующий гребцами корабля Полианто дал ему кусок хлеба. Новизна впечатлений, когда он высадился на берег незна-

когого города, заставила примолкнуть его желудок, приученный к воздержанию, но теперь при виде стольких людей, которые ели, он почувствовал приступ голода и инстинктивно сделал шаг вперед, но сейчас же приостановился. К чему входить? Ведь в сумке, которая висела у его пояса, был только *папирус*, свидетельствующий о его прошлых деяниях, таблички для памятных заметок; там также хранились щипцы для выдергивания волос и гребенка, словом все те незначительные предметы, без которых не мог обойтись ни один порядочный грек, заботящийся о себе; но сколько бы он ни искал, не нашел в сумке ни единого обота. На корабль его приняли бесплатно, видя блуждающим по пристани Нового Карфагена, так как лоцман уважал греков Аттики. Он чувствовал себя одиноким и голодным в незнакомом порте, и если бы вошел в трактир, желая поест, не заплатив, то с ним обошлись бы как с рабом, выгнав палками.

Раздраженный запахом мяса и соусов, он предпочел уйти отсюда, чтобы не испытывать этих мук Тантала. Выходя он столкнулся с высоким мужчиной, одетым лишь в темный *сагум* и сандалии с ремешками, перекрещивающимися до колен. Он походил на кельтиберского пастуха, но грек, столкнувшись с ним и обменявшись быстрым взглядом, испытал такое впечатление, как будто он не в первый раз видит эти властные глаза, напоминающие глаза орла, сидящего у ног Зевса.

Грек, равнодушный к людям, не обратил внимания на эту встречу. Он теперь хотел лишь заглушить голод и, если окажется возможным, заснуть до восхода солнца. Быстро удаляясь от этого жалкого предместья, освещенного и шумного, он искал места, где бы мог отдохнуть, и направился к храму Афродиты. От храма, возведенного на высоте холма, спускалась голубая мраморная лестница, первые ступени которой примыкали к набережной.

Грек опустился на нежный камень, предполагая дожидаться здесь наступления дня. Луна освещала всю высокую часть храма. Гул портовой жизни доходил сюда смягченный, смешанный и как бы рассекающий величественную тишину ночи, в которой таяли отдаленный плеск моря, трепетный ропот оливковых деревьев и монотонное пенье лягушек, живущих в соленых болотах.

Грек услышал повторяющийся несколько раз крик, протяжный и жалобный, похожий на вой волка. Внезапно он прозвучал за его спиной; он ощутил на своем затылке горячее дыхание и, оглянувшись, увидел женщину, которая наклонялась к нему, протягивая руки, прикрывая тряпьем, и тупо улыбалась, открывая рот и обнажая челюсть, лишенную нескольких зубов.

— Привет, прекрасный чужеземец. Я видела тебя убегающим от сборища; но в одиночестве ты бы соскучился и я пошла вслед за тобой, чтобы ты был счастлив...

Грек сразу узнал женщину. Это была *волчица* порта, одна из тех несчастных, которых он видел на пристанях всех стран: космополитические и жалкие куртизанки, любимые на одну ночь людьми всех племен и рас, покорно растягивающиеся на камне или в тени лодки, чтобы заработать несколько оболов; прежние гетеры, превращенные в скотов; беглые рабыни, ищущие свободы в распутстве, грязи и пьянстве; самки, предлагающие любовь грубым людям моря; несчастные животные, изнуряемые в молодости чрезмерными ласками и подвергающиеся в старости побоям.

Чужеземец смотрел на эту еще молодую женщину и замечал в ней следы красоты, но она была изнурена, глаза слезились и рот был обезображен сломанными зубами. Она была прикрыта широкой тканью, прекраснейшей выделки, но уж грязной и потертой; ноги ее были не обуты, а спутанные длинные волосы поддерживались медной гребенкой, к которой несчастная приколола несколько лесных цветов.

— Ты напрасно теряешь время, придя сюда,— сказал грек с добродушной улыбкой.— У меня в кошельке нет ни единого обولا.

Мягкий тон этого человека, казалось, сообщил бедной куртизанке. Она была существом, привыкшим к побоям; мужчина является для нее воплощением грубых ударов, животных наслаждений, сопровождаемых укусами; и перед мягкостью грека она растерялась и почувствовала робость, как перед опасностью.

— У тебя нет денег? — смиренно проговорила она после долго молчания.— Это ничего... я останусь здесь с

тобой. Ты мне нравишься; я твоя раба; среди всего этого люда, собравшегося в трактире, мои глаза остановились на тебе.

И она наклонилась к греку, лаская огрубевшими руками его выющиеся волосы; он же смотрел на нее с сожалением в глазах.

Чужеземец, голодный и одинокий, в незнакомом порте чувствовал себя растроганным добротой этой несчастной: это была братская дружба бедности.

— Если хочешь, останься со мной; говори, что пожелаешь, но не ласкай меня. Я голоден: я ничего не ел с самого утра и в данную минуту я променял бы все ласки за порцию любого моряка.

Блудница была поражена удивлением.

— Ты голоден?.. Ты изнемогаешь от голода, тогда как я была уверена, что ты питаешься амброзией Зевса.

И ее глаза выразили точно такой же ужас, как если бы она увидела Афродиту, богиню чистой наготы, хранящуюся наверху в храме, спустившейся с своего мраморного пьедестала и протягивающую за облом руку к гребцам порта.

— погоди, погоди!..— решительно проговорила она, после долгой минуты размышления.

Грек увидел, как она побежала к хижинам, и, когда усталость и слабость уж стали смежать его глаза, он вторично почувствовал ее подле себя, она толкала его.

— Возьми, мой господин. Мне многого стоило достать это. Жестокая Лас, старуха, ужасная, как Парки, которая помогает нам в черные дни, решила дать мне свой ужин лишь после того, как взяла с меня клятву, что с восходом солнца я принесу ей два секстерциоса. Кушай, любовь моя; кушай и пей.

И она положила на ступенях теплый круглый хлеб, несколько сухих рыб, половину белого сагунтского сыра, мягкой и сочащейся сыворотки и кувшин кельтнберского пива.

Грек приблизился к кушаньям и стал с жадностью уничтожать их, а волчица следила за ним взглядом, который минутами смягчался, принимая почти материнское выражение.



— Я бы хотела быть столь же богатой, как Сонника, которая начала так же, как и каждая из нас, а теперь госпожа многих из этих кораблей, имеет чудесные, как Олимп, сады, толпы рабов, и фабрики глиняной посуды, и половина земель принадлежит ей. Я бы хотела быть богатой хогь лишь на эту ночь, чтобы угостить тебя всем тем прекрасным, что только есть в порте и в городе; чтобы устроить для тебя такой же пир, как пиры Сонники, которые длятся до рассвета, и где бы ты, увенчанный розами, пил самосское вино в золотых чашах.

Грек, тронутый простотой и искренностью, с которой говорила эта несчастная, посмотрел на нее с нежностью.

— Не благодарн меня... это я должна воздать тебе благодарность за то счастье, которое ты доставил мне, позволив дать тебе поесть. Почему так? Не знаю... Никто не прикасался к моему плечу, не дав мне чего-нибудь. Одни давали медные монеты, другие — кусок ткани или чашу вина, большинство же награждало меня побоями и укусами; все давали мне что-либо, и я страдала и ненавидела их. А ты, который прибыл сюда бедным и голодным, который не ищешь меня, не хочешь меня, который ничего мне не даешь, ты рождаешь во мне радость тем, что не даешь, ты рождаешь во мне радость тем, что подле меня, и тело мое испытывает неведомое счастье. Дав тебе покушать, я чувствую себя пьяной, точно вышла после пиршества. Скажи, грек: действительно ли ты человек, или же отец богов, который, спустившись на землю, пришел осчастливить меня.

И возбужденная своими собственными словами, она поднялась до половины лестницы и, воздев свои худые руки к храму, озаренному луной, воскликнула:

— Афродита! Моя богиня! В тот день, когда я соберу столько, сколько стоит пара голубей, я принесу их, украшенных цветами и шелковыми лентами огненного цвета, на твой жертвенник в память этой ночи.

Грек отпил горький напиток из кувшина и протянул его куртизанке, которая стала искать на глине то самое место, к которому прикасались уста ее спутника, чтобы прильнуть к нему своими губами. Она не прикоснулась к ужину, часть которого предложил грек, только пила,

и это, казалось, делало ее более разговорчивой.

— Если бы ты знал, чего мне стоило раздобыть все это!.. Улички переполнены пьяными, которые, валяясь в грязи и вслоча друг друга под руки, обрывают тебе платье и кусают ноги. Вино течет из дверей трактиров. На набережной не лучше. Несколько африканцев гнались за поселянином и, поймав его, опустили головой вниз в воду; одного кельтибера сшибли с ног ударом кулака. А Тугу, иберийскую девочку, схватили за ноги и погрузили с головой в самую большую, какая только оказалась в харчевне, бочку; когда ее вытащили оттуда, она была полузадушена вином. Это обычное развлечение. А бедную Альбуру, одну мою подругу, я видела окровавленной, сидящей на земле и держащей на ладони глазное яблоко, которое у ней выскочило от удара кулака пьяного египтянина. И так каждую ночь. Теперь все это рождает во мне страх. Мне кажется, как только я тебя узнала, я очутилась в новом мире и впервые увидела то, что меня окружает.

И продолжая говорить, она рассказала ему свою историю. Ее звали Бачис, и она не знала точно своей родины. Вероятно, родилась она в другом порте, так как смутно помнит в первые годы своей жизни длинное путешествие на корабле. Мать ее, должно быть, была *волчицей* порта, а она явилась плодом встречи с каким-нибудь моряком. Имя, которое ей дали с детства, было именем многих знаменитых куртизанок Греции. Одна старуха, вероятно, купила ее у лоцмана, который привез ее в Сагунт, и еще девочкой, задолго до того как стать женщиной, она познала любовь, принадлежа посещающим хижину старухи портовым негодьям и отпущенникам города, которые рекомендовали друг другу это детское тело, слабое и жалкое, на котором еще не замечалось округленных форм ее пола. После смерти своей хозяйки она стала *волчицей* и перешла в распоряжение моряков, рыбаков, пастухов ближайших гор, всего этого зверья, наполняющего порт.

Ей еще не было двадцати лет, а между тем она была уже состарившейся, обессиленной, изнуренной распутством и побоями. Город она видела всегда лишь издали. За

всю свою жизнь она была в городе всего два раза. Туда не пускали *волчиц*. Мирились только с их пребыванием подле храма Афродиты, обеспечивая таким образом безопасность Сагунга, который являлся избавленным от нежелательного наплыва людей всех стран, прибывающих в порт, но в городе иберийцы чистых нравов негодовали при виде куртизанок, а развращенные греки обладали слишком утонченным вкусом, чтобы чувствовать сострадание, а не отвращение к этим продавщицам любви, которые, как животные, с ожесточением кидались на гроздь винограда или горсть орехов.

И здесь, под покровом храма Венеры, протекала ее жизнь в постоянном ожидании новых кораблей и новых людей, которые набрасывались на нее наглые и грубые, как сатиры, раздраженные долгим воздержанием на море. И так будет продолжаться до тех пор, пока не убьют ее среди ссоры моряки или же пока не умрет она от голода подле какой-нибудь оставленной лодки.

— А ты? Кто ты? — закончив свой рассказ, спросила Бачис.

— Мое имя Актеон; моя родина — Афины. Я извездил много света: в одном месте я был солдатом, в другом мореплавателем; я сражался, я торговал; я сочинял стихи и вел с философами беседы о таких предметах, о которых ты и не слыхала. Я много раз бывал богат, а теперь ты мне даешь есть. Вот и вся моя история.

Бачис смотрела на него удивленными глазами, угадывая под его сжатыми словами все прошлое, полное приключений, ужасных опасностей и чудесных превратностей судьбы. Она вспоминала храбрые подвиги Ахиллеса и полную приключений жизнь Одиссея, много раз слышанные ею воспетыми в стихах, которые декламировали в пьяном виде греческие моряки.

Куртизанка, склонившись на грудь Актеону, ласкала одной рукой его волосы. Грек, благодарный, братски улыбался Бачис с таким бесстрашием, точно она была девочкой.

Из-за хижин вышли два моряка и, покачиваясь, направились по набережной. Пронзительный вой, который, казалось, рассек воздух, прозвучал над ухом Актеона.

Его подруга, побуждаемая привычкой, с инстинктом продавца, издали угадывающего покупателя, вскопчила на ноги.

— Я вернусь, мой господин. Я позабыла об ужасной Лаисе. Надо уплатить ей деньги до восхода солнца. Она избьет меня, как избивала не раз, если я не исполню своего обещания. Жди меня здесь.

И повторяя свой дикий вой, она пустилась вдогонку за моряками, которые приостановились и приветствовали крики *волчицы* взрывами смеха и похабными словами.

Оставшись один и уж не чувствуя голода, грек подумал о том, что сейчас произошло, и ощутил истинное отвращение. Актеон, афинянин, тот, которого оспаривали на Церамико самые богатые гетеры прекрасного города, покровительствуем и обожаем распутницей порта.

И, не желая более встречаться с ней, он бежал прочь от лестницы, углубляясь в улочки порта.

Вторично он очутился перед тем трактиром, у дверей которого испытывал муки голода. Оргия среди моряков была в полном разгаре. Трактирщик с трудом мог отстоять свою неприкосновенность за прилавком. Рабы, напуганные побоями, запрятались на кухню. На полу лежало несколько красных амфор, из которых точно ручьи крови, текло вино, а среди жидкости, смачивающей землю, валялись пьяные. Египтянин исполинской силы бегал на четвереньках, подражая реву шакала и кусая женщин, которые находились в харчевне. Несколько негров танцевали с женоподобными движениями, созерцая, гочно загипнотизированные, свой пуп, который шевелился от судорожных движений живота. Разгулявшиеся мужчины и женщины сваливались по углам на каменные скамьи под грубым светом факелов. Испаренье голого потного тела смешивалось с запахом вина.

Среди этого разгула только несколько человек подле прилавка оставались безучастными к окружающему и вели спор с мнимым спокойствием. Это были два римских солдата, старый карфагенянин и кельтибер.

Римлянин вспомнил свое участие в сражении на Эгатских островах, бывшем сорок лет тому назад.

— Знаю я вас,— говорил он с заносчивостью карфагенянину.— У вас республика торгашей, рожденных для плутовства и мошенничества. Если искать того, кто сумеет подороже продать, надув покупателя, то я согласен, что вы будете первыми; но если говорить о солдатах, о мужах, то лучшими из них будем мы, сыны Рима, которые держим одной рукой плуг, а другой — копье.

И он поднял с гордостью свою круглую голову с бритыми волосами и бритыми щеками, на которых тиски какски оставили твердые мозоли.

Актеон смотрел через окно на кельтибера, единственного из группы, который сохранял спокойствие, но не слускал глаз с бронзового шлема римского воина, с его обнаженной шеи, точно его привлекли толстые вены, которые выступали под кожей. Без сомнения, эти глаза грек где-то видел, они были ему давно знакомы, но имени их обладателя он не мог вспомнить. Грек своим тонким чутьем угадывал какую-то личину в фигуре кельтибера.

— Клянусь Меркурием, что этот человек не таков, каким я его вижу. Более всего он походит на пастуха, но бронзовый цвет его лица не есть цвет лица кельтиберов, загорелых от солнца. А его длинные, спадающие на плечи волосы кажутся накладными...

Далее он уже не изучал этого человека, так как сосредоточил все свое внимание на споре между римским воином и старым карфагенянином, которые все более приближались друг к другу, чтобы лучше слышать среди шума, царящего в трактире.

— Я также был участником в печальном сражении на Эгатских островах,— говорил карфагенянин.— Там получил я этот шрам, который пересек мне лицо. Действительно, вы победили нас; но что же из этого следует? Много раз я видел ваши корабли, преследуемые нашими, и не раз на полях Сицилии насчитывал я сотнями римские трупы. О! если бы Ганон в день сражения прибыл на острова не так поздно. Если бы Гамилькар получил подкрепление!

— Гамилькар! — воскликнул презрительно римлянин.— Великий полководец, который и совершил лишь

то, что предложил нам мир. Коммерсант, превращенный в завоевателя!..

И с заносчивостью сильного он смеялся, не боясь гнева старого карфагенянина, который заикался, пытаясь возражать.

Кельтибер, который до сих пор молчал, опустил свою руку на плечо старика.

— Молчи, карфагенянин. Римлянин прав. Вы, по сравнению с ними, несведущие в войне лавочники. Вы слишком любите деньги для того, чтобы господствовать мечом. Но люди твоего сословия ведь не представляют собою всего Карфагена; есть другие, родившиеся там же, которые сумеют устоять перед мужчищем Италии.

Римлянин, видя, что в их спор вступил крестьянин, стоя еще заносчивее и наглее.

— И кто ж это такой? — крикнул он с презрением. — Не сын ли Гамилькара? Этот мальчишка, мать которого, как говорят, была рабыня.

— Одна блудница родила сыновей, которые основали город, римлянин; и не далек тот день, когда лошадь Карфагена лягнет волчицу Ромула.

Воин поднялся, дрожа от негодования и ища свой меч, но в то же мгновение испустил дикий крик и упал, подняв руки к горлу.

Актеон видел, как кельтибер опустил свою руку под *сагум* и, вытащив нож, ранил им воина вдоль шеи, которую с жестоким вниманием изучал, пока тот издевался над Карфагеном.

Трактир дрогнул от шума борьбы. Другой римлянин, видя упавшим своего сотоварища, бросился на кельтибера с высоко поднятым мечом, но мгновенно ему был нанесен удар ножа в лицо, и он почувствовал себя облепленным кровью.

Ловкость этого человека была изумительна. Его движения отличались эластичностью пантеры; удары, казалось, отражались от его тела, не нанося ему вреда. Вокруг него сыпался град разбитых кувшинов, обломков амфор, мелькавших в воздухе мечей; но он, с поднятой рукой и ножом в кисти, сделал быстрый прыжок к дверям и скрылся.

— За ним! за ним! — вопили римляне, преследуя его. И, привлеченные грубым удовольствием охоты за человеком, за ними последовали из трактира все, кто только мог еще держаться на ногах. Толпа людей, возбужденная видом крови, прыгала через умирающего римлянина и бесчувственных пьяниц, которые храпели подле обезглавленного. Грек видел, как они выбежали, и, разбившись на отдельные группы, разбрелись в различных направлениях, чтобы поймать кельтибера. Но тот скрылся в нескольких шагах от трактира, точно растаял во мраке.

Гавань заволновалась, охваченная горячкой погони. Замелькали огни на набережной и на улочках предместья; лупанары и харчевни подвергались грубому вторжению римлян, опьяненных злостью; у дверей каждой лачуги возникали новые ссоры, могущие перейти в кровавую расправу, и грек, боясь быть вовлеченным в распрю, быстро повернул к лестнице храма. Бачис не вернула, и грек, поднявшись по голубым ступеням, очутился во дворе храма, широкой террасе, вымощенной плитами голубого мрамора, на который поддерживающие фронтон колоннады бросали косые линии теней.

Пробуждаясь, Актеон почувствовал на своем лице теплоту солнца. Птицы пели на соседних масличных деревьях, а возле него звучали голоса. Очнувшись, он с удивлением увидел, что наступило утро, тогда как он был уверен, что прошло несколько минут с тех пор, как им овладел сон.

Молодая женщина, патрицианка, стояла в нескольких шагах от него и улыбалась. Она была обвита широкой тканью белой шерсти, которая, словно одеяние статуи, спускалось изящными складками к ее ногам. Волос не было видно, кроме нескольких белокурых завитков, спадающих на лоб. Губы были накрашены, а черные бархатные глаза, с мягкой ласковостью во взгляде, казалось, были окружены голубоватым сиянием от утомления бессонной ночи. При малейшем движении руки под мантией звенели серебряным звоном невидимые драгоценные украшения, а кончик сандалии, видневшийся из-под края одеяния, сверкал, точно алмазная звезда.

Позади нее две высокие рабыни кельтиберки со смуглой, пышной, почти обнаженной грудью и бедрами, опоясанными многоцветной тканью, держали: одна — пару голубей, а другая — на голове ларчик, покрытый розами.

Возле красивой патрицианки Актеон увидел Полианто, сагунтского лодчмана, и юношу, надушенного и изящного, который был на набережной с другим всадником во время прибытия корабля.

Грек невольно встал, пораженный прекрасным видением, которое улыбалось ему.

— Афинянин, — обратилась к нему женщина по-гречески, с чистейшим произношением. — Я — Сонника, собственница корабля, который тебя сюда доставил. Полианто — мой отпущенник и он очень хорошо поступил, привезя тебя. Он ведь знает, что твой народ привлекает меня. Кто ты?

— Я — Актеон и молю богов, чтобы они осыпали тебя милостями за твою доброту. Да сохранит Венера твою красоту на всю жизнь.

— Ты мореплаватель?.. или же купец? Быть может, странствуешь по свету, преподавая уроки красноречия и поэзии?

— Я солдат, как были солдатами все мои родные. Мой дед умер в Италии, защищая великого Пирра, который оплакивал его, как брата; мой отец был капитаном наемников на службе у Карфагена и его несправедливо умертвили в войну, именуемую неумолимой.

Несколько секунд он молчал, словно это воспоминание мешало ему продолжать, лишив голоса, и затем добавил:

— Я сражался до тех пор, пока не смолкли приказания Клеомана, последнего лакедемонянина. Я был одним из его сотоварищей, и когда герой пал побежденным, я сопровождал его в Александрию; извездив свет, я снова вернулся на родину, будучи не в силах выносить изгнания. Я также был купцом в Родосе, рыбаком в Босфоре, земледельцем в Египте и сатирическим поэтом в Афинах.

Красавица Сонника улыбалась, приблизившись к нему. Он был истым афинянином, обладающим всеми ка-



чествами этого столь любимого ею народа; одним из этих искателей приключений, привыкших к превратностям судьбы, объездившим весь свет и на старости лет записывающим многие эпизоды из деяний своей жизни.

— А почему же ты прибыл сюда?

— Я здесь так же случайно, как случайно мог очутиться в другом месте. Твой лоцман предложил довести меня в Зазинто, и я согласился. Я тосковал в Новом Карфагене. Меня могли принять в войска Ганнибала; мне достаточно было бы для этого назвать свое происхождение: греки дорого оплачиваются во всех войсках. Но здесь также война, и я предпочитаю идти против турдетанов, служить городу, которого не знаю.

— И ты здесь провел эту ночь? Разве ты не нашел приюта в трактирах?

— Я не нашел ни единого обола в своем кошельке. И если мне удалось поужинать, то только благодаря доброте одной несчастной блудницы, которая поделила со мною свою нужду. Я беден и отошал от голода. Но не жалей меня, Сонника, не гляди на меня глазами сострадания. Я также устраивал пиры, которые длились всю ночь до восхода солнца; в Родосе, в часы песен, мы кидали рабам серебряные блюда. Жизнь человека должна быть, как жизнь героев Гомера: то царь, то нищий.

Полианто смотрел с интересом на этого искателя приключений, а Лакаро, который принципиально был против того, что его приятельница Сонника оказывает внимание греку, столь плохо одетому, все же сам приблизился к нему, признавая изящество афинянина под его убогим наружным видом, и намереваясь сделать его своим другом, чтобы воспользоваться полезными уроками.

— Приходи сегодня в мой загородный дом,— сказала Сонника,— когда станет заходить солнце. Ты отужи-наешь с нами. Спроси первого встречного, где моя вилла, и каждый укажет тебе ее. Один из моих кораблей привез тебя в этот порт, и я хочу, чтоб под моим кровом ты нашел гостеприимство. До скорого свидания, афинянин. Я ведь также из Афин и при виде тебя мне показалось, что пред моими глазами еще сверкает золотое копье, украшающее верхушку Парфенона.

Сонника, кинув афинянину улыбку, направилась к храму, сопровождаемая своими двумя рабынями.

Актеон слышал, что говорили Лакаро и Полианто, стоя у храма. Минувшая ночь была проведена в доме Сонники. Лишь с восходом солнца оставили стол. Голова Лакаро была еще украшена венком пиршества с увядшими и лишенными листьев розами. Сонника почувствовала капризное желание увидеть Полианто и свой корабль, а также захотела по пути принести жертву Афродите, как это делала всегда, отправляясь в порт.

Лоцман отправился к своему кораблю, а Актеон направился с Лакаро к открытым дверям храма.

Внутри царила тишина и великолепие. В кровле здания было оставлено для освещения храма большое квадратное пространство, и солнце, проникая сквозь это окно, придавало зеленоватый отлив морской воды этим голубым колоннам с их капителями, изображающими раковин, и дельфинами, обвивающими их подножия. В глубине, обвеянной нежным полусветом, затуманенным жертвенными курениями, возвышалась богиня, белая, гордая и прекрасная в своей наготе, точно сейчас только вышедшая из морской пены и представшая перед изумленными очами людей.

Недалеко от дверей стоял жертвенник. Подле него жрец, в широкой шерстяной мантии, прикрепленной к голове венком цветов, принимал из рук Сонники дары жертвоприношения.

Когда Сонника вышла на перистиль, она обвела любовным взглядом море, покрытое пеной, порт, который сверкал точно тройное зеркало, зеленую и безграничную долину и далекий город, озаренный золотым сиянием первых солнечных лучей.

— Какая красота!.. Взгляни, Актеон, на наш город. Греция не лучше его.

У подножия лестницы ее ожидали носилки, настоящий маленький дом с пурпуровым пологом и украшенный по четырем углам страусовыми перьями.

Сонника вошла в это подвижное жилище, переносимое рабынями, отстранила Лакаро, с которым обращалась как с низшим существом, приближаемым лишь по

капризу, и снова взглянув на грека, стоящего на высоте храма, в последний раз улыбнулась, сделав прощальный жест рукой, унизанной до ногтей драгоценными перстнями и при каждом движении проливающей в воздухе ручьи света.

Носилки стали быстро удаляться по дороге, идущей в город, и в то же время Актеон почувствовал, что его шею ласково обвивают чьи-то руки.

Это была Бачис, еще более поблекшая и оборванная при свете солнца. Под глазом у нее был багровый подтек, а на руках фиолетовые пятна.

— Я не могла освободиться и прийти,— сказала она с покорностью рабыни.— Что за народ! Мне едва удалось заработать, чтобы заплатить Лаисе... Всю ночь я думала о тебе, мой бог, в то время, как меня мучили эти опротивевшие сатиры.

Актеон невольно отстранил лицо, избегая ее ласк. Он слышал запах вина, идущий от этой несчастной, охмелевшей и изнуренной после своих ночных походов.

— Ты избегаешь меня?.. Я понимаю. Я видела тебя беседующим с богачкой Сонникой, которую ее друзья называют первой красавицей Зазинто. Не станешь ли ты ее любовником? Я понимаю, что она будет обожать тебя, но ведь она такая же женщина, как и я... не болес... Скажи, Актеон: почему ты отталкиваешь меня? Почему не сделаешь своей рабой?..

Грек отвел ее худые руки, которые пытались обнять его, и устремил взгляд на дорогу, откуда доносились звуки труб и виднелись среди большого облака пыли сверкающие каски и копыя.

— Это едут послы Рима,— сказала куртизанка.

И привлеченная очарованием, производимым военными на ее детское воображение, она спустилась с лестницы храма, чтобы лучше видеть шествие.

Впереди шли трубачи римского корабля, дующие в свои длинные металлические трубы, со щеками, перевязанными широкими шерстяными лентами. Конвой из граждан Сагунта окружал послов, гарцуя на своих мохнатых кельтиберских лошадях, держа в руках копыя и прикрыв головы шлемами, которые скрывали следы

ударов, полученных в последних стычках с турдетанами. Несколько старцев сагунтского сената ехали на своих больших лошадях, неподвижно, с белыми бородами, спускающимися на грудь и доходящими до стремян, в темных мантиях, придерживаемых на голове вышитыми тиарами. Могучий *классияр* держал знамя Рима, которое заканчивалось изображением волчицы, а позади знамени следовали послы с обнаженными бритыми и круглыми головами: один — тучный, с тройным от жира подбородком, другой — сухой, нервный, с заостренным носом хищной птицы; оба в броне из шлифованной бронзы, в металлических котурнах, прикрывающих их ноги; на изогнутые в дугу бедра спадали полы одесня, цвета винной гущи, украшенные золотыми завязками, которые колебались при малейшем движении лошадей.

На набережной, среди групп моряков, рыбаков и рабов, встречалась кучка закутанных в плащи женщин, которые шли в сопровождении старика с наглым взглядом, сжатые губами и с тем отталкивающим выражением, которое лежит на лицах евнухов, живущих в постоянном общении с женщинами-рабынями. Это были танцовщицы из Гадеса, которые, сойдя с корабля Полианто, проходили набережную, оглушенные неожиданным шумом торжественного шествия.

Несколько женщин из рабочей пристани поднесли послам венки, сплетенные из цветов ближайших гор и касатки лагун. Крики приветствия раздавались вдоль пристани, на которой среди возбужденной толпы стояли безучастные группы моряков всех стран.

— Привет Риму! Да покровительствует вам Нептун! Боги да сопутствуют вам!

Актеон услышал позади себя глумливый взрыв смеха и, оглянувшись, увидел кельтиберского пастуха, который минувшей ночью убил римского воина.

— Ты здесь? — сказал грек с изумлением. — Ты один и не бежишь от римлян, которые тебя ищут?

Надменные глаза пастуха, те глаза, которые будили в греке смутные и непонятные воспоминания, гордо взглянули на него.

— Римляне!.. Я их презираю и ненавижу. Я пошел бы без страха хотя бы на палубу их корабля... У тебя свои соображения, Актеон, и ты не проник в мои.

— Как знаешь ты мое имя? — воскликнул грек с возрастающим изумлением, удивляясь также тому совершенству, с которым простой пастух говорил по-гречески.

— Я знаю твое имя и твою жизнь. Ты сын Лисастро, капитана, бывшего на службе у Карфагена, и как все люди твоей нации ты странствуешь по свету, нигде не встречая блага.

Грек, столь сильный и не потерявший ни при каких обстоятельствах, почувствовал себя смущенным перед этим загадочным человеком.

Кельтибер же, поглощенный созерцанием шествия, провожающего послов, повернулся спиной к Актеону. Глаза его выражали ненависть и презрение при виде сверкающей на солнце бронзовой волчицы римского знамени, приветствуемого сагунтцами.

Они мнят себя сильными, они уверены в себе потому, что Рим покровительствует им. Они воображают, что Карфаген умер потому, что его сенат, состоящий из торгашей, боится нарушить договор с Римом. Они обезглавили сагунтских друзей Карфагена, тех, которые были давнишними сторонниками Барков и выходили приветствовать Гамилькара, когда он проходил вблизи города, отправляясь в свои походы. Но они не знают, что есть тот, который не дремлет... Мир слишком тесен для двух народов. Быть или одному, или другому!..

Возгласы толпы, приветствовавшей ялик, на котором послы отплывали к *либурнике*, и шумные звуки труб, которые гремели на носу корабля, казалось, действовали на пастуха, словно удары бича, и со стиснутыми зубами, с глазами, покрасневшими от гнева, он простер свои могучие руки к кораблю и кинул, как зловещую угрозу.

— Рим!.. Рим!..

## II. ГОРОД

Солнце поднялось уже высоко, когда Актеон шел в город по дороге, называемой Зменной.

По пути ему встречались тележки, нагруженные бурдюками с маслом и амфорами с вином. Ряды рабов, согнутых под тяжестью ноши и с запыленными ногами, чтобы дать ему пройти, отступали к краю дороги с покорностью и приниженностью, испытываемыми ими перед свободным человеком. Грек на минуту приостановился перед масляными мельницами, глядя на громадные вертящиеся камни, приводимые в движение скованными рабами; затем пошел дальше, огибая горы, на вершинах которых возвышались *спекули* \*, своими красными огнями возвещающие Акрополю Сагунта о прибытии кораблей или же о движениях, замечаемых на противоположном косогоре, где начинались владения враждебных турдетанов.

Бесконечные поля раскинули свое плодородие под золотым дождем утреннего солнца. Из деревень, из сельских домов, из всех бесчисленных жилищ, беспорядочно разбросанных на всем протяжении долины, стекались люди на Змеиную дорогу, направляясь в город.

Большинство сагунтского населения жило в деревне, обрабатывая землю. Город был сравнительно мал. В нем жили только купцы и богатые землевладельцы, городское начальство и иностранцы. Но когда грозила какая-нибудь опасность, когда турдетаны предъявляли притязания на сагунтскую землю, тогда весь народ стекался в город, ища убежища и защиты за его стенами; и поселения, гоня впереди себя свои стада, шли слиться с ремесленниками Сагунта, укрываясь в городе, который обыкновенно посещали лишь в торговые дни.

Актеон догадался по многочисленному стечению народа, наполнявшего дорогу, что это должно быть базарный день на Форо. Рядами шли поселанки, неся на головах корзины, прикрытые листьями, одетые лишь в темную тунику, которая, спадая вдоль тела, обрисовывала при каждом шаге их грубые формы. Землепашцы, загорелые, сильные, в коротком одеянии из кожи или грубой ткани, подгоняли волов, везущих телеги, или ослов, навьюченных ношей; и вдоль дороги среди облаков красной пыли, подымаемой копытами бегущих животных,

---

\* Дозорные башни.

раздавался непрерывный звон колокольчиков козлиных стад и мягкое мычание коров.

Некоторые семьи уже возвращались с базара, показывая с гордостью обновки, приобретенные в лавках Форо взамен своих плодов; и приятели приостанавливались, чтобы полюбоваться новыми тканями, чашами из красной глины свежими и блестящими, женскими украшениями, грубо сделанными из прочного металла.

Смуглые девочки с сильными худощавыми членами и большими лбами, с распущенными по кельтиберскому обычаю волосами, попарно шли, неся на плечах длинные жерди, на которых висели ветки цветов, предназначенные для продажи благородным горожанкам. Другие несли защищенные от пыли листьями громадные тирсы красных вишен и от времени до времени, среди взрывов смеха, припрыгивали и кричали, копируя голосами и жестами богатую молодежь Сагунта, которая, к большому негодованию города, собиралась в саду Сонники, чтобы там перед изображением Дионисия подражать красивым безумиям Греции.

Актеон любовался красотой пейзажа: рощицы смоковниц, которыми славился Сагунт, начинали покрываться листьями, образуя из своих ветвей зеленые шатры, спускающиеся до самой земли; виноградные кусты, точно изумрудная зыбь, покрывали всю окрестность и вились на отдаленных горах, достигая сосновых и дубовых рощиц, а поля масличных деревьев, симметрично посаженные на ржавой почве, образовывали колоннаду с пирамидальными верхушками серебристой листвы. Вид этого прекрасного пейзажа взволновал Актеона, пробудив в нем воспоминание детства. Эта долина была так же хороша, как и родная Греция; здесь он останется, если только богам не будет угодно снова толкнуть его в безнадежные скитания по белу свету.

Он шел уже более часа, все время видя впереди себя красную гору с раскинутым на ее склоне городом, а наверху бесчисленные здания Акрополя. На одном из поворотов дороги он заметил, что народ останавливается перед жертвенником: длинным каменным алтарем, на котором распростерла свои чешуйчатые кольца голубо-

го мрамора громадная змея. Поселяне клали цветы и ставили глиняные чаши, наполненные молоком, перед неподвижным животным, которое своей поднятой головой и открытой гортанью, казалось, угрожало людям. На этом самом месте змея укусила несчастного Зазинто, когда он возвращался в Грецию с быками, похищенными в Героне, и вокруг его трупa, сожженного на холме Акрополя, основался город. Простой народ поклонялся гадине, как одному из основателей родины, и с ласковыми словами окружал ее жертвоприношениями, которые таинственно и быстро исчезали; многие верили, что с наступлением мрака змея оживает, так как слышали в бурные ночи ее ужасный свист, разносящийся на далекое расстояние.

Актеон догадался о близости Сагунта по могильным камням, которые возвышались по обе стороны дороги и привлекали внимание прохожего своими надписями. Позади них были раскинута сады, окруженные густыми изгородями, над которыми виднелись ветки фруктовых деревьев загородных вилл. Несколько рабынь смотрели на детей, совершенно нагих и с чертами греческого типа, которые играли и боролась. У ворот одного из садов гучный старик, одетый в пурпуровую хламиду, смотрел с холодной гордостью разбогатевшего коммерсанта на движущуюся волну простого люда. На террасе одной из дач Актеон заметил женскую прическу из волос, выкрашенных по афинской моде золотом и перевитых красными лентами; подле колебалось опахало из разноцветных перьев азиатских птиц. Это были богатые дачи сагунтских патрициев, вышедших из негоциантов.

Приближаясь к реке, Бэатис Перкес, которая отделяла город от его окрестностей, грек заметил, что рядом с ним идет молодая девушка, почти девочка, впереди которой бежало рысью стадо коз. Тонкая, стройная, с худощавыми членами и смуглой бархатистой кожей, она походила на мальчика, но не была им, так как короткая гуника, с разрезом по левой стороне, позволяла видеть ее грудь, слегка припухшую с приятной округленностью розового бутона, начинающего распускаться с силой молодости. Ее черные глаза, влажные и большие, каза-



лось заполняли все ее лицо, озаряя его таинственным сиянием; а из-за губ, горячих и воспаленных от ветра, сверкали зубы, блестящие, крепкие и ровные. Пышные волосы, связанные узлом на затылке, она украсила гирляндой самосеянных маков, собранных среди ржи. На плече она несла с мужественной легкостью тяжелую сетку, наполненную белыми сырами, круглыми, как хлеба, свежими и еще сочащимися сывороткой, а свободной рукой ласкала белую шерсть козы, своей любимицы, которая прижималась к ее ногам, звеня медным колокольчиком, привешанным к шее.

Актеон перешел реку среди телег, погруженных по оси в воду, и очутился перед стенами города, дивясь их крепости: природные каменные основы, без всякого скрепления, поддерживали стены и башни прочного сооружения.

У ворот Змеиной дороги, считавшимися главными, он был задержан смешанным скоплением людей, повозок и лошадей, которые заполняли узкий проход. Внутри города, почти прилегая к стене, находился храм Дианы, святилище, известное по своей древности всему миру и пользующееся не меньшей славой у сагунтцев. Актеон полюбовался кровлей храма из можжевельниковых досок, ценных по своей старинной выделке, и, желая поскорей ознакомиться с городом, пошел дальше.

Он находился на прямой улице, в конце которой возвышались здания, образующие громадную квадратную площадь с великолепными строениями, поддерживаемыми арками, под которыми сновала толпа. Это был Форум. Поверх крыш вдали виднелись многочисленные дома и белые ограды: город раскидывался террасами по склону горы, а в конце — стены Акрополя, колоннады храмов, поддерживающие фризы, сделанные из шлифованного лабрадора.

Актеон, продолжая идти по улице, ведущей к Форуму, невольно вспомнил приморский квартал Пирея. Это была торговая часть города, населенная по преимуществу греками. Сквозь низко поставленные окна видна была трудовая жизнь: рабы сваливали тюки, молодые люди с завитыми бородами и носами хищных птиц чертили на

восковых табличках сложные счета своих оборотов, а перед дверями домов на маленьких столах были выставлены образцы предметов торговли: горки пшеницы или шерсти и тяжелые металлические отрубки. Купцы стояли, прислонясь к косякам дверей, и разговаривали со своими покупателями, призывая в свидетели богов.

В некоторых лавках хозяин в одежде с золочеными цветами, в высокой шапке и пурпуровых сандалиях, с загадочными глазами сфинкса молчаливо слушал покупателящих, поглаживая локоны своей надушенной бороды. Это были купцы из Африки и Азии, карфагеняне, египтяне или финикийцы, которые хранили в своих домах драгоценные ткани, золотые вещи, слоновую кость, страусовые перья и янтарь. Перед их дверями останавливались богатые женщины, окутанные белыми мантиями и сопровождаемые рабынями; разговаривая, они заглядывали своими зарумянившимися личиками вовнутрь магазина, пьянея от дыхания чужеземных ароматов, исходящих от возбуждающих веществ Азии и таинственных благовоний Востока. Среди товаров величественно прохаживались со странными криками редкие, привезенные из тех же стран, птицы, которые влекли за собою, как настоящую мантию, свои многоцветные перья.

Актеон бегло осмотрел эти лавки, вошел на Форум. Был торговый день и вся жизнь города отхлынула к большой площади. Огородники разложили вокруг портиков груды своих овощей; полевые пастухи уложили в пирамиды сыры перед ковшами, наполненными молоком, а портовые женщины, загорелые и полунагие, предлагали свежую рыбу, лежащую на листьях в камышовых корзинах. В одном конце горные пастухи с диким видом, вооруженные небольшими копьями, присматривали за коровами и лошадьми, помещенными на рынке. Это были кельтиберы, те, о которых с ужасом говорили, что они часто едят человеческое мясо; казалось, они были поглощены жизнью площади, следя своими враждебными глазами за всем этим движением улья, столь непохожим на своеобразное одиночество их скитальческой жизни. Богатства Сагунта раздражали их воровские инстинкты и, сжимая копье, они глядели дикими

глазами на группу вооруженных наемников, состоящих на службе у города, которые в глубине Форо на ступенях храма охраняли сенатора, на которого возлагалась обязанность чинить правосудие в торговые дни.

В центре площади, покупая и споря, волновалась толпа, одетая в тысячу разнообразных цветов и говорящая на различных языках. Проходили добродетельные горожанки, скромно одетые в белое, сопровождаемые рабами, которые несли в нитяных кульках провизию, закупленную на неделю; греки, в длинных хламидах шафранного цвета, интересовались всем и долго торговались, прежде чем купить какую-нибудь безделицу, сагунтские граждане, иберийцы, потерявшие свою первобытную грубость вследствие постоянного скрещения, подражали своим одеянием и манерой держаться римлянам, которые в данное время являлись народом, наиболее уважаемым; и среди этой толпы виднелись бедняки страны, бордатые, загорелые, с длинными, непокорно спадающими на лоб гривами волос, привлеченные торгом, не взвизывая на отвращение, которое им внушал город и особенно греки своими богатствами и утонченностями.

Несколько кельтиберов, представителей родов более дружественных Сагунту, разъезжали среди Форо на лошадях, не выпуская из рук копья и щита, сплетенного из бычачьих нервов; прикрытые шлемом с тройным султаном и кожаной кирасой, они казалось находились в стране врагов и боялись неприятельских козней. Жены их, подвижные, загорелые и мужественные, переходили с одного места рынка к другому, раскачивая на ходу свое широкое одеяние, расшитое цветами ярких красок, и останавливаясь с детским любопытством перед столом какого-нибудь грека, продающего хрустальные и коралловые ожерелья и грубо вычеканенные бронзовые безделушки.

Плащи из тончайшей шерсти и дорогого пурпура смешивались с обнаженными членами рабов или кельтиберским *сагумом* из черной шерсти. Греческие прически, перевитые красными лентами, волны спущенных на затылок локонов и крохотные лбы, служащие как бы признаком высшей красоты, смешивались с прическами кель-

тиберских женщин, которые оставляли лбы открытыми и укладывали волосы вокруг прикрепленной к голове небольшой палочки, образуя острый рог, с которого спускалось черное покрывало. Некоторые кельтиберки носили плотное стальное ожерелье, от которого шло несколько спиц, соединенных на прическе, и с этой клетки, прикрывающей волосы, спадало покрывало, оставляя горделиво открытым громадный лоб, лоснящийся и сверкающий, как луна.

Актеон провел много времени, дивясь прическам этих женщин и их мужественному и воинственному виду. Его тонкий инстинкт грека угадывал опасность в этих варварах, неподвижных на своих конях среди Фороса, господствующих со своей высоты и глядящих взглядом полным ненависти на купцов и земледельцев других национальностей. Это были хищные птицы, которые, для того чтобы питаться и существовать в своих бесплодных горах, спускались в долину в качестве грабителей. И настанет день, когда Сагунт, окруженный этими народами, должен будет вступить в борьбу со всеми ими.

Грек, размышляя об этом, вошел под портики, где собирались праздные горожане перед лавками цирюльников, меняльчиков монет и продавцов вин и прохладительных напитков. Актеону казалось, что он очутился на Афинских галереях Агоры. За небольшим исключением это была та же толпа его родного города: важные граждане, за которыми раб переносил складной стул, чтобы, сидя у дверей какой-нибудь лавки, они слушали новости; любители новостей, которые перебегали от одной группы к другой, распространяя самые свежие новости; прихлебатели, ищущие приглашения покушать и лебезящие перед богачом, подле которого вертелись, и осуждающие всех, мимо проходящих; педагоги, до криков спорящие по поводу какого-нибудь правила греческой грамматики, и молодые граждане, порицающие старых сенаторов и утверждающие, что республике нужны люди более сильные.

Много говорили о последнем походе против турдетанов и о большой победе, одержанной над ними. Теперь то они уж не подымут головы; их царь, бежавший в са-

мые отдаленные места своих владений, достаточно прочен недавним поражением. И сагунтская молодежь смотрела с гордостью на трофеи, состоящие из копий, щитов и касок, висящих на пилястрах портиков. Это было оружие нескольких сотен турдетанов, убитых или взятых в плен в последний поход. В лавках цырюльников продавалась по низкой цене мебель и украшения, награбленные сагунтскими воинами во вражеских деревнях. Никто не хотел их. Город был завален подобными предметами грабежа, сагунтское войско вернулось, ведя за собою целую армию нагруженных телег и бесконечное стадо людей и животных. Все улыбались, думая о торжестве победы, с холодной жестокостью, присущей древней войне, не знающей прощения и считающей рабство наибольшим милосердием для побежденного.

Возле храма, где чинилось правосудие, производилась торговля рабами. Они сидели вокруг на земле, прикрытые рубищем, с руками, скрещенными на ногах, и подбородком, опирающимся о колени. Рабы по рождению ожидали нового хозяина с пассивностью животных, с исхудалыми от голода членами и бритой головой, прикрытой белой шапкой. Другие, сидящие ближе к торговцу, были бородаты, и на их грязных, густых волосах лежали венки из ветвей, чтобы отличить их как рабов, плененных во время войны. Это были свободные турдетаны, не могущие выкупить себя; в их глазах еще сверкали ужас и ярость от сознания, что они обращены в рабство. Многие из них были скованы цепями, и на их теле виднелись еще свежие шрамы последней битвы. Они злобно смотрели на этот враждебный им народ, судорожно сжимая рот, точно желая укусить; некоторые же из них в волнении шевелили правой рукой, оканчивающейся бесформенным обрубок. Им отрубали руку после сражения с каким-нибудь внутренним племенем, которое таким образом лишало пленных возможности быть пригодными к битве.

Сагунтцы равнодушно смотрели на этих врагов, превращенных в предметы, в животных в силу жестокого закона завоевания, и, забывая о турдетанах, говорили о городских раздорах, о борьбе партий, которая казалось

была подавлена вмешательством римских послов. На ступенях обширного храма еще видны были следы крови обезглавленных за расположение к Карфагену, и друзья Рима, которых было большинство, громко говорили, одобряя энергичные действия посланников великой Республики. Город будет теперь жить в мире и будет держаться покровительства Рима.

Актеону, который прислушивался к разговорам групп, вдруг показалось, что среди толпы, спускающейся и поднимающейся по ступеням обширного храма, он увидел пастуха, который минувшей ночью убил римского воина. Это было минутное видение: его черный *сагум* затерялся среди групп, и грек остался в сомнении, не зная, действительно ли это был он!

Наступал день. Актеон много времени провел на рынке и подумал, что уж пора заняться своими делами. Так как ему надо было повидать Мопсо, то он направился к Акрополю и стал подниматься по извилистым улицам, вымощенным кремнем, с белыми домами, в дверях которых женщины пряли и ткали шерсть.

Дойдя до Акрополя, грек залюбовался циклопическими стенами, сложенными из громадных камней с редким искусством и прочностью. Это была колыбель города.

Он прошел под широким сводом и очутился на обширной площади, окруженной стенами, которые могли вместить в себе столь многочисленное население, как Сагунта. На этом громадном пространстве возвышались в беспорядке разбросанные общественные здания, являющиеся как бы воспоминанием той эпохи, когда город стоял на вершине и не спускался, расширяясь, к морю. За стенами начинались неизмеримые плодородные земли владений Республики, теряющиеся на юге вдоль морского берега; бесчисленные деревушки и дачи группировались по берегам Бэатис Перкес, а город точно большой белый веер, раскинулся на склоне горы, огороженный стенами, через которые казалось выскочат стиснутые ряды домов, украшенных садами.

Вернувшись взглядом к Акрополю, Актеон стал рассматривать храм Геркулеса. Вокруг него шла колоннада, где помещались Сенат, мастерская для чеканки мо-

нет, храм, в котором хранились сокровища республики, арсенал, где вооружались граждане, казармы для наемников; и, господствуя над всеми этими зданиями, высилась башня Геркулеса, огромное циклопическое сооружение, которое ночью возвещало своими огнями морским и горным *спекулям* о тревоге или спокойствии всей сагунтской территории. Невдалеке группа рабов, руководимая греческими артистами, заканчивала небольшой храм, который богачка Сонника воздвигала в Акрополе в честь Минервы.

Сагунтцы, которые поднялись в Акрополь, чтобы спокойно полюбоваться своим городом, и наемники, которые чистили мечи и бронзовые кирасы у дверей своих казарм, с любопытством смотрели на грека.

Один сагунтец, благообразный, одетый по-римски в красную тогу и опирающийся на длинную палку, заговорил с ним. Это был мужчина средних лет, крепкий, с седеющими волосами и бородой и с выражением доброты в глазах и в улыбке.

— Скажи мне, грек,— ласково спросил он: — чего ты прибыл сюда? Не купец ли ты?.. Не мореплаватель ли? Не ищешь ли ты для своей страны серебра, которое нам доставляют кельтиберы?..

— Нет, я бедняк, странствующий по свету, и я пришел, чтобы предложить себя Республике в качестве солдата.

Сагунтец сделал жест грусти.

— Я должен был угадать это по оружию, которое служит тебе опорой... Солдаты!.. Вечно солдаты!.. В прежние времена в целом городе не было видно ни единого меча, ни единого дротика. Прибывали чужеземцы на своих кораблях, наполненных товарами, брали наши товары, нам давали свои, и мы жили в миру, воспеваемом поэтами. Теперь же те, которые приезжают — греки, и римляне, африканцы и азиаты,— представляют собою *Флот*, являясь дикими псами, которые прибывают, чтобы предложить свои услуги сторожить стадо, которое прежде, в мирное время, не боялось врагов. Видя все эти воинственные приготовления, наблюдая как радуется сагунтская молодежь, говоря о последнем походе про-

тив турдетанов, я боюсь за город, за судьбу своих... Теперь мы самые сильные, но не явится ли кто-либо, кто окажется сильнее нас и наложит на наши шеи цепи рабства?..

И с высоты стены он смотрел на город с мягкой грустью.

— Чужеземец,— продолжал он,— меня зовут Алько, а друзья мои называют меня Благоразумным. Старцы Сената слушают моих советов, но молодежь им не следует. Я торговал, я объездил свет, у меня есть жена и сыновья, которые пользуются благосостоянием, и я глубоко убежден, что мир — это счастье для народов.

— Я Актеон, сын Афин. Я был мореплавателем и мои корабли потерпели крушение; я торговал и потерял свое состояние. Меркурий и Нептун всегда обходились со мною, как нелюбящие отцы, без всякого сострадания. Я много наслаждался, но еще более страдал, и теперь, почти обнищав, я прибыл сюда, чтобы продать свою кровь и свои мускулы.

— Ты плохо поступаешь, афинянин: ты человек, а хочешь превратиться в волка. Знаешь ли, что более всего мне нравится в твоём народе? Это то, что вы насмеяетесь над Геркулесом и его подвигами и воздаёте культ Палладе-Афине. Вы презираете силу, чтобы поклоняться уму и искусствам мира.

— Сильная рука стоит столько же, сколько и голова, в которую Зевс вдохнул свой огонь.

— Да, но эта рука толкает голову на смерть.

Актеон почувствовал себя раздосадованным словами Алько.

— Не знаешь ли ты стрелка Мопсо?..

— Ты найдешь его там, подле храма Геркулеса. Ты его узнаешь по оружию, которое он никогда не оставляет. Он один из тех, который привлекает сюда злого духа войны.

— Привет, Алько!

— Да покровительствуют тебе боги, афинянин.

Актеон узнал Мопсо в доблестном греке с луком и колчаном, спускающимися с его плеч. Это был могучий мужчина, с длинной бородой. Мускулистые и могучие.



руки напряжением своих сил давали представление о той силе, которой они обладали, чтобы натягивать тугой лук и пускать стрелы.

Он отнесся к Актеону с почтительной симпатией, которую афиняне внушали своим превосходством грекам островов.

— Я поговорю с Сенатом,— сказал он, узнав намерение Актеона.— Достаточно моего слова, чтобы ты был принят в наемники со всеми отличиями, какие заслужи- ваешь. Сражался ли ты когда-либо?

— Я воевал в Лакедемонии, под начальством Клеомена.

— Знаменитый военачальник; сюда дошли слухи о подвигах спартанского царя. Что случилось с ним?

— Он был побежден, но не сдался и бежал в Александрию. Там жил он в изгнании под покровительством Птолемея, но, как мне недавно говорили в Новом Карфагене, вследствие придворных интриг он впал в немилость: египетский монарх велел его умертвить, и Клеомен, вместе со своими двенадцатью спутниками, погиб, будучи убитым. Когда он умирал, то видел пред собой груды трупов.

— Конец, достойный героя... Где изучал ты военное искусство?

— Я начал воевать на полях Сицилии и Карфагена в рядах наемников, а закончил свое образование в Пританее Афин. Мой отец, Лисастро, был капитаном, состоявшим на службе у Гамилькара; он был умерщвлен карфагенянами во время войны с наемниками, именуемой беспощадной.

— Славная школа и доблестный отец. Имя его также доходило до моего слуха в те времена, когда я скитался по свету прежде, чем поступить на службу к Сагунту... Добро пожаловать, Актеон! Если ты пожелаешь вступить в *гоплиты* \*, то будешь находиться в первом ряду фланга, с тяжелыми доспехами и длинной пикой... Впрочем, нет: вы, афиняне предпочитаете сражаться на легке; вы более опасны на бегу, чем в нанесении ударов.

\* Пешие воины с тяжелым вооружением, приспособленным только к рукопашному бою.

Ты будешь *пельтастом* со своим охотничьим копьем и легким щитом, называемых *пельтой*; ты будешь свободно сражаться и я уверен, что о твоих геройских подвигах будут говорить.

Мимо обоих греков прошло несколько старцев, которым стрелок почтительно поклонился.

— Это сенаторы,— сказал Мопсо,— которые собираются по случаю базарного дня. Многие из них прибыли из своих дач и направляются в своих носилках к Акрополю. Они собираются под этой колоннадой.

Актеон видел как они следовали в своих сиденьях из резного дерева, заканчивающихся головой льва. По своим лицам и одеяниям они резко отличались от городских жителей. Те, которые по происхождению были иберийцами, прибыли со своих полей бородатые, загорелые в льняной кирасе, подбитой грубой шерстью, с коротким, спускающимся с плеча мечом о двух остриях и в шлеме, сделанном из плотной кожи и заменяющем каску. Греческие же коммерсанты являлись с выбритыми щеками, одетые в белую хламиду, из-под которой выступала обнаженная правая рука; лента точно венок обвивала их волосы; они опирались о высокую палку, оканчивающуюся еловой шишкой. Они казались царями из Илиады, собравшимися перед Троей.

Актеон увидел среди них гиганта с черной бородой и короткими, вьющимися волосами, которые покрывали его голову точно волосяной митрой. Из-под прикрывавшего его красного плаща видны были его атлетические члены с выступающими мускулами и напряженными жилами, которые казалось готовы были лопнуть.

— Это Тэрон,— сказал стрелок,— великий жрец Геркулеса; исключительный человек, который получил венок на Олимпийских Играх. Он убивает быка одним ударом кулака в загривок.

Вторично греку показалось, что он видит среди людей, собравшихся подле сената, кельтиберского пастуха, который с интересом рассматривал исполинского жреца Геркулеса. Но стрелок продолжал говорить ему, и он перевел свой взгляд на Мопсо.

— Сейчас начнется совет, и я должен быть здесь. Ступай, Актеон, и жди меня на Форосе.

Оба грека простились, и Актеон снова направился к Форосу, причем, проходя Акрополь, ему показалось, что он опять видит таинственного пастуха.

Входя на портики, он услышал свистки и крики; кучки людей кружились, смеясь и произнося оскорбление; публика поспешно выходила из цирюленьих и парфюмерных магазинов. Грек увидел группу молодых людей, роскошно одетых, которые спокойно, с презрительной усмешкой, проходили под бурею свистков и насмешек, вызываемых их появлением.

Это была золотая молодежь Сагунта; богатые юноши, которые подражали модам афинской аристократии, преувеличенным расстоянием и отсутствием вкуса. Актеон также невольно улыбнулся своей тонкой усмешкой афинянина, подметив неумение, с которым эти молодые люди подражали своим далеким оригиналам.

Во главе их шел Лакаро, щеголь, сопровождавший Соннику во время ее утреннего посещения храма Венеры. Они шли одетые в ткани кричащих цветов и настолько прозрачные, что сквозь них просвечивали их тела, точно так же как сквозь туники, одеваемые гетерами во время пиршеств. Их тщательно выбритые щеки были покрыты слоем румян, а глаза увеличены черными подведенными линиями; волосы, завитые и надушенные благовонным маслом, были перехвачены шелковой лентой. У некоторых из них были в ушах большие золотые серьги и на ходу звенели невидимые браслеты. Другие лениво опирались о плечо маленьких рабов с белыми шеями и волосами в крупных завитках, которые походили на девочек по округленностям своих форм. Точно не слыша оскорблений и насмешек толпы, молодые люди спокойно беседовали о греческих стихах, которые сочинил один из них; спорили о их достоинстве, о том, в каком лучше тоне аккомпанировать им на лире, и, вполне удовлетворенные скандалом, вызываемым их присутствием на Форосе, они приостанавливались лишь для того, чтобы поласкать щеку своих маленьких рабов или же чтобы приветствовать знакомых.

— Не говорите мне, что они подражают грекам,— ораторствовал перед собранием старик со злобным лицом и в грязном, заплатанном плаще педагога, не имеющего места.— Огонь богов должен пасть на город. Положим, верно, что наш отец Зевс в минуту страсти был пленен прекрасным Ганимедом, но... а ведь Леда и все бесчисленные красавицы, которые заполучили в свои утробы огонь повелителя?.. Хорош станет мир, если мы, люди, будем подражать богам и все станем поступать как эти глупцы, одетые по-женски! Хотите видеть грека? Вот он пред вами: этот действительный сын Эллады.

И он указал на Актеона, который заметил устремленные на него любопытные взгляды собравшихся.

— Как, вероятно, ты смеешься, чужеземец, глядя на этих несчастных, которые столь неумело стараются подражать твоей родине,— продолжал ораторствовать голодующий старик с видом нищего.— Ты знаешь, я философ. Единственный сагунтский философ, и вследствие этого, как ты видишь, этот неблагодарный народ допускает меня умирать с голоду. В молодости я был в Афинах, я обучался в ее школах, затем стал моряком и объездил свет, чтобы найти истину в самом себе. Я не придумал ничего нового, но я знаю все, что высказано людьми о душе и мире, и если желаешь, я скажу тебе наизусть целые статьи из Сократа и Платона и все изречения великого Диогена. Я знаю твою страну и стыжусь за свой город, видя в нем столько глупцов... Знаешь ли кто виноват в этих чудачествах, которые нас бесчестят? Конечно, Сонника, та Сонника, которая величается богачкой, бывшая куртизанка, которая кончит тем, что превратит Сагунт в публичный дом, разрушив традиции города и строгие, здоровые нравы прежних времен.

При имени Сонники среди присутствующих поднялся ропот протеста.

— Видишь ли их? — кричал философ, все более возмущаясь.— Они лстивые рабы, которые трепещут перед правдой. Имя Сонники производит на них такое же действие, как имя богини. Видишь ли ты того, который убегает? Ведь его отцу Сонника на днях одолжила со-

лидную сумму, без всякой для себя прибыли, с единственной целью, чтобы они могли купить пшеницу в Сицилии, и поэтому он считает должным бежать оттуда, где говорится что-либо против Сонники. А взгляни на этого, который повернулся спиной. Куртизанка дала свободу его отцу, бывшему рабом, и он не хочет слышать ничего, что оскорбляет Соннику. А эти остальные, которые более мужественны, не уходят, но глядят на меня так, точно хотят меня пожрать, все они получили от нее милость и готовы были бы прибить меня за мои слова. Это рабы, которые защищают ее, словно благодетельное божество. Каковы они, таково и большинство в Сагунге, поэтому-то судьи и не дерзают покарать эту гречанку, которая своими безумными выходками оскорбляет город. Идите сюда, бейте меня, торгаши; колотите единственного носителя правды в Сагунте!

Присутствующие постепенно расходились, оставляя философа, который неистово потрясал руками, метая громы негодования.

— Тебе бы следовало быть более благодарным,— заметил с презрением, удаляясь, один из последних.— Если бывают дни, когда тебе удастся поесть, то это за столом Сонники.

— Я буду у нее ужинать и этой ночью,— воскликнул философ с заносчивостью.— Но что ж из этого следует? Я ей и в глаза скажу то же, что говорю здесь!.. И она, как всегда, станет смеяться; вы же будете есть у себя по домам объедки, думая об ее пиршестве!..

— Неблагодарный! Блюдолиз!..— проговорил уходящий, с презрением повернувшись к нему спиной.

— Благодарность это собачье свойство; человек доказывает свое превосходство, говоря худо о тех, которые ему покровительствуют... Если не хотите, чтобы философ Эуфобий был блюдолизом, так кормите его за его мудрость.

Но Эуфобий напрасно говорил. Все разошлись, соединяясь к соседним группам. Один только Актеон остался подле, с интересом изучая его и как бы удивляясь тому, что в этом отдаленном городе встречает человека, столь похожего на тех, которые в Афинах распо-

ложились подле Академии, представляя собою философствующую чернь, голодную и мрачную.

Прихлебатель, увидя, что возле него нет никого, кроме грека, с силою схватил его за руку.

— Ты один достоин меня слушать. Сейчас же видно, что ты из Афин и что умеешь отличить заслуживающего внимания.

— Кто такая эта Сонника, которая возбуждает в тебе такое негодование своим поведением? Ты знаешь ее жизнь? — спросил афинянин, желая узнать прошлое женщины, имя которой казалось было на устах всего города.

— Как мне не знать ее жизни. Тысячу раз она мне ее рассказывала в минуты тоски и скуки, которые у нее бывают весьма часто. Когда мне не удастся позабавить ее своими знаниями, и она чувствует потребность пооткровенничать, она рассказывает мне о своем прошлом, но говорит со мной с таким пренебрежением, точно беседует со своим псом. Ее жизнь это длинная история.

Философ приостановился и, прищуриль глаз, указал на находящуюся вблизи дверь, сквозь которую виднелся прилавок, уставленный рядом амфор.

— В доме Фульвия нам будет лучше всего. Это честнейший римлянин, который клянется, что состоит во вражде с водою. Третьего дня он получил чудесное вино из Лауроны. Я отсюда слышу его аромат.

— У меня нет ни единого обола в кошельке.

Философ, который расширил ноздри, точно вдыхая запах винного сока, сделал жест уныния. Потом с нежностью посмотрел на грека.

— Ты достоин слушать меня. Беден так же, как и я среди этих разбогатевших торгашей!.. И, так как нет вина, идем: прогулка проясняет мысли. Я буду беседовать с тобою, как Аристотель со своими любимыми учениками.

И идя вдоль портика, Эуфобий начал рассказывать то, что знал о жизни Сонники.

Она предполагала, что родилась на Кипре, острове любви мореплавателей. На этих морских берегах, из пены которых поэты воспроизвели рождение победной кра-

соты Венеры Афродиты, женщины острова выбегали ночью на поиски моряков, чтобы в память богини предаваться распутству. Последствием одной из таких встреч с гребцом было рождение Сонники. Она смутно помнила первые годы своего детства, протекшие на палубе корабля; питаемая и презираемая, как корабельная кошка, она посещала многие порты, населенные людьми, различными по одежаниям, обычаям и наречию, но видела все это издали и неясно, точно видение сна, никогда не ступая ногой на твердую почву.

Прежде чем стать женщиной, она стала любовницей хозяина судна, самосского лоцмана, который, пресытившись ею или соблазнившись крупным заработком, однажды ночью продал ее одному беотийцу, содержавшему публичный дом в Пирее. Не прошло и двух лет, как маленькая Сонника приобрела известность среди проституток, которые наполняли ночью Пирей, главный центр афинской проституции.

Сменяющееся население города, состоящее из иностранцев, игроков и юношей, выгнанных из своих домов строгими отцами, стекалось в это предместье Афин, которое окружало порты Пирея и Фаралео, образуя пригород Эстирона. Как только спускалась ночь, весь этот люд, мятежный и порочный, собирался на большой площади Пирея между городом и портом, где сновали проститутки, которым с наступлением сумрака разрешалось выходить из диктерионов, где их держали взаперти. Под портиками площади кидали свои игральные кости игроки, спорили странствующие философы, спали бродяги, рассказывали о своих путешествиях моряки и среди этого сборища разнородных людей проходили проститутки с накрашенным лицом, почти обнаженные или же в полосатых мантиях ярких цветов, отличающих их африканское и азиатское происхождение. Там выросла и воспиталась юная дочь Кипра, ища каждую ночь какого-нибудь торговца пшеницы из Вифинии или поставщика кож великой Греции, людей грубых и жизнерадостных, которые хотели прежде, чем вернуться на родину, порастратить часть своих барышей с куртизанками Афин. Днем она являлась неизменной добычей диктери-

она, снаружи грязного дома, единственным украшением фасада которого служил большой фонарь, являющийся вывеской заведения; здесь не было цепной собаки, которая держалась при большинстве жилищ, двери были всегда открыты, и когда приподымалась грубая шерстяная завеса, виднелся внутренний двор дома, где сидел на корточках или на подушках весь живой товар диктериона: женщины развращенные и истощенные любовным пылом, и девочки, едва достигшие возмужалости; все обнаженные, противопоставляющие темную и бархатистую кожу египтянок бледной коже гречанок и белой, шелковистой азиаток.

Сонника, которую тогда называли Мирриной (имя, данное ей моряками), утомилась жизнью диктериона. Все там были рабынями, которых беотиец бил палками, если они вызвали недовольство какого-нибудь посетителя. Ей было противно получать определенные законом Солона два обола из этих мозолистых рук, которые, лаская, причиняли ей боль; в ней возбуждали отвращение люди всех стран света, низкие и грубые, которые являлись, ища наслаждения, и уходили удовлетворенные, беспрестанно сменяемые другими и другими, точно постоянная, повторяющая одинаковые настроения и однородные искания волна желаний, возбуждаемых морским уединением. Однажды ночью Сонника в последний раз посетила храм Венеры Пандемос, воздвигнутый Солоном на большой площади Пирея, и, как последнюю жертву, возложила два обола перед статуями Венеры и ее спутницы Пифо, двумя богинями куртизанок, мимо которых она проходила много раз со своими возлюбленными, прежде чем отдаться им на берегу моря или подле большой стены, выстроенной Фемистоклом, чтобы соединить порт с Афинами. Затем она бежала в город, стремясь к свободе и наслаждению, желая стать одной из тех афинских гетер, которые славились своей роскошью и красотой далеко за пределами родины.

Она жила, как свободные, и бедные куртизанки, которых африканская молодежь за их крики называла *волчицами*. Вначале она проводила целые дни, ничего не евши, но считала себя счастливее своих прежних подруг



порта Фаралео или пригорода Эстирона, жалких рабынь содержателей диктерионов. Теперь местом ее торговли было Церамико, обширное предместье Афин, расположенное вдоль стены между воротами Церамико и Дипиля, где находился сад Академии и намогильные памятники славных граждан, умерших за Республику. Днем сюда приходили известные гетеры или же присылали своих рабынь посмотреть, написаны ли углем их имена на стене Церамико. Афинянин, который желал обладать какой-нибудь куртизанкой, писал ее имя рядом с многочисленными предложениями, и если он нравился гетере, она под надписью обозначала время свидания. При свете солнца здесь щеголяли знаменитые куртизанки, почти обнаженные, в пурпуровых сандалиях, в цветных покрывах и с венками из свежих роз на пышных волосах, припудренных золотом. Поэты, риторы, артисты и знатные горожане прогуливались по зеленым рошицам Церамико.

С наступлением ночи место прогулки наполнялось теплою женщиной, несчастных и оборванных, отдающихся среди памятников великих граждан. Это была чернь афинского наслаждения, живущая на свободе и ищущая мрака: старые куртизанки, которые под покровом ночи выходили зарабатывать хлеб на то место, где в прежние времена царили могуществом своей красоты; бывшие проститутки диктерионов; рабыни, которые убегали на несколько часов из дома господина, и женщины народа, которые искали в разврате услады своей бедности. Прячась за памятниками, среди лавровых рошиц, они оставались неподвижными, как сфинксы, но как только в тишине Церамико раздавались мужские шаги, они выходили со всех сторон, призывая окриками проходящего. Часто они убегали с безумной быстротой, узнавая сборщика подати, наложенной Солоном на продажных женщин и являющейся самым лучшим доходом Афин. В полночь, возвращающийся с пира прохожий, идя по Церамико, чувствовал вокруг себя движение, слышал шорохи невидимых существ. Поэты, смеясь, говорили, что это тени великих граждан, вздыхающих в своих глубоких могилах.

Так жила Миррина до пятнадцати лет, проводя ночь на Церамико, а день в лачуге старухи из Фессалии, которая, как и все старухи ее страны, пользовалась известностью как колдунья, помогала при разрешении от бремени, продавала куртизанкам любовные напитки и мολодила лица тех, которые начинали блекнуть.

Чему только не научилась там маленькая *волчица*, живя подле старухи, костлявой и противной, как Парки. Она помогала ей растирать белила, которые, смешав с рыбьим жиром, сглаживали морщины лица; готовила муку из бобов для смазывания грудей и живота, чтобы придать гладкость коже; наполняла флакончики сурьмой, чтобы придавать блеск глазам; распускала кармин, чтобы окрашивать легкими мазками лучистые морщинки подле глаз, и с глубоким вниманием выслушивала мудрые советы, которыми старуха наставляла своих питомок, чтобы они во всем блеске показывали особенности своих совершенств и скрывали недостатки. Старая фессалийка советовала женщинам низкого роста носить обувь с толстой пробковой подошвой, а высоким — легкие сандалии и голову втягивать между плеч; она изготовляла особую пищу для худых, китовый состав для тучных; она красила сажей седые волосы, и тем, у которых были красивые зубы, говорила носить между губами миртовый стебель, советуя смеяться при малейшем слове.

Молодая девушка пользовалась доверием старой фессалийки, которая посвящала ее в некоторые более опасные из своих знаний: изготовление любовных напитков и составление волшебных чар, за что не раз она была преследуема властями Ареопага. Самые богатые гетеры обращались к ней за советом, чтобы удовлетворить свои желания или чувство мести, и она делилась с ними своими знаниями. Чтобы сделать мужчину бесильным или женщину бесплодной, следовало только дать им чашу вина, в которой плавала барвена; чтобы привлечь позабывшего любовника, надо сжечь в огне ветки тимьяна и лавра и сладкий мучной пирог без кваски; чтобы превратить любовь в ненависть, нужно только идти за человеком, попирая его следы и ставя

правую ногу туда, где он ступил левой, причем следует приговаривать: «Стою на тебе, тебя попираю». Если надо было вернуть остывшего возлюбленного, старуха скапывала бронзовый шарик, который одевала на грудь, моля Венеру, чтобы с этой минуты вернулся любимый, и если заклинание не оказывало должного действия, кидалось на волшебную жаровню восковое изображение любимого существа, моля богов, чтобы растаяло от любви холодное сердце так же, как тает его изображение. И наряду с этими колдовствами, окруженными таинственными заклинаниями, шли приготовленные из трав напитки, которые много раз причиняли смерть.

В одну весеннюю лунную ночь у Миррины произошла на Церамико встреча, которая заставила ее покинуть лачугу фессалийки. Она сидела подле могилы, когда ее призывный крик, нежный и слабый, как жалоба, привлек мужчину, одетого в белый плащ. Судя по блеску глаз и неуверенности шагов, он был нетрезв. На голые у него был веночек из привявших роз.

Миррина узнала в нем благородного горожанина, который возвращался с пира. Это был поэт Сималион, молодой аристократ, который был награжден венком на Олимпийских Играх и в котором Афины видели повторение творческого вдохновения Анакреона. Красивейшие гетеры пели на пирах его стихи под звуки лиры, а добродетельные граждankи шептали их в уединении, охваченные душевным волнением. Самые известные красавицы Афин оспаривали друг у друга поэта, а он, больной во цвете молодости, как бы изнемогающий под бременем всеобщего обожания, укрывался в храме Эскулапа, когда кашель вызывал у него кровохаркание, или же отправлялся путешествовать по всем целебным источникам Греции и ее островов; но как только чувствовал себя окрепшим и новый прилив крови разливался по его телу, он с отвращением относился к врачам, спешил на пиры с негоциантами и артистами Аттики, проводил время среди известных гетер и хорошеньких флейтисток, переходя из одних объятий в другие, платя за ласки стихами, которые долго потом повторялись целым городом; всегда пламенный, он сжигал свою жизнь, точно

факел, который в ночные празднества Дионисия проходил цепью по рукам вакханок до тех пор, пока не терялся в бесконечности.

Возвращаясь с одной из таких оргий, он встретил Миррину и при свете луны заметив ее красоту, свежую, совершенную и почти детскую в этом месте, посещаемом грязными *волчицами*, он невольно провел руками по глазам, словно боясь быть обманутым возбуждением опьянения. Это была Психея, с грудями упругими и округленными, точно гармонично изогнутая чаша, с правильными и мягкими линиями, которые привели бы в восторг скульпторов Академии; и поэт испытал такое же удовлетворение, какое испытывал, когда после поздней уединенной прогулки за городом, вдоль стены Фемистокла, он находил последние строфы к своей оде.

Она хотела повести его в лачугу фессалийки, но Сималион, смущенный видом тела слоновой кости, которая, казалось, сверкала среди лохмотьев, отвел ее в свой великолепный дом, стоящий на улице Треножников, и там Миррина осталась в качестве госпожи, имеющей рабынь и роскошные одеяния.

Этот смелый поступок поэта поразил Афины. На Агоре и Церамико только и говорили, что о новой возлюбленной Сималиона.

Известные гетеры, которым никогда не удавалось всецело завладеть поэтом, негодовали, видя его соединенным тесными узами с юной девушкой из диктериона, которую знали многие бродяги Пирея. На все большие празднества в храмах Аттики он возил ее в своей коляске, запряженной тройкой с подрезанной гривой; по утрам он сочинял в честь ее стихи и будил ее, произнося их и осыпая ее ложе потоками цветов. Он задавал пиры приятелям артистам, тешась их завистью и удивлением, когда к десерту Миррина появлялась на столе, обнаженная, в великолепии чистой красоты, которая возбуждала в греках благоговейное волнение.

Верная Сималиону вначале из чувства благодарности, а потом полюбившая поэта и его творения, Миррина обожала его как господина и как любовника. Она вскоре выучилась играть на лире и читать стихи всех

размеров; перечла всю библиотеку своего возлюбленного, чтобы блеснуть своими знаниями перед приглашаемыми к ужину артистами и считаться среди афинских гетер самой умной.

Сималион, с каждым днем все более приходящий в восторг от своей возлюбленной, безжалостно расточал свои жизненные силы и свое состояние. Он поручал привозить для нее из Азии тончайшие одеяния, расшитые фантастическими цветами и просвечивающие перламутровую белизну ее тела; золотую пудру для волос, делающую ее походящей на богинь, которых поэты и артисты Греции всегда изображали рыжими; поручал мореплавателям покупать египетские розы исключительной свежести, и все более худеющий, с блекнувшей кожей, кашляющий и задыхающийся в объятиях своей возлюбленной, он чувствовал, как убывают его силы.

Так прошло два года, вплоть до того осеннего вечера, когда, сидя на дерне своего сада и склонив голову на колени красавицы, он в последний раз слушал свои стихи, петые свежим голосом Миррины под аккомпанемент лиры, по струнам которой скользили белые пальцы. Заходящее солнце горело на раскаленном копье Минервы Парфенона. Детская рука Сималиона с трудом удерживала золотую чашу, наполненную вином с медом. Он сделал усилие, чтобы поцеловать свою возлюбленную; розы, венчающие его, стали осыпаться, покрывая дождем лепестков грудь Миррины; вздохнув, он закрыл глаза и умер на тех коленях, которым отдал последние остатки своей жизни.

Молодая девушка оплакивала его с отчаянием вдовы. Она обрезала свои великолепные волосы, чтобы возложить их как жертву на его могилу, оделась в темную шерсть, как высокодобродетельные афинянки, и оставалась безвыходно в своем доме, безмолвном и закрытом.

Но необходимость существовать и поддерживать ту роскошь, к которой она привыкла, держать коляску и рабов, заставили ее подумать о своей красоте, и тогда самые выдающиеся гетеры встревожились появлением новой соперницы. В темно-рыжем парике, скрывающем остриженные в честь траура волосы, и одетая в тонкие

покровы, из которых выступала ее чудная шея, обвитая жемчугом, и свежие руки алебастровой белизны, украшенные до плеч браслетами, она появлялась в высоком окне своего дома с гордым величием богини, которая ожидает поклонения. Богачи Афин с наступлением вечера отправлялись на улицу Треножников, чтобы лицезреть «вдову поэта», как ее прозвали посетители Церамико. Некоторые, более смелые или более пылкие, подымали указательный палец в виде немого вопроса, но напрасно надеялись они получить от нее утвердительный ответ.

Очень немногие удаивались войти в дом знаменитой куртизанки. Поговаривали, что бывали ночи, когда в минуты тоски, она открывала двери своего дома той молодежи, которая лепила свои первые статуи в садах Академии или произносила свои стихи, еще неизвестные праздным посетителям Агоры, людям, которые могли оплатить любовь лишь несколькими оболами или самое большее драхмой. И наоборот, богачи, которые предлагали золотые *эстатеры* или несколько *мин*, чтобы войти в дом, чувствовали себя бедняками, будучи не в состоянии удовлетворить свои желания. Старые куртизанки с истинным благоговением рассказывали на ушко, что один азиатский царек, проезжая через Афины, заплатил Миррине за одну ночь два таланта — то, что расходовала в год любая греческая республика — и что красавица гетера, нисколько не тронутая получением такого крупного состояния, единственно разрешила ему провести с ней столько времени, сколько потребуется для истечения воды ее *клепсидры*\*, тогда как обыкновенно, отдаваясь мужчинам, измеряла любовь песочными часами.

Баснословно богатые купцы, прибывая в Пирей, искали приятельских связей, чтобы проникнуть в дом Миррины. Они осыпали подарками странствующих артистов, бывших друзьями куртизанки, чтобы быть приглашенными на ее ужины, и не один из них, прибыв в порт с кораблями, нагруженными дорогами товарами, прода-

---

\* Водяные часы.

вал их ранее, чем разгрузить судна, чтобы только поскорей побывать в доме поэта, и возвращался на родину принятый из милости на корабль, но довольный своей бедностью, видя зависть и уважение, которые он внушал своим спутникам.

Так же Миррина узнала и Бомаро, иберийского юношу, купца Зазинто, который прибыл в Афины с тремя кораблями, нагруженными кожей. Куртизанку привлекла его нежность, которая так разнилась от грубости других негоциантов, развращенных жизнью больших портов. Он говорил мало и краснея, точно уединение долгих пребываний на море придало ему робость девушки; если его заставляли рассказывать свои морские приключения, он делал это просто, не упоминая о пренебрегаемых им опасностях, и проявлял детское удивление перед культурой греков.

Миррина в течение ужина, на котором увидела его в первый раз, чувствовала на себе его пристальный взгляд с тем выражением нежности и благоговения, с каким смотрят на богиню, которой невозможно обладать. Этот мореплаватель, воспитанный среди варваров, в далекой колонии, которая еле сохранила признаки матери-Греции, начал интересоваться куртизанку более, нежели афинская молодежь и могущественные купцы, которые ее окружали. Трепеща и волнуясь, он вымолил у нее, как милость, одну ночь, и провел ее подле Миррины, более преклоняясь, чем наслаждаясь, обожая свою обнаженную царицу, трогаясь ее голосом, который убаюкивал его теплым материнским воркованием, сопровождаемым звуками лиры.

Проснувшись, он пожелал оставить ей целое состояние: весь груз своих кораблей, но Миррина, не зная почему, отказалась принять это, несмотря на все его уверения, что он богат, не имеет родителей; что там далеко, в этой стране варваров, он владеет многочисленными стадами, сотнями рабов, которые обрабатывают его поля или работают в рудниках; что у него есть горшечные мастерские и много кораблей таких же, как те три, которые доставили его в Пирей. И, видя, что куртизанка, отказываясь принять от него деньги, относится к нему

как к щедрому мальчику, он купил на улице Серебрянников чудесное жемчужное ожерелье, которое было предметом желания и зависти всех гетер, и, прежде чем уехать, послал его Миррине.

Затем он снова возвращался много раз, не решаясь вернуться в свою страну. Он подымал паруса своей флотилии, но в первом же встретившемся по пути порту, принимал груз для Афин, не условливаясь даже в цене, и, как только достигал Пирея, сейчас же бежал в дом куртизанки, где оставался до тех пор, пока ему не казалось, что его присутствие наскучило Миррине.

Куртизанка в конце концов привыкла к этому возлюбленному, всегда стремящемуся быть у ее ног, жаждущему умереть за нее, и проявляющему свое обожание со страстностью варвара, столь разнившейся от скептицизма и насмешливой учтивости афинян. Она называла его «братишкой», и это слово, которое гетеры употребляли в отношении молодых любовников, мало-помалу приобрело в ее устах теплоту искренней ласки. Когда он запаздывал возвращаться из своих путешествий по островам, она с нетерпением ждала его, и, как только видела входящим, бежала с раскрытыми объятиями, в порыве буйной радости, которой никогда не испытывала в отношении других друзей.

Она не любила его так, как поэта, но страстная поклонность Бомаро, его любовь, почтительная и нежная, будила в Миррине чувство благодарности.

Однажды ночью ибериец, казавшийся весьма озабоченным, решил после долгих колебаний, высказать ей свои намерения.

Он не мог жить без нее; никогда он не вернется в Зазинто; он решил лучше потерять все свое состояние, чем оставить ее и не видеть больше. Он предпочел бы стать выгрузчиком товаров на набережной Фаралео... И продолжая говорить, точно пускаясь вскачь, чтобы скорей миновать препятствие, он торопливо предложил ей стать его женой, получить его состояние, отправиться с ним туда, в смеющийся Зазинто цветущих полей и гор розового цвета, столь похожих на поля и горы Аттики.



Миррина смеялась, слушая его, но внутренне она чувствовала себя взволнованной трогательным самоотвержением иберийца, который, чтобы соединиться с нею навеки, делал смелый прыжок, спускаясь позорным полетом в диктерион и на Церамико. Куртизанка отклонила это предложение с шутливой улыбкой, но Бомаро упорно настаивал на своем. Разве она не утомилась этой жизнью, не устала чувствовать себя как бы предметом большой ценности, но в большинстве случаев быть презираемой грубыми людьми, которые считали себя ее господами только потому, что предлагали ей свое золото. Разве не приятно ей быть самостоятельной владелицей в Иберии, окруженной народом, который будет удивляться ее талантам афинянки.

Бомаро победил ее своей настойчивостью, и в один прекрасный день афинские куртизанки с поражением узнали, что Миррина продала свой дом на улице Треножников, и увидели, как рабыни переносили в порт богатства, собранные за три года и представляющие собою безумное состояние, как складывали их на корабли иберийца, который прикрепил к их мачтам свои пурпуровые паруса для торжественного путешествия.

Куртизанка, желая успокоить человека, который так беззаветно отдался ей, решила оставить в Афинах свое прошлое. Она хотела стать новой женщиной, забыть свое имя, и потому попросила Бомаро перечислить ей красивые имена иберийских женщин, причем остановилась на имени Сонники, как самом благозвучном.

Прибыв в Зазинто, мореплаватель и афинянка соединились брачными узами в храме Дианы, в присутствии всего сената, к которому принадлежал молодой человек. Город поддался действию того обаяния, которое, казалось, исходило от личности Сонники. Она являлась как бы дыханием далеких Афин, туманившим головы греческим купцам Сагунта, которые оступели от своего долгого пребывания среди варваров.

На пирах, когда пились сладкие вина, и Сонника пела гимны великих маэстро, вся сагунтская молодежь греческого квартала чувствовала себя охваченной желанием пасть к ее ногам, поклоняясь ей, как богине.

В первый же год супружества Бомаро почувствовал, что опорой благосостояния является эта женщина.

Она наблюдала за полевыми работами, многочисленными стадами, горшечными фабриками; отправлялась встречать прибытие кораблей, и громадное состояние Бомаро увеличилось благодаря удачным предприятиям, в отношении которых она давала советы своим мягким, мелодичным голосом.

Когда пыл любовных желаний был удовлетворен, Бомаро снова стал совершать мореплавания, уверенный в успехе своей торговли и желающий увеличить еще более то благосостояние, которым так умело руководила Сонника. Последняя же окружила себя молодыми людьми, с которыми обращалась как госпожа. Греческая молодежь, родившаяся в Сагунте, следовала за ней, чтобы изучать вкусы и привычки Афин, которые были их заветной мечтой. Злые языки города называли ее «Сонниковой куртизанкой», но народ, которому она помогала, и мелкие торговцы, которым никогда не отказывала в поддержке, величали ее «богачкой Сонниковой» и готовы были подраться с теми, которые худо говорили о ней.

Однажды зимою, после четырех лет супружества, Бомаро погиб во время кораблекрушения подле Геркулесовых столбов, и Сонника оказалась собственницей громадного состояния и почти госпожой всего города. Она освободила рабов в память несчастного мореплавателя, отправила щедрые пожертвования во все сагунтские храмы, воздвигла в Акрополе погребальный мавзолей памяти Бомаро, выписав для этого из Афин шлифовщиков мрамора. Благодаря ее щедрости, ей прощали ее происхождение, и в конце концов она достигла того, что город строгих нравов, примирился с ее жизнью, веселой и свободной, которая являлась возрождением афинских нравов среди иберийской воздержанности.

И так она жила, не впуская в свой дом других женщин кроме рабынь, флейтисток и танцовщиц, окруженная мужчинами, которые ее желали, но не отдавая никому из них, и всегда думая об Афинах, этом просвещенном городе, который хранил ее прошлое, и нравы которого она стремилась воскресить.

Философ Эуфобий, дойдя до этого места своего сказа, стал доказывать чистоту Сонники. Наперекор тому, что говорили гречанки торгового квартала, у Сонники не было любовников; это утверждал он, у которого был самый злой язык в городе. Иногда она чувствовала влечение к некоторым из своих посетителей. Алорко, сын одного кельтиберского царька, который живет в Сагунте и часто посещает ее дом, произвел на нее известное впечатление своей мужественной красотой и дикой неукротимостью сына гор. Но в решительный момент Сонника отступала, словно боясь унизиться слиянием с варварской нацией. Воспоминание об Аттике всецело владело ее воображением. Если бы она была любима каким-нибудь молодым афинянином, прекрасным, как Алквиад, поющим стихи, вылепливающим статуи и проявляющим ловкость и талантливость, достойные Олимпийских Игр, тогда быть может она упала бы в его объятия; но ее целомудрие продолжало сохраняться среди высокомерных кельтиберов, которые на всех празднествах появлялись с мечом на боку, или среди изнеженных сыновей коммерсантов, завитых, употребляющих благовония и ласкающих маленьких рабов, которые сопровождали их в бани.

— Ты, афинянин, должен представиться Соннике, — продолжал философ: — она примет тебя хорошо... Положим ты не юноша несовершеннолетний, — добавил он, насмешливо улыбаясь, — у тебя седеет борода, но твоя фигура обладает надменностью царя из Илиады, а на челе лежит печать чего-то напоминающего величие Сократа; и кто знает, не станешь ли ты наследником богатств Бомаро. Если это случится, не забудь бедного философа; я удовлетворюсь бурдюком лауронского вина за то, что теперь ты обрекаешь меня на жажду.

И Эуфобий засмеялся, похлопывая Актеона по плечу.

— Я приглашен эту ночь на пир Сонники, — сказал грек.

— Ты также?.. Мы там встретимся. Положим, я-то не приглашен, но вхожу туда с таким же правом, как домашняя собака.

Актеон, оставшись снова один, стал бродить в цент-

ре рынка. Грек видел, как мало-помалу пустел рынок. Пастухи гнали свои стада к воротам моря; кельтиберские родоначальники, проводив своих жен к группе лошадей, мчались галопом, желая поскорей очутиться в своих горных деревнях, пустые тележки лениво катились по направлению к сагунтским селениям.

Актеон снова заметил под портиками кельтиберского пастуха, который переходил от одной группы к другой, словно неосмысленный простолоудин, интересующийся каждым разговором. Проходя мимо грека, он взглянул на него теми загадочными глазами, которые будили в нем неопределенное воспоминание.

Солнце начинало заходить. Вечерняя заря золотила листву деревьев, придавая ей вид янтарной прозрачности. По сельским дорогам звенели колокольчики стад, скрип повозок и убаюкивающее пенье поселян.

Он пришел к даче Сонники, большой, как деревушка. Прежде всего миновал жилища рабов, в дверях которых возился рой голых ребятишек с большим животом и выступающим, как бутон, пупом. Затем, конюшни, из которых шел теплый пар и слышалось ржание лошадей, сараи, житницы, дом управителя, темницы для непокорных рабов, голубятня, в виде высокой башни из красного кирпича, вокруг которой трепетало облако белых крыльев; большие соломенные хижины, служащие жилищем для сотен кур, и среди ряда этих построек красовалась дача отдохновения, жилище Сонники, о котором говорили с удивлением даже среди самых отдаленных городов Кельтиберии. Вилла была окружена кипарисами и лаврами, огорожена стенами, покрытыми вьющимися виноградными лозами, и среди целой массы листвы единственно выделялись лишь стены здания розового цвета с колоннадами и фризами из голубого мрамора и терраса, украшенная статуями, эмалевые глаза которых сверкали на солнце, как драгоценные камни.

Актеон был молчаливый и сосредоточенный.

Когда он постучал у ворот сада и на звон колокола раздался лай собак и странный крик невидимых птиц, грек неожиданно ударил себя по лбу, как бы сделав, наконец, открытие.

— «Я уж знаю, кто это»,— подумал он, точно пробуждаясь от сна.

Невольно воскресилась в памяти загадочная фигура кельтиберского пастуха, и внезапно его мысль осветил свет.

Теперь он знал, кто был пастух. Не даром же с первого момента глаза этого незнакомца произвели на него такое впечатление, глаза, которые нисколько не изменились за утекшие годы. Эти глаза он видел много раз в детстве, когда его отец сражался с Гамилькаром в Сицилии, а он воспитывался в Карфагене.

Пастух был Ганнибал.

### III. ТАНЦОВЩИЦЫ ИЗ ГАДЕСА

Сонника проснулась спустя часа два после полудня. Косые лучи солнца пробивались сквозь золоченые прутья окна, увитые листвой виноградных лоз. Их свет озарял колонны розового мрамора, украшающие двери, и яркий лепной гипс, который служил рамой сценам Олимпийских Игр, расписанных на стене.

Гречанка скинула на пол покров из белой себатисской шерсти.

На звук ее голоса вошла Одация, рабыня кельтиберка, высокая, худощавая, сильная, которую гречанка очень ценила за умение искусно причесывать ее пышные волосы.

Опустив руки на плечи рабыни и улыбаясь, Сонника соскочила с ложа, чтобы сойти в ванну.

Ее нагота покрылась волосами, точно прозрачной золотой тканью. Когда ее обнаженные ноги коснулись чола, изображающего суд Париса, холод мозаики приятным шекотанием вызвал у нее смех, который запечатлел нежные ямочки на ее щеках и пробежал легким волнообразным трепетом по спине.

Она спустилась с трех ступеней и бросилась в яшмовую купель.

— Кто пришел, Одация? — спросила она, погружаясь в глубину бассейна.

— Прибыли женщины из Гадеса, которые будут танцевать эту ночь. Полианто поместил их подле кухонь.

— А еще кто?..

— Чужеземец из Афин, которого ты встретила в храме Афродиты. Я проводила его в библиотеку и не забыла ничего из обязанностей гостеприимства. Сейчас только он кончил принимать ванну.

Сонника улыбнулась, вспомнив утреннюю встречу.

Она вышла из ванны, вздыхая детской и грациозной дрожью, причем при каждом шаге с ее волос сыпал мелкий дождь.

Одация позвала и вошли три рабыни, которые помогали ей совершать прическу госпожи, а также являлись *трактатрисами*, на обязанности которых лежало массажировать ее тело.

Сонника отдала себя в руки трех женщин, которые с силой растирали ее тело, расправляя члены, чтобы придать им легкость и гибкость. Затем она села в кресло из слоновой кости, положив порозовевшие локти на дельфинов, которых изображали собою ручки сиденья; и в этом положении, выпрямившаяся и неподвижная, она ждала, чтобы рабыни приступили к совершению ее прически.

Одна из рабынь, почти девочка, одетая в полосатую ткань, опустилась на пол на колени, держа большое зеркало, чеканенное из бронзы, в котором Сонника отражалась ниже пояса; вторая достала из мраморных столиков туалетные принадлежности, старательно разложив их. Одация же стала расчесывать гребнями из слоновой кости пышные волосы своей госпожи. Между тем, вторая рабыня приблизилась с бронзовой миской, наполненной сероватой массой. Это была мука из бобов, употреблявшаяся афинскими щеголихами для сохранения и смягчения кожи. Она покрыла ею щеки гречанки, затем выпуклости груди, живот, бока и ноги, как бы обвивая почти все тело сероватой и блестящей пеленой. В местах, где рос легкий пушок, она смазала *дропаксон*,

составом, истребляющим волосы и приготовленным из уксуса и кипрской земли.

Сонника хладнокровно подчинялась этой подготовке к своему туалету, которая на несколько моментов портит ее, чтобы каждый день возрождать, делая все более прекрасной.

Одация продолжала причесывать гречанку. Она обхватила волны пышных волос, и обе ее руки затерялись в этом сверкающем каскаде; нежно свила их, свернув в своих руках, точно большую золотую змею; снова распустила, разделяя прядь за прядью, чтобы просушить их, и опять принялась любовно расчесывать гребнями из слоновой кости, разложенными на ближайшем столике и представляющими собою настоящие художественные произведения, с тончайшими зубцами и превосходной гравировкой, изображающей лесные сцены, надменных нимф, преследующих оленей, и грубых сатиров, охотящихся за обнаженными красавицами.

Парикмахерша, просушив волосы, стала их красить. Маленькой амфорой, заканчивающейся длинным острием, она смочила их раствором шафрана и аравийской древесной смолы; открыв ларчик, наполненный золотым порошком, припудрила им густые, шелковистые волосы, которые приобрели блеск солнечных лучей. Потом, вложив передние пряди в железную формочку, нагретую на жаровеньке, она создала густые локоны, которыми покрыла лоб гречанки до самых глаз; остальную массу волос собрала на затылке, скрепив и переплетя их красной шелковой лентой, и завила верхушку прически, подражая волнообразному пламени факела.

Сонника поднялась. Две рабыни поднесли тяжелую глиняную амфору, наполненную молоком, и стали обмывать губкой тело госпожи, очищая его от пасты из бобов. Белизна ее кожи стала выступать на свет еще более свеклая и сочная.

Ее надушили благовониями, особыми для каждой части тела, чтобы она благоухала, как букет цветов, в котором соединяются различные ароматы. Одация поднесла ларчик с драгоценностями, в котором трепетали самоцветные камни, точно беспокойные и ослепляющие

рыбки. Точенные пальцы гречанки равнодушно перебирали грудю ожерелий, колец и серег. Сцены из великих поэм были изображены почти микроскопически на камнях сердолика, оникса и агата, а изумруды, топазы и аметисты были украшены чистыми профилями богинь и героев.

Обнаженную грудь Сонники обвил ожерелье из драгоценных камней; ее пальцы покрылись кольцами до самых ногтей, а белизна рук казалась более прозрачной, пересекаемая местами блеском широких золотых браслет. Чтобы придать более выражения лицу, Одация украсила свою госпожу несколькими маленькими мушками, и затем стала завязывать вокруг ее талии *фасцию*, шнуровку того времени: широкий шерстяной пояс, который поддерживал округление грудей, чтоб они сохранили свою строгость линий, не теряя формы от тяжести. Сонника, рассматривая себя в нежную бронзу, улыбалась своему изображению, нагому и прекрасному, как отдыхающая Венера.

— Что оденет госпожа? — спросила Одация.

Сонника не пришла ни к какому решению: она берет одеяние в уборной. И со всем величием своей обнаженной красоты, шелестя на каждом шагу папирусными сандалиями, она вышла из своей опочивальни, сопровождаемая рабынями.

Между тем Актеон ожидал в библиотеке. Он видел большие дворцы во время своих странствий по свету, созерцал знаменитый родосский колосс, за два года до землетрясения, разрушившего его; посещал Серапиум и могилу великого завоевателя Александрии; он привык к богатству и роскоши, но, невзирая на это, не мог скрыть удивления, которое вызвало в нем это жилище гречанки, воздвигнутое в варварской стране, но более великолепное и художественное, чем дома самых богатых граждан Афин.

Сопровождаемый рабом, Актеон миновал сад с его ропчущей листвой и с криками чужеземных птиц и прошел через колоннаду, которая служила входом в виллу. Вначале был расположен *профирум*, с его мозаичным



цоколем, на котором были изображены дикие, черные собаки с огненными глазами и открытой слюнявой пастью, оскалившей их песьи зубы.

Над дверями, подле светильника, была прикреплена лавровая ветка в честь богини, охраняющей дом. За *профирумом*, несколько темноватым, находился под открытым небом атриум с четырьмя рядами колонн, поддерживающих кровлю и образующих многочисленные проходы, на которые выходили ряды дверей жилищ.

В центре атриума находился *имплувиум*, прямоугольное мраморное углубление для стока с крыш дождевых вод, скопляемых в цистерне. Между колоннами возвышались на пьедесталах большие вазы красной глины, покрытые цветами; четыре мраморные стола, поддерживаемые крылатыми львами, окружали *имплувиум*, подле которого высилась статуя Амура, служащая в дни празднеств водометом.

Актеон залюбовался художественной стройностью колонн, сделанных так же, как и цоколь галлерей, из голубого мрамора, что придавало освещению атриума нежный оттенок, точно здание было воздвигнуто на дне моря.

Затем проводник передал его Одации, любимой рабыне, и последняя повела его в *перистилюм*, второй двор, значительно больший, чем атриум, и поразивший грека своей художественностью. Нижняя часть колонн была расписана красным, при чем цвет сливался с лазурью и золотом на полосах и капителях, снова возобновляясь на орнаментах софита крыши, которая покрывала портик. В открытой части перестилья был сделан в земле глубокий садок с прозрачными водами, в которых, точно золотые блестки, плавали рыбы. Вокруг прудка стояли мраморные скамьи, поддерживаемые столбиками с челоувечьими головами, столы на дельфинах с перевитыми хвостами, вазы с розами, среди листьев которых виднелись белые или глиняные статуэтки в сладострастных позах; пространства перистилья между дверями жилищ, были украшены большими картинами греческих художников: Орфей, со своей лирой, обнаженный и в фригийском колпаке, окруженный львами и пан-

терами, которые с опущенными головами внимали его песне; Венера, выходящая из морской пены; Адонис, обращенный в бегство матерью Амура, и другие сцены, восхваляющие силу искусства и красоту.

Актеон увидел подле себя двух молодых рабов, которые проводили его в баню, и, выйдя оттуда, он снова встретил Одацию, которая ввела его в библиотеку, устроенную в глубине перистиля.

Это было большое помещение с мозаичным полом, изображающим торжество Вакха. Юный бог, прекрасный, как женщина, нагой и увенчанный виноградными ветвями и розами, ехал верхом на пантере, высоко держа тирс. Картины стен изображали известные события из Илиады. На полках были расставлены рядами многочисленные сочинения, мелкие же произведения были сложены связками в узких ивовых корзинах, выложенных внутри шерстяной подстилкой. Актеон пришел в восторг от богатства библиотеки, насчитав более сотни сочинений. Они представляли собою целое состояние. Сонника поручала мореплавателям привозить ей все известные произведения, которые они находили во время своих путешествий; афинские же книготорговцы доставляли ей самые выдающиеся увеселительные сочинения, которые пользовались успехом в их городе. Все они были из папируса, и свитки наворачивались на *умбилик*, деревянный цилиндр или же костяной, художественно выгравированный на концах. Их листки, исписанные только на одной стороне, были пропитаны на другой кедровым маслом для предохранения их от порчи; на верхней же обложке, разрисованной пурпуром, сверкали суриковые и золотые буквы заглавия сочинения, имя автора и оглавление содержания. Эти многочисленные сочинения заключали в себе жизнь многих людей, громадную сумму труда, затраченного многими; и грек, проникнутый присущим его нации преклонением пред мудростью и искусством, чувствовал себя в тишине библиотеки как бы окруженным величественными тенями стольких великих людей, и его взгляд с благоговением переходил от Гомера в старых, потемневших от времени папирусах, и сочинений Фалеса и Пифагора, к современным поэтам,

Феокриту и Калимаку, томы которых не были свернуты, служа для текущего чтения.

Актеон услышал легкое хрустение сандалий в перистиле, и квадрат нежного золота, который падал на пол от света, проникающего со двора сквозь дверь, омрачился чьей-то тенью. Это была Сонника, одетая в тонкую белую тунику.

— Добро пожаловать, афинянин,— приветливо сказала она мелодичным голосом.— Те, которые прибывают из Афин, всегда являются господами в моем доме. Пир этой ночи будет устроен в честь тебя; ведь никто, кроме сына Афин, не может быть царем стола и руководителем разговоров.

Актеон, несколько взволнованный присутствием красивой женщины, обвеванной опьяняющими благоуханиями, стал говорить о ее жилище, о том удивлении, какое оно вызвало в нем своим великолепием в этой варварской стране, и об известности, которой пользовалась его хозяйка в городе. Все в нем говорят о Соннике богачке.

— Да, меня любят, хотя во многих случаях меня осуждают. Но поговорим о тебе, Актеон: расскажи мне, кто ты таков; твоя жизнь должна быть столь же интересна, как и жизнь древнего Одиссея.

И Актеон с откровенной простотой поведал ей свой рассказ.

Он родился в Афинах; двенадцати лет он был перевезен в Карфаген. Его отец состоял на службе у африканской республики, сражался с Гамилькаром в Сицилии. Один и тот же раб воспитывал в деревне сына греческого наемника и ребенка Гамилькара, которому было всего лишь четыре года. Ребенок этот был Ганнибал. Афинянин вспоминал колотушки, которыми он награждал не раз этого маленького дикого звереныша, в отместку за укусы, наносимые ему африканцем неожиданно среди игр. Возгорелось восстание наемников со всеми ужасами, сопровождавшими беспощадную войну, и отец его, оставшийся верным Карфагену и не пожелавший быть в войсках своих сотоварищей, был распят карфагенской чернью, которая, позабыв его раны, полученные за Республику, видела в нем чужеземца. Сын спасся

чудесным образом от кровавого мщения, и верный раб отвез его на судне в Афины.

Там, под покровительством родственников, он получил воспитание, даваемое всем греческим юношам. Он получил награды Гимназии за атлетическую борьбу, бега и игру в диск; учился ездить верхом без уздечки; опираясь лишь кончиком ноги на выемку копья; чтобы смягчить суровость этого воспитания, его учили играть на лире и петь стихотворения различного размера и, став крепким телом и сильным знанием, он был послан, как и все афинские юноши, для своих первых военных опытов, в пограничный гарнизон.

Ему наскутила бездеятельность этого существования, он был беден, но любил радости и наслаждения жизни; кровь его предков, которые все были солдатами, кипела в нем, и он бежал из Аттики, чтобы заняться рыболовным промыслом в Понто Эвксинском. Затем стал мореплавателем, торговал на море и на суше: его караваны углублялись в Азию, минуя воинственные племена и народы, которые жили среди изнеженности отдаленной и дряхлеющей цивилизации. Он был влиятельным лицом при дворе некоторых тиранов, которые восторгались им, когда он заяпом выпивал амфору душистого вина и, с ловкостью афинянина, побеждал одним ударом кулака гигантов телохранителей; и, приобретя богатства, он выстроил дворец в Родосе, подле моря, и устраивал пиршества, которые длились по три дня и по три ночи. Землетрясение, которое разрушило колосс, покончило с его состоянием: потонули его корабли, погибли под волнами его магазины, наполненные товарами, и он снова стал странствовать по свету, являясь в одном месте учителем пения, в другом военным преподавателем молодежи; и так продолжалось до тех пор, пока, привлеченный войною Спарты, он ступил в армию Клеомена, последнего греческого героя, которого он сопровождал, когда тот, после поражения, отплыл в Александрию. Бедняк, без иллюзий, убежденный, что богатство не вернется к нему, тоскующий от сознания, что весь мир наполнен именами Карфагена и Рима, предав забвению Грецию, он прибыл сюда, в Сагунт, в маленькую, почти

неизвестную Республику, ища хлеба и отдыха и думая остаться здесь до тех пор, пока не пробьет его последний час. Быть может, в этом уединении, если не помешает война, он напишет историю своих странствий.

Сонника с интересом следила за его рассказом, устремив на Актеона взгляд теплой симпатии.

— И, ты, который был героем и властителем, станешь служить этому городу в качестве простого наемника?

— Стрелок Мопсо обещал отличать меня среди войск.

— Этого недостаточно, Актеон. Ведь ты должен будешь жить, как большинство солдат: проводить свою жизнь в трактирах Форо, спать на ступенях храма Геркулеса. Нет! Твой дом здесь; тебе покровительствует Сонника.

И в ее сверкающих глазах, увеличенных темными кругами, засветилось любовное сострадание, в котором было нечто материнское.

Афинянин с удивлением смотрел на Соннику, которая поднялась со своего сидения, точно белое облако в полусумраке библиотеки, освещенной как и все греческие жилища лишь светом, проникающим сквозь двери.

— Пройдем в сад, Актеон. День тихий, и мы можем на время вообразить, что мы в рощах Академии.

Они вышли из дома и направились по извилистой аллее, усаженной высокими лавровыми деревьями, к которым были привиты ветки райской смоковницы, поливаемые вином для скорейшего сращения. На террасе виллы два павлина издавали свои резкие крики и ходили вокруг баллюстрады, распуская свои великолепные хвосты.

Актеон искоса поглядывал при свете на свою прекрасную покровительницу. Единственным ее одеянием был греческий *хитон*, открытая туника, скрепленная на плечах металлическими пряжками и перехваченная у талии золотым поясом. Руки выступали обнаженными из-под белого одеяния, а с левой стороны туника, скрепленная от подмышки до колена несколькими мелкими застежками, открывалась при каждом шаге, показывая

перламутровую наготу тела. Ткань была настолько тонка, что сквозь ее прозрачность вырисовывались контуры этого розового тела, которое казалось плавало в пелене, сотканной из пены.

— Тебя удивляет мое одеяние, Актеон!

— Нет, я люблюсь тобою. Ты мне кажешься Афродитой, вышедшей из морских волн. Я давно не видал красавиц Афин, показывающих свою божественную красоту. Я огрубел в своих странствиях среди суровых нравов варваров.

— Это правда. Как говорит Геродот, только варвары почитают бесчестьем появляться нагими. Если бы ты знал, как вначале были оскорблены жители этого рода моими афинскими привычками!..

Она приостановилась с задумчивым видом и затем продолжала:

— Я не люблю варваров не за то, что им чужды великолепия искусства, а за их ненависть к людям, которую они скрывают всевозможными законами и предрассудками. Они ненавидят наготу, скрывая свое тело под различным тряпьем, точно оно представляет собою отвратительное зрелище...

— Поэтому-то мы и велики,— сказал с гордостью Актеон.— Поэтому наши искусства наполняют землю и все преклоняются пред величием ума Греции. Мы народ, который умеет почитать жизнь, воздавая культ ее началу; мы без лицемерия отдаемся любви и поэтому мы лучше, чем другие, понимаем потребности духа. Дух возносится свободнее, когда не чувствует бремени тела. Наши боги ходят нагими, не зная иных украшений, кроме лучей божественного сияния на челе. Они не требуют крови, как варварские божества, которые облачены в одеяния, оставляющие открытыми лишь их лица, омраченные преступлениями. Наши боги прекрасны, как смертные, они смеются, как люди, и взрывы их смеха, наполняя Олимп, веселят землю.

Сонника слушая грека, приблизилась к высоким кустам роз и срывала цветы, с наслаждением вдыхая их аромат. Ей казалось, что она в Афинах, в саду улицы Треножников, слушает своего поэта, который посвящает

ее в таинственную усладу искусства и любви. И она ласково глядела на Актеона, с откровенной и искренней страстностью, с покорностью рабы.

Легкое дыхание ветра обвевало весь сад. Сквозь листву виднелось небо пурпурового цвета, воспаленное гаснущим солнцем. Под деревьями начинал воцаряться таинственный полумрак. Гул селения, движение людей, проходящих из виллы в дома рабов, и крики чужеземных птиц на террасе, казалось, исходили из отдаленного мира.

Приглашенных Сонником было множество и с наступлением ночи они стали прибывать, одни в колясках, другие верхом на лошадях, проезжая мимо рабов с зажженными факелами, которые стояли на страже у подъезда виллы.

Когда Сонника и Актеон вошли в зал празднества, приглашенные, разбившись на группы, стояли подле пурпуровых лож, вокруг стоящего изломом стола, мрамор которого несколько рабов мыли губками, пропитанными душистой водой. Четыре громадных бронзовых светильника занимали углы *триклиниума*. От них спустились на цепочках бесчисленные курильницы с благоуханным маслом, в которых трещали фитили, распространяя яркий свет. Гирлянды из роз и листвы были протянуты от одного светильника к другому, образуя душистую раму праздничного стола. Возле двери, сообщаемой с перистилем, возвышались на деревянных столах блюда, золоченые и серебряные вазы и острые ножи.

Кельтибер Алорко разговаривал с Локаро и другими тремя греческими юношами, которые своей женоподобностью возбуждали негодование сагунтцев на Форосе. Надменный варвар, по обычаю своей нации, не расставался с опоясывающим его мечом до начала пира, вешая его тогда на конце слоновой кости ложа, чтобы иметь всегда оружие под рукой.

У другого конца стола спокойно беседовали двое граждан, почтенного возраста, и Алько, миролюбивый сагунтец, с которым Актеон разговаривал утром на площади Акрополя.

Оба старика были давнишние друзья дома, грече-

ские купцы, компаньоны Сонники по торговле, и она приглашала их на свои ночные пиршества, ценя умеренную веселость, которую они вносили в беседу.

Актеон, знакомясь со всеми приглашенными, проходил по зале с самоуверенностью властителя, который пользуется своими богатствами, с видом человека, привыкшего к блеску роскоши, которого толчок судьбы извлек из бедности, вернув к прежним привычкам.

По одному жесту Сонники гости расположились на пурпуровых ложах, которые наискось окружали стол. В зал вошли четыре юных девушки, неся на головах, со стройной грацией корзиноносц, ивовые корзины с венками роз. Они шли с изящной легкостью, как бы скользя по мозаике под звуки невидимых флейт, и своими тонкими детскими руками стали венчать цветами головы застольников.

В зал вошел управитель виллы, с раздраженным лицом.

— Госпожа! Эуфобий домогается войти.

Среди приглашенных поднялись крики и протесты.

— Выгони его, Сонника! — восклицали юноши, вспоминая с негодованием насмешки, которые он позволял себе на Форо по поводу их одеяния и привычек.

— Это позор для города терпеть этого наглого нищего, — говорили степенные граждане.

Сонника улыбалась, но внезапно вспомнив злую эпиграмму, которую за несколько дней до того Эуфобий посвятил ей, повторяя ее на Форо, она холодно сказала управителю:

— Выгони его палками.

Гости омыли руки в струях душистой воды, которую рабыня подносила, переходя от ложа к ложу, и Сонника дала приказание приступить к пиру, когда снова вошел управитель, держа еще в руке плетень.

— Я бил его, госпожа, но он не хочет уходить. Он сносит побои и за каждым ударом приближается к дому.

— И что же он говорит?..

— Говорит, что праздник Сонники немислим без присутствия Эуфобия, и что побои это знак отличия.

Красавица гречанка казалась смягченной: гости смея-



лись, и Сонника дала приказание впустить философа. Но прежде чем управитель успел выйти, чтобы исполнить его, Эуфобий уж вошел в зал, робкий, смиренный, но глядящий на всех наглыми глазами.

— Да будут боги с вами. Да сопутствует тебе всегда веселье, красавица Сонника.

И, обратясь к управителю, он сказал с надменностью:

— Брат, ты видишь, что как бы то ни было, но в конце концов я все же вхожу в зал празднества, поэтому требую, чтобы в будущем твоя рука не была так тяжела.

И, среди смеха приглашенных, он потер лоб, на котором начинал выступать желвак, и концом своего старого плаща вытер несколько капель крови подле уха.

— Привет, шшивый! — крикнул ему шеголь Лакаро

— Подальше от нас! — подхватили остальные юноши

Но Эуфобий не обращал на них внимания. Он улыбнулся Актеону, увидя, что он занимает место подле Сонники, и его глаза загорелись злобою.

— Ты, афинянин, очутился там, где я и предполагал тебя увидеть. Ты победил этих женоподобников, которые окружают Соннику и оскорбляют меня.

И, не взирая на насмешливые протесты юношей, он добавил с раболепной улыбкой:

— Я думаю, ты не забудешь своего старого друга Эуфобия. Теперь ведь ты можешь заплатить за все вино, какое только он пожелает выпить в трактире Форо.

Философ занял ложе более отдаленное, в конце стола и отстранил венок, который ему поднесла рабыня.

— Я пришел не ради цветов: я пришел поесть Розы я вижу на каждом шагу в полях, куска же хлеба для философа я не нахожу в Сагунте.

— Ты гдлоден? — спросила Сонника.

— Я более жажду. Я провел целый день, говоря на Форо; все меня слушали, но никто не подумал о том, что мне необходимо освежить горло.

По греческому обычаю следовало избрать царя пиршества, любимого гостя, который должен был предлагать тосты, определять время возлияния вин и руководить разговором.

— Мы избираем Эуфобия,— сказал Алерко, со своим тяжелым остроумием кельтибера.

— Нет,— запротестовала Сонника.— Однажды, ради шутки, мы поручили ему руководить пиром, и прежде чем дойти до третьего блюда, мы все были пьяны. За каждым куском он предлагал возлияние вина.

— Кого избрать царем? — проговорил философ.— Он уж есть у нас, рядом с Сонникой. Да будет им афинянин.

В центре стола возвышалась широкая бронзовая чаша, по краям которой красовались нимфы, глядящие в овальное озеро вина. Позади каждого гостя стоял раб для его услуг, и все они стали наполнять чаши застольников для первого возлияния. Эти чаши, называемые *мирринами* и привезенные за дорогую цену из Азии, были сделаны из секретного состава, в который входил порошок раковин и смирны. Расписанные греческими красками, они обладали непрозрачной белизной слоновой кости, секретный состав их массы придавал особенно приятный вкус напитку.

Актеон приподнялся на своем ложе, чтобы предложить первое возлияние в честь любимой богини.

Сильные рабы, потные от кухонного жара, поставили на стол первые кушанья на больших блюдах из красной сагунтской глины. Здесь были ракушки в натуральном виде или же испеченные в горячей золе со всевозможными пряностями; свежие устрицы, украшенные петрушкой и зеленью, спаржа, огурцы, латук, павлиньи яйца, свиной желудок, маринованный в уксусе с тмином, и птицы, плавающие в соусе из сырного порошка, масла и уксуса. Кроме того приглашенным предлагался *оксигарум*, приготовленный в Новом Карфагене: рыбная масса, сдобренная солью и уксусом, которая, обостряя вкус, возбуждала жажду.

Запах всех этих блюд распространялся по зале празднества.

— Чего мне только не рассказывали о гнездах птицы феникса,— говорил Эуфобий с переполненным ртом.— По уверениям поэтов, феникс обмазывает свое жилище ладаном, кинамом и корицей, но клянусь богами, что в

таком гнезде я не чувствовал бы себя так хорошо, как в триклинии Сонники.

— Но это не мешает тебе, злодей,— сказала, улыбаясь, гречанка,— посвящать мне стихи, в которых ты braniшь меня.

— Потому, что я люблю тебя и протестую против твоих безумств. Днем я философ, но ночью мой желудок побуждает меня искать тебя, и я прихожу, снося побои твоих слуг, чтобы ты накормила меня.

Рабы унесли первые блюда и подали вторые, состоявшие из жаркого и рыбы. Молодой жареный кабан занял центр стола; большие фазаны, с цельными церьями на вареном мясе, красовались на блюдах, окруженные вареными яйцами и душистыми травами; зайцы, разделенные на части, выставляли свою начинку из розмарина и тимьяна, а деревенские голуби чередовались с дроздами и другой птицей. Рыбные блюда были бесчисленны и они напоминали грекам кушанье их родины.

Каждый из приглашенных выбирал из блюд то, которое ему было по вкусу. В праздничные чаши наливались новые вина из амфор, засмоленных и запыленных от погребов. Хиосское вино, привезенное издалека и весьма дорогое, чередовалось с винами цекубскими, фалерскими и массикскими, а также с лауронскими и сагунтскими винами. Аромат этих напитков смешивался с запахом соусов, в состав которых, по сложным рецептам греческой кухни, входили петрушка, кунжут, укроп, тмин и чеснок.

Сонника почти ничего не ела: она забывала о кушаньях, которыми в изобилии угощала своих гостей, чтобы улыбаться Актеону.

Приглашенные с аппетитом уничтожали кушанья, отдавая дань похвалы повару Сонники, азиатцу, купленному в Афинах одним из ее лощманов. Она заплатила за него чуть ли не стоимость любой виллы, но все находили, что расход сделан производительно, дивясь искусству, с которым он придумывал в своей кухне удивительные кулинарные соединения, выполняемые затем другими слугами, и особенно восторгаясь его счастливым измышлениям в приготовлении из фиников и меда сладких

соусов к жаркому. Такой раб может услаждать всю жизнь и отдалить смерть на многие годы.

Кончилась вторая смена кушаний. Гости чувствовали себя разгоряченными на своих ложах и ослабляли свои парадные одеяния. Чтобы не приходилось подыматься при питье вина, рабы подавали напитки в алебастровых чашах в форме рога, с острого конца которого стекали струи вина. Пурпур лож покрывался пятнами от напитков. Большие угловые светильники, со своим светом от ароматного масла, казалось тускнели в этой густой атмосфере наполненной паром кушаний. Гирлянды роз, перетянутые от одного светильника к другому, увидели в отяжелевшем воздухе. Сквозь двери виднелись колонны перистилия и частица темной лазури неба, на котором мерцали звезды.

Миролобивый Алько, приподнявшись на ложе, улыбался с мягкостью спокойного опьянения, созерцал красоту небес.

— Я пью за красоту нашего города,— проговорил он, подымая рог, наполненный вином.

— За гречанку Зазинто,— провозгласил Лакаро.

— Да, будем греками,— поддержали его друзья.

И разговор перешел к большому празднику, который по инициативе Сонники греки Сагунта устраивали в честь Минервы по случаю окончания жатвы. Праздник Панафиней закончится процессией, подобной той, которая совершалась в Афинах и которую Фидий обессмертил на мраморе своих знаменитых фриз. Молодежь с энтузиазмом говорила о лошадях, на которых будет выезжать, и о чудесах ловкости, к которым они подготовлялись продолжительными упражнениями. Сонника содействовала празднествам своими неистощимыми средствами и хотела, чтобы они были столь же известны, как и торжества, прославившие Афины при сооружении Парфенона.

Рабы устали стол третьей сменой кушаний, и гости, почти опьяневшие, приподнялись на своих ложах при виде корзин, наполненных фруктами, и блюд, покрытых слоями сладкого теста, свернутого в трубочки по каппадокийски, лепешками из кунжутной муки, наполнен-

ными медом и подрумяненными жаром печи, и тортами с творогом, украшенными вареными фруктами.

Откупоривались маленькие амфоры, содержавшие ценные вина и привезенные кораблями Сонники с крайних пределов света. Вино финикийского Библоса насытило окружающую атмосферу своим сильным ароматом, точно флакон туалетного стола; лесбийское вино, когда его разливали, распространяло сладкий аромат розы, и наряду с ним струились в чаши вина Эритреи и Гаракли, крепкие и спиртные, а также родосские и хиосские, благоразумно смешанные с морской водой, которая способствовала пищеварению.

Некоторые из рабов, чтобы снова возбудить у гостей аппетит и пробудить жажду, предлагали блюда с кузнечиками в рассоле, редис с уксусом и горчицей, жареный овечий горох и маслины, пикантно приправленные и редкие по своей величине и вкусу.

Надменный Алорко, как кельтибер, степенный в состоянии опьянения, говорил о близком празднике, глядя на свою опустошенную чашу. Он держал в городе пять самых лучших, породистых лошадей, и если городское начальство позволит ему принять участие в празднике, не взирая на то, что он чужеземец, сагунтцы подивятся быстроте и силе его прекрасных животных. Он получит венок, если только что-либо не заставит его до того времени покинуть город.

Лакаро и его изящные друзья намеревались состязаться на получение награды за пение, и их женственные руки, тонкие и гибкие, нервно ударяли по столу, точно они касались струн лиры, а их накрашенные губы напевали стихи Гомера. Эуфобий, прислонясь спиной к ложу, глядел вверх сонными глазами, поглощенный лишь одним желанием — осушать чашу и требовать вина; Алько же и греческие коммерсанты досадовали на продолжительность пира.

Сонника сделала знак своему управителю, и спустя некоторое время в перистиле раздались звуки флейт.

— Флейтистки! — воскликнули гости.

И в зал празднества вошли четыре стройные девочки, увенчанные фиалками, в хитоне с разрезом от талии до

ступни, открывающим при каждом шаге левую ногу. Во рту они держали двойную флейту, по отверстиям которой перебегали их ловкие пальцы.

Став в пространстве, охватываемом изломом стола, они начали наигрывать сладостную мелодию, которая вызывала довольную улыбку у гостей, возлежающих на своих ложах.

Перед столом появилась акробатка, которая приветствовала свою госпожу, поднеся руки к лицу. Это была девочка лет четырнадцати со смуглой кожей и без всякого одеяния, кроме красной опояски, спускающейся вдоль живота. Ее нервные и ловкие члены и сухая грудь, без всякой округленности, кроме легкой припухлости сосков, делали ее похожей на мальчика.

Она испустила возглас и, перегнувшись с нервной эластичностью, опустила на руки, и с ногами, поднятыми кверху, а головой, слегка касающейся пола, стала быстро бегать по триклинию. Затем ловким движением своих рук, она вскочила на стол и ее кисти забегали между блюдами, амфорами и чашами, не задевая их.

Гости аплодировали с криками восторга. Двое греческих купцов предложили ей свои чаши.

Несколько рабов, под руководством своего надзирателя, размещали на полу ряд мечей с широкими и острыми клинками, для новых гимнастических упражнений акробатки. Флейтистки начали наигрывать медлительную и грустную мелодию, а гимнастка, снова с опущенной к полу головой, стала ходить между мечами; не задевая их и не расстраивая их острых рядов. Гости, с чашами в руках, жадным взглядом следили за ней по роше острого железа, которое могло вонзиться в ее тело при малейшем ее колебании. Остановившись возле одного из мечей, она подняла руку и, держась только на одной руке, стала опускаться на ней пока не коснулась губами пола, затем поднялась, при чем острие лезвия слегка касалось ее живота и груди, не ранив кожи.

Когда девочка окончила свой фокус, снова раздался аплодисменты гостей. Двое стариков заставили ее возлечь между собою, почти скрыв под своими широкими туниками, и она выглядывала лишь своей задорной маль-

чишеской головкой, жадно скользя взглядом по чашам и сладостям.

Еще не рассветало, когда Актеон проснулся, несколько удивленный белизной ложа и благоуханием опочивальни. Сонника была подле него, и при свете светильника, стоящего у дверей, он увидел улыбку счастья, которая блуждала на ее губах.

После опьянения ночи, афинянин чувствовал потребность подышать свежим воздухом. Он задышался в комнате Сонники, погруженный в ложе, которое казалось жгло огнем пережитых волнений, подле этого тела, которое незадолго до того трепетало в его объятиях, а теперь оставалось неподвижным и без всяких признаков жизни, кроме легкого дыхания, вздымающего грудь.

Осторожно, на цыпочках, вышел грек в перистиль. В триклинии еще горели светильники, и отвратительный запах от потных тел, мяса и вина шел из его дверей. Актеон увидел гостей лежащими на полу среди женщин, которые храпели, разметавшись в неприличных позах. Эуфобий очнулся от своего опьянения и, заняв почетное место, ложе Сонники, изображал из себя хозяина виллы.

Увидя Актеона, некоторые рабы убежали из триклинии, боясь быть наказанными за свое любопытство. Не желая быть замеченным философом, грек вышел из дома, ища прохлады сада.

Он прошел громадные владения Сонники, рощи смоквиц, обширные пространства, засаженные масличными деревьями, пока неожиданно не очутился на Змеиной Дороге. Никто не проходил по ней. Но издали доносился лошадиный топот и Актеон увидел при голубоватом отблеске рассвета всадника, который, без сомнения, направлялся к порту.

Когда он приблизился, афинянин узнал его, несмотря на то, что голова всадника была прикрыта капюшоном военного плаща. Это был кельтиберский пастух. Кинувшись на средину дороги, грек с силой схватил лошадь за узду, при чем всадник, остановленный на ходу, подался всем туловищем назад и в то же мгновение вытащил из-за кожаного пояса нож.

— Спокойно! — сказал Актеон тихим голосом. — Если

я остановил тебя, то это для того, чтобы сказать, что я тебя знаю. Ты Ганнибал, сын великого Гамилькара. Твое переодевание может пригодиться тебе для сагунтцев, но твой друг детства тебя узнает.

Африканец приблизил свою косматую голову и его надменные глаза узнали в полусвете грека.

— Это ты, Актеон?.. Встречая тебя вчера столько раз, я понял, что в конце концов ты узнаешь меня. Что делаешь ты здесь?

— Я живу в доме Сонники. Я состою воином на жаловании у города.

— Ты!.. Сын Лисия, который был доверенным полководцем Гамилькара! Человек, воспитанный в афинском Притансе, на службе у города варваров и торговцев!..

Он помолчал несколько минут, как бы пораженный поведением грека, и затем снова заговорил с решимостью.

— Садись на круп моей лошади: поезжай со мной. В порту меня ожидает карфагенский корабль, который нагружается серебром. Я отправляюсь в Новый Карфаген, чтобы стать во главе своих. Приближаются дни славы, грандиозное и великое предприятие, подобное предприятию гигантов, когда они взобрались на горы, чтобы приступом взять ваш Олимп. Едем: ты друг моего детства, ты коварен и смел, как твой отец: при мне ты достигнешь богатств. Кто знает, не будешь ли ты царствовать в какой-либо прекрасной стране, когда, подражая Александру, я разделю свои завоеванные земли между военачальниками!..

— Нет, карфагенянин,— возразил с достоинством Актеон.— Я с удовольствием вспоминаю наши детские годы, но никогда я не пойду за тобой. Я не забыл, кем был убит мой отец. Видя твоих африканских солдат, я вспоминаю чернь, которая распяла на кресте Лисиаса.

— Это было безумием беспощадной войны, к которой побудили нас торговцы. Отец мой тысячи раз оплакивал своего верного Лисиаса, вспоминая его. Я заглажу своим покровительством эту несправедливость Карфагена.

— Я не последую за тобой, Ганнибал. Я предпочитаю



таю состариться здесь, среди затишья и покоя, подле Сонники, полюбив мир.

— Мир!.. Мир!..

И среди безмолвия дороги раздался взрыв смеха, презрительного и издевающегося.

— Внимай, Актеон,— сказал африканец, снова ставясь серьезным. Ты говоришь о мире!.. Очнись! Если ты думаешь покойно состариться в каком-нибудь уголке, то беги с любимой гречанкой подальше отсюда, как можно подальше отсюда, как можно дальше. Там, где я, не будет мира до тех пор, пока я не стану властителем мира. Война идет вслед за мною; тот, кто не покорится мне, умрет или же станет моим рабом.

Грек понял угрозу, которую знаменовали эти слова.

— Подумай, Ганнибал, о том, что этот город находится под защитой Рима. Республика считает его своим союзником и покровительствует ему.

— Ты думаешь, что я боюсь Рима?.. Если я ненавижу Сагунт, то лишь потому, что он гордится своим союзом и ненавидит, презирает меня, не смотря на то, что я близко. Он спокоен потому, что ему покровительствует эта Республика, которая находится очень далеко, и он смеется надо мной, царящим на всем полуострове вплоть до Эбро и расположившимся лагерем чуть ли не у их ворот. Он относится враждебно к турдетанам, которые являются моими союзниками, как и все иберийские народности; внутри своих стен он обезглавил граждан, которые были друзьями великого Гамилькара. О-о! город слепой и надменный! Как дорого ты заплатишь за то, что живя подле Ганнибала, не знаешь его!..

И, повернувшись на седле, он глядел угрожающим взором на Акрополь Сагунта, который выделялся среди утреннего тумана.

— Рим нападет на тебя, как только ты атакуешь его союзника.

— Пусть нападает,— возразил африканец с высокомерием.— Это то, чего я желаю. Меня тяготит мир; я не могу привыкнуть к тому, чтобы видеть Карфаген побежденным, и этого не будет, пока существуют такие люди, как я и мои друзья. Или Рим или Африка. Я ненавижу

богачей моей страны за то, что, не взирая на позор поражения, они счастливо живут, довольные, что имеют возможность спокойно торговать и набивать серебром свои погреба. Внимай же хорошо, грек. Ты первый, которого я посвящаю в свои планы. Настало время дать последнее сражение. Скоро узнает Рим, что существует некий Ганнибал, который кинет ему вызов, завладев Сагунтом.

— У тебя для этого слишком мало сил, африканец. Сагунт силен; прибыв же из Нового Карфагена, я видел там лишь слонов, остатки армии, которой командовал твой отец, и нумидийскую конницу, присланную вашими африканскими друзьями.

— Ты забываешь об иберийцах и кельтиберах, обо всем полуострове, который подымается массой, чтобы двинуться для взятия Сагунта. Страна бедна, а город завален богатствами. Я хорошо его изучил. В нем достаточно средств, чтобы содержать армию целые годы; с побережья же Великого Моря станут прибывать лузитанские народности, привлеченные надеждой на добычу и той ненавистью, которую суровые туземцы питают к городу могущественному и цивилизованному, где живут их эксплуататоры. Для Ганнибала не составит особой трудности завладеть республикой землепашцев и торговцев.

— И что же затем, когда ты станешь хозяином Сагунта?..

Африканец не отвечал, опустив на грудь бороду и загадочно улыбаясь.

— Ты молчишь, Ганнибал?.. Ведь после того, как ты станешь господином Сагунта, дальше ты никуда не двинешься. Рим потребует выдачи тебя за нарушение договора, а карфагенский сенат проклянет тебя, дорого оценит твою голову, повелит твоим солдатам не повиноваться тебе, и ты умрешь, распятым или же станешь скитаться по свету, как беглый раб.

— Нет, огонь Ваала! — воскликнул вождь с высокомерием. — Карфаген не пойдет против меня. Он предпримет войну против Рима. У меня имеются бесчисленные сторонники, чернь, которая хочет войны, предвкушая получку грабежа и дележа добычи; весь пригородный

люд, который будет в восторге от того, что после расплаты с войсками ему достанутся разграбленные богатства полуострова. Я не возвращался в Карфаген с тех пор как последовал за моим отцом, когда мне было девять лет, но народ обожает мое имя.

— А как же ты победишь Рим?

— Не знаю,— сказал Ганнибал с загадочной улыбкой.—Моя воля говорит: «хочу», и этого достаточно... Я достигну.

Ганнибал замолчал, нахмурив брови, как бы боясь, что сказал слишком много.

Наступал уж день. По дороге проходили женщины с ивовыми корзинами на голове. Два раба, неся на плечах большую амфору, висящую на шесте, приостановились на секунду подле них, чтобы передохнуть. Африканец ласкал шею своего коня, как бы подготавливая его к пути.

— В последний раз, грек: едешь?..

Актеон отрицательно покачал головой.

С развевающимся плащом Ганнибал поскакал галопом среди облаков пыли, приводя в смятение поселян и рабов, которые отступали к краям дороги, чтобы дать ему проехать.

#### IV. СРЕДИ ГРЕКОВ И КЕЛЬТИБЕРОВ

Актеон никому не говорил об этой встрече. Более того: спустя несколько дней, он почти забыл о ней. Видел город спокойным, занятым приготовлениями к большим празднествам Панафиней, уверенным в покровительстве своего союзника Рима, и воспоминание о свидании с африканцем приобрело в его памяти смутное впечатление свидания.

Без сомнения, слова Ганнибала были не более, как высокомерием молодости. Ненавидимый богачами своей страны и не имеющий других союзников, кроме тех, которыми он сам заручился, африканец не дерзнет атаковать город, состоящий в союзе с Римом, нарушая этим договор Карфагена.

К тому же грек находился в периоде сладостного опы-

янения: он проводил все время в объятиях Сонники или у ее ног, в прохладе перестилы, слушая лиры рабынь, игру флейтисток и глядя на танцовщиц из Гадеса, причем возлюбленная венчала цветами его голову или возливала на нее дорогие благовония.

Иногда его мятежный дух путешественника и человека века войны, привыкшего к движению и борьбе, возмущался этой слабостью. Тогда он бежал в город. Там беседовал со стрелком Мопсо и прислушивался к ропоту на Форо, где, не подозревая наступательных шагов Ганнибала на Сагунт, говорили о том, что, возможно, африканский вождь предпримет что-либо против них, и смеялись над его могуществом, ручаясь за крепость своих стен и еще более за покровительство Рима, который повторит на берегах Иберии свои победные сицилийские триумфы над карфагенянами.

У Актеона завязалась тесная дружба с кельтибером Алорко. Ему нравилась жестокая надменность варвара, благородство его чувств и почти религиозное почитание, которое он проявил к греческой культуре. Его отец, старый и больной, был царьком одной из народностей, которая в горах Кельтиберии пасла большие стада лошадей и быков. Он был его единственным наследником, и наступит день, когда он станет править этим грубым народом жестоких нравов, который в своем постоянном стремлении к краже лошадей создает войну, а в годы голода спускается с гор, чтобы грабить земледельцев долины. Отец с детства привозил его в Сагунт, и греческие нравы произвели на него такое сильное впечатление, что когда он стал юношей, его самым страстным желанием стало вернуться в приморский город; и теперь он жил в нем с несколькими слугами своего народа, держа великолепных лошадей и будучи уважаем сагунтцами почти как их гражданин; он становился глух к ласковым призывам старого властителя, близкого к смерти.

Его желанием было участвовать на праздниках в честь Минервы, чтобы восхитить греков города своей скачкой на конных состязаниях и завоевать лавровый венок. Он был очень благодарен Актеону, который, пользуясь влиянием Сонники, убедил городское начальство разрешить

кельтиберу участвовать в числе всадников большой процессии, которая подымется в Акрополь, чтобы отнести первые колосья в храм Минервы.

В дни, когда афинянин ослабевал среди песен и ароматов, изнемогая от ласк гречанки, которая казалось сгорала в огне последней страсти своей жизни, он вскакивал на рассвете с ложа, перекидывал через плечо лук и, в сопровождении двух прекрасных собак, бежал в поля Сагунта охотиться на диких котов, которые спускались с ближайших гор.

Настал день праздника Панафиней. Молва о торжестве распространилась далеко за пределы Сагунта, и в город прибывали караваны грубых кельтиберов, чтобы поглядеть на греческие торжества.

Земледельцы оставили свои жатвенные работы и, одетые в лучшее платье, с рассветом стали стекаться в город, чтобы присутствовать на празднике богини полей. Они несли большие связки ржи, отененные цветами, для приношения их в жертву, и шкуры белых ягнят, украшенные лентами, для возложения их на жертвенник.

Когда вззошло солнце, город оказался наполненным многочисленной разнообразной толпой, которая сновала по Форо или спешила к берегам реки, чтобы присутствовать при конных бегах.

Возле Бэатис Пэркес было устроено большое ристалище, где должно было происходить состязание знатнейших граждан Сагунта. Сенаторы, охраняемые группой наемников, присутствовали на празднике, заняв места на длинных белых сидениях. Сыновья коммерсантов и богатых землевладельцев, вся сагунтская молодежь ждала сигнала начала бегов, опираясь на свои легкие копыя и держа наготове поводья своих лошадей, которые обнюхивали друг друга и кусались, чуя близость состязания.

Дали знак ехать, и все юноши, поставив левую ногу на ушко копыя, вскочили на своих коней и помчались сплоченным эскадроном вдоль ристалища. Несметная масса народа разразилась криками восторга при виде великолепной группы наездников, почти распластавшихся на шее своих лошадей, как бы составляя с ними одно существо, высоко размахивающих своими копыями и

окутанных пылью, сквозь которую виднелись вытянутые ноги животных и их животы, почти касающиеся земли. Горячие бега длились много времени. Но постепенно наездники, менее искусные или на худших лошадях, стали отставать, эскадрон заметно уменьшался. Последний, отстающий на ристалище и все время скачущий впереди остальных, должен был получить венки, и толпа билась об заклад на кельтибера Алорко или афинянина Актеона, которые находились с первого момента во главе наездников.

После полудня гул возбужденной многочисленной толпы наполнил, точно раскатами грома, обширное пространство Форо. Это народ возвращался с конных состязаний и аплодировал победителю. Самые горячие почитатели стащили отважного Алорко с его скакуна и несли на плечах. Лавровый венок обвивал его волосы, непокорные и покрытые пылью. Актеон шел подле него, приветствуя его победу по-братски, без малейшего чувства зависти.

Певцы, прерванные этой волной энтузиазма, снова заняли свои места и взяли инструменты. Лавровый венок увенчал Лакаро среди всеобщего равнодушия, без всяких приветствий, кроме аплодисментов своих же рабов. Весь восторг города был направлен к победителю конных состязаний; народ был возбужден, дивясь силе и ловкости.

Настал торжественный момент: должна была начаться процессия. В торговом квартале рабы держали протянутыми от крыши к крыше зеленые и красные ткани, которые давали тень улицам. Окна и балконы были увешаны многоцветными коврами с затейливыми рисунками, у дверей же рабыни ставили жаровни для возжигания на них благовоний.

Богатые гречанки, сопровождаемые прислужницами, которые несли складные сидения, направлялись в поиски мест к лестницам храмов или к лавкам в Форо. Народ группировался вдоль домов с нетерпением ожидая процессии, которая составлялась за городскими стенами. Толпы ребятишек, совершенно голых, бежали по ули-

цам, размахивая миртовыми ветками и испуская` возгласы приветствия в честь богини.

Внезапно толпа всколыхнулась, раздражаясь криками восторга. Торжественная процессия в честь Минервы вошла через ворота Змеиной Дороги и медленно приблизилась к Форю, шествуя по кварталу коммерсантов, которые были организаторами праздника.

Впереди шествовали, держа в руках оливковые ветви, почтенные старцы с длинными бородами и белоснежными волосами, увенчанными зеленью, в белых мантиях, спадающих широкими складками. За ними следовали самые уважаемые граждане, вооруженные копьем и щитом, со спущенным на глаза забралом греческого шлема, горделиво выставляющие силу мускулатуры своих рук и ног. Далее шли красивейшие юноши города, увенчанные цветами и поющие гимны хвалы в честь богини, и хоры детей, пляшущих с детской грацией, держа друга друга за руку и образуя причудливую цепь. Затем следовали молодые девушки, дочери богатей. Они несли в руках, как приношения, легкие тростниковые корзинки, прикрытые вуалями, которые скрывали инструменты для жертвоприношения богине, а также хлеба из свежей ржи, предназначенные для возложения на алтарь, и пучки золотистых колосьев. Чтобы яснее отметить благородство богатых девушек, позади них шли рабыни, неся складные сиденья, отделанные слоновой костью, и зонтики из полосатой ткани с густыми многоцветными кистями на конце ручки.

Группа рабынь, избранных за свою красоту, во главе которой шла Ранто, несла на головах большие амфоры с водой и медом для возлияний в честь богини. Позади них шествовали все музыканты и певцы города, увенчанные розами и в широких белых одеяниях. Они ударяли по струнам лир, играли на флейтах, а несколько греков из горшечной мастерской Сонники, которые были на своей родине странствующими певцами, пели отрывки о Троянской войне перед многочисленной толпой варваров, которая почти не понимала их, но дивилась мелодичным переходам строф Гомера.

Толпа заволновалась, подымая головы, чтобы лучше

видеть *салиев*, священных танцовщиков Марса, которые приближались совершенно нагие, вооруженные мечами и щитами. Два раба несли на плечах ряд висящих на палке бронзовых щитов, по которым второй раб ударял колотушкой, и под эти звуки бронзы *салии*, ударяя своими мечами о щиты и испуская дикие крики, *ясполняли* пантомимы, напоминающие главные события из жизни богини.

Вслед за этим шумом, который приводил в волнение улицы, заставляя краснеть от восторга чернь, следовала группа девочек, поддерживающих тончайшее покрывало, на котором знатнейшими гречанками города было выткано сражение Минервы с Титанами. Это было приношение, которое предназначалось для нового храма богини.

Заканчивая процессию, приближался священный эскадрон, состоящий из богатейших горожан, гарцующих на горячих конях, которые своими беспокойными движениями заставляли многочисленную толпу отступать к стенам. Без седла и всякой упряжки, кроме уздечки, становящимися на дыбы скакунами, они представляли собою отважных наездников. У всадников, более пожилых, головы были прикрыты, по афинскому обычаю, большими шляпами; молодые же люди были в крылатом шлеме Меркурия или ехали с открытой головой, короткие завитки которой были перехвачены лентой огненного цвета. Аларко красовался в своем венке победителя, а Актеон, который ехал рядом с ним на одной из коней кельтибера, улыбался многочисленной толпе, глядящей на него с истинным почтением, как если бы он был мужем Сонники и распорядился ее несметными богатствами. Всадники с истинной гордостью глядели на мечи, которые опоясывали их бедра, ударяясь о бока лошади, и окидывая взглядом высоту Акрополя и город, раскинутый у их ног, как бы не сомневаясь в его силе и в спокойствии, в котором может пребывать Сагунт, уверенный в своей защите.

Толпа, возбужденная блестящей процессией, шумно приветствовала Соннику, когда она, окруженная рабынями, появилась на террасе большого здания, которое



принадлежало ей в торговом квартале и служило складом товаров. Ведь она была организаторшей празднества, она заплатила за покров Минерве, она перенесла в Сагунт прекрасный афинский праздник.

В воздухе распространялся ароматный пар жаровен; из окон сыпался на молодых девушек дождь роз; сверкало оружие, и в те моменты, когда стихал гул толпы, издали доносились звуки лир и флейт, аккомпанирующих нежной мелодией голосам певцов Гомера.

Грубые кельтиберы, прибывшие, чтобы присутствовать на празднике, молчали, пораженные процессией, которая ослепляла их блеском оружия и драгоценностей, и пестрой смесью одеяний. Коренные сагунтцы поздравляли своих сограждан греков, любуясь великолепием праздника.

Но торжество не заканчивалось блестящей процессией. Вечером должны были начаться увеселения для народа, праздник бедняков. Состоится бега вдоль стен с зажженными светильниками: будут бегать с пылающим факелом, в память Прометея, моряки, гончары, земледельцы, весь свободный и несчастный люд порта и деревни. Тот, кто обежит город и вернется с горящим светильником, станет победителем; те же, у которых погаснет факел или которые будут медленно итти, чтобы сохранить огонь, подвергнутся свисткам и побоям многочисленной толпы. Даже богачи говорили с увлечением об этом народном празднике.

Подле Акрополя, когда вся процессия была уж в его стенах, Алорко заметил среди толпы кельтибера, ехавшего на вспотевшем коне, который делал ему знаки, чтобы он приблизился к нему.

Алорко, остановив эскадрон, направился к всаднику.

— Чего ты хочешь? — спросил он.

— Я прибыл в Сагунт, проведя в пути три дня. Твой отец умирает и призывает тебя. Народные старцы приказали мне не возвращаться без тебя.

Актеон последовал за своим другом, оставив всадников священного эскадрона.

Оба всадника стали спускаться к городу, сопровождаемые кельтиберским гонцом.

Актеон чувствовал себя расстроенным волнением своего друга и в то же время в нем пробуждалась любознательность путешественника, заинтересованного еще ранее рассказами кельтибера.

— Хочешь, Алорко, чтобы я тебя сопровождал?

Они проехали город; улицы были пусты. Весь народ поднялся в Акрополь. Актеон заехал на секунду в склад Сонники, чтобы известить ее рабов о своем отъезде, и затем последовал за своим другом, выехав вместе с ним за город.

Алорко жил в одном из домов предместья, громадном здании с обширными конюшнями и широкими дворами. Пять человек его племени находились при молодом кельтибере в течение его пребывания в Сагунте, досматривая за его лошадьми и служа ему, как слуги.

Узнав, что они должны ехать, сыны гор закричали от восторга. Они томились от праздности в этой плодородной и богатой стране, нравы которой ненавидели, и с поспешностью стали готовиться к отъезду.

Солнце заходило, когда пустились в путь. Алорко и Актеон ехали впереди с плащом на голозе, в тканой кирасе для защиты груди, согласно кельтиберскому обычаю, и с широким и коротким мечом, висящим подле кожаного щита, спускающегося с пояса. Вооруженные длинными копьями пять слуг и гонец замыкали поезд, подгоняя двух мулов, которые везли одежду и провизию для путешествия.

Этот вечер еще ехали по дорогам сагунтской земли. Проезжали среди полей, обработанных и плодородных, мимо красивых дач и деревушек, которые теснились вокруг башни, служащей им защитой. С наступлением ночи расположились подле убогой горной деревеньки. Здесь кончались владения Сагунта. Далее жили племена, находившиеся почти всегда во враждебных отношениях с Республикой.

На следующее утро грек увидел совершенно изменившийся пейзаж. Позади него остались море и зеленая долина, кругом же виднелись лишь горы и горы, одни, покрытые большими сосновыми лесами, другие — ржавые, с выступом голубоватого камня и густыми кустар-

никами, которые при приближении каравана, трепеща листвою, извергали тучи испуганных птиц и зайцев, в безумном ужасе проносившихся между ногами лошадей.

Дороги не были проложены людьми. Животные пробирались с трудом по следам, которые оставались после других путников; много раз обходили груды камней, свалившихся с вершин, и проходили ручьи, пересекающие путь. Подымались по горам, взбирались на вершины среди криков орлов, которые неистовствовали от ярости при виде вторжения в их покойные области, куда от времени до времени по вечерам проникали люди; спускались в трясины, глубокие расщелины, где царил гробовой мрак и хлопали крыльями вороны, привлеченные падалью какого-нибудь животного.

Иногда вдаль виднелась небольшая долина или по ту сторону ручья стояла группа хижин с глиняными стенами и соломенной крышей, в которой было проделано отверстие для освещения жилища и выхода дыма. Женщины, костистые и прикрытые шкурами, окруженные голыми ребятишками, выходили из своих логовищ, чтобы издали поглядеть на караван с выражением неприязни и тревоги, точно проезд нескольких незнакомцев мог принести одни лишь бедствия. Другие, более молодые, с обнаженными ногами и опоясанные передниками из рубищ, косили тощую рожь, которая еле подымалась, точно золотистая пелена, раскинутая на белеющей и скудной почве. Девочки, сильные и некрасивые, с мужественными членами, спускались с гор с большими связками ветвей за спиной. Мужчины же, с густыми спутанными волосами, спадающими на их смуглые и бородатые лица, в тени орешников и красных дубов плели бычачьи нервы для щитов или обучались метать дротики и владеть копьем.

На самых возвышенных местах дороги появлялись всадники, на маленьких лошадях с длинной и грязной шерстью, имеющие сомнительный вид не то пастухов, не то разбойников со своими кожаными доспехами и длинными копьями. В продолжение нескольких минут они внимательно изучали едущих и затем, определив

их силы и придя к заключению, что на них трудно будет напасть, возвращались к своим стадам, которые паслись в глубоких расщелинах гор, покрытых кустарниками. Бесчисленные стада ягнят и быков, привыкших к дикому уединению, убежали, слышав приближение каравана. Между розмарином и тимьяном, растущими на косогорах, сновали, точно серые муравьи, стаи перепелов, ищущих корма, и при звуке лошадиных копыт они тревожно взлетали, пронсясь, точно свист над головами путников.

Актеон дивился грубым нравам этого народа. Хижины были сделаны из красной глины или в сруб, скрепленные грязью; крыши из ветвей. Женщины, более сильные, чем мужчины, выполняли самые трудные работы, и только мальчики в этом отношении помогали своим матерям. Юноши вооружались копьём и под руководством стариков учились сражаться как пешим, так и конным, укрощали жеребцов, прыгая с них на землю и снова вскакивая на всем бегу, и обучались продолжительно стоять на коленях на спинах лошадей, оставаясь неподвижными, со свободными руками, чтобы владеть мечом и щитом.

В некоторых селениях путешественников принимали с традиционным гостеприимством и еще более проявляли внимания, узнав в Алорко наследника Эндовельико, главы племени Бараеко, которое с испокон веков пасло свои стада на берегах Халона. С наступлением ночи им уступали свои лучшие кожаные постели, прикрытые для смягчения сухой травой; в честь каравана прокалывали на вертеле телят, поджаривая его на громадном огне, и в продолжение путешествия, женщины, стоя у входа своих жилищ, останавливали их, предлагая в больших глиняных ковшах горькое пиво, приготовленное в долинах, и хлеб из желудиной муки.

Алорко пояснял афинянину обычаи своего народа. Они собирали желуди, служившие им главным питанием, держали их на солнце до тех пор, пока они совершенно не высыхали, затем шелушили, молотили их и складывали в амбары запас муки на шесть месяцев. Этот хлеб, дичь и молоко составляли их главную пищу. В пре-

жные времена, когда мор скота оставлял их без стад, когда поля не давали урожая и голод губил народ, более сильные поедали слабых, чтобы самим существовать. Рассказы об этом он слышал от стариков своего племени, передающих это, как легенду отдаленных времен, когда Нэтон, Аутубэль, Нади и другие боги страны, разгневанные своим народом, посылали на него столь ужасную кару.

Молодой кельтибер продолжал рассказывать о нравах своего племени. Некоторые из женщин, которые с таким мужеством работали на полях, быть может, только накануне разрешились от бремени. Согласно обычаю, как только младенец появлялся на свет, его сейчас же погружали в воду ближайшей реки, чтобы этим способом, ведущим многих к смерти, закалить его, сделав мужественным и нечувствительным к холоду; мать после родов немедленно вставала с постели и продолжала свою работу, муж же занимал ее место, ложась вместе с новорожденным. Женщина, еще не оправившаяся от болезни, заботилась об обоих, окружая вниманием сильного мужа, как бы благодаря его за тот плод, который он даровал ей.

Несколько раз караван встречал на своем пути по краям тропинок постели из травы, на которых лежали люди, мрачные и жалкие. Мухи целыми тучами жужжали вокруг их голов; возле руки лежащего стояла амхора с водою. Ребенок, сидя на корточках подле постели, отгонял веткой насекомых. Это были больные, которых родные, следуя древнему обычаю, выносили на край дороги, чтобы умилостивить богов, показывая их страдания, а также, чтобы проезжающие мимо путники помогали им своими советами и давали лечебные средства далеких стран.

Сильные мужчины омывались в лошадиной моче, чтобы укрепить мускулы. Их единственной роскошью было оружие и они любовались, как неоцененными драгоценностями, бронзовыми мечами, привезенными с севера полуострова, и стальными мечами, изготовленными в Бильбилео и отточенными на песках его знаменитой реки. Гибкие латы, сделанные из различной шерстяной

ткани или из кожи и украшенные гвоздями, служили им оборонительным вооружением, с которым кельтибер не расставался даже в постели. Они спали на разложенном сагумоме, с оружием под рукой, готовые сражаться при малейшей тревоге, нарушающей их сон.

После трехдневного путешествия, караван вступил во владения племени Алорко. Горы расступились на обе стороны Халона, образуя веселые долины, покрытые пастбищами, по которым бегали табуны диких лошадей, с вьющимися гривами и волнистыми хвостами. Женщины выходили из своих селений, чтобы приветствовать Алорко, а мужчины, с копьями в руках, выезжали на лошадях, чтобы присоединиться к каравану. В первой деревне, где они остановились, какой-то старик сказал Алорко, что отец его, могущественный Эндовельико, находится в предсмертной агонии; в следующем же селении, куда они прибыли спустя несколько часов, он узнал, что великий глава народа скончался на рассвете.

Все народные воины, пастухи и земледельцы выезжали на лошадях, чтобы следовать за Алорко. Когда приехали к деревне, где проживал царь, конвой уж представлял собою небольшую армию.

В дверях родительского дома здания, сооруженного из красного камня и древесных стволов, Алорко увидел своих сестер в платье, украшенном цветами и с головой, заключенной в ожерелье с клеткой из железных прутьев, с которых спускался траурный вуаль. Сестры Алорко, так же, как и другие женщины, которые их сопровождали, жены первых народных военачальников, скрывали свою печаль по поводу смерти повелителя, и улыбались, как бы находясь накануне праздника. Старость считалась несчастьем у кельтиберов, которые презирали жизнь, и когда не бывало войны, сражались ради развлечения. Умереть на постели считалось почти бесчестием, и единственное, что смущало семью Эндовельико, это то, что столь прославленный воин, ужас соседних племен, умер с головою, убеленною сединою, погасив свою жизнь, как гаснет факел, после того, как он направлял своего коня навстречу стольким сражениям, обрушивая свой меч, словно громовую стрелу, на стольких врагов.

Платье и лицо Актеона привлекали к себе внимание всего народа. Многие из кельтибер никогда не видели ни одного грека и рассматривали чужеземца неприязненным взглядом, вспоминая коварство и ловкость, с которыми эллинские купцы эксплуатировали людей их племени, когда они спускались в Сагунт для продажи серебра, добытого в рудниках.

Алорко успокоил своих.

— Это мой брат,— сказал он на наречии страны.— Мы вместе жили в Сагунте. Притом он не из этого рода. Он издалека, из страны, где люди почти боги, и он приехал со мной, чтобы познакомиться с вами.

Женщины смотрели на Актеона с изумлением, узнав о его почти божественном происхождении, которое ему приписывал Алорко.

Караван спешил и вошли в громадную хижину, которая служила дворцом народного главы. Обширное помещение, почерневшее от дыма и освещаемое лишь узкими отдушниками, служило местом собрания и совета народных воинов. В одном углу, где было проделано большое отверстие в крыше, служащее печной трубой, лежал громадный камень, на котором горели поленья. В стену была вделана каменная доска с грубо высеченной на ней фигурой народного бога, удавливающего двух львов. На стенах висели копья и щиты, шкуры диких зверей, белые черепа домашних животных. Вдоль стен шла каменная скамья, которая пресекалась подле очага, там где помещалось высокое каменное сидение, открытое медвежьей шкурой. Это было место царя.

Воины, постепенно входя, размещались на скамье.

Один из стариков, взяв Алорко за руку, проводил его к почетному месту.

— Садись здесь, сын Эндовельико. Ты единственный его наследник и ты достоин стать нашим главой. Его мужество и его благоразумие пребывают в тебе.

Большинство воинов поддерживали взглядами одобрения слова степенного старца.

— Где находится тело моего отца? — спросил Алорко, взволнованный церемонией.

— С тех пор, как взошло солнце, оно находится на

лугу, где отец обучал тебя выезжать лошадей и владеть оружием. Юноши нашего племени охраняют его. Завтра, когда взойдет солнце, будет его погребение, достойное столь великого правителя. Засим ты, как новый царь, дашь нам советы относительно нужд народа.

Алорко посадил подле себя грека. Женщины внесли факелы, так как с наступлением сумерек сквозь узкие отдушины еле проникал бледный и трепетный полусвет. Сестры Алорко с опущенным взглядом и в туниках, украшенных цветами и волнообразно спадающими вокруг их девственных сильных тел, стали обходить воинов, предлагая им в роговых чашах мед и пиво. Некоторые из мужчин пили очень много, не теряя своей степенности. Говорили о деяниях Эндовельико, точно он умер много лет тому назад, и о великом предприятии, на которое, без сомнения, их поведет его преемник, намекая не раз загадочными словами на обстоятельства, подлежащие обсуждению совета на следующий день.

Начали ужин. У кельтиберов не было в обычае, как у приморских народов, есть за столом. Они продолжали сидеть на каменной скамье. Женщины клали подле них ржаной хлеб, который ввиду необычности пиршества заменял собою хлеб из желудиной муки, употребляемый обыкновенно. Остальные женщины разносили вокруг большую чашу, наполненную кусками жареного мяса, из которого еще сочилась кровь, и каждый воин брал себе кусок концом своего меча. Рога, наполненные питьем, переходили из рук в руки, и грек Актеон принимал их изящным жестом, когда соседи передавали ему чаши с гостеприимными словами, которые были ему непонятны.

После окончания ужина вошло несколько юношей с трубами и флейтами и стали играть своеобразную мелодию, которая передавала веселье охоты и негодование, с каким сражающиеся обрушиваются на врага. Гости приходили в возбуждение, и многие из них, более молодые, выскочив на середину покоя, начинали танцевать с гимнастической ловкостью. Эта была пляска, которой кельтиберы заканчивали все свои пиршества: буйные телодвижения, являющиеся как бы испытанием их мус-



кулов и проявлением их силы. Задолго до полуночи воины разошлись, оставив Алорко и Актеона одних в этом большом наполненном копотью помещении, где трепетали факелы, окрашивающие кровавым отблеском варварские украшения стен. Они легли спать на постелях из травы, не снимая платья и с оружием подле себя, как спал весь народ этого племени, всегда опасющийся нападения соседей, привлекаемых богатством их стад.

На рассвете спустились на луг, где был выставлен труп Эндовельико. Весь народ собрался в долине подле реки: юноши на лошадях со своими копьями и в полном вооружении; старики, сидя в тени дубов, женщины же и дети подле дровяного костра, на котором находился труп царя.

Эндовельико был облачен в свое военное одеяние. Волосы его спускались по бокам шлема с тройным нащлемником; серебристая борода спадала на панцырь из бронзовой чешуи; руки, обнаженные и мускулистые, были опущены на кельтиберский меч с коротким клинком, суженный к концу, а ноги были покрыты широкими ремнями сандалий. Щит, на котором был выгравирован народный бог, сражающийся со львами, служил подушкой его голове.

Когда приехали молодые люди, к ним приблизился тот же старик, который накануне приветствовал Алорко. Он был самый сведущий из народа и много раз давал советы Эндовельико перед предпринятием смелых походов. В исключительных обстоятельствах он вскрывал священным мечом живот пленников, чтобы по трепетанию их внутренностей прочесть будущее. В других случаях он отсекал руки побежденным, чтобы посвятить их народному богу, пригвоздивая их к дверям царя, чтобы умиловить божество. Тайственность гласила его устами и весь народ глядел на него с удивлением и страхом, как на существо, могущее изменить движение солнца и уничтожить в одну ночь урожай врагов.

— Приблизься, сын Эндовельико,— сказал он торжественно.— Взгляни на свой народ, который тебя избирает, как сильнейшего и достойнейшего, чтобы наследовать твоему отцу.

Он обратил вопрошающий взгляд на многочисленную толпу, и воины выразили одобрение, ударяя в свои щиты и испуская такие же крики, какими они возбуждали себя, вступая в бой.

— Теперь ты наш царь,— продолжал старик.— Ты будешь отцом и стражем своего народа. Чтобы закрепить возлагаемую на тебя власть, ты получишь наследие твоего отца... Снимите щит!

Двое юношей поднялись на верхушку костра и, подняв голову Эндовельико, сняли щит с изображением бога и вручили его Алорко.

— Этим щитом,— сказал старик,— ты прикроешь свой народ от ударов врага... Дайте меч!

Юноши достали меч, вырвав его из окаменевших рук правителя.

— Олояши себя им, Алорко,— продолжал кудесник.— Этим мечом ты защитишь нас и, как молния, он направится туда, куда укажет тебе твой народ. Приблизься, молодой царь.

Сопровождаемый стариком, приблизился Алорко к дровам, на которых возлегал его отец. Юноша отвернул лицо, чтобы не видеть трупа, боясь пробудить чувство скорби, которое вызвало бы у него слезы в присутствии народа.

— Клянись Нетоном, Аутубелем, Набием, Каулецом, клянись всеми богами нашего племени и всех племен, которые населяют эту землю и ненавидят чужеземцев, прибывших морем, чтобы красть наши богатства. Клянись быть верным твоему народу и всегда следовать тому, что тебе будут советовать воины народа!.. Клянись в этом телом твоего отца, от которого скоро не останется ничего, кроме пепла!..

Алорко дал клятву и воины вторично ударили в свои щиты, испуская возгласы радости.

Старик с необычайной бодростью взобрался на костер и стал искать чего-то под латами трупа.

— Возьми, Алорко,— сказал он, спустившись и вручая новому правителю медную цепочку, на которой висел круг из того же металла.— Это лучшее наследство твоего отца: сальвацион, который сопровождал его. Во

всех предприятиях. Нет ни единого воина в Кельтиберии, который не носил бы с собой яда, чтоб умереть прежде, чем стать рабом победителя. Этот яд изготовлен мною для твоего отца. Я провел целый месяц, добывая его, и одна его капля убивает, как громовая стрела. Если когда-либо ты будешь побежден, выпей, и ты умрешь прежде, чем твой народ узрит своего царя с отсеченной рукой и служащим рабом неприятелю.

Алорко проделал голову сквозь цепь, спрятав на груди наследство своего отца. После этого он вернулся к Актеону, под дубы, где группировались старцы.

Юноши, которые остались на лугу, побежали с зажженными факелами вокруг костра. Светильники зажгли смолистые дрова, и вскоре дым и пламя стали охватывать труп.

Народные воины, прославившиеся своей храбростью и силой, приблизились, гарцуя на своих лошадях вокруг огня.

Размахивая копьями, они провозглашали хриплыми выкриками деяния умершего царя, и народная масса присоединялась к ним со своими возгласами. Они повествовали о бесчисленных сражениях, из которых он выходил победителем, об отважных походах, в которых он ночью нападал на беспечного врага, сжигая его жилища и ставив бесчисленные виселицы с плененными; о его выдающейся силе, о ловкости, с которой он укрощал самых диких жеребцов, и о благоразумии, которое сказывалось во всех его советах.

— Он защищал от вражьей руки двери наших домов! — восклицал один из воинов, проносясь галопом, точно призрак среди дыма пламени.

И толпа кричала с выражением скорби:

— Эндовельико!.. Эндовельико!..

— Его страшились все племена и имя его было почитаемо, как имя бога!..

Толпа снова повторяла несколько раз имя царя, как бы оплакивая его.

— Своим каменным кулаком он убивал быка на всем его бегу и отсекал голову врага одним ударом своего меча.

— Эндовельико!.. Эндовельико!..

И так продолжалось погребение народного главы. Огонь вздымал пламя, загрязняя своим густым дымом лазурь неба, а глашатаи, неумолимые в превозглашении доблестей их царя, продолжали скакать вокруг костра, точно черные демоны, увенчанные искрами, заставляя своих коней перепрыгивать через пылающие головни. Когда останки Эндовельико достигли низа костра, скрывшись среди пепла и догорающих поленьев, на углях жара началось сражение в честь покойного.

Приблизились воины на лошадях со щитом на груди, с поднятым мечом, и стали сражаться, точно были непримиримыми врагами. Лучшие друзья, братья по оружию, они направляли страшные удары друг против друга с энтузиазмом народа, который превращает борьбу в развлечение. Следовало, чтобы для более воинственного прославления памяти умершего пролилась кровь. Лошади падали при столкновении сражающихся; но всадники продолжали борьбу на ногах, припав телом к телу, звеня от ударов щитами. Когда несколько воинов, покрытых кровью, вынуждены были отступить и борьба приняла характер генерального сражения, в котором стали принимать участие женщины и дети, возбужденные зрелищем, Алорко повелел заиграть на трубах, давая этим знак к возвращению, и кинулся среди сражающихся, чтобы разединить наиболее упорных.

Погребение кончилось. Рабы выбросили остатки костра в ров и толпа, видя, что праздник окончен, подняла в последний раз рога, наполненные пивом, чтобы выпить в честь нового царя, а затем стала расходиться по своим селениям.

Главные воины направились к жилищу народного главы, чтобы держать совет.

Афинянин шел рядом с Алорко, делясь с ним ужасными впечатлениями, которые произвели на него варварские и воинственные обычаи кельтиберов. Так как он не понимал их языка, воины без тревоги отнеслись к тому, что он сел в совещательном покое подле нового царя.

Кудесник долго говорил Алорко среди почтительного молчания воинов. Актеон догадался, что он посвяща-

ет его в дела чрезвычайной важности, происшедшие за несколько дней до прибытия нового главы. Быть может, созыв дружественных племен, какой-либо выгодный поход, предпринимаемый смельчаками.

Он видел, что лицо Алорко слегка омрачилось, словно ему говорили о чем-то тягостном, чему противились его чувства. Воины пристально глядели на него, выражая глазами восторг и подтверждение словам старика. Алорко со вниманием слушал речь старика, и когда тот кончил, он после долгого молчания сказал несколько слов и сделал головой знак согласия.

Этот суровый люд принял с криками восторга решение своего главы и толпою вышел из дома, как бы спеша поделиться новостью с остальными.

Когда грек и кельтибер остались одни, последний сказал с грустью.

— Актеон, завтра я уезжаю со своими. Я вступаю в исполнение обязанностей главы народа. Я должен вести его в сражение.

— Могу я сопровождать тебя?

— Нет. Я не знаю, куда мы идем. У моего отца был могущественный союзник, которого я не могу назвать тебе, и теперь он призывает меня, не говоря зачем. Весь народ проявляет большой восторг по поводу этого похода.

После долгой паузы Алорко добавил:

— Ты можешь оставаться здесь до тех пор, пока пожелаешь. Мои сестры будут повиноваться тебе, как если бы ты был самим Алорко.

— Нет, после твоего отъезда мне здесь нечего будет делать. За один день я видел достаточно, чтобы ознакомиться с кельтиберами. Я возвращусь в Сагунт.

— Счастлив ты, что можешь вернуться к греческой жизни, к пирам Сонники, к сладостному покою этих торговцев. Да не нарушится никогда этот покой и да будет мне возможно вернуться туда в качестве друга.

Оба долго молчали, как бы мысленно взвешивая свои мрачные соображения.

— Ты вернешься из этого похода, нагруженный бо-

гатствами, — сказал грек, — и приедешь в Сагунт, чтобы весело поистратить их.

— Да будет так! — пробормотал Алорко. — Но я чувствую, что никогда нам больше не придется встретиться, Актеон. Если же мы свидимся, то лишь для того, чтобы проклясть богов, предпочитая не знать этой встречи. Я уезжаю, не зная куда направлюсь, и быть может, пойду против самого себя.

Они больше не говорили, боясь высказать свои мысли.

Грек и кельтибер сердечно расцеловались. Потом, как последний прощальный привет, в знак братской дружбы, поцеловали друг друга в глаза.

## V. НАШЕСТВИЕ

Красавица Сонника думала, что навсегда потеряла Актеона. Его внезапный отъезд она объясняла капризом непостоянного афинянина, вечного путешественника, побуждаемого лихорадочной потребностью видеть все новые страны.

Одним богам лишь ведомо, куда помчится эта скитающаяся птица, после своего посещения Кельтиберии. Быть может, он останется с Алорко, быть может, станет воевать с этими варварами, и те, покоренные его культурой и лукавством, кончат тем, что создадут ему царство.

Сонника предполагала, что афинянин не вернется, что ее краткая весна любви походила на беглое счастье женщин, которые были близки богам, когда те спускались на землю. Она, столь равнодушно и насмешливо относящаяся к чувствам, проводила дни, плача на своем ложе, или бродя по ночам, как тень, по большому саду, останавливаясь у грота, где грек впервые развязал пояс ее туники. Рабы дивились неровному и жестокому настроению своей госпожи, которая то плакала, как девочка, то, охваченная приливом жестокости, приказывала наказывать всех.

И однажды неожиданно грек появился перед виллой на запыленной и вспотевшей лошади, отпустил сопро-

вождавших его варваров с жестокими лицами, побежал с раскрытыми объятиями к трепещущей Соннике и все кругом, казалось, ожило; госпожа улыбалась, сад казался более прекрасным, на террасе сверкали с большим блеском перья редких птиц, веселее звучали флейты, а рабам, освобожденным теперь от наказаний, казались более мягким воздух и более ясным небо.

Вилла Сонники вернулась к своей веселой жизни, словно хозяйка ее воскресла. Ночью был устроен в большом триклинии пир; прибыли приглашенные молодые эстеты, друзья Сонники, и даже Эуфобию философу нашлось место, без предварительной борьбы с палками рабов.

Сонника улыбалась, слушая Актеона. Гости заставили его рассказать о путешествии в Кельтиберию, удивляясь нравам народа, которым правил Алорко. Эуфобий не скрывал своего удовольствия по поводу того, что у него есть столь могущественный друг, и говорил, что отправится на некоторое время туда, чтобы покойно пожить, не прося, как подаяние, хлеба у купцов Сагунта.

Для афинянина вернулась весна любви. Он проводил дни на даче у ног Сонники, глядя как она пряла волну ярких цветов или как с помощью рабынь украшала свое тело. С наступлением вечера они отправлялись в сад и ночь застигала их в гроте, крепко прижавшихся друг к другу, слушающих, как сладкую и монотонную мелодию, пенье водяной струи, стекающей в алебастровую чашу.

Однажды утром Актеон отправился в город, чтобы пройтись по портикам Фороса, послушать новости с любезностью грека, привыкшего к ропоту Агоры. На большой сагунтской площади он заметил необычайное волнение. Праздные люди говорили о войне; горожане, более воинственные, вспоминали свои подвиги в последнем походе против турдетанов, преувеличивая их, а мирные торговцы оставляли свои прилавки, чтобы потолковать о новостях, выражая уныние возможности близкой войны. Придя в Сагунт на следующий день, Актеон увидел наверху стен сотни рабов, которые восстанавливали амбразуры, поврежденные временем, и заделывали тре-

щины, которые в течение многих мирных лет оставались открытыми.

Стрелок Мопсо остановил его, идя с совещания старцев. Аннибал прислал гонца с приказанием возвратить завоеванные территории и добычу последнего похода. Африканец угрожал с возмутительной заносчивостью, и республика ответила ему с презрением, отказавшись слушать приказания. Сагунт может повиноваться лишь своему сильному союзнику Риму, и, уверенный в его покровительстве, он равнодушно относится к угрозам карфагенянина. Не взирая на это, так как война кажется неизбежной и все боятся молодости и дерзости Аннибала, два сенатора несколько дней тому назад отплыли из порта, направив парус к берегам Италии, чтобы сообщить о происшедшем, ходатайствуя о покровительстве Рима.

По Форо смутно распространились эти вести, и толпа издевалась над Аннибалом, как над заносчивым юношей, которого необходимо проучить. Он может идти на Сагунт, когда ему угодно. Ведь карфагеняне были изгнаны из Сицилии, были вынуждены покинуть берега Великой Греции, и если потом они и одерживали победы в Иберии, то только над варварскими племенами, которые не знали военного искусства и являлись жертвами их коварства. Нападая же на Сагунт, они встретят врага, достойного их, и Рим, могущественный союзник, нападет на них с тыла и уничтожит карфагенян.

Эти рассуждения возбуждали город. Стали приходить вести, что Аннибал выступил в поход и медленно приближается, и вследствие этого над Сагунтом точно пронеслась атмосфера войны, воспламеняя дух самых благоразумных. Спокойные купцы, с глухой досадой миролюбивых людей, видящих свое имущество в опасности, чистили старое оружие у дверей своих лавок или же спускались к берегам реки, чтобы упражняться владеть оружием, смешиваясь с молодежью, которая с восходом солнца гарцевала на своих лошадях и фехтовала копьем или метала стрелы под руководством Мопсо.

Актеон стал проводить дни вне виллы, глухой к мольбам Сонники, которая хотела видеть его всегда подле



себя. Сенат дал ему команду над пельтасами, легкой пехотой, и во главе нескольких сот босоногих юношей, вооруженных лишь шерстяной кирасой и камышовым щитом, он бегал по берегам реки, обучая молодежь метать на бегу копье, ранить врага, быстро пробегая мимо него и не давая ему времени ответить ударом.

Прошли летние месяцы. Виноградные грозди созревали; поселяне радовались, глядя на урожай винограда, скрытый под зелеными ветками. Но от времени до времени, как заунывные звуки трубы, доносились вести об Аннибале, об его победах над туземными племенами, которые не хотели подчиниться ему, и о дерзких требованиях, предъявляемых им к Сагунту.

Актеон предчувствовал близость войны, и хотя последняя всегда являлась главным средством его существования, но теперь она печалила его. Он чувствовал любовь к этой прекрасной, как Греция, земле. Его душа, проникнутая сладостным покоем плодородных нив и богатого промышленного города, тосковала при мысли, что это мирное существование будет нарушено. Его жизнь протекла среди борьбы и приключений, и теперь, когда богатый и счастливый, он желал покоя в уголке, где думал покончить свои дни, война, как забытая, несвоевременно явившаяся любовница, снова вернулась к нему, без всякого зова, толкая его снова на жестокость и разрушение.

Однажды вечером в конце лета Актеон думал об этом, ехав в город. В косых лучах солнца сверкали, точно золотые точки, крохотные пчелы, ищущие лесных цветов. Сборщицы винограда пели в виноградниках, склонившись над своими корзинами.

Неожиданно грек увидел бегущего со стороны города одного из рабов, которых Сонника держала в своих складах в Сагунте.

Он остановился, запыхавшись, перед Актеоном и едва мог говорить от усталости. Его отрывистые слова выражали ужас: Ганнибал приближается со стороны Сэтанса... В город начинает стекаться испуганный сельский люд со своими стадами. Они не видели врага, но бежали наугадные рассказы беглецов, которые при-

бывали с пограничных сагунтских владений. Карфагеняне перешли границу; это народ со свирепым лицом и странным вооружением; они окружают селения и предадут их огню. Раб спешил предупредить свою госпожу, чтобы она переселялась в город.

И он снова пустился бежать по направлению к вилле Сонники. Грек поколебался минуту, думая вернуться к своей возлюбленной, но кончил тем, что поскакал галопом к городу. Он отправился на поиски горной дороги, которая соединяла Сагунт с внутренними народами и, раздваиваясь, вела к Сэтабису и Дэнии. Достигнув ее, Актеон стал встречать беглецов, о которых говорил раб.

Они, точно наводнение, наполняли дорогу. Мычали под бичами стада, пробираясь среди повозок; женщины бежали, неся на головах большие узлы и таща своих ребятшек, держащихся за складки их туник; мальчики подгоняли лошадей, нагруженных утварью и платьем, всем наудачу захваченным второпях бегства; овцы прыгали по краям дороги, спасаясь от колес, которые касались их шерсти, грозя разъехать их.

Грек, едущий против течения беглецов, медленно подвигался со своей лошастью навстречу повозкам и стадам, поселянам и рабам, среди которых смешивались люди различных народностей и терялись члены одной семьи, призывая в отчаянии друг друга сквозь облака пыли.

Многочисленная толпа беглецов стала редеть. Мимо Актеона проходили отставшие: несчастные старухи, которые плелись колеблющимся шагом, таща на спинах корзины, заключающие в себе все их достояние; старики, отягченные тяжестью чугунков и платья; больные, которые с трудом тащились, опираясь на палку; забытые животные, которые блуждали между ближайшими оливковыми деревьями и внезапно, точно почуввав, что хозяин далеко, пускались бегом через поля; сидящие на камне дети, которые плакали, видя, что они покинуты своими.

Вскоре дорога совершенно опустела. Вдали затерялся хвост беглецов, и Актеон видел пред собою лишь узкий язык красноватой земли, извивавшийся по косо-

горам и ни единого существа, которое бы своим силуэтом нарушало однообразие дороги.

Топот его лошади раздавался, как отдаленный гром, в глубокой тишине. Казалось, что природа замерла, чувствуя близость войны. Вековые деревья, столетние маслины и громадные смоковницы, величаво раскинувшись над склонами гор, словно зеленые купола, оставались неподвижными, как бы пораженные приближением чего-то, что вынуждало народ покинуть их жилища.

Актеон проехал одно селение. Хижины заперты, улиты безмолвны. Ему показалось, что изнутри одного дома раздается слабый стон: какой-нибудь больной, покинутый своими второпях бегства. Затем он миновал большую запертую виллу. За высокими глиняными стенами отчаянно выла собака.

Далее снова безмолвие, тишина, отсутствие жизни, оцепенение, которое, казалось, распростерлось над полями. Спускалась ночь. Вдали слышался, как бы катящийся и смягченный расстоянием глухой гул, похожий на рев невидимого моря, переходящий в шум наводнения.

Грек свернул с дороги; лошадь его стала взбираться по обработанному склону горы, вонзая копыта в красноватую землю виноградников. С высоты взгляд охватывал большую часть окрестности.

Последние отблески солнца окрашивали оранжевым цветом откосы гор, среди которых извивалась дорога, а на последней сверкали, точно ручьи искр, кирасы всадников, которые с видимой осторожностью, как бы исследуя местность, быстро ехали. Актеон узнал их: это были нумидийцы, в белых развевающихся плащах; смешиваясь с ними, скакали другие воины с менее величественными станами, которые размахивали копьями, гарцуя на своих маленьких лошадях. Грек улыбнулся, узнав амазонок Ганнибала, знаменитый отряд, который он видел в Новом Карфагене, образовавшийся из жен и дочерей солдат.

Позади этой группы большое расстояние дороги оставалось пустынным; в глубине же, точно темное чудовище, подвигающееся волнообразными движениями гадины, выступало войско: бесчисленная толпа, над ко-

торой сверкали копыя, точно огненная полоса, прерываемая местами темными масками, которые приближались словно движущиеся башни. Это были слоны.

Внезапно позади войска снова как бы взошло солнце, чтобы осветить его путь. Горизонт вспыхнул, вырисовывая на красноватом фоне кружевные очертания громадной толпы. Это горела деревня. Полки Ганнибала, составленные из наемников всех стран и туземных варварских народов, желали привести в ужас неприятельский город и лишь только вступили в сагунтские владения, сейчас же стали опустошать поля и сжигать жилища.

Актеон побоялся быть замеченным нумидийцами и амазонками и, спустившись с горы, отчаянно поскакал к Сагунту.

Когда он приехал, город уже был заперт на ночь и ему пришлось вызвать своего друга Мопсо, чтобы открыли ворота.

Город представлял собою необычайное зрелище. Улицы были освещены огнями. Факелы из древесной смолы горели в дверях и окнах. Толпа беглецов теснилась на площадях, заполняя портики и располагаясь у дверей жилищ. Весь сагунтский народ устремился в город.

Форо был превращен в лагерь. Стада, стиснутые среди колоннад, не имея места, чтобы двигаться, ревели и стучали копытами; овцы прыгали по ступеням храмов; семьи поселян готовили на мраморе пищу в своих чугунах, и блеск многочисленных огней, отражаясь в фасадах домов, казалось, сообщал всему городу трепет тревоги. Городское начальство удаляло пришельцев, расположившихся на улицах, и мешающих движению, помещая их в домах богачей, вместе с рабами, или же препровождая в Акрополь, где они могли разместиться в бесчисленных зданиях. Туда же подымались и стада, при свете факелов, между двумя рядами почти голых мужчин, которые били палками быков, когда те хотели укрыться на откосах священной горы.

Слышался гул толпы, раздавался рев труб, призывающих граждан к формированию отрядов для защиты стен. Выходили из домов, вырываясь из объятий жен и

детей, купцы, одетые в бронзовые латы, с лицом, прикрытым греческим шлемом, заканчивающимся громадной щеткой из конских волос; они величественно подвигались среди толпы поселян, с луком в руке, копьем у плеча и мечом, касающимся их обнаженных ног, прикрытых до колена медными котурнами. Юноши втаскивали на стены громадные камни, чтобы кидать их в осаждающих, и подсмеивались над тем, что им помогали женщины, которые хотели принимать участие в сражениях. Старики с солидными бородами, богатые граждане Сената, шествовали, сопровождаемые рабами, которые несли множество копьев и мечей, и раздавали оружие более сильным поселянам, предварительно спрашивая их, свободные ли они люди.

Город, казалось, был доволен. Скоро придет Ганнибал!.. Более отважные с искренним сожалением сомневались в том, чтобы африканец дерзнул предстать перед их стенами. Но он уже был там, и все радовались, думая, что Карфаген падет пораженным пред Сагунтом и что Рим поспешит на помощь городу.

Сагунтские послы были уж там, и Рим не замедлит прислать свои легионы, которые разгромят осаждающих. Некоторые в своем оптимистическом восторге, преклоняясь пред чудесами, верили, что по одному чуду богов великое дело свершится через несколько часов и что как только займется день и армия Ганнибала растянется перед Сагунтом, одновременно появятся на лазуревом рубеже залива Сукроненсэ бесчисленные паруса: флот, везущий непобедимых солдат Рима.

Почти весь город был на стенах. Собралась такая многочисленная толпа, что многие цеплялись за зубцы стен, чтобы не свалиться вниз.

За стенами царил полнейший мрак. Тишину нарушали как бы испуганные лягушки, наполняющие лужи реки, и собаки, которые бродили по окрестности, непрерывно лая. Чувствовалось присутствие невидимых существ, которые шевелились во мраке, окружающем город.

Тьма увеличивала мучительную неизвестность, которая томила людей, стоящих на стенах. Вскоре во мраке

сверкнула точка света; вслед за ней другая и еще, еще в различных местах, на некотором расстоянии от города. Это были факелы, которые указывали путь едущим. На их красноватых пятнах света виднелись движущиеся силуэты людей и лошадей. Вдали на вершинах некоторых гор горели костры, служащие без сомнения сигналами отставшим войскам.

Эти огни положили конец спокойствию более нетерпеливых. Некоторые юноши не могли оставаться в бездействии со своим луком и, натянув его, стали пускать стрелы. Вскоре им ответили из темноты. Над головой толпы пронесся свист и с ближайших к стене домов слетело с большим шумом несколько черепиц. Это были ядра, пускаемые осаждающими из мрачной глубины.

Так прошла ночь. Когда запели петухи, предвещая рассвет, большая часть многолюдной толпы спала, устав от напряженного исследования мрака, в котором глухо гудел невидимый враг.

С наступлением дня сагунтцы увидели все войско Ганнибала, стоящее лицом к стенам со стороны реки. Актеон, исследовав расположение полков, уже не мог более улыбаться.

— Он хорошо знает местоположение, — говорил грек про себя. — Он пользовался своим посещением города и в темноте сумел занять единственное место, с которого можно напасть на Сагунт.

Вся сторона горы была свободна от неприятеля. Его войско расположилось между рекою и местностью, находящейся ниже города, занятой фруктовыми садами, загородными домами, красивым предместьем, которым так гордились богачи Сагунта.

Солдаты входили в роскошные виллы и выходили оттуда, приготавливая себе утреннюю пищу; они ломали дорогую мебель, чтобы разложить огонь, наряжались в ткани, которые попадались им под руки, и рубили молодые деревья, чтобы строить себе более удобные палатки. По другую сторону реки на громадном поле расположились группы всадников, заняв покинутые при приближении врага селения, виллы, бесчисленные пост-

ройки, которые виднелись среди зелени безграничной плодородной долины.

Что прежде всего привлекло внимание сагунтцев, будя в них детское любопытство, это слоны. Они стояли в ряд по ту сторону реки, громадные, пепельно-серые, точно опухли, выступившие из недр земли в течение ночи, с ушами, висящими, точно веера, и выкрашенными в зеленую краску, и с шевелящимися хоботами, которые казались гигантскими пиявками, стремящимися всосать в себя лазурь неба. Их вожатые с помощью солдат снимали с их спин четырехугольные башни и скатывали по поны, которыми покрывали их бока во время сражения. Их оставляли свободными, точно плодородная долина являлась для них конюшней. Вожатые были уверены, что здесь будет место долгой стоянки и что еще не скоро понадобится помощь ужасных животных, столь ценных в боях.

Подле слонов на берегу реки помещались военные орудия: стрелометы, тараны, передвижные башни, сложные сооружения из дерева и бронзы.

Почва, точно страдая сыпью, покрылась пузырями различных цветов: палатками, сделанными из ткани, соломы или кожи, коническими, четырехугольными, в большинстве круглыми, как муравейники. Вокруг палаток волновались многочисленные войска.

Сагунтцы с высоты своих стен наблюдали за армией неприятеля, которая, казалось, наполнила всю равнину и к которой беспрерывно присоединялись новые толпы, пешие и конные, прибывающие со всех дорог, как бы скатывающиеся с вершин ближайших гор. Это было скопление разнообразных рас, различных народов; странная смесь одежд, племен и типов, и те сагунтцы, которые, благодаря своим путешествиям, знали все эти народности, познакомили с ними своих удивленных сограждан.

Те всадники, которые, казалось, летали, еле держась на своих маленьких лошадях, были нумидийцы: африканцы с женоподобным видом, прикрытые белыми тканями, в женских серьгах и туфлях, надушенные с подведенными тушью глазами; они вступали стремительно

в бой и сражались на скаку, владея с большим искусством копьем. Вокруг костров, горящих в садах, сновали ливийские негры, атлетически сложенные, с курчавыми волосами и ослепительно сверкающими зубами; они улыбались с глупым довольством, видя свои обнаженные члены прикрытыми дорогами, только что награбленными тканями, и, еле отдаляясь от огня сейчас же начинали дрожать, точно свежесть раннего рассвета жестоко мучила их.

Эти люди, с темной и блестящей кожей, редко виденные в Сагунте, возбуждали любопытство горожан почти так же, как и амазонки, которые отважно скакали вблизи стен, чтобы лучше рассмотреть город.

Они были молоды, стройны, с загорелой кожей. Их волнистые волосы спадали из-под шлема, точно варварское украшение; единственным их одеянием была широкая туника с разрезом по левой стороне, оставляющим открытыми их сильные ноги, крепко сжимающие бедра лошади. На некоторых был одет нагрудник из чешуйчатой бронзы, также открытой по левой стороне, чтобы удобнее было сражаться, и позволяющий видеть округленность их груди, упругих и твердых от физических упражнений. Они ехали без седла на своих сильных и диких лошадях, правя ими посредством легкой уздечки, и животные, мчась громадой, кусались и лягались, возбуждая этим друг друга к отчаянной скачке. Амазонки приближались к стенам, смеясь и перекидываясь словами, которые были непонятны сагунтцам; они размахивали своими копьями и шитами, и, когда в них пустили тучу стрел и камней, умчались во всю прыть, позорачивая голову, чтобы еще раз показать свои насмешливые лица.

Осажденные различали среди темной многочисленной толпы солдат брону некоторых всадников, сверкавшую как золотые бляхи. Это были карфагенские полководцы, богачи Карфагена, которые сопровождали Ганнибала; сыновья зажиточных купцов, отправляющиеся в поход скорее как любители, чем как военачальники, покрытые в металл с головы до пят, для предохранения от ударов, и с особенностью своей нации, более интересующиеся



тем, чтобы воспользоваться завоеванным и разделить добычу, чем чтобы искать славы в сражениях.

В стороне от карфагенян знатоки отличали с городских стен другие отряды осаждающей армии. Одни из них люди с кожей молочного цвета, с вялыми усами и рыжими волосами, связанными узлом на макушке черепа, были галлы; они снимали с себя одежду и высокие сапоги из невыделанной кожи, чтобы купаться в реке; другие — бронзовые и настолько худые, что их скелет выступал, как бы прорывая кожу, были африканцы из оазисов великой пустыни, таинственные люди, которые дробью своих барабанчиков заставляли спускаться луну и, играя на флейте, вынуждали танцовать ядовитых змей; и среди них виднелись крупные лузитанцы, с крепкими, как колонны, ногами, и широкими грудями; беотийцы, неразлучные днем и ночью со своими лошадьми, к которым питали страсть; враждебные кельтиберы, косматые и грязные, щеголяющие своими рубищами; северные племена, которые поклонялись чурбанам и при свете луны собирали таинственные травы для колдовства и любовных напитков; все люди диких нравов вследствие постоянной борьбы с голодом, варварские народы, о которых рассказывали ужасные вещи, считая их способными пожирать после сражения трупы побежденных.

Балеарские пращники вызывали смех своей дикой надменностью. На стенах толковали о необычайных нравах, которые царили на их островах, и толпа разразилась смехом, глядя на этих людей, почти нагих, держащих в руке палку с заостренным концом, которая заменяла им копье, и несущих пращи на голове, у пояса и в руке. Пращи эти были сделаны из конского волоса, ковыля и бычачьих жил. Они кидали на большом расстоянии ядра из глины и в сражениях металы камни с такой силой, что их не могла выдержать лучшая железная оковка.

Позади этой многочисленной воинственной толпы находились оборванные женщины всех рас и голые, исхудалые рябителишки, не знающие своих отцов; паразиты войны, которые шли в хвосте армии, чтобы пользоваться

добычей победы; самки, стареющие в расцвете молодости от переутомления и побоев и умирающие заброшенными на краю дороги; дети, смотрящие, как на отцов, на всех солдат своей нации, несущие на плечах, во время переходов, дрова или чугушки воинов, и в минуты тяжелой борьбы, когда тело сливалось с телом, проskalзывающие между ногами врагов, чтобы кусать их, как разъяренные шавки.

Актеон встретил Соннику на стене. Она глядела на вражеский стан, озаренный первыми солнечными лучами. Прекрасная гречанка бежала в Сагунт накануне ночью, сопровождаемая рабынями и стадами, перевоза в свой торговый дом часть богатств виллы. На месте же осталось жилище с его живописью и мозаикой, дорогая мебель, роскошная столовая посуда, которые должны были достаться победителю. И она, и грек видели сквозь листву садов террасу виллы с ее статуями, голубинные башни и черепичные кровли домов для рабов, по которым лазило несколько человек, точно еле заметные насекомые. Там были грабители. Быть может они забавлялись, пуская стрелы в азиатских птиц со сверкающими перьями и нанося побои рабам, больным и старым, покинутым во время бегства. Между платанами сада подымался дым костра. Гречанка и ее возлюбленный угадывали, что там происходит разрушение и грабеж. Соннику охватывала грусть, но не от того, что она теряла часть своих богатств, а от сознания, что варвары убивают ее любовь, разрушая места, которые были свидетелями первых тревог и страсти.

Настало утро, и у сагунтского народа вырвался крик негодования. По Змеиной Дороге шло несколько групп пьяных проституток, обнявшихся с солдатами. Это были волчицы порта, презренные куртизанки, которые проводили ночи подле храма Афродиты и которым воспрещался вход в город. Когда в порте появились первые карфагенские всадники, волчицы с восторгом последовали за ними. Привыкшие к грубым ласкам людей всех наций, они не удивились присутствию этих солдат, столь различных по костюму и племенам. Проститутки обожали сильных мужчин, хищных птиц, которые сокруша-

ли их в своих когтях, и они шли позади карфагенян, довольные в глубине души тем, что могут приблизиться к городу без страха наказания, что могут издеваться над осажденными жителями с ненавистью, накопившейся в течение многих лет унижения.

Они распевали, как безумные, покачиваясь в жадных и трепещущих желанием объятиях, которые оспаривали их, точно жаждая их растерзать; они упивались из амфор дорогими винами, захваченными из вилл; накидывали на свои плечи ткани с золотыми нитями, за минуту пред тем награбленные на дачах. Нумидийцы смотрели на них своими влажными глазами газели, увенчивая их гирляндами из трав, а они, раздражаясь бешеными взрывами смеха, ласкали волокнисто-курчавые головы эфиопов, которые смеялись, как дети, показывая свои острые зубы людоедов. Они предавались любви под деревьями, подле длинных рядов лошадей, привязанных к углам палаток, выставляя свою наготу и этим как бы нанося циничное оскорбление осажденному городу; и сагунты, которые оставались неустрашимыми пред шествием многочисленной армии врага, дрожали от гнева за амбразурами стен при виде оскорбления, наносимого их куртизанками.

Их поносили горожанки, бледные от негодования, как бы готовые соскочить вниз, чтобы напасть на проституток, а они хохотали, лежа навзничь на траве, обнажив свои члены и как бы призывая всю армию наслаждаться их телами.

Новый взрыв негодования вторично возмутил душу сагунтцев: некоторые из них узнали одного карфагенского воина, который ехал впереди группы всадников. Его изящная манера сидеть на лошади, надменность, с которой он скакал, словно пришитый к седлу, многим напомнили великолепное шествие праздника Панафиней. Когда же он соскочил с лошади и снял шлем, вытирая пот, все его узнали, испустив крик негодования. Это был Алорко. Еще и этот!.. Второй неблагодарный по отношению к городу, который его осыпал вниманием и почестями! Его долг царька заставил забыть братский прием Сагунта.

И ослепленные гневом они стали направлять свои луки против него, но стрелы не могли достигнуть места, где расположились лагерем кельтиберы.

Неожиданно раздраженная толпа почувствовала легкое утешение: группы расступались вдоль стены и с величием бога приближался Тэрон, жрец Геркулеса, с глазами, устремленными на врага, равнодушный к народному обожанию, которое его окружало.

Сагунтцам казалось, что они видят самого Геркулеса, который покинул свой храм Акрополя, чтобы спуститься на стены. Он шел нагой, только громадная львиная шкура покрывала его плечи. Когти лютого зверя перекрещивались на его груди, а череп его был прикрыт головой животного со щетинистыми усами, острыми зубами и желтыми стеклянными глазами, которые сверкали среди непокорной золотой гривы. В правой руке он держал без малейшего усилия ствол красного дуба, который, как большинству богов, служил ему палкой. Его плечи выступали над всеми головами. Толпа любовалась его грудями, круглыми и сильными, как щиты, его руками, на которых выступали вены и жилы, точно виноградные лозы, вьющиеся по мускулам, и ногами, подобными колоннам. Он был так крупен, что его голова казалась маленькой посреди плеч, утолщенных припухлостями мускулов; грудь его дышала, как кузнечные меха, и все отступали назад, боясь прикоснуться к этой машине мяса, созданной для воплощения силы.

Гигант глядел на лагерь, где начинали раздаваться звуки труб и сбегались солдаты, чтобы строиться в отряды. Стали приближаться пращники, благоразумно держась под защитой зданий и неровностей почвы. Должно было начаться сражение. На стенах пускали стрелы луков, а юноши втаскивали камни, чтобы кидать их. Старики принуждали женщин удалиться. Возле одной из лестниц стены, среди небольшой группы, глагольствовал философ Эуфобий, не обращая внимания на негодование слушателей.

— Прольется кровь! — кричал он. — Все вы погибнете, и из-за чего?.. Я вас спрашиваю, что вы выиграете, не подчинившись Ганнибалу? У вас всегда будет пове:

длитель, и лучше быть друзьями Карфагена, чем Рима. Вы затянете осаду и умрете с голоду. Я буду последним из тех, кто выживет, так как я издавна знаю нужду, как верную подругу. Но вторично спрашиваю вас: почему вам быть в союзе с римлянами, а не карфагенянами? Живите и наслаждайтесь! Предоставьте мясникам проливать кровь, и прежде чем вздумаете убивать людей, поучитесь у своих мудрецов. Если бы вы не оставляли без внимания моих познаний, если бы вместо того, чтобы презирать меня, пользовались моими советами, вы бы не очутились запертыми в своем городе, как лиса в западне.

Хор проклятий и ряд грозящих побоев были ответом философу.

— Паразит! Раб слабости! — кричали ему. — Ты хуже тех *волчиц*, которые продаются варварам.

Эуфобий, заносчивость которого росла по мере возбуждаемого им негодования, хотел возражать, но сдержался, заметив темную тень, заслонившую ему свет. Гигант Тэрон стоял перед ним, глядя на него с таким же презрением, с каким смотрел на слонов, которых осаждающие держали за рекою. Он слегка поднял свою левую руку, как бы намереваясь отбросить щелчком насекомое, и лишь только коснулся лица наглого философа, как тот упал на лестницу стены с окровавленной головой, безмолвно, без малейшей жалобы, скатываясь по ступеням как человек, привыкший к подобным ласкам и убежденный в том, что страданье это не более как случайность.

В то же мгновение туча черных точек, точно стая птиц просвистела над стенами. Слетели черепицы, отскокили куски штукатурки амбразур, и некоторые из стоявших на стене свалились с расшибленной головой. Из-за амбразур, точно стремительная самозащита, полетели камни и стрелы. Началась оборона города.

## VI. АСБИТЭ.

Ганнибал ворочался среди цветных покровов своего ложа, чувствуя невозможность осилить бессонницу.

Петухи возвестили полночь, нарушая своим криком тишину лагеря, а военачальник продолжал бодрствовать, закрыв глаза, но не будучи в силах уснуть. Его бессонницу усугубляло пенье соловья, поселившегося на большом дереве, с ветвей которого спускалась его палатка.

Глиняный светильник освещал груды предметов, лежащих вокруг его ложа. На полу сверкали кирасы, щиты и шлемы, прикрытые кусками дорогих тканей, награбленных в сагунтских виллах. Греческие убранные туалеты, амфоры, художественно выгравированные ковры с мифологическими сценами были свалены вместе с плетями из невыделанной кожи, со щитами из шкуры гиппопотама и ветхим платьем Ганнибала, который насколько любил блеск своей армии, настолько же был небрежен и грязен в отношении своего костюма. Греческие вазы художественной работы были предназначены для самого низкого употребления. Алебастровая чаша, прикрытая щитом, служила сиденьем; большая ваза из красной глины, украшенная греческими артистами изображением приключений Ахиллеса, с презрением употреблялась африканцем для своих низменных отправок; куски статуй и колонн, разрушенных гневом нападения, были свалены на землю, служа сиденьем для полководцев, когда они держали совет в палатке военачальника. Все это было добычей, захваченной и испорченной лихорадкой грабежа, от которого только незначительная часть досталась военачальнику, который чувствовал презрение к произведениям художественной красоты, когда не представлялось необходимости в драгоценных металлах.

Он смеялся над богами этой страны так же, как над богами своей родины и всего мира, и плевал на мрамор, изображающий божеств и наполняющий лагерь, словно он был кусками камня, годного лишь для употребления катапультами против врага.

Охваченный порывом нервного возбуждения, не давшего ему уснуть.

Ганнибал встал с постели, и свет лампы упал прямо на его лицо. Это уж не был кельтиберский пастух,

косматый и дикий, которого Актеон встретил в порте Сагунта. Теперь он являлся таким, каков был в действительности: красиво сложенным юношей, с пропорциональными и крепкими членами, без излишней мускулатуры, но воплощающим в своем теле упругость стали и жизненность, способную в исключительных случаях на необычайную отвагу. Цвет его лица был слегка бронзовый, а волосы, короткие и крупно вьющиеся, ложились вокруг головы, образуя нечто вроде черной и блестящей чалмы, совершенно покрывая его лоб и оставляя открытыми мочки ушей, на которых висели большие бронзовые диски. Борода его была густа и волниста; нос правильный, но слегка выступающий, а глаза, большие и надменные, глядели всегда в сторону с выражением глубокого коварства.

Мускулистая шея обыкновенно склоняла голову на право, точно он прислушивался к окружающим его звукам.

Одет он был в простое шерстяное платье, порванное и грязное, как одежда любого кельтибера, спящего в соседних палатках, и единственно, как знак власти, сверкали на его руках два широких золотых браслета.

Уж более месяца находился он перед стенами Сагунта, не достигнув никакого успеха. В этот вечер он безрезультатно пустил в ход свои военные машины, и последствием этой неудачи было то, что, оставшись один, он почувствовал мучительное напряжение нервов, не дающее ему уснуть. Избалованный сын победы, он легко покорял самые дикие народы Иберии, он заставлял своих слонов подыматься на вершины самых высоких гор, переходить реки, уничтожать рощи, видя воинственную неприятельскую толпу побежденной и поверженной перед ним, как перед божеством; и первый раз в своей жизни он столкнулся с упорным врагом, который под защитой своих стен издевался над ним и не позволял ему приблизиться ни на шаг.

Город торговцев и земледельцев, который он близко изучил, глядя с презрением на его богатства и изнеженность, грозил покончить с его счастливой звездой, и Ганнибал, видя Сагунт несокрушимым и думая о своих кар-

фагенских недругах, о негодовании Рима и о времени, которое бесплодно уходило, не принося никакого успеха, испытывал истинное отчаяние.

Он хорошо знал слабое место Сагунта. Его военные орудия были помещены пред нижней частью города, прилегающей своими стенами к долине, на ровной и открытой местности, позволявшей приблизить тараны. Но лишь только подвигались вперед сотни голых людей, тащивших тяжелые орудия, как на них падал такой дождь стрел, что те из них, которые не оставались пронзенными на земле, вынуждены были обращаться в бегство.

Несколько раз под защитою щитов, которые двигались на колесах и скрывали карфагенских стрелков, удавалось приблизить тараны к подножию стены. Но вследствие того, что с атакующей стороны города стены, которые в возвышенной части Сагунта были сделаны из глины и соломы, здесь имели прочное скалистое основание, напрасно головы таранов стучали, приводимые в движение сотнями рук. Дождь стрел и камней падал на атакующих, разбивая щиты, которыми они прикрывались, и сея между ними смерть, причем недовольствующиеся этим осажденные не раз выбегали из стен, поражая ножами карфагенян.

Каждое такое наступление стоило больших потерь для армии Ганнибала. Африканцы начинали поговаривать с суеверным страхом о нагом гиганте, прикрытом львиной шкурой и фехтующим древесным стволом, который выступал во главе сагунтцев, при каждом наносимом им ударе открывал широкую борозду среди атакующих. Эфиопы видели в нем божество, ужасное и кровавое, как те боги, которым они поклонялись в своих оазисах; кельтиберы уверяли, что это Геркулес, сошедший с Олимпа, чтобы помочь своему городу.

Ганнибал узнал его издали в сражениях. Это был Тэрон, жрец, которого он видел однажды утром в Акрополе, любясь его необычайным мужеством. Но даже зная его человеческое происхождение, все же он не мог отвратить того ужаса, который охватывал толпу, как



только появлялась над шлемами эта голова неуязвимо-го льва, как бы отвращающая от себя полет стрел и камней.

К тому же осажденные прибегали к защите *фаларик*. Аннибал прекрасно знал, что среди коммерсантов и грубых земледельцев в городе были люди, сведущие в войне, которые объездили много стран. Воспоминание об Актеоне, греке-искателе приключений, товарище его детства, невольно восставало в памяти военачальника. Наверное он был изобретателем *фаларики*, этого легко кидаемого копья, которое обматывалось паклей, пропитанной смолой. Стрела летела пылая, как огненная струя, со своим длинным железом, могущим пронзить щит и броню, причем если копьё и не прокалывало доспехи, то его пламя зажигало платье и воины кидали оружие, чтобы спастись от огня, и таким образом оставались беззащитными под ударами врага. Те воины, которые сражались с самыми непобедимыми и варварскими иберийскими народами, бежали, кидая щит, перед этими огненными хвостами, которые неслись со стен Сагунта, свистя и рассыпая искры.

Так шло время и осада не подвигалась вперед. Ганнибал чувствовал себя охваченным жестоким негерпением. Огонь Ваала. Он был прикован к этим стенам, которыми не мог завладеть, в то время, как партия Гано-на, составив в Карфагене заговор, готовит падение Баркидов, если только он не сможет победить Сагунта; быть может, даже замышляют предать его Риму, когда тот потребует выдачи его ввиду нарушения договора.

Охваченный отчаянием, он снова кинулся на постель, ища во сне забвения от мучающей тоски. Он погасил свет лампы, но и во мраке продолжал лежать с открытыми глазами. Голубоватый свет луны проникал сквозь щель купола палатки, падая на кирасы, которые сверкали в темноте, как серебряные рыбы. Соловей продолжал петь.

Ганнибал был раздражен: ему не дает уснуть проклятая птица. Он был способен спать среди шума сражения. Приученный с детства к походной жизни, он засыпал, убаюканный резкими звуками военных труб; бес-

шабашные песни наемников и ржанье лошадей не будили его. Но сладостное пенье этой птицы и ее беспрерывные трели, тревожили его, как жужжание пчел.

Он вскочил с постели, поискал свой лук среди беспорядочно сваленного оружия, тканей, мебели, и вышел из палатки. Свежесть ночи несколько успокоила его.

Луна сверкала в ясном безоблачном пространстве. Ветер был нежный, несмотря на конец осени; мигали звезды. На трели соловья откликались другие соловьи, рассеянные по деревьям безграничной равнины. Лагерь отдыхал. Потухали костры, вокруг которых спали солдаты в отвратительную перемежку с женщинами и детьми армии, прикрытыми рубищами или дорогами тканями; лошади, выстроенные в правильные ряды, стояли с опущенными головами, взрывая копытами землю.

В глубине осажденный город казался темным и молчаливым, как бы спящим. Слабый свет, который проникал сквозь некоторые повреждения его стен, производил впечатление слегка полуоткрытых глаз, которые бодрствовали, притворяясь спящими.

Ганнибал перескочил через солдат, которые спали у входа в его палатку. Заслышав его шаги, они приподнялись, но, узнав военачальника, снова склонили головы к земле и продолжали храпеть. Это были заслуженные воины Гамилькара, которые почти с религиозным благоговением глядели на *львенка* своего старого полководца.

Ганнибал натянул лук, обходя палатку, чтобы пустить стрелу в птицу, скрывающуюся на ветке, но вдруг остановился пораженный, заметя подле ствола дерева белую фигуру, которая сверкала, озаренная светом луны.

Это была женщина: амазонка. На ее голове и груди блистали золотой шлем и чешуйчатая броня; вдоль ее ног спускалась белая шерстяная туника, обрисовывая контуры тела; ее сильные обнаженные руки опирались о копье с наконечником, вонзившимся в землю. Черные глаза были устремлены на палатку Ганнибала со странной настойчивостью, не мигая, точно она спала с открытыми глазами; ночной ветер слегка развевал ее пыш-

ные, рассыпающиеся по плечам волосы. Позади нее стояла черная лошадь с блестящей шерстью, с нервными ногами и глазами, налитыми кровью, без седла и уздечки, с распушенной гривой и опущенной головой; она лижала край туники амазонки и ее обнаженные ноги, точно собака, повсюду сопровождающая свою госпожу.

— Асбитэ! — воскликнул Ганнибал, пораженный этим видением. — Что ты здесь делаешь?

Царица амазонок как бы очнулась и при виде военачальника устремила на него влажный и страстный взгляд своих больших глаз.

— Я не могла уснуть, — сказала она слабым мелодичным голосом. — В начале ночи мне грезились ужасные сны. Богиня Танит не охраняла моего покоя, и я видела тень моего отца Иарда, возвещающего мне близкую кончину.

— Кончина! — воскликнул смеясь Ганнибал. — Зачем думать о смерти?

— Разве я бессмертна! Разве не сражаюсь я так же, как и каждый из твоих солдат. Я с жаром кидаюсь на леса копий, стрелы свистят вокруг меня, точно я влеку за собой мантию невидимых птиц; я презираю фаларикки с их огненными волосами... но настанет день, когда я умру; сны мне это предвещают.

Асбитэ, как бы боясь проявить перед Ганнибалом еще большее чувство печали, смело добавила:

— Пусть приходит смерть, когда ей угодно. Я не страшусь ее, как карфагенские торговцы, которые тебя ненавидят. Если меня смутил мой сон, то это потому, что, проснувшись, я подумала о тебе. Я не могу объяснить себе, почему у меня явилась мысль, что ты также можешь умереть, и перед твоей смертью, Ганнибал, я дрогнула. Ты должен жить столько же, как бог. Я вспомнила, что ты спишь один в своей палатке, что для того, чтобы охранять входы, ты не держишь стражи, которая бы, бодрствуя, стерегла твой сон, и я почувствовала потребность сделать что-нибудь для тебя, провести ночь, опершись о копье, подле твоего ложа, чтобы помешать предательству врага.

— Какое безумие! — воскликнул, смеясь, африканец.

— Ганнибал,— промолвила серьезно прекрасная амазонка:— вспомни Гасдрубала, супруга твоей сестры. Достаточно было удара, нанесенного рабом, чтобы закончить с ним.

— Гасдрубал должен был умереть,— сказал вождь с убеждением фаталиста.— Этого требовала судьба Карфагена. Необходимо было, чтобы Гасдрубал погиб, очистив путь Ганнибалу. Но нет того, кто бы мог заместить Ганнибала, и он еще будет жить, даже окруженный врагами. Мой сон чуток и моя рука быстра; тот, кто проскользнет в палатку Ганнибала, войдет в свою собственную могилу.

Асбитэ глядела с влюбленным удивлением на юного героя, который откинул лук и, говоря о своей силе, поднял могучие руки. Луна настолько увеличивала его тень, что при движении рук, казалось, он, точно сверхъестественное существо, заключил в них весь лагерь, город, всю равнину.

Амазонка приблизилась к нему, оставив копьё подле ствола дерева. Покинув свое оружие, она как бы лишилась воинственной жестокости и подошла к Ганнибалу с женственной мягкостью, глядя на него робкими и влажными глазами, похожими на глаза диких коз, которые бегали по оазисам ее родины.

— Ты нелюдим и жесток, как бог,— вздохнула амазонка.— Тот, кто любит тебя, обречен навсегда гореть внутренним огнем Молоха, так как ты не удостоиваешь погасить это пламя ласковым взглядом, улыбкой. Ты вылит из бронзы; твои глаза вечно устремлены ввысь.

— Нет, Асбитэ,— возразил африканец с сумрачным видом.— Я не полубог, каким ты меня воображаешь, и я несколько более этого: я грозная военная машина без сердца и милосердия, созданная для того, чтобы губить людей и народы, которые попадают на ее пути.

И Ганнибал ударил себя в сильную грудь, выпрямив свою статную фигуру с мрачным величием, подтверждающим его разрушительную силу.

И возбужденный собственными словами, африканец с горящими глазами, приблизился к Асбитэ, лаская ее

руки и в то же время произносятся слова, полные энтузиазма.

— Я хочу быть властителем мира: хочу, чтобы на земле существовал только Карфаген, потому что Карфаген — моя родина. Если бы я родился римлянином, Рим был бы повелителем. Я хочу своим именем затмить память Александра Македонского; хочу быть более великим, чем он! Настанет день, когда мир поразится, увидя меня царящим! Я пройду самые глубокие снега и сровняю горные места, чтобы проложить свой путь.

И он глядел вдаль, точно чувствуя нетерпение, ожидающая наступление дня. Луна сверкала с меньшей силой, небо темнело, окрашивая свою лазурь в более густые тона, а со стороны моря замечалась широкая полоса фиолетового света.

— Скоро станет рассветать, — продолжал африканец; — Эту ночь, Асбитэ, ты будешь почивать на ложе из слоновой кости какой-нибудь богатой гречанки и у своих ног будешь видеть старцев города, прислуживающих тебе в качестве рабов.

— Нет, Ганнибал. Я не доживу до конца этого дня, который наступает. Я умру при взятии города.

— Умереть? И ты это допускаешь? Но ведь для того, чтобы враг достиг тебя, надо, чтобы он прошел через Ганнибала. Ты мой брат по оружию. Я буду подле тебя.

— И все-таки я умру.

— Ты боишься?.. Ты трепещешь, дочь Иарба?.. Наконец-то, женщина! Оставайся в своей палатке, не приближайся к стенам, я приду за тобою, когда наступит момент, чтобы ты вошла в город, как госпожа.

Асбитэ выпрямила свой прекрасный стан, точно под ударом плети. Ее большие глаза сверкали гневом.

— Я ухожу, Ганнибал. Начинает рассветать. Приготовь все к наступлению, а я... меня ты увидишь, когда твои войска дадут сигнал.

Она удалилась, опираясь на свое копье и идя среди рядов палаток, сопровождаемая черной лошадью, которая нюхала следы ее шагов, как любящее животное.

Наступил день. Гасли костры и вокруг последних огней виднелись люди, которые подымались с земли, рас-

правляя свои онемевшие члены и скидывая куски тканей, которые прикрывали их. Ржали лошади, которых солдаты отвязывали, чтобы повести их к реке на водопой и почистить.

Со всех дорог съезжались в лагерь большие повозки, нагруженные провиантом и фуражом, и скрип их осей смешивался с песнями солдат, которые, проснувшись бодрыми, вспоминали далекую отчизну и распевали на родном языке.

Царил хаос голосов и криков; каждая народность занимала особое место и одна нация приветствовала другую радостными окриками.

Над лагерем подымался пар от голого и потного тела и от странных пряностей, которые готовились в котелках; раздавался стук больших колотушек плотников, составляющих осадные орудия, которые через несколько часов должны были метать дротики и камни. Некоторые всадники, с развевающимся плащом мчались на сильных лошадях через лагерь к городу, осматривая стены Сагунта, обогранные первыми лучами солнца, на которых начинали шевелиться осажденные.

Ганнибал с непокрытой головой также глядел на город, сидя вне лагеря на обломке стены, последнем остаткевиллы, разрушенной осаждающими.

Он решил начать атаку сейчас же, как только его армия окончит свои утренние приготовления. Африканские отряды с пиками строились перед лагерем. Они должны были атаковать тот пункт города, который граничил своей стеной с ровной и опустошенной местностью, позволявшей беспрепятственно приблизиться к основанию стены. В других местах лагеря двигалась кельтиберская пехота с длинными лестницами, чтобы сразу произвести нападение с различных сторон. Приближались военные машины: стрелометы и тараны, раскачиваемые на своих цепях. Осадные башни, легкие с плетеными тростниковыми стенами, подвигались на колесах, увенчанные щитами осаждающих, которые притаялись за ними, чтобы метать дротики.

Ганнибал быстро направился к своей палатке, проходя мимо воинов, которые чистили своих лошадей и

оружие, уверенные, что им не придется до последней минуты принимать участие в атаке.

Военачальник легко вооружился: одел короткий панцирь из бронзовой чешуи, прикрыл голову шлемом, взял щит. Выходя из палатки, он встретился с Марваалом и своим братом Магоном, состоящих в резервах и остающихся в лагере.

— Ты оставляешь ноги открытыми? — спросил брат.— Не прикроешь их ничем?

— Нет,— ответил отважно вождь.— Мы идем в атаку, и, чтобы лазить по щербю, ноги должны быть легки. Копья, как всегда, не коснутся меня.

Выходя из лагеря, он увидел среди палаток царицу амазонок, которая следила за ним грустными глазами. Но встретившись с Ганнибалом взглядом, Асбитэ отвернулась от него и ушла прочь.

Зазвучали трубы и весь лагерь зашевелился.

Приближались щиты-мантелеты, настоящие деревянные стены. Под прикрытием этой движущейся обороны спешно шли африканские отряды с пиками, а с другой стороны равнины бежали кельтиберы, таща свои лестницы.

Стены в минуту покрылись осажденными. Из амбразур показались сильные руки, опускающие дротики, метящие камни, изгибались в дугу луки, испуская резкий свист.

Ганнибал, чтобы воодушевить атакующих, ехал позади с африканцами, смеясь над метательными снарядами, которые ударялись о дерево мантелетов. В продолжение нескольких ночей, пробираясь тайком и под опасностью попасть в плен, он достигал подножия этой стены, которая покрывала часть долины, являясь самым сильным укреплением города. Основание ее было сделано из камней, соединенных глиной. Военачальник, убежденный, что по лестнице слишком трудно взобраться на стену, хотел пробить в фундаменте брешь, низвергнув красноватую стену прежде, чем ее разрушит его армия.

Достигнув ее, африканцы вышли из-под защиты мантелетов и кинулись с ожесточением на каменную преграду. Нагие, темные, подымающие и опускающие свои

мускулистые руки, в конце которых блестело железо кирок, они казались адскими духами, присланными богами Карфагена, чтобы разрушить город. Ожесточенные и упорные в своей задаче разрушения, они работали, нечувствительные к ударам, которые сыпались на них сверху.

Осажденные, раздосадованные такой дерзостью, не обращали внимания на балеарских пращников и стрелков, которые издали метали камни и пускали стрелы в амбразуры и, подавшись всем телом вперед, они бросали в африканцев копыя и бруски, которые, вертикально падая, не щадили своих жертв. Африканцы падали с расшибленными головами или распластанными спинами; руки и ноги ломались, точно трости, под тяжестью брусков, и многие осаждающие оставались на месте с животом, пригвожденным к земле копьём, которое пронзало поясницу. Среди трепещущих тел, размозженного мяса, крови, которые смешивались с глиной стен, появлялись новые осаждающие, которые вырывали из рук умирающих кирки и принимались за разрушительную работу стены, колотя по ней с такой яростью, точно она представляла собою стоящего перед ними врага; африканцы, кельтиберы, галлы, люди всех племен и смешивались, посылая проклятие каждый на своем родном языке, с пеною у рта от бешенства, чувствуя, как каждую секунду за их спинами смерть косила свои жертвы. Стоял гул воплей и стонов, вызываемых падающими камнями и фалариками, которые воспламеняли одежду и вонзались в голое тело, обжигая людей, которые, извиваясь от боли, бежали к реке, точно живые факелы.

Но вот дрогнула одна стенная глыба! Вот она выкатилась из своего основания! Самое важное было вырвать первый камень, за ним пойдут уж и другие. Осаждающие испустили крик дикой радости; они слышали голос Ганнибала, который воодушевлял их; но прежде, чем они успели поднять голову, чтобы передохнуть на момент, как среди них поднялся ужасающий рев. Полился дождь, но это были адски жгучие капли, которые вьедались в тело бесчисленными искрами. Наверху среди амбразур пылал костер. Это купцы расплавляли круп-



ные слитки серебра, выливая расплавленный металл, как дождь смерти, на тех, которые дерзали разрушить стены города.

Осаждающие отступили, заревев от ярости, и стали укрываться за ментелетами. Ганнибал поднял свой меч, желая своими ударами заставить их вернуться к работе. Но тщетно. Напрасно старался он убедить их, говоря о победе и необходимости разрушить стену. Его солдаты отступали, глядя со страхом на военачальника, который казался неуязвимым, плача от жестокой боли, причиняемой ожогами. Некоторые валялись по земле с губами, покрытыми пеною, извиваясь от муки.

Внезапно город точно лопнул, выкинув на далекое расстояние всех своих обитателей. Вдали виднелись бегущие кельтиберы, побросавшие свои лестницы. Город выступил целой массой против осаждающих. Ворота были малы, чтобы пропустить многочисленное войско, которое теснилось в них, разливаясь потом, точно поток, который бежит, сжатый горами, а затем свободно разливается по долине. Многие, охваченные нетерпением, спустились с амбразур по веревке, чтобы скорее напасть на врага.

В минуту пространство между стенами и лагерем оказалось покрытым сагунтцами, которые наступали, и осаждающими, которые бежали. Ганнибал почувствовал себя подхваченным бегством своих солдат. Горели ментелеты и многочисленная толпа женщин и детей, держа в руках факелы, окружала осадные башни, зажигая их тростниковые стены.

Сагунтцы, образовав плотную массу, приближались, наступая на осаждающих, которые в беспорядке бежали. Перед этой движущейся массой пик и рук, поднятых с широкими мечами, виднелись лишь убегающие люди, которые кидали оружие и падали, настигаемые дротиками и копьями.

Гигант Тэрон одиноко шествовал, точно он один представлял собою фалангу войска. Львиная шкура и его огромная фигура привлекали взоры всех; его дубина подымалась и опускалась, преследуя группы беглецов и производя значительные опустошения в их рядах.

— Это Геркулес! — кричали с суеверным ужасом осаждающие. — Бог Сагунта, который идет против нас. И присутствие гиганта усиливало бегство более, чем удары, наносимые сагунтцами.

Ганнибал хотел приблизиться к фронту, но напрасно он кричал, размахивая своим мечом. Он был стиснут потоком бегства, его толкали его собственные солдаты, охваченные заразой ужаса; ему топтали ноги и ударялись головами о его плечи, и ему стоило больших усилий, чтобы не быть сваленным и растоптанным. Еще минута и осажденные, уничтожив все осадные орудия, вступили бы в лагерь.

Военачальник слал проклятие и угрозы своему брату и Марваалу, которые не поспешили на помощь с резервами, чтобы сдержать поток бегства. Он видел, что из лагеря торопливо выступали отряды, но пешие и в беспорядке, порождаемом необычностью событий, причем многие из них на ходу закрепляли ремни своих кирас, многие смешивались с другими народностями и шли без полководцев, которые напрасно трубили в рога, призывая войска к порядку.

Сагунтцы в слепом стремлении к победе, возмущались этим подкреплением и при первом же столкновении почти откинули его. Ганнибал, которому удалось собрать группу самых отважных солдат, стал лицом к сагунтцам.

— Ко мне! Ко мне! — кричал он тем, которые двигались из лагеря и среди всеобщего беспорядка не знали, куда направляться.

Но его крики привлекли также внимание и врагов. Тэрон, точно руководимый своим богом, направился против Ганнибала, и вскоре его дубина стала опускаться на щиты карфагенян. Он поражал врагов с холодной отвагой, ломая стволем их копья, снося раны, наносимые их мечами, которые, казалось, притуплялись о его могучие мускулы, и истекая по каплям кровью под своей львиной шкурой, дикий и великолепный, как божество. Каждый взмах сучковатого ствола, клал к его ногам одного из врагов.

Вторично осаждающие стали отступать пред натис-

ком сагунтцев. Ганнибал снова увидел себя захваченным своими, испуганными яростью гиганта, который казался неуязвимым, но нечто неожиданное изменило ход сражения.

Дрогнула земля под топотом безудержной скачки, проходящей на раскаты грома, и, пригнувшись к гривам своих лошадей, с развевающимися волосами, падающими волнами из-под шлемов, с обвившимися вокруг обнаженных ног белыми туниками, амазонки Асбитэ кинулись на врагов с быстротой урагана. Они кричали, размахивая своими копьями, призывая друг друга, чтобы напасть на неприятеля более сплоченной группой, и враг стал отступать, испуганный этими женщинами, которых впервые видел вблизи и которые обладали при своей грации удивительной силой.

Ганнибал через головы окружающих его увидел промелькнувшую, словно сверкающий луч, Асбитэ. Она мчалась одна. Солнечный свет, падая на ее шлем, окружал ее золотым сиянием. Ее инстинкт любящей женщины подсказал ей, где находился Ганнибал, окруженный врагами, и она скакала, чтобы придти к нему на помощь.

То, что произошло вслед затем, было так мгновенно, что Ганнибал еле мог заметить это среди поднятой нападением пыли.

Амазонка, с опущенным копьем, направилась галопом к жрецу Геркулеса, который под отливом этого беспорядочного сражения телом к телу остался один на значительном освободившемся пространстве.

— О-о-о-о!..— кричала Асбитэ, возбуждая лошадь своим воинственным возгласом.

И, сжав ногами бедра животного, она приподнялась на его спине, чтобы лучше нанести удар гиганту.

Лошадь, испугавшись ужасной головы льва на макушке колосса, заржав, стала на дыбы, и в то самое мгновение на ее глаза опустилась громадная дубина, произведшая такой же треск, как если бы разбилась крепкая амфора.

Лошадь свалилась на задние ноги, с красной головой, из которой текла на глаза кровь, а амазонка, скинутая

с ее спины, упала на колени на расстоянии нескольких шагов, прикрываясь щитом. Если бы она могла сопротивляться хоть минуту, она была бы спасена. Ганнибал, забытый своими, которые волновались замешательством сражения, побежал ей на помощь. Из лагеря выступили большие группы всадников, чтобы поддержать храбрых амазонок, и масса осажденных стала в беспорядке отступать к городу.

Асбитэ вскочила на ноги и сделала шаг вперед, подняв копьё, чтобы поразить им гиганта, но в то же мгновение громадная дубина с размаху двух могучих рук, упала на нее, точно обрушившаяся стена. Жалобно зазвенел разломавшийся бронзовый щит, распался на куски золотой шлем, и Асбитэ опустилась на землю с окровавленной туникой.

Тэрон остался неподвижным, опираясь на свою дубину, не замечая того, что происходило вокруг него, как бы раскаиваясь.

— Ко мне Тэрон! Защищайся, мясник Геркулеса!.. Убей меня, если сможешь: я — Ганнибал!

Жрец обернулся и увидел воина, который, прикрыв лицо щитом и с мечом в руке, приближался, с удивительной ловкостью описывая круги вокруг него, точно тигр, который нападает на слона и, обхаживая его, намечает слабое место добычи, чтобы захватить ее. Сражение кончилось: сагунты отступили к городу. Осаждающие всадники оттесняли врага к стенам, оставляя обоих сражающихся одних в этой части поля битвы. Несколько солдат медленно приближались, чтобы приостановиться на некотором расстоянии, проникнутые ужасом, который внушал им гигант.

Тэрон не изменил себе, заметив, что он остался один. Ганнибал! Это был Ганнибал, этот воин, который шел совершенно одиноким сражаться с ним!.. Эта странная встреча, на глазах всего города, собравшегося на стенах, казалось, была подготовлена его богом. Он должен освободить Сагунт от его главного врага!.. Геркулес предназначил ему эту славу, и, самодовольно улыбаясь, он поднял свою дубину, идя прямо против африканца.

Последний же увертывался от него, отступая, отпры-

гивая в сторону с кошачьей ловкостью, избегая столкновения до тех пор, пока, наконец, жрец, утомившись и желая покончить борьбу прежде, чем придут новые воины, укрепился на своих ногах колосса и пустил дубину в Ганнибала. Громадный ствол рассек воздух и Ганнибал, видя, что он летит на него, отскочил в сторону. Однако дерево задело его щит, производя резкий шум, и упало в отдалении, подняв облако пыли. Африканец от силы удара согнул колени, но сейчас же выпрямился и, отбросив сломанный щит, побежал с поднятым мечом на Тэрона.

Жрец Геркулеса, видя себя обезоруженным, испытал слабость, почувствовал страх, полагая, что он находится в присутствии высшего существа, против которого его мощь бессильна, и, повернувшись спиной к Ганнибалу, со стен его призывали крики, видя, что он находится в отчаянии. Некоторые вооружились луком, чтобы удержать своими стрелами Ганнибала, но не решались пускать их из боязни ранить Тэрона. Сагунтцы дышали отчаянием, видя, что их Геркулес убегает, преследуемый каким-то воином, который с остервенением гнался за ним, стремясь отрезать ему путь, чтобы не дать добежать до города.

Гигант, тяжелый и мускулистый, с трудом бежал по полю битвы, покрытому трупами и доспехами сражения. На один из щитов он споткнулся, колени его подогнулись, но он поднялся, хотя остался совершенно нагим. Шкура льва упала с его плеч.

Преследующий настигал его. Он почувствовал вдруг на своих плечах холод железа, вонзающегося среди мускулов, и, не желая умереть преследуемым, точно раб, на глазах всего города, он быстро повернулся, протянув свои могучие руки, походящие на колонны, чтобы задушить в них врага.

Но прежде, чем эти обе тяжелые глыбы успели обхватить неприятеля, размозжив его, Ганнибал вонзил свой меч несколько раз в бок колосса, и Тэрон повалился, прижав руки к ранам, из которых струилась кровь темно-красного цвета.

Он взглянул на Ганнибала без гнева, с детским вы-

ражнием страдания, и затем остановил свои глаза, затуманенные смертью, на высотах Акрополя, в кровлях которого отражалось солнце.

Его громадная голова, упав на землю, подняла облако пыли. Ганнибал наклонился над ней и своим мечом стал отсекал шею, нанеся много ударов прежде чем голова отделилась от сухих, точно веревки, жил и крепких мускулов, о которые, казалось, притуплялось железо.

Туча стрел начала вонзаться в землю вокруг Ганнибала.

Военачальник снял шлем, освободив крупные завитки своих волос; схватил голову Тэрона за окровавленную гриву и жестом победителя, поставив ногу на тело жреца, показал ее тем, которые покрывали стены Сагунта.

Он был великолепен с мечом в правой руке и простирая левую руку, которая держала голову гиганта. Глаза его метали молнии гордости и холодного гнева, сверкая как металлические диски, которые спускались с его ушей.

Осажденные узнали его и крик удивления и ярости пробежал вдоль стены.

— Ганнибал!.. Это Ганнибал!..

Еще несколько секунд он продолжал стоять неподвижный, словно статуя победы, презрительно улыбаясь врагам, не обращая внимания на тучу метательных снарядов, которые жужжали вокруг него, но вдруг он выпустил голову Тэрона и упал на колени, выронив свой меч.

Стрелок Мопсо в конце концов попал ему в ногу стрелой.

Все видели со стен, как Ганнибал, движением мучительной ярости, быстро вырвал стрелу изломав ее в куски, и откинул на далекое расстояние. Что было затем, сагунты уже не видели. Большая часть армии осаждающих прибежала к нему, чтобы прикрыть военачальника, и его пращники и стрелки стали пускать камни и стрелы в стены города.

Актеон, утомленный сражением, следил, спрятав-

шись за одной из амбразур, за тем, что происходило вокруг Ганнибала, не обращая внимания на метательные снаряды пращников, которые, разъяренные тем, что военачальник ранен, пускали град камней в стены.

Он видел, как удалялся Ганнибал, поддерживаемый двумя карфагенянами в золоченой броне и охраняемый многочисленной толпой.

Неожиданно вождь оттолкнул тех, которые его поддерживали, и, болезненно хромая, приблизился к трупу, белому и окровавленному, который словно бесформенный лоскут выделялся на красноватой почве. Он наклонился к нему и окружающие его нумидийцы увидели жестокого Ганнибала плачущим в первый и в последний раз. Прикоснувшись губами к разбитой голове амазонки Асбитэ, он поцеловал это любимое лицо, вокруг расплюснутых и окровавленных черт которого начинало летать множество трупных мух.

## VII. СТЕНЫ САГУНТА.

Рана Ганнибала принесла городу несколько дней покоя. Осаждающие оставались в своем лагере бездеятельными, глядя на Сагунт издали. Выходили по утрам лишь пращники, чтобы поупражнять свои руки, метая камни в стену; за исключением этого и стрел, которыми им отвечали со стороны города, не было других враждебных сношений между осаждающими и осажденными.

Взводы кавалерии объезжали, опустошая, поля, и огромное скопище жестоких народов заканчивало свою работу разрушения, разграбляя виллы и сельские дома. Уничтожались группы деревьев; каждый день рубились новые стволы, чтобы доставлять дрова лагерю, и на открытых пространствах уж не виднелись черепицы крыш и башен. Только закопченные и обугленные развалины выступали здесь и там среди покинутых селений. Мозаика полевых цветов во многих местах являлась единственным покровом какой-нибудь изящной виллы, разрушенной до основания грабителями.

Осажденные видели, что армия Ганнибала быстро увеличивается. Каждый день прибывали новые народы. Казалось, вся Иберия, привлекаемая обаянием Ганнибала, шла расположиться лагерем вокруг Сагунта, распаленная известностью его богатств. Люди прибывали пешком и верхом, грязные, свирепые, покрытые шукурами или ковылем, со щитом в форме половинной луны и с коротким мечом о двух остриях, жаждущие сражаться и везущие с собою великолепные подарки для африканца, слава которого ослепляла их.

Сагунтцы, которые вели торговлю с внутренними народами, узнавали со стен города вновь прибывающих. Они приезжали издалека; среди них были такие, которым приходилось ехать более месяца, чтобы достигнуть Сагунта; виднелись лузитанты, с атлетической фигурой, о жестокости которых рассказывали ужасные вещи; аусторийцы, которые изготавливали железо, и мрачные васконы, языка которых не могли изучить другие народы. И, смешиваясь с ними, прибывали новые народы Беттики, которые запоздали придти на призыв карфагеняи; проворные существа с оливковой кожей, со спадающими на плечи волосами, одетые в короткие белые юбки с широкой пурпуровой бахромой, держащие в руке большие круглые щиты, которые служили им подпорой при переходе потоков. Лагерь, который вначале расположился вдоль реки, в конце концов занял всю равнину, образовав группы палаток и шалашей, теряющихся из вида. Это был настоящий город, более обширный, чем Сагунт, который все приближался и приближался к последнему, как бы стремясь поглотить его стены.

На следующий день после победного выступления сагунтцев, последние заметили большое движение во вражеском стане. Это были погребальные почести, воздаваемые царице амазонек. Сагунтцы видели, как труп Асбитэ, высоко поднятый на щитах, был пронесен женщинами-воинями, затем посреди лагеря поднялся столб дыма от огромного костра, который поглощал ее останки.

Осажденные угадывали настроение врагов. Ганнибал не покидал своего ложа, и армия казалась подавленной страданием героя. Кудесники, находившиеся в



лагере, входили и выходили из палатки, исследуя рану, и затем отправлялись в ближайшие горы искать таинственных трав, чтобы изготавливать чудодейственные пластыри.

В Сагунте более отважные поговаривали о том, чтобы сделать наступление, воспользоваться этим моментом уныния, чтобы напасть на врага, обратив его в бегство. Но вражеский стан был настороже: брат Ганнибала с главными полководцами следили, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Армия находилась за земляной насыпью лагеря, точно в укрепленном городе, и пользовалась своим бездействием, чтобы сооружать новые работы, могущие защищать от нападения.

К тому же город также находился в унынии вследствие смерти жреца Геркулеса. Сагунты не могли объяснить себе, как африканский вождь нанес смерть гиганту Тэрому на глазах всего Сагунта, и более суеверные видели в этом божественное указание: предостережение, что бог, охраняющий город, начинает покидать его.

Все оставались, как и вначале, при непоколебимом решении защищаться, но исчезло шумное оживление первых дней осады. Сагунтам казалось, что они чувствуют несчастье вокруг себя и все увеличивающаяся численность врага угнетала их. Каждое утро они видели возрастающим вражеский стан. Когда же, наконец, перестанут прибывать союзники Ганнибала?

Веселый греческий город богатой торговли и пышных празднеств Панафиной имел вид города осажденной черни. Многочисленный деревенский люд, укrywшийся в городе, заполнил улицы и площади, распространяя смрад стада, огромного и жалкого. В храмах у подножия колонн лежали больные, испускающие стоны; наверху в Акрополе, дымился день и ночь костер, сжигающий трупы тех, которые умирали на стенах или же кончались на улицах, являясь жертвами странных болезней, развивающихся вследствие большого скопления людей.

Провизии еще было в изобилии, но она уже не была свежа, и богачи, предвидя в будущем дни оскудения, знали, что тогда они с барышом продадут все, что име-

ют. В бедных кварталах убивали лошадей и вьючных животных, жаря их мясо на огне, разложенном среди улиц, для раздачи пищи поселянам, которые были лишены крова.

Как со стен, так и с Акрополя все смотрели с нетерпением на море. Когда же придет помощь из Рима? Что делали послы, отправленные Сагунтом к великой республике?..

Нетерпение часто заставляло весь город впадать в самообман. По утрам караульные, помещенные в Акрополе на башне Геркулеса, неистово ударили в кимвалы, заметя на горизонте несколько парусов. На вершину горы сбегалась многочисленная толпа, следя жадным взглядом за движением белых и красных парусов на лазуревой поверхности залива Сукроненсэ. Это они!.. римляне!.. это передовые корабли вспомогательного флота, который направляется в порт!.. Но через несколько часов досадного, полного надежды ожидания наступало разочарование при виде, что это торговые корабли Марселя или Ампурии, которые проходили вдаль, или же неприятельские гриремы, которые брат Ганнибала, Гасдрубал, вел из Нового Карфагена с съестными припасами для армии.

Каждое такое разочарование увеличивало печаль сагунтцев. Враг все возрастал, а союзники не едут. Город должен погибнуть. У защитников вспыхивал лишь энтузиазм, когда они встречали на стенах старика Мопсо, который, выступив со своей стрелой против Ганнибала, стал героем города, и при виде отважного Актеона, который своими шутками афинянина, веселого и неустрашимого перед опасностью, сообщал им новый подъем духа.

Сонника также появлялась среди них в местах сражения. Она обходила стены, когда свистели стрелы, и бедняки горожане дивились мужеству могущественной гречанки, презиравшей удары врагов.

Любовь к Актеону и ненависть к осаждающим побуждали ее быть храброй. Она была ожесточена против карфагенян. Однажды вечером с высоты Акрополя она увидела, как подымались языки пламени с крыши ее

виллы, как низвергали красную башню голубятни, как рублились прекрасные рощицы, окружавшие ее дом, оставляя все превращенным в груды мусора и обугленных обломков, и ее охватило желание отомстить не за потерянные богатства, а за разрушение таинственного убежища ее любви и роскошного жилища, полного воспоминаний. Помимо того, она чувствовала себя нервной и невыносимо раздраженной этой новой жизнью в осажденном городе, где она должна была питаться простым мясом, спать в комнате своего склада, среди богатств, беспорядочно сваленных во время бегства, почти смешиваться со своими рабынями и быть лишенной ванны, так как в городе имелась лишь вода цистерн и городское начальство раздавало ее с большой расчетливостью, предвидя ее близкое оскудение. Эта жизнь лишений раздражала ее, побуждая отличиться своей воинственной отважностью. Она видалась со своим возлюбленным по вечерам, так как, являясь душой обороны, Актеон постоянно находился то на стенах, руководя работами по их восстановлению, то подымаясь с Мопсо в Акрополь, чтобы сообщая исследовать расположение неприятеля. Он хотел воспользоваться перерывом, происшедшим вследствие раны Ганнибала, чтобы поставить город в лучшие условия обороны. Сонника в это время обходила стены, беседуя с молодежью, обещая богатые вознаграждения тем, которые отличатся.

Опасность сделала людей более добрыми. Богатые купцы толкались бок-о-бок с рабами, натягивая лук за амбразурами; многие могущественные гречанки разрывали свои льняные туники, чтобы перевязать раны наемникам, а богачка Сонника говорила рабыням, чтобы они образовали отряд, подобный отряду амазонок, сопровождающих Ганнибала.

Перерыв длился всего лишь двадцать дней. Среди затишья лагеря беспрерывно стучали колотушки плотников, и осажденные видели, как мало-по-малу воздвигалась большая деревянная башня, много выше городской стены, с различными помостами.

Ганнибал чувствовал себя окрепшим и хотел возобновить осаду. Желая, чтобы враги видели его до того,

он оставил свою палатку, несмотря на то, что рана еще не закрылась, и, сев на коня, выехал из лагеря в сопровождении своих полководцев, чтобы промчатся вдоль стен.

Сагунт почувствовал себя ослепленным, глядя на него. Он сверкал, точно огненный жар, с ореолом своих черных волос. Солнце заливало его сиянием, которое ослепляло, как сияние божества. Одет он был в броню и шлем, привезенные ему в подарок и сделанные из чистого золота. Вождь любил более бронзовую оковку, которая лучше выдерживала сражение, но его проезд вокруг Сагунта равнялся воскресению и он желал, чтобы осажденные видели его ослепительно блестящим и воинственным, как бог.

С выздоровлением Ганнибала снова началась осада более сильная, чем ранее. Сагунтцы с первого же момента поняли, что осаждающие воспользовались перерывом, чтобы увеличить силу своего нападения. Они приблизили с большими усилиями громадную деревянную башню, которая была вновь выстроена. На ней было сделано несколько помостов, на которых стояли стрелки, пускающие стрелы сквозь отверстия, сделанные в дереве. Самая верхняя площадка настолько возвышалась над городской стеной, что ее катапульта свободно кидала в амбразуры большие камни, сеящие смерть среди осажденных.

Было немислимо продолжать оборону, когда стены стали открытыми. Башня была помещена возле того места, которое Ганнибал считал самым слабым. На стены беспрерывно сыпались дротики и камни, и в то время, как защитники укрывались за амбразурами, будучи не в состоянии обороняться, внизу у основания, под защитой башни, работали тараны, ударяя в стену и постепенно разрушая ее, причем африканцы, которые пережили первую неудачную попытку, теперь с большей уверенностью долбили щебень, мало-по-малу открывая брешь.

Сагунтцы, бледные от ярости и бессилья, тщетно волновались, чтобы помешать этому разрушению. Осадная башня, подталкиваемая людьми, которые скрывались за

ней, передвигалась по ровному пространству с одного места на другое, сея смерть и иногда приближаясь настолько близко, что осажденные могли слышать голоса воинов, метящих стрелы. А в то же время внизу, у основания стен, продолжалась медлительная и упорная работа, грозящая им разрушением.

Тщетно воевали осажденные против башни. Камни с глухим шумом отлетали от ее бревенчатых стен, не причиняя ей вреда. Она казалась наполненной стрелами, движущейся, точно чудовищный слон, нечувствительный к ранам, и напрасно пускались в нее фаларики, рассекающие пространство своей гривой из дыма и искр: они не обжигали мокрой кожи, которой была обтянута высшая часть башни.

Стрелок Мопсо был единственным, который, умудряясь наносить ущерб карфагенянам. С натянутым луком, он на мгновение выдвигал из-за амбразуры голову и пускал свою стрелу в отверстие башни. Взяв в руки лук, он старался подражать своему отцу. Он выдвигался из-за амбразур почти всем туловищем, и, когда направленная им стрела попадала в башню, смеялся, стоя совершенно на виду, незащищенным, и оскорбляя осаждающих своим хохотом зазорного удальства.

Но один камень башенной катапульты пролетел, свистя, и попал ему в голову, нанеся смертельный удар. Кровь забрызгала близстоящих, а юноша, свалившись, соскользнув между амбразур, упал со стены. Стрелы его колчана рассыпались вокруг труп со звоном железа.

— Мопсо! Мопсо! — крикнул Актеон, желая удерживать стрелка.

Но старик стал посреди стены, совершенно не защищенный, со стеклянным взглядом, дрожащей седой бородой.

Три раза пытался он натянуть свой лук, чтобы пустить стрелу в помост башни, где находилась катапульта, но, несмотря на все усилия, не мог овладеть своим оружием. Страдание, отчаяние и гнев от сознания, что он не может покончить одним ударом со всеми врагами, лишали его сил.

Вокруг его головы свистали метательные снаряды

неприятеля. Почувствовав себя ослабевшим и одряхлевшим, он испустил вопль и, собрав силы, кинулся со стен, упав на останки Эросиона. Его голова, ударившись глухим стуком о камни, оставила на них кровавую полосу.

Почти весь день тянулась борьба. Сагунтцы, которые охраняли эту часть стены, слышали глухие удары кирок, стена, казалось, колебалась под их ногами и ничего не могли они поделать, чтобы помешать успехам неприятеля.

Постепенно защитники стали отступать. Актеон, опечаленный смертью своего соотечественника и убежденный в том, что бесполезно оставаться здесь, посоветовал сагунтцам отступать внутрь города. Он удалился с частью войска и, спустя несколько минут, стенная башня, подрытая в своем основании, закачалась и грохнула на землю, громко зашумев щебнем, который наполнил пылью воздух. За ней свалились еще две башенки и большая передняя часть стены, схоронив под мусором более упорных защитников, которые хотели оставаться на своем месте до последнего момента.

Грозный крик победной радости раздался среди неприятеля при падении стены. Сквозь открытую брешь с городских улиц видны были опустошенная местность и один край лагеря. Сверкало оружие в густом воздухе, покрасневшем от пыли щебня; виднелись приближающиеся темные массы и раздавался призывный рев рогов.

— Штурм!.. Карфагеняне входят!..

И со всех пунктов города сбегались вооруженные люди. Узкие улицы вблизи стен изрыгали группу за группой, которые являлись грозными, размахивающими мечами и факелами, с решительным видом людей, которые обрекли себя на смерть. Перебравшись через гряду щебня, они очутились у подножия пролома, и это открытое пространство, эта широкая рана, которая разрывала каменный пояс города, закрылась пестрой толпой, которая размахивала своим оружием, образуя плотную неразрывную массу.

Актеон находился в первом ряду. Подле него стоял Алько, который переменил свою палку на меч, и многие

из тех спокойных торговцев, лукавые лица которых, казалось, облагородились героической решимостью умереть прежде, чем дать пройти врагам.

Ганнибал пеший вел войска, которые приближались с опущенными копьями или поднятым мечом. Пролом представлял собою узкое горло. Карфагенские войска, несмотря на свое численное превосходство, должны были суживать свой строй.

Войска Ганнибала взлетали, как ураган, на скат пролома и своим натиском приводили в движение толпу защитников; но никто не отступал: им оставалось умереть, не сходя с места, так как позади них находилась сплоченная масса людей, которая вынуждала их быть сильными, лишая возможности бежать.

Так длилось сражение несколько часов. Трупы нагромождались среди осажденных и осаждающих. Солнце начинало заходить, и Ганнибал чувствовал себя утомленным упорным сопротивлением, о которое разбивались все его усилия. Веря еще в свою счастливую звезду, он отдал приказ трубить для последнего наступления, но в то же самое мгновение произошло неожиданное.

Актеон не знал точно, откуда раздался голос.

— Римляне!.. — крикнул голос. — Наши союзники едут!..

Весть мгновенно распространилась. Из уст в уста переходил рассказ о том, что караульные башни Геркулеса увидели флот, направляющийся к порту, и никто не спросил, кто принес радостную новость к пролому стены. Все приняли ее, преувеличивая собственными новыми прибавлениями; и глаза загорались радостью, лица покрывались румянцем, и даже раненые, которые лежали среди мусора, воздевали руки, крича:

— Римляне!.. Уж едут римляне!..

Внезапно, без всякого порядка, охваченные одним инстинктом и точно побуждаемые невидимой силой, саванты бросились из пролома вниз, кинувшись на осаждающих, которые выстроились для наступления.

Неожиданность нападения, сила изумления, крик: «римляне! римляне!», посеяли смятение в варварских

народах Ганнибала. Не видя и не слушая своих полководцев, они обратились в бегство к своему лагерю.

Ганнибал бежал, крича от ярости, при виде, что осажденные во второй раз отбрасывают его войска. Слепление его гнева было настолько сильно, что, не заметив, он очутился среди врагов и несколько раз был близок к тому, чтобы пасть под их ударами.

Спускалась ночь. Сражающиеся сагунтцы уже достигли лагеря, тогда как городская чернь разбрелась по полю, добывая раненых и намереваясь сжечь осадные машины. Все они были бы уничтожены, если бы не Марваал, наместник Ганнибала, который выступил из лагеря с несколькими когортами всадников. Осажденные, будучи не в силах сопротивляться кавалерии в открытом поле, стали медленно отступать. С наступлением ночи они снова заняли брешь, громко толкуя об этой победе, которая смягчила их уныние по поводу отсутствия римлян.

Актеон с несколькими сагунтцами из числа тех, которые более отличались в сражениях, принялся укреплять город. Он говорил старцам сената о той трудности, которую представляла продолжительная защита этой бреши. Невозможно повторить чудо этого вечера. И при свете факелов многочисленная толпа провела всю ночь, работая внутри пролома, разрушая черепичные крыши и разваливая ограды.

На следующий день, вечером, когда прекратились работы, неприятельская армия стала двигаться. Она шла в наступление массой, безмолвная и мрачная, со скрытым решением завладеть при первом же столкновении проломом, который накануне явился их позором.

Воины проходили под градом стрел и камней, которые осажденные пускали в них, и первые когорты, взобравшись на мусор, стали сражаться с отважнейшими сагунтцами, которые все еще отстаивали брешь. После недолгого сражения осаждающие завладели ходом в город и разразились победными криками.

Ганнибал отважно выступал во главе своих солдат, но, достигнув вершины пролома, с досадой отступил на шаг.



Перед ним открывалось обширное пространство разрушенных домов, а дальше, за грудами щебня возвышалась вторая громадная стена, наскоро сооруженная, словно огромный веник смел к входу города все развалины, находившиеся внутри его. Большие камни, груды мусора, сломанные колонны, были нагромождены с той же правильностью, как каменные плиты любой стены, а промежутки были заделаны ещё свежей глиной. Эта стена, воздвигнутая со всею поспешностью последними усилиями всего города, была более высока, чем прежняя, и, образуя кривую линию, соединялась с двумя куртинами передних стен, которые ещё уцелели.

Аннибал поблел от негодования, видя, что все его усилия привели к тому, что он завладел частью городской земли, покрытой развалинами.

Наверху новой стены видны были сагунтцы столь же решительные, как и накануне, и их стрелы и пращи задерживали наступление осаждающих, которые кончили тем, что начали отступать, оставаясь под защитой мусорных груд пролома.

Аннибал, очутившись за оградой города, размышлял, глядя на высоты Акрополя. Он предугадывал возможность постепенно потерять всю свою армию, если будет атаковать Сагунт со слабого и ровного места, где осажденные упорно защищали родную землю. И, позвав Марваала и Магона, он сказал им о необходимости занять возвышенный пункт и осадить часть огромного Акрополя, чтобы оттуда производить осадные действия на город, вынуждая его сдать.

Прошло несколько дней. Военные машины были перевезены к подножию горы и их метательные орудия были направлены против крайних стен Акрополя. Последние были стары и не восстанавливались из-за уверенности сагунтцев в неодолимости этой высоты.

Кроме того, численность защитников не была достаточна, чтобы растянуться на всем протяжении ограды Сагунта, тогда как неприятель располагал несметным войском, которое могло одновременно раскинуться в различных пунктах.

Однажды ночью Актеон встретил на Форо Соннику. Вместе с ней пришел Алько.

— Ты необходим старцам сената,— сказала гречанка.— Вот здесь Алько, который желает поговорить с тобой.

— Слушай, афинянин,— заговорил степенный сагунтец.— Дни проходят, а из Рима не прибывает необходимая помощь. Или наши послы не смогли прибыть, и Сенат Республики не знает о нашем положении; или в Риме предполагают, что Ганнибал снял осаду... Нам необходимо знать, что собственно мыслит о нас союзник; мы желаем, чтобы Сенат Рима подробно знал то, что происходит в Сагунте. Наши сенаторы, по моему указанию, остановились на тебе.

— На мне?.. Но чего же они хотят? — спросил Актеон, глядя на Соннику.

— Хотят, чтобы ты этой же ночью отправился в Рим. Вот тебе золото; возьми также эти таблички, которые послужат тебе, чтобы Сенат признал в тебе вестника Сагунта. Мы посылаем тебя не на празднество. Выход из города представляет собою большую трудность, но еще труднее будет встретить в этих опустошенных врагами берегах кого-либо, кто бы доставил тебя в Рим. Ты должен отправиться в путь этой же ночью; если возможно, сейчас же. Ты спустишься со стен Акрополя со стороны, противоположной той горе, где находится неприятель. Завтра, быть может, будет поздно. Спеш и возвращайся поскорей с желанной помощью.

Актеон взял золото и таблички, которые ему передал Алько.

— Никто лучше не сможет выполнить это,— сказал сагунтец.— Поэтому я и остановился на тебе. Ты провел всю жизнь, странствуя по свету; ты говоришь на многих языках и ты обладаешь хитростью и мужеством... Ты знаешь Рим?

— Нет; дед мой вел войну против Рима под командой Пирра.

— Теперь же отправляйся туда в качестве друга, как союзник, и да будет богам угодно, что наступит день, когда мы благословим минуту твоего прибытия в Сагунт.

Актеон, казалось, не решался ехать. Его останавливала мысль покинуть город в минуту опасности, оставить Соннику среди осажденной черни.

— Я чужеземец, Алько,— сказал он искренно.— Не боишься ли ты, что я сбегу, оставив вас, покинутыми?

— Нет, афинянин; я знаю тебя и потому поручился за твою верность перед сенаторами. Сонника также поклялась, что ты вернешься, если тебя не захватят враги.

Грек посмотрел на свою возлюбленную, как бы спрашивая ее, следует ли ему ехать, и она, принеся эту жертву, наклонила голову. Тогда Актеон стал решителем.

— Привет, Алько. Скажи сенаторам, что афинянин Актеон будет или распят в лагере Ганнибала, или же предстанет пред Сенатом Рима, чтобы поведать ему ваши скорби.

Он несколько раз поцеловал Соннику в глаза, и прекрасная гречанка, сдерживая слезы, пожелала проводить его с Алько до высоты Акрополя.

Они шли втроем во мраке, вначале по площадям старого города, затем по широким стенам Акрополя. Они погасили свой факел, чтобы не привлекать внимание осаждающих, и двигались, руководимые рассыпанным блеском звезд, которые, казалось, сверкали с большей силой, чем обыкновенно, из-за холода первой зимней ночи.

Когда они достигли стены, сагунтец нашел ощупью конец толстого каната, прикрепленного к амбразуре, и кинул его в пространство.

Грек медленно спустился по канату. Вскоре его ноги коснулись одной из скал, на которых покоилась стена. Он выпустил канат и, чуть ли не скатываясь, стал ощупью спускаться, почти падая, хватаясь за тощие оливковые деревья, которые росли на этих высотах.

У ног в черном безмолвии равнины сверкало несколько костров. Быть может, это были караульные лагеря, которые сторожили эту часть горы, или же мародеры, сопровождающие армию и расположившиеся здесь вдали от глаз Ганнибала.

Актеон достиг равнины и стал украдкой пробираться вдоль каменного косогора, приостанавливаясь много раз, чтобы прислушаться, сдерживая дыхание. Ему каза-

лось, что его преследуют, что кто-то осторожно идет позади его. Он видел вблизи большой костер и выделяющиеся на его красном фоне силуэты мужчин и женщин.

Когда он приостановился, исследуя темные поля, чтобы найти путь, по которому мог бы уйти в сторону от костра, он почувствовал, что его хватают за плечи и осипший голос пробормотал ему на ухо, среди безумных взрывов смеха.

— Попался-таки!.. Напрасно прячешься!..

Актеон вырвался из этих рук и, вытащив широкий нож, который был у него за поясом, сделал прыжок, повернувшись лицом к неизвестному, чтобы защищаться. Это была женщина. Грек видел при мерцающем блёске звезд ее нерешительность и удивление.

— Ты не Херион, прашник? — проговорила она, протягивая свои руки к афинянину.

Они глядели друг на друга, почти касаясь в темноте один другого, и грек узнал в этой женщине несчастную *волчицу*, которая накормила его в первую ночь его прибытия в Сагунт. Она, казалось, была еще более удивлена этой встречей, чем афинянин.

— Это ты, Актеон?.. Кажется сами боги ставят меня на твоём пути, не взирая на то, что ты меня презираешь... Ты бежишь из города, не так ли? Тебе надоела богачка Сонника: ты не хочешь погибнуть, как все эти купцы, с которыми непобедимый Ганнибал покончит ножом. Ты поступаешь хорошо. Беги, ступай.

И она посмотрела с тревогой на соседний костер, как бы боясь приближения солдат, которые грелись вокруг огня, смеясь и выпивая вместе с группой *волчиц* порта.

Куртизанка, понизив голос рассказала греку, почему она очутилась здесь. Она была любовницей Хериона, балеарского прашника, который за минуту до того оставил своих приятелей, убежав от нее, чтобы не заплатить ей; ища его, она столкнулась с Актеоном. Но прашник может вернуться; могут приблизиться его приятели, привлеченные голосами, тогда будет плохо... Что он думает делать?

— Я хочу добраться до побережья и вдоль его будут идти до тех пор, пока не встречу какой-либо лодки, ко-

торая возьмется доставить меня в Эмпорион или же Дению. У меня есть деньги, чтобы заплатить. Затем я найду корабль, который сможет отвезти меня далеко, очень далеко отсюда.

Куртизанка, дав руку греку, повела его полями.

— Идем,— проговорила она.— Я провожу тебя до морского берега. Со мной подумают, что ты кельтиберский солдат, который ищет места, где бы провести ночь. Я накормила тебя в первую ночь твоего прибытия и спасу тебя в последнюю.

Они приближались к морю. Прошли вблизи нескольких костров, приветствуемые шутками солдат и женщин. Несколько кордонов стражи пропустили их без сомнения.

Все ближе слышался шум волн на песке морского берега. Они шли среди камыша, погружая ноги в тепловатую и липкую грязь солончаков.

Бедная *волчица* остановилась.

— Актеон, если желаешь, я последую за тобой, как раба. Но ты не хочешь... я знаю... Я ничем не могу быть для тебя. Ты уходишь навсегда, но я рада этому, так как ты бежишь от Сонники. Прежде чем уйти... поцелуй меня, мой бог... Нет, не в глаза... В губы... так...

И афинянин, тронутый добротой этого несчастного создания, поцеловал с нежным состраданием ее губы, сухие и вялые, которые издавали невыносимый запах вина баlearских пращников.

## VIII. РИМ

Жизнь Рима началась более чем за час до того, как первые лучи солнца обогрели стены Капитолия.

Римляне вставали при свете звезд. Катились в темноте по извилистым улицам деревенские тележки, проходили разбуженные пением петухов рабы со своими корзинами и продуктами хлебопашества; когда же начинало рассветать, все раскрывали свои двери, и горожане, не занятые в полях, отправлялись на форум, центр торговли и сделок, который начинал украшаться первы-

ми храмами, сохраняя еще большие пустые пространства, на которых несколькими веками позднее воздвигались великолепные здания Рима, господина мира.

Актеон уже два дня находился в большом городе, поселившись вне городских стен, в трактире, содержимом греком. Он еще не мог отделаться от удивления, которое породила в нем эта суровая Республика, живущая почти в бедности, этот строгий народ земледельцев и солдат, который своей известностью заполнял мир и жил, более нуждаясь, чем любой поселянин окрестностей Афин.

Актеон надеялся предстать перед Сенатом в этот день. Большая часть Отцов Республики жила в деревне в сельских виллах, с простыми стенами и крышей из древесных ветвей, присматривая за работой своих рабов и, как Цинцинат и Камино, держа в руке плуг; когда же нужды страны призывали их в Сенат, они приезжали в Рим в своей тележке, запряженной быками, среди корзин с овощами и мешками с зерном, и с руками, намозоленными работой; перед въездом на форум они одевали тогу, проникая с величием, которое им придавало это одеяние.

Грек пришел на форум на рассвете, застав там ту же многочисленную толпу всех дней. Здесь были почтенные римляне, облаченные в свою тогу и внушающие молодежи и своим клиентам, что умение выгодно поместить свой капитал, под хороший залог, это главная премудрость каждого гражданина; греческие педагоги, голодающие и пронирливые, всегда ищущие пристроиться у этого темного народа, более способного к борьбе, чем к знаниям; старые войны в сером платье, покрытом заплатами, думающие с тоской о минувших войнах с Пирром и Карфагеном и, несмотря на свои шрамы, которые покрывали их тела, преследуемые своими кредиторами оскорблениями и угрозами быть обращенными в рабство; тут была и чернь, без всякой одежды, кроме короткого плаща из грубого сукна, заканчивающегося остроконечным капюшоном, многочисленные римские плебеи, эксплуатируемые и угнетаемые патрициями, постоянно мечтающие, как об исцелении своих бедствий, о новых разделах общественных земель, более половины которых постепенно переходило в руки богачей.

На ступенях Компций собирались, чтобы столковаться о завещании какого-либо родственника, который скончался. Подле трибуны для речей несколько заслуженных центурионов в бронзовых котурнах и шлемах, опираясь о палки из переплетенных виноградных лоз, служащих эмблемой их военного сословия, толковали об осаде Сагунта и о дерзости Ганнибала, выражая желание немедленно двинуться против карфагенян.

На больших глыбах лазуревго камня, которым мостили форум, продавцы горячих напитков уставляли свои большие чаши, ударяя по ним кастрюлями, чтобы привлечь народ; у подножья же ступеней храма Согласия несколько этрусских гаеров, в ужасных картонных масках, начинали представление своей смешной пантомимы, заставляя сбегаться со всех сторон детей и праздношатающихся.

Было холодно. Дул леденящий и влажный ветер понтийских лагун; небо было серо; от многочисленной толпы, собравшейся на форуме, исходил глухой гул, мрачный и непрерывный.

Актеон сравнивал эту площадь с веселой афинской Агорой, а также с Фором Сагунта в его мирные дни. Риму не доставало греческого веселия, сладостного и оживляющего легкомыслия народа-художника, который презирает богатства, и если занимается торговлей, то для того, чтобы лучше жить. Это был народ холодный и по-нурий, стремящийся к прибыли и бережливости, не знающий идеала, лишенный всякой промышленности, кроме земледелия и войны, действующий без инициативы и без молодости.

«Кажется, римлянину,— думал афинянин,— никогда не бывает двадцати лет».

И Актеон думал о том, что, с присущей греку наблюдательностью, он замечал здесь в течение двух дней своего пребывания: жестокая дисциплина семьи, религии и государства, которой подчинялись все граждане; полнейшее незнание поэзии и искусства; железное воспитание, основанное исключительно на долге, обязывающем каждого римлянина долго нести тягостное бремя пови-

ноzenia, чтобы впоследствии самому подчинять себе других.

Отец, который в Греции был для детей другом, в Риме являлся тираном. Латинский город признавал лишь отца семьи: жена, дети считались почти наравне с рабами; они были орудиями труда, без воли и имени. Боги внимали лишь отцу семейства; в своем доме он являлся жрецом и судьей; он мог убить жену, трижды продать детей и его авторитет над потомством не исчезал с годами, заставляя трепетать победоносного консула, всесильного сенатора, когда они находились в присутствии своего отца. И в этом мрачном и деспотическом режиме, еще более печальном, чем спартанский, Актеон угадывал медленно растущую таинственную силу, которая впоследствии прорвет свою оболочку, захватив мир своими железными объятиями.

Грек ненавидел этот мрачный народ, но и удивлялся ему.

Его грубость, воинственный и суровый дух расы ярко проявлялись на форуме. На высоте священной горы, на Капитолии, находилась настоящая крепость с голыми и мрачными стенами, лишенными тех украшений, которые придавали блеск вечных улыбок стенам Афин. Храм Юпитера Капитолийского еле выступал над стенами со своей низкой крышей и рядами крепких колонн, похожих более на башенки. Внизу на форуме та же тяжелая и мрачная уродливость. Здания были низки и основательны; они более походили на военные сооружения, чем на храмы богов и общественные здания. От форума расходились большие римские дороги, являющиеся единственным украшением, которое допускал Рим ввиду удобства, приносимого этими дорогами в военном и земледельческом отношениях. С форума виднелась идущая в прямом направлении дорога Апия, вымощенная голубым камнем, по обеим сторонам с рядами памятников, которые начинали возвышаться непосредственно за городом; она терялась среди селения по направлению к Капуе; с противоположного же конца шла дорога Фламиния, которая направлялась к морскому берегу. На огромном пространстве, точно волнистые красноватые лен-



ты, выделялись первые водопроводы, выстроенные под наблюдением Апия, Клавдия, для снабжения города свежей горной водой.

За исключением нескольких грубых сооружений, этот громадный город, который мог выставить армию более, чем в сто пятьдесят тысяч воинов, производил грубое и жалкое впечатление.

Преимущественно стояли большие хижины с круглыми каменными или глиняными стенами и коническими крышами из досок и бревен. После того, как галлы сожгли Рим, город перестроился в один год, беспорядочно, с большой торопливостью. В некоторых кварталах настолько были стиснуты дома, что пройти между ними мог только один человек, в других же — они были раскинута, точно деревенские виллы, находящиеся внутри городских стен и окруженные небольшими полями. Улиц не было, шли извилистые продолжения дорог, ведущих в Рим, артерии, образуемые случайно, применяясь к причудливым излучинам строений, и внезапно врезающиеся в большие необработанные пространства, где нагромождались отбросы и нечистоты и по ночам каркали вороны, клюющие падаль околелых собак и ослов.

Суровая бедность этого города земледельцев, заимодавцев и солдат отражалась на внешнем виде его обитателей. Высокопоставленные матроны пряли у дверей своих жилищ шерсть и коноплю, одетые в тунику из грубой ткани и лишь с несколькими бронзовыми украшениями на груди и в ушах. Первые серебряные монеты были вычеканены вслед за войной с саситами; медный *ас*, грубый и тяжелый, являлся ходячей монетой; роскошные же греческие предметы, доставленные легионами после сицилийской войны, пользовались почти поклонением в домах патрициев, причем на них глядели издали, как на талисманы, которые могли бы развратить добродетель суровых нравов римлян. Сенаторы, владевшие большими поместьями и сотнями рабов, проходили по форуму с гражданской надменностью, в тоге, покрытой заплатами. Во всем Риме существовала одна только серебряная столовая посуда, являющаяся собственностью Республики, которая переходила из дома одного патриция к другому,

когда приезжали послы Греции и Сицилии или же какой-либо могущественный карфагенский купец, привыкший к азиатским утонченностям, и в честь гостей необходимо было устраивать пиры.

Актеон, привыкший к спорам философов афинской Агоры, к беседам греков о поэзии и о таинственных свойствах души, ходил по форуму со вниманием прислушиваясь к разговорам, ведущимся на латинском языке, который своею грубостью и негибкостью резал его утонченный слух афинянина. В одной группе шла речь о здоровье стад и о ценах на шерсть; в другой — заключалась сделка по продаже быка, в присутствии пяти совершеннолетних граждан, которые являлись свидетелями. Покупатель отсыпал в чашу весов бронзовые монеты.

Невдалеке легионер, с изголодавшимся лицом, брал заем у старика, предлагая ему под залог свой шлем и походную обувь.

Ему удалось встретиться с Катоном, который объяснил Актеону, что сенат не хочет помочь Сагунту.

— Ты достигнешь очень немногого, — сказал он. — Сенат страдает теперь одной болезнью: излишним благоразумием. Я не верю, чтобы Ганнибал был великим полководцем, раз он проявляет свою отвагу на осаде Сагунта, но я не могу равнодушно выносить трусости, которую в данном случае проявляет Рим. Он хочет употребить все усилия, чтобы поддержать мир; он страшится войны с Карфагеном, тогда как война неизбежна, Карфаген и наш город нельзя держать в одном мешке. Мир тесен для них двух. Я всегда повторяю одно и то же: «Разрушим Карфаген!», а надо мною смеются. Несколько лет тому назад, когда там разразилась война наемников, мы могли бы с большой легкостью уничтожить этот город. Если бы послали тогда в Африку часть легионов, восставшие нумидийцы и наемники покончили бы с Карфагеном. Но мы боялись. Рим после победы исключительно занялся врачеванием своих ран. Мы боялись ухудшить положение, допустить восторжествовать сброду солдат, и мы спасли Карфаген, пособив ему разбить восставших наемников.

— Теперь совершенно другие условия, — энергично за-

метил Актеон,— Сагунт союзник Рима и, если Ганнибал осаждает его, то исключительно потому, что досадует на город за покровительство Рима.

— Да, потому-то мы римляне, и интересуемся судьбою Сагунта, но большего ничего не ожидай от Сената. Его более волнуют пираты Адриатики, которые опустошают наши берега, а также восстание Деметрия Фаросского в Иллирии, против которого мы отправляем войска под покровительством Луция Эмилио.

— А как же Сагунт? Если вы покинете его, как выдержит он натиск Ганнибала, под командой которого соединились самые воинственные народы Иберии. Что скажут несчастные сагунтцы о верности, с которой Рим выполняет обязательства, принятые им на себя по отношению к своим союзникам?

— Постарайся убедить Сенат всеми этими доводами. Я вижу в Карфагене единственного врага Рима... Если бы все были таковы, как я!.. Я бы принял дерзкий вызов сына Гамилькара и объявил бы войну Карфагену, отправившись для борьбы на его собственную территорию. И свершилось бы то, что должно было бы свершиться, так как мы непобедимы. Италия представляет собою сплоченную массу и, как мы передовые караульные, у нас есть на востоке Иллирия, в части, глядящей на Африку — Сицилия, а на западе — Цердания; тогда как земли, которыми владеет Карфаген, образуют длинную ленту девятисот языков, которая тянется вдоль большей части морских берегов Африки всего побережья Иберии, но лента эта настолько узка, и населена такими различными народностями, что ее легко можно разорвать. Пусть Рим проиграет сто сражений, он всегда останется Римом; Карфагену же достаточно одного поражения, чтобы он распался, как народ.

— Если бы все думали, как ты, Катон!..

— Если бы Сенат думал, как я, римские легионы были бы в Сагунте.

Они побродили еще некоторое время по форуму, беседуя о нравах Рима, разбирая их и сравнивая с нравами Афин. Римлянину необходимо было еще повидаться с некоторыми патрициями, и он расстался с греком.

Оставшись один, Актеон почувствовал себя проголодавшимся. До наступления часа, когда он должен был отправиться в Сенат, еще оставалось много времени. Утомившись глухим волнением форума, он ушел оттуда, и, обогнув склон Капитолия, направился в улицу более широкою, чем другие, с каменными зданиями, сквозь открытые двери которых можно было заметить относительно благосостояние патрицианских семей.

Он вошел в булочную, кинув на пустой каменный прилавок ас. Из какого-то углубления, вроде погреба, раздавался жалобный голос. Грек увидел в мрачной пещере жернов, размалывающий рожь, и раба, который с большими усилиями приводил в движение камень.

Раб вышел, полуголый, лоснящийся от пота, который струился со лба, и, взяв деньги грека, дал ему круглый хлеб.

Грек с аппетитом съел свой хлеб, проходя по форуму. Он ждал часа собрания Сената и, чтобы использовать свое время, поднялся на Палатинский холм, священное место, где была колыбель Рима. Здесь находилась пещера, в глубине которой волчица кормила грудью Ромула и Рема. У входа в узкую пещеру раскинула свои вековые, обнаженные вследствие зимы, ветви смоковница, знаменитое дерево, под тенью которого играли близнецы, основатели города. Возле дерева, на гранитном пьедестале, возвышалась волчица из темной и блестящей бронзы, творение этрусского артиста, с ужасной широко раскрытой пастью и с животом, покрытым двойным выменем, к которому жадно припали двое нагих малюток.

Актеон глядел с этой высоты на громадный город, волнообразно раскинувший среди семи холмов свои черепичные крыши. Невдалеке от Палатина возвышался Капитолий, недоступная крепость Рима, расположенная на Тарпейской скале. Грек направился с одной возвышенности на другую, чтобы увидеть вблизи храм Юпитера Капитолийского, более известный по своей славе, чем по красоте.

Он миновал мрачный храм Марса, который занимал самое высокое место Палатина, и, идя по тропинке меж-

ду крутыми скалами, прошел к Капитолию. По пути он встретил жрецов Юпитера, которые шествовали с священной суровостью, как бы всегда совершая обряд жертвоприношения своему богу. Встретил весталок, закутанных в свои широкие белые ткани и идущих своей мужественной поступью. К храму Марса подымалось несколько воинов, с широкой, прикрытой медью грудью, с обнаженными бедрами, на которые спускались с пояса шерстяные повязки; с рукой, опущенной на рукоятку короткого меча. Они с энтузиазмом говорили о близком походе в Иллирию, не вспоминая о тягостном положении своих иберийских союзников.

Актеон вошел в священную ограду Капитолия, окруженного темными стенами. Это была древняя Тарпейская гора, с ее двумя вершинами, соединенными большой площадкой лестницы. Самая высокая, северная часть, была занята *арksom*, укреплением Рима; на южной же части находился храм Юпитера Капитолийского, окруженный крепкими колоннами.

Грек вошел в крепость, прославившуюся своей несокрушимостью во время нашествия галлов. Перед храмами, которые высились в этом сильном укреплении, он увидел в лужице священных птиц: гусей, которые своим криком, среди ночной тишины, спасли Рим от завоевателей. Затем он прошел нижнюю площадь, которая как бы разделяла холм на две части, и приблизился к великому святилищу Рима.

Лестница в сто ступеней вела в храм, выстроенный во время последнего Тарквиния, в честь трех римских божеств: Юпитера, Юноны и Минервы. Знаменитый храм с тремя целлами \* или священными приделами соединился тремя открытыми дверями под одним общим фронтоном. Центральный придел был выстроен в честь Юпитера, а два других по сторонам посвящены двум богиням. Тройной ряд колонн поддерживал фронтоном, по углам которого стояли на дыбах каменные лошади грубой работы. Два ряда колонн тянулись вдоль храма, об-

---

\* Та часть храма, где помещалось изображение божества.

разуя портик, под тенью которого проходили пожилые римляне, беседуя о городских делах.

Афинянин вошел в среднюю целлу храма, посвященную Юпитеру, и увидел изображение бога из обожженной глины, с золоченым копьем в правой руке. Перед ним на алтаре беспрерывно курились жертвоприношения. Выйдя из храма, грек посмотрел на солнечные часы, которые на этой высоте указывали время всему Риму.

Уж было время спуститься к Сенакулуму\*, этому старинному зданию у подножия холма Тарапея, между Капитолием и форумом, которое много лет спустя превратилось в храм Согласия. Дойдя до ступеней, ведущих к Сенакулуму, Актеон встретил двух послов, посланных Сагунтом до начала осады; двух почтенных земледельцев, которые в первый раз покинули свои дома и, видимо, были удручены долгими месяцами пребывания в Риме, с их посещениями, которые не увенчивались успехом, с безрезультатными свиданиями и мольбами. Оба сагунтца, удивленные и беспомощные перед городом, который никогда не отвечал определенно на их слова, следовали, как автоматы, за свободолюбивым греком, который входил всюду, как в собственный дом, и свободно объяснялся на различных языках, словно весь мир был его отчиной.

Начали прибывать сенаторы. Одни приходили, отрываясь от своих городских дел, одетые в белую тогу с пурпуровой бахромой, в сопровождении своих клиентов, которые кидали во все стороны взглядом, чтобы привлечь внимание публики на своего величественного покровителя. Другие приезжали из селений, останавливая свою повозку у ступеней *Сенакулума*, и, передав вожжи рабам, подымались в храм, с перевешенной через руку тогой, одетые в короткое, грубое шерстяное платье земледельцев, и распространяющие вокруг себя запах своих хлебов и амбаров. Это были зрелые мужи, которые крепостью своих мощных мускулов свидетельствовали о своей жизни, проходящей в постоянной борьбе с землей

---

\* Место собрания сенаторов.

и врагами. Были и старцы с длинными бородами, и пергаментными лицами, дрожащие от дряхлости, но сохраняющие еще во взгляде уверенность, которую питали к своим силам.

Сагунтские послы поднялись по ступеням храма. Под колоннадами, которые поддерживали фронтон, было нагромождено множество предметов, награбленных в последних войнах и торжественно провезенных по форуму среди толпы, которая приветствовала их, махая лавровыми ветвями. Актеон увидел щиты, переплетенные железом, мечи, заржавленные от крови, военные повозки с поломанными осями и золочеными колесами, грязными от сражений. Это были трофеи самнитской войны. Несколькое дальше, вдоль стены, были расставлены в ряд уродливые деревянные фигурки карликов, выкрашенных в красный и голубой цвет, которые были сорваны с носов карфагенских кораблей после великой победы на Эгатских островах; лежали железные бруски, которыми запирали ворота многих городов, завоеванных римлянами; золоченые знамена с фантастическими животными, которые находились в армии Пирра; огромные глазные зубы слонов, которых последний направил против римских легионов; шлемы с рогами или большими крыльями; копья альпийских племен; возле же дверей, как почетные трофеи лежали доспехи прославленного Камилла, великого римлянина, который, отбросив галлов от Капитолия, проследовал триумфальным шествием по городу. Вдоль стен, в виде своеобразного украшения, висели черноватые, пергаментные лоскутья. Это была кожа громадной змеи, которая в продолжение целого дня заставляла отступать всю армию Атилы Регула, когда он во время своего похода в Африку отправился на завоевание Карфагена. Ужасное животное, нечувствительное к стрелам, пожрало много солдат прежде, чем пало распластанным под дождем камней; Регул прислал в Рим кожу гадены, как доказательство происшедшего.

Посланным Сагунта пришлось ожидать довольно долго, пока центурион впустил их.

Грек, пообедав взглядом полукруг, остановился, смущенный величием этого собрания. Он вспомнил вступ-

ление галлов в Рим, изумление варваров при виде этих старцев, неподвижных в своих мраморных сидениях, облаченных, словно привидения, в сверкающую белизну тканей, оставляющих открытыми лишь серебристую бороду, опирающихся о жезл из слоновой кости с божественным величием, которое, казалось, светилось в их неподвижных очах. Только варвары, опьяненные кровью, могли дерзнуть покончить со столь почтенной старостью.

Их было более двухсот человек. Между ними оставались свободные места сенаторов, которые не имели возможности присутствовать на собрании. На белых ступенях раскидывались белые тоги, точно снежная пелена, покрывающая уж обледеневшую землю. Полукругом высились ряды колонн, поддерживающих купол, сквозь который проникал сумеречный свет, как бы благоприятствовавший размышлению и спокойствию. Низкая каменная балюстрада замыкала полукруг, по другую сторону которого помещались почтенные граждане, не облаченные в сенаторскую тогу. В центре перила пресекались квадратным пьедесталом, на котором возвышалась бронзовая волчица с двумя близнецами, припавшими к ее грудям; у основания же пьедестала были начерчены буквы, выражающие высшее могущество Рима. Перед пьедесталом стоял треножник, поддерживающий курильницу, на углях которой дымилось голубое облако фимиама.

Послы сели на мраморные сиденья подле изображений волчицы, перед рядами белых и неподвижных мужей.

Некоторые из сенаторов оперлись подбородком о руку, как бы желая лучше слышать.

Посланые могли приступить к речам: Сенат внимал им.

Актеон, побуждаемый молящими взглядами обоих своих сотоварищей, поднялся. Он не надолго поддавался впечатлению и теперь уж не чувствовал того смутения, которое охватило его в первую минуту, при виде величия Собрания.

Он говорил медленно. Он описал безнадежное положение Сагунта, и его веру в союзников Республики, ту



слепую веру, которая побуждает город выступать из стен и побеждать врага при одном известии о появлении на горизонте римского флота. Когда он покидал город, еще имелась провизия для существования и отвага для самозащиты. Но с тех пор прошло около двух месяцев. Сагунт погибнет, если не придут к нему на помощь, и какая ответственность падет на Рим, если он покинет покровительствуемый им город, который навлек на себя гнев Ганнибала исключительно тем, что вступил в союз с Римом. Какое доверие станет питать большинство народов к дружбе Рима, зная печальный конец Сагунта?..

Смолк грек, и тягостное молчание, воцарившееся в Сенате, свидетельствовало о глубоком впечатлении, произведенном его словами.

Затем поднялся для произнесения речи Лентулий, старый сенатор. Среди тишины его резкий старческий голос говорил о происхождении Сагунта, который, если и являлся греческим городом, благодаря купцам Зазинто, открывшим в нем свою торговлю, то также был и итальянским городом, благодаря жителям Ардеи, которые в отдаленные времена отправлялись туда, чтобы основать колонию. Более: Сагунт был другом Рима. Чтобы быть ему более преданным, он обезглавил некоторых из своих сограждан, которые агитировали в пользу Карфагена!.. Какова же дерзость этого мальчишки, сына Гамилькара, который, позабыв договор, заключенный Гасдрубалом с Римом, осмеливается поднять меч на город, дружественный римлянам! Если Рим отнесется равнодушно к этому проступку, дерзость Гамилькарова щенка возрастет, так как молодость не знает узды, когда видит, что успех венчает ее безрассудства. К тому же великий город не может терпеть такую дерзость. За дверями *Сенакулу* находятся славные трофеи войн, которые свидетельствуют, что тот, кто подымется против Рима, падет пораженным к его ногам. Следует быть неумолимым с врагом и верным в отношении союзника.

Оба товарища Актеона, которые не знали латинского языка, несмотря на это, угадывали слова Лентулия и чувствовали себя смущенными похвалами самоотверженности своего города. Их глаза затуманились слезами, их

руки разрывали темные плащи, в которые, как вестники печали, они были облачены, и, порывисто кинувшись на землю, выражая этим свою скорбь, они судорожно вздрагивали, крича сенаторам:

— Спасите нас! Спасите нас!

Отчаяние двух стариков и полная достоинства поза грека, неподвижного и молчаливого, как бы являющегося олицетворением Сагунта, который ожидал выполнения обещаний, взволновал Сенат и толпу, которая находилась за перилами. Все волновались, обмениваясь словами негодования. Под сводами звучал беспорядочный гул, эхо тысячи смешанных голосов. Хотели немедленно объявить войну Карфагену, созвать легионы, соединить флот, отправить экспедицию в порт Остии и выпустить ее против лагеря Ганнибала.

Один из сенаторов восстановил тишину. Это был Фабий, один из известнейших патрициев Рима, потомок тех трехсот героев, носящих то же имя, которые умерли в один день, сражаясь за Рим на берегах Кремеры.

Он сказал, что неизвестно, Карфаген ли проявлял враждебные действия против Сагунта, или же лично Ганнибал, своими собственными силами. Война в Иберии является слишком серьезным вопросом для Рима в настоящее время, когда он намерен предпринять борьбу с мятежником Деметрием Фаросским. Надлежало бы отправить посольство к Ганнибалу в его лагерь, и, если африканец откажется снять осаду, пусть послы едут в Карфаген, чтобы спросить у его представителей, отвечают ли они за действия полководца, и потребовать, чтобы последний был доставлен в Рим в наказание за свою дерзость.

Разрешение вопроса, казалось, понравилось Сенату. Сенаторы, которые до того проявляли протест и воинственное настроение, теперь наклоняли головы, в знак одобрения словам Фабия. Напоминание об иллирийском мятеже сделало благоразумными самых пылких. Они думали о враге, который восставал почти подле них, по ту сторону Адриатики, и который мог произвести вторжение со своим разбойничьим флотом в латинские владения. Эгоизм побудил их взглянуть на вопрос иначе;

чтобы обмануть себя, скрыв собственную слабость, они преувеличивали значение посольства в лагерь Ганнибала, утверждая, что африканец, как только увидит появление послов Сената, сейчас же снимет осаду и будет просить прощения у Рима.

— Я хорошо знаю Ганнибала! — воскликнул Актеон. — Он вас не послушает; он станет смеяться над вами. Если вы не пошлете армию, поездка ваших послов бесполезна.

Но сенаторы шумно протестовали против слов Актеона. Кто говорит об издевательстве над римской Республикой! Кто полагает, что Ганнибал отнесется с презрением к посланным Сената?.. Пусть замолчит этот чужеземец, который по крайней мере не является сыном города, от имени которого говорит.

Сагунтским послам предложили удалиться. Сенаторы должны были наметить двух патрициев, которым надлежало отправиться в качестве посланных Рима.

## IX. ГОЛОДАЮЩИЙ ГОРОД

Более пятнадцати дней находились в пути представители Рима.

Миновали берега Тирренского моря, пересекши Лигурийское море, проехав вдоль крутого побережья, проплыли мимо Марсилию, счастливой греческой колонии, являющейся также союзницей Рима. Отважно переплыв большой залив, корабль направил свой нос к Эмпорию, следуя вдоль берегов Иберии.

Послами Рима являлись Патриций Валерий Флако, один из тех, который словами благоразумия хотел подержать мир, и Бебий Тамфило, который пользовался любовью римской черни вследствие участия, с которым относился к ее горестям.

Актеон проявлял нетерпение, желая поскорее прибыть в Сагунт. Он хотел все рассказать своим друзьям, описать настроение Рима и этим предупредить бесполезную жертву города, чтобы он напрасно не упорствовал в тщетной самозащите. Семь месяцев выдерживал Са-

гунт настойчивое сопротивление. Еще не наступала осень, когда армия Ганнибала появилась перед стенами города, а теперь уже приходила к концу зима.

Корабль остался позади устья Эбро, и однажды утром, борясь со встречным ветром, заметил Акрополь Сагунта. С высоты башни Геркулеса поднялись клубы дыма. Там узнали гребное судно по квадратному парусу, который употреблялся военными барками Рима.

Солнце находилось в зените, когда корабль, со вздутым парусом и тройным рядом движущих весел, вошел в канал, который вел к порту Сагунта. Над камышами, которые покрывали болота, виднелись мачты нескольких карфагенских кораблей, стоящих в порте.

Экипаж римского корабля увидел группы всадников, которые мчались по морскому берегу. Это были эскадроны нумидийцев и мавров, размахивающих своими копьями и издающих крики, подобные тем, которые они испускали во время сражений.

Один из всадников, в бронзовых доспехах и с непокрытой головой, кричал им, чтобы они остановились. Он подъехал один, пустил своего коня в канал и стал приближаться к кораблю до тех пор, пока вода не коснулась брюха животного.

Актеон узнал его.

— Это Ганнибал,— сказал он обоим послам, которые стояли подле него на носу корабля.

Появились новые эскадроны, словно весть о прибытии корабля произвела тревогу в лагере, стягивая к порту все войска. Позади групп всадников бежали во всю прыть дикие кельтиберы, балеарские пращники, все пешие воины различных племен, которые наполняли стан осаждающих.

Ганнибал, рискуя утонуть, пустил своего коня в воду канала, чтобы его лучше было слышно с корабля, и, повелевая остановиться, протянул свою руку таким властным движением, что весла тотчас же опустились, оставаясь неподвижными вдоль корабельного корпуса.

— Кто вы такие? Чего желаете? — спросил он по гречески.

Актеон служил переводчиком между римлянами и карфатенским вождем.

— Мы послы Рима, прибывшие для переговоров с тобою от имени Республики.

Он долго смотрел, держа руку над глазами и, наконец, узнал грека.

— Это ты, Актеон!.. Вечно ты, беспокойный афинянин. Я думал, что ты в городе. Прекрасно! Скажи же им, что уж поздно; к чему вести переговоры? Вождь, который осаждает город, принимает послов лишь тогда, когда он находится в самом городе.

Грек повторил римлянам слова Ганнибала и перевел их ответ.

— Внимай, африканец,— сказал Актеон Ганнибалу.— Посланные Рима напоминают тебе о дружбе, которая заключена им с Сагунтом. От имени Сената и римского народа, предлагается тебе снять осаду и пощадить город.

— Скажи им, что Сагунт оскорбил меня и что он первый объявил войну, принеся в жертву моих друзей и отказав в почитании моих союзников турдеганов.

— Это неправда, Ганнибал.

— Грек, повтори римлянам то, что я говорю тебе.

— Послы хотят сойти с корабля. Им необходимо переговорить с тобой от имени Рима.

— Бесполезно: они не заставят меня отказаться от моего намерения. Тем более, осада длится долго, войска возбуждены и для послов Рима будет небезопасным мой лагерь, состоящий из дикого люда различных стран, который повинуетя лишь тогда, когда находится в моем присутствии. Несколько часов тому назад у нас было сражение, и в них еще не остыл пыл воинственного возбуждения.

Говоря это, он повернул голову к войскам, и последние, как бы приняв его движение за приказ или же, быть может, угадывая по глазам вождя его скрытые намерения, начинали волноваться, приближаясь к каналу, как бы намереваясь пуститься вплавь против корабля. Всадники размахивали своими копьями, окрашенными еще кровью недавнего сражения; подымали свои щиты, на которые более дикие африканцы посадили, как трофеи,

голова нескольких сагунтцев, павших в последнем бою. Балерцы, обнажая тупой улыбкой свои зубы, вытаскивали глиняные пули и начинали метать их в римский корабль.

— Видите это? — кричал удовлетворенный Ганнибал. — Невозможно, чтобы я принял послов в своем лагере. Поздно вести переговоры. Остается единственно, чтобы Сагунт сдался в наказание за свои ошибки.

Послы, отнесясь с презрением к метательным снарядам пращников, спокойно опирались о борт корабля, подавшись вперед туловищем, прикрытые тогой, полные высокомерия, которое, казалось, не страшится диких воинов.

— Африканец! — крикнул один из легатов полатыни, не считаясь с тем, что Ганнибал не мог понять его. — Так как ты не хочешь принять посланных Рима, мы отправляемся в Карфаген просить, чтобы нам выдали тебя за нарушение договора, заключенного с Гасдрубалом. Рим покарает тебя, когда ты станешь нашим пленником.

— Что он говорит? Что он говорит? — кричал Ганнибал, взбешенный этими непонятными словами, в которых он угадывал угрозу.

После объяснения Актеона вождь разразился презрительным хохотом.

— Отправляйтесь, римляне! — кричал он. — Отправляйтесь в Карфаген! Богачи ненавидят меня, и их желание будет наполнять вашу петицию, выдав меня врагам, но народ любит меня и не найдет в Карфагене того, кто бы дерзнул очутиться среди моего войска, чтобы обречь меня в пленника.

Посыпался дождь стрел вокруг корабля; несколько глиняных пуль попало в его бока, и римский лоцман дал приказ отчаливать. Задвигались весла, и корабль начал медленно поворачивать, чтобы выплыть из канала.

— Вы направляетесь в Карфаген? — спросил грек.

— Да, в Карфагене нас лучше выслушают, — заметил один из послов. — После того, что произошло, или карфагенский Сенат выдаст нам Ганнибала, или же Рим объявит войну Карфагену.

— Вы, римляне, отправляйтесь. Мой же долг—остаться здесь.

И прежде, чем оба сенатора и уполномоченные Сагунта, глядящие с изумлением на происходящее, смогли предупредить афинянина, он перекинул ногу через борт, и бросился с головою в глубь канала. Он надолго погрузился в глубокие воды и вынырнул подле берега, по которому бегали пехотинцы и скакали всадники, чтобы поймать его и захватить в плен.

Прежде, чем стать на твердую почву, Актеон увидел себя окруженным множеством прашников, которые кинулись в воду, чтобы завладеть его платьем, не разделяя с товарищами. В одну секунду с него сорвали его кельтиберский меч, сумку, которая висела на кожаном поясе, и золотую цепь, которую он хранил на груди, как воспоминание о Соннике. Они также хотели стащить с него дорожную тунуку, оставив его голым, и этот варварский, жестокий народ стал наносить ему побои, когда подъехал Ганнибал.

— Ты предпочел остаться. Это похвально. После того, как ты нанес мне такой урон со стен Сагунта, ты раскаиваешься и являешься ко мне. Тебя следовало бы оставить в руках этих варваров, которые растерзали бы тебя на части; следовало бы распять тебя на кресте перед моим лагерем, чтобы тебя видела со стен города та гречанка, которую ты любишь. Но я помню обещание, которое дал тебе однажды, и выполню его, приняв тебя по-дружески.

Он приказал одному из своих воинов прикрыть грека военным плащом, с длинным волосом, который солдаты одевали зимой поверх вооружения. Затем сказал Актеону сесть на лошадь одного из нумидийцев.

Они направились к лагерю. Войска, которые сбегались к порту, медленно стягивались к месту стоянки, тогда как корабль удалялся по морю, снова распустив свои паруса. На высоте Акрополя огонь погас, летало лишь несколько слабых облаков дыма. Издали угадывалось уныние, порожденное в городе неожиданным бегством римского корабля. С ним, казалось, удалялась последняя надежда осажденных.

Возвращающиеся отряды Ганнибала толковали о сцене, происшедшей в порту между вождем и посланниками Рима. Они не понимали слов, которыми те обменивались, но энергичный тон римлян при обращении к Ганнибалу казался всем устрашающим. Некоторые, желая думать, что поняли посла, повторяли воображаемую речь, в которой от имени Рима выражалась угроза перерезать всю армию и умертвить Ганнибала, распяв его на кресте. Угрозы эти повторялись, преувеличиваясь каждый раз собственным вымыслом и, когда на Змеиной Дороге или в других пунктах долины встречались новые отряды, все уже уверяли, что видели цепи, которые показывали с корабля римские легаты, чтобы взять в плен Ганнибала, и ропот ярости пробегал по армии.

Ганнибал, удовлетворенный, глядел на этот прилив негодования, который бурлил вокруг него. Солдаты выстраивались по пути его следования; его приветствовали с величайшим энтузиазмом; он слышал на всех языках голоса, угрожающие смертью Риму и призывающие вожда произвести последнюю атаку города, чтобы завладеть им прежде, чем послы придут в Карфаген.

— Берегись, Ганнибал;— сказал один старый кельтибер, появляясь перед его конем.— Твои карфагенские враги соединятся с Римом, чтобы погубить тебя.

— Народ любит меня,— ответил вождь высокомерно.— Прежде, чем карфагенский Сенат услышит римлян, Сагунт будет наш и карфагеняне будут провозглашать нашу победу.

Актеон с грустью глядел на опустошенную местность, представлявшую ранее столь жизнерадостный и плодородный пейзаж. В порту не было других судов, кроме нескольких военных кораблей Нового Карфагена. Моряки спали в святилище Афродиты. Лавки были разграблены и разорены; набережная покрыта сором. Жестокость вырварских народов, прибывших из глубины страны, их ненависть к прибрежным грекам побуждала их вырывать даже цветной булыжник, раскидывая его. Вся долина представляла собою безграничное и разоренное пространство. Ни единого деревца не осталось. Войска вырубали рощи смоковниц, обширные плантации маслич-



ных деревьев, виноградные лозы, разрушив даже дома, чтобы согреться деревом крыш. Они оставили лишь развалины стен и низкие кустарники. Сорные травы, которые быстро произрастали на почве, утнутой трупами людей и животных, разрастались по всей долине, покрывая прежние дороги, пробираясь по развалинам и затягивая ручьи, которые, вследствие обмеления русла, разливали свои воды и превращали низменные поля в лужи.

Это было делом беспрерывно увеличивающейся армии, состоящей из ста восьмидесяти тысяч человек. Они пожрали сагунтские поля. Солдаты, разорив все, что только было годно для непосредственного употребления, распространили свое хищничество на соседние округа.

Съестные припасы доставлялись уж издалека; их прислали отдаленные народы взамен будущей добычи, которой обольщал их Ганнибал, говоря о богатствах Сагунта. Слоны были отправлены несколько месяцев тому назад в Новый Карфаген, так как они являлись бесполезными при осаде и было слишком трудно прокормить их в опустошенной местности.

Над полями носились вороны черными волнообразными стаями. Из-под кустарников шло зловоние от падали лошадей и мулов, которые разлагались. По краям дороги лежали трупы варваров, умерших от ран и, согласно обычаям их страны, оставленные соотечественниками в добычу хищным птицам, которые заполняли окружающий воздух долины. Паря в воздушном пространстве, хищники чуяли мерзость разложения и дыхание смерти.

Актеон остро замечал это зловоние лагеря и с грустью думал об осажденных. Глядя на город, он угадывал ужасы, которые скрывали эти красноватые стены после семимесячного осадного положения.

Они приближались к лагерю. Грек увидел, что это военное сборище производило впечатление настоящего города. Осталось очень мало палаток из холста и кожи. Зима, которая была на исходе, вынудила осаждающих выстроить каменные хижины с крышами из ветвей и деревянные дома, которые походили на башни и служили укреплением бастионов, окружающих лагерь.

Ганнибал, как бы угадывая мысли грека, надменно

улыбался, довольный работой разрушения, произведенной его армией.

— Видишь эту высоту, подле Акрополя, внутри ограды?.. Она наша. Стрелометы стреляют по Сагунту, который уже наполовину сократил свои прежние границы. И они еще мечтают защищаться! Еще надеются на помощь Рима!.. Упрямы. Они в третий раз соорудили новую линию стен. Они дойдут до того, что им останется лишь Форо, где я перережу тех, которые выживут...

Африканец переменял разговор, устремив взгляд на своего прежнего товарища.

— Наконец-то ты взглянул трезво и пришел ко мне. Скажи: ты готов следовать за мною, готов пуститься в предприятия, о которых я говорил тебе однажды, на рассвете, на этой самой дороге. Быть может, следуя за Ганнибалом, как Птоломей за Александром, ты достигнешь того, что станешь царем. Итак, решено!

Актеон, прежде чем ответить, секунду помолчал, и Ганнибал прочел в его глазах нерешительность.

— Не лги, грек: ложь нужна для врага или же для спасения жизни. Я твой друг и я обещал щадить твою жизнь. Ты не хочешь следовать за мною!

— Да, не хочу,— решительно ответил грек.— Мое желание вернуться в город, и, если у тебя действительно сохранилось какое-либо чувство к товарищу твоего детства, то дай мне возможность уйти.

— Но ты погибнешь там!.. Не надейся на пощаду, если мы вступим в Сагунт.

— Я умру,— просто сказал афинянин.— Ведь там есть люди, которые приняли меня, как соотечественника, когда я скитался по свету; там есть женщина, которая взяла меня под свое покровительство, видя меня несчастным. Она послала меня в Рим, чтобы я привез им слово надежды, и я должен вернуться, не взирая на то, что я повергну их в печаль и страдания. Что стоит тебе дать мне свободу!.. Быть может, завтра же тебе представится возможность убить меня. Внутри Сагунта будет одним ртом больше, а там, должно быть, царит голод. Откровенно говоря, пожалуй, увидя меня вернувшимся без всякой помощи, сагунтцы падут духом и сдадутся.

Ганнибал мрачно глядел на Актеона.

— Безумец! Никогда я не думал, что афинянин способен на такую жертву. Вы, греки, легкомысленны и лживы. Ты первый, встречаемый мною грек, который желает остаться верным городу, усыновившему его. Карфаген понес много бед от наемников твоей страны. Ты призываешься к женщине, становишься ее рабом.

— Уходи, безумец! Ступай! Я предоставляю тебе свободу... Знай, что с этой минуты ты лишаешься покровительства Ганнибала. Если попадешься в мои руки в городе, ты станешь моим пленником.

Ганнибал, ударив пятками по бокам своего коня, поскакал в лагерь, высокомерно повернувшись спиной к греку. Вскоре Актеон заметил приближающегося к нему карфагенского юношу, который, не проронив ни слова и даже не взглянув на него, взял поводья его лошади и направился к Сагунту.

Достигнув передовых позиций осаждающих войск, карфагенянин сказал несколько слов, и грек свободно проехал дальше среди враждебных взглядов солдат.

Приблизились к развалинам первой ограды. Под ее защитой находились передовые войска осаждающих. Здесь грек сошел с лошади, сорвал с куста иглистую ветку и, подняв ее вверх, как символ мира, направился к городу. Перед ним высились та стена, которая под его руководством была воздвигнута в одну ночь, чтобы задержать наступление врага. На ней виднелись шлемы лишь нескольких защитников. Неприятель направил все свои атаки на возвышенную часть. Та же сторона города, где происходили первые сражения, была почти оставлена.

Караульные, бывшие на стене, узнали Актеона. Ему кинули веревку из ковыля, чтобы помочь подняться. Все жадно окружили грека, которому казалось, что он видит вокруг себя группу привидений. Тела их были настолько худы, что широкие доспехи, казалось, могут соскользнуть с них; под забралами шлемов скрывались пожелтевшие лица, печальные и высохшие; руки же, костлявые и морщинистые, с трудом могли держать оружие. Станный желтоватый блеск сверкал в глазах.

Актеон добродушно защищался от бесчисленных вопросов. Он все расскажет в свое время; он должен прежде дать отчет о возложенном на него поручении сенаторам Сагунта, немного спокойствия; до наступления ночи всем станет все известно. И, полный сострадания к этим несчастным, он лгал из милосердия, уверяя, что Рим не забывает Сагунта и что он является передовым легионом, которые будут присланы союзниками.

Из ближайших домов, из соседних улочек выходили мужчины и женщины, привлеченные новостью о прибытии грека. Его окружали, его расспрашивали. Все хотело первыми узнать вести, чтобы распространить их по городу; и Актеон, мягко отделяваясь от них, смотрел с ужасом на их желтоватые и высохшие лица, с дряблой кожей; на впавшие в темные орбиты глаза, сверкающие странным блеском, напоминающим отражение мерцания гаснущих звезд в глубине колодца; на руки, которые трещали, как тростники, при движениях.

Афинянин двинулся вперед, сопровождаемый толпою, предшествуемый мальчиками, ужасными, совершенно голыми, кожа которых, казалось, прорвется от давления резко выступающих ребер; головы дегей, держащиеся на сухих шеях, казались непомерно велики. Они с трудом шли, покачиваясь на своих тонких, как нити, ногах, которые, казалось, не могли выдержать тяжести туловища; некоторые из них, не чувствуя сил, чтобы держаться на ногах, ползли по земле, желая облегчить свои страдания.

Актеон заметил в закоулке оставленный труп с лицом, покрытым странными мухами, которые сверкали на солнце металлическим отливом. Невдалеке на перекрестке несколько женщин пытались поднять нагого юношу с опущенным к ногам луком. Грек с ужасом увидел его впавший, морщинистый, как крутень из кожи, живот, среди двух бедренных костей, которые, казалось, выпали из тела.

Это была мумия, которая сохраняла еще искру жизни в глазах и, точно жуя воздух, открывала губы, черные и потрескавшиеся.

Актеон проходил ряды улиц, но новые группы людей

уж не присоединялись более к его шествию. Многие дома продолжали оставаться с запертыми дверями, не взирая на гул толпы, и грек невольно сравнивал это опустение с громадным скоплением людей в первые дни осады. Околевшие собаки валялись в ручье, такие же тощие, как и люди, и заражали зловонием окружающий воздух. На перекрестках виднелись скелеты лошадей и мулов, чистые и белые, совершенно лишенные мяса, на которые могли бы наброситься отвратительные насекомые, жужжащие в этой атмосфере умирающего города.

Грек, со своей обычной наблюдательностью, обратил внимание на вооружение воинов. Он видел лишь металлических кирасы, кожаные же исчезли. Щиты, лишенные кожи, выставляли свое плетение из тростника или бычачьих нервов. В одном углу он увидел двух стариков, которые дрались из-за какого-то черноватого и гибкого лоскута. Это был кусок кожи, размоченный в теплой воде.

Во многих домах были разломаны полы, чтобы доставить камень для новых стен, которые задерживали вступление неприятеля в город.

Голод, жестокий и опустошительный, смел все. Казалось, что осаждающие уж вошли в город, уничтожив в нем все и оставив лишь одни здания. Голод и смерть царили среди осажденных.

Возле Форо грек заметил женщину, которая проталкивалась через толпу, и через секунду она кинулась к нему на шею. Это была Сонника.

Она не производила того тягостного впечатления крайней нужды, которым дышала толпа, но стала худее, бледнее; нос ее заострился, щеки, казалось, просвечивались, озаренные каким-то внутренним светом, а руки, которые обвили афинянина, стали тоньше и горели жаром лихорадки. Синеватая тень окружала ее глаза, а дорожная туника свободно спадала бесчисленными складками вдоль тела, которое вследствие худобы казалось гораздо выше.

Обвив его шею рукой, она последовала за греком, идя рядом с ним. Толпа глядела на Соннику с благоговением: она единственная в городе помогала несчастным,

надеяя их каждый день последними съестными припасами своих амбаров.

Толпа приостановилась на Форо. Сенаторы собрались в соседнем храме на площади. Наверху, в Акрополе, продолжалось сражение с карфагенянами, которые занимали часть возвышенности; частым дождем падали оттуда большие камни катапулт. Некоторые из них достигали Форо и во многих домах крыши и стены были пробиты.

Актеон вошел в храм один. Число сенаторов уменьшилось. Одни умерли от голода и заразы, другие же устремились на стены, чтобы встретить там смерть.

Грек взглянул на этих граждан, облаченных в свои мантии и с высокими царскими скипетрами; они ждали его слов с душевной тревогой, которую старались скрыть под величественным спокойствием.

Он рассказал им о своем посещении римского Сената.

Печальный рассказ постепенно рассеивал спокойствие сенаторов. Некоторые подымались со своих мест и разрывали мантии, испуская вопли отчаяния; другие в возбуждении ударяли себя кулаками по лбу, крича, что Рим не послал своих легионов; самые же почтенные и старейшие, не теряя величия, плакали, и слезы их, стекая по худым щекам, терялись в белоснежной бороде.

Постепенно к старцам стало возвращаться самообладание и вскоре воцарилось спокойствие. Все ожидали советов благоразумного Алько. Последний — заговорил.

— О немедленной сдаче города нечего и думать. Не так ли?

Все собрание ответило ему ропотом негодования:

— Никогда! Никогда!

Между тем, чтобы поддержать бодрость духа, чтобы продлить защиту на несколько дней, надо лгать, надо вдохнуть ложную надежду в сагунтцев. Съестных припасов нет; те, которые находятся на стенах с оружием в руках, доедают последних лошадей, оставшихся в городе; чернь же гибнет от голода. Каждую ночь вытаскиваются сотни трупов и сжигаются в Акрополе из боязни, чтобы их не пожрали бродячие псы, которые превратились в диких. Поговаривают, что некоторые чужеземцы, скрывающиеся в городе, вместе с рабами и наемниками по но-

чам собираются подле стен, чтобы питаться трупами. Городские цистерны близки к тому, чтобы высохнуть, и, не взирая на это, в Сагунте никто не говорит о том, чтобы сдаться. Все знают, что их ожидает в случае, если они попадут в руки Ганнибала.

Порешили, что следует сказать народу. Все поклялись богами скрыть правду и поддержать надежду на прибытие римских полков. И, приняв спокойный вид, чтобы никто не заметил отчаяния, сенаторы вышли из храма.

Вскоре среди толпы распространилась новость: послы направились в Карфаген, чтобы не терять времени в лагере, и там они потребуют кары Ганнибала. С минуты на минуту должны прибыть легионы, которые посылает Рим, чтобы поддержать сагунтцев.

Толпа приняла эти приятные вести со спокойной радостью. Страдания осады умертвили пыл. К тому же столько раз воспламенялись надеждой на римлян, что теперь уж сомневались в помощи.

Прошло несколько дней. Город снова стал впадать в постепенное угасание, но, упорный в своем решении, продолжал защищаться.

Осаждающие не возобновляли атак. Ганнибал, вероятно, догадывался о положении города и, желая избежать лишнего кровопролития своей армии, предоставлял все времени, замыкая город кольцом и надеясь, что голод и зараза дополнят его торжество.

На улицах уже некому было подбирать умерших; костер, который сжигал их на высоте Акрополя, погас. Трупы, оставленные у дверей домов, покрывались мерзкими насекомыми; ночью же спускались в центр города хищные птицы и оспаривали свою добычу у бродячих псов.

Охваченные безумием люди, вонючие, с диким видом, вооруженные палками, камнями и дротиками, выходили из домов, как только спускалась ночь. Эуфобий вел их, давая им с величественной важностью указания, точно полководец, руководящий своим войском. Когда им удалось убить ворона или одичавшего пса, они относили их на Форо, где поджаривали на костре, оспаривая друг у друга вонючие куски.

Наступала весна. Зима кончилась, но в Сагунте было

холодно; могильный холод пронизывал осажденных. Сверкало солнце, а город казался омраченным густым смрадным туманом, который придавал домам и людям свинцовую окраску.

Актеон, направляясь однажды утром к более высокой части горы, где продолжалось сражение, встретил на Форо Алько.

— Афинянин, — таинственно обратился он к греку. — Я решил положить этому конец. Город не может сопротивляться. Достаточно он надеялся на помощь римлян. Пусть падет Сагунт и Рим устыдится своей неверности по отношению к союзнику. Сегодня я отправляюсь в лагерь Ганнибала и предложу мир.

— Хорошо ли ты это обдумал? — воскликнул грек. — Неужели ты не боишься негодования своего города, когда он узнает, что ты вступаешь в сношения с врагом?

— Я люблю свой город и не могу присутствовать при его самопожертвовании, при его смертной агонии. Немногим известно, что сегодня из цистерн едва можно добыть грязь. У нас нет воды.

Алько замолчал на секунду и скорбным движением провел рукой по лбу, точно желая отогнать ужасные мысли.

— Никто лучше нас, сенаторов, — продолжал он, — не знает того, что происходит в городе. Боги должны трепетать от ужаса при виде того, что творится в покинутом ими Сагунте. Слушай, Актеон, и забудь то, что услышишь, — сказал он, понизив голос, и с выражением ужаса. — Вчера две женщины, обезумев от голода, кинули жребий, которого из их малюток съесть. Мы, сенаторы, закрываем на это глаза. Мы не хотим ни видеть, ни слышать, понимая, что наказание послужило бы лишь для большего распространения подобных ужасов.

Грек опустил голову.

— К тому же, — продолжал Актеон, — дух города упадет, гаснет вера. Все против нас. Есть люди, которые видели ночью огненные шары, поднимающиеся из Акрополя и летящие к морю. Народ предполагает, что это Пенаты города покидают город, чтобы водвориться по ту сторону моря, откуда они явились. Вчера вечером, караульные,



находящиеся наверху, в храме Геркулеса, видели, как из-под могилы Зазинто выползла змея, которая свистала, точно раненая. Она была вся голубая, с золотыми звездами. Это та змея, которая укусила Зазинто, что послужило поводом для основания города вокруг могилы героя. Она проползла между ног пораженных часовых, спустилась по горе и устремилась через долину по направлению к морю. И она нас также покинула, эта священная гадина, которая как бы являлась божеством, охраняющим Сагунт.

— Быть может, это неправда,— сказал грек.— Это галлюцинация людей, измученных голодом.

— Возможно, что это так, но приблизься к женщинам, и ты увидишь, что они оплакивают бегство змеи Зазинто. Они уверены, что город остался теперь беззащитным, и многие мужчины, узнав о странном исчезновении гадины, почувствуют себя сегодня более слабыми.

Оба долго оставались безмолвными.

— Ступай, — сказал, наконец, грек. — Переговори с Ганнибалом, и да вдохнут ему боги милосердие.

— Почему бы тебе не пойти со мной? Ты, который так много путешествовал и обладаешь красноречием и убедительностью доводов, ты мог бы помочь мне.

— Ганнибал ненавидит меня. Моя судьба решена. Этот африканец неизменен в своем гневе. Он пощадит всех, но только не меня. Я умру прежде, чем он увидит меня своим рабом.

## Х. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Когда Актеон пришел на площадь, уже наступила ночь. Посреди горел большой костер, который зажигался, чтобы побороть мертвенный холод.

Сенаторы выносили кресла из слоновой кости к подножию ступеней храма, чтобы принять в присутствии народа гонца Ганнибала. Новость, что от Ганнибала прибыл вестник, распространилась по всему городу, и народ сбегался на Форум.

Актеон поместился подле сенаторов. Он не заметил

среди них Алько. Значит, он находился во вражеском стане, и прибытие парламентаря, должно быть, является последствием его свидания с Ганнибалом.

Один из сенаторов пояснил ему происшедшее. К городским воротам подошел один из неприятелей, невооруженный, с оливковой ветвью в руке. Он выразил желание говорить с Сенатом от имени осаждающих, а Собрание старцев нашло необходимым собрать весь город, чтобы народ принимал участие в столь важном совещании.

Спустя некоторое время, показалась вооруженная группа, в центре которой шел человек с открытой головой, без вооружения, держа в правой руке ветку символа мира.

Когда он проходил мимо костра, блеск пламени озарил его лицо, и на Форо поднялся ропот негодования. Его узнали.

— Алорко!.. Это Алорко!..

— Изменник!

— Неблагодарный!

Многие хватались за мечи, над головами толпы замелькало несколько рук, вооруженных дротиками, но присутствие сенаторов сдержало вспыхнувший гнев.

Алорко приблизился, став лицом к сенаторам. Воцарилась тишина, прерываемая лишь треском полен костра. Все глаза были устремлены на кельтибера.

— Среди вас нет Алько? — начал он вопросом.

Все с удивлением огляделись. До сих пор не заметили его отсутствия.

— Не ищите его, — продолжал кельтибер. — Алько находится в лагере Ганнибала. Он пожертвовал собою, и, рискуя умереть, явился несколько часов тому назад в палатку Ганнибала, чтобы со слезами умолять его сжалиться.

— Почему же он не пришел с тобою? — спросил один из старцев.

— Он устыдился повторить условия, которые предлагают для снятия осады.

Воцарилась еще большая тишина. Все догадывались об ужасных требованиях.

К Форо стекались новые группы людей. Даже защит-

ники города покидали стены и находились здесь, сверкая при блеске костра своими бронзовыми шлемами и щитами разнообразных форм: круглыми, овальными или в виде половинной луны. Актеон заметил Соннику.

— Условья!.. Говори условия!— кричали с различных пунктов Форо.

— Помните,— сказал Алорко,— что то, что хочет предоставить вам победитель, является милостью, которую он вам дарует, так как с сегодняшнего дня он господин всего вашего: жизни и имущества.

Эта ужасная правда, сразив толпу, породила безмолвие.

— Сагунт, который большею частью разрушен и окраины которого уже заняты войсками Ганнибала, будет взят у вас в виде кары, но вам будет разрешено построить новый город на месте, которое укажет вам Ганнибал. Все ваши богатства, заключающиеся как в общественной казне, так и в ваших домах, должны перейти к победителю. Ганнибал пощадит вашу жизнь, жизнь ваших жен и детей, но вы должны будете выйти из города на указанное вам место без оружия и лишь с двумя сменами платья. Я понимаю, что условия жестоки. Хуже умереть, хуже, чтобы ваши семьи стали добычей войны.

Алорко кончил говорить, но, несмотря на это, на Форо продолжало царить безмолвие, глубокое, зловещее безмолвие, похожее на свинцовое затишье, предшествуемое грозе.

— Нет! Сагунтцы, нет! — крикнул женский голос.

Актеон узнал в нем голос Сонники.

— Нет! Нет! — подхватила толпа, точно шумное эхо.

Все заволновались, перебежали из стороны в сторону, толкались охваченные бешенством.

Сонника исчезла, но вскоре Актеон увидел, что она вернулась на Форо в сопровождении группы людей: рабов, женщин и солдат, которые несли на своих плечах дорогую обстановку виллы, сложенную в амбарах; ларцы с драгоценностями, роскошные ковры, слитки серебра и шкатулки с золотым песком. Толпа глядела на это шествие богатств, не угадывая намерения Сонники.

— Нет! Нет! — повторяла гречанка, как бы говоря сама с собой.

Она была возмущена. Она видела себя покидающей город, лишенной всего имущества, кроме двух туник, обработанной нищенствовать по дорогам или, как рабыня, работая на полях, преследуемая дикими солдатами.

— Нет, нет, — энергично повторила она, прокладывая себе дорогу среди толпы, чтобы пробраться к костру, горящему в центре Форо.

Она была великолепна со своими рыжими распустившимися волосами, в тунике, изорванной в давке, с горящими глазами и с лицом Фурии. К чему богатства? К чему жить?..

Она подала сигнал, кинув в костер изображение Венеры из яшмы и серебра, которое принесла в собственных руках и которое скрылось в пламени, точно бревно. Те, которые пришли за нею, все несчастные и голодающие люди, с дикой радостью последовали ее примеру. В огонь кидались ларцы из слоновой кости, кедрового и черного дерева, причем, когда они ударялись о поленья, крышки отскакивали и рассыпались хранящиеся драгоценности: жемчужные ожерелья, нитки топазов и изумрудов, алмазные серьги, вся гамма драгоценных камней, которые сверкали некоторое время среди горящих головней, как великолепные саламандры. Затем в костер были брошены ковры, расшитые серебром покрывала, туники с золочеными цветами, золотые сандалии, кресла с ручками, изображающими львиные лапы, постели с металлическими украшениями, гребни из слоновой кости, зеркала, светильники, лиры, флаконы с благовониями, дорогие мраморные столики с инкрустациями; все великолепие Сонники. Костер увеличивался, и пламя его поднялось так высоко, что разбрасывало искры и пепел на крыши домов.

— Ганнибал хочет богатств! — кричала Сонника охрипшим голосом, казавшимся воплем. — Идите сюда, кидайте в костер все, что у вас есть! Пусть африканец отвоевывает эти богатства у огня.

Но ей незачем было призывать. Многие из сенаторов, которые скрылись в первую же минуту смятения, возвра-

щались на Форо, неся под своими белыми мантиями ларцы и бросали их в костер. Это было то, что принесли они из домов.

Над головами толпы переходили из рук в руки мебель и ткани, которые кидались в громадную жаровню, с каждым разом все выше вздымавшую свое пламя, увенчанное белым святащимся дымом.

Это было всеожжение в честь безмолвных и глухих богов, которые находились в Акрополе. Дома опустошались и все их украшения и богатства предавались огню. Мужчины молча, с мрачным видом отдавались жгучему инстинкту разрушения; женщины же, казалось, обезумели и с растрепанными волосами, с глазами, выходящими из орбит, плясали вокруг громадного костра, задевая его платьем, привлекаемые пламенем, опьяненные огнем, царапая себе ногтями лица, не отдавая отчета в том, что делали, и испуская проклятие. Наконец одна из них, как бы обезумев от этого адского хоровода, не будучи в силах противиться притяжению огня, прыгнула, упав в пламя. Мгновенно вспыхнуло на ней платье и волосы, и несколько секунд она горела, точно факел среди головней. Другая женщина кинула, точно мяч, своего ребенка, которого держала, крепко прижимая к высохшей груди, и вслед за тем сама прыгнула в середину пламени, как бы раскаявшись в преступлении и желая последовать за младенцем.

Огонь перешел на деревянные крыши домов Форо. Огненное кольцо охватывало площадь. Толпа задыхалась от дыма и жары.

На ступенях храма старцы поражали себя в сердце кинжалом. Умиравшие передавали свое оружие ближайшему и, испуская дух, делали усилие, чтобы оставаться сидеть в своих креслах. Женщины хватили из костра горящие головни и, как вакханки, носились по Сагунту, поджигая двери, кидая головни на дощатые крыши домов.

Внезапно в высокой части города, там, где была сосредоточена атака осаждающих, раздался ужасающий шум, точно половина горы спустилась вниз. Стены были оставлены защитниками, собравшимися на Форо, и одна

из башен, под которую карфагеняне в течение нескольких дней подводили подкопы, в конце концов рухнула. Одна из когорт Ганнибала, увидя свободным вход в город, бросилась в пролом. Он спешил со всеми своими силами.

— Ко мне! Ко мне! — кричала Сонника хриплым голосом. — Это наша последняя ночь. Я не умру в огне. Хочу умереть, сражаясь...

Она, как фурия, помчалась в Форо, сопровождаемая Актеоном, который бежал рядом с ней, окликая ее, стараясь, чтобы она взглянула на него. Но красавица гречанка в своей ярости оставалась бесчувственной, точно подле нее находился незнакомый ей человек.

За ними в беспорядке следовала толпа всех тех, которые находились на Форо: вооруженные граждане, женщины, захватившие ножи и дротики, нагие подростки с копьями. При свете пожара они пронеслись, точно обезумевшее стадо, сверкая бронзовыми нагрудниками, шлемами и вооружением, обгаренным кровью.

Они выступили из Сагунта через нижнюю его часть, направляясь при блеске пылавшего города против неприятельского лагеря.

Когорта кельтиберов, которая мчалась в Сагунт, была смята, разбита, истоптана ураганом отчаявшихся людей, которые неслись с опущенными головами. Но тут же они были остановлены новыми отрядами, разбились о ряды щитов.

Изнуренные долгой осадой, истощенные болезнями и голодом, сагунтцы не могли выдержать сражения. Кельтиберы же со своими мечами о двух остриях ранили немилосердно и под их ударами быстро погибала эта толпа обессиленных мужей, женщин и детей.

Актеон, сражаясь против солдат с лицом, защищенным щитом и высоко поднятым мечом, увидел как Сонника была поражена ударом ножа в череп и выронила свое оружие, судорожно вздрогнув прежде чем упасть.

— Актеон! Актеон! — крикнула она.

Она упала лицом на землю. Грек хотел бежать к ней, но в то же мгновение в ушах у него зашумело, точно на его череп обрушилась тяжелая масса, он почувствовал

между ребрами холод железа, прорезывающего его тело, в глазах потемнело и он упал, точно низвергнутый в темную и бездонную пропасть...

Грек очнулся. На его груди лежала тяжесть, которая давила, как гора. Его тело не повиновалось ему. Он только смог с усилием открыть глаза, и смутно вспомнил, почему он здесь.

Постепенно он начал различать то, что давило ему грудь. Это был труп огромного солдата. Актеон вспомнил, что он, кажется, вонзил свой меч в тело этого воина в то самое мгновение, когда почувствовал, что погружается в темную и таинственную ночь.

Он посмотрел вокруг. Красноватый отблеск, точно свет бесконечной утренней зари, озарял на земле кинутые оружия и силуэты трупов.

В глубине пылал город. Обезображенные здания выступали темными пятнами на завесе пламени, которое своим колеблющимся светом как бы колыхало стены Акрополя.

Актеон вспомнил все. Этот город был Сагунт. Оттуда доносился рев победителей, которые бежали по улицам, покрытые кровью, поджигая еще уцелевшие дома, разъяренные уничтожением всех богатств и в своем негодовании ранящие и убивающие тех, кого встречали по пути.

Грек понял, что он не умер, но умирает. Он это чувствовал по страшной слабости, которая овладела им, по смертельному холоду, который пробегал вдоль его тела, но сознание, которое угасло и было лишь слабым проблеском...

А Сонника? Где Сонника?.. Сделав величайшее усилие, он поднял голову от земли, и волна теплой и липкой жидкости залила его лицо. Это была последняя кровь.

Ему показалось, что он видит черного кентавра, который мчится по трупам и, глядя на пылающий город, хочет с адской радостью.

Он проехал подле него. Копыта его лошади вонзились в труп кельтибера, лежащего на его груди. В предсмертной агонии греку показалось, что он узнал всадника при свете зарева.

Это был Гапнибал, с обнаженной головой, охвачеп-

ный бешенством торжества, скачущий на черном, как ночь, коне, который, казалось, заразившись исступлением всадника, ржал, лягая трупы и размахивая своим хвостом над останками сражения. Греку он показался воплощением адской ярости, исходящей из его души.

Актеон смутно, как туманное видение, заметил лицо Ганнибала, озаренное улыбкой высокомерия и жестокого удовлетворения; величественное и свирепое лицо.

Он улыбался, видя, что город, который держал его восемь месяцев у своих стен, стал наконец его собственностью. Теперь он мог развернуть свои смелые замыслы.

Грек не видел более. Он стал погружаться в вечную ночь...

Ганнибал промчался вокруг города и, заметя, что со стороны моря загорается фиолетовое сияние предрассвета, приостановил своего коня, взглянул на восток, и, протянув руку, словно желая воздеть ее над лазурью, которая замыкала горизонт, угрожающе воскликнул, как бы взывая к невидимому врагу прежде, чем напасть на него.

— Рим!.. Рим!..





ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ФРИЦ МАУТНЕР

ГИПАТИЯ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



## ПРОЛОГ

### ИМПЕРАТОРСКАЯ КРЕСТНИЦА

Парад продолжался уже целых три часа. Император Юлиан на своем тяжелом рыжем коне, окруженный офицерами, чиновниками, духовенством и литераторами, находился недалеко от дворца наместника, в конце широкой Портовой улицы. В течение трех часов проходили мимо него полки, отправлявшиеся в Азию, в победный поход против персов. Здесь, у главных складов Александрии принимал император парад; напротив, у мола новой гавани, стояли на якоре корабли, которые в этот же вечер должны были доставить в Антиохию его самого и его свиту. Оттуда, предшествуя египетской армии, намеревался император выступить со своим сирийским войском.

Зрители уже устали. Был только десятый час утра марта месяца, и, однако, солнце так пламенно палило над городом, что Александрийская чернь начинала думать — африканские корпуса могли бы быть поменьше.

Два маленьких темно-коричневых феллаха, обнявшись цепкими руками, чтобы не потерять равновесия, сидели на крепкой свае.

— Эй! — воскликнул один, — посмотри: над крышей летит философ.

Марабу, которого за его характерную лысую голову александрийцы прозвали философом, плавно поднялся над крышей Академии, описал два широких, спокойных

круга над старым зданием, еще раз мощно взмахнул громадными крыльями и опустился, наконец, недалеко от императора на источенную непогодой колонну. В воздухе птица выглядела великолепно. Теперь, когда она стояла на одной ноге, а другой, невероятно изогнувшись, скребла свою морщинистую шею с длинным мешком, болтавшимся под клювом наподобие серо-коричневой бороды — это было далеко непривлекательно. Ко всему этому лысая голова, ужасающих размеров череп и не то меланхолично, не то сурово взирающие на мир глаза — все это выглядело как-то нелепо шутовски, и оба мальчишки кричали и хохотали, в то время, как проходивший перед императором пехотный полк выкрикивал обычное утреннее приветствие; с кораблей неслись стоголосые клики, а воинственно настроенные горожане обменивались замечаниями о параде.

Мальчишки забавлялись теперь тем, что сравнивали двуногого философа на колонне с философствующим императором. Они были неправы. Император Юлиан не выглядел ни меланхолично, ни торжественно. Сходство было чисто внешнее. Незначительный, маленький человек, около тридцати лет от роду, он сидел на своем рыжем коне, как новобранец. Только умная голова с длинной, темно-коричневой бородой философов и лысым черепом отдаленно напоминала птицу на колонне. Но одно особенно рассмешило мальчишек: как марабу продолжительно и серьезно скреб и чистил лапой голову, совершенно так же скреб и чистил император свою спутанную бороду, приветствуя в то же время проходивший мимо него полк воинственной речью:

— Вперед, молодцы! Ударим на персов, чтобы от их голов осталась одна солома. Это будет веселая война! Если уж мы вдребезги расколотили здоровенных швабов под Страсбургом, то персы побегут перед нами, как стадо баранов!

Император оглянулся и подозвал кивком первосвященника Иерусалима.

— Ваша просьба удовлетворена. Вы получите деньги, чтобы вновь отстроить ваш древний храм. По возвращении с войны я навещу вас как-нибудь в Иерусалиме.

Тогда вы покажете мне тайные книги о том галилеянине, которого вы распяли. Я собираю материалы для большой сатиры на распятого. Мы расположены к вам милостиво.

Снова раздалась команда и «с добрым утром, император!» прогремело над звоном железа. Прошел последний отряд пехоты, и началась кавалерия. Глаза императора, злобно сверкнувшие за минуту до этого, снова стали спокойными.

— С добрым утром, латники! — как будто преобразившись, воскликнул он могучим голосом полководца. — Вы выглядите молодцами! Вперед! Вы не заставите меня краснеть. Говорят, персидские девочки втюрились в африканских кирасиров?

Грубый смех первых рядов был ответом, и весь полк расхохотался за ними. Лошади ржали и проходили танцующим шагом. Император обернулся к египетскому наместнику. Его приказания звучали коротко и решительно. Дело шло о посылке более молодых войск, о провианте, а главное о громадном транспорте хлеба, который нужно было из Египта доставить через Красное море к устью Евфрата. Наместник не смог возразить ни слова.

Юлиан отъехал немного назад и приблизился к группе христианских священников с таким видом, точно хотел растоптать их копытами своего коня.

— Ну, отцы! — крикнул он и снова заскреб в бороде, придвигая лошадь все ближе к ногам священников. — Ну, молились ли вы сегодня о победе персов? Полагаю, что да! Но что до меня — вы можете делать это безнаказанно. Я не нуждаюсь в помощи вашего распятого. Но я прошу вас покончить с вашими дрязгами к тому времени, когда я снова буду среди вас после победы. Я хотел бы все-таки знать, в конце концов, во что вы верите, галилеяне? Пятьдесят лет, с тех самых пор, когда мой дядя дал власть в ваши руки, вы препираетесь о природе своего Божества. Ну, архиепископ, выяснили ли вы это наконец?

Архиепископ стоял так близко от морды лошади, что пена запачкала его белую бороду. Император хотел оттеснить его еще, но архиепископ стоял твердо, и лошадь не двигалась.

— Государь, — ответил Афанасий, — мы, христиане.

не дадим отвлечь себя от нашей веры ни острым словом, ни острым мечом. Привилегии, дарованные нам твоим предшественником...

— Я уничтожаю привилегии!.. Привет, копыеносцы!

— С добрым утром, император!

Мимо проезжал полк легковооруженных всадников, незадолго до этого перекинутый в Африку с Дуная, чтобы поддерживать египетскую кавалерию в борьбе с бедуинами. Это были дикие, ловкие парни с длинными косами и спутанными черными бородами. На знаменах этого полка над римским орлом красовался крест с инициалами Иисуса Христа. Император сжал кулак, но, дружелюбно улыбнувшись, крикнул всадникам на их родном языке:

— Вспомните о своей старой славе! Послушайте у стариков, как под старыми знаменами рубились они в долинах Дуная. А как со мной кинулись вы на сарматов? Гром и молния! это была скачка! Помните? Полмили в карьер по полям маиса, а потом вверх по виноградникам. Мы так разделали врагов, что они застряли своими острыми шлемами в винограднике и махали ногами в воздухе, как будто хотели позвать на помощь моего кузена. Он, однако, умер со страха от этого нового способа сигнализации! Ваш полк принес мне первую победу! За это вы получите в Персии новые знамена. С большими буквами на них. Но они будут означать «Юлиан». В день освящения вам дадут пятьдесят бочек персидского вина — и женскую прислугу!

Император поощрительно улыбнулся. Но никто не откликнулся. В суровом молчании, как будто это был полк монахов, двигались христианские солдаты. Даже лошади, казалось, сдерживали шаг, и враждебно взглянул на императора длиннородый знаменосец. Юлиан побледнел, но кровь снова окрасила его щеки, когда через сотню шагов знаменосец склонил знамя, как бы для приветствия. Там, на первой ступени христианского собора стоял архиепископ, отступивший после резких слов императора. И император увидел, как поднял престарелый Афанасий руку и благословил христианское знамя полка.

Император вонзил шпоры в бока своего коня, кото-

рый взвился на дыбы и пронесся сквозь ряды всадников. Собственноручно вырвал Юлиан знамя из рук воина, бросил его на землю и собственноручно сорвал с плеча знаменосца знаки его достоинства.

— Ты разжалован! — закричал император, не владея больше собой. — Рядовым ты проделаешь весь поход и будешь свидетелем, как воздвигнем мы алтари Зевсу в столице персов. А если тебя, собака, не убьют на войне, то, клянусь Зевсом, клянусь Солнцем, клянусь неведомым Богом, по возвращении ты умрешь на глазах архиепископа смертью твоего галилеянина! Любопытно будет узнать все-таки, кто из нас двоих сильнее на этой земле? Он — сын галилейского плотника, или я — римский император, повелитель мира? Марш!

Без знамени двинулся полк дальше. Образцовая дисциплина одержала верх, и Юлиан презрительно засмеялся, когда увидел, как эти христианские солдаты, не сморгнув, перенесли тяжелое оскорбление.

Потом он повернул коня и постарался загладить свой поступок шутливыми словами и воинственными восклицаниями. Всадники оставались неподвижны. Но отряды, следовавшие за ними, вновь радостно приветствовали императора, а когда уже около одиннадцати часов наступила очередь артиллерии, и, под изумленное волнение зрителей на площади, загрохотали влекомые бесчисленными быками, чудовищные осадные сооружения, — конец парада принял положительно величественные размеры.

Население стало спасаться от палящего солнечного жара в дома. Император, однако, казался неутомимым. Отклонив приглашение пообедать во дворце, он приказал купить для него у ближайшей торговки овощами хлеб и несколько фиников и позавтракал этим скромным запасом на лошади, в то время как мимо него бесконечными рядами скрипели телеги, нагруженные вещами офицеров.

— Сегодня вечером нам надо отплыть, но я не хотел бы сделать этого, не осмотрев городских достопримечательностей. Прошу вас присоединиться. Первым и самым важным для меня делом будет познакомиться поближе с издревле знаменитой Академией и библиотекой. Мы

основательно расчистим все это. Кто будет вашим проводником?

Президент Академии выступил вперед и слабым голосом попросил оказать ему милость в счастливейший день его жизни...

— Знаю, знаю! Вы из придворных сладкопевцев. При моем всехристианнейшем кузене-убийце вы стали профессором за свадебное стихотворение, а затем, должно быть, в награду за достижение семидесятилетнего возраста — президентом Академии. Ну ладно, идем!

Император быстро соскочил с лошади, и свита пришла в движение. Около него, всегда на шаг назад, с головой, вытянутой в одном непрерывном поклоне, шел президент Академии. Далее следовала военная свита императора и внушительное число ученых и жрецов. Несколько купцов протеснились сюда же и сумели заставить императора заговорить с ними, еще не достигнув главного входа. Юлиан спрашивал президента о количестве книг. Когда старик замешкался ответом, стоявший в трех шагах купец Иосиф крикнул: «Почему бы императору не спросить меня? Я великолепно знаю, что в астрономическом отделе 35.760 свитков».

Старые советники и офицеры, служившие еще при Константине, испугались этого нового нарушения придворного этикета, но император ласково подозвал к себе купца и с дальнейшими вопросами обращался к нему. Иосиф знал все. Зала Гомера заключала 13.578 свитков, греческая философия — 75.355 и т. д.

Внезапно император остановился в раздумьи и сказал: «Послушайте, милый Иосиф, я сделаю вас придворным поставщиком, но только, если уверюсь, что ваши данные правильны. Я сравню последнюю цифру с каталогом».

— Боже милостивый! — воскликнул Иосиф дрожа, но попржнему смело. — Ваше величество разрешит мне всеподданнейше доложить, что этого никогда еще не делал ни один император. Ну да, сознаюсь, я придумывал десятки и единицы — ведь ваше величество желали знать все с точностью до одной книги. Цари всегда хотят этого! Но тысячи везде правильны. И я позволю себе сказать

вашему величеству: разве для государя недостаточно, если верны тысячи?

Император сердечно рассмеялся и обещал запомнить этот урок.

Так через какой-то безымянный переулок достигли они улицы Горшечников и подошли к главному входу Академии. Мощная колоннада, на ступенях которой расположились сотни служащих, вела ко входу. По обе стороны стояли статуи греческих философов и поэтов.

Свита вступила в здание и, из зала в зал то тот, то другой профессор давали объяснения.

Как специалист-библиотекарь, только для этого приехавший в Александрию, ходил Юлиан повсюду; там вытягивал редкий экземпляр, там карабкался по удобной лесенке под самый потолок, чтобы убедиться в справедливости какой-нибудь справки, или усаживался с роскошным свитком Гомера за один из маленьких столиков, чтобы прочитать несколько строчек.

Уже греческие поэты задержали императора на целый час, с философами же он просто не мог расстаться. С Платоновским диалогом о государстве в руке, он завязал оживленную беседу о воспитании и продолжал ее, уже вступив в математическое отделение.

Здесь он откровенно сознался в своем невежестве и разрешил хранителям отделов в быстрых докладах обрисовывать современное состояние своих дисциплин. Свита совершенно измучилась, и престарелый президент уже дважды осмелился пригласить императора к небольшой закуске, приготовленной в великолепной приемной. Император не желал ничего слышать. Кто хочет ему служить, тот должен уметь жить так же скромно, как он сам.

С Теоном, знаменитым механиком, начал император разговор относительно конструкции новой осадной машины. Император выказал необычайные познания и дал ученому мысль, как удвоить метательную способность старой машины. Казалось, однако, что Теону, исполнившему для императорской артиллерии уже много научных и практических работ, сегодня как-то не по себе. Наконец император заметил это.

— Что случилось, милый Теон? Я знаю вас, как одно-



го из вернейших приверженцев нашей римской религии. Я рассчитывал на вас. Вы знаете, что значит для меня этот поход. Вы знаете, что я должен со славой закончить эту персидскую войну, чтобы затем в долгом мирном царствовании искоренить внутреннего врага,— это новое галилейское безбожие, поднимающее свою голову против нашей религии, против богов и престола. Разве вы не собираетесь помочь мне в этом?

Теон, видный мужчина немного старше сорока лет, склонился, как бы желая поцеловать руку императора, и тихо сказал со слезами на глазах:

— Простите, ваше величество, никогда не перейду я к христианам. У римских богов нет слуги вернее меня. Но сегодня ночью — сорок дней тому назад моя молодая жена подарила мне ребенка — сегодня ночью моя жена умерла, оставив меня одного с ребенком... Сегодня ночью!.. Мы с ребенком одиноки теперь...

Император пожал руку.

— Простите меня! Оставайтесь рядом со мной!

И в нервной поспешности, не оглядываясь и не отдыхая, заторопился император в следующую залу.

Был седьмой час, когда император вступил в новое здание, первое отделение которого заключало в себе иудейскую Библию в бесчисленных еврейских экземплярах, в переводе семидесяти толковников, а также бесконечное число комментариев и вспомогательных сочинений. Уже несколько часов ожидали здесь раввины и христианские священники, чтобы предоставить свои познания в распоряжение императора. С шутками и насмешками расспрашивал император иудеев в происхождении их священных книг и прочел главу из Семикнижия. В виде доброго предзнаменования главный раввин предложил ему место из истории завоевания Ханаана.

— Ваши Моисей и Иисус были слишком хорошими солдатами, чтобы сделаться сносными философами. Они дали слишком много законов. Но я всегда чувствовал уважение к древности этих книг. Я вспомню о вас в Азии, если найду что-нибудь по-еврейски. Я прикажу все переписать... на свиной коже.

В третий раз выступил архиепископ, чтобы в заранее

приготовленной речи выяснить значение еврейской библии для новой христианской религии. На этот раз ему удалось заговорить.

— Иисус Христос отменил обрядовые законы, справедливо кажущиеся его величеству лишенными смысла; и если его величество соблаговолит пройти в следующую залу, то он найдет там прекраснейшее собрание замечательных трудов христианских философов.

— Прошу вас, господа, не беспокойтесь! — воскликнул император насмешливо, — отправляйтесь к вашим христианским философам и поститесь там, если желаете, как ваши новые благодетели человечества — монахи! При мысли, что христианские философы могут стать моей духовной пищей, я внезапно почувствовал голод. Решите сами, господин архиепископ, что вам предпочесть — стакан вина или главу из Оригена. Этот святой учитель должен был быть особенно аскетичным! — Император взял Теона под руку, и, посмеиваясь над Оригеном, последовал в большую парадную залу, где стояло три грандиозных обеденных стола и куда императорская свита ринулась, забыв о всяком порядке. Император с намеренной скромностью взял немного хлеба и стакан вина, тогда как офицеры принялись за добрые припасы горячее, чем это было в придворных обычаях. Даже пришедшие сюда против воли христианские священники забыли за едой свои обиды и свои заботы. Только евреи не касались ничего.

Император снова заговорил с Теоном об улучшении осадных машин. Теон должен похоронить и оплакать свою жену, а затем попробовать осуществить задуманное сооружение. Теон только что выпил стакан арабского вина и охотнее, чем раньше, собрался поправить некоторые вычисления императора, как вдруг внимание последнего привлек громкий шум на улице. Мгновенно откинул император портьеры балкона и вышел, чтобы самому посмотреть, что случилось.

— Все-то он должен сам видеть, — прошептал Иосиф соседу.

Внизу на улице Горшечников собралась тысячная толпа, образовавшая, казалось, две партии, ожесточенно

спорившие друг с другом. Никто не заметил появления императора. Он послал вниз узнать, что случилось, но раньше чем возвратились посланные, Теон был на балконе и бросился к ногам императора.

— Спасите моего ребенка, государь! Они хотят крестить его!

Император возвратился в залу. Жилы на его лбу напрыглись. Офицеры столпились вокруг него. Таким был он, когда в битве при Страсбурге измена императора Констанция чуть не привела его к гибели, и только его личная храбрость воспрепятствовала победе швабов.

Император потребовал объяснений; насколько можно было понять, союз христианских подмастерьев решил воспользоваться суматохой в Академии, чтобы, против воли отца, окрестить дочь Теона. Кормилицу христианку подкупили и план мог бы удался, если бы этого не заметил какой-то еврей из слуг библиотеки, закричавший о помощи. Собравшаяся теперь на улице толпа состояла, с одной стороны, из молодежи союза подмастерьев, находившейся в подчинении архиепископу, а с другой — из греков и евреев. Кормилицу с ребенком отнесли в здание Академии и провели в парадную залу к императору.

— Государь! — воскликнул Теон, — еще прежде чем ребенок родился, надоедали они моей жене просьбами посвятить его новой вере. Потом они не давали покоя большой и непрерывными угрозами, без сомнения, убили ее. Теперь им вздумалось окрестить бедняжку Марией, чтобы на старости лет у меня в доме вместо любимого ребенка был враг — христианка!

Император подозвал няньку и взял у нее ребенка из рук. Дитя тихо спало на своей подушечке и только немного шевельнуло хорошенькой головкой, когда император, склонившись, коснулся белого лобика своей жесткой бородой. Мертвая тишина царила в зале.

— Нас обоих не взять им, бедное создание, — прошептал император, — ни меня, ни тебя. Это так же верно, как то, что меня зовут Юлиан.

— Эй! — крикнул он вдруг так громко, что ребенок проснулся и раскрыл удивленные черные глаза, — у меня сейчас есть дела поважнее расправы с изменниками!

Но я говорю вам, что персидская война будет только началом той, которую я замышляю против внутреннего врага моего государства. Этого ребенка я беру под свое покровительство. Все громы преисподней и все молнии небес поразят дерзкую руку, которая осмелится сделать знак креста над моей крестницей. Марией хотели они окрестить тебя, бедное творенье, и убить в тебе душу живую, как стремятся они уничтожить душу мира. Радость жизни хотят они уничтожить, как на долгие годы лишили они Грецию всякой радости и всякого счастья. Проклятье, архиепископ! Бойтесь моего возвращения. Пускай же этот ребенок не носит никакого кроткого христианского имени. Я посвящаю ее первому богу на небе Зевсу Гипату, высочайшему Зевсу, и называю ее Гипатией.

Обеими руками поднял император ребенка тем же движением, каким греческие жрецы в священных мистериях совершали жертвоприношение невидимому богу.

Мир и покой были на его лице.

— Вы, древние боги! Если вы еще живы, если вы меня любите и если вы не хотите допустить галилеянина в ваши жилища — сохраните мне этого ребенка! Никогда более не будет у меня ни жены, ни детей. Служащий вам должен отказаться от личного счастья. Я беру этого ребенка, как своего. И если вы, боги, хотите сохранить красоту и правду Греции и радость Греции вопреки галилеянину и его священникам, сохраните мне этого ребенка и ведите меня к победам для меня и для моей страны!

Тихий плач ребенка нарушил тяжелое молчание, следовавшее за словами императора. Юлиан передал ребенка отцу и решительно подошел к архиепископу.

— До свиданья,— сказал он, сжав с угрожающим видом кулак,— до свиданья — после победы. Сперва персы, потом галилеянин! Мне еще только тридцать лет и если в моем распоряжении будет еще десять — мир навсегда запомнит это! Пора, мы отплываем.

И, не теряя больше слов, Юлиан быстро сошел с лестницы. Офицеры последовали за ним. Внизу стоял на страже отряд морских солдат. Под их охраной достиг импе-

ратор со свитой гавани, где бесчисленные толпы народа встретили его приветственными криками. Греки, иудеи и все, оставшиеся верными старой вере египтяне знали о его походе против духовенства и устроили ему восторженную встречу. Одушевление и счастье светились из глаз императора. Остановясь перед маленькими мостками, ведшими на адмиральский корабль, он выпрямился во весь свой рост и звонким повелительным голосом крикнул так, как будто весь город мог его слушать:

— Видите вы солнце, которое красное, раскаленное спускается там в море? Вы думаете — оно мертво, вы думаете — старые боги умерли? Но завтра утром, когда наши верные корабли понесут нас навстречу войне и победе, завтра утром, как с начала времен, поднимется оно в блеске первого дня и будет светить нам, как и каждому созданию! Знайте же, наш высочайший бог, наш высочайший Зевс, или бог иудеев или ваш бог-Серapis — это Солнце, которое сейчас уходит на отдых, но завтра воскреснет и никогда не умрет. Бог мой, бог мой, благослови меня на прощанье и благослови мое дело и дай победить ночь галилеян! — Еще один широкий жест, словно как жрец хотел он благословить покидаемый им город и кроваво заходящее солнце, — и Юлиан вскочил на свой корабль; якоря были вытащены под тысячеголосые крики и, медленно отчалив от берега и величественно пролагая себе путь среди других кораблей, с распушенными парусами, казавшимися красными в лучах заката, отплыл корабль из гавани.

Птица-философ оставила крышу Академии и плавными кругами последовала за своим императором. Долго, долго парила она над мачтами, затем тяжелыми рывками ударами крыльев вернулась назад, и встала, поджав под себя ногу, на одной из балок Академии, где давно уже снова спала крестница императора. Марабу царапал себе голову левой лапой, стучал клювом и озабоченно закрывал глаза.

— Солнце! Солнце! О мой победоносный император! Оно не ласково, оно сурово, как боги! Конечно, оно дает нам жизнь, но оно нас не любит. Оно любит пустыни, не любит жизнь. Оно — Молох — убийца — опустошитель.

Камни создает оно, камни вместо хлеба!.. Бедный император, бедный ребенок!..

И долго еще бодрствовала птица-философ на каменной балке над кроваткой Гипатии, хотя Александрия уже спала и, кроме древнего марабу, бодрствовал только архиепископ со своим секретарем, писавшие письма в Рим, Константинополь и в Персию ко всем врагам императора Юлиана.

## 1. ЮНОСТЬ ГИПАТИИ

Под надзором верной кормилицы, честной смуглой феллашки, достигла Гипатия первой годовщины со дня своего рождения, и в этот день собралось к ней много коллег Теона и много чиновников из города с красивыми и дорогими подарками. За прелестной крестницей императора, серьезно и безмятежно лежавшей в своей колыбели, ухаживали, как за дочерью императора. Греческие колдуны, египетские жрецы, еврейские кабалисты предсказывали малютке блестящую будущность. Маленькая Гипатия получила сотню непонятных подарков и среди них много таинственных средств от нужд и болезней, много амулетов, в которых такой счастливый ребенок не должен был никогда нуждаться. А цветы священного лотоса, которые крылатый философ после долгого полета собрал для нее в сокровеннейших садах Аммонова храма, чтобы с восходом солнца разбросать перед люлькой, были растоптаны беззаботными посетителями.

Во время своего продолжительного путешествия за священным цветком узнал печальный марабу дурные известия от других далеко летающих птиц, от орлов и коршунов. Однако он молчал, так как ему бы все равно никто не поверил. И так, дни и ночи он сидел озабоченный, не обращая внимания на самых лакомых рыб. Через шесть недель ужасная новость достигла до Александрии, новость такая невероятная и боязливая, что городские партии стояли друг против друга без слов и без действия. Император Юлиан умер.

Месяц спустя, сомнений больше не оставалось. В рас-

каленных пустынях по ту сторону Тигра римское войско таяло в борьбе с враждебной природой. Юлиан был, может быть, хорошим солдатом, но великим полководцем он не был. Или персы получали указания из императорской свиты. Ничто не удавалось, нигде враг не останавливался для битвы, персидская армия и персидский народ со всем скотом и всеми запасами уходили дальше и дальше в глубь страны, оставляя императорское войско одиноким в пустынях. Если занимали город, в нем через несколько часов со всех сторон вспыхивало пламя.

А затем наступил ужасный день, когда цезарь, вступивший со своим арьергардом в узкое ущелье, был внезапно атакован громадными отрядами неприятеля, как бешеный бросился навстречу врагу и откуда-то сбоку получил смертельный удар. В предсмертный час при нем оставался ученый Либаний, и его записки сохранили миру последние слова последнего римского императора. Юлиан хотел рукой остановить хлынувшую кровь, но скоро он отбросил ее к небу, как бы принося самого себя в жертву гневу нового бога. Затем он откинулся назад, смертельная бледность покрыла его лицо, и он прошептал: «Теперь ты победил, галилеянин!».

К своему письму Либаний прибавил проклятия по адресу убийц своего повелителя.

На трон вступил новый император, а скоро затем другой. Но в Александрии их знали только по именам и все еще хотели угадать имена убийц императора Юлиана. Говорили, что персидский царь обещал целое богатство тому из своих солдат, который поразил римского императора. Но ни один перс не заявил о своем праве на награду. Рассказывали, что там, откуда получил император роковой удар, не было персов. Два дня не осмеливался александрийский архиепископ покидать свой дом, так как чернь угрожала побить его камнями и громко называла его убийцей императора. Но вот снова из Константинополя пришел корабль с золотом для александрийских церквей и новыми посланиями, называвшими императора Юлиана отлученным и богоотступником. Тогда архиепископ выступил открыто перед всем народом в своем соборе и отслушал обедню; александрийская чернь собира-

лась на улицах и насмехалась над бедными солдатами, возвратившимися из несчастного похода больными, ранеными и искалеченными.

Один из возвратившихся солдат, разжалованный знаменосец какого-то Дунайского кавалерийского полка, долго исповедовался в приемной архиепископа Афанасия. Никто не знал ни его, ни величественную белокурую женщину, бывшую рядом с ним; однако его называли убийцей императора и не желали терпеть в городе. Но старый солдат, горделиво откинув черные косы и упрямо глядя заплетенную бороду — молился во всех церквах и разыскивал приют для жены, привезенной из Германии. Наконец он нашел его в доме, покинутом людьми, но населенном привидениями, в доме, похожем на замок, стоявшем за городской стеной между египетскими парками и кладбищем, между храмом Сераписа и городом мертвых.

Маленькой Гипатии казалось одинаково забавным и то, что выстукивал марабу под ее окном, и то, что снова и снова печально повторял отец у ее колыбели. «Ты победил, галилеянин!» Она улыбалась, когда отец стоял рядом с ней, и смеялась, когда птица-философ безбоязненно влезала в ее окно.

Пусто стало в Академии со дня смерти императора. Несколько месяцев трепетали ученые перед надменно-стью архиепископа Афанасия, но из Константинополя пришел приказ ничего не менять в существующем, предоставив учителей-язычников медленному вымиранию.

Тогда стало уныло и пусто в залах и дворах знаменитой школы. Снаружи заново воздвигнутый и раззолоченный крест собора возвышался над крышей обсерватории.

Как раз под обсерваторией находилось маленькое служебное помещение Теона. Его соседом был математик. Теон жил и работал в своей рабочей комнате; спальню он передал ребенку и его няньке — смуглой феллашке.

Еще одно молодое человеческое существо жило там в нескольких шагах от маленькой Гипатии. Исидор, неуклюжий, смуглый, черноволосый и длиннорукий семилетний уродец, получил разрешение спать и учиться, жить



и умирать в передней математика. Никто не знал наверное, чей был этот робкий и в то же время беззаботный мальчик. Слуги Академии рассказывали об этом невероятные истории. Его отцом являлся якобы обреченный на безбрачие египетский жрец, матерью — служанка, родственница архиепископского секретаря. Египетская и сирийская кровь — недурная смесь! Ребенка выбросили из архиепископского дворца и какая-то добросердечная служанка отнесла его в Академию. Служители анатомического отделения утверждали, что Исидор уже мертв, однако мальчика удалось вернуть к жизни. В маленьком городке, которым являлась Академия, нашлось место для сироты. Как сорная трава прорастала между камнями в углах двориков, так рос мальчик, которого и били, и кормили, как полудикую собаку. И если никто не знал, чьи ми заботами пользовался Исидор, кто его одевал и кто его кормил, то и сам мальчик мало интересовался этим. В полдень он съедал, что попало, присев на ближайший порог; обрывки платья носил, пока они не превращались в лохмотья, а его познания — да, с его познаниями дело обстояло не просто!

Когда Исидору было около пяти лет, по всей Академии распространился слух о появлении чуда природы. Теон и математик увидели, как Исидор воспользовался посыпанной песком дорожкой к колодцу третьего двора, чтобы вполне правильно вычертить схему трудно вычисляемого лунного затмения. В результате общего удивления и расспросов выяснилось, что мальчуган то через открытое окно, то спрятавшись в самой аудитории — слушал все лекции по математике и астрономии и среди студентов давно уже слыл забавным собранием всяких премудростей. Дальнейшее расследование показало, что Исидор знал наизусть все формулы и длинные ряды чисел и чувствовал их внутреннюю зависимость, обычно, однако, ничего в них не понимая.

По желанию старого математика, Исидора устроили в детскую школу. Там, в четыре месяца проглотил он то, с чем другие ученики справлялись в несколько лет. С этого времени он получил разрешение спать в передней математика, и даже в Константинополь до императора до-

шла весть о чудесном ребенке.

Таков был сосед Гипатии.

Несмотря на близость отца, девочка росла в довольно неученом обществе. Ее кормилица вела небольшое хозяйство и была для ребенка единственной воспитательницей. Добрый марабу прилетал проводить все свое свободное время около Гипатии, но в его природе было больше склонности к созерцанию, чем к поучениям, да к тому же девочка не понимала шелканья его клюва, так как не получила никакого образования. Отец любил своего ребенка больше всего на свете, но он почти не видел его, если не считать нескольких минут каждое утро, когда он выдавал феллашке изрядную сумму на хозяйство и удивлялся, что кормилица всегда жалуется на недобросовестность рыночных торговков; это называлось: проверять счет.

Такой способ вести хозяйство не повредил маленькой Гипатии. Феллашка всегда была в состоянии закармливать красавицу всяческими лакомствами, одевать ее в платья из наилучших тканей, а время от времени предохранять от болезней амулетами жрецов или старух.

Так росла Гипатия, и ее ученого отца ни разу не коснулась забота о ребенке. Гипатии шел седьмой год, когда в ее жизни произошла первая перемена. В одну теплую и светлую майскую ночь Теон проверял в обсерватории точность новоизобретенного измерительного прибора. Ему вновь удалось установить еще одну ошибку Птолемея, ошибку в расчете движения какой-то планеты. Перед восходом солнца вернулся он в свое жилище и был поражен, найдя там в облаках курительного дыма старых ведьм и жрецов.

Около полуночи Гипатия опасно заболела, и старая феллашка не могла придумать ничего лучшего.

Теон подошел к кровати ребенка, лежавшего в лихорадке с горящими щечками и черными глазами, устремленными кверху. Отца она не узнала. Несколько мгновений стоял Теон, беспомощный от изумления и горя, затем он бросился к одному из врачей, не столько за помощью, сколько для того, чтобы пожаловаться на судьбу. Математики считали медицину знанием, не проверенным и не надежным. Однако врач, хорошо знавший пре-

красного ребенка академических двори́ков, сейчас же последовал за Теоном в его помеще́ние. Колдунов прогна́ли, а кормилица со слезами на глазах обеща́ла следовать всем указа́ниям врача.

После пяти тяжелых дней и ночей ребенок был спасен. Но Теон, беспомощно и чуждо просидевший все время около постельки больной, узнал, к своему огорчению, в каком пренебрежении оставалась духовная жизнь девочки. Конечно, она не умела ни читать, ни писать. Но даже по-гречески не умела она говорить правильно, она — дочь греческого ученого и крестница императора. С кормилицей и со сверстницами она болтала на египетском разговорном языке, а для утренних приветствий отца хватало нескольких дюжин греческих слов. Вместо стихов Гомера она знала наизусть десяток египетских поговорок. И ученый должен был говорить на отвратительном народном наречии, чтобы быть понятым своим больным ребенком.

Пока Гипатия медленно оправлялась от тяжелой болезни, Теон советовался с врачом, со своим соседом математиком, как изменить свою жизнь для осуществления разумного воспитания. Нужно было найти надежную и образованную женщину, нужно было отыскать подходящего для ребенка учителя. Однако, когда врач по прошествии нескольких недель объявил, что Гипатия совершенно выздоровела, и освободил ее от своего надзора, Теон вздохнул облегченно и взял в руки новый прибор, чтобы дойти до конца вычисления, начатого в теплую майскую ночь.

Еще незадолго до заболевания Гипатии, неумоимо прилежный Исидор совершенно не интересовался своей соседкой. Его занятиям не нужно было сотоварищей, а девочек он слишком презирал, чтобы замечать что-либо подобное. Невежественный ребенок был к тому же на шесть лет моложе чудесного мальчика Академии. Но незадолго до заболевания Гипатии в маленьком долговязом ученом произошла серьезная перемена.

С тех пор как он обратил на себя внимание, из жадного до знаний юнца вырос ненасытный книжник. Учителя болтали с ним, старшие студенты позволяли ему по-

могать им в их работах; от всего этого росла его гордость. Только в залах библиотеки, среди неистощимых книжных сокровищ, надеялся он научиться чему-нибудь новому. Его непосредственным руководителем должен был быть один старый монах, готовивший в монахи около тридцати юношей. Но то, что нужно было здесь учить, Исидор знал лучше своего учителя, так что и мальчик и монах были рады не встречаться друг с другом. Без учителя, без друга пустился чудесный мальчик в свой собственный путь. Он поставил своей задачей прочитать все двести тысяч томов библиотеки. Внезапно к жажде знания присоединилось тщеславие. С наиболее редкими книгами, с невероятными фолиантами рассаживался он в большой зале, точно выгоняя оттуда и студентов, и ученых. Юношу показывали проезжающим иностранцам, осматривавшим библиотеку. Строго одетый, порывистый, как цирковой наездник, достиг Исидор тринадцати лет в тот самый теплый месяц май, когда заболела Гипатия.

В это время молодой ученый начал задумываться. Он почувствовал, что бесчисленные изученные им вещи противоречат друг другу. Так, значит, не все авторитеты должны быть одинаково достоверны! Все учителя Академии давали ему уроки, ни один, однако, не говорил о загадках, которые теперь начали вставать перед ним. Юноша мечтал об учителе, тосковал о друге. Ему хотелось отдаться в руки столетнего жреца и безмолвно следовать за ним.

В таком-то душевном состоянии находился Исидор, когда однажды, в начале мая, перед заходом солнца сидел он, читая в зале второго двора. Недалеко от него играли маленькие девочки сперва в цветы, потом в прятки. Ему никогда никто не мешал. Внезапно одна девочка, как вихрь, кинулась к нему и притаилась, плутовски улыбаясь, за его громадным фолиантом.

— Не кричать,— сказала девочка.

В первый момент Исидор хотел оттолкнуть ребенка, затем, с сознанием собственного достоинства, решил он отыскать более тихое местечко со своим фолиантом; наконец, он снисходительно, как это пристало его возрасту, посмотрел на детскую игру. Но и этого

не смог он. То, что притаилось между его коленями и фолиантом... Что же это было такое? Почему показалась ему откровением маленькая, разгоряченная бегом и тяжело дышащая Гипатия, так доверчиво и в то же время боязливо смотревшая на него? Разве на свете бывают такие глаза? Обыкновенно глаза — это маленькие красные отверстия, через которые человеческий дух может видеть буквы. А эти глаза...

Исидор не мог постигнуть, почему из его собственных заблестевших и покрасневших глаз потекли слезы. Чтобы совладать с собой, он положил дрожавшую руку на локони девочки и улыбнулся ей приветливо.

Детей скоро позвали домой. Стало темно, а Исидор еще долго сидел в зале. Громадная книга лежала на земле, а он мечтал. Еще ни разу, с тех пор как он себя помнил, не мечтал он так. Еще никогда не думал он часами ни о чем, кроме учителей и писателей, задач и их решений. Сегодня с ним случилось нечто новое, нечто, что казалось фантазией и заставляло его думать о человеке, да, кроме того, о ребенке, с удивительными черными глазами, о крестнице императора. Может быть, Юлиан не умер, может быть, он тот человек, который, возвратясь, сможет разрешить все сомнения и соединить философию и веру. Может быть, император Юлиан возьмет когда-нибудь ученого Исидора за руку и введет его в сияющий храм, где пламенными буквами на золотых досках открыты тайны вселенной; может быть, император даст Гипатию в жены ученому Исидору и сделает его цезарем и императором.

Исидор провел ночь среди вздохов и судорог и выглядел безобразнее обыкновенного, когда с восходом солнца вновь вошел в залу, ожидая Гипатию. Сегодня у него в руках была любовная греческая трагедия Эврипида; он стал читать ее и испугался, так как он не заметил ни грамматических форм, ни особенностей слога, а упивался сладким языком и прекрасным содержанием стихов.

У Исидора не было никого, с кем он мог бы поговорить о своих новых муках; Гипатии он не дал ничего почувствовать, и только пугал ее своими злыми глазами,

когда она проходила вблизи. Но он мог подолгу следить за ее играми и по ночам он бродил под ее окнами, завидуя нахальному марабу, устроившему гнездо под ее комнаткой: целую ночь стояла птица, поджав одну ногу, на часах, а когда всходило солнце, и Исидор уходил к себе, марабу насмешливо щелкал клювом.

Ни учителя, ни ученики не подозревали, что происходило в душе Исидора, когда вскоре после этого Гипатия заболела. Сон не сходил на его веки, в одном из погребов Академии совершал он мрачные заклинания, чтобы сохранить жизнь ребенка, тайком заказывал в церквах молебны о здоровье больной и дал обет не принимать пищи, пока Гипатия не будет спасена.

Когда, наконец, крестница Юлиана, с прозрачной бледностью на щеках, с еще шире раскрывшимися удивительными глазами, вновь появилась во дворе, высокая, стройная, и, не то от усталости, не то вследствие каких-то перемен, не захотела больше играть со своими сверстницами, Исидор предложил себя в учителя ребенку. Неловко улыбаясь, явился он к Теону и рассудительно объяснил ему, что он слишком велик, чтобы быть учеником, и слишком молод для учителя, и ему полезно бы было попрактиковаться для начала на образовании маленькой Гипатии. Исидор побледнел еще более обыкновенного, когда его предложение было принято без всякого возражения.

С этого дня Исидор сделался учителем маленькой Гипатии. Никто не интересовался ей, даже собственный отец. Один Исидор узнал, что в Академии росло новое чудо. Но Гипатия была не похожа на него. Ему было тринадцать лет, и он ни разу еще не произнес «почему». Он измерял мыслью подземные и небесные пространства, узнал всех поэтов и всех богов, изучил книги критиков и атеистов; одного за другим отбросил и поэтов, и богов, и критиков, и атеистов. И ни разу не сказал «почему?». А эта маленькая чудесная девочка, с ужасными черными глазами, спросила: «Почему?» в первую же минуту первого урока, когда Исидор, нарисовав на доске букву, сказал: «Она означает «А». — Почему? —

Счастливые часы! Счастливые годы!

Скоро все привыкли ежедневно в хорошую погоду видеть Исидора со своей маленькой ученицей в лавровом саду первого дворика. Только для учителя и его маленькой ученицы их жизнь не казалась однообразной. Исидор не знал, как учат детей. Он не учился этому и не видел, как делают это другие. Да если бы он и знал это, крестница императора шла своим собственным путем. Она хотела знать все и ничего отдельно от остального. Только через два года научилась она бегло читать и писать, но к этому времени уже целый мир был в ее маленькой головке. Она не соглашалась написать ни одной буквы, не узнав смысла ее знака и наиболее красивой ее формы и ее истории. Исидор должен был мучиться, чтобы научить девочку азбуке так, как она сама этого хотела. Гипатия хотела знать то, над чем никто не задумывался, а Исидор согласился бы скорее откусить себе язык, чем хоть раз ответить ей: «Этого я не знаю». В книгах и у египетских жрецов узнавал он все, чего ему еще не хватало, чтобы удовлетворить ребенка. Вооруженный новыми знаниями, вступал он в садик или в комнату и, как сверстник, выкладывал все, что приносил с собой. Ему приходилось рисовать иероглифы, из которых возникли греческие буквы, и латинскую форму, принятую римлянами. Это была дивная игра: один за другим рисовать, читать и писать три знака, а затем идти в город мертвых, рвать там цветы и собирать надписи на гробницах, болтая о божественных бессмыслицах, в которые верили египтяне; или бежать к двум великим обелискам и говорить о древних египетских царях, воздвигших эти камни в знак своего господства над миром и все-таки побежденных затем нами — греками. Прекрасно было целый месяц бродить по дельте Нила и удивляться мудрости, с которой составитель египетского алфавита позаботился о том, чтобы со знаком буквы дельты можно было связывать нечто более глубокое. Прекрасно было узнавать чудеса Нила, сказки о его разливах и обмелениях, о богах, высылавших его для оплодотворения страны, о Ниле и его шестнадцати детях, безграмотных, но все же таких хитрых и хранивших такие прекрасные тайны, что Исидор часами мог говорить, а Гипатия часами мог-

ла слушать,— оба одинаково неумолимо. Это была школа! В одном углу кушетки сидел Исидор, направив свои болезненные глаза на ребенка, и говорил, говорил все, что узнавал для нее одной, а она в другом углу старалась впитать в себя все своими огромными глазами, так же как она впитывала ими солнечный свет. Когда ей хотелось вставить одно из своих вечных «почему?», она вскакивала перед учителем и, потянув платице на коленях и расставив ручонки, кричала: «Как так?», или «Почему?» или даже «Я этому не верю!». Тогда выскакивал учитель и грозил ее наказать, а она бегала вокруг стола и, хлопая в ладоши, кричала: «Я этому не верю, я этому не верю!». Тогда он брал грифельную дощечку и чертил или писал ей сказанное, и девочка, положив дощечку на ковер и подперев головку руками так, что справа и слева между пальчиками струились черные кудри, долго, долго рассматривала и читала в безмолвном внимании. Наконец, успокоившись, она вставала и говорила только: «Дальше!». Тогда Исидор был счастлив и рассказывал ей в награду прекрасную сказку из Одиссеи, чтобы, наконец, не говорила она своего вечно-го: «Почему?».

Ни разу, несмотря на все угрозы, не ударил Исидор своей ученицы. Ни разу не осмелился он дотронуться до нее. Но дощечки, которые она разбивала, ненужные обломки грифелей собирал он заботливо в своей комнатке и хранил их там, как свое единственное сокровище.

Он утаил шелковый бант, потерянный ею как-то из косы, а когда она, устремив глаза на доску, лежала по своей привычке на ковре, то водя маленьким указательным пальцем по линиям, то откидывая затемнявшие доску локоны — он стоял рядом, шепча беззвучные слова и протягивая над ней руку, как будто хотел омыть ее.

Счастливые часы! Счастливые годы!

Исидору исполнилось пятнадцать лет, когда на дворе Академии произошла его первая драка. Какой-то христианский мальчишка начал дразнить Гипатию императором Юлианом и вызвал насмешками слезы на ее глазах. Исидор кинулся на него, как дикий зверь, и хотя он



был побит и скоро лежал с разбитым носом, никто не решался больше обидеть крестницу императора.

Гипатия не смеялась, когда на следующий день он пришел с распухшим лицом. Они начинали теперь арифметику, и никогда еще Гипатия не хотела учиться так жадно. Это был учитель! Простой счет можно было не учить. Этому ребенок выучился мимоходом раньше. Теперь надо было научиться понимать вычисления отца. Сначала она хотела самого трудного. Потому что объяснить ей, почему  $2 \times 2 = 4$ , Исидор все-таки не мог. Но как вычислить высоту облаков и отдаленность звезд, и время лунных затмений, и звездные знаки, которыми руководились корабли в далеком океане,— все это было так прекрасно и так легко; и Гипатия смеялась, узнав, что всем этим занимаются ученые.

Она не ложилась больше на ковер, а он не сидел больше на диване. Чинно садились они по обе стороны маленького столика, и Исидор никогда не грозил более.

Два года занималась она с ним математикой и однажды спросила, почему римскую империю называют миром, тогда как ведь земля в сто раз больше, и живут ли люди на другой стороне земли, и почему думают, что богам лучше всего на земле, а не где-нибудь еще. Тогда внезапно выбежал Исидор из комнаты, чтобы она не заметила его слез. Он знал все, что знали все остальные, но этот спрашивающий ребенок требовал еще большего.

И все-таки счастливые часы, счастливые годы!

Он вернулся и сказал, что, несмотря на свою молодость, она выучилась всему, что он может ей предложить. Остается только философия, учение о мире, как о целом, и о богах, а этому надо учиться не у него, сомневающегося во многом, а у старых ученых. При этом Исидор вторично положил свою дрожащую руку на ее головку и сказал:

— Я должен оставить тебя и передать другим учителям.

Смущенный стоял он перед ней — длинный, неуклюжий юноша, высокий, как мужчина, и неловкий, как мальчик. Гипатия, которой почти исполнилось двенадцать лет, стояла перед ним стройная и бледная, как

принцесса. Она топнула ножкой и сказала вместо ответа:

— Я не хочу другого учителя, ты должен оставаться со мной. Учи меня философии. Почему учатся ей так поздно? Мне скоро двенадцать лет, а я еще не знаю, почему я создана. Ты должен сейчас же объяснить мне это! Почему?

Счастливые часы! Счастливые годы!

У Гипатии не было честолюбивого намерения прочитать все 200.000 томов библиотеки, но у нее имелся Исидор, который должен был выбирать из всего, когда-либо написанного, и составить букет из цветов и плодов. Уроки философии начались с греческих поэтов, потому что мнения, которые высказывали избранные люди о богах, Гипатия должна была узнавать в том же порядке, в каком они следовали в беге времени. Сначала, следовательно, мифы о богах. Юноша и полуребенок читали Гомера, смеялись над его благочестием и умело находили глупое и невозможное в прекрасных баснях. Когда однажды Гипатия спросила боязливо, почему великий поэт утверждает такую ложь, и почему облакает он ее в такие прекрасные слова, Исидор рассердился и напомнил своей ученице, что они здесь, чтобы изучать философию, а не увлекаться поэтами.

— А почему не увлекаться?

Зиму и весну наполнил мир Гомера; летом читали они греческие драмы Эсхила и Софокла; все, весь бесконечный их ряд. Когда они приступили к Эврипиду и начали ту трагедию любви, при чтении которой пробудились некогда чувства юноши, он продекламировал маленькой ученице исполненные страсти строчки. Гипатия спросила изумленно:

— Почему ты показываешь мне красоту здесь и не хотел видеть ее у Гомера?

Счастливые дни!

Снова наступила зима и нашла обоих над малопонятными философами древней Греции. С трудом понимались слова, с трудом понимался смысл, но с пламенным стремлением объяснял учитель, и с новой жадностью слушала ученица. Пришла великая тайна. И как раньше, в «Царе Эдипе», затаив дыхание, акт за актом ждали они разре-

шения ужасной загадки, так ждали они теперь полного разоблачения всех загадок жизни. Казалось, что девочка страдает физически от напряженного внимания. Все более бледнели ее щечки, все более блестели глаза и все чаще, с приближением весны, ложилась белая рука на лоб, за которым теснилось столько безответных вопросов, а густые детские локоны все упорнее сражались со щеткой и лентами.

Они покинули мрачные пути древних и погрузились в светлый мир Платона. В день рождения Гипатии, день забытый всеми, не исключая и ее собственного отца, Исидор рассказал ей прекрасную мечту философа о старом проклятье и благословении богов, которые в бесконечно далекие времена раскололи каждое живое существо на две половинки и послали их в мир, как мужчин и женщин, чтобы, на вечную забаву богов, продолжали они игру в разделяемые и снова друг друга обретающие половинки; чтобы с проклятьями и хвалами искали они и разыскивали, изнемогали и обливались кровью, пока каждая половинка не соединится с другой.

Исидор принес сказку и хотел подарить ее своей ученице в виде хорошенького томика из тончайшей белой кожи с золотыми обрезами и вытесненными золотом инициалами Гипатии и некоторыми другими маленькими знаками, которые он объяснит ей попозже, попозже. Но она не смогла восхититься ни сказкой, ни книгой. Ибо как раз, когда с лихорадочными глазами слушала она историю о половинках, схватилась она вдруг обеими руками за голову и упала со стула.

Это был переполох! Прибежала феллашка, ведь она всегда говорила — проклятое ученье не доведет до добра; она с таким криком искала ароматических веществ, что Гипатия пришла в себя от шума. Даже Теона извлекли из его рабочей комнатки, а Исидор со своим прекрасным списком Платона должен был удалиться.

Но благодаренье неведомым богам! — опасности не было. Через несколько дней Исидор получил от Гипатии письмо, ее первое письмо. Она извинялась за глупый перерыв в занятиях, она просила его прийти продолжать начатое. Ее первое письмо вовсе не походило на письмо

ребенка. Твердые штрихи молодой женщины, как в письмах знаменитых философок Афин. Ее первое письмо! Откуда только достала она такую бумагу, подобной которой не было среди 200.000 томов библиотеки, такую белую и ароматную. И такую мягкую, мягкую, если проводить ею по губам!

Исидор снова вступил в жилище Теона и боязливо взглянул на ученицу, с опущенными глазами стоявшую перед ним в новом длинном тяжелом платье. Что случилось с ребенком, что теперь она казалась девушкой? Переменилась осанка и голос, и взгляд, и все. Пропал вспыхивающий в глазах огонь, пропала болезненная бледность губ и что-то вроде улыбки взрослой женщины порхало около глаз и рта. Она подняла глаза и сказала мягко и дружелюбно, но совсем не так, как обычно:

— Прости за перерыв, и дальше, дальше!

Учитель бросился на стул и стал рассказывать все, что он узнал для нее. Дальше, дальше!

Потом, на середине Аристотеля, занятия прервались снова. Теон захворал, и даже Гипатия страдала, казалось, от палящей жары этого года. Лекари посоветовали летний отдых и морские купанья на берегу Пентаполиса, и в тот же день маленькое путешествие было решено.

Исидор остался один в Александрии и, как разорившийся купец, бродил по городским улицам. Вечером, после отъезда Гипатии, час за часом шел он к западу, к ливийскому берегу. Перед восходом он был на краю пустыни, видел перед собой монастыри, слышал завывание шакалов, а однажды, как раз в момент солнечного восхода, услышал он не то отдаленный гром, не то рычание голодного льва. Спотыкаясь от голода и дрожа в холодном утреннем ветре, повернул он в город и стал ожидать вестей. Гипатия обещала писать.

Она сдержала слово, и два долгих месяца провел Исидор между жаждой и упоением. Конечно, это были только письма преданной ученицы, конечно, она писала только о своих книгах и своих сомнениях, но в конце всегда стояло словечко о здоровье или о морской прогулке, или о погоде, или о ветке дерева, просовывающейся

в окно. И, наконец, в самом конце всегда — «Твоя Гипатия».

Еще раз дошел Исидор до начала пустыни в вечер возвращения Гипатии. Но теперь он остерегался и оставался в уединенном трактирчике, не спал и до восхода солнца поспешил на улицу, где должна была проезжать Гипатия. И он не прозевал, когда она проезжала! В открытой, дорожной коляске, которую тащили два маленьких вола, сидела она рядом с отцом — высокая, прекрасная, настоящая женщина. Исидор прижал голову к деревянному столбу и рыдал, и бормотал отрывки стихов, и ломал пальцы. Затем повозка проехала. Исидор позвал маленького черного погонщика, уселся на осла, болтая длинными ногами, схватил его за уши и погнал так неловко, что и хозяин и хозяйка разразились смехом, а черно-коричневый погонщик, бежавший сзади в облаках уличной пыли, кувыркался и кривлялся, чтобы превозмочь свою веселость. Потом понеслись галопом по боковым дорогам обратно в город. Мальчишка бежал рядом с ослом и, когда они въехали на главную улицу, он сделал еще два прыжка и продолжал смеяться. Исидор свалился с осла и поспешил в Академию, чтобы встретить свою ученицу.

С севера летели над городом длинные цепи аистов из-за моря, из Греции, а, быть может, и дальше из баснословных ледяных дунайских равнин. С запада же медленно и тяжело, несомая ударами серо-белых крыльев летела птица-философ и в широкой улыбке раскрыла клюв, заметив молодого ученого. Внизу загрохотала повозка; из нее вылез Теон со своей дочерью. Было счастьем, что Исидор уже превозмог утром первое впечатление и мог приветствовать возвратившихся относительно покойно. Гипатия встретила его приветливо и серьезно, как благовоспитанная молодая девушка, и прошла в академические помещения, которые она покидала в первый и — по ее словам — в последний раз. Теон нерешительно пожал руку Исидору. Когда феллашка взяла багаж и заплатила вознице — дело, за которым Теон следил так внимательно, как будто хотел научиться чему-нибудь новому — Теон повел учителя дочери в большую залу и не-

которое время ходил молча взад и вперед. Должно быть, он разговаривал сам с собой, так как внезапно сказал, начав с полуслова:

— Итак, я был совершенно поражен, едва мог повсрить, что моя дочь обладала столькими знаниями, гораздо больше, чем обычно у женщин; как кажется, — почти Аспазия; при этом я обнаруживал эти знания всегда только случайно, когда она помогала мне в моей летней работе. Очевидно, она знает гораздо больше, чем показала мне. Итак я был приятнейшим образом поражен, молодой друг. И все исполнится согласно нашему уговору.

— Какому уговору?

— Ах, да! Я полагаю, что Гипатия еще около года — может быть, до следующей весны, останется вашей ученицей, а затем, — да, я действительно не знаю, что нужно будет делать дальше с Гипатидионом. Но вы, мой молодой друг, вы достигнете возраста, в котором мы можем включить вас в состав учителей нашей Академии. Со связями, которые вы еще с детских лет имеете в Константинополе, ваше назначение несомненно и вы сможете тогда — я полагаю... — мне нужно, однако, достать Птолемея! Целый месяц я ломаю голову, чтобы понять смысл одного глупого места!

Уже на следующее утро Исидор мог явиться, чтобы продолжать занятия философией.

Ужасные часы, счастливый год!

Гипатия написала однажды из своего летнего жилища, что разрешение мировых загадок слишком долго заставляет ждать себя, и, что она начинает недоверять философам. Она только что, как совсем глупый ребенок, проиграла целый час с большой красно-розовой раковиной и совершенно забыла свои книги. С этого письма начал Исидор, чтобы попробовать доказать, что знание, то есть обогащение духовных сил еще не является всем, что есть нечто высшее, а именно — единение отдельного человека со «всею» посредством чувства. Но Гипатия не поняла его и решительно потребовала продолжения учебного плана вплоть до настоящего времени. И таким образом бедному учителю пришлось снова, как и раньше, огра-

ничиться сухой философией, хотя общение с домом Теона быстро приняло иную форму. Теперь часто в комнату входила в конце урока феллашка, просиживала несколько минут с каким-нибудь рукодельем в углу и приглашала затем учителя к обеду. Исидор был бы еще счастливее от этого нового сближения, если бы хоть раз удалось ему завязать с Гипатией дружеский разговор. Она, однако, сидела безучастно и, казалось, молча обдумывала только что узнанное, в то время как Теон обсуждал надежды нового ученого, который скоро должен был сам сделаться учителем и получить при Академии помещение для занятий. Прислуживавшая феллашка хлопала глазами, а Исидор краснел и смотрел на Гипатию. Поздно вечером уходил Исидор к себе, опьяненный мечтой и надеждой, и на следующее утро приходил вновь и читал, и объяснял всех философов от Аристотеля до великого Платона. Разговор не доставлял теперь удовольствия ни учителю, ни ученице. Зависело ли это от бесплодности предмета или от беспокойства учителя? Во всяком случае Гипатия чувствовала себя неловко. Она редко спрашивала теперь «почему?», но в ее головке философские системы перетирали друг друга, как мельничные жернова, а потом ей казалось, что мельница стучит, не переставая, а жернова перемалывают воздух, и склады пустуют.

Однажды, во время зимнего солнцестояния, когда христиане праздновали Рождество, а египетские жрецы, как будто наперекор, пели торжественные гимны Изиде, в Академии был праздник, и даже Теон дал себе день отдыха,— у Исидора с профессором был долгий разговор. Затем отец поцеловал Гипатию в лоб и сказал ей, что Исидор попросил ее руки, и через год будет свадьба.

Гипатия смолчала, и с отцом у нее никакого разговора не произошло. Только со своим женихом она обменялась несколькими словами об их будущности. Он не должен ни слова говорить с ней о своих чувствах, так как это так не идет к нему, а она с полным уважением и благодарностью будет его женой. Он должен оставаться таким, каков он есть, тогда она будет делать все, чего он потребует. Только не говорить с ней о жизни, об отвратительной жизни, которую она не желает знать.

Обучение продолжалось. Злая птица была виновата в том, что девушка часто, пока Исидор полубессознательно читал и растолковывал, постоянно думала о собаке на ее. Разве это конец? Разве это разрешение мировых загадок?

Снова была весна, и Исидор сидел против нее и старался выяснить отличительные особенности богов. На столе в глиняной вазе стоял великолепный букет мирт, который Гипатия сама нарвала. Снаружи аист плясал в быстром весеннем танце, и Исидор замолчал, устав говорить. Наступило долгое безмолвие.

Внезапно Гипатия спросила:

— Ты все добросовестно рассказал мне, кроме одного. Как думал о боге и мире император Юлиан, мой крестный отец!

— Мне кажется, мы могли бы покончить с науками,— сказал Исидор, губы которого тряслись,— и начать жить.

— Расскажи мне об императоре!

Исидору пришлось рассказывать об императоре Юлиане. Он начал с биографии. Он рассказал, как Константин «великий», желавший обеспечить христианству победу над миром, перебил одного за другим всех своих родственников, а маленького, превращенного почти в монаха, Юлиана сослал в захолустье. Как Юлиан остался втайне верен старым богам. Как затем при поддержке старых богов уничтожил он врагов государства и, наконец, вопреки всяким вероятностям, достиг престола. Он рассказал о его добродетели, мужестве и доброте, о великих делах его короткого царствования, об его таинственной смерти в азиатских степях.

Приближалось лето, и начались свадебные приготовления, но преподавание продолжалось своим чередом; Исидору пришлось изучать христианских апологетов, чтобы дать Гипатии последний ответ на ее вечное «почему?». Много лет Исидор оставлял эти книги в стороне. Теперь ему было почти приятно, что несколько месяцев, отделивших его от счастья, он мог заполнить новым изучением. С любопытством вступил он в библиотеку нового



здания, где, кроме экземпляров Нового и Ветхого Завета, были собраны все творения и послания епископов Александрийских, Антиохийских и Римских. Это потребовало гораздо больших усилий, чем он думал. Он уже раньше читал тайно ходившие по рукам, злобные выпады Юлиана, отрывки которых сохранились, несмотря на неистовое преследование духовенства. Теперь он знакомился с ответами христиан и изумлялся их нравственной силе, жертвенному мужеству и глубине их веры. Его беседы с невестой не были больше философскими разговорами — это были исповеди колеблющейся души.

— Ты говоришь, как христианин! — воскликнула однажды возмущенная Гипатия.

— Гипатидион, — ответил, беспокойно посмотрев на нее, Исидор, — позволь сказать тебе, что идет в мир. Старые боги, которых мы понимаем философски и которым все-таки молимся, пожалуй, не существуют больше. Нищие имуществом и нищие духом станут нашими господами сегодня или завтра. Они сами не знают этого. Гипатия, хочешь услышать тайну? Мир сбился с дороги, и новое учение пришло, чтобы указать ему путь.

— Ты лжешь! — воскликнула Гипатия. — Мой император был верен богам, как останусь им верна я, и, хотя бы ценой жизни, не желаю иметь ничего общего ни с кем, кто отвергает нашу старую веру!

Только с трудом удалось Исидору успокоить свою невесту. Он говорит все это, конечно, только образно и отрицает и презирает христианские суеверия.

В сентябре справили свадьбу по греческому обряду. С большим великолепием получила брачная пара благословение в древнем Серапеуме. Гипатия, до этого дня совершенно не думавшая о частностях своей будущей жизни, смотревшая на своего жениха только, как на учителя, и не обращавшая никакого внимания на болтовню старой феллашки, вдруг, когда стал обсуждаться брачный церемониал, сделалась крайне неуступчивой. Не должен был быть забыт ни один самый ничтожный обычай эллинов. И александрийское общество хлынуло в храм Сераписа, чтобы хоть раз увидеть древнее бракосочетание,

еще более замечательное вследствие молодости жениха и невесты.

После свадьбы представители Академии собрались в парадной зале. Сами жрецы казались не совсем довольными, что приходится возобновлять устарелые молебствия. Только главный жрец, девяностолетний старик, сиял от счастья.

Наступил вечер, и гости разошлись. Оставалась только кучка молодых людей, намеревавшихся проводить молодых. Исидор не хотел выполнения этого обычая, так как он не только в христианской среде давно уже перестал существовать, но и высшие круги греческого общества старались богатыми подарками откупиться от задорной толпы. Песни, распевавшиеся в этих случаях, были грубы и непристойны до невозможности. Но Гипатия просила не удалять собравшихся. Император так любил старые обычаи.

Так и случилось. Теон с глубоким чувством поцеловал свою дочь в лоб и, возвратившись в свое жилище, услышал, как дикая толпа, с неистовыми криками и танцами провожала разукрашенную молодую чету.

Теон смутно ощущал, что это событие — последняя вежа его жизненного пути. Печально уселся он за письменный стол и стал смотреть перед собой. Один в целом мире, имеющем другие цели и другие мысли, человек почти ни к чему непригодный, — таким стал он, который считывал когда-то пути звезд и создавал новые машины для метания камней или вычерпывания воды. Блеск и счастье жизни пропали, исчезли! Блеск и счастье жизни улетели, умерли тогда, когда родилась Гипатидион, а его молодая жена умерла... И вскоре умер и великий император Юлиан. Теон поднялся и подошел к своему книжному шкапу, где в одном отделении хранились особенно им любимые произведения.

— Гомер... — бормотал он. — Прощание Гектора с Андромахой... слишком печально! Как только я мог... Гипатидион!

Он просунул руку между свитками и вместо старого Гомера вытащил пару крошечных детских тубфелек, первые тубфельки Гипатии. Ни разу, со дня смерти матери,

не смог он выказать ребенку свою любовь. Это было против его природы. Но он все-таки любил его. Он гладил маленькие туфли и говорил с ними.

Перед окном стоял марабу, злобно крича и стуча своим клювом.

Вдруг внизу послышалось как будто дыхание тяжелобольного, Сперва это услышала птица, затем Теон. На площадке лестницы лежало что-то живое, что затем сорвалось с места, кинулось кверху и распахнуло дверь; Гипатия вбежала в комнату, опустила за собой засов, кинулась к ногам отца и закричала так, как будто она избегла смертельной опасности.

— Отец! — кричала она, дрожа и прижимаясь к его коленям.— Это ужасно! Ни одно животное не безобразно так! Оставь меня у себя! И чтобы мне никогда не видеть того,— другого, никогда!

Теон совершенно растерялся. Только одно он понял — что в брачную ночь Гипатия прибежала к отцу. Он пробормотал что-то о зависимости женщин, о правах и обязанностях, о скандале. Счастливый тем, что может держать в руках голову своей девочки, он считал все же своим отцовским долгом говорить о примирении. Она отдана в жены этому человеку. И когда Гипатия зарыдала так громко, что марабу ответил снаружи жалобным криком и, как будто желая прийти к ней на помощь, изо всех сил застучал клювом по деревянным доскам, Теон поднял дочь с пола и, надеясь убедить ее, сказал:

— Ты еще молода. Никогда в Греции не было обычая говорить с девушками о том, что их ожидает. Подумай, Гипатидион. Ты гордишься считаться крестницей нашего великого императора, ты хочешь в это варварское время жить и умереть эллинкой, а между тем говоришь и делаешь, как христианка. Да, да, как христианка! Эти люди говорят о любви, когда разговор касается брака. Эти люди говорят о бессмертной душе женщины, о равенстве, свободе и тому подобном. Ахиллес не женился так, и Агамемнон тоже, и наш император Юлиан.

Гипатия поправляла платье на груди и почти не слушала. Но когда Теон назвал ее поступок христианским, девушка внезапно выпрямилась с таким видом, что он

испугался. Твердо стояла она перед ним с напрягшимся туловищем и страстно засверкавшими темными глазами; черные кудри, как во времена ее детства, струились по бледным щекам, и, гордо закинув голову, она ответила:

— Отец, не пытайся сковывать мою душу! Я не христианка! Если бы пришел Ахиллес, или если бы, как в седую старину, явился Зевс в облаках, ты бы увидел меня готовой, покорной эллинкой. О, если бы мне предстояло взойти на Олимп с отцом богов и людей, я сковала бы отречением свою свободную душу. Но это!.. Если это мое чувство — христианское, то значит и истина — у христиан, но ведь этого ты не хотел сказать, отец? Не хотел? Но он, он принадлежит к ним, он не грек!

И Гипатия повернулась, собираясь запереться у себя. Вдруг она заметила детские туфельки на письменном столе. В комнате стало тихо. Снаружи сердито стучал, хлопал и шелкал марабу. Теон все ниже опускал свою седую голову, а Гипатия обхватила его плечи и смеялась сквозь заструившиеся слезы.

— Молчи, не говори больше ни слова. Ты же любишь меня, ты меня не гонишь!

Теон посадил девушку на колени, накинул на нее теплый платок, и шепотом говорили они об умершей матери и о совместной жизни, которую хотели вести.

Внизу, на дворе была глубокая темнота. Какой-то человек стоял портив окна Гипатии, протянув к нему длинные руки со сжатыми кулаками. Как вор, как голодный зверь бродил он вокруг, отыскивая вход. По временам из его горла вырывался глухой стон, как у безумного. Наконец он вступил на маленькую лесенку, ведущую в комнату Теона. Тихо, тихо поднимался он со ступеньки на ступеньку. Вот он наверху. И вдруг что-то зашумело, ударило его крыльями и спустившийся с неба демон поразил его в лицо... в грудь... Человек упал с лестницы. Внизу он вскочил и, преследуемый демоном, бросился на улицу, и дальше из города — в пустыню.

А птица-философ вернулась с довольным видом обратно и встала на одной ноге перед комнатой Гипатии.

Таково последнее известное нам событие из юности Гипатии. До этого момента ее имя часто упоминается в

актах академии, в заметках христианских писателей и в переписке ученых. Внезапно оно как-будто исчезает из мира и образуется перерыв в десять лет. Можно думать, что необычный поступок Гипатии, ее бегство из брачного покоя вызвало в Александрии скандал, в результате которого молчаливое презрение вычеркнуло ее из общества. Молодая ученая жила все это время как монахиня, занятая исключительно математическими и астрономическими вычислениями и помогая своему отцу. Теон начал выпускать сочинения, выдающиеся по своей юношеской смелости и художественности языка. Маленькая работа относительно конических сечений, появившаяся на девятнадцатом году жизни Гипатии, трактовала ничтожную тему прямо философски, а четыре года спустя Теонова критика Птоломея вызвала удивление всюду, где читались греческие книги, как блестящим языком, так и остроумием новой гипотезы. Эта критика, хотя и с некоторой осторожностью, поднимала вопрос о том, действительно ли земля является центром вселенной и не принадлежит ли эта честь скорее солнцу. Святой Иероним в своем возражении писал, что, очевидно, дьявол помогал профессору писать эту книгу; и действительно, несколько благочестивых монахов видали дьявола, прилетавшего в жилище профессора в виде странной птицы. Теон никому ничего не говорил о возникновении своих работ, а Гипатия благоговейно почитала память своего отца. Таким образом, каждый может заполнить по-своему десять лет ее жизни.

## 2. ХРАМ СЕРАПИСА

После смерти императора Юлиана прошло около двадцати лет; и в провинциях, и в столицах христианство утвердилось уже прочно.

Однажды вечером, в старом университетском городе, Афинах, за прощальным ужином сидело четверо молодых людей. Перед кабачком александрийского землячества под зеленым сводом листвы болтали они за кубками красного вина о перенесенных экзаменационных заботах,

о комических черточках своих учителей и о серьезности будущего. Они так заговорились, что не обращали внимания на заждавшуюся прислужницу. Самый красивый из четырех, чернокудрый полуараб Синезий из Кирены, уцепился хорошенькую щечку девушки, когда она подавала новый кувшин. Но даже это он сделал машинально, больше по привычке; красивейший студент в Афинах был равнодушен к прекрасному полу. Он был заметно спокойнее своих товарищей. Его большие глаза сияли скорей добродушием, чем умом, а изысканная речь мало подходила к ухарскому тону остальных.

Четверо юношей собрались сегодня, так как они только что получили последнюю ученую степень. Двое были уже много лет дружны с Синезием из Кирены. Маленький, толстый, темноволосый и розовощекий, немного кривоногий Троил из Антиохии и стройный и подвижной Александр Иосифсон из Александрии сдружились с сыном ливийского патриция вследствие одинакового богатства и одинаковых склонностей. В Афинах они вели беззаботную, праздную жизнь и кроме изучения законов занимались слегка философией и филологией. У них у всех над губами пробивались темные усики.

Четвертый из них — двадцатилетний германец, несмотря на свой светлый пушок, казавшийся рядом с остальными безбородым, не совсем походил на товарищей. Но зато его они любили особенно. О нем самом знали они немного. Звался он варварским именем Вольфа и был, как казалось, низкого происхождения, хотя и богат. На друзей Вольф, не желая этого, имел громадное влияние. Другие получили хорошее разностороннее образование; Вольф, несмотря на свой дикий характер, пользовался славой ученого. Он бегло говорил не только по-гречески и латински, но и по-египетски, а также не забыл своего родного языка. Он умел петь коротенькие немецкие песенки, — воинственные призывы, распевавшиеся на северной стороне Альп, на берегу молодого Рейна.

Александр Иосифсон был иудей; род Синезиев оставался в своей труппе верен старым греческим богам; Троил и Вольф были христиане. Троил, однако, принадлежал к разбогатевшей чиновнической фамилии, приняв-

шей новое христианство Цезаря только внешне; сам он называл себя свободомыслящим, атеистом. Вольф глубоко верил в Иисуса Христа, но был врагом Церкви, принадлежа к одной из тех полууничтоженных сект, которых столько с течением времени распространилось среди рабов. Религиозные беседы велись только между Александром и Вольфом; Синезий разыгрывал из себя скептика, а Троил искренне смеялся над всем.

Была уже глубокая ночь, а молодым людям не хотелось расставаться. С огорчением говорили они, что должны теперь проститься с вольной студенческой жизнью. Александр Иосифсон особенно не хотел увеличить число ученых мумий — для этого отец, мать, дяди и тети слишком хорошо снабдили его средствами.

— Не важничай, пожалуйста! — воскликнул Троил, однако все согласились, что после трех лет жизни в Афинах хорошо было бы пожить такой же свободной жизнью. Но где? Константинополь и Рим каждый из них достаточно изучил во время каникулярных поездок. Раньше их привлекала Александрия, но там были родители и родственники. В маленьких университетских городках, начинавших славиться отдельными факультетами, разгуляться было негде. Карфаген был слишком благочестив. Париж — слишком грязен.

Синезий пригладил свои черные кудри и сказал тихо:

— Можно было бы остаться еще на полгода в Афинах, божественном городе муз, где все напоминает юности великих учителей, Платона и Аристотеля, и бесмертных поэтов, а блестящие статуи — эпоху Перикла...

— Не разглагольствуй, — прервал его Троил, — женщин поблизости нет, а на служанку этим способом не произведешь никакого впечатления. Ей ты нравишься больше, когда молчишь. Мне тоже. Знайте, что я жажду бросить как можно скорее это старое свиное гнездо. Жалко прекрасного времени! Уважаемые разбойники и домовладельцы, называющие себя афинянами, питаются окаменелой славой своего города и умерли бы с голоду у подножья Акрополя, если бы мы не имели глупости снимать их комнаты. Скажите, нашли ли мы здесь хоть одного настоящего учителя? Нас учили только тому, че-

му учили триста лет назад. Первый попавшийся грузчик Александрийской гавани знает мир лучше нашего.

— Да, скучны александрийские учителя, действительно, скучны!

— Против этого однообразия,— сказал Синезий,— александрийцы недавно нашли приятное лекарство. Вот уже целый семестр они обладают ученой-женщиной.

Все рассмеялись.

— Синезий хочет к Гипатии! Ему хочется повидать крестницу императора Юлиана! Этого только не хватало!

Вместо ответа Синезий вытащил из кармана письмо.

— От моего дяди. Вы знаете, он очень дружен с его высочеством наместником, он не дурак и не молод. Он советует мне ехать в Александрию... и вот: «Кроме этих выдающихся ученых в нашей Академии вот уже несколько месяцев выступает божественная Гипатия... Она прекрасна, как греческая богиня, и чиста, как христианская монахиня...»

Наступило молчание. Юноши смотрели перед собой и сделали несколько глотков.

Внезапно Троил вскочил и крикнул надменно:

— Мне кажется, что вы все влюблены в неведомую красавицу. Я не влюблен, так как любовь — бессмыслица! Но так как вы сгораете от желания увидеть это чудо света, то мы едем в Александрию. Да здравствует прекрасная Гипатия — крестница бедного императора!

Но никто не обратил всерьез внимания на эти слова и грек, иудей и назарей чокнулись с полным бокалом Троила и решили с одним из ближайших кораблей отправиться в столицу Египта.

Уже через неделю представился благоприятный для переезда случай. Удобный парусный корабль отправлялся в Александрию с тяжелым грузом металла, и ветер казался попутным. Теперь, в середине июля, можно было не опасаться бурь. Таким образом, четыре друга привели в порядок свои дела и со спокойным мужеством отправились в Александрию.

Только в течение двух первых дней Александр и Синезий страдали немного морской болезнью, а затем нача-



лось прекрасное, тихое путешествие. Судно проезжало мимо бесчисленных островов и всегда было что-нибудь новое посмотреть или рассказать.

Только на восьмой день, когда благодаря прекрасному северному ветру остались позади берега Крита, поездка стала однообразной, и молодые люди начали искать развлечений. Кроме них, на борту находились только два купца и молодой александрийский священник, с самого дня отъезда старавшийся быть около них. Он казался прекрасно осведомленным о внутренней жизни Академии, о борьбе с Серапеумом.

Корабль был еще в ста морских милях от Александрийского маяка, когда однажды, около полуночи, Вольф, не смогший заснуть в своей душевной каюте, вышел на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. Он встретился со священником, нетерпеливо шагавшим взад и вперед и, казалось, не могшим дождаться возвращения. Они обменялись коротким приветствием и несколькими безразличными замечаниями, но скоро облокотились рядом на борт и заговорили о политике и дороговизне, и, наконец, опять об Александрийской церкви.

Что бы там ни говорили о массе язычников египтян, греков и иудеев — Александрия все-таки христианский город Римской Империи. В ее окрестностях монахов больше, чем где бы то ни было на всем свете. Несмотря на это, императорское правительство равнодушно к защите христианской веры. Его высочеству наместнику время от времени, кротко или нет, приходится напоминать о том, что он христианин. Его высочество любит греческое язычество чисто эстетической, но тем не менее опасной любовью. Даже к богатым александрийским евреям он относится с симпатией. Эта равнодушная позиция правительства страны виновата в том, что Константинополь относится так консервативно к Академии, оставляет старых языческих профессоров на их кафедрах и даже назначает в учителя дочь Теона, крестницу наказанного богом Юлиана.

— Видите ли, мой друг, другие язычники довольствуются, по крайней мере, своей математикой или ботаникой. Это нехорошо, но все же может быть терпимо.

Эта же созданная адом женщина осмеливается не только преподавать греческую науку и греческую философию, но даже оспаривать святыя заветы нашей веры.

А нам отдали только старый, переживший самого себя Серапеум, где сохранялась иероглифическая мудрость египтян. Она не была нам опасна, ее можно было бы уничтожить давным-давно. Пожалуй только для практики было полезно разрушить одно такое языческое гнездо.

— Так оно уничтожено? Уничтожено, как и старыя гробницы? А ведь Серапеум считается красивейшим зданием на всем побережье Средиземного моря!

— Здание, быть может, стоит еще и теперь,— сказал священник.— Во всяком случае далеко не шутка уничтожить это гнездо. Серапеум настолько же храм, как и крепость. И потом вы же знаете, спокон веков среди египтян и греков он считается величайшей святыней. Даже среди христианского простонародья распространено суеверие, что благословение страны, то есть разлив Нила, связано с существованием большой статуи Сераписа.

— Так он еще цел?

— Боюсь, что в данную минуту его уже нет. Как кажется, в Константинополе заговорили решительно, и его высочество получил строгий императорский приказ сравнять с землей языческие постройки страны. Такому приказанию даже его высочество должен подчиниться. И к этому прибавлен категорический приказ использовать для разрушения храма машины, построенные Теоном, отцом Гипатии — для персидских войн своего покровителя Юлиана. Тяжелые осадные орудия только на Серапеуме можно испытать как следует. Теон и Гипатия, конечно, будут довольны.

Вольф угрюмо смотрел в темноту ночи; ярче чем по ночам на Афинском Акрополе сверкал Орнон. Не простившись и не поблагодарив, оставил он священника. Но он не мог вернуться в каюту. Все снова взглядывал он на юг, где лежала Александрия и куда после долгого ученья должен был он вступить в самый разгар борьбы земли с духом.

Он оставил при себе рассказы священника и потому лучше товарищей понял то, что они увидели, когда на

следующее утро вступили в новую гавань Александрии. Там, где обычно прибывающий корабль оружали сотни коричневых лодочников, с диким гамом предлагавших свои товары и свои лодки, где обычно еще до того, как падал якорь, начиналась торговля — плоды и рыбы влетали на борт, а монеты сыпались вниз — теперь к прибывшим явился один старый ленивый перевозчик. Он сразу перевез всех на землю. Багаж они должны были оставить на судне. Так же пусты были набережные вдоль всей портовой улицы. Громадный город казался вымершим: сегодня должны были разрушать Серапеум. Первозчик не пустила слабость. Было бы интересно посмотреть, услышать треск. Да, но стране это принесет несчастье. Нил, наверное, не поднимется в этом году, но ведь императору в Константинополе нет дела до голода в Александрии.

Первозчик поплыл в своей лодочке обратно, чтобы перевезти ящики и сундуки, и друзья вместе со священником стояли одни на пристани. Казалось, что на бесконечной портовой улице царит праздничный отдых. На лево, где улица превращалась в площадь, виднелись рядом обе враждебные резиденции, недалеко от воды — собор, а глубже к городу — Академия. Но ни один молящийся не входил в церковь, ни один ученик — в школу. Только на отдаленной береговой улице, ведущей мимо собора ко дворцу наместника, замечалась жизнь. Вдали перед дворцом стояли, выстроившись, солдаты.

Внезапно новоприбывшие уловили над легким шумом волн отдаленный звук, похожий на начало урагана, и, не говоря ни слова, они зашагали по хорошо знакомым улицам ближайшим путем к Серапеуму. Они вышли из нового греческого квартала и, миновав несколько улочек египетского квартала, пораженные бедностью и грязью этих несчастных глинобитных хижин, вдруг после резкого поворота очутились на колоссальной площади Серапеума, от которого их отделяла пятидесятикратная человеческая стена. Посредине пространства на небольшой возвышенности все еще возвышался почти неповрежденный храм, хранивший статую могучего божества и тысячелетние сокровища иероглифической мудрости.

Сквозь колоссальные колонны можно было видеть могучую внутреннюю постройку, служившую жильем, библиотекой и школой египетским жрецам. Двери были сорваны, и под колоннами лежали груды книг. Также впереди, где стоял отдельный колоссальный храм святого бога Сераписа, святыня не осталась нетронутой. Стены остались в целости, и только острый глаз Вольфа различал тонкую трещину, прорезавшую стену святилища.

Когда друзья достигли площади, священник отделился от них. Молодые люди узнали сейчас же, что значила эта воцарившаяся тишина и чего ждали: два часа тому назад солдаты наместника, не смотря на его отсутствие, начали правильную осаду пустого Серапеума.

Гнев Сераписа должен был сейчас разразиться! Гранитный таран колоссальной стенобитной машины после трех ужасных ударов даже не покачул колонны. Были отправлены гонцы к наместнику и к Теону, строителю стенобитни.

Толпа ждала.

— Я здесь у себя дома,— сказал Вольф и показал пальцем на башнеподобную стену черного здания на углу переулка, ведшего от Серапеума к кладбищу египетского квартала.

— Там?— удивился Александр,— в заколдованном доме? Там ведь живет старый вояка!

— Мой отец.

Друзьям не осталось времени для удивления. Тем же путем, каким пришли они, медленно приближалась странная процессия. Сперва несколько священников и воинов, за ними старый, сгорбленный седовласый Теон, а рядом, заботливо его поддерживая, но гордо выпрямившись, шла стройная молодая женщина. Друзья увидели только белое шерстяное платье, темное покрывало, бледные щеки и пару громадных глаз, но это, очевидно, была Гипатия, с именем которой приехали они из Афин. За Теоном и его дочерью теснилось более ста юношей, в которых по их однотонным, широким, черным шапочкам можно было узнать учащихся.

Над площадью поднялся гул: строитель пришел, а наместник отказался явиться. С тысячью приветствен-

ных или гневных возгласов толпа раздвинулась перед пришедшими. Совсем близко от друзей прошла Гипатия. Ее удивительные черные глаза, не отрываясь, смотрели на отца, которому она что-то тихо говорила. Она не видела никого, но друзья разглядели ее, и Вольф так сжал плечо Троила, что тот застонал, а Александр сказал не проронившему ни слова Синезию:

— Ни звука, молчи!

Друзья присоединились к студентам, отделявшим Гипатию от толпы, и медленно продвигались недалеко от нее. Без слов, с одинаковым чувством в душе: хорошо, что мы здесь!

Шагов через пятьдесят им пришлось остановиться. Густая цепь солдат пропустила только офицеров, священников и Теона. Остальные должны были остаться. Подняв руки, Гипатия еще раз подошла к отцу.

— Не делай этого, не делай этого!

— Я должен! — ответил Теон. — Таков приказ из Константинополя. И потом они говорят, что полуторалоктевые никуда не годятся. Мои машины! Они плохо установлены. Они были рассчитаны против стен Ниневии, которые на три четверти локтя толще этих. Так вот я посмотрю...

— Не делай этого!

Теон повернулся, чтобы идти.

Тогда Гипатия отбросила свое покрывало, простерла руки к офицерам и крикнула так громко, что народ должен был услышать ее:

— Заклинаю вас, не делайте этого! Дайте мне возможность поговорить с императором. Величие эллинства сияет с высоты этих колонн! Вы должны были бы охранять ее, охранять во имя императора! Вспомните об императоре Юлиане!..

Как зачарованные, слушали окружающие вдохновенную женщину. Но издали, со всех сторон поднимались нетерпеливые крики:

— Теон!

Внезапно Теон отделился от своей дочери и направился на возвышенность к одной из средних колонн, где был установлен гигантский таран.

Он стоял наверху под сотней тысяч любопытных глаз и спокойно, как в аудитории, объяснял нескольким офицерам секрет орудия. Вольф угадал, что были упущены две подробности. Гранитный таран был плохо направлен: он должен был бить в самую середину колонны. Главное же, таран поставили так, как следовало для большого расстояния, здесь на меньшем пространстве надо было укоротить некоторые канаты и поднять два рычага. Вольф видел, что теперь эти изменения по приказу офицера были выполнены. Никто не слышал, что говорилось наверху. Все видели только, как Теон сам подошел к орудийной прислуге, приказал еще немного укоротить канат и показал затем, какой рычаг следовало опустить, чтобы привести орудие в действие. Трижды должен был человек у рычага повторить нужное движение. Потом Теон со всей доступной его дряхлым ногам быстротой подошел к колонне и показал пальцем место, куда гранитный блок должен был ударить своим тупым концом. Улыбаясь в уверенности своего знания, стоял старик, что-то говорил, и вдруг это случилось. Сам ли Теон по своей рассеянности дал приказ или смущенный солдат самовольно нажал рычаг, или, наконец (как в следующее воскресенье рассказывали во всех церквях) в дело вмешался слетевший с неба розовый ангел, этого так никто и не узнал. Солдат вскрикнул, машина заскрипела, и почти в ту же секунду ударился гранитный блок в колонну. Теон еще улыбался, и с громовым треском совершилось разрушение. Сперва упала намеченная колонна и могучие каменные стропила, которые она поддерживала на огромной высоте; затем повалилась соседняя, увлекая за собой половину крыши и еще кусок третьей. Толпа, затаив дыхание от напряжения, продолжала ждать, и тогда снова, из глубины непроницаемого облака пыли, раздался новый громовый удар. Храм рухнул.

Мгновение было тихо; потом люди закричали еще громче, чем грохотали строения.

Конечно, не все зрители были испуганы. Некоторые затаили победный псалом. Тысячью голосов зазвучал он, заглушенный криками ужаса тех, кто узнал, что про-

фессор был убит, а много солдат ранено. Но под пением и воплями поднимался над площадью стотысячный крик:

— Серапис покарает теперь свою страну голодом.

— Хлеба! Император должен дать нам хлеба! Долой священников! Долой наместника! Да здравствует наместник! Долой императора! Да здравствует Гипатия! Слушайте Гипатию! Где Гипатия?

Гипатия упала без чувств, когда она перестала видеть своего отца. Вольф подхватил ее и начал командовать студентами, как будто был их начальником.

— За мной, в заколдованный дом. Клином сквозь толпу. Топчите всякого, кто не посторонится. А кто будет сопротивляться — нож. Мы понесем ее. Вы двое и я.

И клинообразная кучка студентов с бесчувственной женщиной в середине, как корабль в людском море, спокойно и безостановочно достигла заколдованного дома.

Там на пороге стоял старый солдат. С добродушной насмешкой смотрел он на шествие студентов, на дочь Теона и несших ее юношей. Внезапно он узнал Вольфа.

— Ули! — воскликнул он и, не желая выказывать своих чувств перед посторонними, сжал кулаки. На нем все еще было что-то вроде военной формы. Рукава были засучены, а когда он сжал кулаки, мускулы напряглись, как у кузнеца.

— В добрый час...

— Будь он проклят этот час! — крикнул Вольф.

— Несите бедняжку внутрь. Синезий, ты знаешь толк в медицине, дай служанке необходимые указания. Ты, Александр, приведешь доктора. Я останусь здесь и не впущу никого!

И молча Вольф встал рядом с отцом.

Отсюда тоже можно было ясно видеть Серапеум.

Как ни был слаб ветер, облако пыли стало рассеиваться. Около гигантского тарана началось движение. Студенты внимательно изучали его, а солдаты медленно подвигали на низких колесах к четвертой колонне. Раненых унесли. Гора обломков, образованная упавшими колоннами, была ужасна, но за ней открылось нечто чудесное. Справа и слева стены святилища разрушились, но как раз позади свергнутых колонн, среди осколков,

блестела сквозь осевшую пыль серебряная статуя божества. Протяжный крик поднялся над толпой. Серапис сотворил чудо, чтобы спасти страну и свое изображение!

Не говоря ни слова, отец Вольфа вошел в дом и скоро вернулся с топором в руке. Медленно пошел он к храму среди боязливо расступавшегося народа. Его седые волосы и широкие плечи возвышались над толпой. Не поклонившись, прошел он мимо кивнувшего ему архиепископа, поднялся на возвышенность и достиг разрушенного святилища. Как по ровным ступеням, поднялся он по обломкам до груди статуи. Потом прикинул расстояние и поднял топор. Толпа рванулась, намереваясь помешать разрушению. Солдаты едва могли сохранить свои ряды, в двух местах завязывалась свалка...

Трижды поднимал старый воин топор, трижды, подобно жрецу, взмахивал он им над серебряной бычьей головой божества, наконец, с грохотом опустил лезвие, и в ответ раздался ужасный крик народа. Серебряная оболочка лопнула, обнажив черное дерево. Снова опустил он топор, и еще раз. Тогда статуя раздалась, и испуганно раздалось со всех сторон: — Дьявол! Дьявол! — черная крыса выбежала из середины статуи. Толпа кинулась к третьему пункту цепи солдат, и началась кровавая схватка.

Несколько времени стоял еще старый солдат на своем мраморном пьедестале, нанося удар за ударом идолу. Он вернулся в свое жилище, сжимая в руках топор.

Вечером этого дня во всех церквах сообщалось известие сигнального аппарата большой пирамиды, что Нил поднялся до шестидесяти локтей. Христианский Бог оказался хорошим Богом, дававшим хлеб так же, как Серапис. Александрийский народ ликовал перед дворцом архиепископа.

### 3. Г И П А Т И Я

Александром полностью завладела его семья. Бесчисленные приглашения полились дождем от всех представителей семейства Иосифов. Сам Иосиф и в осанке, и в разговоре стал много застенчивее, чем он был во вре-



мена императора Юлиана, но зато он мог предоставить в распоряжение своего сына почти неограниченные средства. Благодарно, хотя и довольно равнодушно улыбаясь, узнал Александр, какую карьеру придумал для него старый купец. Во-первых, как можно скорее хорошее место в Академии, затем богатейшая женитьба, затем управитель, министр; старый Иосиф был, в сущности, не так уж робок.

У Троила в Александрии были только отдаленные родственники. Он занялся подыскиванием удобного жилища, оборудовал его с азиатским комфортом и нанял черного слугу, повара и несколько белых служанок.

Синезий задержался в городе на очень короткий срок, причем дядя представил его гостеприимному наместнику. Затем, в сопровождении своего родственника, он поехал морем в Пентаполис. Охота там только что начиналась, и, кроме того, он был рад не видеть, как быстро и уверенно сравнивали с землей Серапеум, оставив в насмешку над желанием наместника одну единственную из гигантских колонн. Еще приятнее было не слышать легенд, через несколько дней появившихся в народе. Сто тысяч человек видели, как начал свою работу гигантский таран, и как его изобретатель погиб под обломками первой колонны. Несмотря на это, рассказывали, что христианский Бог для разрушения языческого капища послал с неба огонь, из ада землетрясение, а идол только тогда треснул, обнаружив скрывавшегося в нем дьявола, когда храбрый солдат нацарапал на лезвии своего топора знамение креста.

Вольф поселился в заколдованном доме. В его распоряжение была предоставлена большая пустая комната, с походной кроватью и небольшим столом. Однако он чувствовал себя вполне уютно в угрюмом здании — так много говорило оно ему. Оно было выстроено несколько сот лет тому назад для одного знаменитого астронома Серапеума. Народ узнал, что сама царица Клеопатра много ночей провела с астрономом там наверху, на башне, сводя луну на землю и предаваясь еще более позорным волшебствам. После ужасного конца царицы, дья-

вол унес и заклинателя. С тех пор в доме, по крайней мере, в башне и в подземельях, было неспокойно.

Здесь Вольф чувствовал себя хорошо. Из каждого угла приветствовали его воспоминания детства. У него не было ни малейшего страха перед привидениями. Он уже не надеялся больше повстречаться в темном проходе с потусторонним обитателем и собственноручно покончить с ним. Он больше не верил в привидения.

Тем больше вырос его ужас перед отцом: ребенком боялся он его, боялся диких вспышек его гнева столько же, сколько загадочной кротости, с которой после подобных сцен старелся старик приласкать своего ребенка. Конечно, давно уже не поднимал он руки на своего большого сына. Но своеобразная кротость осталась. Отец и старая служанка обращались с ним почти одинаково почтительно. Для старой готтки он был молодой господин, для отца — господин-сын.

Помещение отца было для Вольфа единственным неприятным углом дома, хотя на голой серой стене не было ничего кроме распятия с неугасимой лампадой из красного стекла да висевшего вокруг старого оружия.

Целыми днями бродил Вольф по городу. Задумчивый и одинокий. Дома тоже разговаривали не много. За едой отец сидел против него как будто стесняясь, предлагал ему лучшие куски.

Только через несколько дней состоялся разговор с отцом, о том, что Вольф будет делать в родном городе.

Вольф слегка закинул голову назад и, устремив вдаль глаза, как-будто выражая давно уже явившуюся мысль, наконец, признался:

— Я хотел бы учиться в Академии, у Гипатии.

Лицо отца при этом имени приняло выражение грусти, смешанной с ненавистью. Его веки сморщились, лицо пожелтело. У него была болезнь печени, и малейшая неприятность сейчас же отражалась на его лице.

— Правда ли, что нет в Александрии женщины более прекрасной? — спросил Вольф.

— Злые никогда не бывают прекрасны, — сказал отец, придавая своим губам выражение отвращения. — Каждый по-своему понимает красоту. В тех редких случаях,

когда мне приходилось встречать эту женщину, я испытывал ощущение самого мерзкого безобразия, безобразия души, и я тотчас же убегал прочь. Ограниченные язычники, которые услаждаются ложью, могут ценить ее лицо и находить в нем красоту. Если и есть в ней какая-нибудь красота, то лишь та, которую порождают самые низкие пороки. Может быть, линия ее рта правильна, но, когда я вижу, как этот рот раскрывается, чтобы говорить, я вспоминаю о сточных трубах Бручиума, которые отводят в море нечистоты Александрии.

Гипатия! Для одних она была славой Александрии, для других — ее позором. Никогда еще ни в Афинах, ни в Риме женщина не занималась публично обучением философии. Это была неслыханная новинка, которая в общественном мнении вызывала и возмущение, и восхищение. Ее великая красота, строгость жизни и несколько театральное тщеславие, с каким она подчеркивала то и другое, еще более усиливали ее очарование. Наместник Орест искал ее советов, Синезий, которого Птоломеев град провозгласил епископом за его справедливость, называл ее своей матерью, сестрой и любовницей по духу. Поэт Паллад сравнивал ее с Астреей и с Минервой, посвящая ей гимны наподобие тех, что греческие поэты слагали в честь богов. Она нанесла удар авторитету епископа Кирилла в Александрии, и возрастающее число учеников, приходивших слушать ее лекции в Музее, дало ее сторонникам основание утверждать, что, благодаря ей, философия восторжествовала в Египте над христианским учением. Многие ее любили, но до последнего времени она пренебрегала любовью. Ее черные, пышные, вьющиеся волосы были распущены, и среди них красовался большой драгоценный камень зеленоватого цвета, неизвестной породы, при чем говорили, что этим магическим камнем, сообщающим владельцу духовное могущество, некогда владел Ямблик, философ неоплатоник.

Она выписывала из Аравии редкие ароматные эссенции, которыми умащивалась, а ее покрывала были сотканы из столь тонкой материи, что как бы сливались с ее телом. Вместе со своим отцом, математиком Теоном, она проживала в небольшом доме, неподалеку от церк-

ви Цезареи, и над входной дверью дома возвышалась сова из камня, эмблема Афины-Паллады. К дому примыкал небольшой садик, в котором росли только лавровые деревья.

Взгляд отца выражал презрение и глубокое раздражение.

— Однако,— сказал все же Вольф,— есть много философов и учителей, которые прибывают из Коринфа, Антиохии и Рима, чтобы ее послушать. Говорят, что никогда в Академии не было столь великого стечения народа, какое бывает на ее лекциях.

Отец разразился горьким смехом.

— Философы? Учители? Учители чего? Лжи? Чему они учат? Трем ипостасям Аммония, гностической премудрости. Да это курам на-смех! Поистине в печальные времена мы живем! Дают распространяться заблуждению. Забывают, что оно имеет скрытую силу, которая позволяет ему распространяться легче, чем истине, и что демон снабжает заблуждение своими крыльями. У нас же связаны руки. Нам нужен другой наместник!

— Я хотел бы увидеть Гипатию, хотя бы только один раз,— прошептал Вольф, который не слушал его больше.

Отец только пожал плечами.

#### 4. ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

В то время, когда александрийские христиане были возбуждены выборами нового архиепископа, произошло событие, которое казалось некоторым горожанам гораздо более важным, чем спор об архиепископском жезле: Гипатия снова начинала свои занятия в Академии.

Встретившись возле храма, откуда доносились громкие голоса кричавших и споривших — шли сравнения кандидатов — четверо друзей пошли к зданию Академии. Волнуясь, они толкнули высокую дверь с барельефом, который когда-то украшал храм Аполлона в Делосе, и вошли.

Первый двор был вымощен большими мозаичными плитами оранжевого цвета и окружен бюстами Сократа, Платона и наиболее славных греческих философов.

Через вторые, мраморные ворота молодые люди проникли во второй двор — квадратный, обсаженный пальмами, окруженный двойным портиком, посередине которого стояла статуя Гермеса. Сидя на каменных ступенях, несколько десятков человек образовали полукруг и разговаривали, дожидаясь начала занятий. У стены прохаживался высокий мужчина, украшенный драгоценностями. Это был богатый поэт Паллад. Пушистые, завитые волосы придавали ему вид большого розового барана, которого легко раздражить. Он считал себя самым прекрасным и умным человеком в Александрии, и его гордость была так велика, что дружеский жест, любезное слово, обращенное Гипатией в его присутствии к другому мужчине, он принимал, как личное оскорбление.

Прошло еще немало времени, прежде чем во дворике появилась Гипатия. Люди, сидевшие и беседующие по всему дворику, сбежались к арке, окружая Гипатию. Худой человек со сверкающими глазами, стоящий совсем рядом с ней, поднял к небу дрожащий палец и, жестикулируя, что-то быстро говорил.

— Это сам Прокл, величайший философ, — шепнул, наклонившись к Вольфу, Синезий. Но Вольф едва понял, о чем говорит товарищ. Он не отрываясь смотрел на знаменитую александрийскую ученую.

Овал ее лица был совершенен. Большой зеленый драгоценный камень, который она носила в своих волнистых волосах, бросал на лицо изумрудный отблеск. Глаза ее были громадны, переменчивы, прозрачны, и нельзя было понять, зеленого ли они цвета, как драгоценный камень в ее волосах, или синего, как сапфировое ожерелье вокруг ее шеи. Она была закутана в восточную шаль более темной синевы, чем цвет сапфира, синеву бурного моря в сумерках. Шаль была усеяна сверкающими блестками, от которых она переливалась и бросала отсветы, подобно воде, отражающей звезды.

Величественным, немного театральным жестом она протянула Вольфу и его спутникам свою маленькую руку, прибавив с улыбкой обычное приветствие древних греков, которое переняли эллины Александрии:

— Возвеселись!

Вслед за Гипатией и Проклом, вместе с собравшимися во дворе, друзья прошли в здание Академии, где шумел в ожидании большой зал, наполненный молодежью.

В это воскресенье новый архиепископ принимал поздравления. Когда со своей пышной свитой хотел он отправиться из портала собора через портовую площадь к своему дворцу, его дорогу пересек поток молодых людей высшего общества, которые, оживленно разговаривая, выходили из здания Академии. На вопросительный взгляд архиепископа его секретарь Гиеракс отвечал, что это слушатели язычницы Гипатии, оскверняющей воскресенье своей критикой христианства и имеющей успех, неслыханный на протяжении всей истории человеческой мысли. В этот момент на пороге Академии появилась сама Гипатия, прямая, строгая и гордая, как на кафедре, покрывшая прекрасную голову длинным черным шелковым покрывалом. Недалеко от нее шло около тридцати студентов внимательно, но молчаливо, как личная охрана.

Архиепископ остановился, желая смиренно пропустить поток молодежи. Но его гладкое лицо покрылось испариной и стало желтым.

## 5. НАМЕСТНИК ЦЕЗАРЯ И НАМЕСТНИК БОГА

После выборов архиепископа прекрасная Александрия сделалась ареной всевозможных битв, разыгрывавшихся то на городских улицах, то в письмах и донесениях, направлявшихся из областной столицы в Константинополь и в обоих случаях одинаково горячо интересовавших все население. Два первых лица города, наместник и архиепископ, спорили о том, кому править Александрией.

Более образованная часть населения (как язычники, так и христиане) стояла на стороне наместника Ореста.

По сравнению с сорокалетним архиепископом Кириллом, преимущества оказались не на стороне шестидесятилетнего Ореста. Орест не был египтянином. Он происходил из знатнейшего и богатейшего коринфского семей-

ства, быстро сделал карьеру в нескольких побережных городках Малой Азии, а затем в военном министерстве Константинополя и, наконец, в сравнительно молодом возрасте, стал провинциальным управителем, а затем и пожизненным наместником всего Египта. Он любил страну, в свободные часы предавался археологическим изысканиям и не усердствовал чрезмерно в работе. Текущие дела решали его чиновники, а он аккуратно подписывал все, что подавалось на подпись. В течение двадцати лет управления он ни разу не был особенно озабочен судьбами своей провинции. Он сумел лучше большинства своих предшественников блюсти правосудие, а в кротости и человечности превзойти всех. Главное было то, что в Константинополе им были довольны и ни разу не предлагали просить отставки вследствие «расстроенного состояния здоровья». Он знал двор и столицу. Там считалась лучшей та провинция, о которой меньше всего говорили, и его гордостью было сделать Египет лучшей провинцией Римского государства. К тому же Орест отлично понимал, что кесарево надо отдавать кесарю. Непрерывное существование Римского государства было для него само собой разумеющимся основанием, на котором покоилась его жизнь и наличность неисчислимых миллионов. Император мог быть безумным убийцей или человеколюбивым философом,— для Ореста это ничего не меняло в существовании государства. Упадёт ли в одном случае несколько сот голов, или столько же сот людей в другом случае будут награждены за свои добродетели, это было совершенно безразлично. Это ничего не меняло в идее государства, а главное — в том могучем государственном механизме, в котором он — наместник Египта — являлся далеко не последней частью. Все могло итти вкривь и вкось, за четыреста лет не случилось дня, чтобы в каком-нибудь углу неизмеримого государства не было войны или восстания, могущество и величие Рима продолжалось невредимо и неизменно царить над всей цивилизованной частью мира. Священное Римское государство давало возможность всем своим гражданам, — а прежде всего избранному греческому народу, — исполнять назначение человека: умеренно наслаждаться

жизнью, не забывая себя, служить государству и заниматься искусством и наукой.

Семейство Ореста совсем недавно стало христианским. В продолжение краткого царствования Юлиана оно приносило жертвы старым богам. Орест был христианином так же, как по праздничным дням он надевал свою парадную тунику. Он причислял христианство к числу своих обязанностей. Раньше было по-другому: когда римские императрицы схватывали насморк, они приказывали жрецам всех религий, одному за другим, читать молитвы и, наконец,— до следующей лихорадки — принимались верить в того бога, после молитвы к которому выздоравливали. Доброе старое время!

Орест был весьма неприятно затронут, когда новый архиепископ, так чистосердечно тогда, перед выборами, обещавший прочный союз, вдруг внезапно, как только из столицы пришло его утверждение, оказался деятельнее своего предшественника.

Орест не мог понять, почему священники одного Бога должны быть важнее, чем жрецы грехот остальных. Однако в Константинополе были, очевидно, другого мнения, легко идя на уступки в формальных спорах с представителями новой веры, и Орест был слишком хорошим чиновником, чтобы в конце концов не послушаться, хотя бы и против своих убеждений.

Легче было ему уступить в другом вопросе, поднятом благочестивым Кириллом также немедленно после своего назначения,— в иудейском вопросе. Иудеи помогли основывать Александрию. Они пользовались как протекцией Александра Великого, так и защитой египетских царей, образуя как по численности, так еще больше по богатству и гражданскому рвению весьма значительную часть населения. Иудеи в Александрии составляли главных торговцев. Только иудейские лавочки торговали по воскресеньям. Против этой торговли и выступил новый архиепископ — никому не позволено нарушать покой воскресного дня.

Орест был вполне доволен иудеями, охотно посмеиваясь в то же время над их маленькими слабостями и с удовольствием слушая за столом их старые анекдоты.



Поэтому он открыто вступился за угнетаемых и имел удовольствие получить из Константинополя предписание не допускать особенно жестоких притеснений. Выступить прямо против призывов к запрету торговли по воскресеньям ему не позволили: это чисто церковное дело, в которое правительству не следует вмешиваться.

Гораздо ближе затронул наместника третий вопрос. Древняя Академия, требовал архиепископ, должна быть полностью передана церкви: следовало уничтожить последних язычников, преподававших в ней. По воскресеньям еретические лекции отвлекают молодых людей от Церкви. Сотни юношей из наиболее уважаемых христианских семейств начинают служить Антихристу.

Имя Гипатии называлось редко. Но медленно, медленно знатнейшие семейства города узнавали, что миру между церковью и государством, давно желанному миру между наместником и архиепископом, не препятствует никто, кроме одной женщины, правда, прекрасной учительницы, но все-таки едва ли стоящей того, чтобы из-за нее страдали интересы города.

В донесениях и в частных письмах Орест с необычным жаром принял сторону своей ученой подруги. В результате всего, оттого ли, что при дворе хотели хоть в этом единственном случае уступить заслуженному сановнику, или благоговейно сохранить полутысячелетнее великое прошлое Академии в лице ее последнего философа, оттого ли, наконец, что настояла на своем греческая придворная партия, или правительница захотела дать женщине восторжествовать над всемогущим архиепископом — так или иначе, Орест получил благосклонный приказ непреклонно охранять древний дух Академии против поползновений церкви, а особенно защитить от всяких случайностей ученую Гипатию, крестницу императора, из рода Константина Великого.

Никакой приказ не мог быть приятнее для наместника. Из всех посетителей его роскошных собраний больше всего он любил прекрасную философку. Он ввел ее в свой дом задолго до ее открытого выступления, чтобы иметь возможность вести с ней, как и с другими учеными города, живые разговоры о своих археологических увле-

чениях. Он достаточно любил ее, чтобы встречать с почти демонстративным почтением, и, кроме того, честолюбие старика было чуточку приятно, когда молва мелкоты спрашивала, не выражала ли прекрасная Гипатия особенной благодарности наместнику за оказываемое покровительство.

## 6. Ж Е Н И Х И

Гипатия продолжала свои занятия. Разыскивая истину, невозможно думать о себе. Ни александрийский архиепископ, ни константинопольский император не могли повлиять на результаты вычисления длины орбиты Марса.

Астрономические занятия протекали вполне спокойно. Несмотря на то, что ее выводы, а еще больше открыто высказываемые ею предположения, стояли вразрез со всем мировоззрением той эпохи, это не осознавалось учащимися Академии достаточно отчетливо. А доносчики не были в состоянии следить за ходом ее мыслей.

Но зато богословские выступления с каждой неделей становились все шумливее. Почти каждый раз, когда она, в сопровождении молодых афинян, вступала в огромную залу, там начинался приветственный топот и злобный свист. Почти каждый раз кончалось тем, что тот или иной из противников Гипатии, в качестве устрашающего примера, выставлялся за дверь. Громадное большинство учащихся состояло из почитателей Гипатии. Но они не могли воспрепятствовать адскому шуму, который противники устраивали частр в конце лекции не столько для того, чтобы досадить Гипатии, сколько, чтобы вывить свое несогласие. Обычно шум прекращался, когда Вольф со своим богатырским видом обходил залу и, полусмеясь, полухмурясь, направлялся в сторону особенно усердствовавших крикунов. Иногда дело кончалось потасовкой.

Жаркая весна снова настала в стране, и все были заняты вопросом о новой жатве. Большинство ученых прекратило занятия. Одна Гипатия продолжала с удвоенным старанием.

Как бы чудом удалось ей получить помощь для выполнения своей великой цели — собрать и дополнить критические сочинения императора Юлиана. Никто не должен был знать, что именно дядя Александра, книжный торговец Самуил, доставил ей несколько наиболее редких сочинений императора. Книги, последний список которых считался уничтоженным, лежали в каморке лавки Самуила и были тайком переправлены оттуда в академическую библиотеку. Гипатия должна была прервать собственную критику христианства и предоставить слово своему императору. Неделю за неделей читала она перед своими слушателями остроумные нападки и злые насмешки императора Юлиана. То, что, по мнению церкви, было окончательно позабыто и похоронено, пробуждалось, становилось предметом разговоров и, подкрепленное двойным авторитетом императора и философики, шло из Египта в Антиохию, в Рим и в Константинополь. Никто не мог упрекнуть преподавательницу в кощунстве. Пользуясь свободой науки, она исследовала Евангелия так же, как исследовались гомеровские стихи; она критиковала новое учение епископа Августина о свободе воли и благодати так же, как критиковала Платона. И шуточки императора Юлиана над соборами она цитировала так же спокойно, как какой-нибудь из ее коллег цитировал насмешки Лукиана над греческим Олимпом. Гипатия и не подозревала о поддержке наместника в покровительстве двора. Она не знала, что ее противники есть не только в аудитории. На улице ее постоянно окружала добровольная стража, и если редкие оскорбления и долетали до нее — «Атеистка, богоубийца», «Студенческая девка!» — то эти оскорбления не затрагивали Гипатию. Да скорее всего она их и не слыхала.

Архиепископ Кирилл направил к наместнику несколько просьб возбудить против Гипатии преследование по обвинению в кощунстве. Орест, посмеиваясь, сообщил эти доносы своей подруге. В середине июня, в одно воскресное утро, снова получили такое обвинение. Она готовилась изложить юлианову критику христианского безбрачия, так как в это время оно снова стало требоваться наиболее строгими учителями церкви.

Гипатия отбросила книги и письмо и взволнованно зашагала взад и вперед по своей комнате. Это осмеливались говорить о ней. О ней, которая с той минуты, когда она начала думать, подавляла в себе всякое человеческое чувство и выросла в стенах этой Академии; которая не знала ничего вне своей библиотеки, обсерватории и аудиторий, которая урезывала себя во сне, чтобы изобретать новые инструменты. Если мореплаватель мог теперь с большей безопасностью выплывать из Геркулесовых столбов вплоть до фризских берегов, то этим он был обязан бессонным ночам Гипатии.

Внезапно Гипатия засмеялась: ее афиняне появились перед выходом, настало время учебы.

Быстрее, чем обыкновенно с высоко поднятой головой, шла она через портовую площадь к своей аудитории. Когда она начала говорить, ее руки дрожали от волнения. На этот раз она не взяла с собой никаких записок.

Все крепче и крепче нажимали на стол ее белые пальцы. Затем она вскочила и продолжала говорить со сверкающими глазами так, что, казалось, от ее лица исходит сияние.

— Не легка была судьба женщин сверстниц Платона и Перикла. Тяжелой ценой должны были мыслящие женщины той эпохи завоевывать себе возможность быть равноправными товарищами великих мужей. Всякая грязь и пошлость летела на них, и не все они остались чисты. Но лучшие люди тех времен были далеки от того, чтобы презирать женщину. Быть может, когда-нибудь, некий новый народ научит нас, что любовь к женщине есть в то же время и величайшее уважение! — Гипатия много дала бы, чтобы удержаться и не посмотреть в эту минуту на белокурого Вольфа, сидевшего на правой скамейке.— Вы не знаете всего, что мне приходится слышать и читать... и так, пока не появится народ лучше греков, до тех пор буду я утверждать, что подруги великих греков, Феона, Фаргелия, Тимандра и пресловутая Аспазия благороднее учениц Иеронима, отрекавшихся от всего человеческого. Лучше какая-нибудь Аспазия, чем монахиня!

Гипатия не смогла продолжить. С последних скамеек раздался резкий свист, а затем со стороны сотни раздраженных слушателей вой и шипенье. Остальные студенты вскочили с криками: «Да здравствует Гипатия!»

Продолжать лекцию было невозможно, и чувствуя себя несколько неловко, возвратилась Гипатия к себе. Слух о том, что Гипатия, как некогда Аспазия, хочет свободно стать подругой какого-нибудь мужчины, распространился за пределы Александрии. И, как сам Орест, в качестве александрийского Перикла, предложил ей шутя свое сердце, так стали домогаться ее любви знатные офицеры и видные чиновники из Пентаполиса, Антиохии, Кипра и Крита, словом — отовсюду, куда дошел слух о возобновлении ею греческих обычаев.

С некоторым смущением узнавала Гипатия все это. Или в мире больше не было чистого эллинизма, или она не была настоящей гречанкой.

Ей и в голову не приходила мысль сделаться подругой какого-нибудь Перикла. Не могла она также представить себя женой. В крайнем случае она могла бы быть вечной невестой, невестой могучего, мудрого и доброго человека, который защищал бы ее и, изредка, в минуты усталости или печали, говорил несколько ласковых слов...

Вечерами она любила побыть одна.

Она не хотела думать о себе. Ни о себе, ни о людях. Так решила она с тех пор, как посвятила свою жизнь отцу и науке.

Она оказалась рассеянной. Что знали о ней другие? Что знали другие, как влекло ее к человечеству, как хотела она простереть руки к собратьям на земле? Но она привыкла думать только о безжизненных вещах, о познании, и за работой и во время отдыха. Это часто помогало ей. И теперь, когда она, положив на прозрачную поверхность воды руки, пропускала сквозь пальцы тоненькую, похожую на фонтан, струйку, ей вспомнился общественный парк со своими фонтанами и лавровыми аллеями и тысячи простых людей, беззаботно веселящихся там. Создания земли, довольные уже тем, что

начался разлив Нила! Не думать! И она обратила свое внимание на маленький фонтан и пробовала вычислить в уме, сколько времени смогла бы она при помощи своих маленьких горстей поднимать такой столбик воды. Она высчитывала, как ученая, и играла, как ребенок.

Теплая ласкающая вода покрыла ее руку. Гипатия вздохнула. Так приятно быть одной! Феллашка приводила в порядок соседнюю комнату, и один марабу важно прохаживался вокруг мраморного бассейна, дважды покачал головой и сунул наконец свой клюв, с явным желанием помешать забаве Гипатии, в ее маленький фонтан. Потом снова щелкнул клювом, чтобы стряхнуть с него теплые капли, и огляделся с таким изумлением, что Гипатия громко и искренно расхохоталась. Очевидно, это обидело птицу, так как она с укоряющим видом встала на одну ногу, рядом с белым платьем, и задумчиво заскребла свой философский череп.

На кушетке лежал томик диалогов Платона. Гипатия отложила его, раздеваясь. Птица постучала клювом по переплету.

Гипатия улыбнулась и мысленно оглядела библиотеку, которую она сперва изучила, а потом и расширила своими трудами. Она вздрогнула. Вода остывала. Сколько книг, сколько дерева и папируса!

Она хотела достичь первоосновы всего человеческого и в возможность этого честно верила в своих исканиях. Ничто из того, что думали другие раньше или теперь, не осталось ей чуждо. Во всех высших школах Римской империи не было человека, равного ей по остроте ума.

В течение трех лет, сперва вместе с отцом, потом одна, старалась она проследить истинный путь движения Марса.

Если бы даже Гипатии удалось это, и она смогла бы доказать, что не все обстоит так просто на небе, как учит птоломеевская система, что будет тогда? Снова станет она еще известнее; и из Рима, и из Афин посылаются хвалебные письма и лавровые венки; но она будет сознавать, что сделала не больше какого-нибудь библиотечного переписчика, исправившего ошибку в

гомеровском тексте. И если даже истинно то, что она смутно предчувствует, то, что созерцал старый Платон своим ночным небесным зрением, и то, что смутно ощущает и она сама, когда в полночь, отложив доски и грифель, перестает вычислять и размышлять, а просто смотрит ввысь, в бесконечное прозрачное небо; если истинно то, что и солнце, и луна, и планеты вовсе не вращаются вокруг земли, что там наверху совершается совсем иной танец, в котором бедная земля скромно принимает участие, как и другие блистающие искры, и когда-нибудь на земле появятся новые астрономы, которые с усмешкой расскажут людям, что лгал Птоломей и лгали Теон с Гипатией, что их вычисления были детской забавой, пустым времяпрепровождением, и что мировой порядок зависит от земли не больше, чем от всякой другой сверкающей искры; если истинно, что земля — только точка в целой вселенной, — чего стоят все людские мысли на этой бедной земле? И есть ли тогда на земле что-либо истинное, кроме нестихающего стремления к счастью?

— Счастье!

Гипатия громко произнесла это слово, и птица-философ важно подошла к ней и положила клюв на ее плечо. Ее косые глаза смотрели с утешающим видом.

Ненавидь философию. На горы из книг ведет тебя мое крыло через бесконечные аудитории к вечности. Детская болтовня!

Испуганно взглянула Гипатия на лысую птицу. Потом, погрузив левую руку в воду, она обрызгала внезапно крылатого философа сверху до низу и брызгала, и смеялась, пока птица не убежала оскорбленно в соседнюю комнату, где забегала взад и вперед, резко щелкая клювом.

Вскоре после этого Гипатия, сверкая красотой, поднялась из уютной ванны по трем мраморным ступеням, позвала феллашку и закуталась в мягкое белое покрывало. Как всегда, кормилица начала болтать и льстить. Какая нежная кожа у госпожи!.. Как всегда, Гипатия приказала ей замолчать. Она отослала старуху и растянулась на диване, закутавшись в шерстяной платок.

Счастье! Все люди стремятся к нему, почему бы и ей не делать того же? Разве потому, что она могла ощущать счастье много больше, чем толпа, она должна одинокой пройти свою жизнь?

Действительно ли было слишком поздно? Разве ее жизнь уже закатывалась? Не была ли она еще молода и прекрасна? Она плотнее закуталась в платок, как будто сама стыдилась своего молодого тела. Она взглянула на бассейн, в котором успокоившаяся поверхность воды постепенно опускалась все ниже. Так и жизненная сила утекает из тел, ежедневно, ежечасно.

## 7. И У Д Е Й С К И Й К В А Р Т А Л

Отношения между светской и духовной властью стали напряженными.

В ответ на свои осторожные, но настойчивые запросы наместник получал ответы из Рима, в которых ему давали понять, что Церкви надо помогать. Самое плохое было то, что Орест, привыкший к четким, ясным указаниям, какую проводить политику в провинции, таких указаний не получал. И он терялся, не зная, как вести себя.

Почти в один день он получил два письма. Первое прислал старый его товарищ, сделавший немалую карьеру при императоре, и теперь, как знал Орест, немало влиявший на мнение двора. Товарищ сетовал, что императорские наместники в провинциях получают все меньше власти и прав. И прочитав его советы, что надо стремиться к тому, чтобы Церковь оставалась только в своих стенах, что она не должна вмешиваться в жизнь государства, Орест вздохнул— он и сам этого хотел. В Константинополе Церковь пока не властвует, ей отведено пусть и почетное, но определенное место, а в Риме и Александрии уже зреет государство в государстве.

И прочитав письмо, Орест сразу перешел ко второму, написанному из женской половины императорского дворца.

Письмо предназначалось его жене, но Орест считал, что должен знать, о чем пишут его супруге.



Он думал, что письмо будет состоять из новостей, из придворных сплетен, но оно оказалось серьезным — подруга жаловалась, как прогнило все в столице, как нет ничего, что может соединить римлян, и остается надеяться только на Церковь. Старые скрепы сгнили, и только Церковь может сдерживать расшатавшееся строение империи. Церковь сделалась необходимой для Империи, и потому Церковь надо защищать, как Империю, и даже более Империи. За все годы своего наместничества не попадал Орест в более сложное положение, когда он не знал, что делать и кому служить.

Рано утром наместник по заведенному порядку принимал парад. На узком мысе перед Суэцкими воротами, между виллами восточной окраины и иудейским кварталом, проходили солдаты мимо своего начальника, который сидел на коне перед выстроенной за ночь трибуной.

Наверху расселось знатное общество города. Казалось, само собой понятным, что Гипатия была приглашена также, и в своем прекрасном, хотя совершенно простом белом платье, заняла место на трибуне. А то, что трибуна была разукрашена различными венками и штандартами, а также статуей богини победы — мраморной Викторией — соответствовало ежегодному обычаю. Тысячу лет протягивала богиня победы свой венок навстречу римскому войску. Никто не задумывался особенно над образом старой статуи, ни наместник, ни солдаты. Но уже менялся народ в Александрии. Пошли слухи, что римские офицеры в угоду языческой безбожнице заставляли солдат отречься от христианской веры и молиться языческой богине. Толпа подростков, благословленная архиепископом, пронеслась через иудейский квартал, разгромив мимоходом несколько лавок и исколотив несколько покупателей, к Суэцким воротам, трибуны были разломаны, а статуя Виктории, у которой предварительно отбили крылья, брошена в море.

Орест пришел от этих известий в гнев. Он несколько раз в присутствии высших чиновников повторил, что не оставит этого оскорбления безнаказанно.

Вечером прекрасный городской цирк, находившийся недалеко от Пустынных ворот, вблизи западной окраины

города и диких львов Ливии, был переполнен зрителями, со страстным любопытством смотревшими на проделки дрессированных животных. Когда Орест появился в своей обширной ложе, где уже ожидало его около двадцати приглашенных, в том числе и Гипатия, он добродушно сострил над тем, что первые ряды и почти все места по обе стороны манежа были заняты иудеями. Театр и цирк — терпимейшие здания, так как они превращаются каждую субботу в синагогу и каждое воскресенье — в церковь.

Орест опоздал. На протянутом канате танцевал козел. Следующим номером были пять слонов: один — громадный индийский и четыре маленьких африканских, сидевших на колоссальных стульях, изображая школу. Под возраставший восторг публики большой слон — учитель писал на песке кончиком своего хобота греческие буквы, тогда как ученики должны были по возможности подражать его движениям. Самый маленький и самый умный между фокусниками представлялся дурачком, кривлялся и первым получил несколько шлепков по голове, пока с комичными гримасами, не решился написать требуемую букву. Высшей точки шутка достигла, когда учитель трубными звуками своего хобота выкрикивал буквы, а ученики подтягивали ему. Школа слонов в течение нескольких недель была излюбленным номером цирка.

Когда после этого номера выступила уже немолодая наездница, ездившая на быке, пляской и танцем изображая похищение Европы, внимание немного ослабело и общество, собравшееся в ложе наместника, разбилось на отдельные группы. Гости занялись ледяными лимонадами, а Орест принял нескольких чиновников, обязанных и здесь докладывать ему служебные дела.

В это время уже было готово распоряжение о торговле по воскресеньям. Сейчас его читали на всех улицах, завтра оно вступало в силу.

Вся эта история была очень не по душе Оресту. Как государственный деятель он предпочитал один общий праздник для всех, и не побоялся бы достичь этой цели допущением маленькой несправедливости. Что за беда, если в воскресенье поколотят несколько иудеев, раз от

этого выиграет единство Римского государства? Но раз поступки церкви вынуждают его на строгие меры,— христианские купцы, которые не торгуют по воскресеньям завтра же ощутят их.

Теперь христиане должны были узнать, чья власть сильнее. В наместничестве выработали закон, по которому каждая религия обязывалась соблюдать свой праздничный день, но иудеям предоставлялось право торговать по воскресеньям, христианам по субботам.

Шумливые александрийцы, вероятно, будут противодействовать указу. Начальник стражи должен был принять завтра меры. Сегодня известие появилось слишком поздно; за этот вечер можно было не бояться.

Пока Орест разговаривал таким образом со своими подчиненными, за его спиной один из слуг предлагал гостям прохладительные напитки. Вдруг поднялся шум, достигший наместника. Но прежде чем он успел спросить в чем дело или взглянуть, не случилось ли несчастье с танцовщицей, какой-то старый иудей перегнулся через барьер и, указывая на слугу, закричал:

— Это доносчик! Он послан архиепископом! Он всюду, где замышляется что-нибудь против нас!

Старик продолжал бы дальше, но переодетый слуга швырнул поднос с лимонадом и выскочил из ложи. На свою беду! Наместник, улыбаясь, откинулся в кресле, дав знак начальнику стражи.

Снаружи доносчик попал в руки своим злейшим врагам. Он думал скрыться через манеж, но как раз там его схватили иудеи, а потом он попал в руки прибежавшего отряда солдат, которые, не зная хорошенько в чем дело, избili его до полусмерти. Начальник стражи смог отправить в тюрьму почти труп.

Узнав о всем происшедшем, наместник остался в своей ложе, ожидая конца представления со своим любимым номером — верховой ездой нубийского льва.

Между тем в городе готовились скверные вещи. Как только стало известно распоряжение наместника относительно торговли для иудеев по воскресеньям, несколько десятков проповедников во всех концах города одновременно загремели против безбожного чиновника,

тайного язычника, раба проклятой Гипатии. Повсюду примешивалось еще озлобление против иудеев. Иудеи и христиане были конкурентами, и указ наместника грозил серьезными убытками многим купцам.

Как раз в разгаре возбуждений, около десяти часов, разнеслись удивительные известия. В одном месте рассказывалось, что в цирке иудеи с позволения наместника бросили диким зверям христианского священника, в другом — что в цирке избивают всех христиан, а к одиннадцати часам стало известно, что иудеи схватили в цирке нескольких христианских мальчиков, дабы в страстной четверг распять их, согласно своему обычаю. Еще наместник и не подозревал о надвигающейся опасности, а уже отовсюду к цирку и иудейскому кварталу шли вооруженные толпы.

В это самое время из крыши видной отовсюду Александровской церкви вырвалось пламя. Впоследствии различные христианские партии обвиняли друг друга в поджиге, но в первую минуту возбужденные толпы решили, что иудеи, в сознании своего торжества, совершили еще и это преступление. И вот народ, шедший, еще сам не зная куда, — ко дворцу или в иудейский квартал, — с удвоенной яростью двинулся теперь к пожару.

Таким образом под предводительством случайных вожаков все эти вооруженные толпы направлялись к Александровской площади. Толпа в несколько сотен пошла на цирк, но постепенно крики: «Долой наместника» и «В огонь колдунью» становились все тише, и у стен цирка толпа остановилась в беспокойной нерешительности, как мятежное, но безголовое чудовище. Хотя от цирка до Александровской церкви было не больше четверти часа ходьбы, здесь не знали о разыгрывавшихся событиях.

Александровская церковь лежала на восточной окраине старого города, недалеко от старой городской стены времен Птолемея. Недавно в ней сломали старые ворота, чтобы сделать удобнее сообщение обеих частей города. Как раз против этой брешки стояла церковь. Случилось так, что пожарная команда иудейского квартала была на месте первой и уже установила цепь для передачи ведер, когда подошли толпы христиан.

Казалось, что на минуту воинственное настроение погасло. Вооруженные с изумлением увидели пожарных и решили позволить им продолжать свое дело. Но постепенно площадь наполнялась все больше, скоро уже нельзя было двинуться, и внезапно пожарные поняли, что находятся лицом к лицу с тысячной толпой врагов. С громким криком побросали иудеи свои ведра и побежали через брешь к своим узким улицам. Некоторых из них ранили.

Когда пожарные прибежали к себе, они нашли своих соплеменников не только на ногах — пожар близлежащей церкви показался наученным горьким опытом иудеям важным предостережением, — но и с оружием в руках. Несколько сот человек заняло первые улицы, в то время как во всем квартале под нескончаемые крики и вопли началось поголовное вооружение. Надеялись задержать христиан только некоторое время, так как войско быстро разгонит чернь.

Когда наступавшие вошли в квартал, они наткнулись на неожиданную преграду. Первая кровь пролилась.

Дикий напор сразу отбросил всех защитников на несколько сот шагов в глубину их улиц. Благодаря этому успеху, несколько богатейших домов было сразу разграблено, несколько женщин и детей изнасиловано и избито, и, под прикрытием ночной темноты, освещаемая только огнем горящей церкви, дальше и дальше разливалась дикая уличная борьба.

В цирке представление все еще продолжалось. В ответ на известие, что городская чернь собирается перед выходом, наместник только пожал плечами. А новость о пожаре церкви пришла слишком поздно. Пожары не были редкостью в Александрии. Только в двенадцатом часу, когда на арене происходило состязание колесниц (после которого должен был итти заключительный номер — лев на лошади), — в ложе наместника появился еще раз начальник стражи с донесением, что бежавший слуга действительно оказался доносчиком, но что в результате избиения он несколько дней не придет в сознание. Одновременно он сообщил, что горит Александровская церковь и что, к сожалению, из лежащего рядом

с ней иудейского квартала не явилась пожарная дружина. Спасти здание невозможно, но соседним домам опасность не грозит.

Сердито послал наместник одного из помощников с приказанием ближайшему пехотному полку занять площадь и прекратить всякие беспорядки, а главное, не дать огню распространиться дальше.

В цирке поднялось движение. Новость облетела амфитеатр, и несколько сот зрителей поспешили к выходу, — одни оттого, что их жилища были поблизости от пожара, другие, — особенно иудеи, — потому, что от каждого пожара они могли ожидать для себя более или менее крупных неприятностей. Глухой слух говорил уже, что в иудейском квартале начались беспорядки.

Наместник, серьезно недовольный помехой хорошему вечеру, послал за подробными известиями. Как раз, когда начался последний номер и могучая черная лошадь, которую должен был оседлать лев, дрожа и фыркая, выбежала на арену, пришло известие, что церковь сгорела до тла, но в иудейском квартале, по видимости, все обстоит спокойно. Даже как-то особенно спокойно. Кроме толпы людей, глядящих на пожар со стороны проломанных ворот, между городом и кварталом не видно ни души. Иудеи, покинувшие цирк, были спокойно или, в крайнем случае, сопровождаемые безобидными насмешками, пропущены внутрь и было видно, как они, предшествуемые фонарями своих слуг, шли по пустынным улицам. Шум, который слышали последние, очевидно, был обычным праздничным шумом субботней ночи.

Наместник почти не слушал. Молодой, стройный нубийский лев, черно-желтое животное с великолепной черной гривой, одним гигантским прыжком вскочил на арену и, громко рыча, остановился в середине цирка. Обыкновенный шталмейстер с кинжалом, вместо кнута, встал рядом с ним. Лошадь была хорошо выдрессирована и почти не выказывала своего страха. Как стрела, помчалась она по арене, громко ржа и ударяя копытами о барьер. Шталмейстер дотронулся острием кинжала до льва. Животное сделало три тихих кошачьих шага по арене, смерило взглядом расстояние и внезапно оказалось на ши-

роком седле, на спине бешено носившейся лошади. Ржание испуганного коня и рев седока заглушили даже аплодисменты зрителей.

Еще дважды был повторен этот фокус, затем и лев и лошадь исчезли, и представление было окончено.

Здание быстро опустело. Не торопясь покинул наместник с гостями свою ложу. Он пожелал офицерам и чиновникам доброй ночи, сказав любезности их женам, и, наконец, в сопровождении помещиков, рядом с Гипатией, стал спускаться по мраморным ступеням. И старик и девушка засмеялись одновременно, когда увидели выстроившихся внизу афинян — Вольфа, Троила и Александра. Орест, улыбаясь, собирался сказать, что эта молодежь начинает тяготить его своим присутствием. Он не кончил, однако, шутки и посмотрел внимательно вокруг. Они вышли на улицу, и свет факелов упал на всем известную тогу наместника и на Гипатию. Ее голова и плечи были покрыты черным платком. Белое платье ниспадало до пят. Казалось, что сотни людей ожидали этого момента, чтобы смехом и шумом встретить наместника и его молодую подругу. Не замедляя шагов, Орест приказал одному из своих адъютантов прислать отряд охраны. Пока офицер исполнял приказание, Орест спокойно достиг своих носилок. Казалось, что он не устает чернью ни одним взглядом. Он хотел только до тех пор затянуть свое прощание с Гипатией, пока не подойдет отряд.

Он подозвал Вольфа, внушавшего ему наибольшее доверие своей солдатской выправкой, и сказал:

— Сейчас появится несколько моих людей, чтобы проводить Гипатию до дома. Я знаю, вы готовы лично защищать Гипатию от этих крикунов, но я должен сделать что-нибудь со своей стороны. Я сам поеду к месту пожара. За время моей службы строилось столько новых церквей и я присутствовал на стольких торжественных закладках, что мне необходимо посмотреть конец одного такого сооружения. Сообщите мне о возвращении моего друга. Я буду ждать там.

Шутя, обернулся он к Гипатии. Он будет сейчас говорить, как Ахиллес, у которого эллины уводят подругу.

В толпе произошло движение. Люди сторонились с криками, некоторые попадали на землю: сквозь толпу в боевом порядке двигалось два десятка пехотинцев в полном вооружении. Орест приказал их офицеру сопроводить Гипатию и встать на страже перед Академией. Потом наместник отправился к Александровской площади.

Толпа вновь подняла крик вслед уходящим солдатам. Однако перед носилками наместника она боязливо расступилась, и Орест удовольствовался тем, что погрозил пальцем.

Гипатия тоже постаралась выразить полное равнодушие к угрозам толпы. Легким движением руки она указала Троилу и Александру места рядом с собой. Сзади под предводительством Вольфа шла остальная молодежь, а за ними маленький отряд солдат.

Молодой женщине было немного не по себе. Она настойчиво попыталась вести спокойный философский разговор.

Не задумываясь над тем, что она говорит, она сказала, как высоко стоит образованный человек над чернью и как спокойствие мудрого не может быть поколеблено никакими угрозами.

В этот момент из среды преследователей раздался громкий свист.

— Позвольте сказать вам нечто, — воскликнул Александр: — на меня вы можете положиться так же, как на солдат. Но если бы я сказал, что прогулка по Афинам была бы для меня менее приятна, чем пребывание в этой проклятой Александрии — я солгал бы. Я не философ, но никогда не лгать я считаю уже кусочком мудрости. Сознать человеческий страх — часто начало мудрости.

Молча шли все дальше, и только около стен Академии Гипатия спросила сдавленным голосом:

— А где же?..

— Вы хотите знать, где Синезий? Он воспользовался удобным днем и хорошим ветром, чтобы съездить в Кирены. Он хочет пристроить к своему дому новый флигель. Маленькую Академию с маленькой библиотекой и колоссальным письменным столом с новым устройством. Чернила будут непрерывно наполнять чернильницу, что-



бы не беспокоить мелочами занимающихся. Кажется, он хочет устроить там фабрику папирусов. Комнаты старого дома, которые двадцать лет назад служили ему детской, будут переделаны в колоссальную лабораторию. Одним словом, он думает о будущем, и поэтому сейчас его нет с нами. Недели через две он явится с редкой рукописью, содержащей повествование о подвигах великого Александра.

С коротким «покойной ночи» Гипатия стремительно ушла к себе. Легионер расставил часовых, а Вольф объяснил, что остаток ночи он проведет поблизости.

— Все равно я не смогу заснуть. Мне было бы легче, если бы я проломил несколько этих крикливых голов. Доброй ночи, Троил, доброй ночи, сын Иосифа.

Мимо толпящихся кучек горожан, уже начавших расходиться и лишь изредка посылавших вслед юношам угрозы, молодые люди пошли ближайшей дорогой к Александровской площади.

Когда они вступили на площадь, зрелище еще не кончилось. Крыша центральной части уже сгорела, а над почерневшими стенами боковых приделов вспыхивали только кое-где синие огоньки, но над входом и алтарем вздымалось еще могучее пламя. Говорили, что там, в потайных кладовых, были сложены запрещенные и конфискованные писания христианских еретиков и последние книги императора Юлиана. Вздвигающееся пламя гудело, как ураган; в промежутках слышались команды греческих пожарных дружин, крики людей, попадавших под дождь летящих углей, раненых и испуганных и, наконец, дикие ругательства арабов-водоносов, не умевших работать без взаимных оскорблений.

Троил и Александр нашли заместника, с благодарностью выслушавшего их сообщение. Они остались около него, смотря на увенчанный крестом остаток купола. Языки пламени взлетали один за другим; внезапно раздался треск, заглушивший все остальные звуки, и в одно мгновение пылающий костер с громом скрылся за оголенными стенами здания. Колоссальное черное облако поднялось к небу. На площади стало сразу тихо и темно.

— Кончено,— сказал наместник тихо своей свите. В это мгновение из толпы, ограждавшей вход в иудейский квартал, раздался дикий крик о помощи, а затем отдельные слова: «Боже Израиля! Убийцы!»

Наместник торопливо пошел на голос. При его приближении толпа рассыпалась. На земле лежал, истекая кровью, старый иудей в своем праздничном платье, в котором он только что был в цирке. Александр узнал в нем богатого хозяина стекольной мастерской. Он наклонился и приподнял голову раненого. Умиравший открыл глаза, узнал наместника и прошептал:

— Благодарение богу! Пощады! Несколько тысяч... два часа! Убийство и грабеж! мой дом... моя дочь, моя Мира!

На площади было тихо. Только внутри церкви огонь завывал, как в колоссальной трубе. Со стороны иудейского квартала неся неясный гул. Теперь становилось ясным, что это был звон скрепящегося оружия и крики о помощи.

Полк, стоявший на площади, готовился уйти.

Тогда наместник подошел быстрыми шагами к командиру:

— Оставьте гореть то, что горит! В иудейском квартале погром. Соберите ваших людей, дайте мне лошадь. Надо спасти то, что осталось. Пошлите за подкреплением, за кавалерией. Вперед! Марш!

Не прошло минуты, как полк уже стоял в боевом порядке. Почти бегом направились они к злополучному кварталу.

В пять минут солдаты очистили пространство между стеной и предместьем. Они ускорили свои шаги, когда увидали, во что обратились первые дома. В начале улицы лежало тридцать трупов христиан и иудеев. И далее не было дома, где бы на пороге не лежал мертвец; не было лавки, которая не была бы разгромлена. Валялись разодранные материи, разбитые бочки с вином или маслом. Почти везде шныряли еще мародеры. Но наместник приказал не останавливаться.

Под звуки труб полк поспешил дальше. Вперед! Вперед! Теперь видно было, как впереди бегут какие-то фи-

гуры. Полковник разделил людей и послал две роты боковыми улицами. Место встречи было назначено у Суэцких ворот. Вперед! Вперед! Но главная масса убийц уже бежала, и оставались только отдельные кучки, окруженные отчаянно сражавшимися иудеями.

Не было времени спрашивать. То здесь, то там раздавались восклицания, из которых наместник понял положение дел. Иудеи просили предоставить им расправу с остатками грабителей. И в то время, как иудеи принялись сводить свои кровавые счета, полк стремительно двинулся дальше.

У Суэцких ворот удалось настигнуть бежавших. Задние были перебиты. Сотни были захвачены и переданы на расправу горевшим мщением иудеям. А потом дальше, продолжать преследование! Вдали виднелись бежавшие человеческие толпы.

Наместник остановился и передал преследование полковнику. Дрожа от возмущения, он отъехал в сторону.

Небольшой отряд остался при нем для охраны. Он намеревался уже послать и его в погоню за беглецами, но вдруг раздался топот. Наконец! С дикой скоростью мчалось несколько эскадронов кавалерии. Их офицер хотел остановиться перед наместником, но Орест протянул руку вперед и сделал знак сжатым кулаком. Офицер понял его. Он взмахнул мечом по воздуху, и эскадроны промчались мимо.

Медленно возвращался наместник. Он не обнажал меча, но одежда и чепрак коня были покрыты кровью.

Медленно ехал он от дома к дому, из улицы в улицу. Здесь уже не оставалось в живых ни одного убийцы. С воплями и просьбами, благодарностями и проклятиями теснились иудеи к своему спасителю. Сотни людей рассказывали ему отдельные эпизоды этой ночи, пока он шаг за шагом продвигался по разоренным улицам. Он не мог говорить. Когда он собирался сказать несколько утешительных слов, гнев душил его. Но иудеи понимали его и так. Иногда он поднимал руку, как бы прося успокоиться, иногда сжимал кулаки.

Наконец, около выхода его встретили представители квартала. Они сообщили с громкими причитаниями все,

что знали о размерах бедствия. Только приблизительно можно было подсчитать, сколько мужчин погибло в схватках, сколько женщин и девушек было замучено в домах и сколько товаров уничтожено в лавках.

— Положитесь на меня и на императора! — Больше Орест не мог ничего сказать.

Затем он приказал провожавшему его отряду вернуться и присоединиться к своему полку. Сам он поехал один через предместье в греческий город.

Около казарм он слез и отдал свою лошадь одному молодому солдату. Но он не пошел в свой дворец. Он не хотел показаться своим черным слугам в том состоянии бессильного гнева, которое все еще временами овладевало им и затемняло его сознание.

Наместник пытался успокоить свое волнение ночной прогулкой. Твердыми шагами старого военного шел он через городской вал и Портовую площадь. Внезапно он заметил, что строгий приказ, согласно которому каждое судно должно было вывешивать два фонаря на носу и на корме, почти нигде не был выполнен. Это обратило его внимание на общий порядок; он захотел узнать, регулярно ли совершает стража свои обходы, закрыты ли кабаки и многое другое. Он нащупал под платьем свое оружие и вышел затем через западные ворота Портовой площади в пользовавшийся дурной славой Матросский квартал.

Было два часа пополуночи, и, однако, везде торговали пивные, из которых доносились дикие крики матросов, рабочих и пьяных прислужниц. Один раз заметил Орест на своем пути обход. Легионер с воинами остановился перед подозрительным домом и, смеясь, приказал вынести себе кружку пива. Голая девушка отворила дверь и расхохоталась в ответ на циничную шутку. Сквозь открытые двери кабаков наместник увидел группы военных. А между тем солдаты должны были ночевать в казармах и посещение Матросского квартала было запрещено особенно строго!

Из переулка раздался стон, и наместник свернул на крик. Пьяный грузчик, тяжело дыша, держал за волосы окровавленную девушку и методически бил ее в голую

грудь. Заметив военного, он выпрямился, и, шатаясь, скрылся в темноте. Девушка размазала кровь по лицу и, всхлипывая, направилась в ближайший кабаk. Там, на полу, лежали, сцепившись в пьяной злобе, два матроса. Никто не обращал на них внимания, и густая кровь впитывалась в грязный песок. Яркая луна гущала тени в узких переулках, в уступах стен, между домами. Оттуда неслись ругательства, стоны, поцелуи.

Орест почувствовал, что горькое сознание своего бессилия охватывает его все больше. Что стало с древним Римским государством! Так обстояло дело с законами. Также с воинской дисциплиной. Все непокорны, подкупны или просто слабы, всех, от императора до последнего ночного сторожа, можно было соблазнить соответствующей подачкой. Министров, наместников и легионеров. И кто-то отстаивал этот порядок! И за сохранение его горячился старый чиновник, вместо того, чтобы спокойно улечься после интересного циркового представления и предоставить иудеев их судьбе.

Без дальнейших приключений Орест вышел из Матросского квартала, и по бесконечной Императорской улице повернул на северо-восток. Эта похожая на бульвар улица была оживлена. Усталые проститутки заговаривали с наместником, и в кучках прожигателей жизни обсуждался сегодняшний погром. Большинство казалось довольным, но архиепископа обзывали далеко не лестными именами. Медленно дошел наместник до нижнего конца Церковной улицы и собирался вернуться домой. Внезапно он остановился перед дворцом архиепископа. Маленькие окна были не освещены. Однако в темном доме чувствовалось напряженная жизнь. Непрерывно темные фигуры пересекали улицу и исчезали в дверях, другие быстро покидали дворец и скрывались в темноте ночи.

С новой яростью вспыхнул гнев в наместнике, и после короткого колебания он перешагнул порог, закутался плотнее в свой плащ, беспрепятственно прошел в широкий портал и поспешно, как один из бесчисленных посетителей, поднялся на первый этаж. Не остановившись в первой приемной, наместник прошел в следующую, где

Гиеракс принимал доклады о жертвах этой ночи. Орест хотел пройти мимо, но здесь его узнали. Узнал Гиеракс. С униженным поклоном Гиеракс заступил ему дорогу, формоча что-то о высокой чести, о том, что владыка уже спит, но что о посещении наместника ему будет немедленно доложено.

Однако Орест оттолкнул архиепископского поверенного, отодвинул тяжелый персидский ковер и очутился в рабочей комнате.

Заложив руки за спину, архиепископ Кирилл ходил по темной комнате. Он повернулся и оказался лицом к лицу с наместником. Его испуг, если он испугался, длился меньше секунды.

— Кровь этой ночи всецело на вашей совести, владыка!

— С тем же основанием утверждаю я, что Александрией плохо управляют, что правительство разжигает ненависть к иудеям и не в силах затем справиться с чернью. Так я сообщу в Константинополь.

Перед лицом этих беспощадных слов наместник почувствовал, как пропадает его воля и даже его гнев. Архиепископ разгладил длинные полы своей черной одежды и уселся против наместника на край стола.

— Итак, поговорим. Весь наш спор происходит от того, что ваша светлость считает себя по праву законным повелителем Египетской провинции, а я полагаю, что течение событий даровало мне некоторую долю самостоятельности. Вы являетесь безусловно полным представителем императора в Египте, и в качестве такового обладаете всеми его правами. Это ясно! Вопрос лишь в том, является ли император теперь таким же повелителем страны, как раньше? Я сомневаюсь. Вы знаете, что в своих дворцах, на берегах Золотого Рога император всемогущ. Но будут ли выполняться его законы? В Британии, в Галлии, в западной Африке, везде, где не владычит церковь, восстают на него мятежные царьки, а если случится, что какой-нибудь римский полководец случайно одержит там победу, то на следующий день он сам начинает предписывать императору свои законы. В Испании, в Германии, в Италии цезарь — пустая тень.

Германские медведи пьют крепкое вино из белых черепов или золотых чаш и называют это своей новой религией. А в восточной половине государства, где еще нет собственных царьков, сила его величества выражается в том, что каждый может делать, что хочет. Будете ли вы спорить с этим?

Орест молчал. Архиепископ продолжал дальше:

— Как это вы еще не успели заметить, что время империи кончилось, кончилось, говорю я. Теперь миром правит новая форма. Правда, мир еще сам не знает этого. Правит Церковь! Император — только утопия. А вы являетесь наместником его величества императора!

Орест вскочил и хотел заговорить. Архиепископ положил руку ему на плечо.

— Ну что же, владыка, — сказал, наконец, Орест, — в том, что вы говорите, много правды, и я знаю, что старое государство гибнет и что никто из нас не верит в него. Но оно неоднократно переживало такие эпохи упадка. Придет деятельный цезарь, явится мудрый первый министр, и наша старая империя снова встанет в полном блеске.

— Ваша светлость говорите так, но не верите во все это, как, впрочем, вы сами и сказали. Нет, старое государство гибнет потому, что погибла идея. Новая идея — это власть Церкви, и мы победим, ибо мы служим новой идее.

— А если это все и так, владыка, зачем говорите вы мне все это, и чего вы от меня хотите?

Архиепископ Кирилл взял одно из кресел и уселся поудобнее.

— Милый Орест, я не только хочу жить с вами в мире, но я хотел бы, чтобы вы служили мне. Мы нуждаемся в чиновничестве, нам нужны такие люди, как вы, Орест. Вы привыкли служить. Сейчас вы служите слабому, беспомощному, изнеженному императору. Разве не приятнее будет служить Церкви?

— Вы, кажется, очень доверяете мне, владыка. А какое место предоставит ваша милость мне в этом новом здании?

— Одно из первых, Орест!

— Титулы не соблазняют меня. Я радуюсь только тому, что вы обращаете столько внимания на человека, которого считаете побежденным. Не заботьтесь больше обо мне!

— Я мог бы принудить вас к уходу, но с вашим пре-емником придется все начинать сначала. Я еще не стар. Я сам хочу достигнуть кой-чего.

Орест взял шляпу и плащ. Архиепископ позвонил и сказал вбежавшим монахам:

— Двух слуг с факелами его светлости!

В слабом свете утра наместник в сопровождении двух монахов зашагал к своему дворцу.

## 8. ПИРАМИДА ХЕОПСА

В порыве первого гнева наместник решил противопоставить архиепископу законы и мощь государства. Однако он созвал свой совет, и результатом многочисленного совещания было решение не применять к князю церкви никаких открытых мер строгости, добиваться победы дипломатическим путем. Он надеялся только на перемену в настроениях правительства, или даже на перемену его самого. Сто лет императоры и императрицы заигрывали с христианством. Это, однако, не мешало тому, что христиан то ласкали, то казнили, а церкви то воздвигались, то сравнивались с землей. Конечно, на Востоке, по крайней мере, последнего больше не делали. Но разве из этого следовало заключать, что эта религия сможет изменить судьбы государства? Безумие! Рим и римские женщины не были постоянны. Они постоянно изменяли всем своим двенадцати богам, хотя среди них находилась весьма изобретательный на превращения Юпитер и многоопытный Геракл. Уже и тогда римские женщины охотно молились какому-нибудь таинственному восточному божеству. Одно время там был в моде быкоголовый Серапис, потом азиатский бог солнца, затем Кибела. А теперь мода была на крест. Но и это не останется, и это пройдет.



Тем временем спор о погроме развивался все живей и не оставалось сомнения, что правительство со дня на день сдавало свои позиции. Наместник вывесил объявления, в которых объявлял иудеев находящимися под охраной оружия, а архиепископ в особом послании к епископу Рима высказал свое неудовольствие убийствами и грабежами. Но ни то ни другое не удержало зажиточных иудеев от быстрого бегства из города Великого Александра в поисках новой родины. Очевидно, охрана государства и письма архиепископа не удовлетворили их. Наместник занял иудейский квартал войсками и приказал продолжать торговлю и ремесла по-прежнему. Но торговля и ремесла не хотели продолжаться. Обладатели разгромленных лавок как можно скорее обращали все, что могли, в деньги и убегали. На уцелевших улицах ежедневно происходили распродажи, и ежедневно отправлялись караваны на восток и корабли на север с купцами и наиболее ценными товарами.

Таким образом, наместник увидел, что, несмотря на его высокую защиту, иудейский квартал быстро уничтожится, превратится в пустыню. Он сменил батальоны, а потом и полки, которым вверялась охрана улиц. Ничто не помогало. Офицеры пожимали плечами; солдаты разделяли чувства благочестивых граждан. Так же бессилен был наместник против хлебных спекулянтов, которые вздули цены на пшеницу, прекратив в то же время всякий вывоз. Появились предсказания близкой голодной смерти. Нил не увлажнит страны в этом году; ужасные события, ужасные времена наступят скоро.

Итак, народ и правительство оказались накануне старого египетского карнавала, сопровождавшегося обычно довольно заурядными беспорядками.

Не только иудеи дрожали в ожидании карнавала, но и греческое общество старого города старалось исчезнуть с арены грядущих беспорядков. У кого была вилла в Зефирионе или на каком-нибудь еще более отдаленном углу побережья, те уезжали туда. Многие чиновники взяли отпуск, а Академия объявила перерыв занятий.

Александр Иосифсон, семья которого бежала в Италию, первый посоветовал удалить Гипатию на время

карнавала из опасного места. Синезий предложил Кирены или какой-нибудь маленький городок своего Пентаполиса. Он даже послал в гавань свою веселую барку, но Гипатия отказалась отправиться в путешествие. Поездка может затянуться, а она хочет продолжать свои занятия немедленно после каникул.

Тогда, вечером накануне праздника, Троил выступил с предложением осуществить давно задуманную поездку к пирамидам. Гипатия согласилась, когда Вольф сказал, что никогда не видал знаменитых пирамид и с удовольствием посмотрит их в таком обществе. Решили отправиться на следующее утро, как можно раньше. Кроме матросов на судне должны были собраться четыре друга, Гипатия со своей феллашкой и молодая служанка. После долгих просьб получил позволение ехать вместе с всеми маленький чернокоричневый погонщик ослов, который только недавно вступил в свою должность и причислял себя к составу Академии с тех пор, как Гипатия воспользовалась однажды его ослом.

Так как судно и без того было приготовлено для знатных пассажиров, то одной ночи было вполне довольно, чтобы сделать последние приготовления для поездки по Нилу со всем комфортом, который Троил считал необходимым для Гипатии и для себя. С восходом солнца барка должна была встать у начала Нильского канала.

Был, однако, уже девятый час, когда вся компания покончила с упаковкой необходимых вещей и на двух повозках направилась к пристани. Путешествие началось весело, как настоящий студенческий пикник. Если Гипатия уже на александрийских улицах глядела так оживленно, как же засверкают ее удивительные глаза на нильских волнах перед колоссальными памятниками!

Однако, когда повозки пересекали площадь, они должны были остановиться, так как по середине проходили две процессии масок, направлявшихся к месту встречи.

Первая группа представляла Римское государство. Впереди на белом верблюде ехал монах, изображавший церковь. Он вел на привязи ослика, на котором задом

наперед сидела смешная фигура, изображавшая цезаря, — карлик, вооруженный с ног до головы, но в ночном колпаке. Левая рука держала розгу и была привязана за спину. В правой руке была рукоять меча, но самый клинок монах на верблюде держал у себя на коленях. Затем следовали карикатуры на отдельные виды оружия и полки римской армии. Кроме фигуры цезаря, наибольшее удовольствие доставила зрителям шутка на созерцание германские полки, изображавшая двух солдат в медвежьих шкурах, которые вместо пения издавали вчленораздельный рев. Это было центральное место процессии.

Повозка могла бы проехать, но Гипатия сама захотела посмотреть вторую группу. Уже издали была видна стоявшая на фантастически разукрашенной повозке высокая белая фигура, и Троил, хорошо знакомый с местными обычаями, догадался, что это было изображение Нильской невесты. Ежегодно из пакли и тряпок готовили колоссальную куклу, одетую в женское платье, возили с насмешками и издевательствами по улицам и вечером сбрасывали в Нильский канал. Старые легенды говорили, что однажды Нил отказался оплодотворять страну, если ежегодно ему не будут приносить в жертву живую, прекрасную девушку. Как бы там ни было, теперь река удовлетворялась куклой и непристойными словами. Но ежегодно в эту ночь горожанами овладевало дикое воспоминание о древнем кровавом жертвоприношении, и осторожные родители остерегались в это время показывать народу своих молодых дочерей.

Повозка проехала в сопровождении сотни танцовщиц, одетых нимфами. На телеге рядом с куклой стояла дюжина мужчин с масками на лице в одежде старых египетских жрецов. Они поднимали сверкающие ножи и время от времени вонзали их в фигуру.

Александр первый понял, что задумали устроители праздника. Нильская невеста представляла собой карикатуру на Гипатию. Белое платье, гладкое до пояса и падавшее бесчисленными складками до ступней, было сделано отлично. Еще более явной была прическа, так как только одна Гипатия во всей Александрии причесы-

вала так свои черные волосы. Маска на лице была сделана плохо, но зато художник нашел чем подчеркнуть свое намерение. В левой руке кукла держала большой лист, на котором стояло: «Император Юлиан», а в правой качался большой тростниковый прут, употреблявшийся в низших школах.

Повозка медленно проехала мимо. Когда Троил понял, кого изображает Нильская невеста, он пробормотал проклятье. Гипатия спросила, в чем дело. Но Вольф вмешался: Гипатия не должна была знать, чем ей угрожают. Однако Синезий, успевший на другой повозке объяснить служанкам смысл происшедшего, жестом дал понять Гипатии, какой чести она удостоилась. Вольф хотел отвлечь ее внимание, но она сказала, смеясь:

— Пускай они меня топят, раз это будет в моем отсутствии! Оставьте шутам их шутки.

Открылся проезд, и возница торопился въехать в тихие улицы. Только теперь в толпе узнали Гипатию. Со всех сторон полетели насмешливые и циничные замечания. Все равно ее найдут сегодня ночью! Но это говорилось без злобы, и никто не остановил повозок. Все же приключение было не из приятных, и Гипатия благодарила своих спутников за совет убежать на время из Александрии.

Судно давно стояло в полной готовности и через несколько минут после прибытия путешественников оно медленно поплыло по каналу.

Скоро город Александра остался позади, и Гипатия начала поучать Вольфа тайнам фараоновской архитектуры, когда внезапно появился новый спутник. Сверху раздался пронзительный крик, крик ребенка, которому не позволили ехать с взрослыми, и быстрее ветра подлетел марабу. Все засмеялись. Крылатый философ спустился на палубу и стал, поджав одну ногу, на носу. Там он принялся царапать свою морщинистую шею, щелкнул клювом и, наконец, вдвинул голову в плечи.

Поездка по каналу была однообразной и оживлялась только беседой. У служанок Гипатии было довольно хлопот с уборкой ее каюты и приведением в порядок судовой кухни. Матросы под командой черного капитана

с невероятным криком старались избежать столкновения с многочисленными лодками. К вечеру подъехали к шлюзам, и после получасового сражения с бесчисленными черными и коричневыми, полуголыми и совсем нагими лодочниками лодка скользнула в коричневые воды вечной реки. Свежий северный ветер наполнил все паруса, и прекрасный корабль гордо поплыл вверх по течению в глубину страны чудес.

Два дня и две ночи продолжалось путешествие. Без страхов и без приключений Гипатия расцвела. Днем она беззаботно веселилась с друзьями, вечером она еще долго болтала со служанками, а по утрам казалось, что в каюте проснулся ребенок. Маленькие события путешествия находили девушку все более любопытной и все более счастливой. Она приветствовала первого крокодила и первого гиппопотама. В первый же день пути, перед закатом, они увидели на болотистом берегу массу фламинго, сверкавших пурпурными перьями, а за ними тонконогих марабу, качавших голыми головами, и как бы не одобрявших яркого оперения своих розовых товарищей. Троил сравнил это зрелище с аудиториями Академии, а старый марабу при виде вольных собратий с громадным самообладанием юркнул в глубь каюты, кидая оттуда косые взгляды на своих необразованных родственников. Звонко и весело хохотали тогда путники, и Вольф в последний раз слышал смех Гипатии, звеневший, как серебряный колокольчик, и видел в ее удивительных черных глазах детскую радость.

Однако сам собой разговор постоянно возвращался к серьезным темам, хотя ими интересовались только Вольф и Гипатия. Невольно беседа касалась религиозных вопросов, а только они двое горячо относились к этим вещам.

Убеждения Синезия сводились к тому, что неизвестно почему, но религия должна существовать, по крайней мере для народа. Александру казалось, что он не знает, зачем должна существовать религия. А Троил полагал, что религия всегда была и всегда будет. Таким образом, все трое не могли понять стремления греков и назареев добиться ясности в этих вопросах и убедить других.

И Вольф и Гипатия чувствовали себя столь близкими друг другу в своем стремлении к потустороннему, что даже на узком пространстве маленького корабля умели отделяться от остальных. Особенно в ранние утренние часы, когда остальные под руководством Синезия предавались нескончаемому завтраку, или развлекались удочками и охотой в маленькой лодке, привязанной к судну длиннейшим канатом, Гипатия и Вольф вели беседы о богах, о тайне свободной воли и загадках потусторонней жизни.

В начале поездки оба полагали, что во всех этих вещах им придется быть противниками, и оба начали свои религиозные беседы с пылом проповедников. Но после первых минут разговора учительница философии убедилась, что Вольф и образованнее и шире во взглядах, чем она его считала. Она почти была недовольна тем, что гордый белокурый германец смеет с ней спорить. Вольф же, слышавший ее до сих пор только с кафедры, удивлялся, что прекрасный философ с такой грацией может вести серьезные разговоры. Не было и следа старых систем, ученого высокомерия или формализма. Это было превосходно!

Эллинг и назарей заранее сходились в одном важном пункте. Оба верили в вечность и ценность законов природы и знали, что они сами, как и все люди, должны держать свои мысли и свои дела в железных рамках. Оба читали новые послания епископа Августина, оба удивлялись глубине, с которой этот выдающийся человек созерцал людские души. Менее единомыслящи были Вольф и Гипатия в вопросе о потусторонней жизни. Вольф признался, что небо его братьев по вере выглядит совсем не так, как его собственное. Он представлял себе небеса населенными могучими веселыми героями, богато вооруженными сынами королей, в кругу которых он, вооруженный так же, как и они, ожидает последней битвы и тысячелетнего царствия Божия.

И оттого, что его собственные представления на этот счет резко отличались от воззрений его единоверцев, и те и другие казались ему прекрасным сном, и он не был склонен оспаривать веру Гипатии. Да она и сама созна-

валась, что потусторонний мир не слишком ясно вырисовывается перед ее взором. Одно она знала, что стремление кверху — эта неутолимая жажда идеала никогда не может быть потушена. В высь! В этом слове заключалась ее вера.

Но вот вопрос о богах был серьезнее. За своих богов она готова была бороться до бесконечности.

В вечерние часы, когда звездное войско, сияя, выступало на небе, так ярко и близко, что Вольф постоянно сравнивал этот прекрасный свет со своим родным туманным северным небом, в вечерние часы, когда остальные друзья сидели за ужином или дурачили друг друга охотничьими небылицами, Вольф и Гипатия погружались в беседы о бессмертии и свободе. После этих глубокомысленных разговоров Гипатия, как ребенок, часами забавлялась со своими служанками и марабу, а Вольф полночи проводил на палубе, смотря на далекие созвездия.

Но в светлые, свежие радостные часы утра Вольф и Гипатия сражались за своих богов. Обычно Вольф наступал, — он насмехался над человеческими, а подчас и гораздо худшими наклонностями олимпийских богов, и принуждал Гипатию сдавать позицию за позицией. Конечно, прелестные легенды о Зевсе и Афродите и о всей остальной компании не были для Гипатии непреложным предметом веры. Она должна была признать, что с таким Олимпом теперь уже ничего нельзя было поделаться. Она чувствовала себя немного уязвленной, когда Вольф смеялся над последними языческими жрецами, бессмысленно совершавшими старый культ там, где это не запрещалось императорскими чиновниками. Гипатия говорила, что можно было только благодарить христианских императоров за то, что они уничтожили внешние жертвоприношения и оставили эллинству только его духовную силу. Старых греческих богов надо рассматривать только как олицетворения неизвестных сил природы, а предчувствие, что повсюду за этими прекрасными богами находится нечто основное, нечто неизмеримо великое, — это предчувствие не было чуждо древним поэтам. В Афинах был воздвигнут жертвенник неведомому и безымянному великому богу, богу Теона и Гипатии, истинному богу.

На третье утро путешествия, на юго-западном горизонте показались две пирамиды. Больше не было речи о будущем. Прошедшее, эпоха фараонов, вновь завладело всеми. Матросы радовались возможности провести несколько покойных дней в священном месте, а путешественники радостно приветствовали цель своего путешествия. Ветер повернул к востоку; но еще три часа работы и барка пристала. В последнюю минуту чуть не случилось несчастье: при выгрузке маленький погонщик упал в воду и, наверное, захлебнулся бы, если бы Гипатия не подняла на ноги весь экипаж для его спасения. Наконец беднягу вытащили, и спустя немного времени он уже стоял на голове в знак благодарности к своей спасительнице, так что маленький караван мог весело начать свое путешествие по пустыне.

К концу второго дня достигли великой пирамиды Хеопса. По желанию Гипатии, проводники остались внизу. Там, наверху, она не желала увеличивать своих знаний. В сопровождении четырех друзей с трудом поднялась она наверх. Одному Вольфу было разрешено ее поддерживать и изредка подсаживать на особенно высокий каменный уступ.

На верхушке пирамиды посреди своих друзей она долго стояла молча. Над пустыней спускалось краснеющее солнце, как будто оно погружалось в море.

Долго стояли они так. Потом Александр и Троил спустились с маленькой платформы и очень внимательно стали глядеть на Нильскую долину.

Вольф и Гипатия стояли совсем рядом у северного края площадки. Гипатия задрожала и прислонилась к его плечу. Потом она опустилась на колени и долго плакала. Наконец встала и, не глядя на христианина, протянула руки Александру и Троилу.

— Не правда ли, здесь наверху... здесь наверху это не глупо...

Несколько дней бродили они таким образом вокруг пирамид и осматривали все сказочное и загадочное, что сохранилось от времени фараонов. По аллее из сфинксов дошли они до какого-то храма и слышали там молитву жреца Зевса. В православном храме они слушали про-



поведь монаха. А на берегу Нила стояли смуглые феллахи и язычники и приносили жертву.

Переполненное впечатлениями, возвращалось маленькое общество вечером четвертого дня к своей барке. В последний час путешествия по пустыне, когда белые верблюды уже вытягивали длинные шеи к священной воде, один из проводников приблизился к Гипатии, прося ее покровительства. Он просил разрешения доехать на их судне до Александрии. Он хотел снова стать там христианином и заниматься предсказаниями среди христиан. Синезий стал его расспрашивать, и они услышали удивительную историю. Египтянин был сыном прорицателя и сам прорицатель, укротитель змей и заклинатель духов. Он много бродил по свету. Во времена Юлиана он сделался в Александрии жрецом Сераписа. Потом в Константинополе он крестился, перешел с солдатами в Альпы, помогал друидам при их жертвоприношениях, а в Риме снова стал язычником. Милости епископа Миланского снова вернули его христианству. Потом в свите Алариха он был арианцем и затем из страха преследований бежал сюда.

— Но эти египтяне — все нищие, они не в состоянии платить, как следует, своим предсказателям. Я хочу снова стать христианином.

Удивленная Гипатия спросила, разве можно заниматься его ремеслом одинаково во всех религиях.

— Конечно, госпожа, — сказал предсказатель. — Тебя я не буду обманывать. Я убедился, что это искусство нравится одинаково и язычникам, и христианам, и иудеям.

— Мошенник замечательно подходит к нашей философской лодке! — воскликнул Троил, смеясь. И просьба предсказателя была исполнена.

Погрузка продолжалась недолго. В последний момент проскользнул египтянин с мешком. Друзья не обратили на него внимания. Но один матрос схватил мешок и поднял крик. Там было что-то живое. Сбежался весь экипаж, предсказатель упал на колени перед Гипатией и молил о пощаде. В мешке змеи, правда, ядовитые змеи, но лишенные своих зубов. Нельзя отнимать

у него средства к существованию, ни одному прорицателю не будут верить, если он не укрощает змей.

Кудеснику и его змеям разрешили ехать, и его маленькие представления забавляли общество, пока барка спускалась вниз по священной реке. Счастливо и без приключений совершился возвратный путь.

Снова они должны были завоевать себе право перехода из Нила в канал. Они были еще далеко от гавани, когда рулевой испустил ругательство по адресу чего-то, неподвижно покоившегося на поверхности канала. Путешественники всмотрелись. Они перегнулись через борт, чтобы рассмотреть грязную массу. Это была Нильская невеста, кукла, копия Гипатии, которую, по старому обычаю, бросили в воду.

Наместник сообщил, что посетит Гипатию в Академии, дабы открыто показать, что император и государство не находят ничего предосудительного в ее лекциях, но скорее, наоборот, уважают ее, как украшение науки и опору порядка. Александрия гордилась Гипатией, единственной ученой женщиной в империи.

С быстротой молнии распространилось известие, что наместник принял философа под свою защиту и не позволит закрыть Академию.

Наверху, в приемной комнате Гипатии, слова наместника прозвучали, конечно, не так гордо. Правда, он обещал своей прекрасной подруге появиться среди ее слушателей, но в то же время он рассказал и о всех своих затруднениях, сознавшись, что возраст не позволяет ему как следует бороться. С тоской спросила Гипатия, не ее ли особа увеличивает затруднения. Орест не сказал «да», но его «нет» было нерешительно и уклончиво. Он спросил как бы мимоходом, действительно ли Гипатия, как ходят слухи, предполагает отказаться от своей деятельности и уйти в частную жизнь.

Гипатия была сегодня бледнее обыкновенного; теперь она покраснела и обняла своего верного марабу. Птица недоверчиво отскочила от наместника, злобно поглядела на него и встала рядом с ее стулом.

— Они не желают нас больше, старик,— сказала Ги-

патия, похлопав птицу по лысой голове.— Мы должны уступить место. Я — монахам, а ты — воронам и попу-гаям! — Гипатия поднялась и сказала:

— Я благодарю вас за намерение посетить одно из моих занятий. Я принимаю это, как знак внимания — не ко мне, а к нашему общему делу!

Еще несколькими любезными фразами подготовил Орест удобный предлог проститься; потом, сопровождаемый хозяйкой до лестницы, он покинул ее жилище. Здесь он стал думать: что же, собственно, является общим делом для них обоих? Старые боги? Гипатия не верила в них, а он не верил ни во что. Римское государство? Оно рушилось.

Орест хотел доставить добрым гражданам Александрии удовольствие посмотреть на его парадный выезд и приказал ехать вокруг гавани, а затем через Александровскую площадь.

Разряженные горожане наполняли главные улицы. Повсюду мелькали экипажи и наездники. По временам среди разряженных граждан мелькали черные монашеские одеяния отшельников. Возле книжной лавки, где на деревянных подставках лежали папирусы и свитки, стоял проповедующий анахорет. Он требовал, чтобы благочестивые граждане подожгли лавку, предпочитая спалить город, чем терпеть дольше языческие мерзости.

Оресту пришлось выслушать часть этой проповеди, так как лошади двигались в толпе очень медленно. Толпа с бранью расступилась перед его экипажем, и со всех сторон на него глядели злобные лица. Но он хорошо знал своих александрийцев. С насмешливой улыбкой вытянул он шею и воскликнул довольно громко:

— У этого юноши слишком много огня. Не мешало бы загасить его!

В мгновение ока шутка разлетелась вокруг, и среди приветствий, аплодисментов и смеха наместник мог ехать дальше.

Чем дальше продвигался Орест к западной половине города, тем невзрачнее становились дома и лавки и пестрее, смешаннее делалось население. Здесь смешивались гордые египтяне с живыми потомками македонян.

Различные языки Матросского квартала достигали этих улиц. Наместнику всегда почтительно уступали дорогу. Он выехал в ворота, намереваясь закончить день прогулкой по покинутому городу мертвых. Оба боковые курьера получили приказание быстро проехать по узкой и длинной улице Бальзамирвания, чтобы предупредить возможные встречи. Потому что, если бы здесь с парадным выездом наместника повстречался караван верблюдов или хотя бы пара быков, кому-нибудь пришлось бы возвращаться обратно. А Орест знал по опыту, что в подобных случаях должен уступать более умный, то есть, очевидно, наместник императора. Его экипаж катился покойной рысью, и Орест снова, как и всегда, с интересом рассматривал маленькие хижинки, которые строились теперь так же, как и во время фараонов. Египтяне сочли бы оскорблением для богов жить в светлых, приспособленных для человеческого жилья домах. Египетские жрецы учили, что о домах мертвых надо заботиться больше, чем о жилищах живых.

Орест приказал остановиться на минуту — улица была запружена, а он хотел посмотреть, что происходит.

Орест уже собрался вылезти, но вдруг он откинулся и приказал немедленно ехать вперед. Из узкого переулочка стремительно выскочили два горожанина. С быстротой молнии они очутились у экипажа и обрушились друг на друга. Один схватил другого за волосы и принялся награждать ударами; другой, крича от боли, размахивал одной рукой, а второй отпихивал нападающего. Когда дерущихся разняли, на улице стало немного спокойнее, и возница попробовал ехать дальше. Внезапно кто-то из толпы простер руки к небу и закричал так, что его можно было бы услышать в соборе:

— И ты здесь!

Возница стегнул по спине вороных. Лошади взвились на дыбы. Стоящие рядом отступили, и дорога освободилась, когда кричащий внезапно соскочил со стола, схватил одну лошадь под уздцы и, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары бича, продолжал осыпать наместника бранью. Он один шумел так, что со всех

сторон начали сбегаться люди, и в одну минуту улица была и спереди и сзади запружена народом.

Народ не был настроен злобно: несколько десятков, окружавших колесницу наместника, повторяли оскорбления отшельника, грозили кулаками, более отдаленные стояли добродушно.

Положение наместника становилось все хуже и хуже; он не мог противопоставить оскорблениям ничего, кроме спокойного достоинства, а это еще больше раззадорило пьяного, бросившего поводья и теперь стоящего вплотную рядом с экипажем и осыпавшего наместника оскорблениями и угрозами.

Наконец, Орест решил нарушить свое молчание.

— Кто ты, осмеливающийся задерживать наместника императора?

— Кто я? Я — Аммоний! Двенадцать лет я не ел дыста. Вот кто я! А кто ты?

— Я такой же христианин, как и ты, — возразил Орест торжественно. — Тридцать лет тому назад епископ Аттил собственноручно окрестил меня в Константинополе!

Яростный вой и смех были ответом.

— Так ты христианин? Крещеный грек! Сын язычника и христианин!

Все кулаки протянулись к наместнику. Аммоний отступил немного, опрокинул прилавок и, нагнувшись, поднял с земли камень и с криком: «Христианин!» — запустил в голову наместника. К счастью камень задел за кожаный навес экипажа, и упал вниз с ослабленной силой. Но все-таки Орест откинулся назад. Со лба потекла кровь.

Толпа ужаснулась. Только Аммоний продолжал проклинать крещеного грека и искал новый камень.

Тогда справа раздался бешеный топот. Это были спешившие на помощь два солдата, сопровождавшие экипаж. Этого было достаточно, чтобы Аммоний скрылся. Язычники и еретики поспешили на помощь. С обнаженными мечами два солдата пробились к экипажу и очистили дорогу. С диким криком толпа вручила им все еще продолжавшего свои проклятия Аммония. Длинной веревкой его крепко привязали к дышлу.

Так как повернуть лошадей было невозможно, возница медленно доехал до Серапеума, а оттуда, как можно скорее, во дворец.

## 9. СМЕРТЬ ГИПАТИИ

В это самое утро, когда неизменная заря поднялась над Александрией, много существ пробудилось, охваченные жаждой желаний, муки, надежды и ярости. Но души закрыты друг от друга, и зло рождается от их скрытности.

Наместник Орест почти всю ночь не спал, томимый болью и беспокойством. Нерешительность терзала его душу. В продолжение месяца, предвидя грозные события, он умолял в настойчивых письмах константинопольского императора дать ему форменные инструкции. Ответа не последовало. Он не был уверен в войсках, которые почти целиком состояли из язычников. Он отправил накануне в Иудейский квартал единственную когорту, на которую мог рассчитывать. Военачальник Марцелл сообщил ему, что для водворения порядка нужно вступить в настоящее сражение. Он колебался, выжидал.

В это утро, не будучи в состоянии уснуть, он пытался, верный своим привычкам, не думать о том, что мучило его совесть, и старался развлечься.

Развлечением для него служило — заниматься классификацией по родам и видам чудесной коллекции насекомых, которая принадлежала ему и заполняла собой самую большую залу его дома.

В его коллекции были представители всевозможных видов бабочек и жуков, известных в мире, начиная с жука Актеона, целиком покрытого тонким пушком, напоминающим шерсть кошек, и кончая скарабеем Юпитером, на спинке которого изображено человеческое лицо с бородой; начиная с бабочки Подалир с четырьмя крыльями огненного цвета, кончая бабочкой Алексанор, у которой на синеватых полумесяцах крыльев начертаны двенадцать знаков Зодиака. И для него не было большего удовольствия, чем созерцать всю эту пестро-

ту красок, взвешивать плотность щитков и измерять надкрылья и сяжки у жуков.

Он собирался пролить каплю пальмового масла на диковинную куколку, когда привратник доложил, что молодой монах желает его увидеть, чтобы сделать важные донесения.

Привратник был еще полусонный и забыл прибавить, что эти донесения касались Гипатии.

Префект Орест был поклонником знаменитой философики. Иногда он совещался с ней. Утверждали даже, что втайне он любил ее. Если бы имя Гипатии было произнесено, он принял бы монаха Симона. Но серьезные события часто зависят от пустяков.

Префект, с бюреткой в руке, нацеживал каплю пальмового масла.

— Пусть этот монах придет сегодня вечером,— ответил он.

И капля упала на диковинную куколку, к его величайшему удовлетворению.

Математик Теон поцеловал свою дочь с необычным волнением. Он находил ее прекраснее, чем всегда. Он чувствовал, что в ней все дрожит, что с ней что-то происходит.

Он заметил Гипатию, которая гуляла по крошечному садiku, усаженному лаврами, и спустился из своей комнаты, чтобы обнять ее.

Теон был человек кроткий и ученый, постоянно погруженный в математические науки и философию. Ему очень хотелось сказать что-нибудь дочери о своей нежной любви к ней. Но в вопросах этого порядка он никогда не умел выражаться. Ах, насколько легче было писать комментарии относительно Птолемея Альмагеста или толковать о затмениях, чем произнести одно единственное, выходящее из души слово даже такой прекрасной и мудрой дочери, какою была Гипатия.

Может быть, в первый раз в своей жизни, Гипатия, повидимому, не поняла нежности его поцелуя, и рассеянно удалилась.

Она поднялась по каменной лестнице, которая выходила на террасу дома, и облокотилась на балюстраду,

между статуэтками Афины-Паллады и Афродиты, которые стояли друг против друга.

Над нею блистало солнце, заливая своим сиянием весь город, сверкая на белизне монументальных порфиров и вырезая на лазури небес мраморные шпицы и сениитовые колонны. С одной стороны, она видела на светлых террасах яркий пурпур роз, с другой — возвышающиеся ряды висячих садов с длинными аллеями лимонных деревьев. В горячем и неподвижном воздухе поднимался человеческий шум. Гипатия почувствовала зной и усталость.

«Не есть ли преступление против духа то, чему я учу в Академии? — подумала она. — Как боги требовательны! Им нужно служить безраздельно, и минута слабости ничтожает целую жизнь усилий».

Она склонила свое лицо на обнаженную руку, и теплота кожи вызвала у нее дрожь. Она взглянула поочередно на Афины-Палладу и Афродиту, полных могущества, немых, непримиримых.

Она стояла, полная тревоги, между изображениями обеих богинь.

Она перешла террасу и медленно спустилась с лестницы.

Быть может, ничего не случилось бы, если бы Гипатия осталась дома.

На улице стояла ее колесница. Она решила прокаться по дороге вдоль моря, а затем через ворота Луны проехать в квартал бальзамировщиков, чтобы подставить свое лицо под ласку ветра.

Внезапно она очутилась среди рычащей толпы, которая загородила улицу. Она выпрямилась и поднялась на колеснице. Ее окружили со всех сторон. Но в ее взгляде выразилось такое величие духа, что стоящие возле нее посторонились и, может быть, ей удалось бы спастись, если бы кучер хлестнул лошадь и проехал дальше.

Но кучер был совсем еще молодой человек. Понял ли он серьезность минуты по выражению ярости на лицах, или был охвачен необъяснимым паническим ужасом, но он бросил вожжи, спрыгнул со своего сидения и убежал.

Тогда поднялся крик, и около Гипатии, оказавшейся



в одиночестве, образовался угрожающий круг. Она была так спокойна и так прекрасна, что ни одно разумное существо не посмело бы даже коснуться ее платья.

Кто-то из толпы подошел и наотмашь ударил Гипатию палкой по голове. Она зашаталась под силой удара и упала на кузов колесницы. Тотчас же несколько человек, не удерживаемые более, набросились на нее.

— Отведите ее в церковь! Пусть она попросит прощения у Бога за свои грехи! — сказал какой-то голос.

Церковь Цезареи была недалеко. Высокий мужчина и один молодой человек взялись доставить ее туда.

В это время раздался чей-то крикливый голос:

— Пропустите меня!

И женщина лет сорока, принадлежавшая к высшему обществу Александрии, пробилась сквозь толпу и два раза ударила каблуком по лицу Гипатии, повторяя:

— На тебе, проклятая!

После чего, удовлетворенная, удалилась.

Тогда внезапно, словно по какому-то таинственному соглашению, дикое безумие овладело толпой. Пятьдесят рук мяли и били ее тело. На нее плевали. Ненависть к красоте и уму, которая дремлет в глубине низких душ, разразилась безудержно.

Суровый монах бросился на нападающих и, подняв руки, крикнул:

— Несчастные! Что вы делаете! Иисус Христос смотрит на вас.

Монах увидел, как глаза философи широко раскрылись и она пристально взглянула на него. Они были ясные, холодные, умные. Они выражали удивление и то желание понять, которое их всегда оживляло. Ни стона, ни упрека, ни ужаса. Только немного грусти. Это был лишь проблеск, и свет угас.

Толпа завывала. Камни посыпались со всех сторон. И это неистовство дало возможность Гипатии уйти без лишнего страдания в ту страну, тени которой она при жизни взвесила, а тайны — измерила.

Вокруг труп Гипатии поднялись долгие споры. Более умеренные хотели унести останки и сжечь их за городом. Но другие настаивали на том, что для назидания

следовало бы торжественно пронести труп через весь город.

Последние одержали верх и башмачник, чья лавка помещалась близ колонны Диоклетиана, долгое время хвастал, что сам укладывал еще теплый труп на носилки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С благочестивым отвращением к убийцам поведали нам богобоязненные отцы Церкви о событиях, разыгравшихся на улице при убийстве Гипатии.

Но нам известны далеко не все последствия этого события, мы почти ничего не знаем о судьбах друзей знаменитой философики.

Мы знаем только, что еще до начала следующего зимнего семестра Академия была преобразована в высшее христианское учебное заведение и подчинена архиепископу. Из учителей-греков двое, математик и анатом, приняли крещение.

Специалист по Гомеру был приглашен в Константинополь, где ему была обещана полная свобода совести; впрочем, в скором времени, он тоже крестился. Два молодых философа, ученики Гипатии, бежали в Индию. Они взяли с собой книги и рукописи Гипатии, и, как кажется, перейдя в буддизм, поведали индусам кое-что о Гипатии.

Всякое изучение старой литературы или старых религий было запрещено, и только среди черни остались кое-где, наряду с новой верой, воспоминания о вечных олимпийских богах.

Далеко не так хорошо известно нам, как принял раненый наместник известие о кровавых событиях в городе. Он проявил необычную энергичность. Он велел немедленно казнить несколько человек и с помощью своей охраны жестоко подавил небольшое восстание сторонников черни. Однако, очевидно, восстание не ослабевало, так как через пять дней после убийства Гипатии Орест

сел на судно, чтобы как можно скорее достичь Константинополя и там лично просить помощи.

Никто не слушал в Константинополе египетского наместника. Он узнал ужасные новости и должен был сознать, что смерть Гипатии, причинившая ему лично такое горе, не могла особенно тронуть власти, видевшие, как рушится тысячелетнее римское государство. Германские варвары разграбили Рим, и император должен был мириться с этими дикарями и всячески задабривать их, чтобы спокойно жить в своем константинопольском дворце. Тут впервые почувствовал Орест, как трещали и раздавались стены старого Римского государства и как умирало мировое владычество Рима. Наступала новая эпоха. В храме, в котором он мальчиком восхищался чудными статуями жизнерадостных богов, взирал с золотой стены строгий образ мирового судьи. При дворе никто не понимал старого чиновника, говорившего об обязанностях и о вечной идее государства. Там старались только отсрочить окончательное падение и отсрочить какое бы то ни было решение. Ни на кого нельзя было положиться — ни на солдата, ни на офицера, ни на писца, ни на министра. Только колоссально разросшаяся церковь считала себя в состоянии обеспечить придворным господам покойный сон и целость их замков; только этот колоссальный механизм мог сдерживать освободившиеся народы мировой империи; это была единственная оставшаяся сила. И можно было считать счастьем, что во главе церкви стояли умные и волевые люди. Чего хотел педантичный Орест со своими скучными жалобами об убитой женщине? Она была не первая. Никого не интересовало, что это была Гипатия, крестница императора Юлиана, великая философка!

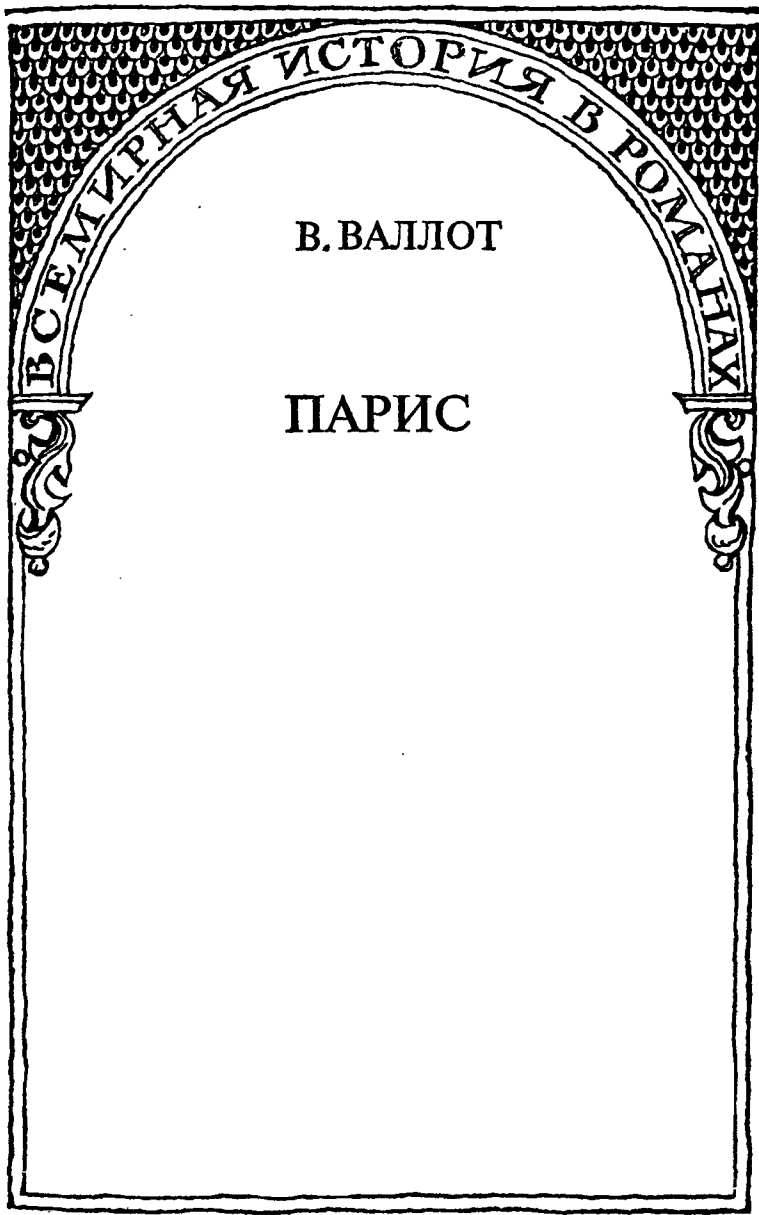
Орест жаждал отомстить за Гипатию. Несколько недель оставался он в Константинополе, беседуя с представителями разных знатных семейств, и ему удалось, наконец, раздуть в них искру старой римской гордости. Кое-где еще считали позором, что женщины и священники правят государством.

Уже наиболее влиятельные из этих людей обеспечили себе доступ во дворец, уже удалось склонить на свою

сторону молодого сына императора, стоявшего во главе патриотической партии, мечтавшей возобновить борьбу с германцами во имя старого Рима, как вдруг новые известия положили конец всяким надеждам. Германцы победили в Галлии и в Испании. Неисчислимые толпы поднялись для набега на Карфаген и нового нашествия на Италию. Рим рушился. Тогда утомленный Орест потребовал отставки. Он настаивал на своем уходе и на несколько дней возвратился в свою бывшую столицу.

Египетские служители Академии попытались собрать пепел мученицы. Горсть его нашел Орест в плохонькой урне. Орест приказал сложить все в прекрасную урну из яшмы и взял ее с собой.

Последние годы своей жизни он провел на острове Кипре. Часто гулял он, высоко подняв голову, в роскошных глухих аллеях своего парка. Там, между высокими миртами и цветущими розами, стояли последние статуи старых богов. Ни один варвар, ни один священник не приходили сюда. Нагая до пояса Афродита с холодной надменностью смотрела в золотой щит Арея, а далеко-разящий Аполлон непрерывно посылал стрелы в противников солнца. А между статуями, в заросшей лавром миртовой чаще, стояла на черно-мраморном цоколе урна из яшмы.



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

В. ВАЛЛОТ

ПАРИС



## I

— Отворите, именем императора!

Этот грозный оклик раздался среди ночной тишины у входа в уединенную виллу, расположенную недалеко от фламийской дороги, близ Рима. Но красивый загородный дом, утонувший в зелени миртов, оставался безмолвным.

— Именем императора! — крикнул вторично чей-то повелительный голос, и крепко запертые ворота задрожали под ударами оружия.

Снова нет ответа. Казалось, за мраморными стенами виллы не было никого, только легкий ветерок пробегал по ветвям кипарисов.

Наконец на песчаной дорожке сада послышались тяжелые шаги, и в одном из окон мелькнул яркий свет.

Владелец виллы, мимический актер Парис, вернувшись домой с вечернего пира, только что лег в постель. Весь Рим восхищался Парисом. Поэт Марциал воспел его в стихах. Несколько дней назад по городу даже стали носиться слухи, будто Парис стал причиной размолвки в императорской семье. Исполняя в театре женскую роль, он танцевал так обаятельно, что императрица Домиция сказала: «Этот юноша опасный человек: ему открыты все тайны женского кокетства».

Всеобщее поклонение римлян избаловало юношу. Постоянно окруженный соблазнами, он пристрастился к вину и любовным приключениям. Каждое утро заставляло его в постели, измученного ночной оргией.

Когда солдаты императора постучались у ворот виллы, владделец спал тяжелым сном, разметавшись в томительном бреду на своем ложе.

Так и застал его невольник Марк, мальчик-подросток, с испугом вбежавший в спальню, чтобы разбудить своего молодого господина. Яркое пламя светильника, озарившее комнату, заставило Париса проснуться. Он вскочил с постели и бросился к окну. Сквозь ветви садовых кустарников Парис увидел медные шлемы императорских солдат, блестящие при свете факелов, точно блуждающие огоньки.

— Неужели это за мной? — пробормотал молодой человек, спеша одеться и опрокинув впопыхах жаровню с угольями, которые не успели еще потухнуть. Рассыпавшись по полу, они попали под ноги Париса, что заставило его вскрикнуть от боли.

Испуганный Марк принялся плакать, но его господин, освежая водою лицо, сердито приказал замолчать и отворить ворота посланным Домициана.

Вскоре чья-то невидимая рука резким движением раздвинула складки занавеси, и в комнату вошел загорелый воин с черной бородой. Это был центурион имперского войска Силий. Вызывающий взгляд Париса заставил его презрительно усмехнуться. Слегка поклонившись, начальник отряда пригласил артиста следовать за ним.

— Куда? — спросил хозяин виллы, задетый небрежным тоном Силия.

— Куда? — с удивлением переспросил тот. — Но кто же об этом спрашивает? Впрочем, насколько мне известно, тебя требуют к императору.

— Ночью? В такой час, когда всякий гражданин имеет право гнать от дверей нарушителей своего спокойствия? — воскликнул Парис.

Эти безумные слова поразили центуриона.

— Зачем, спрашивается, заставили меня встать с постели, когда я утомлен и желаю отдохнуть? — возвысил голос Парис.

Черты воина омрачились, слова гнева и раздражения были готовы сорваться с его губ, но он овладел собою

и, откидывая дверную занавесь, только заметил со смехом:

— Клянусь Юпитером, ты меня забавляешь!

Центурион кивнул двоим солдатам, стоявшим за дверями.

— Берите его под руки,— хладнокровно кивнул он на актера и направился к выходу.

— Ты, верно, не знаешь, что я Парис! — с угрозой крикнул юноша.

Начальник стражи, вышедший из комнаты, надменно взглянул на него через плечо.

— Вот как! ну и прекрасно! Ты — Парис, а я — Силий, центурион... Возьмите его! — повторил он солдатам с прежним хладнокровным высокомерием.

— Ты раскаешься в своей дерзости! — вскрикнул актер, все же сдерживая гнев из-за вооруженной стражи.

— Берегись, чтобы тебе самому не пришлось раскаться,— ответил Силий, сдвигая брови. Он снова повернулся к дверям, между тем как старый невольник, дрожа от страха, делал знаки своему господину, умоляя его покориться.

Но едва только воины подошли к Парису, юноша бросился к туалетному столу, рванул ящик и, торопливо разрыв в нем гребенки, щеточки, склянки с притираниями и головные шпильки, вынул какой-то блестящий предмет, который с торжеством показал центуриону.

— Узнаешь ли ты этот перстень? — спросил актер взволнованным тоном.— Чье это изображение, чье имя? Не Домиции, а?

При первом взгляде на резной драгоценный камень, вделанный в кольцо, начальник отряда остолбенел. На его лице отразился испуг, но Силий поспешил скрыть свои чувства. Он кивнул подчиненным, чтобы они оставили арестованного, и невольно поднес руку к шлему в знак почтения.

— Это камей и вензель императрицы,— прошептал в замешательстве центурион, сознавая, что перед ним человек, несравненно более влиятельный, чем он предполагал.

Обращение начальника отряда резко изменилось. Хо-



тя Силий не мог оставить повелительного тона, боясь уронить свое достоинство, однако он посмотрел на молодого актера менее строго и с ледяною вежливостью извинился перед ним за причиненное беспокойство. По словам центуриона, он не мог не исполнить приказа, хотя это было ему очень неприятно. Император, проснувшись ночью, неожиданно потребовал к себе Париса, но Силию неизвестны дальнейшие намерения Домициана, который строго наказывал любопытство приближенных.

— Я пойду с тобою,— спокойно заметил Парис.

По дороге в город молодой актер молчал. Кто мог знать, что случится с ним в эту ночь? Даже высокопоставленные лица иногда предавались казни без суда. Наметив жертву, Домициан сначала осыпал ее милостями, чтобы развеять подозрение, а потом негласно спроваживал ненавистного человека на тот свет. Станный каприз императора потребовать к себе Париса ночью предвещал мало хорошего. Правда, грозный повелитель до этого дня благоволил к молодому актеру, похваливал его, так что Парису нечего было опасаться; но тайный голос нашептывал юноше, что Домициан втайне ненавидит его. Парис понимал, что мог возбудить жажду мести в деспоте. Юным танцором заинтересовалась слишком высокопоставленная и потому опасная женщина. Она хотела опутать Париса своими сетями; он искусно уклонился от них, но они все-таки его задели. Огонь бешеной страсти, которую питала к нему эта блестящая звезда, если и не сжег Париса, то все же ослепил его. Он едва смел подумать о случившемся, нарочно избегая страшной мысли, как осужденный, выведенный в цирк на растерзание зверям, невольно пятится назад, завидев клетку льва.

Танцуя на сцене, Парис нередко ощущал на себе жгучий взгляд, направленный на него из нижнего ряда мест для зрителей. Он невольно оборачивался в ту сторону и видел величаво-благосклонную улыбку, слышал взволнованный голос, когда его вызывали на подмостки, замечал и яркий румянец, и бледность, быстро сменявшиеся на нежном лице. И рядом с этой роскошной женской головкой виднелись строгие черты мужчины, от которо-

го не ускользало ничего. Когда Парис понял наконец значение этой улыбки, этой нервной дрожи в знакомом женском голосе, ему стало страшно. Любить эту женщину было равносильно смерти, но и отвергнуть такую любовь — тоже значило погибнуть. Опасная поклонница сделалась почти ненавистной Парису, несмотря на ее подарки, несмотря на чудную красоту. Молодого артиста пугало не только зловещее лицо мужчины, сидевшего рядом, с мрачным видом неумолимого палача. Пугала изумительная легкость, с которою влюбленная красавица переходила от страстного пыла к полнейшему спокойствию. Хотя он не ответил ничем, кроме холодной вежливости, но Рим, как известно, мало доверяет добродетели и гораздо охотнее потворствует пороку, в особенности когда этот порок увенчан царской диадемой. Парис был виновен уже тем, что зажег преступное желание в женщине, которая была поставлена выше всех остальных в великой Римской империи. Кто поверит, что этот легкомысленный юноша, участник всех пиров и оргий, мог устоять против знаков внимания со стороны супруги Домициана? И молодой актер заранее считал себя погибшим. Нервная дрожь заставила его плотнее закутываться в плащ, когда он пробирался по римским улицам в сопровождении центуриона. Силий заговаривал с ним не раз крайне вежливым тоном, но Парис едва отвечал на вопросы.

Ночная прохлада освежила его, и он бодро шел вперед, испытывая только по временам мучительное замедление сердца. Тяжелые шаги солдат гулко отдавались на мостовой, между тем как по стенам домов, облитых красноватым светом факелов, мелькали гигантские тени стражников в шлемах и с длинными копьями. Юноша старался рассеять мрачные предчувствия, наблюдая за этими движущимися фантастическими силуэтами. На улицах и площадях попадались прохожие, жизнь в громадной столице не утихала даже ночью. Но чем больше отдалял от себя Парис тяжелые думы, тем настойчивее начинали они осаждать его голову; теперь он почти желал ускорить решение своей участи, потому что неизвестность становилась невыносимой.

В ярком зареве факелов он увидел захмелевшего человека, который стоял, прислонившись к стене, и, прожоя глазами шествие, улыбался бессмысленной, сонной улыбкой. Эта встреча неожиданно рассмешила арестованного. На него нашел припадок нервной веселости, изумившей центуриона. Однако несколько минут спустя Парис снова сделался молчалив и апатичен.

— Что с тобою? — спросил начальник отряда. — Ты встревожен свиданием с императором?

— О нет! — равнодушно заметил Парис. — О чем мне беспокоиться? Пусть делают, что хотят. В худшем случае Домициан может только отправить меня на тот свет.

— Ну, там едва ли тебе понравится, — заметил Сильий.

Чем ближе подходили они к императорскому дворцу, тем сильнее овладело Парисом тупое равнодушие.

Наконец выступила темная громада императорского дворца. Роскошная архитектура здания, широкий портик, золоченые ряды колонн напомнили бедному артисту о страшном могуществе и мрачном эгоизме царившего здесь властелина. Юноша ощутил невольную тревогу, которая еще усилилась, когда его повели вдоль пустынных, нескончасмых коридоров. Раскрашенные стены, освещенные отблеском факелов, глухо отражали мерные шаги солдат. Дворец был погружен в таинственное безмолвие. От дверных занавесей с пестрым рисунком, от золоченых мраморных лестниц, от причудливо расписанных потолков веяло подавляющей могильной тишиной. Казалось, будто бы даже неодушевленные предметы — статуи, урны, колонны — чувствовали на себе гнет жестокого деспотизма Домициана и стояли, погруженные в немое отчаяние. Наконец, Париса привели в обширный атриум, где он опустился на скамью и задремал от утомления, кутаясь в тогу.

## II

В то время когда Парис задремал от изнеможения, Домициан, владыка Рима, сидел на своем роскошном ложе, страдая мучительной бессонницей. Уже не раз

подносил он к губам сонное питье, стоявшее на столике под тяжелым пурпурным балдахинном кровати, но целебный напиток не действовал, и раздосадованный император выплеснул лекарство на львиную шкуру, лежавшую у его ног на мозаичном полу. В спальне горел одинокий светильник, скудно освещающая окружающее великолепие обстановки. Глаза Домициана были задумчиво устремлены на красноватое пламя, над которым вилась легкая струйка дыма, тянувшаяся к отворенному окну. Оконная занавесь по временам шевелилась от ветра, и тогда недоверчивый взгляд императора останавливался на ней; цезарю казалось, что там притаился убийца, подстерегающий свою жертву. Но в комнате все было тихо: невольники спали в своих каморках, и глубокая тишина, царившая вокруг, нарушалась только монотонными шагами часовых и отдаленным журчанием фонтана. Из всех обитателей громадного дворца бодрствовал только обладатель этого немалого мертвого великолепия, равнодушно смотревшего со стен и потолков на мучения грозного властелина. Из небольшого отворенного окна виднелись крыши домов, блестящие при лунном свете, а вдали над ними выступал Капитолий. Император закутался в узорный плащ, надел обувь и подошел своей тяжелой походкой к окну. Несколько минут он молча смотрел на мерцавшие звезды, на заснувший гигантский город, окутанный воздушной фиолетовой дымкой, и глаза Домициана закрылись, его дыхание сделалось ровным, как будто он наслаждался ночью прохладой, видом звездного неба и панорамой Рима в серебристом тумане.

Но вдруг резкий поток воздуха коснулся его лица; император вздрогнул, нахмурился и, отвернувшись от окна, пошел к дверям: довольно тонкие ноги и тяжеловесный корпус мешали быстроте его движений.

— Антоний! — крикнул он, заглядывая в соседнюю комнату.

В спальню прошмыгнул карлик; он остановился у дверей, зевая, почесывая курчавую голову и сердито протирая заспанные глаза. Домициан снова сел на постель и подозвал к себе уродца.

— Сон не повинуется даже властителю Рима! — заметил император слегка смягченным тоном. — Он приходит или бежит от человека по своей собственной прихоти. Сегодня я спал не более трех часов; боги не милостивы к твоему государю, Антоний, тебе следует хоть немного развлечь меня.

— Чем может угодить тебе жалкий горбун, великий государь? — спросил карлик, сворачиваясь на львиной шкуре у ног цезаря. Домициан провел рукою по его курчавым волосам, потрепал морщинистые щеки своего любимца и опять погрузился в мрачную задумчивость. Немного спустя он с грустной улыбкой сказал карлику:

— Мы с тобой пара: ты калека, а я страдаю бессонницей, то и другое происходит от нездоровья.

— Да, господин, я ношу горб, а ты корону; то и другое — безобразие, — сказал, вздыхая, Антоний. Он положил голову на колени Домициана и прибавил плаксивым тоном: — Как бы я хотел еще уснуть, мое убожество не препятствует этому!

Но император не отпускал от себя усталого карлика.

— Если скучно, то вот твой грифель, а вон — видишь? — притаилась муха, — кивнул Антоний.

Домициан, который с увлечением охотился за мухами, засмеялся и, взъерошив обеими руками волосы карлика, шутливо ответил:

— А хочешь, я вырву, ради смеха, все твои волосы поодиночке?.. Но не бойся: сегодня мне не до мух, а тем более я не стал бы мучить своего верного слугу. На кого можно так положиться, как на тебя, Антоний?

— Ого! — недоверчиво отозвался карлик.

— Не веришь? — спросил Домициан. — Разве тебе не известно, что могущественный владыка окружен обманщиками? Да, мой милый, положение государей очень грустно: мы жертвы людского вероломства.

— Итак, я твой единственный друг? — спросил карлик, решаясь поразить своего господина.

— Единственный, которому я доверяю.

— Но у тебя есть Домиция, твоя жена.

При этих словах Домициан сделал резкое движение коленями; голова карлика соскользнула и ударилась о

металлический борт кровати. Прижав ладони к ушибленной щеке, Антоний принялся громко стонать, жалобно поглядывая на императора. Но, едва заметив пристальный, зловещий взгляд и крепко сжатые губы цезаря, Антоний замолчал. Он отнял руки от лица и низко опустил голову. Теперь ему стало ясно, отчего владыка Рима страдал бессонницей. Этот взгляд, это невольное движение служили доказательством, что городские сплетни дошли до слуха Домициана.

Страшное сомнение в верности Домиции лишало императора сна. Злорадный карлик нашел средство отомстить своему государю за ночное беспокойство. Когда Домициан с трудом поднялся на ноги и стал прохаживаться взад и вперед медленным, неровным шагом, Антоний растянулся на ковре.

— Кто позволил тебе говорить о Домиции? — спросил император, судорожно схватив рукою занавесь над своей постелью.

Карлик захихикал.

— Говорить о Домиции? Ну, государь, тебе было бы немало хлопот, если бы ты приказал молчать о ней всем посетителям римских кабачков. Согласись сам, что тайны очень легко становятся известны всем.

Домициан, стоявший у канделябра, почти со страхом взглянул на карлика, между тем как Антоний валялся по ковру, как обезьяна, строя отвратительные гримасы.

— Известны всем? — повторил император почти беззвучным, прерывающимся голосом. — Что ты хотел этим сказать?.. Я думал..

— Видишь ли, государь, — отвечал шут, прикидываясь растроганным, — мне больно говорить о таких вещах, но я никогда не боялся высказывать правду сильному, недаром ты назвал меня истинным другом... — Карлик запнулся и, покачиваясь на ковре, неожиданно добавил: — Разве ты не говорил этого?

Домициан кивнул головой.

— Ну, — продолжал Антоний, ехидно отчеканивая каждое слово, — в таком случае я готов оказать тебе хотя горькую, но тем не менее важную услугу. Говоря откровенно, упоминать одно имя и намекать на одно по-

стыдное дело так же опасно, как быть виновным самому. Но я знаю, что ты готов ко всему, что я не сообщу тебе ничего нового. Тебе известно так же хорошо, как и мне, как целому городу, как...

У Антония сорвался голос от радостного волнения.

— Что? — с горечью крикнул император, мучимый страшным подозрением. — Что же мне известно? — прибавил он, опомнившись и понижая голос.

Карлик подполз к его ногам, начал их гладить ладонью и спросил с таинственным видом:

— Ты знаешь танцора Париса, которому римские матроны так охотно дарят свои взгляды и улыбки? Этот плясун так строен и красив, что даже одна высокопоставленная особа охотно любит его им...

Грудь Домициана судорожно поднималась, но он сдержал волнение и с притворным равнодушием попросил шута рассказать что-нибудь о молодом актере.

— Во-первых, это тот самый артист, которому Марциал посвятил эпиграмму, известную целому городу, — сказал Антоний.

Затем последовало описание красоты Париса, причем карлик со вздохом противопоставил ей собственное безобразие, мешающее ему нравиться государыне. Любимец императора похвалил ловкость танцора, представил его приятную манеру говорить, рассказы о многочисленных любовных успехах юноши и намекнул, что ни одно женское сердце не может устоять против его очарования, когда он исполняет женские роли. Жена одного римского сановника, по слухам, разорилась в угоду Парису, другая исчахла от страстной любви, а некоторые влюбленные лишили себя жизни.

— Говорят даже, — прибавил в заключение Антоний, — что одна очень, очень важная особа заинтересована им, но не будем толковать о том, мой добрый государь; неосторожное слово как-то нечаянно сорвалось у меня с языка!

Слушая карлика, Домициан нахмурил брови и подошел к окну; в эту минуту у дверей появился караульный, который доложил императору, что Парис ожидает в атриуме.

Антоний вскрикнул от неожиданности. Артерии на лбу Домициана раздулись, лицо побагровело, однако он сохранил наружное хладнокровие и спокойно потребовал к себе центуриона Силия, распорядившись, чтобы стража стояла наготове.

Император, не говоря ни слова, так долго смотрел в упор на стоявшего перед ним в смиренной позе начальника отряда, что тому стало наконец не по себе; увидав замешательство воина, Домициан произнес:

— Могу ли я на тебя положиться?

— Я солдат Римской империи! — с гордостью отвечал Силий.

— Прекрасно, — кивнул император.

Он прошелся по спальне и, остановившись напротив центуриона, сказал несколько дрожащим голосом:

— Спрячься здесь, в соседней комнате! Если я отпущу Париса со словами: «Я доволен тобою!» — то отведи его немедленно в клетку львов, назначенных для представления в цирке, понял?

Император запнулся, но, заметив полное бесстрашие в лице Силия, прибавил, стараясь сохранить царственное величие в осанке:

— До меня дошли слухи, что этот актер бунтует народ, подстрекая римлян к восстанию.

Центурион по-прежнему молчал. Это немного смутило Домициана, и он нерешительно добавил:

— Если я скажу ему: «Берегись в другой раз возбуждать гнев твоего государя», — отведешь артиста домой.

Оставшись наедине с Антонием, Домициан неподвижно прислонился к нише окна и, слегка наклонив голову, пожирал глазами занавесь на дверях, откуда с минуты на минуту мог появиться ненавистный соперник.

Шуту страстно хотелось расспросить императора о многом, но неподвижные черты повелителя и мрачный взгляд исподлобья внушали карлику невольный страх. Однако он с любопытством ожидал прихода Париса. В глазах Антония все это походило на представление на арене цирка, когда перед зрителями появляется беззащитный заяц, который не чувствует, что к нему неслышной поступью подкрадывается тигр.



Недоверчивый, суровый Домициан после Антония, служившего ему игрушкой, дорожил еще только одним существом в целом мире. Это была его жена Домиция. Цезарь действительно любил ее. Пленившись ее красотой на представлении в цирке, Домициан отнял молодую женщину у законного мужа, Элия Ламии, и таким образом она сделалась императрицей Рима. Император ревниво оберегал Домицию от соприкосновения с внешним миром, как драгоценное произведение искусства, которое опасно подвергать действию солнца и ветра. По его мнению, жена должна была любить этот затворнический образ жизни и довольствоваться обществом своего царственного супруга. Между тем под внешним равнодушием Домиции скрывалась необузданная, пылкая натура; она не могла примириться с неволей в золотой клетке. Одинокое упражнение императора в метании диска, в гимнастике и охоте за мухами вскоре сделались для нее невыносимыми, хотя молодая женщина сначала потворствовала всем прихотям Домициана и только понемногу начала обнаруживать свое пристрастие к удовольствиям. Цезарь пошел на уступки, позволив жене изредка посещать театр. Мучимый ревностью, Домициан решился следить за любимой женщиной, бывая вместе с нею в театре: скрытный по природе, император легко угадывал чужие хитрости, и его было невозможно провести. Он тотчас заметил, что Домиция вспыхивала румянцем при появлении молодого актера. С этой минуты цезарь начал жестоко страдать.

Заслышав в галерее приближающиеся шаги, император почувствовал замешательство. Он не знал, как начать разговор с Парисом. Как далеко могут идти расспросы, не унижая царского достоинства, как отнесется к ним Парис, что он подумает о странной прихоти императора потребовать его во дворец в глухую ночь? Не было ли глупостью позвать его сюда?

Но сделанного не поправишь, и теперь Домициану предстоит унижить себя перед жалким плясуном.

Когда шаги приближающихся людей стали слышны в соседней комнате, цезарю так сильно ударила в голову кровь, что у него потемнело в глазах; а когда из-за

складок дверной занавеси выступила грациозная фигура Париса, несчастный Домициан подумал, что он сам, со своим расплывшимся корпусом и плешивой головой, играет здесь роль подсудимого перед лицом обворожительного Адониса. Луч благоволения Домиции коснулся этого юноши, возвысив его и сделав неприкосновенным в глазах императора.

Парис, несмотря на свою тревогу, старался держать себя непринужденно; он принял изящную позу, осмотрелся вокруг, и так как Домициан молчал, то актер заметил, что он явился на зов государя. Его слова были сдержанны, в них не было ни гнева, ни самоуничтожения. Соперник Домициана тотчас понял, что творится в душе владыки Рима; он скромно опустил голову, зардевшись, в свою очередь, ярким румянцем.

Цезарю стало ясно, что Парис щадит его, и, оскорбленный таким снисхождением, он решился показать, какая неизмеримая бездна отделяет наемного плясуна от венценосца. Домициан опустил на свое ложе и сказал, презрительно улыбаясь:

— У меня бессонница, пляши!

— Что такое, великий государь? — спросил Парис, встрепенувшись.

— Позабавь меня, мне скучно. Пляши! — грубо ответил император, между тем как шут, наблюдавший с хихиканьем эту сцену, злорадно прищелкнул пальцами, что вызвало, однако, неодобрительный взгляд со стороны Домициана.

— Танцевать? В такое время? — изумился задетый артист.

Наступило молчание. Император в раздумье смотрел себе под ноги, но потом, как будто очнувшись, устремил сверкающий взгляд на соперника.

— Почему же нет? — ледяным тоном спросил он. — Мне часто хвалили твоё искусство, но я не имел еще случая полюбоваться им вблизи. Как тебе известно, я близорук и не могу хорошенько следить за театральным представлением. Может быть, мы сделаемся друзьями, если ты мне угодишь. Танцуй же! Предоставляю тебе выбрать какой угодно танец: для меня это безразлично.

Парис поднял зардевшееся лицо, и его губы сжались с выражением горечи.

— Ты шутишь, повелитель,— прошептал он тихим, сдавленным голосом,— тебе хочется посмеяться надо мною!

Домициан непринужденно расположился на подушках своего пышного ложа, как бы готовясь к ожидаемому зрелищу.

— Шучу? — возразил он, тонко улыбнувшись и наслаждаясь унижением своей жертвы.— А если бы я даже шутил, что тебе до этого? Но я не шучу! Мне хочется изучить по твоим движениям искусство нравиться женщинам. Говорят, будто бы ты сделал рогоносцами всех римских мужей. Покажи свой талант, исполни в танцах женскую роль.

Последние слова, произнесенные с особенной небрежностью, поразили Париса, как удар ножа.

Судорожно держась за спинку стула, молодой человек стоял совершенно уничтоженный, и его побледневшие губы дрожали.

— Я не стану танцевать,— произнес он глухим голосом, решительно тряхнув головою.

Домициан в изумлении вскочил с кровати и долго смотрел на смертельно бледного артиста.

— Ты не хочешь повиноваться? — спросил сквозь зубы император. Теперь он говорил тихо, без гнева, уставившись глазами в пол. Парис, готовый ко всему, неподвижно стоял, опустив голову.

После продолжительной паузы император позвал раба, которому велел поправить пламя канделябра, а сам перешел с постели в кресло. Невольник удалился. Домициан впал в задумчивость, как будто совершенно забыв о присутствии танцора. Наконец он с расстановкой произнес:

— Ты слишком горд, Парис.

Актер, успевший прийти в себя, был удивлен милостивым тоном повелителя и с облегчением вздохнул.

— Великий государь, что будет с человеком, если отнять у него самоуважение? Ведь он тогда уподобится животному!

Домициан кивнул головой. Слова артиста внушали ему невольное почтение. Император понимал, что он имеет дело не с презренным плясуном и комедиантом, но с человеком, который сознает свое достоинство и не позволит запугать себя угрозами. Это соединение почтительности и твердости понравилось Домициану-монарху.

— Я не сержусь на твой отказ,— спокойно сказал Домициан, сохраняя в лице какое-то мечтательное выражение,— не могу не сознаться, что мне нравится в тебе стойкость. Ремесло плясуна презренно, но сам ты, по видимому, человек благородный.

После этого цезарь встал и вышел в соседнюю комнату, где прятался центурион. В голове императора созрел новый план.

— Силий! — прошептал он.

Начальник стражи тихо приблизился к императору.

— Надеюсь, что ты не проболтаешься? — не без тревоги заметил тот.

Центурион приложил руку к сердцу и хотел поклясться в своем молчании, но Домициан перебил его.

— Ступай в левый флигель дворца и прикажи разбудить Домицию,— сказал он едва слышно, наклоняясь к уху удивленного Силия.— Никаких объяснений! Императрица должна немедленно прийти ко мне.

Начальник стражи торопливо ушел, а Домициан сделал несколько шагов вслед за ним.

Между тем, пользуясь отсутствием императора, карлик Антоний старался завязать беседу с Парисом. Неожиданно выведенный из своей задумчивости, молодой актер почти со страхом взглянул на шута, который приполз к нему и начал шептать о чем-то; но юноша не слушал карлика, отвечая на его слова только рассеянным взглядом.

Когда Домициан вернулся, Антоний отошел. Цезарь, заложив за спину руки, неторопливо ходил по комнате, изредка поглядывая на Париса.

— Скажи, правда ли, что ты опасен женщинам? — вдруг спросил император, стараясь придать беззаботный тон этим словам.

«Наконец-то!» — подумал Парис.

— Я полагаю, великий государь,— возразил он с особенным ударением,— что, напротив, женщины опасны для меня...

Домициан взглянул на него вскользь и провел рукой по своему голому черепу.

— Клянусь Юпитером, твой ответ удачен! — засмеялся император.— Но скажи мне, сколько любовных интриг завязывается у тебя каждый месяц?

Парис, понявший, под прикрытием юмора, чувства императора, задумался.

— Государь,— ответил он после некоторой паузы, и в его словах почуствовалось тщеславие,— если бы я ответил каждой женщине, то у меня не хватило бы ни времени, ни сил: ведь я не божество, а слабый смертный; но, кроме того, знай, что я не только презираю женщин, но вместе с тем и боюсь их.

— Однако они все сходят по тебе с ума! — перебил император.— Почему же ты их боишься?

— О великий государь,— ответил Парис, стараясь сохранить свою непринужденность,— благоразумие часто перевешивает любовь. Артисты не герои; оружием служат нам слово, музыка, кисть, резец, но мы не привыкли носить меча, и если захотим наслаждаться любовью, то избегаем опасности, тогда как для других, более воинственных людей опасность играет роль лучшей приправы к любовным похождениям. Но художники избегают излишних беспокойств. Неужели ты полагаешь, что я решился бы подвергнуться гневу всех тех мужей, жены которых выказывают мне внимание?

— Так тебе приходится иногда отклонять лестные предложения? — спросил Домициан, пронизывая взглядом юношу.

— Я не могу любить женщину, уже любимую другим мужчиной!

Домициан слегка покраснел.

— А что ты будешь делать, если тебя полюбит чужая жена и станет добиваться твоей взаимности? — тихо, почти робко спросил Домициан, опускаясь на стул.

— Гораздо легче уклониться от любви женщины, чем от ненависти мужчины,— в раздумье ответил танцор.

В первый раз в жизни Домициан растерялся. Впервые он видел человека, говорившего так откровенно, что ему хотелось верить.

— На этом месте я постоянно руководствовался бы этим изречением,— серьезным, но ласковым тоном заметил император.— Мне самому было бы жаль, если бы ты сделался жертвою обманутого мужа. Избегай сладострастных римских матрон! Наемный убийца за два динария может зарезать тебя из-за угла. Улыбка женщины оплачивается иногда ценою жизни.

Парис хорошо понял скрытый смысл этих слов.

— Но и мужья, в свою очередь,— отвечал он,— должны способствовать охранению своей чести.

— Понимаю,— пробормотал Домициан.— Значит, в Риме есть неблагоразумные супруги, которые не хотят оказать тебе поддержки в благородных стремлениях?

— Гнев отвергнутой женщины также опасен...— прошептал актер, как будто про себя, полужакрывая вздрагивающие веки.

Недоверчивая душа Домициана смягчилась, он вздохнул свободнее; тяжелый камень скатился с его сердца: ему стало ясно, что Домиция не нарушала супружеского долга ради любви к Парису. Никто не осмеливался оспаривать у императора обладания любимой женщиной, она безраздельно принадлежала только своему царственному любовнику! Человек, подозреваемый Домицианом в вероломстве, был далек от преступных замыслов. Это сознание на минуту преобразило владыку Рима. Человечество показалось ему вдруг менее ненавистным; если бы он мог найти хотя одну неподкупную душу, то охотно приблизил бы такого подданного к своему трону, чтобы замкнуться в тесном общении с преданным существом, презирав всех остальных.

Под влиянием такого благоприятного момента император подошел к юноше и взял его за руку.

— Твои слова мне нравятся. Если бы ты мог заглянуть в мое сердце, то убедился бы, что я начинаю чувствовать к тебе доверие.

Молодой человек вздрогнул, инстинктивно отнимая руку. Император с неудовольствием отошел. Актер про-

лепетал несколько слов благодарности, раздумывая про себя, была ли его гибель делом решенным, или он мог на этот раз поверить благосклонности человека, изумлявшего всех загадочностью своего характера.

Между тем Домициан, разгневанный, что он так поспешно высказался и что его великодушный порыв был встречен недоверием, погрузился в молчание. Ядовитые сомнения снова закрались ему в душу.

Если Парис был невиновен, то Домиция могла питать к нему преступную любовь. Для Домициана было плохим утешением, что танцор отвергал пылкое чувство царицы, страсть которой, пожалуй, еще сильнее разжигалась препятствиями. О, в таком случае владыка Рима был жалким нищим в сравнении с пленительным юношей, добровольно отталкивающим от себя то, чего напрасно жаждал несчастный Домициан!

Императрица вошла в комнату легкой поступью, с веселой улыбкой на свежем лице. Молодая женщина приблизилась к мужу, ласково прошептав ему приветствие и протягивая руку, которую тот взял после минутного колебания. Домиция держала себя со свойственным ей спокойным достоинством.

Стыдливо опустив ресницы, она с притворным замешательством подставила императору для поцелуя свой белый лоб и удивленно вскинула глаза, когда Домициан отстранил ее рукою. Только тут императрица заметила присутствие постороннего, стоявшего в тени. Едва уловимое подергивание губ обнаружило ее волнение; она узнала Париса.

Она притворно зевнула, заметив, что теперь ей было бы приятнее спать, чем любоваться пляской.

Парис также не скрывал своего неудовольствия под пристальным взглядом врага, и, когда император в нерешительности замолчал, юноша осмелился попросить, чтобы его отпустили, потому что он смертельно устал.

Император, видя, как ускользает от него роковая тайна, обратился к Домиции.

— Попытай счастья, дорогая,— сказал он непринужденным тоном.— Из-за бессонницы я позвал этого юношу, чтобы он развлек меня, но Парис отказывается тан-

цевать; попроси его ты, может быть, он скорее исполнит твоё желание.

Молодой актер закусил губы, и, когда Домиция с величественным и благосклонным видом сделала несколько шагов в его сторону, он отступил назад, бросая на императора умоляющие и недовольные взгляды. Действительно, вид Домиции, которая с притворной робостью и вкрадчивой лаской просила Париса доставить ей удовольствие своим искусством, внушал артисту такое отращение, что оно проступило на лице.

— Оставь его, милое дитя,— сказал Домициан жене.— Я вижу, бедному юноше нужен отдых.

Затем, обратившись к Парису, Домициан позволил ему удалиться.

Когда в спальню вошли слуги, которым предстояло проводить актера, цезарь еще раз обернулся к нему и, поглядывая на дверь комнаты, где скрывался центурион, пробормотал вполголоса:

— Остерегайся навлечь на себя гнев своего государя! Парис вышел, почтительно поклонившись.

Домициан, сидя на постели, молча слушал болтовню Домиции, кивая головою, когда жена передавала ему городские новости или советовала развлечься игрой в шашки и стрельбой из лука. Наконец молодая женщина со смехом указала на храпевшего Антония.

— Не ушипнуть ли его за ухо? — спросила она, улыбаясь.— Или лучше капнуть ему на нос горячей смолой из светильника?

Но недовольный Домициан отвернулся и велел ей прекратить шалости.

Утренняя заря занималась уже над городом, и ее бледный серовато-желтый отблеск заиграл на мозаике мраморного пола в спальне императора. Тогда Домиция, прервав тягостное молчание, схватила руку императора, порывисто прижала ее к груди и, прошептав: «Прощай!» — поднялась с места.

Домициан испуганно поднял глаза.

— Что ты хочешь делать? — спросил муж.

Домиция, с трудом подавляя свой гнев, торопливо закутала обнаженные плечи черным покрывалом, скло-



нила голову и прошептала притворно-печальным тоном:

— Если я наскучила моему супругу, то не хочу надо-  
еждать ему своим присутствием.

Печальное выражение в чертах все еще любимой женщины растрогало Домициана; он пробормотал не-  
сколько слов в извинение, но императрица меланхоли-  
чески покачала головой, отвернулась в сторону и вос-  
кликнула:

— Боги, чем я заслужила его недоверие!

Император вздрогнул, но вместе с тем почувствовал  
облегчение. Домиция первая произнесла роковое слово.  
Нахмутив покрасневший лоб и стараясь не смотреть ей  
в глаза, Домициан прошептал:

— А разве у меня нет причины сомневаться в твоей  
искренности?

— Сомневаться во мне?! — воскликнула женщина.

Она подняла глаза к небу, как бы призывая его в  
свидетели своей невиновности, а потом перевела их на  
мужа. Этот взгляд обезоружил его.

— Да,— продолжал он уже несравненно мягче,— раз-  
ве у меня нет причины не доверять?..

Домиция колебалась, не зная, следует ли ей запла-  
кать, или засмеяться, чтобы произвести желанное дейст-  
вие на влюбленного. Наконец она решилась — для боль-  
шего успеха — соединить одно с другим. С видом оскорб-  
ленного достоинства императрица выпрямилась, заломил  
руки и стояла несколько секунд, не говоря ни слова,  
точно душевное волнение отняло у нее голос.

— Я давно догадывалась об этом,— начала она едва  
слышно, как будто пересиливая себя,— я чувствовала  
в цирке, что мой супруг наблюдает за мною...

Здесь голос Домиции начал заметно дрожать.

— Однако я не говорила ничего,— продолжала она,—  
я не смела оправдываться, из опасения, чтобы мои сло-  
ва не были перетолкованы в дурную сторону...

Истерические вздохи, прервавшие речь царицы, пред-  
вещали близкие слезы.

— Так вот благодарность за то, что я покинула свое-  
го мужа, Ламию, что из любви к императору я лишилась  
доброе имени, навлекла на себя вечный позор! Меня по-

дозревают в преступной любви — и к кому же?.. О, я догадываюсь обо всем!.. В любви к плясуну на публичной арене! Клевета осмеливается соединить мое имя с именем презренного актера!

Домиция зашаталась и, закрыв руками лицо, судорожно рыдая, направилась к дверям.

— Актеры, особенно танцующие, обыкновенно нравятся женщинам, — сказал Домициан, не обращая внимания на слезы.

— Это неправда! — прервала императрица, все еще отворачиваясь от мужа.

— Вот как! — произнес тот сквозь зубы. — Но танцоры народ красивый. Этого ты, конечно, не станешь отрицать?

Домиция медленно повернулась и подошла к цезарю. Ее лицо было озарено улыбкой, хотя в душе клокотала буря ненависти.

— Что значит красота в сравнении с могуществом? — прошептала женщина.

С этими словами она погладила рукою обнаженный лоб императора.

— Ты права, потому что сильный может стереть эту красоту с лица земли! — прошептал он чуть слышно.

Испуг промелькнул в глазах Домиции, но она овладела собою.

— Красота! красота! — презрительно прошептала императрица.

Она быстро наклонилась и будто в порыве глубокого чувства горячо поцеловала голову мужа — в самую плешь. Домициан понял, что ласка жены была насмешкой, но ничего не сказал.

— Ну что тебе за охота вечно толковать об этом несчастном плясуне? — залепетала она. — Не смей больше произносить его имени! Парисом можно любоваться на сцене; его позы, прыжки искусны: он талантливый танцор. Но разве можно полюбить плясуна?

Присев на край постели, Домиция ласкала мужа. Положив голову к ней на грудь, император позволил красавице проводить крошечной ручкой по своим морщинам.

стым щекам. Едва только Домициан с шутливой серьезностью начинал говорить о своих немолодых годах, как императрица зажимала ему поцелуями рот, говоря, что он стыдит ее, как будто она какая-нибудь греческая цветчица или плясунья.

Наконец император задремал на груди Домиции. Тогда ее губы полураскрылись, как будто она изнемогала от страдания, и на прекрасных глазах, устремленных в окно, показались слезы.

Антоний, притворяясь спящим, исподтишка внимательно следил за каждым движением Домиции.

Неожиданно император очнулся. Повернув голову к свету, он сказал небрежно-высокомерным тоном:

— Однако ты прекрасно сыграла свою роль!

— Какую роль? — тревожно переспросила Домиция.

— Неужели ты думаешь, что я поверю женскому лукавству?

— Но, милый друг... — начала Домиция.

— Прошу тебя, замолчи! — презрительно скривился император. — Ты видишь, я не сержусь; ты меня позабыла. Наконец это все равно — искренни ли твои речи, или нет. Ты прекрасна, и лицемерие в моих глазах не отнимает у тебя красоты.

Смушенная и обиженная, императрица начала оправдываться, но Домициан сердито остановил ее.

— Не раздражай меня! — с гневом воскликнул он. — Помни: я всех вас вижу насквозь.

Он запнулся, вздохнул и добавил вкрадчивым шепотом:

— Сколько в тебе женственной прелести, Домиция! Какие роскошные плечи, какой стройный стан, какое очаровательное, невинное личико! Нет, с моей стороны, было бы несправедливо оскорбить тебя недоверием, не так ли? Такому прелестному созданию поверил бы даже бог клеветы и обмана...

Отвратительный смех прервал эти слова; уничтоженная царица не знала, что сказать.

Несколько часов спустя карлик Антоний пробрался в спальню Домиции, где долго сидел, притаившись за бал-

дахином кровати, пока не пришла царица. Услышав ее рыдания, карлик вышел из засады. Молодая женщина лежала ничком на подушках, как будто стараясь ничего не видеть вокруг себя. Ее стройное тело вздрагивало от истерического плача. Заметив это, карлик нарочно опрокинул небольшую скамеечку. Царица с легким криком вскочила с постели, испуганно глядя на непрошеного посетителя.

Через некоторое время Антоний вышел из спальни.

Разговор с Домицией привел его в самое приятное настроение.

### III

Красноватый отблеск утренней зари, показавшись из-за Эсквилинского холма, проник в закопченный шинок Субурры, освещая грубо сколоченный деревянный стол, залитый вином и соком жареного мяса.

Среди остатков вечернего пира покоились головы крепко спавших юношей, которые так и остались на своих местах. Они будто продолжали застольную беседу, стараясь превзойти друг друга громким храпом на разные лады. Едва только один из них затихал, другие усерднее прежнего продолжали прерванный концерт. Эти резкие звуки не могли разбудить молодой женщины, крепко заснувшей на полу с кубком в руке. Растрепанный венок спускался на ее румяное лицо.

Огонь светильника тускло озарял окружающие предметы: опорожненный сосуд для смеси вина с водою, опрокинутые стулья, устричные раковины, растоптанные розы. Голубоватое пламя колебалось от легкого утреннего ветерка, который проникал сквозь открытую кровлю здания. Прохладная струя воздуха шевелила черные кудри юношей.

Глубокая тишина царствовала еще в таверне, хозяин и слуги спали, но со двора доносился уже голос петуха. На карниз кровли вспорхнул воробей. Заглянув в комнату, он опустился на уставленный кушаньями стол и начал клевать виноград, поводя во все стороны подвижную головкой и тихо чирикавая. Оставив корзину с фруктами,

птичка принялась за раскрошенный хлеб. Ее щебетание привлекло на крышу других воробьев, но они не решились последовать примеру смельчака; тот же, расхрабрившись, вспорхнул на край недопитого кубка, который тотчас опрокинулся. Воробей испуганно чирикнул, замаха крыльями и поспешил улететь.

Деревянный сосуд, скатившись со стола, попал в голову женщины, заснувшей на полу. Она схватилась рукой за ушибленный висок и пробормотала вприсонках, не поднимая отяжелевших век:

— Это что? Оставь свои шутки, Парис!

Девушка собиралась снова заснуть, но, почувствовав холодную струю пролитого вина, вздрогнула и открыла глаза. Ругательство сорвалось с ее хорошеньких губок; не довольствуясь этим, она толкнула ногой одного из юношей, сидевшего к ней ближе других. Тот поднял голову и, тяжело переводя дух, уставился бессмысленным взглядом в стоявшую перед ним корзинку с плодами, очевидно, не понимая, что с ним происходит.

На противоположной стене комнаты виднелось маленькое завешенное окно. Чья-то невидимая рука отдернула занавеску и за проволочной решеткой показалось сначала старообразное лицо карлика, а потом лицо красивой женщины. Она окинула внимательным взглядом внутренность комнаты и наклонилась к своему спутнику, который осторожно поднимал оконную раму.

— Ты уверен, что это он? — прошептала женщина, положив руку на плечо горбуна. — Мне трудно узнать его в полусвете.

— Да, да, это Парис, — отвечал с подавленным смехом карлик. — Полюбуйся на него, госпожа.

— Не говори так громко, бессовестный! — остановила его красавица. — Парис может услышать.

Однако усталый артист не обратил внимания на шепот. Он все еще бессознательно смотрел перед собою, сжимая руками виски, в которых стучала невыносимая боль. Зевнув, молодой человек наконец очнулся. Он обвел глазами комнату, и на лице появилась усмешка. Однако усталость брала свое. Парис снова опустил голову на сложенные руки.

Женщина, смотревшая из окна, вынула записку, сорвала с руки золотой браслет в виде змеи, вложила между его звеньями исписанный листок бумаги и бросила массивное запястье в сторону Париса. Браслет слегка задел актера и прицепился к складкам его одежды.

— Ты поступила неосторожно,— заметил карлик,— на запястье вырезан твой вензель!

Оконная рама опустилась, и посетители исчезли.

Между тем утренняя прохлада все же заставила Париса очнуться.

Юноша потянулся, взглянул на небо, обвел глазами захмелевших товарищей и покачал головой.

Беспорядок в комнате и женщина, спавшая на полу, напомнили Парису подробности вчерашней оргии. Он с отвращением посмотрел на храпевших кутил, знатных юношей Рима и на хмельную гетеру. Парис поспешил незаметно выйти. Он столкнулся у наружной двери с хозяином; трактирщик, встревоженный, приказывал одному из рабов вооружиться на всякий случай толстой дубиной и зорко следить за целостью хозяйского добра.

Оставив буйных товарищей, актер медленно шел по безлюдным улицам. После продолжительной ходьбы юноша достиг наконец форума; здесь, когда он хотел плотнее закутаться в плащ, ему попало под руку золотое запястье, прицепившееся к складкам его одежды.

— Опять! — с неудовольствием прошептал Парис и, пробежав глазами записку, вложенную между звеньями браслета, изорвал ее на мелкие клочки. Запястье молодой человек решил бросить в Тибр — на внутренней стороне браслета был вырезан вензель императрицы: такой залог любви мог стоить жизни избраннику Домиции.

Эта находка еще сильнее расстроила Париса. Погрузившись в невеселые думы, он, впрочем, скоро забыл и о письме, и о подарке. Возле овощного рынка ему бросилась в глаза статуя на площадке возле театра Марцелла.

В Риме существовал обычай ставить монументы людям, отличившимся хотя бы даже и на самом скромном поприще. Статуи Париса также появились в нескольких местах города. Но это не особенно радовало юношу. Вглядываясь в собственные черты, несколько идеализи-

розовые художником в мраморном изваянии, напоминавшем бюст Меркурия, Парис не чувствовал себя польщенным. Напротив, он еще глубже сознавал ничтожество своей профессии. Иногда молодой человек едва мог заставить себя танцевать на подмостках. Дожидаясь за сценой своей очереди, одетый в женское платье, загримированный и неузнаваемый, он с завистью смотрел на актеров, разыгрывавших трагедии Софокла и остроумные комедии греческих драматургов. Каждый выход Париса вызывал бурю аплодисментов, а между тем баловень римской публики сознавал, как мало чести приносят эти громкие овации. Он видел презрительные взгляды товарищей. Вид монумента до того раздражал юношу, что он швырнул в него камнем. Булыжник звонко ударился в голову статуи, отбив кончик носа. Увидев это, Парис засмеялся и поспешил поскорее оставить форум. «Нет, театральная публика скоро увидит меня образцовым Эдипом, умирающим Аяксом!» — решил он и, почувствовав прилив энергии, бессознательно ускорил шаги, быстро приближаясь к тому месту, где Тибр, разделяясь на два рукава, образует островок. Здесь, против храма Юпитера с роскошной колоннадой, поблизости Цестийского моста, была устроена пристань для мелких иностранных судов. Из синеватой дымки утреннего тумана, лежавшего над рекою, уже начали выступать неясные очертания мачт и корабельных корпусов; бронзовая рука Меркурия, стоявшего на высокой колонне, блестела в багряных лучах восходящего солнца. Его пока еще слабый свет постепенно разгонял густую мглу фиолетового оттенка, скопившуюся под арками Цестийского моста, так что несколько минут спустя стали видны громадные каменные столбы этого замечательного сооружения. Недалеко от Эмилианского моста сидел в челноке рыбовод, чинивший сети, но, кроме него, не было вокруг живой души, исключая нескольких воробьев, ссорившихся на берегу из-за рыбьей головы.

Парис зевнул, посмотрел на дивную панораму спящего Рима. Потом его глаза обратились к желтоватым волнам Тибра, медленно и величаво катившимся к морю. В эту минуту на палубе барки, стоявшей у самой приста-

ни, показалась неопрятная старуха с кувшином в руке. Еще не совсем очнувшись от сна, женщина лениво зачерпнула воды, постояла на месте, вглядываясь в окрестности, потянулась и хотела уйти обратно в каюту, как вдруг оттуда раздался громкий плач.

— Опять упрямится? — крикнула старуха злобным тоном.

Затем до Париса долетели свист ременной плетки и слабый стон, заглушаемый хохотом и бранью.

— Довольно! — закричала старуха, наклоняясь к трапу.— Смотри не искалечь, ведь этот товар стоит денег.

Из каюты выбежала молоденькая девушка. Из отверстия показалась сначала рыжая голова торговца невольниками, а потом и вся его коренастая фигура. Торговец бросился к девушке с протянутыми волосатыми руками. Девушка вскрикнула, закрыла глаза и кинулась в воду. Ошеломленный торговец заметался в отчаянии по корабельной палубе.

— Сто тысяч динариев... я разорен... Сто тысяч динариев заплачено за девчонку! Я нищий! Вытащите поскорее это чудовище! — закричал он, заметив стоявшего на берегу Париса.

Между тем волны принесли утонувшую к каменным ступеням пристани. Сначала на поверхности воды показались черные волосы, потом изможденное, бледное лицо с посиневшими губами.

Торговец метался на палубе своей барки.

— Вот она... скорее! Лодку... багор!... Неблагодарная змея! Тебе хочется меня разорить? погоди, попадешься ты мне, животное, собака!

Парис не мог дольше оставаться безучастным зрителем. Он быстро спустился вниз по лестнице, намереваясь броситься в воду. В ту же минуту к месту катастрофы подплыла маленькая рыбацья лодка. Рыбаку удалось вытащить девушку из реки багром. Парис помог ему причалить к берегу и положить девушку на каменный помост. Теперь полумертвая Лидия лежала у ног Париса с закрытыми глазами и выражением ужаса, заставшим на лице. Юноша наклонился к ней в порыве жалости, к которой примешивалось чувство любопыт-



ства. Зная, как нужно обращаться с утопленниками, он осторожно приподнял ее голову, чтобы рот и ноздри освободились от попавшей воды. Опущенные веки рабыни затрепетали, обнажая белки закатившихся глаз. Молодой человек не мог отвести восхищенного взгляда от ее красивого лица, он замер в восторженном созерцании, забыв обо всем остальном. Наконец рабыня очнулась. Она долго смотрела на Париса. Сначала ее лицо выражало испуг и в то же время равнодушие, и вдруг девушка прошептала:

— Купи меня, господин!

Молодой человек невольно вздрогнул. Эта простая просьба звучала для него как веление природы.

— Ты желаешь этого? — спросил он с волнением.

Девушка сложила руки, и ее глаза, обращенные к юноше вспыхнули.

— О господин!..

Она не могла прибавить ничего более, но в этом восклицании звучала безграничная преданность и глубокое чувство.

— Я исполню твою просьбу, — отвечал Парис, — и куплю тебя.

Однако слово «куплю» было произнесено им невнятно.

— Я буду заботиться о тебе, ты будешь жить под моей охраной, — поправился молодой человек.

Лицо Лидии просияло; ее губы шевелились, но она не могла говорить от радостного волнения и только блаженно улыбалась, стирая слезы, катившиеся по щекам.

Между тем торговец невольниками, переправившись с корабля на пристань, торопливо приближался.

— Нравится она тебе, господин? Я сейчас готов уступить Лидию за восемьдесят пять тысяч сестерций, — усмехнулся торговец.

— Это большая сумма. Слишком много денег за такую игрушку!

— Но ведь зато она действительно игрушка; товар стоит хорошей цены, почтеннейший, — возразил Фабий и, вежливо поклонившись Парису, прибавил: — Если ты согласишься, рабыня останется за тобою! Согласен дать за нее восемьдесят пять тысяч?

Голова Париса пошла кругом, и он не знал, что ответить. Юноша представлял себе Лидию, выведенную на рынок рабов, думал о громадной цифре в восемьдесят пять тысяч сестерций, нужной для выкупа девушки, и не мог найти никакого исхода. Между тем торговец, распахнув тогу, в которую он закутался до подбородка, смерил молодого актера презрительным взглядом.

Только тут юноша заметил, что торговец косит глазами. Этот физический недостаток вместе с приторной улыбкой придавал его лицу сходство с гримасой повешенного. Актер сделал вид, будто бы он рассчитывает свои наличные деньги, а между тем со страхом думал про себя: «Патриций Эмилий и сенатор Павел так восхищаются моим талантом, но выручат ли они меня из беды?» Парис сравнивал себя с человеком, которому приходится выбирать между смертью от мороза или от огня. То и другое было одинаково ужасно.

— Восемьдесят две тысячи сестерций,— пробормотал танцор, и его воображение рисовало ужасные картины, леденящие кровь.

— Да, когда ты думаешь рассчитаться со мною? — предупредительно спросил купец.

Юноша задумался, рассчитывая, во сколько времени он может собрать требуемую сумму.

— Через три дня я вручу тебе девяносто тысяч сестерций,— отвечал наконец актер, стараясь не думать о принятом на себя страшном обязательстве.

Торговец посоветовал отложить заключение сделки до этого срока, заметив, что обе стороны должны предварительно взвесить свои выгоды. Он обещал заботиться о Лидии, которая, по его словам, представляла теперь чужую собственность.

— Ну, что же, господин, ты остаешься при своем намерении?

Парис отвечал утвердительно и поставил условие, чтобы хозяева не притесняли больше Лидии, не били ее и не показывали уже другим покупателям. Торговец обещал; он хотел опять удалиться, лукаво подмигивая Парису, но молодой человек, заметив смущение гречанки, не захотел оскорблять ее девической стыдливости и так-

же поспешил уйти, даже не простившись с невольницей, из боязни обнаружить перед плутом Фабием свои настоящие чувства.

Уходя с пристани, Парис еще раз обернулся к рабыне. Девушка смотрела ему вслед с грустной и недоумевающей миной, как будто смутно сознавая, что утрачивала своего единственного защитника. В этом взгляде беспомощного создания, оставленного на жертву жестоких людей, выражалась робкая мольба. Юноша готов был вернуться обратно, но ему стало совестно своей жалости к презренной рабыне.

«Что она такое, в самом деле? Не больше как товар! — говорил он себе, стараясь успокоиться. — Однако что мне за дело до этой невольницы?»

Приближаясь к равнине Тибра, актер наткнулся, к своему ужасу, на покинутых им товарищей, которые выходили гурьбой от брадобрея. Завидев танцора, они принялись кричать ему, хотя он делал вид, что не смотрит на них, и торопливо повернул в другую улицу. Но повесы бросились за ним.

Веселая компания пустилась по пятам Париса; осыпая его остротами. Юноша поневоле остановился, чтобы не привлекать на себя внимания прохожих; однако он так мрачно сдвинул при этом брови и нахмурил лицо, что догнавшие его кутилы тотчас присмирели.

— Где же ты пропадал? — спрашивал Лепид.

— У которой из своих возлюбленных провел ты остаток ночи? — подхватил Фульвий. — Верно, супруга какого-нибудь сенатора назначила тебе свидание в отдаленной аллее сада? — поддразнил третий.

Актер бросил в их сторону угрожающий взгляд. Во всей его фигуре была видна такая мрачная решимость, что его товарищи невольно попятились назад.

Наступила пауза. Парис опустил глаза, медленно повернулся и пошел своей дорогой, между тем как озадаченные и присмиревшие товарищи не решались больше преследовать его. Только отойдя на значительное расстояние, он услышал, что они со смехом уходят прочь. Вспышка гнева несколько облегчила Париса, хотя и не могла рассеять его желчного настроения.

Встретившись с матерью в сенях своей виллы, он довольно холодно приветствовал Юлию, после чего бросился в постель в надежде заснуть. Матрона, имевшая привычку незаметно наблюдать за сыном, тотчас поняла по его сосредоточенному виду, что с ним произошло что-то необыкновенное.

Как только юноша задремал, Юлия пробралась за альков его кровати, откуда ей было удобно наблюдать за спящим. Раскрасневшееся лицо молодого человека подергивалось по временам нервной судорогой. Не прошло и нескольких минут, как его полуоткрытые губы задрожали, он сжал кулаки, стал бредить и, наконец, поднялся с изголовья. Сидя на постели, Парис с недоумением смотрел перед собою. Легкий шорох, раздавшийся возле него, заставил юношу обернуться.

— Это ты, матушка? — тихо, почти с досадой спросил Парис.

Юлия неохотно обнаруживала свое глубокое чувство к сыну, но теперь ей было невозможно уйти из комнаты незамеченной.

— Я хотела посмотреть, спокойно ли ты спишь, — заметила она, заставляя себя улыбнуться. — У тебя часто бывает такой тревожный сон. Ты нездоров?

Юноша отрицательно покачал головой и рассеянно спросил, не случилось ли в доме чего-нибудь особенного в его отсутствие. Мать сообщила о письме, присланном ему от Стефана, распорядителя придворных празднеств. Император захотел присутствовать вечером в театре Помпея, чтобы видеть, как танцует Парис в роли Елены.

— Проклятое, гадкое ремесло! — проговорил сквозь зубы раздосадованный юноша.

— Почему ты вдруг возненавидел танцы? — спросила Юлия. — Вспомни, как недавно они приводили тебя в восторг.

— В восторг? — с горьким смехом повторил актер. — Ты не можешь себе представить, как мне надоело потешать нелепыми прыжками римскую публику.

— А между тем рукоплескания народа доставляли тебе в прежнее время такое высокое наслаждение. Ты был кумиром, полубогом римлян.

— Кумир, полубог, народ, наслаждение! — с горечью повторял про себя Парис, которым снова овладела мрачная тоска.

— Но ведь ты, во всяком случае, не откажешься танцевать сегодня вечером? — озабоченно спросила мать.

— Клянусь недосыгаемым Олимпом, мне хотелось бы исполнить перед бездушной толпой такую пляску, какой еще никогда не видели мои почтенные сограждане... — отрывисто бормотал актер, дико озираясь по сторонам. — Да, такую пляску, чтобы от нее провалился в преисподнюю весь театр и вместе с публикой!..

Удивленная мать пристально посмотрела на юношу, и тот не мог выдержать этого немого укора.

— От тебя зависит, сын мой, приобрести уважение общества, — сказала она дрогнувшим голосом. — Профессия сама по себе не может ни унижить, ни облагородить человека. Оставаясь танцором, ты мог бы несколько не ронять своей чести перед согражданами и быть вполне достойным человеком.

Она не договорила и хотела уйти. Парис удержал ее за руку.

— Я знаю, как ты хотела докончить свою речь, — заметил он, смущенно улыбаясь. — По-твоему, меня унижает мой образ жизни, а не ремесло публичного плясуна, не так ли?.. Успокойся, матушка, я серьезно намерен исправиться.

Юлия недоверчиво покачала головой, сжимая дрожащие губы.

Взволнованная мать невольно любовалась чертами сына, дышавшими твердой решимостью.

Молодой человек отвернулся к стене, собираясь подкрепить себя сном перед началом представления в амфитеатре. Юлия несколько времени стояла у его изголовья, любовно улыбаясь. Она легко поддавалась радостным надеждам и хотела верить в исправление юноши, хотя он не раз давал слово исправиться, а потом нарушал свои торжественные клятвы.

Юноша проспал до вечера, когда префект охранительной стражи прислал ему сказать, что полиции наконец удалось схватить негодяя, обезобразившего в прошлую

ночь статую Париса. Танцор немедленно написал шутовское письмо, прося помиловать арестованного. Этот человек, по его словам был, вероятно, в помрачении рассудка и собирался воевать с богами; но если бы его предупредили, что он метит камнем в статую простого смертного, то бесстрашный герой, наверное, отказался бы, по зрелом размышлении, от такой затеи.

При появлении своем на сцене Парис снова был встречен небывалыми овациями. Зрители приходили в неистовый восторг, без конца аплодируя его грациозным движениям: актер превзошел на этот раз самого себя, поразительно исполняя роль Елены.

#### IV

Кабинет Париса находился рядом с перистилем. Эта комната представляла уютный уголок, предназначенный для занятий и отдохновения. Роскошные сиденья, перед которыми были разостланы львиные шкуры, стояли вдоль стен; мраморные бюсты смотрели из-за зелени комнатных растений, но обладатель виллы не замечал окружающего комфорта. Сняв с себя верхнюю одежду, он сидел, опираясь локтями на колени и поддерживая руками курчавую голову. Длинные полосы солнечного света тянулись от одной колонны к другой, сплетаясь прихотливою сетью и сверкая всеми оттенками радуги в брызгах фонтана. Перед Парисом стоял нетронутый обед на красивых блюдах. Юноша временами вставал, чтобы пройтись по мозаичному полу, и рассеянно останавливался перед той или другой статуей, хотя его глаза не видели ни Венеры, ни Гебы, изваянных из мрамора; перед его умственным взором носился образ простой смертной. Когда он думал о Лидии в ее отсутствие, она казалась ему близкой, как может быть близка родная сестра; мысль об этом беззащитном существе не волновала его крови, но все-таки Парис не мог сосредоточить своего внимания на другом предмете. По временам он радостно улыбался, воображая себя обладателем юной гречанки, но затем лоб молодого человека омрачался, едва только он вспоминал громадную сумму, нужную для вы-

купа. Наконец Парису удалось переломить себя. Он подошел к полке и снял рукопись. Это была трагедия Софокла «Эдип». Любимец римской публики получил разрешение участвовать в ней завтра в театре Помпея. Повторяя низусть свою роль и мысленно переносясь на сцену, юноша декламировал сначала шепотом, но потом увлекся и заговорил громко, останавливаясь перед зеркалом у бассейна. В этом зеркале он с удовольствием рассматривал свою старательно изученную мимику, пока не увидел у входных дверей Юлию, которая стояла там уже с четверть часа, наблюдая за сыном. Парис слегка покраснел, понизил голос, продолжая свой монолог, и повернулся к матери, только дойдя до конца.

— Ну, как же ты находишь мою дикцию на этот раз? — спросил он. Мать приблизилась и взяла его за руку. Ее серьезные черты сложились в легкую улыбку, когда она проговорила с добродушной иронией:

— Неужели ты в самом деле собираешься играть роль Эдипа?

— И ты еще спрашиваешь! Сам император пожелал этого, — ответил сын с оттенком неудовольствия.

Но так как мать обладала большим эстетическим чутьем, и Парис мог вполне положиться на ее вкус, то он несколько встревожился, когда Юлия задумчиво заметила ему:

— Тебе вредит прежде всего наружность: у тебя фигура слишком тонка, а мягкий голос не подходит к личности фиванского царя.

— Неужели внешность играет такую важную роль? — с досадой прервал актер.

— Если хочешь, чтобы я была вполне откровенна, то скажу прямо, что тебе недостает еще и других данных.

Парис посмотрел на мать вопросительно и с оттенком испуга. Он угадывал ее мысль.

— Великий и сильный характер, — продолжала Юлия решительным тоном, — может воспроизвести только тот, у кого есть задатки такой же непреклонной воли, какую мы видим в Эдипе. У тебя недостает душевной твердости.

— Но я могу пополнить то, чего у меня нет, войдя в свою роль при помощи фантазии, — защищался Парис.

Матрона пожала плечами.

— До известной степени это можно,— отвечала она почти сурово: — Но и воображение у тебя не отличается особой силой.

— О матушка! — воскликнул оскорбленный Парис.

— Великое родится только от величия,— заметила Юлия, как будто про себя,— карлик не может родить великана.

Эти слова заставили Париса повесить голову. Крепко сжав губы, он несколько минут молча смотрел в землю и наконец сказал подавленным тоном:

— Ты поступаешь со мною слишком жестоко!

— Прости меня! — мягко возразила Юлия, обнимая сына.— Я не имела в виду огорчить тебя, а только желала указать на недостатки, во избежание неудачи с первых шагов.

Юноша вздрогнул.

— Если бы ты знала,— с горечью начал он после минутной паузы,— как больно слышать такие речи! Они напоминают мне, что я не способен ни на что, кроме дешевого комизма ради потехи публики. Мне давно опротивело мое ремесло: я жажду служить настоящему искусству, изображать великих людей.

Юлия молчала. Тогда Парис принялся рассказывать, как он намерен выработать в себе талант трагика путем прилежания, и сказал в заключение, что ему в любом случае необходимо попробовать завтра свои силы перед публикой, от которой он ждет своего приговора.

— Все вы, актеры, таковы,— улыбаясь, отвечала мать,— разубедить вас в чем-нибудь совершенно невозможно!

После ее ухода молодой человек еще несколько времени в глубокой задумчивости стоял на прежнем месте; наконец, оглянувшись в зеркало, он вздрогнул, отбросил от себя свиток с ролью Эдипа и стал одеваться. Уныние не помешало ему живописно драпировать свою тогу и надеть новую красную ленту на черные локоны.

Отправляясь к банкиру Дуилию, богатейшему из своих покровителей, юноша разбирал свое чувство к Лидии. «Когда я вспоминаю об этой девушке,— говорил он



себе,—мною овладевают какие-то волшебные чары! Мне никогда не случалось испытывать ничего подобного, а между тем... Стоило ли на самом деле брать на себя глупую роль ради ничтожной рабыни?»

У Лидии, как смог он почувствовать, не было ни остроумия, как у жены адвоката, которою увлекся Парис в прошлом году, ни насмешливости прелестной Антонии, покинутой им всего месяца два назад, ни увлекательной живости и блеска, как у вдовы сенатора, бывшей любовницы молодого танцора. Эта огневая женщина была способна на всевозможные шалости и любила бродить по почам вдоль римских улиц, переодетая мужчиной, под руку с Парисом в женском платье. Кроме того, ему принадлежала еще молодая египтянка, женщина высокой учености, основательно объяснявшая возлюбленному течение небесных светил. Лидия не обладала никакими достоинствами в этом роде. Но молодой человек сознавался, что ему нравится в ней, может быть, именно отсутствие подобных качеств.

Но насколько прочно было его влечение к бедной невольнице, он не задавался этим вопросом. Довольно того, что при одном воспоминании о ней молодой человек переносился в атмосферу нравственной чистоты, где ему становилось так легко и отрадно. В присутствии Лидии юноша чувствовал себя готовым веровать в добродетель и оставить прежний образ жизни с его вредными излишествами, мишурным блеском и забвением высшего человеческого долга.

«Да, вот где настоящий источник моего исцеления! — сказал он наконец самому себе.— Отравленный нечистыми лобзаниями знатных римлянок, я почерпнул новую жизненную силу в любящем невинном сердце. Измученный светской суетой, униженный своим жалким триумфом публичного плясуна, ложью и лицемерием окружающих, я найду отраду в близости чистого существа и отрезвлюсь от томительного угара».

Эти размышления ободрили Париса, встревоженного предсказаниями матери, и он вполне оправился, подходя к дому банкира Дуилия. Юноша приказал невольнику доложить о своем приходе. Хозяин немедленно вышел в

атриум навстречу гостю. Гладко выбритый, вежливый Дуилий напоминал своим лицом с выдающейся нижней челюстью старого павиана. Нетвердая походка еще сильнее увеличивала это сходство, и постороннему наблюдателю невольно приходило на ум, что злополучный банкир ходил бы на четвереньках, если бы не стеснялся чужого присутствия. После обычных дружеских приветствий, поцелуев и рукопожатий хозяин повел посетителя посмотреть новую статую Меркурия, недавно купленную Дуилием за десять тысяч сестерций, как самодовольно объяснил хвастливый старик. Парис похвалил произведение искусства, втайне думая о цели своего прихода. После того был осмотрен новый птичник, потом великолепная комната для купания, роскошная кровать, и юноша любовался всем виденным, между тем как банкир пространно говорил о стоимости каждой вещи, с притворным равнодушием отклоняя похвалы молодого человека.

— Тебе известно, как я люблю литературу, — сказал Дуилий, — в последнее время я значительно обогатил свою библиотеку. Наверное, ты найдешь, что роскошные переплеты вполне соответствуют содержанию гениальных произведений.

Юноше пришлось восхищаться и библиотекой, но так как он не мог при этом скрыть своей рассеянности, то хозяину дома показалось, будто Парис не одобряет его выбора, сомневаясь в литературных познаниях банкира. Приметив замешательство богача, актер нарочно помучил его, но наконец принялся так искренно расхваливать сокровища, собранные в его библиотеке, что Дуилий остался как нельзя более доволен своим гостем. Пользуясь благоприятной минутой, тот упомянул наконец о цели своего прихода.

Узнав, что молодой человек обращается к его щедрости, Дуилий нахмурился. Правда, минуту спустя, его черты снова сложились в приятную улыбку, но он почему-то стал рассеян и притворился непонимающим.

— Так... так... — механически повторял он, слушая гостя, и потом, точно опомнившись от забытья, торопливо спросил: — О чем собственно ты говорил сию минуту, Парис? Ах, да, о невольнице! За них запрашивают иног-

да крупные цены... Извини, пожалуйста: мне нужно на одну минуту заглянуть к себе в комнату. Кажется, я забыл запереть на ключ большой шкаф... Прошу тебя, обожди немного... я сейчас вернусь. Видишь ли, в этом шкафу у меня хранятся различные драгоценности, а на честность рабов полагаться нельзя!...

Говоря таким образом, старик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Парис был слишком проникателен, чтобы не понять уловок банкира, недаром ему стоило такого труда снизить до роли просителя перед старым скрягой. Он немедленно простился с хозяином, который все еще прикидывался рассеянным, но тем не менее очень вежливо проводил посетителя до дверей. Огорченный своей неудачей, недовольный собою, молодой человек вышел на улицу и нерешительно остановился, не зная, куда идти. Откуда взять девяносто тысяч сестерций? Бедный актер вполголоса повторял этот вопрос, мучивший его с самого утра. Парис живо представил горе Лидии, проданной в неволю какому-нибудь развратнику. Он слышал ее отчаянный вопль: «Спаси меня!» — видел перед собой молящие взоры беззащитного создания. Узнав о невозможности принадлежать Парису, она будет безутешно рыдать, цепляясь за его одежду... Хуже того, можно заранее предвидеть, что этот неопытный ребенок не перенесет удара и наложит на себя руки.

Погруженный в свои невеселые думы, юноша долго стоял среди многолюдной улицы, не обращая внимания на толчки и любопытные взгляды прохожих. Наконец знакомый голос вывел его из задумчивости. Перед ним стоял товарищ веселых пирушек, богатый повеса Лепид. Поздоровавшись с Парисом, он увлек его за собою, радуясь случаю похвастаться перед встречаемыми своей дружбой со знаменитым танцором. Взяв приятеля под руку, Лепид принялся громко рассказывать ему городские новости, причем беспреестанно жестикулировал, ударяя Париса по плечу, и нарочно останавливался, желая обратить на себя внимание прохожих.

В другое время актер постарался бы вежливо отделаться от навязчивости Лепида, но теперь он терпеливо слушал его болтовню. Не выручит ли его из беды бога-

тый товарищ? Парис подавил свое неудовольствие, выжидая удобной минуты высказать свою просьбу. «Где идет дело о жизни и свободе человеческого существа, там позволительны все средства», — мысленно ободрял он себя. Но только актер заикнулся, что Лепиду представляется прекрасный случай доказать свою дружбу, одолжив займы некоторую сумму денег, как сердечный пыл богатого франта начал заметно охлаждаться. Он охотно помог бы Парису, но у него было так много расходов в последнее время: покупка новых дорогих носилок, другие затраты. Кроме того, врачи предписали ехать купаться, что также потребует немало денег, между тем здоровье Лепида сильно пошатнулось: он страшно исхудал и чувствует себя нехорошо. Его речь лилась потоком, так что Парис не имел возможности вставить слово. Наконец приятель поспешил торопливо проститься с актером, уверяя, будто увидел на перекрестке знакомого, с которым ему необходимо немедленно переговорить.

Он посетил еще трех друзей. Все они были известные римские богачи, но один сказал, что он принял за правило никогда не давать денег в долг и охотнее подарит нуждающемуся сотню сестерций, чем одолжит займы тысячу, другой выдавал ссуды только под верное обеспечение, третий хотя обещал помочь, но едва Парис вышел из дома, как его догнал невольник с извинениями от имени хозяина, который крайне сожалел, что принужден взять обратно данное слово.

Униженный и расстроенный, Парис вернулся вечером домой. Он стал тревожно ходить из комнаты в комнату.

«Так вот что значит дружба, вот что значит покровительство!» — шептал он.

— Она должна быть моею! — громко произнес он.

Несмотря на сгустившиеся сумерки, Парис набросил на плечи тогу, чтобы выйти. Он был лихорадочно возбужден. Однако, выйдя за ворота, он не решался повернуть в узкие городские улицы. Неприятный шум, долетавший со стороны города, был ему невыносим. Перед глазами мелькали еще среди уличной давки хитрые лица жрецов, плутовские физиономии торговцев, нарумяненные щеки гетер, самодовольные мины юных франтов, и огор-

ченный юноша с отвращением отвернулся от Марсова поля, от красовавшихся издали терм Нерона и пошел по направлению к так называемому «Садовому Холму», где раскинулись зеленые рощи фруктовых деревьев.

Юноша медленно подвигался по фламийской дороге, опустив голову на грудь. Он неторопливо шагал вперед, пока довольно резкий порыв ветра не вывел его из задумчивости. По обеим сторонам дороги белели памятники, выступая на темном фоне кипарисов; из-за их мрачных силуэтов тускло просвечивала вечерняя заря. Ночной ветер заставлял иногда вздрагивать вершины деревьев, и таинственный шорох ветвей, осенявших пышные мавзолеи, действительно мог подействовать удручающим образом и на менее впечатлительного человека, чем Парис. Юноша опустился на каменную скамейку близ одного из памятников и стал смотреть на пустынную местность, прорезанную вдали грандиозным изгибом водопровода, который казался отсюда окаменевшей погребальной процессией. До Париса долетал глухой ропот Тибра; ветер усиливался; кипарисы громче перешептывались между собой; в их листве раздавались как будто печальные вздохи. В этих замирающих звуках чудились всплески волн подземной реки; они точно манили измученного человека отрешиться от всего земного и успокоить свой бранный прах в тиши уединенного кладбища. Парису пришло в голову; не лучше ли предоставить Лидию ее судьбе.

«Любовь! Что такое любовь?» — думалось ему. Он испытал ее и теперь считает пустою шуткой богов. Ни одна женщина не сумела привязать его к себе надолго, и кто из представителей жалкого человечества способен вообще внушить благородную привязанность? Бедняжка Лидия! Конечно, она так беззащитна и притом не обладает никакими дарованиями, которые могли бы упрочить за нею лучшее будущее. Если она не достанется Парису, то, пожалуй, примирится со своей долей, привыкнет к тому, кто ее приобретет. Если даже Лидия не переживет горя, много ли она потеряет, удалившись из этого мира в тихое царство теней? Ее можно сравнить с нераспустившейся розой, растоптанной на пиру ногами

гостей. Жениться на ней Парису было неприлично, он мог только отпустить девушку на свободу.

Невеселые размышления были прерваны отголосками смеха. Танцор вздрогнул и стал прислушиваться. Вскоре до него донеслись жалобные, хриплые крики. Вблизи мавзолея Августа показался красноватый свет факелов, мелькавший между деревьями. Парис пошел по направлению к роще. Крик становился слышнее. При блеске огней между деревьями двигались человеческие тени. Актер, подстрекаемый одним любопытством, подошел еще ближе и увидел группу молодых людей, обступивших какое-то уродливое маленькое существо, которое отчаянно визжа, пронзительно визжа. Невольники стояли вокруг, держа в руках факелы, издававшие ежеминутный треск; молодые повесы хохотали; карлик в ребяческом гневном выражении лица цеплялся за стволы деревьев и ветви кустарников, отбиваясь ногами от нападающих, которые старались повалить его на разостланный плащ, и, вероятно, собираясь подкидывать, как эластичный мячик.

Неизвестно, чем кончилась бы жестокая потеха, но появление постороннего лица смутило праздную молодежь. Когда же подошедший незнакомец оказался знаменитым танцором Парисом, проказники присмирели. Молодой человек подошел сначала к лежавшему на траве калеке, потом окинул презрительным взглядом его мучителей и с упреком покачал головой. Пристыженные повесы повернулись к своим невольникам и, скрывая под принужденным смехом неприятное замешательство, удалились, как толпа провинившихся школьников.

Перепуганный карлик робко поднял голову, не решаясь верить своей безопасности. В эту минуту Парис увидел его лицо и чуть не вскрикнул от изумления: перед ним был Антоний, любимец императора. Карлик вскочил на ноги с проворством кошки. Зорко оглядевшись вокруг, он сжал кулаки, сердито грозя своим удалявшимся врагам и посылая им вслед проклятия.

— Вот что значит исполнять женские прихоти и потворствовать женским капризам! — пробормотал в заключение горбун и обратился к Парису с нахмуренным лицом: — Благодарю, что выручил.

— Эти мошенники хотели заставить меня прыгать, как кузнечика, и, наверно, вытрясли бы из меня душу, не так ли? — прибавил он, размахивая несоразмерно длинными руками.

Актер не мог видеть карлика из-за наступившей темноты. Зловещий голос безобразного существа нагоя на юношу неопределенный страх. Танцор хотел молча удалиться, но странный собеседник удержал его.

— Постой! Куда ты? Подожди немного, я охотно побеседую с тобой.

Парис холодно заметил, что теперь уже ночь, и советовал Антонию поскорее уйти из глухого места, чтобы не подвергнуться новой неприятности. Стараясь незаметно уйти от горбуна, молодой человек ускорил шаги, но тотчас ударился головой о древесный сук. Взяв немного в сторону, он увидел звездное небо между верхушками пиний. Яркие лучи месяца упали на курчавую голову уродца, одетого в красное суконное платье, и осветили его недобрую улыбку.

— Ну, не сердись на меня! — воскликнул он со смехом, догоняя Париса. — Я не хотел тебя обидеть! Благодарю за твоё заступничество, но знай, что это из-за тебя попал я в эту беду.

— Что такое? — сердито вскричал актер, отталкивая от себя Антония, уцепившегося за его руку.

— Перестань сердиться; ты, конечно, догадываешься, кто послал меня? Да, да, ей хотелось в точности узнать, как тебе спалось в эту ночь, чем ты был занят, даже о чем думал. Она не пожалеет никаких денег, лишь бы проведать твои тайны. Ну, что же ты скажешь? Разве это не любовь, и может ли подобное чувство остаться без ответа?

Парису захотелось ударить негодяя, но минутная вспышка гнева сменилась безотчетным страхом.

«Эта женщина! Опять эта женщина! — подумал он, чувствуя, как у него стынет кровь. — Что ей от меня нужно?»

Вспоминая приторные любезности Домиции и ее заискивающие улыбки, ее неподвижное лицо, юноша чувствовал тошноту, как будто на него повеяло запахом тления от надгробного памятника.

— Дай мне посмотреть на тебя хорошенько! — продолжал между тем, нисколько не смущаясь, горбун.— Когда ты выйдешь из тени на свет, мне, вероятно, удастся прочитать в безупречных линиях твоего лица красноречивый ответ на мои речи. Как обрадуется императрица, когда я принесу ей радостную весточку!

Парис бросился в кусты, желая скрыться от назойливого уродца. Между тем проворный Антоний не отставал от него, по-прежнему болтая о Домиции, говоря о том, как она неутешна, как ее перестали занимать и зрелища в цирке, и драгоценные уборы. По его словам, огорченная царица, желая обуздать свою страсть, принялась изучать философию Аристотеля, забросив поэзию, где слишком много говорится о любви.

Парис делал вид, что ничего не слышит, повторяя только по временам: «Ступай своей дорогой! Отстань от меня». Наконец карлик, выбившись из сил, отстал от быстро идущего юноши.

Уже в воротах своего дома Парис решил: а почему не воспользоваться расположением Домиции, чтобы, пользуясь ее щедростью, устроить свободу Лидии? Так думал Парис, медленно продвигаясь по широкой дорожке сада, усыпанной песком и обсаженной пиниями. И хотя он старался предварительно взвесить этот безумный план, но заманчивая мысль мало-помалу поработала его волю. Юноша прошел через атриум в свою спальню, как лунатик, не отдавая отчета в своих действиях; потом сел у кровати и, медленно раздеваясь, поднял глаза к звездному небу, видневшемуся в отверстии крыши. Так сидел он несколько времени, пока голос Рифуса не вывел его из задумчивости. Парис хорошо сознавал, как сильно он рискует: искать сближения с Домицией было все равно, что положить голову в львиную пасть. Но именно эта опасность начинала привлекать его; молодой человек нередко жаждал новизны, потому что его расслабленные нервы требовали сильных ощущений. Юноше хотелось борьбы с препятствиями, которая могла бы возбудить в нем энергию, нарушив скучное однообразие жизни; кроме того, в настоящем случае было задето и самолюбие Париса, которому было бы непри-



ятно оказаться несостоятельным в глазах работорговца. Ловкая Домиция могла искусно скрыть свою неверность от мужа. Императрица имела право покровительствовать юноше как артисту и, награждая его мелкими подарками, прибавить к ним один крупный.

## V

Места для зрителей в Помпейском театре наполнялись с каждой минутой, в публике слышался сдержанный шепот ожидания; искусные руки театральных рабочих приводили в порядок занавесь; другие подвигали кулисы; распорядитель расставлял хор певцов, ожидавших только условного сигнала, чтобы начать свое величественное пение, показавшись из глубины сцены.

Сегодня Парису предстояло в первый раз вступить на подмостки не в качестве танцора, а в великолепной роли Эдипа. Немудрено, что не особенно большой театр Помпея с самого полудня наполнился любопытными; зрители доходили чуть не до драки из-за мест, и хозяину театра стоило величайшего труда водворить порядок и тишину. Герой спектакля прибыл сюда еще за час до начала представления и находился в своей уборной, вправо от сцены, где он то поправлял на себе костюм, то просматривал роль. Тревога Париса возрастала все сильнее. Сегодняшнее испытание должно было решить, может ли он исполнять серьезные трагические роли на сцене, или обречен оставаться на всю жизнь плясуном и шутком, потешающим праздную толпу. Молодого актера трясла лихорадка. Он делал и говорил несообразные вещи, что вывело наконец из терпения слугу, который пристегивал Парису котурн. Юноша был недоволен каждой мелочью; по его словам, ремни были затянуты то слишком туго, то слабо. Маски, нравившиеся ему несколько дней назад, теперь никуда не годились. У одной из них была чересчур плачевная мина, у другой — плохая борода, отверстие для рта то слишком широко, то узко. Той же строгой критике подверглись и великолепное царское одеяние для роли Эдипа, и скипетр.

Наконец в комнату вошел, под предлогом отыскать какие-то косметики, пожилой трагик по имени Мнестор. Он бросился на стул и насмешливо сказал Парису:

— Ну, любезный друг, если тебя сегодня освищут, то поверь мне, твой костюм будет здесь ни при чем.

Застегивая на плечах царскую мантию, молодой человек закусил губы и промолчал. Он был уверен, что в Мнесторе говорит зависть, так как этот актер играл обыкновенно роль Эдипа, уступив теперь Парису. Мало-помалу в уборную пришло еще несколько актеров и актрис. Некоторые из них не говорили ни слова, но другие поддразнивали юношу, смеясь над его затеей представлять Эдипа. Но Парису было некогда предаваться малодушию. Звонкие литавры загудели в здании театра, созывая действующих лиц на сцену. Молодой человек встрепенулся при сигнале; у него подкашивались ноги, по спине пробегал ледящий холод. Готовясь выйти на подмостки, он волновался, как боец, которому предстоит сразиться с диким зверем на кровавой арене цирка.

Встретив за кулисами Мнестора, танцор шепнул ему на ухо: «Исполни роль Эдипа вместо меня!»

Удивленный актер только пожал плечами.

— Римский народ ожидает тебя,—возразил он.— Публика стала бы требовать твоего появления, заставив меня с позором удалиться со сцены, если бы я решился играть.

Молодому человеку оставалось покориться. Как он упорно добивался позволения участвовать в трагедии! Каких усилий стоило это Парису! О нем докладывали самому императору, и только благодаря приказу Домициана юноше дали роль Эдипа в Помпейском театре. Если он провалится, то неудача наделает много шума. Вся его карьера поставлена теперь на карту, потому что Парис едва ли решится танцевать перед публикой, после того как будет освистан в качестве трагика. Римляне — народ насмешливый!

После второго сигнала молодой человек занял место на сцене. Он стоял у ворот царского дворца, перед коленапреклоненными просителями. Волнение юного актера было так сильно, что он облокотился на свой скипетр из

боязни упасть. Занавес отдернули. Парис увидел перед собою бесконечные ряды зрителей: целое море голов. Приходилось начинать монолог. Голос едва повиновался неопытному новичку и звучал так странно, точно чужой. Парису мерещилось, будто другие действующие лица движутся, как в тумане; их головы расплывались и вертелись перед его глазами; лица строили гримасы, стараясь сбить его с толку. Чем дальше подвигалась игра, тем страннее звучала в ушах молодого человека собственная речь; он испытывал даже нелепое желание нарочно говорить вздор, точной злой демон подстрекал его к диким затеям. Мало-помалу публика начала роптать и волноваться. Тогда мужество окончательно изменило танцору. Он едва держался на ногах и, с грехом пополам дотянув свой монолог до того места, где следует петь хору, быстро удалился за кулисы, чтобы не быть свидетелем поднимавшейся в театре бури. Парис однако решил постоять за себя. При виде насмешливых улыбок своих товарищей ему вздумалось обратить в триумф свое поражение с помощью искусно рассчитанного театрального эффекта.

— Я покажу вам, кому более всего рукоплещет народ! — крикнул он, задыхаясь.

Как только хор кончил пение, танцор торопливо отстегнул маску и царскую мантию, швырнул прочь котурн и выскочил на сцену. Состроив публике комическую гримасу, он подбросил маску на воздух и как будто в пьяном азарте сорвал с себя царское одеяние, пускаясь в то же время в отчаянную пляску, исполненную им с увлекательною, лихорадочною живостью. Сначала публика была поражена гримасами и превращениями почтенного фиванского царя, но потом приняла все представление за остроумно придуманный фарс и разразилась громом рукоплесканий, неприятно поразивших Мнестора и прочих актеров.

Парис же импровизировал мимическую пародию на Эдипа, чтобы побесить своих соперников. Народ смеялся. Хоть этот успех внушал танцору глубокое презрение и к самому себе, и к грубым вкусам публики, но все-таки юноша закончил танец и в заключение с комизмом пред-

ставил слепого царя, идущего неверными шагами, отыскивая ощупью дорогу. Публика не переставала рукоплескать своему любимцу, и восторженные крики долго не умолкали. Во избежание лишних оваций со стороны своих почитателей молодой человек поспешил набросить плащ и исчез под покровом наступавших сумерек.

Вернувшись домой, он остался в саду, в полумраке искусственного грота, окруженного дикой растительностью. Парис не хотел видеть матери, желая остаться наедине со своими тяжелыми мыслями, с горьким сознанием постыдной неудачи... Глумление над Софоклом легло тяжким укором на совесть. Какова его жизнь? Чем он занят? Созданием карикатур на гениальных людей.

Юноша не услышал приближавшихся шагов. Наконец он заметил сквозь свет плюща белую фигуру у входа, которая, по-видимому, стояла здесь уже давно, неподвижная, как мраморное изваяние. Когда Парис поднял голову, фигура вздрогнула, порхнула в грот, и молодой человек почувствовал прикосновение нежных рук, обнимавших его, но вместе с тем робко удерживавших в отдалении.

— Ты плачешь? — спросил взволнованный голос женщины. — Что с тобой? Но говори потише: он близко и может нас подслушать.

И женщина потихоньку рассмеялась невинным, радостным смехом.

Это была Лидия. Волна горячей любви прихлынула к сердцу Париса, заживляя свежие раны; он вдруг почувствовал себя свободным от тяжелого внутреннего гнета и с облегчением вздохнул.

— Ну, скажи мне, наконец, о чем ты плакал? — умоляла Лидия. — Говори поскорее! Фабий сейчас застанет нас здесь; он послал меня вперед, чтобы...

— Оставим это, — ответил молодой человек.

— Нет, я должна знать всю правду! — настойчиво возразила девушка.

С тех пор, как Парис обещал выкупить ее, молодая гречанка сильно переменилась. Чувствуя себя под охраной покровителя, надеясь на скорое освобождение из рабства, она стала держать себя более уверенно, прояв-

ляя временами даже маленькие капризы. Видя, что Парис медлит высказаться, Лидия нетерпеливо требовала ответа, причем в ее голосе слышалась ласковая настойчивость. Но ее просьбы не привели ни к чему. Тогда девушка на минуту задумалась и вслед за тем стала рассказывать, что она сегодня также была в Помпейском театре, вместе со всеми восхищалась Парисом и аплодировала ему. Она порицала юношу за то, что он прервал представление Эдипа; ей так хотелось досмотреть трагедию до конца! Ах, что за великолепные костюмы, и потом этот чудный танец! Лидия была в восхищении, но ей непонятно, как может любимец римской публики горевать и плакать после такого успеха. Рядом с девушкой, в местах для зрителей, сидел колбасник, отколотивший себе ладони, а какая-то старушка отправилась домой раньше окончания спектакля, так как, по ее словам, она боялась задохнуться от смеха.

Парис с неудовольствием отвернулся. Но Лидия повернула к себе лицо юноши и, заметив слезы у него на глазах, нежно спросила, что с ним, и действительно ли он решился...— голос девушки изменился — купить ее.

Она с трудом вымолвила ужасное слово; девушке вдруг показалось почему-то неловко сидеть с Парисом вдвоем в голубоватом сумраке грота; сознание зависимости начинало инстинктивно тревожить и тяготить молодую гречанку. Лидия на минуту опечалилась и выглянула в сад, ожидая ответа. Потом она опять торопливо обернулась к нему.

— Почему ты сегодня так молчалив и задумчив?.. Мне хотелось бы плакать с тобою! Расскажи обо всем, и ты увидишь, как я сумею утешить тебя!

Парис отрицательно покачал головой.

— Если бы ты знал, как мне тяжело! — прошептала Лидия, прижимаясь к молодому человеку и разглаживая рукой складки его тоги.

— Ты все равно не поймешь моего горя,— ответил он, неожиданно целуя гречанку в полуоткрытые губы.

Сначала она побледнела, потом с удивлением взглянула на Париса, отступила назад и сказала с серьезностью, подняв кверху указательный палец:

- О, этого делать нельзя!
- Как! Почему же? — с улыбкой спросил Парис.
- Не знаю, почему, но нельзя! — отвечала Лидия решительным тоном.
- Но как же так? — возразил Парис, подходя к ней. — Я полагал, что ты меня любишь...
- Девушка задумчиво кивнула головой, потупилась и, прислонясь спиной к стене грота, сорвала цветок с ползучего растения, обвивавшего вход.
- Ну, что же ты не отвечаешь? — спросил Парис, любуясь девушкой в ореоле лунных лучей.
- Она молчала. Наконец, подняв глаза, Лидия прижалась к плечу Париса.
- Ты не то, что другие! Тебе это позволяется... — прошептала девушка.
- Что же позволяется, Лидия? — тоже тихо спросил юноша замирающим голосом.
- Она еще крепче прижалась к нему:
- То, что ты сделал сейчас.
- Она так сильно держала его за плечи, плотно прижимаясь щекой к его груди, что Парису никак не удавалось приподнять голову девушки. Эта игра продолжалась до прихода Фабия. Когда торговец невольниками подошел ко входу в грот, Парис попросил Лидию остаться там, а сам вышел к ее хозяину.
- После только что пережитых минут Парису было неприятно перейти к беседе с Фабием.
- Если я не получу от тебя денег завтра вечером, — сказал Фабий, — то мне придется уступить девушку другому покупателю, я не намерен дожидаться. Подумай сам, ведь содержание Лидии обходится мне недешево. Разве ее не надо поить и кормить каждый день? Теперь мне даже нельзя по-настоящему продать девчонку дешевле восьмидесяти шести тысяч сестерций.
- Ты получишь от меня больше, — встревоженно ответил Парис.
- Но откуда же ты достанешь столько денег? — недоверчиво спросил Фабий.
- Это уж мое дело!
- Извини, и мое также!

— Довольно! — вскричал Парис. — Я не должен называть тебе, от кого я надеюсь получить нужную сумму. Все это должно остаться в тайне... Но завтра ты получишь деньги сполна.

— А-а! — возразил торговец. — Так вот что! Тут кроется тайна... Гм!.. Может быть, может быть!.. Признайся откровенно, господин, ты, наверное, рассчитываешь на одну из своих любовниц? Недурно придумано, — Фабий подмигнул и усмехнулся.

К счастью, молодой человек не слышал этих слов. Прощальный взгляд, брошенный Лидией в его сторону, отнял у него голос. И опять у сердце Париса заняла печаль и заговорило раскаяние, заглушая все прочие чувства.

## VI

В левом флигеле дворца, на половине императрицы, находилась роскошно убранная комната для купания, с мраморными стенами. Полированный мозаичный пол, отражая пурпурную ткань портьеры, казался ярко-красным. Держа наготове платок из мягкой шерстяной материи, черная невольница прислушивалась, ожидая приказаний госпожи, плававшей в мраморном бассейне.

— Готово, — раздался оттуда тихий голос.

Рабыня торопливо развернула платок и побежала в купальню, где послышался шумный всплеск воды. Через несколько минут ковровая ткань, отгораживавшая бассейн, была откинута, и комната наполнилась ароматическим голубоватым паром из горячей ванны, так что украшения стен блестели теперь как будто сквозь легкую дымку.

Домиция, закутанная в пурпурное шерстяное покрывало, приказала служанкам перенести себя к туалетному столу. Здесь посреди различных золотых украшений лежала римская газета. Пока одна из невольниц прочитывала новости дня, другая одевала супругу цезаря, что при капризном характере императрицы было нелегкой задачей. Впрочем, Домиция оставалась безмолвной, выражая свои приказания одним взглядом и жестами. Если рабыня обнаруживала неловкость или не могла немед-

ленно отгадать немного требования повелительницы, та нетерпеливо хмурила темные брови и только в крайнем случае наказывала виновную легким ударом по руке.

Непринужденная поза молодой женщины была проникнута спокойным достоинством. Полулежа в мягком кресле, Домиция то лениво зевала с видом пресыщения, то следила глазами за полетом мух, кружившихся над туалетным столом, или, как будто собираясь задремать, окидывала равнодушным взглядом окружающее великолепие. А между тем холодная надменность императрицы, ее уверенные, рассчитанные движения имели свойство оскорблять подвластных ей людей гораздо глубже, чем сделали бы это вспышки гнева.

Наконец она вырвала дощечки из рук читающей невольницы, отыскала в них одну рубрику и велела продолжать чтение с указанного места. Служанка повиновалась. В избранном Домицией отделе газеты был помещен отчет об игре Париса в Помпейском театре. Царица приказала перечитать это известие вторично, не выдавая своих чувств. Щеки красавицы только слегка покрылись румянцем, когда рабыня читала описание танца, исполненного Парисом. В газете говорилось о триумфе любимца римлян, сумевшего на тот раз привести в восторг даже людей строгой нравственности, которые до сих пор относились с пренебрежением к его таланту.

Пока невольница прикалывала ей волосы серебряными шпильками, служанка вошла в комнату и, несмотря на поданный Домицией знак, не решалась заговорить. В эту минуту царица осматривала в зеркале свою прическу, потом слегка подрумянила себе щеки и подвела черной краской глаза. Замешательство рабыни ускользнуло от ее внимания; между тем молодая девушка оглядывалась с беспомощным видом по сторонам.

Наконец Домиция выглянула из-за ручного зеркала и, повысив голос, спросила:

— Ну, что же?

Взволнованная невольница отвечала, что в атриуме дожидается Парис. Яркий румянец вспыхнул на прекрасном лице императрицы и сменился мертвенною бледностью. Она встала с кресел, отдала несколько сбивчи-



вых приказаний, потом опять села на прежнее место, но вдруг решила перейти на кушетку, стоявшую у окна.

Здесь красавица расположилась в ленивой позе, вытянув ноги и закинув за голову белую обнаженную руку, на которую падали длинные локоны. Домиция велела как можно красивее расположить складки своей одежды.

Полузакрыв глаза с напускной наивностью молоденькой девушки, императрица хотела изобразить на своем лице чарующую улыбку. Но она противоречила смущению, охватившему Домицию, и вышла натянутою.

Такая странная встреча неприятно поразила Париса; однако замешательство императрицы обезоружило юношу. Если супруга цезаря терялась в его присутствии, значит, он мог вполне рассчитывать на свое могущество. Домиция с трудом произнесла несколько слов в ответ на почтительное приветствие гостя. Молодой человек, в свою очередь, не без волнения приблизился к опасной женщине, но через минуту совершенно овладел собою. Желая дать возможность императрице прийти в себя, он с находчивостью актера непринужденно раскланялся и отошел в сторону, как будто любясь статуей у противоположной стены. Однако оба они не могли тотчас же начать спокойный разговор, делая вид, что посещение Париса было чем-то самым обыкновенным. Домиция по-прежнему нервно ошипывала золотую бахромку кушетки, напрасно стараясь собраться с мыслями и подавить волновавшие ее чувства.

Парис нерешительно стоял перед молодою императрицей, пока служанка не догадалась подвинуть ему стул.

Домиция сделала рабыне знак выйти из уборной, приподняла голову и, с рассчитанной грацией, свесила руку почти до самого пола.

— Я давно ожидала, что ты придешь ко мне, — улыбнулась она. — Тебе известно мое расположение, так что было нелюбезно откладывать это посещение.

Парис залюбовался красивой манерой Домиции складывать губы при разговоре. Хотя он невольно сравнивал эту заученную мимику с простотой Лидии, но красота императрицы подействовала на него...

— Прости меня,— отвечал юноша с легким поклоном,— я должен сознаться, что твое поведение внушало мне недоверие.

Эти слова поразили Домицию, но она овладела собою, стараясь не показывать, как глубоко задета она словами Париса. Она отвела в сторону отуманенные глаза, потом повернулась к гостю и кивнула, стараясь улыбнуться:

— Я благодарна за откровенность! Высокопоставленным людям редко приходится слышать правду, да еще высказанную таким дружеским, доброжелательным тоном. Мне приятно слышать, что мое обращение тебе не нравится... Но тем не менее я желаю, чтобы ты находил меня привлекательной,— прибавила императрица, причем ее губы складывались то в веселую, то в грустную усмешку.— Что же мне сделать для достижения этой цели, как исправиться от своих недостатков?

— Благороднейшая Домиция,— ответил Парис несколько заискивающим тоном, из опасения оскорбить своенравную женщину,— умоляю тебя, не испытывай на слабом смертном обаятельной силы твоих чар!

— О, значит, ты признаешь за мною эти чары? — весело спросила императрица.— Так вот почему я внушала тебе недоверие!

— Если бы твой супруг не был императором, клянусь всеми богами...— пробормотал юноша.

— Ну, что же тогда? — настаивала царица с грацией балованного ребенка...

— Я... я решил бы... овладеть тобою! — запинаясь, произнес молодой актер.

Императрица выразительно взглянула на него и подала ему руку, которую Парис не догадался поднести к губам; занятый своими мыслями, он не исполнил этого долга вежливости и торопливо сказал:

— Позволь мне объяснить причину моего прихода, государыня!

Но Домиция не говорила ни слова. Сперва она хотела загладить лаской и улыбкой его бестактность; но потом ей вздумалось прикинуться оскорбленной, чтобы задеть Париса за живое, и при этом пустить в ход весь арсенал опытной кокетки.

Быстро обдумав план дальнейших действий, императрица молча кивнула головой, крепко сжимая дрожащие от волнения губы.

— Я буду счастлива, — кивнула она, — если ты доставишь мне случай оказать тебе услугу.

Парису так стоило больших усилий заговорить о Лидии. Увлечение рабыней казалось ему нелепостью среди роскоши цезарского дворца, в присутствии блестящей супруги Домициана. Несчастный актер потерял свою обычную смелость; он говорил, запинаясь и ежеминутно ожидая, что императрица прервет его смехом.

Но этого не случилось. Домиция сверх ожидания похвалила выбор Париса, захлопала в ладоши и, по-видимому, заинтересовалась отношениями влюбленных.

— У тебя доброе сердце, — сказала она юноше взволнованным тоном, — и я беру твою малютку под свое покровительство.

— Благороднейшая Домиция! — пробормотал танцор. — Ты пристыдила меня своим великодушием.

— Мужчины привыкли думать о нас гораздо хуже, чем мы того заслуживаем, — засмеялась царица. — Неужели ты воображал, что я способна приревновать тебя к рабыне? Зачем мне скрывать свои чувства? Ты, наверное, давно отгадал истину... Да... я люблю тебя, Парис, — прибавила Домиция, окинув артиста спокойным, величавым взглядом. — Я люблю тебя, но разве это помешает мне радоваться твоему счастью? Ты увлекся хорошенькой невольницей — в добрый час! Доставив тебе возможность обладать любимым существом, я найду путь к твоему сердцу.

— Но беда в том, что хозяин требует за девушку баснословно высокую плату: восемьдесят пять тысяч сестерций!

Домиция засмеялась.

— Что ж за беда! Ну, а если у меня не найдется требуемых денег?

— Завтра последний срок! — ответил Парис упавшим голосом.

— Так... — в раздумье произнесла Домиция. — Восемьдесят пять тысяч сестерций — не безделица; мой

супруг не допускает расточительности... иногда я нуждаюсь даже в необходимом...

Парис грустно вздохнул.

— Но из любви к тебе я заплачу эти деньги,— прибавила царица.

Домиция напомнила ему, что им необходимо быть осторожными. Она посоветовала танцору отправиться на гастроли в Байю, куда обещала приехать и сама со своим двором для того, чтобы привлечь публику на представления. Хорошие сборы в этом городе могли поставить юношу вне подозрений, откуда у него взялись деньги на покупку рабыни. В противном случае доносчики Домициана проведали бы истину, что грозило гибелью не только Парису, но и самой императрице.

— Я возьму твою возлюбленную в мои служанки,— сказала Домиция.— Тогда мой ревнивый супруг убедится, что ты приходишь сюда не ради меня, предпочитая отвергнутой императрице молоденькую рабыню! — прибавила она с усмешкой.

После того как Парис ушел, Домиция, глубоко задумавшись, осталась в комнате, оттягивая по возможности обычный утренний визит на половину Домициана.

Императрица лежала на кушетке, закрыв глаза и обмахиваясь листом египетской пальмы. Юноша не смог противиться ее красоте. Сознывая свою силу, Домиция предвкушала победу и упивалась сознанием могущества. Парис пока не любил ее, но Домиция знала, что скоро настанет минута, когда кумир всех римских женщин упадет к ее ногам, готовый заплатить жизнью за миг блаженства. Гордая императрица не знала ревности. Она не могла смотреть на Лидию как на соперницу и даже хотела торопить сближение молодых людей, рассчитывая, что бедная греческая рабыня скоро наскучит пресыщенному юноше.

Время подвигалось к полудню. Домиция пошла к императору. Цезарь сидел в своем рабочем кабинете и забавлялся стрельбой. Против него стоял, прижавшись к стене, мальчик, держа кверху руку с растопыренными пальцами. Ребенок был смертельно бледен; его глаза каждый раз расширялись от ужаса, когда стрела, сор-

вавшись с тетивы, летела через комнату, наполняя воздух зловещим свистом и вонзаясь в стену между пальцами. Молодой невольник натягивал лук, укреплял стрелу и подавал оружие императору, который сидел на кресле, кутаясь в широкую одежду, прихлебывая из кубка вино и слушая доклады полицейского префекта, читавшего их громким, гнусавым голосом.

Вошедшая Домиция тотчас приказала невольнику вывести мальчика из кабинета. Домициан захохотал. Императрица стала рассказывать, что Парис до безумия влюбился в одну из ее служанок.

Доносчики как раз сообщили ему недавно о том же, так что Домициан поверил жене. Защита влюбленной парочки Домицией рассмешила его. Он потрепал императрицу по плечу, наставительно заметив, что низкое всегда стремится к низкому и что ей не следовало ожидать от публичного плясуна мудрости Сократа и добродетелей Катона.

Когда они остались вдвоем, Домиция порывисто подошла к императору, подняла глаза, полные слез, и потом склонилась на грудь цезаря, искусно притворяясь растроганной. Домициан крепко обнял жену, поверив искренности ее раскаяния, и запечатлел долгий поцелуй на нежном лбу красавицы.

## VII

В северной части Рима, недалеко от городских укреплений, лежали сады Домиции. Сюда, в одну из уединенных вил, императрица велела поместить возлюбленную Париса.

Молоденькая гречанка дрожала от страха, когда четверо эфиопов понесли ее ночью, в закрытых носилках, по темным аллеям, с плотной шпалерой ползучих растений по сторонам. Она тревожно прислушивалась к мерным шагам невольников в ночной тишине. Осторожно откинув занавеску, Лидия решила выглянуть из паланкина. Красноватый блеск факелов, освещающая гигантские стволы деревьев, производил фантастическую игру теней, пугавшую воображение.

Наконец шествие остановилось у портала маленького мраморного дворца, обсаженного кипарисами и залитого фосфорическим сиянием месяца. Пожилая домоправительница помогла девушке выйти на крыльцо. Она приветливо улыбнулась и сказала, что ужин давно готов. Лидия пробормотала в ответ несколько невнятных слов; она рассчитывала увидеть здесь Париса, но тот не встретил ее ни у входа, ни в широкой прихожей. Достигнув атриума, гречанка с изумлением осмотрелась вокруг. Затем домоправительница показала ей спальню с раззолоченной кроватью и множеством предметов роскоши; оттуда обе женщины вступили в столовую и прошли целый ряд комнат, где скульптура, мозаика и золото придавали волшебную прелесть этому уединенному жилищу. Молодая девушка оробела.

— Это дом танцора Париса? — спросила она, окончательно растерявшись.

Ирась, домоправительница, улыбнулась и рассказала, чей это дворец.

Лидия боязливо осмотрелась по сторонам, и сияние позолоты, сверкавшей при свете лампы, представилось ей как бы внушительным отблеском царственного величия. Мысли путались в ее голове. Лидия неожиданно почувствовала себя такой одинокой среди окружающей пышности, точно морские волны выбросили ее на необитаемый остров. Мечты о счастье с Парисом разлетелись, как дым. Ошеломленная всем происшедшим, молодая рабыня не отдавала себе отчета, что с нею делается, автоматически покоряясь чужой воле. Ее переодели, подали ужин; она ничему больше не удивлялась и молчала, пугливо озираясь на незнакомые места и незнакомых людей. Наконец девушку оставили одну в столовой. Лидия едва притронулась к принесенной пище; тоска одиночества и страх сжимали ей горло. Лучи маленькой лампы, освещавшей комнату, уныло отражались в полированном мраморе стен и позолоте карнизов; тяжелый пурпурный занавес на дверях, казалось, отделял гречанку от живого мира или скрывал за собою что-то мрачное, таинственное... Она не смела оглянуться назад, не смела пройти по блестящей, как зеркало, мозаике пола. Все

это было похоже на лихорадочный бред, от которого хотелось поскорее очнуться. Балкон, выходивший в сад, был отворен, и легкий ветерок приносил оттуда ночную прохладу, колебля пламя светильника и спущенную портьеру. Между вершинами пиний сквозило звездное небо. Девушка зевнула от усталости и, нервно вздрагивая, плотнее закуталась в свою богатую одежду. Что, если Парис позабыл о ней?

В страхе Лидия наклонила голову над столом, заткнув уши и зажмурив глаза. Лидия то пристально смотрела на огонь до того, что у нее слипались веки, то пробуждалась от дремоты, пугаясь шороха в соседней комнате, и нервно зевала, впадая в задумчивость. Усталость взяла свое, и девушка крепко заснула. Через два часа, открыв глаза, она с недоумением посмотрела на сидевшего рядом юношу и, еще не успев стряхнуть с себя дремоты, разгоряченная сном и заплаканная, бросилась к нему на шею. Это был Парис. Взгляды Париса говорили яснее слов. Полусонная и счастливая, ошеломленная резким переходом от одиночества к радости свидания, она не могла сопротивляться.

Утром они проснулись в спальне. Лицо девушки горело румянцем смущения, однако на нем не было и следа печали. Она ласкала черные локоны Париса. Лидия целовала его покрасневшие веки, не замечая, как Парису хотелось уклониться от этой ласки.

Когда она обняла его, юноша заставил себя ответить ей, но прежнее чувство между ними исчезло.

— Что с тобою? — спросила гречанка.

Парис поднял голову, заставил себя улыбнуться, однако нежность Лидии утратила для него свою цену. Он почти не смотрел на Лидию, говорил отрывисто.

Наконец юноша вышел из дворца. Сев в экипаж, он спрятался за спущенный верх, который защищал его от солнечных лучей. Невыносимая тяжесть давила грудь Париса.

Лидия неподвижно стояла у входа виллы. Эта картина печали преследовала Париса.

Когда экипаж миновал городские укрепления, ему захотелось вернуться в объятия девушки. Он сам не по-

нимал, что с ним делается. «Зачем я погубил ее?» — упрекал себя Парис.

Золотистые сумерки спускались на землю. Юноша проезжал по Аппиевой дороге с ее гробницами, издали доносился шум исполинского города; впереди, между ветвей кипарисов, сквозила потухающая вечерняя заря.

Парис почувствовал усталость. Лошади быстро бежали по дороге мимо обросших кустарниками мраморных памятников, которые плотно теснились один к другому, напоминая собою торжественное, триумфальное шествие смерти.

## VIII

В Байе, роскошном приморском городке, куда приезжало на купанье множество богатой публики, Парис достиг еще более громкого успеха, чем в Риме.

Однако всеобщее поклонение и восторженные овации только усилили его тоску. Мужчины и женщины наперебив осыпали его знаками внимания, зазывали к себе, и молодой артист платил любезностью за любезность, втайне потешаясь над знатными покровителями. В его душе постепенно созревала ненависть к людям. Чем глубже всматривался он в человеческие поступки, тем сильнее убеждался, что везде главным рычагом является жажда наслаждений и себялюбие.

На другой день после своего приезда в Байю Парис узнал о прибытии императрицы. Неясное предчувствие подсказало ему, что эта женщина недаром явилась сюда.

Сначала актер старался не встречаться с нею, но было невозможно избежать случайных столкновений в театре или на прогулке, тем более что публика, собравшаяся в Байе, следила за каждым шагом приезжего артиста.

Таким образом, они встретились однажды близ Авернского озера.

Императрица приказала остановить носилки и первая подошла к танцору, протягивая ему в знак приветствия обе руки.



Свита Домиции осталась немного позади, а сама она пошла с Парисом по лесной дорожке к озеру.

Вдруг Домиция остановилась в тени густых деревьев, откуда их никто не мог увидеть, и, краснея, взглянула в лицо юноши.

— Парис,— прошептала она, робко оглядываясь на свою свиту,— знаешь ли ты, зачем я так поспешно выехала из Рима?

Молодой человек вздрогнул и отвернулся, стараясь скрыть волнение.

— Сюда идут,— сказал он.

Императрица замолчала, и они оба двинулись дальше. Лицо Домиции краснело и бледнело. Юноша украдкой поглядывал на нее. Его приятно волновало, что царственная красавица добивается любви бедного актера.

Достигнув озера, императрица приказала разостлать ковры у прибрежного тростника и села на землю вместе с юношей, пока невольники разносили присутствующим напитки и кушанья.

— Говорят, что великий Вергилий почерпнул вдохновение в окрестностях Аверна,— сказала Домиция, любясь гладью озера.

С кубком в руке, разгоряченный вином, Парис принялся декламировать стихотворение греческого поэта Мосха. Императрица, вдохновившись, перебила его и докончила отрывок. Актер с восторгом прислушивался к голосу Домиции, удивляясь его гибкости. В мимике женщины так живо отражалось содержание стихов, что Парис смотрел на нее с нескрываемым изумлением. Губы красавицы вздрагивали; глаза отуманились слезами, когда она говорила о смерти Адониса. Дойдя до заключительной строфы, императрица была не в силах продолжать: волнение отняло голос.

— Из тебя могла бы выйти превосходная актриса,— сказал изумленный Парис.

— Приходилось ли тебе вести такие беседы с Лидией? — неожиданно спросила императрица.

Парис ничего не ответил; ему стало грустно. Привлекательные стороны характера молодой гречанки вдруг потеряли в его глазах прелесть; теперь он видел в ней

только женщину с ребяческой душой и наивным, ограниченным умом. Не странно ли, что ему, человеку утонченно-образованному, могла она понравиться? Блестящая Домиция совершенно затмевала ее. Парис уже готов был объяснить простоту своей возлюбленной тупоумием, сдержанность — узостью понятий, а ее добродетель нагоняла на него тоску.

Императрица повторила свой вопрос и принялась подшучивать над увлечением Париса.

На обратном пути Парис был молчалив и рассеян.

Хорошо понимая причину его задумчивости, Домиция пустила в ход все свое остроумие, и ей удалось занять артиста. Разговор пошел о неудачной попытке Париса выступить перед публикой в роли Эдипа. Искусно перемешивая похвалы с порицаниями, Домиция сумела вывести юношу из апатии и даже воскресить в нем веру в свое дарование.

Парис почувствовал себя иным человеком, выслушивая мнение императрицы. Он шел рядом с ее носилками, так что их беседа не прерывалась всю дорогу. Супруга цезаря посоветовала Парису не оставлять занятий декламацией, чтобы постепенно готовиться к поприщу трагического актера. Этим она задела его слабую струну. Услышав, что ему не следует терять надежды, голова у Париса пошла кругом.

Вернувшись к себе, Парис не мог заснуть. Разгоряченное воображение рисовало ему будущность то самыми привлекательными, то мрачными красками. Парис попеременно переходил от восторга к отчаянию; сознавая свою слабохарактерность и непостоянство, он боялся и неуспеха в драматической роли, и увлечения опасной женщиной, которая одинаково могла вознести своего любимца на высоту и погубить его.

На следующий день Париса пригласили на императорский корабль для морской прогулки.

Воздух был необыкновенно прозрачен; берега ярко зеленели. Стоило Парису отвернуться от прекрасной панорамы берега, глазам представлялась увешанная гирляндами роз палуба корабля. На возвышении под балдахином лежала на пурпурных подушках Домиция, в кос-

тюме Венеры, окруженная мальчишками, изображавшими амуров, которые обмахивали повелительницу олахалами. Из каюты доносилось тихое пение.

Парис незаметно пробрался на переднюю часть корабля, где носовой парус скрывал его от взглядов. Здесь он облокотился о перила борта и вдруг почувствовал себя одиноким среди всеобщего веселья. В звуках песни Парису слышались жалобы покинутой Лидии; он стал укорять себя в эгоизме. Пение все глубже затрагивало Париса, и наконец, охваченный необъяснимой тревогой, он разрылся слезами, припав головой к сложенным на перилах рукам. Рыдая, молодой человек неожиданно почувствовал чье-то теплое дыхание на своей щеке.

— Парис! — прошептал над ним взволнованный, не твердый голос.

Актер поднял голову. Возле него стояла императрица.

— Ты плакал, — прошептала Домиция после короткой паузы.

Парис отрицательно покачал головой, грустно улыбаясь и по-прежнему повернувшись к морю. Домиция сделалась задумчивой.

— Я не могу понять, что происходит со мною! — сказал он наконец, оборачиваясь к царице.

— Зато я прекрасно понимаю! — прошептала она, наклоняясь к нему все ближе.

И, прежде чем Парис успел опомниться, Домиция прибавила, еще сильнее понизив голос:

— Ах, бедный! У тебя лицо влажно от слез.

Поцелуй коснулся его щеки, и рука обвилась вокруг шеи Париса...

## IX

В ту же ночь Стефан, управитель императрицы, был вызван во дворец. Беседа с императором затянулась до утра. Домициан послал за начальником дворцовой стражи, Силием.

— Твои донесения оказались неверными, — хмуро сказал император, когда Силий вошел.

— Великий государь! — в испуге стал оправдываться начальник стражи.— Только сегодня получил я известие...

— Замолчи,— прервал его император.— Я не допускаю мысли, чтобы ты был способен к измене. У тебя недостает необходимой сообразительности. Было ли тебе известно, что Парис встречается в Байе с Домицией?

— Разве я мог подозревать что-нибудь плохое? — запинаясь ответил Силий.— Они только прогуливались... Катались на корабле...

— Ну, все равно! — перебил Домициан.— Я дам тебе возможность исправиться.

— Великий государь, приказывай!..

— Так слушай! Пускай плясун завтра ночью исполнит свои замысловатые прыжки по ту сторону Стикса! — пробормотал Домициан, ядовито усмехаясь.— Лягушки по крайней мере полюбуются его танцевальным искусством!

Вечером того же дня Антоний, любимый карлик императора, спешно приехав в Байю, пробрался в ворота храма Венеры, проник в последнюю комнату павильона и с любопытством осмотрелся вокруг. Здесь, при слабом свете ночника, он увидел Домицию, которая спала на кушетке. У ее ног дремал Парис, вытянувшись на коврике положив голову на край постели.

Приблизившись к ложу царицы, Антоний убедился, что Домиция крепко заснула, и осторожно разбудил актера. Парис поднял лицо и с удивлением взглянул на горбуна сонными глазами.

Карлик помнил, что Парис еще недавно спас ему жизнь, и захотел заплатить услугой за услугу. Вид безоружного юноши, который спал, ничего не подозревая, внушил Антонию искреннюю жалость.

— Беги скорей,— зашептал он.— Тебя, кажется, подстергают.

Но Парис не тронулся с места. Он бессознательно посмотрел на морщинистое лицо горбуна и сонно пробормотал несколько несвязных слов. Антоний, принудив юношу встать, наскоро передал ему, что управитель Домиции уже двигается к храму.

Карлик, не переставая говорить, подвел актера к выходу; но едва они успели взяться за дверную ручку, как императрица проснулась, спрашивая в испуге, что произошло. Антоний проскользнул в дверь, а Парис нерешительно стал у порога. Домиция улыбнулась и протянула руку, будто желая удержать его при себе.

— Куда ты? — спросила она томным голосом, тяжело вздыхая.

В ту же минуту в саду захрустел песок под мерными шагами стражи; багровый отблеск факелов сверкнул в окно павильона, мелькая по мебели и стенам.

Домиция побледнела; Парис почувствовал острую боль в груди и замер на месте.

— Именем императора! — раздался голос у дверей.

— Боги! — прошептала супруга цезаря побелевшими губами.

Императрица вскочила. Дрожа, она подвела Париса к глубокой нише, толкнула его туда и скрыла складками занавеса. Бряцанье оружия слышалось уже у самого входа в павильон.

Минуту спустя на пороге появилась фигура Силия.

— Что тебе надо? — спросила царица, бросая на него растерянный взгляд.

— Государыня, — скромно сказал начальник стражи, — император послал за тобою. Носилки ждут у дверей. Ты должна прибыть в Рим.

— Хорошо! — твердо произнесла императрица.

Она встала, подавляя тревогу, и повернулась к выходу, бросив последний боязливый взгляд на занавес, скрывающий Париса.

— Откуда ты узнал, что я здесь? — спросила царица.

— Государь приказал мне отправиться за тобою. Ему передали, что ты проводишь время в садах храма.

Домиция вышла на площадку, ярко освещенную факелами. Солдаты Силия с любопытством смотрели на супругу цезаря и старались заглянуть в отворенную дверь.

Спускаясь по лестнице, императрица заметила свою служанку, стоящую у колонны.

— Как ты попала сюда? — спросила государыня.

Девушка отвечала уклончиво, дерзко, вызывающе

глядя прямо в глаза. Домиция начинала догадываться о предательстве приближенных. Она в одну минуту припомнила целый ряд подозрительных фактов. Ее, по-видимому, давно подстерегали. Служанка, стоявшая теперь с развязным видом, была вместе с нею на корабле и выказывала необыкновенную предупредительность.

Начальник стражи помог Домиции сесть в паланкин.

Не помня себя от бешенства, Домиция откинулась на подушки носилок. Ясный месяц обливал своим синеватым сиянием безмолвные сады, раскинувшиеся на далекое пространство; на этом фоне чернело здание храма Венеры.

Супруга цезаря с ужасом спрашивала себя: что ждет ее по прибытии в Рим? Был ли отдан приказ арестовать Париса? Узнал ли Домициан об ее измене, или все дело ограничилось одними подозрениями?

— Вперед! — скомандовал начальник отряда.

Невольники подняли носилки.

— Остановитесь! Что это такое? — произнесла Домиция, вскакивая с подушек.

До нее донесся хриплый, подавленный крик, раздавшийся в храме.

Царица в ужасе осмотрелась по сторонам. Павильон мрачно возвышался между деревьями. Домиции показалось, будто у входа поставлены сторожевые.

— Это, вероятно, сова! — равнодушно заметил Силий. — Вперед! — повелительным тоном повторил он.

В группе воинов послышался смех. Кто-то захлопнул двери храма. Кругом стемнело; только из отверстия крыши виднелся красноватый свет, падавший на вершины деревьев. Вслед за тем Домиция услышала стоны, топот, шарканье ног по каменному полу храма.

— Пустите меня! — дико вскрикнула императрица. Вскочив с подушек, она собиралась выпрыгнуть из паланкина, как вдруг к ней бросился начальник стражи.

— Государыня, это невозможно! — сказал он, удерживая женщину.

— Оставь меня! Я хочу знать! Пусти! — захрипела она, задыхаясь и отталкивая воина. — Что там происходит?

Воин молчал.

— Парис больше не опасен теперь твоему супругу...— медленно произнес Силий после паузы, сопровождая свои слова серьезным взглядом. Когда Доминция, не помня себя, принялась царапать ему лицо и укусила руку, он схватил ее за талию и, несмотря на крики, опрокинул на подушки носилок, приказывая невольникам трогаться быстрее.

## Х

Отворяя рано утром свою лавочку близ храма Венеры, цирюльник Муций увидел на мостовой, у одной из колонн, темный предмет.

Брадобрей сообщил о своей находке соседу-ткачу, бросился к месту, где лежал таинственный сверток, и вскрикнул от испуга. Вся земля вокруг была пропитана кровью, бежавшею из-под груды беспорядочно набросанных плащей.

Откинув их в сторону, Муций в ужасе позвал соседа.

Подошедший ткач тотчас узнал заезжего римского актера. Утренний ветерок шевелил шелковистые кудри покойника. Лоб умершего, гладкий, как слоновою кость, был холоден; в складках красивого рта застыло выражение боли; неподвижные глаза смотрели на небо. Правая рука была крепко прижата к груди, где зияла широкая рана...

— Посмотри-ка, солдатский плащ! — заметил ткач, поднимая с земли одежду, которою был прикрыт Парис.— Здесь вчера целый легион был.

— Это, конечно, кто-то из римлян,— прошептал Муций, рассматривая хламиду воина.— Ты слышал шум или драку на улице?

— Все было тихо. Его, вероятно, принесли сюда, чтобы скрыть следы преступления,— прошептал ткач, подозрительно оглядываясь по сторонам.— Надо же, в такой плащ завернули. Совсем улик не боятся.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Д. Коштолани. НЕРОН. Пер. с нем. . . . .	5
Б. Ибаньес. СОННИКА. Пер. с испанск. . . . .	221
Ф. Маутнер. ГИПАТИЯ. Пер. с нем. . . . .	409
В. Валлот. ПАРИС. Пер. с франц. . . . .	509

«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ»  
«КОРОНЫ, СКИПЕТРЫ И БИТВЫ»

### ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Д. КОШТОЛАНИ. **Нерон**  
Б. ИБАНЬЕС. **Сонника**  
Ф. МАУТНЕР. **Гипатия**  
В. ВАЛЛОТ. **Парис**

Художник Н. Егоров  
Технический редактор Б. Шаргородская  
Корректоры Л. Табачникова, Н. Кондратьева

---

Сдано в набор 16.12.93. Подписано к печати 14.03.94.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура литературная. Печать высокая.  
Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 30,04.  
Тираж 50 000 экз. Заказ 4455. Цена договорная.

---

Лицензия 060056 от 16.07.1991 г.  
Издательство «Новая книга».  
Москва, ул. академика Челомея, 4, а/я 489.

---

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Пресса».  
Отпечатано в полиграфической фирме «Красный пролетарий».  
103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16.





